

ЕВГЕНИИ
ПЕРМЯК

Евг. Пермяк

1





ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ



СКАЗКА
О СЕРОМ ВОЛКЕ



СТАРАЯ ВЕДЬМА



ПОСЛЕДНИЕ
ЗАМОРОЗКИ

**Вступительная статья
Виктора Полторацкого**

П 70302—069
М158(03)—77

© Пермяк Е. Избранные произведения в двух томах. Том 1. М. 1973
© Средне-Уральское книжное издательство, 1977

СОЧИНЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ПЕРМЯКА

Евгений Пермяк принадлежит к старшему поколению современных советских писателей. Его литературное творчество многоцветно и многообразно. Политически острое, целеустремленное и глубоко верное нравственным идеалам трудового народа, оно отличается силой внутреннего горения, способной воспламенять души читателей. Источником этой силы является сама жизнь, богатейшая сокровищница народного опыта.

Писательский талант Евгения Пермяка отмечен яркими чертами самобытности, богатством изобразительных средств, из которых на первое место следует поставить язык, сверкающий драгоценными самоцветами живой разговорной речи, а также высокое искусство сюжетного построения, увлекающее оригинальностью и новизною художественных открытий.

Движущей силой развития этого таланта является непрерывная, неутомимая работа, глубинное знание художником жизни, позволяющее ему верно осмыслить минувшее и прозорливо увидеть истоки будущего. Подобно тому, как река, начавшись из малого, почти неприметного родника, в непрерывном течении своем по земному простору становится все шире и глубже, талант художника приобретает широту и масштабность в его стремлении страстным, горячим словом откликнуться на тревоги, надежды и радости своих современников, в упорном повседневном труде, в непрерывных поисках и свершениях. Именно это определяет характер творчества Евгения Пермяка и его место в советской литературе.

Евгений Андреевич Пермяк родился 31 октября 1902 года в Прикамье, на западных отрогах Урала, той воистину дивной земли, которая с давних времен утвердилась в сознании русских людей сказочным богатством природы, душевной щедростью, сметливостью и трудолюбием живущего здесь народа. Еще в детстве основы знаний будущий писатель черпал не только из школьных учебников — глубочайшим учебником для него была сама жизнь. Сознание того, что одним из высших достоинств человека является труд, мастерство, возбудило у Евгения Пермяка мечту стать инженером, чтобы создавать машины, облегчающие и ускоряющие работу людей. Но обстоятельства революционного времени переиначили его планы.

Бурная перестройка жизни требовала немедленной деятельности. И вот в начале двадцатых годов, еще совсем молодым человеком, он попадает в Сибирь, на самый трудный тогда продовольственный фронт. Разъездная работа в Кулундинских степях, требовавшая не только физических сил, но и твердости характера, быстроты и самостоятельности решений, общение с самыми разными людьми учили его мужеству жизни.

Пермяку пришлось заниматься разнообразнейшей деятельностью. Он был гуртоправом, заготовителем, инструктором по культурно-просветительной работе, журналистом-газетчиком, руководителем агитколлектива. Лишь в 1930 году ему наконец удалось окончить педагогический факультет Пермского университета.

Литературой Евгений Пермяк увлекся еще в ранней юности. Он сочинял стихи, очерки и рассказы, составлял целые программы «живой газеты». Но все это было только пробой пера.

В начале тридцатых годов Пермяк переезжает с Урала в Москву, сотрудничает в журналах «Деревенский театр», «Клубная сцена» и заявляет о себе как драматург. Одна за другой выходят его пьесы. Среди них особую известность получила героико-романтическая комедия «Лес шумит», поставленная во многих театрах страны.

Написанная к двадцатилетию Октябрьской социалистической революции и рассказывающая о борьбе трудящихся за Советскую власть, она утверждала необоримую силу единства партии и народа.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Евгений Пермяк возвращается на Урал, который становится в это время главной кузницей боевого оружия страны, сражающейся против немецко-фашистских агрессоров за свою честь, свободу и независимость.

Возвращение на Урал стало как бы вторым рождением писателя. Глубже и ярче раскрываются перед ним самобытные характеры тружеников этого края, их железная воля к победе над врагами отечества. Стремясь вложить и свою посильную долю труда в великий подвиг народа, Пермяк откликается на текущие события взволнованной публицистикой в газетах Свердловска, Нижнего Тагила, Челябинска, выступает на заводах, активно сотрудничает в Совинформбюро.

Здесь, на Урале, Евгений Пермяк сближается с уже знаменитым к тому времени автором «Малахитовой шкатулки» П. П. Бажовым. Это сближение перерастет в настоящую дружбу. Много лет спустя Пермяк еще напишет книгу, полную нежной любви к этому мудрому и вдохновенному сказочнику, от которого перенял он живой интерес к самоцветам устного народного творчества рабочего люда.

Уральский фольклор расцвел палитру писателя яркими красками. В нем же нашел он и подтверждение своих с детства сложившихся представлений о нравственной силе труда, возвышающей и облагораживающей человека. В совместных с П. П. Бажовым поездках Пермьяка по Уралу родились книги очерков «Уральские записки» и «Строители», а затем возник замысел книги «Кем быть?».

Состоящая из сюжетно завершенных глав-новелл, книга «Кем быть?» являет собою подлинный гимн человеку труда. Появившаяся в 1946 году, она открыла новый, значительный этап в творчестве Евгения Пермьяка — его приход в детскую литературу.

Работе над книгами для юных читателей Пермьяк отдал много сил и таланта. Особое место в этой работе занимают сказки. Лаконичные по форме, исполненные блеска живой фантазии, сверкающие богатством народного языка, они несут в себе заряд огромной нравственной силы, увлекая детей в прекрасный мир, где всему голова Труд и светлая Правда.

Сказки Евгения Пермьяка духовно обогатили не только тех, для кого они сочинялись, но и самого автора. Работа над ними способствовала дальнейшему расцвету писательского дарования уже в новом его качестве.

«Жизнь, личность писателя и весь он — это его книги. Биография писателя начинается первым созданным им произведением... Но где-то на пятьдесят третьем году своей жизни я переступил какой-то порог, за которым начались ступени лестницы», — отметил сам Евгений Пермьяк. Этими новыми восходящими ступенями в его творчестве явились романы «Сказка о сером волке», «Старая ведьма», «Последние заморозки», «Горбатый медведь», «Яргород», цикл своеобразных по форме «маленьких романов» и другие произведения большой прозы. Остросюжетные, смело поднимающие большие социальные проблемы современности или широко и свободно воссоздающие картины истории трудового Урала, побуждающие к глубоким раздумьям о путях формирования человеческой личности, эти произведения вызвали горячий интерес миллионов читателей, сделали Евгения Пермьяка одним из самых популярных писателей.

Обращение к романической форме литературного творчества было подготовлено возросшей общественной зрелостью писателя, обострившимся чувством современности и, конечно, всем многолетним опытом его художественного творчества.

Четырехтомное собрание сочинений Евгения Пермьяка не исчерпывает даже половины того, что создано писателем за сорок с лишним лет ежедневной непрерывной работы. И все же оно составлено таким образом, что отражает главные этапы его творчества, при-

держиваясь не хронологической последовательности, а признаков жанра.

В первый том настоящего издания входят романы «Сказка о сером волке», «Старая ведьма» и «Последние заморозки». Что объединяет эти произведения? Прежде всего — острота социальной проблематики, бескомпромиссная определенность позиции автора и отчетливая рельефность характеров главных героев.

Появление в 1960 году романа «Сказка о сером волке» стало незаурядным событием в советской литературе. Сюжетную основу этого остропублицистического произведения составляет необыкновенная встреча двух братьев Бахрушиных. Один из них — председатель колхоза, другой — американский фермер. Жизненные пути их давно разошлись. В годы революционного разлома Трофим Бахрушин, служивший в белой армии Колчака, бежал в Америку. На родине его считали погибшим. Он сам же и пустил слух о своей гибели, обманув таким образом оставшихся в родном селе жену и младшего брата, Петра. В Америке Трофим усвоил волчьи законы буржуазного мира, прижился и даже кое в чем преуспел. Но вот на склоне лет в сознании того, что жить на этом свете остается уже недолго, ему захотелось побывать в тех местах, где родился и вырос, попрощаться с близкими, облегчить свою душу. В сопровождении искомого американского журналиста Джона Тейнера он приезжает в уральский колхоз, председателем которого работает Петр Бахрушин. Так происходит встреча двух братьев. В сущности же, тут встречаются не братья Бахрушины, а два чуждых друг другу мира — мир советского колхозника Петра Бахрушина, сильный взаимным доверием людей и радостью творческого труда, возвышающего душу, и мир капитализма, живущего по звериному закону: человек человеку — волк. Об этом-то и написан роман Евгения Пермяка.

«Серому волку», Трофиму, непонятен смысл новой жизни, которой живут советские люди. Но даже он не может не признать силы и правоты своих бывших односельчан, их нравственного превосходства перед тем миром, где жажда стяжательства превращает людей в бешеных хищников. На какое-то мгновение человеческое просыпается в его душе, однако зверь остается зверем...

В этом романе писателю удалось воссоздать живые образы противоборствующих миров, показать силу и чистоту нашей правды и глубину пропасти, разделяющей братьев Бахрушиных.

Характерной чертой литературного таланта Евгения Пермяка является его политическая активность, партийная целенаправленность. Эта черта находит свое выражение и в обличительном пафосе романа «Старая ведьма», острине которого направлено против психологии собственничества, растлевающей душу. Писатель показы-

васт, как незаметно, исподтишка старая ведьма затягивает в свои сети рабочего человека, сталевара Василия Кирсева, духовно обкрадывая его, низводя до уровня откровенных стяжателей вроде Серафимы Ожегановой или Павла Ветошкина. Достоинство романа в том, что автор выступает здесь не только обличителем, констатирующим нравственную деградацию Кирсева, но и активным борцом за спасение человека от козней издревле проклятой старой ведьмы.

«Последние заморозки» можно было бы назвать семейно-бытовым повествованием из жизни двух потомственных рабочих семей — Векшегоновых и Дулесовых. А может быть, определить роман как полную превратностей любовную историю, героями которой являются молодые люди нашего времени. И все-таки будет правильнее, если скажем, что это — реалистический роман, утверждающий единственно верные принципы человеческих отношений, строящихся на том, что «человек не может быть согрет только своим теплом. Его согревает тепло других. Но для этого нужно, чтобы и ты излучал тепло. Это великий закон взаимного излучения теплоты». Чтобы понять эту истину и утвердиться в ней, героине романа Руфине Дулесовой приходится пройти через мучительную внутреннюю борьбу, многое пережить, передумать, пересмотреть.

Впрочем, главными-то героями романа вернее назвать Сергея и Алексея Векшегоновых, молодых представителей славной рабочей династии. Именно они всеми своими делами и помыслами утверждают «великий закон взаимного излучения теплоты».

Для художественной манеры «Последних заморозков» характерна свойственная Евгению Пермяку искренняя задушевность повествования, мастерская лепка живых характеров.

Отличное знание истории Урала, сложившихся здесь самобытных характеров, уклада заводской жизни позволило Евгению Пермяку создать многоплановый историко-революционный роман «Горбатый медведь», занимающий в собрании сочинений полностью второй и третий тома.

Идейной основой романа «Горбатый медведь» является проблема формирования личности, то есть одна из главнейших и вечных тем мировой литературы. Обращение к этой теме — свидетельство гражданской зрелости художника.

На фоне жизни уральского рабочего города Мильва, в годы, предшествующие революционной грозе, и в самую трудную пору становления Советской власти, Евгений Пермяк вычерчивает сложную линию судьбы своего юного героя Маврикия Толлина. Но в жизни небольшой Мильвы, где завязываются основные узлы сюжета, как в зеркале, отражается жизнь России со всеми ее социально-политическими конфликтами и противоречиями. В этом смысле

«Горбатый медведь» представляет собою широкомасштабное произведение. Масштабность отражена и в перипетиях судьбы Маврикия Толлина. В своих поворотах, изломах и устремлениях она сталкивается, пересекается или сплетается с судьбами многих других персонажей романа, неизбежно испытывая на себе их влияние.

Писатель развертывает перед нами галерею живых человеческих образов и характеров, одни из которых способствуют кристаллизации доброго и честного в душе впечатлительного подростка, другие жестоко ранят ее неправдой и злом. Среди тех, чье облагораживающее влияние испытывает на себе Маврик Толлин, читатель, несомненно, выделит революционера-подпольщика Ивана Макаровича Бархатова, его товарищей — Григория Киршбаума, Артемия Кулемина, интеллигентную семью Тихомировых, а также юных друзей героя — Илюшу и Санчика.

Точно и убедительно очерчивает Пермьяк зловещую фигуру Геннадия Вахтерова, этого растлителя молодых доверчивых душ. Новый, недавно появившийся в Мильве учитель Геннадий Павлович Вахтеров на первый взгляд искренне рассуждает о всеобщей свободе, «высшей справедливости». Эти рассуждения пленяют пылкого Маврика, не подозревающего о том, что втайне Геннадий Вахтеров является руководителем эсеровского подполья, злейшим врагом революции, вокруг которого группируются темные силы реакции. Дорого пришлось заплатить Маврикию Толлину за эту доверчивость. До крови исцарапает он душу, пока не прозреет и не поймет всей глубины своих заблуждений.

Действие второй книги романа «Горбатый медведь» развивается динамично, и читатель с неослабевающим интересом будет следовать за главным героем, глубоко огорчаться его печалью и радоваться его радостями.

Сложный процесс нравственного возмужания молодого человека начала нашего века, протекающий на фоне бурных исторических событий и в непосредственных связях с этими событиями, — вот что является сюжетным стержнем этого большого, многопланового произведения.

Четвертый том собрания сочинений Евгения Пермьяка включает в себя один из «маленьких романов» — «Царство Тихой Лутони», роман «Яргород», а также избранные рассказы и сказки.

Роман «Царство Тихой Лутони» вышел в свет в канун столетия со дня рождения В. И. Ленина. Напоминаем об этом потому, что содержанием и всем своим духом этот роман связан с вечно живым учением Ленина. Эпиграфом к нему могут быть взяты слова из ленинской работы «Развитие капитализма в России» о том, что для общей картины Урала во второй половине XIX века характерны техническая отсталость, преобладание ручного произ-

водства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени.

Евгений Пермяк сразу вводит читателя именно в такую обстановку, развертывая перед ним картины жизни заштатного торгово-промышленного городка Тихая Лутона, где угнездились экипажно-кадетное заведение Шутемова, кузнечно-механические мастерские Жуланкина, лесопилка Хохрякова — местных эксплуататоров рабочего люда. Из пестрого сплетения всех духовных и материальных интересов, которыми живет Тихая Лутона, писатель привлекает наше внимание к «экономическому эксперименту» молодого инженера Петра Колесова, вообразившего, что можно въехать в социализм на тележке «трудового товарищества».

Внутренне честный, но глубоко заблуждающийся, Петр Колесов поверил в возможность победы труда над капиталом капиталистическими же способами, то есть конкуренцией «колесно-тележного производства на товарищеских началах», созданного им в Тихой Луtone. Действительность вдребезги разбила эти иллюзии. Непреложные законы капиталистических отношений, втянутым в которые оказалось само «товарищество», привели его к гибели...

Несмотря на то, что события, изображаемые в романе, относятся к концу XIX и началу XX века, произведение это глубоко современно, ибо враждебные марксизму оппортунистические разглагольствования о возможностях мирного перерастания капитализма в социализм и ныне являются жупелом явных и тайных врагов коммунизма. Острейшим и надежнейшим оружием трудящихся в борьбе с ними является вечно живое учение Ленина, неопоримым духом которого исполнен роман Пермяка.

В художественной манере «Царства Тихой Лутоны» видно пристрастие писателя к излюбленной им сказовой форме. Евгению Пермяку отлично удастся тонкая стилизация, потому что он обладает богатством лексики, глубоким пониманием самой природы сказа, открывающего целую гамму интонаций: от лукавой добродушной усмешки до пафоса гневного обличения.

В «Царстве Тихой Лутоны», как и во многих других произведениях писателя, явственно звучит слава труду, главному источнику жизни.

Одной из важных проблем современности — разумному сочетанию экономического прогресса с интересами общества посвящен роман «Яргород». Конкретным выражением этой социальной проблемы является история возрождения древнего и некогда славного Яргорода, оказавшегося в силу исторических обстоятельств в положении полузабытого захолустья.

Уже с первых страниц романа писатель вводит нас в обстановку «чудо-юдо города Яргорода» с его старинным кремлем, причино-расписными колоколенками церквей, толстостенными зданиями казенных учреждений. Он как бы сошел с картины «Умолкшая слава», написанной местным художником Иваном Лалетинным.

Проблема оживления Яргорода имеет два аспекта решения. Одни видят будущее этого района в развитии промыслов нефти, залежи которой якобы имеются здесь, другие — в использовании водных ресурсов здешнего Пятиречья для строительства электростанции. Конфликт между этими направлениями и является сюжетным стержнем романа.

Коренных яргородцев тревожит то обстоятельство, что выдвинутый инженером Гаевым проект строительства гидроэлектростанции обрекает древний город на затопление, обрубая таким образом все связи прошлого с настоящим и будущим. Между тем ощущение этих связей необходимо людям. Оно утверждает их как продолжателей дела жизни, творящей новое на фундаменте, заложенном предками. Вот почему симпатии жителей Яргорода привлекает более разумный вариант экономических преобразований района, основанный на разработке месторождений нефти.

Но экономические проблемы — лишь каркас, на котором выстраивается сложное здание человеческих судеб.

В «Яргороде» много действующих лиц. Но они не теряются на страницах романа, а с естественной силой чувства входят в душу читателя. Каждого из персонажей автор наделяет живыми чертами, побуждая читателя проникнуться его заботами. Воплощением доброты, сердечности и душевной чуткости предстает перед нами молодая учительница Машенька Адоева. Своеобычностью характера отмечена и Сусанна Веригина. Тут следует отметить, что женские образы особенно удаются Евгению Пермяку. Почти в каждом его романе читатель встречается с открытием новых, очень живых и оригинальных женских характеров.

Привлекательна своей естественностью романтическая линия отношений Луши и бурильщика нефти Рамазана Нурулловича. Эта пара, пожалуй, наиболее реалистична. И Рамазан и Луша несут в себе яркие типические черты наших современников.

Из тысячи людских судеб сплстается и вырастает новая счастливая судьба Яргорода, вступающего в пору «второго цветения».

Евгения Пермяка с полным основанием считают создателем современной сказки. Обратившись к древнейшей форме — устной народной поэзии, он не просто наполнил ее новым содержанием, созвучным современности, но и создал принципиально новые образы, приблизил язык сказки к современному народному языку. Если бы Евгений Пермяк не создал ничего, кроме таких сказок, как

«Счастливым гвоздь», «Про дедушку Само», «Семьсот семьдесят семь мастеров», «Как самовар запрягли», «Тайна цены», то и тогда бы имя его навсегда осталось в истории советской литературы. Недаром книги его прелестных сказок, переведенные на многие языки, стали достоянием юных и взрослых читателей.

Среди множества сказок, созданных Пермьяком, есть сказочка о чудесном певце, который пел не только душевно, искренне, от всего сердца, но и красочно — на все цвета радуги. Когда он пел розовую песню с весенне-зеленым отливом и алмазно-росяными искорками, его затаив дыхание слушали юноши и девушки. Алая песня с синей каймой раздумья и серебристыми прожилками мудрости заставляла людей среднего возраста распахивать настежь окна своих душ и двери своих сердец. Старикам нравились песни строгих расцветок. Но певец был недоволен собою. Ему хотелось спеть такую песню, которая бы понравилась сразу всем. А такой песни не получалось. Певец жаловался на себя, жестоко казнил свои песни. Жалобы его услышало Солнце и сказало:

— Милый мой! Если бы всем нравилось одно и то же, тогда бы остановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в ограниченности стремлений. Тогда бы тебе незачем было писать новые песни...

У самого Евгения Пермьяка есть песни «на все цвета радуги». Но есть у него и своя любимая песня о милом сердцу Урале, о труде, возвышающем человека, о светлой правде Коммунизма. Мотив этой песни отчетливо звучит и в романах писателя, представленных на страницах четырехтомного собрания его сочинений, радуя и возвышая душу читателя.

Виктор Полторацкий



КАЗКА

О СЕРОМ ВОЛКЕ

РОМАН

Все ладилось у Петра Терентьевича Бахрушина, и казалось, неоткуда было ждать даже самого малого облачка, которое могло бы омрачить это ясное утро.

После объезда полей и участков, довольный увиденным, он пребывал в самом разотличном настроении. Яровые пошли в такой рост, что хоть не уходи с поля. Коровы, несмотря на жару, не сбавляли удою. Наконец прибыли долгожданные двадцать четыре тонны кровельного железа. Солнышко и то словно подмигивало в этот день удачливому председателю.

Разнуздав и привязав к правленческой коновязи Жимолость, Петр Терентьевич поздоровался с приезжими плотниками, прошел в старый, тесный председательский кабинет. И там, будто по его заказу, из приглушенного настольного репродуктора послышался «Танец маленьких лебедей».

Музыка — добрая спутница Петра Терентьевича. И в нелегкие годы жизни он обращался к ней со своими раздумьями.

Человек сердечный и тонкий, Бахрушин огрублял себя, точно стесняясь показать людям свой мир чувств и переживаний. Не всегда удобно сидящему человеку, да еще занимающему видное положение, восторгаться чарующей мелодией, которая, смолкнув, все еще продолжает звучать где-то в забеленной временем голове.

Дослушав «Танец маленьких лебедей», выключив репродуктор, Петр Терентьевич подошел к письменному столу и увидел под старинной гирькой продолговатый белый конверт, оклеенный иностранными марками.

— Сашунька! — позвал он секретаря-машинистку. — Где ты?

Вошла худенькая белокурая девушка в легком маркизетовом сарафанчике.

— Я тут, Петр Терентьевич. Сводку перепечатаваю.

— Оказывается, письмо какое-то пришло, а ты хоть бы что.

— Так я же не хотела мешать... из «Лебединого» ведь передавали...

Петр Терентьевич посмотрел на девушку и с напускным безразличием сказал:

— Неужели из «Лебединого»?.. А я как-то мимо ушей пропустил.

— Да ладно уж, Петр Терентьевич, — улыбнулась девушка. — Лебедята-то все еще, наверно, у вас перед глазами скачут.

— Может быть. Только теперь время служебное. А мы с тобой люди солидные. Так или нет?

— Наверно. Особенно я.

Бахрушин расхохотался.

— Откуда письмо, Сашуня?

— Из Америки, Петр Терентьевич.

— Из какой Америки?

— Из Нью-Йорка, Петр Терентьевич. Вот. Тут написано.

Бахрушин надел очки, прочел.

«Господину президенту колхоза «Коммунистический труд» Бахрушину Петру Терентьевичу».

— Да кто же меня может знать в Америке по имени и отчеству?

Девушка не ответила.

— Это письмо, вернее всего, о бычках, — высказал догадку Бахрушин. — У нас нынче пять племенных бычков на экспорт берут. Что ж ты не вскрыла, не прочитала? Доложила бы. Как положено секретарю.

— Я не должна была вскрывать это письмо, Петр Терентьевич...

— Это почему, если у тебя от меня допуск ко всякой переписке?

— А к этому письму меня никто не допускал, — ответила Сашуня, понизив голос и опустив голову.

Разглядывая далее конверт и прочитав имя отправителя, Бахрушин вдруг умолк. Рука его дрогнула. Кольнуло в боку. Пол под ним слегка качнулся. На мгновение потемнело в глазах, потом снова стало светло. Даже слишком.

— Сашуня, ты иди и допечатывай, что там надо... Да выдерни ключ из двери, чтобы минут с десятка ко мне никто не входил.

Девушка ушла. Бахрушин медлил с распечатыванием письма.

«Значит, не без колокола звон», — вспомнил он о слухе, дошедшем до него еще в прошлом году.

А слух состоял в том, что брат Петра Терентьевича, Трофим, считавшийся убитым сорок лет тому назад под Омском, живет в Америке.

На это никто тогда не обратил внимания, тем более что слух принес прожженный враль и забулдыга фотограф, кочевавший из одной районной газеты в другую.

А теперь не оставалось сомнений — Трофим жив.

Петр Терентьевич вскрыл конверт и вынул вчетверо сложенное письмо, из которого выпала фотографическая открытка.

С открытки глядел человек лет шестидесяти. В шляпе. В хорошем клетчатом пиджаке. При галстуке.

Это был Трофим. Постаревший и обрюзгший, но не потерявший крутого излома посевших бровей. Та же знакомая отцовская горбинка на носу, тот же широкий лоб и та же ямка на подбородке. Он смотрел со снимка на Петра Терентьевича не заносчиво, не возвышая себя над ним, а даже наоборот — взгляд Трофима показался Бахрушину усталым и скорбным.

Бахрушин имел обыкновение прежде разглядеть нового человека, а потом начинать с ним разговор. Так он поступил и теперь. Рассмотрев Трофимову карточку, он принялся читать письмо, отпечатанное на пишущей машинке куда более четко и опрятно, чем это делала правленческая машинистка Сашуня.

«Мая 12 дня 1959 года.

Город Нью-Йорк.

Любезный брат мой Петр Терентьевич!

Не удивляйся, мало ли чего не случается на белом свете. Хотел я прожить мертвым для тебя, для первой моей жены Дарьи Степановны, для всех, кто меня знал. Да не сумел.

После того, как я отступил с Колчаком из родных Бахрушей, мне много пришлось постранствовать. От Колчака я ушёл под городом Омском. Потому что я раньше других понял, что ему скоро будет полный разгром, и я не захотел ради отяжки этого полного разгрома класть мою молодую голову. Перебежать фронт ко красным я тоже боялся, потому что не мог ожидать пощады даже от тебя, моего родного брата. И я подался в Шанхай. А из Шанхая уплыл искать счастья в Аме-

рику. Потому что мне в России ни от какой власти пощады ждать было нельзя. Если бы даже взяли верх белые, они бы меня тоже прикончили как дезертира. Ведь я же убёг из ихней армии.

В Америке спервоначалу жилось мне впроголодь. А потом я повстречал русских кержаков. Они-то меня и пристроили работать на ферму в Нью-Йорк-штате, к одному старому и богатому фермеру по имени Роберт. Этот Роберт мною очень дорожил, а потом он помер, а я остался при его вдове по имени Эльза. Она на семь лет старше меня. У нее от Роберта дочь. А у меня от нее никого и теперь-то уж, само собой, никого и не будет. По званию я считаюсь фермером с наемным трудом. Несмотря на это, ваш посол уважил мое чистосердечное прошение, в котором я, как принявший молоканскую веру, ничего не утаил, и велел пустить меня в Советский Союз на тридцать дней, не считая проезда туда и обратно. И наш департамент тоже не усмотрел в том, что я должен повидать брата и родное село, ничего противоречащего. За меня хлопотал Джон Тейнер. Он пишет разные разности в газетах и поедет со мной, чтобы описать, как я приеду в родное село и как я там буду жить. К тому же я, как молоканин, не должен умереть, не вымоливши не для себя, а для своей души прощения на коленях у тебя и у Дарьи Степановны, которую я бросил ради того, что боялся умереть молодым.

И если ты не простишь меня, Петрован, и непустишь посидеть в доме, где я родился и вырос, то я хотя бы, как странник, постою под родимыми окнами, посижу на могиле отца и матери и отбуду обратно в Нью-Йорк-штат на свою ферму.

Про тебя и про Дарью мне прочитали из ваших газет, где было напечатано про то, что вас вознаградили за новую породу коров орденами. Тогда-то я и возымел желание безотлагательно побывать в Бахрушах.

Знай и верь мне, мой брат Петрован, что я еду с открытой душой. Кормить себя не заставлю. Мне наменяли вашей валюты достаточно. Не имей и ты зла на меня. Встреть меня тоже с открытой душой, если даже мои грехи незамолимы перед тобой и перед моей первой женой, Дарьей Степановной.

Жить нам, Петрован, теперь уж осталось не так долго, и мы должны расстаться на этом свете как люди.

Спорить нам тоже больше не о чем. Ты это поймешь, когда я тебе расскажу все без утая и откроюсь перед тобой, как на духу».

Далее следовала подпись с твердыми знаками, написанная дрожащей рукой:

«Трофимъ Т. Бахрушинъ».

Четырежды перечитав письмо, стараясь как можно больше увидеть не столько в его строках, сколько сквозь них, Петр Терентьевич позвал Сашуню, попросил ее отвести Жимолость на конный двор, а сам принялся звонить в гараж, чтобы ему выслали «какую ни на есть машинку, хоть бы даже самосвал».

Не прошло и десяти минут, как Бахрушин мчался на большой пожарной машине в райком.

II

И Дарья Степановна, «похоронившая» сорок лет тому назад своего мужа Трофима, в этот же день получила письмо из Америки. Письмо было доставлено молодой почтальоншей Аришей в телятник, где в ожидании ветеринара находилась Дарья Степановна. Оказавшись не при очках, она попросила Аришу, доведившуюся ей дальней родней по второму мужу, прочесть письмо.

Письмо сокращенно повторяло написанное Петру Терентьевичу. Неожиданность известия произвела на Дарью впечатление куда большее, нежели на Бахрушина. Но самолюбивая женщина постаралась скрыть это.

Ариша, надеявшаяся удивить село пересказом письма, так неожиданно прочитанного ею, спросила:

— Что же теперь будет-то?

Дарья Степановна, мельком взглянув на полученную вместе с письмом фотографическую открытку, как бы между прочим заметила:

— Может быть, для тебя, Оринька, и занятно было читать такое письмо, а для меня оно как неспрошенный сон, который забываешь, едва откроешь глаза.

— Что и говорить, тетя Даша... Сны, как и письма, не спрашивают, когда им прийти. И другой раз до того нахально приходят — даже и не знаешь, что с ними делать.

На это Дарья ответила Арише:

— А что же тут не знать-то? Если они такие бессовестные, так нечего с ними и церемониться...

Ариша насторожилась, а Дарья Степановна принялась рвать фотографическую карточку на маленькие клочки и бросать их в сточный желоб телятника. И когда она собралась поступить так же с письмом, Ариша остановила ее:

— Что ты, тетя Даш... Петру Терентьевичу надо показать.

— Пожалуй, что так, — согласилась Дарья. — Передай тогда его председателю. У меня сегодня прививка в телятнике, и мне как-то не до Америки и не до кого.

Хотя Дарья Степановна и пыталась скрыть волнение, вызванное письмом, все же зоркая почтальонша заметила бледность на ее лице и верный признак потери спокойствия — подергивание левого века. Значит, все это не было безразлично ей, и читай бы она письмо одна, может быть, клочья фотографической карточки не уплывали бы теперь, желтея и корбясь, в желобе стока.

— Сегодня же лично вручу Петру Терентьевичу, — весело пообещала Ариша, довольная предстоящим приездом загадочных американцев.

Девушка, покинув телятник, оставила Дарью с ее думами и воспоминаниями, и они, нахлынув, шумели в ее голове так суетно, что ей, может быть впервые в жизни, было трудно разобраться в путанице чувств и решить, как она должна себя вести дальше.

Пусть Трофим — отец ее старшей дочери Надежды, но ведь он никогда не видел ее. Он даже не знает, есть ли у него дочь или сын. Да и захочет ли Надежда признать ожившего «мертвеца» своим отцом: она называет этим большим словом другого человека, воспитавшего и любившего ее... Но все же она порождена Трофимом...

Можно переписать метрики, изменить отчество, фамилию, считать трижды расторгнутым брак, но, несмотря на это, Трофим и Дарья навсегда останутся отцом и матерью Надежды.

Можно разорвать или сжечь отпечаток лица Трофима на фотографической бумаге, но нельзя уничтожить его черты — в изломе бровей, в повороте головы и в характере — у Надежды.

Никогда не идущая на уступки человеку память не может солгать, приуменьшить, прибавить, зачеркнуть или хотя бы изменить минувшее, прожитое, пережитое.

Напрасно Дарья, обороняясь от воспоминаний, наступающих на нее, требует у своей памяти забыть короткую жаркую пору своей юности. Память не хочет этого.

Ветеринарный фельдшер пришел и занялся вместе с молодым практикантом прививками племенным телятам. И, кажется, можно бы умолкнуть памяти, можно бы перестать думать о том, что было так давно и что непристойно будить на пятьдесят восьмом году жизни. А память не щадит Дарью и, как во сне, наяву сменяет одно видение другим.

Вот она, старая улица Бахрушей, где под раннюю ненастную пасху ее впервые увидел Трофим...

Вот он, дальнешутёмовский черемуховый лог. Белый-белый... И она, под стать цветущей черемухе, в белом платье, крадучись пробирается по Трофимовым засечкам на деревьях в зеленый тайник...

А вот большая горница в доме Трофимова деда — тряпичника Дягилева. Свадебное застолье. Кружится голова от любви и счастья. Трофим не сводит с нее глаз...

Нет, память не хочет найти даже малого темного пятнышка в ее первой и, может быть, единственной любви. Конечно, потом тоже были хорошие чувства к Артемию... Но это были другие чувства. Может быть и лучшие, но другие.

И если б Трофим тогда под Омском не сфальшивил, заставив другого написать о его смерти письмо, то, может быть, и можно было бы простить его, как заблудившегося человека. А он сознательно, ради своей жизни, бросил и растоптал ее... Значит, ему было все равно, где бы ни жить, с кем бы ни жить, лишь бы жить.

У него и теперь, видать, не достало простого уважения к ней. Ведь не для ее радости он вздумал объявиться, а для себя. Подумал бы: зачем ей надо видеть его через сорок лет?

Зачем? На что?..

Шляпу завел, да ничего не накопил под шляпой.

Он хочет выпросить прощение. Пускай... А зачем оно

ему? Что оно изменит в его жизни? Для самочувствия? Для облегчения? А это значит — тоже для себя.

А что же для нее?

Подумал ли, бессмыслица, что само его письмо теперь, как сальное пятно на ее ничем не замаранной жизни? А если он явится сам... Это уж не пятно, которое легко смыть прямыми и открытыми словами. Если он явится, то ей придется объяснять народу гораздо больше, чем Арише о письме. Пойдут расспросы, и дня не хватит на ответы.

Не выйдет, мистер Т. Бахрушин! Не будет этой встречи. Ни с ней, ни с дочерью Надеждой, ни с внуками. Нет их для него. Другие — как хотят. Всякий решает за себя. Не посол же ведь, не представитель какой-нибудь, к которому нельзя не выйти, нельзя не пригласить отведать хлеба-соли...

Турист! Ну и туристствуй как угодно. Она-то тут при чем? И если уж он хочет ее помнить, так пусть помнит той, какой она была.

Она не встретится с ним ни за что. Это решено...

— Говорят, письмо какое-то вы, Дарья Степановна, из Америки получили? — вдруг ни с того ни с сего спросил фельдшер, сделав прививку очередной телке.

«А откуда тебе это известно?» — хотела было спросить Дарья Степановна, но, тут же догадавшись, откуда известно фельдшеру о письме, ответила:

— Да, Иван Кузьмич, я получила письмо с того света. Да только оно ко мне имеет мало касательства. К племяннику хочу поехать. В Кушву.

— Зачем это вдруг?

— Затем, чтобы без меня к другим людям это письмо имело меньше касательства, — пресекла она показавшийся ей неучтивым начатый разговор и ушла из телятника.

III

Немного времени попало, чтобы «американское письмо», пересказанное Аришей с добавлениями и домыслами, вызвало оживленные пересуды не только в Бахрушах, но и в соседних деревнях.

Заговорило старое, казавшееся навсегда умолкнувшим прошлое. Вспомнились далекие семейные подробности первых Бахрушиных, по фамилии которых и была

названа нынешняя «столица» объединенного колхоза.

Если собрать только самое интересное, рассказанное в эти дни, то едва ли нашлось бы перо, способное перенести все это на бумагу.

Глубже и старательнее других перекапывали старину Тудоевы. Воспоминания семидесятилетнего шефконюха Кирилла Андреевича Тудоева и его жены Пелагеи Кузьминичны, или в просторечии Тудонхи, заслуживают наибольшего доверия, хотя эти люди, склонные к сказительству, и отдавали чрезмерную дань разукрашиванию прошлого.

Сейчас мы, отобрав из рассказанного стариком Тудоевым главное и отжав из этого главного излишнюю велеречивость, узнаем, как началась рознь между двумя братьями Бахрушиными, родившимися под одной крышей. Пусть этот экскурс в прошлое займет добрых три главы, но это необходимо для понимания дальнейшего.

Вот как выглядит сокращенное повествование Кирилла Андреевича Тудоева.

— Там, где теперь стоит бахрушинский дом, годков семьдесят тому назад жалобно догнивала горемычная избушечка на одно окно. Жил в этой избе чернявый мужик Петрован, а при нем сын Терентий, отец нашего председателя, Петра Терентьевича.

Терентий Бахрушин был собою ладен и статен. Смоленских кудрей на три бы головы хватило, и ума тоже было достаточно на четырех волостных писарей того времени. Росту, силы и всего прочего хоть отбавляй. Редкую девку в жар-холод не бросало, когда Тереша по улице шел и растягивал выбеганную им на потешных бегах двухрядную венку.

А достатку у Бахрушиных не было. Кобыла пегая о трех ногах да коровенка чуть побольше нашей складской собаки. Земля хоть и была, да мало. Хлебушко только для души сеяли, а для брюха его при заводах зарабатывали. Руду на тачках в доменные печи закатывали. Заработки были такие, что новой избы не поставишь и хорошей одежды-обуви тоже не справишь. Вот и задумал Петрован Бахрушин женить своего сына Терентия на богатой. Была такая. Тряпичникова дочь. Домна Дягилева. Ее отец не пахал, не косил, а рыскал по округе, тряпки да кости, рога да копыта вынюхивал, на разную шушеру-мушеру выменивал. Дом Дягилева и по сию пору стоит. К нему наш старый клуб прирублен.

По старой мерке Трофим Дягилев у нас в Бахрушах козырем слыл. Двор крытый. Четыре амбара. Семь лошадей... Три работника по скупке рогов да тряпок. А дочь одна. Лицом хоть и не вышла, телом тоже не удалась, зато приданого за ней было чистыми деньгами тысяча, не считая остального-прочего. А по тем годам тысяча — это табун коней в сорок голов, а то и в пятьдесят, если необъезженных у степняков закупать. Только одних шуб, рассказывают, у нее было четыре. И одна из них лисья. А уж про тряпье и говорить нечего. На дня по три полушалка меняла — Терентия завлекала. А Терентий и ухом не шевелил. Другую во сне видел. Лушу. Лесникову дочь из Дальней Шутёмы.

Луша росточка была малого, а красоты сильной. Не одну ночь, не одну весну Терешина гармонь по лесниковой дочери убивалась. Даже старухи вчуже подолами слезы утирали, когда слышали, как по ночам за рекой венка тоскует — Лушу зовет.

Только не всех гармонь разжалобить может. Особенно нужду. А нужда в тот год была — дальше некуда. Хлеб вымок, и деревенских на заводы брали худо. То ли спросу на железо не было, то ли прогар какой случился. Хоть по миру иди...

Видит Петрован, что тряпичникова тонконогая оглобля при людях к Терентию в упряжку просится. Да и тряпичник Дягилев тоже, надо думать, не зря трешки-пятерки Терешкиному отцу ссужал и назад не брал. Намеки подавал. А пять рублей по тем временам — две овцы с гаком. Или соха с хорошим лемехом. Деньги!

Долго раздумывал отец Терентия. Соображал, прикидывал, то и это принимал во внимание, а потом как-то надоело ему слушать венскую малиновую тоску. И он решил сказать сыну сыромятным чересседельником свое последнее отцовское слово.

Стихла залиivistая, голосистая плакальщица. Повеселела желтозубая жердь Домна Дягилева. Залилась неутешными слезами у лесника ягодка-земляниженка. Запели девки в Бахрушах:

Закатилось... Ой, да закатилось
Солнце красное за синий лес...

Получил отец в задаток половнну приданого: пятьсот рублей. Бревен купил, плотников нанял, потому как немисливо было невесте с четырьмя шубами да пятью

сундуками в бахрушинскую малуху об одной раме въезжать.

Вошла Домна в новый дом купленного для нее Терентия. Навела красу-басу в больших горницах. Не домотканые, а в Тюмени купленные половики постлала, филейные шторы повесила, горку с золоченой посудой поставила. Белым самоваром поклонилась Домна свекровке Бахрушихе, злоказовское сукно свекру поднесла. И что ни праздник, то новое подношение.

Не жалел тряпичник Дягилев платы за купленного зятя. Самый первый граммофон у нас, в Бахрушах, запел именно в доме Терентия. Запел этот граммофон, когда Дягилев дедом стал, а Домна — матерью.

Теперь-то уж прощай навечно, земляника-ягода! Граммофон на все село нерушимую привязку мужа к жене славит. Эту-то привязку в честь деда-тряпичника Дягилева Трофимом окрестили.

Весело пел граммофон, а недолго. Попу допевать пришлось. Мало пожила после крестин роженица. С неделю. Не по соломинке был колосок, не по ветке яблоко. Пудовым ребенком родился Трофим. Дягилев при всей родне на тряпичном безмене внука взвешивал. Богатырским весом похвалялся. А вес-то его матери жизнь персвесил...

Скончалась Домна. Овдовел Терентий. Приуныл Дягилев.

А моя суженая Пелагея Кузьминична только-только на свет появилась... Ее-то маманя, моя будущая теща, и пожалела осиротевшего мальчика. Двоих стала грудью кормить. Стало быть, маленького Трошку и мою Палашеньку. А отсюда вы можете сделать организационные выводы. Значит, Трофим Бахрушин и моя жена — молочные брат и сестра. А коли так, пусть она дальше рассказывает, а я трубочку пока покурю.

IV

Продолжение этого рассказа, по признанию большинства бахрушинских стариков, в устах Пелагеи Кузьминичны Тудоевой звенело куда лучше.

Поэтому пусть она и продолжит прерванную нить повествования.

Вот ее голос:

— Днями да неделями, месяцами да годами сол-

нышко свой счет ведет, а язык свою меру знает. Десяток слов складно сложил — десять лет в побывальщине прожил...

Году не прошло, как Луша простила Терентия его сыновнюю покорность родителю. К тому же в те поры люди под богом ходили, во всем божий промысел видели... Простила Луша и Домну Дягилеву за то, что та у нее суженого увела. И как не простить, коли Домна за это смерть приняла. Не одна Луша так судила, все так промеж себя думали, всем селом Лушу за Терентия сватали. На что старый лис Дягилев — и тот на свадьбу сулился. Его ведь внук у Терентия рос. Как о хорошей мачехе для внука не порадеть!

Пошла Луша перед венцом на Домнину могилу. Посадила там невымерзающий многолетний розан и дала нерушимую клятву покойнице быть родной матерью маленькому Трофиму. Такой она и была до смутного года, когда пришел Колчак... Ну да не будем вперед солнышка забегать. До Колчака-то Луше еще лет восемнадцать жить надо.

Вошла Луша в дом суженого. Посветлело в доме Терентия. В материнскую холу попал годовалый Трофим. Утром, только откроет глаза, Лушу матерью кличет. Как не любить такого мальчика, коли он от голоса до волоса, от глаз, от лица до последнего родимого пятнышка в Терентия уродился. Будто Домна для него была как чужое гнездо для кукушоныша...

А вскорости Лукерья и своего сына принесла. Нашего председателя колхоза. Мала я была тогда, а помню Петра Терентьевича у материнской груди. Он тоже, как и Трофим, родился тяжеленьким боровком, с легким норовком. Таким и теперь остался. Что в голову войдет, колом не выбьешь. И помяните мое слово, перевезет он всех нас из старых Бахрушей в Новое Бахрушино... Ну да не будем счет годам путать, старое с новым в одном корыте мешать.

Расцвела Луша. Еще краше стала, чем в девках была. Никакая одежда ей красоты убавить не могла. В холстине лебедем плыла. В дерюге королевной ходила. Терентий ее только на божницу не сажал. На руках из бани носил. И свекровь со свекром Лушу почитали. Как-никак совесть-то мучила. Они ведь, а не кто-нибудь, Домну Терентию высватали. Хоть и не поминали об этом, а помнили.

Тряпичник Дягилев тоже оказывал ей всякое. Подсоблял, чем только мог. Раскошелливался. Одаривал Лукерью. Названой дочерью величал. Богоданной матерью называл. А на уме свое держал. Наследником своего тряпичного дела внука Трошеньку видел. Время выжидал. Что ни говори, от родного отца сына не отберешь. А когда станет на ноги Трофим, сам в дедов дом придет. Для кого-то ведь были положены в Сибирском торговом банке семь тысяч рублей. На кого-то записан дягилевский дом... А пока да что — ладить надо. Надо любить ненавистную Лушку, возить ей шелковые полупалки с Ирбитской ярмарки, гладить по головке ее отпрыска Петьку.

Если умным хочет быть волк, у лисы повадку перенимает.

Так оно и шло до поры до времени. А как время пришло, придрался тряпичник к Терентию за то, что не может он после церковноприходской школы учить Трофима в городе. Переманил внука в свое тряпичное логово и стал ожесточать его сердце не только против мачехи, но и против родного отца. Долго, видно, старик выискивал да копил в себе змеиные, гадючьи слова, коли сумел отколоть Трошку на четырнадцатом году от бахрушинской семьи. Сумел внушить внуку, что его покойную мать никогда не любил Терентий. Не брезговал серый волк в лютой злобе и напраслиной. Плел, будто Домна не от родов померла. Наговаривал, что будто Лушкины лесные чары свели Трофимову мать в могилу...

Знал серый, что делал. Умел кривить своей тряпичной душой. Вымещал зло за свои денежки, за дом, в котором жили Бахрушины. Волчонком растил внука старик.

Трошке еще и шестнадцати годов не минуло, как делово прозвище «серый волк» на него перешло.

Чужим стал Трофим родному отцу. Дед теперь для него был одним светом в глазу, бабка — родимой матерью, а тряпье да кости, рога да копыта — наживой. Также стал рыскать молодой волк по нашим деревням и не одни рога да копыта высматривать... Скупал все, на чем можно было нажиться. Скотом переторговывал, сбрусей — и той у несчастных пропойц не брезговал. Водку бутылками при себе возил, чтобы не утруждать горемык в кабак бегать...

Вот еще когда у двух братьев дорожки разошлись в разные стороны. Один волчьей тропой побежал свою добычу вынюхивать. Другой — трудовой дорогой с народом пошел, для всех счастье добывать. Только об этом другой разговор. И для него, пожалуй, мой бабний голос тонок будет. К тому же Кирилл лучше знает про то, как Трофим беляком стал, а наш Петр Терентьевич с семнадцати годов за Советскую власть воевал.

V

Теперь опять следует послушать рассказ старика Тудоева.

— После того как грянул гром и сотряслась вся наша земля и я, испораненный, испрострелянный, приковылял на костылях в Бахруши, Советская власть в полную силу окоренялась.

К той поре нашему Петру Терентьевичу совсем еще мало годов было, а он уже, как сочувствующий, в народной милиции добровольцем состоял. А Трофиму двадцать стукнуло, и у него была тайная зазноба. Сирота из Дальней Шутёмы. Даруней звалась, по метрикам Дарьей значилась, по отцу Степановой величалась. Узнаете, о ком речь идет?

И была тогда Дарунюшка, как березка весной. Гибкая, да не хлипкая. Все умела. И хлебы пекчи, и мыть, и стирать... В доме изобиходить, корову подоить. И грамоте знала... Умела читать и писать и на счетах считать... За это-то и подобрал ее старик Дягилев. Работницей в дом взял сироту, а того и не знал, что Даруню Трофим к деду подослал. До свадьбы, стало быть, свою невесту сумел в дом ввести. А у тряпичника для Трофима другая была на примете. Тоже ни кожи, ни рожи, как у Домны-покойницы, зато в придачу к ней лавка. Бакалейная. Хоть и отобранная лавка была под какой-то там склад, а надежда не терялась... Дягилев только для виду на своих воротах красный флажок пристроил да всякие слова против царя и буржуев говорил, а про себя свое держал. Другую власть ждал. Умел волк овечкой прикидываться. Думал: как в пятом году, пошумят, побунтуют, и все дело опять царем кончится.

Поладил Дягилев с бакалейным лавочником. Икону снял, крест целовал в том, что Трофим его зятем будет.

Знал Трофим, что Даруня деду не по нутру придется.

Знал, да поплеывал. Потому как молодой волк входил в полную силу. Сумел подглядеть, куда дед зарыл не доверенные банку деньги. Перекопал Трошка горшок с дедовским золотишком в другое место. В свое. И если спросит дед, куда делись николаевские рыжики, то откуда об этом знать Трофиму, коли он про них «и слыхом не слыхал, и видом не видал»...

По своему образу и подобию воспитал милого внука серый волк Дягилев.

А вскоре опять темнеть стало. В Уфе белое правительство объявилось. Притихшая нечисть голову начала подымать. Мобилизация. Трошка, само собой, сбег. Говорят, в лесу с какой-то бандой отсиживался, и будто бы эта банда звалась «серые волки». Правда это или нет, сказать не могу. И звалась ли эта банда по Трофимову прозвищу, которое на него с деда перешло, тоже не знаю... Только я сам видел: перед тем как прийти Колчаку, молодой серый волк белым волком обернулся. Да и один ли он? Кто-то же звонил в колокола... Кто-то же встречал колчаковский батальон с иконами.

Белые — из лесу, а красные — в лес.

На полукровном дягилевском жеребце прискакал Трофим сам-пят к родному дому... И к отцу, к Терентию:

«Где Петька?»

«А зачем тебе он?» — спрашивает родной отец родного сына.

Спрашивает и в глаза Трофиму глядит. Родитель ведь, со своей кровью разговаривает.

Тут Трофим, сказывают, не вынес отцовского взгляда. Отвел глаза и давай плести то да се:

«Я, тятя, спасти его хотел. Глаза ему открыть. Поручиться за него хотел».

Ничего на это не сказал Терентий сыну. На этом и разошлись. А Трофим за Урал ускакал. Москву брать задумал, под малиновый звон в Кремль хотел въехать.

А мы с Петькой, или, как бы сказать, с Петром Терентьевичем, в лесу хоронились. Луша хорошие места знала. Начнешь нас искать — себя потеряешь. А лесникова дочь там как дома. Даже пельмени нам носила. Зимой только худо было... Хоть и суха и тепла медвежья берлога, а все-таки для человека она не жилье... Ну да незачем себя героем выставлять. Выжили — и слава тебе... Лукерья Васильевна. Она нам о близком

конце белой власти сказала. Беженцы в городе обна-
ружились. Кто побогаче, в Иркутск, в Красноярск без
пересадки подались. А прочая «бакалея» на конях от
фронта текла.

Вскоре и Трофим в Бахрушах объявился. На Москву
шел, да до Казани не дошел. Раненый приехал. Ранеш-
ка, говорят, была так себе, царапина. А доктор ему
срок ранения все продлевал и продлевал. На деньги
тогда какую хочешь бумагу можно было выправить.
Хоть попом, хоть дяконом в паспорте назовут. Лишь
бы наличные. Ну да не в этом соль... А соль в том, что
другая рана у Трофима не заживала. В сердце. Любил
Трофим Даруню. Не меньше, чем отец его Терентий
Лушу любил... Видно, не вовсе старик Дягилев остудил
Трофимово сердце. Не всю, видно, отцовскую кровь
отравил...

Закон принял с Даруней Трофим. В город свез. Фор-
менной женой, Дарьей Степановной Бахрушиной, ее в
дягилевский дом ввел.

Мало только пришлось Трофиму в меду купаться,
в лазоревых Даруниных глазах себя видеть. Загребели
красные пушки над городом. Потекли беляки на Тю-
мень, на Тобольск, за Туру.

Чуть ли не последним ускакал Трошка из Бахрушей.
Деду наганом пригрозил:

«Если не сбережешь мою Даруню, под землей из
твоего мертвого тела кости повытрясу...»

А через год или больше письмо пришло. От солдата,
который будто бы и похоронил убитого Трофима под
Омском. И для крепости этого обмана в письме была
Дарунина карточка, проткнутая штыком в самую
грудь...

Геройски, стало быть, умер хитрец. В штыковом
бою...

Вот вам и весь сказ-пересказ. А как он живым ока-
зался, как в Америку попал, у него надо поспросить,
если он в самом деле в Бахруши явится...

Такова предыстория сорокалетней давности, позна-
комившись с которой, мы можем вернуться в наши дни.

VI

Как и в старые годы, так же и теперь между севом
и сенокосом наступает некоторый спад в полевых рабо-
тах, если не считать прополки.

Высвободились досужие вечерние часы и у председателя колхоза. Эти часы еще ранней весной были обещаны ребятам на строительство новой большой голубятни.

Дети Петра Терентьевича выросли, переженились и поразъехались. В доме Бахрушина он да жена Елена Сергеевна и ни одного внука.

Любя детишек, Бахрушин оказывал им немало внимания. Внимания не только в виде шефства старшего над младшими. Не одними лишь правленческими заботами. Это само собой. На редком правлении не решался «ребячий вопрос». То лодки, то зимние поездки в город на каникулы... Организация детской библиотеки... Создание Дома пионеров. Небольшого, но все же дома... Делом рук Петра Терентьевича был и музыкальный кружок.

Над этим сначала кое-кто посмеивался... Поговаривали о том, что в колхозе ни маслобойки, ни мельницы, зато четыре рояля есть... Но не прошло и года, как появились первые молодые музыканты, и кружок начали хвалить.

Вот и теперь, выполняя обещанное детворе, Петр Терентьевич сооружал вместе с ними объединенную голубятню. Идея строительства этой голубятни возникла с драки двух маленьких голубятников. Один из них переманил у другого вороную голубку.

— Отдай!

— Плати выкуп — отдам!

Дальше — больше. Драка. Дело как будто нормальное. Как можно не подраться мальчишкам! Но, задумавшись над этой дракой, Петр Терентьевич вспомнил старые худые времена, когда самым главным в голубеводстве была приманка чужих голубей, выкуп их, перепродажа и даже кража...

— А почему, — сказал тогда Бахрушин, разняв драчунов, — вам, молодым колхозникам, не построить общую голубятню? Ни драк бы, ни ссор, ни угонов, ни загонов. И голубям раздолье в большой голубятне. И вам любо большую стаю в небо поднять...

Ребята — практический народ. Они сразу поставили вопрос ребром.

— А досок кто, дядя Петя, даст? — спросил один.

— Да ведь и сетка нужна... Какая же без сетки голубятня! — подсказал второй.

Пообещав ребятам «обмозговать» это дело, Петр Терентьевич назвал и срок, когда все голубятники села должны собраться вместе с ним и решить, как жить голубям дальше.

Собрание состоялось. Не до него было Петру Терентьевичу в эти дни. Приезд Трофима не выходил из головы. Пусть Бахрушин не придавал этому какого-то особого значения, но все же этот приезд был как горошина в сапоге. Петру Терентьевичу, как и Дарье, появление Трофима казалось каким-то не то чтоб оскорбительным, но, во всяком случае, не украшающим их.

Что ты ни говори, как ты ни объясняй, а Трофим его родной брат. Ну какая разница, что у них разные матери! Но факт остается фактом — он приедет и скажет: «Здравствуй, брат». Понимаете — брат! И Петр Терентьевич не может ему сказать: «Какой я тебе брат?» И даже если он мог бы сказать это, так ведь все-то знают, что Трофим его брат.

Брат не отвечает за брата. Это верно. У очень известных и хороших людей бывали плохие братья. И от этого хорошие люди не становились хуже. Но все-таки лучше, если бы таких братьев не было.

Бахрушин оберегал свой авторитет. И, может быть, держал себя даже в излишне строгих рамках. Но ведь не для себя же он это делал, как и не для себя ревностно держался за председательское кресло, твердо веря, что он нужен на этом посту. Нужен, особенно после трудного, не обошедшегося без свар и склок объединения отстающих колхозов с передовым бахрушинским колхозом «Великий перелом». Желая показать тогда, что малые колхозы не вливаются в большой, а соединяются все вместе, он предложил назвать новый колхоз новым именем. «Коммунистический труд». И теперь даже те, кто мутил при слиянии ясный день и называл Бахрушина захватчиком их земель и угодий, стали величать Петра Терентьевича справедливым укрупнителем и радетелем для всех. А дня три тому назад все же опять просочилось старое, и старуха из окраинной деревни Дальние Шутёмы позволила себе кольнуть Петра Терентьевича за то, что ей не «подмогли» кровельным железом. Она сказала: «Ну так ведь один брат в Америке дела вершит, а другой здесь возглавляет».

На это можно и не обращать внимания, но все-таки...

По глубокому убеждению Бахрушина, человек, за-

нимающий пост председателя колхоза, не должен быть уязвим ни в чем.

Секретарь райкома Федор Петрович Стекольников, с которым Бахрушин прошел почти всю войну, можно сказать — его фронтовой товарищ, и тот, прочитав Трофимова письмо, сказал:

— Не кругло, понимаешь, для тебя все это получается, Петр Терентьевич.

Именно, что «не кругло». Ничего особенного, а «не кругло». Лучшего слова и не подберешь.

Начав строить с ребятами голубятню, Петр Терентьевич теперь очень радовался этому. Голубятня вводила его от мыслей о брате. К тому же, сооружая голубятню, Бахрушин нашел умный ход — подбросить ребятам идею создания маленькой птицефермы.

— Хорошо-то как будет! Куры при голубях. Голуби при курах... Выкормил сотню-другую цыплят — глядишь, опять прибыль. На эти деньги, может быть, и лис через год, через два можно завести. Или кролей... А то и лосятник соорудить...

Ребята взвизгивали, кувыркались от восторга. Особенно радовался Бориско — внук Дарьи Степановны, приехавший к бабушке на каникулы. Ведь он не как все остальные. Он состоит в родстве с Петром Терентьевичем. Сродный или, общепонятнее, двоюродный внук дедушки Петрована.

«Эх, если б знал Борюнька, — думал Бахрушин, — кто его родной дед...»

Оказывается, Трофим и тут не нужен со своим приездом...

Между тем на строительстве появились новые лица. Птичники. Вожатый только того и ждал. Ему всячески хотелось «подключить» и пионерок. И теперь они «подключились» к строительству...

Среди мальчишек Петр Терентьевич и сам становился мальцом. Увлекая их, он увлекался сам. А за ним увязывались и другие почтенные люди, тоже, наверно, не видевшие веселого детства и доигрывающие его в зрелые, если не сказать более, годы.

Чего-чего, а любить детей, с головой уходить в их затеи, даже играть с ними никогда и ни перед кем не стеснялся председатель. Это были святые часы его досуга. И если бы чей-то язык посмел хотя бы отдаленным

намеком высмеять его, у него нашлись бы острые, пригвождающие забияку слова.

Где-то здесь нужно сказать об особенностях разговора Петра Терентьевича. Он разный в своей речи. Разговаривая, к примеру, со стариком Тудоевым, Бахрушин находит забытые слова из прошлых лет. Он их не ищет, они откуда-то сами приходят на язык. С приезжим лектором, предпочитающим употреблять вместо привычных коренных слов благоприобретенные из специальных книг, Бахрушин говорит иначе. С ребятами — опять особый разговор. Он даже как-то сам признался:

— Во мне будто срабатывает какое-то реле, которое автоматически переключает разговор, смотря по человеку, с кем говорю.

Но это между строк и впрок, для предстоящих глав.

Голубино-куриная ферма получалась на славу. Вверху — голуби, внизу — куры. Особо — будка для дежурного и сараюшка для кормов. Ребята висли на шее у Бахрушина, радуясь затеям немолодого, но такого близкого и понимающего их человека.

И все-таки приезд американцев не выходил из его головы.

VII

Поздно вечером, вернувшись с Ленивого увала, где возводилась ребячья ферма, Бахрушин сказал жене:

— Лялька, я хоть и делаю вид, что не обращаю внимания на Трофимов приезд, а виду не получается...

Елена Сергеевна Бахрушина, принадлежавшая к людям, не знающим уныния, стараясь всячески развеселить мужа, все же называла этот приезд «черным ненастьем».

— За что только все, Петруша, валится на нашу голову? — ответила она. — Дарья — та хорошо придумала. У нее женская обида. И все понятно... А мы, хоть сто ночей думай, ничего не придумаем. Да и надо ли, Петруша, придумывать? — начала она рассеивать мрачные мысли мужа. — Что мы, должны ему, что ли? Вины перед ним в чем-то? Или у нас слов нет, каких надо, если понадобится разговор?

— Да слова-то найдутся. Самое легкое — слова находить. Ему не много слов надо. По письму видно, что недалеко он за эти годы шагнул. Другое меня беспокоит,

Петр Терентьевич, усевшись рядышком с женой, как всегда, принялся ей выкладывать все, что он думал:

— Понимаешь, Лялька, все эти годы наш колхоз жил сам по себе. В своей стране и своей страной. И все было ясно. Вот общая государственная задача. Вот ее часть — задача колхоза. Решай. Борись. Расти. Пусть не всегда и не все удавалось. Но неудачи и оплошки случались дома. Внутри страны. А теперь оказывается, что до Бахрушей есть дело и другим... Америке.

— Петрушенька,— рассмеялась Елена Сергеевна,— Трофим-то все-таки не Америка.

— Да,— согласился Бахрушин,— Трофим не Америка... Но ведь с ним едет Тейнер. Журналист. А если он журналист, значит, глаз. А чей он глаз? Зачем он едет? Чтобы ничего не увидеть и ни о чем не рассказать?..

— Ну и что?

— Ничего. Только если Тейнер — глаз, то Трофим во всех случаях — другой. Значит, два глаза. Один не разглядит — другой поможет.

— Ну и пусть глядят. Нам-то что? Нам-то что, Петруша? — стала опять успокаивать мужа Елена Сергеевна.

А Петр Терентьевич свое:

— Нам-то, может быть, и ничего, если глядеть не дальше околицы... А если посмотреть пошире, побольше и увидишь. Для нас колхоз как колхоз, а для них частица чуждого им социалистического земледелия, по которой они будут судить гласно. Печатно... И при этом, скажем прямо, без излишнего доброжелательства... Елена! Неужели ты не понимаешь, что в Большом театре Уланова — это Уланова, а в Америке она — Советский Союз?

— Ну почему же я не понимаю? Понимаю,— отозвалась Елена Сергеевна.— Понимаю и разницу между нашим колхозом и Галиной Улановой. Уланову вся Америка видела. Все поняли, какова она в танце... И пиши не пиши, что, мол, то не так да это не этак, никто не поверит. А о нашем колхозе будут судить только двое — Трофим да Тейнер. И как они наши «танцы» опишут, так и будут о нас знать.

— Вот! — громко воскликнул Бахрушин.— За такие слова я готов не знаю что для тебя сделать! Именно как они опишут наши «танцы», такими и будем мы для американских читателей. Конечно,— пораздумав, про-

должил Бахрушин,— одна-две газеты погоды в Америке не делают, но все же моросят... Пусть нашими бахрушинскими пророками, если такие они выищут, достижений Советского Союза не закроешь, но... хоть маленькую тень, да бросят. И я хочу или не хочу, а должен думать об этом, как будто бы я не я, а весь Советский Союз.

Необычная беседа мужа и жены затянулась. Тот и другой, не сговариваясь, решили поискать в эфире «Голос Америки». Все-таки какая-то подготовка к встрече... Не слушая раньше этих передач и не зная, на каком они делении шкалы, Елена Сергеевна поймала органную музыку Баха.

Услышав знакомые величественные звуки, Бахрушин остановил руку жены, сказав:

— Черт с ним с «голосом», засекай «Ивана Севастьяновича». Вот целина так целина. Ни конца, ни края, и кругом — свет.

Глядя руку жены, он заметил:

— И почему наши фабрики фисгармоний не выпускают? Тот же орган, только звук тише.

Елена Сергеевна, довольная своей находкой в эфире, захватившей мужа, подумала: никто не знает, какой он у меня. Может быть, я и сама не знаю всех уголков его такой же широкой, как эта музыка, души.

А Бах звучал... Звучал на весь мир. Наверно, его слышали и звезды. Величавые звуки окрыляли Петра Терентьевича, и Трофим ему теперь казался маленьким догнивающим пеньком на старом болоте Большая Чища, а Тейнер и вовсе опенком на этом пне.

— Да пошли они оба к козе на именины! Нечего нам, жена, и думать о них.

— Давно бы так, Петрован, давно бы так,— сказала Елена Сергеевна и принялась разбирать для сна широкую постель.

VIII

В тот день, когда Петр Терентьевич Бахрушин ездил с письмом из Америки в райком, к Стекольникову, ему не стало яснее, как следует отнестись к приезду Трофима. Принять ли написанное им за действительное или считать это уловкой, скрывающей какие-то иные цели?

И эти «какие-то иные цели» предполагались Бахрушиным и секретарем райкома Стекольниковым главным образом потому, что Трофим обещал приехать не один, а в сопровождении Тейнера. И этот Тейнер, как видно было из письма, собирался описать встречу двух братьев.

Зачем? Разве тот и другой настолько известные лица, чтобы их частную встречу выносить на страницы газет?

У Бахрушина и Стекольникова было слишком мало данных, чтобы прийти к каким-то убеждающим их догадкам. Зато через два дня, когда Федор Петрович Стекольников сам приехал к Бахрушину, все стало гораздо понятнее, хотя и не проще.

Стекольников нашел Петра Терентьевича на «целине». Так называли теперь осушаемую Большую Чищу, числившуюся испокон веков в «бросовых землях».

— Не новости ли привез, Федор Петрович?

— Новости! — сказал вместо «здравствуй» Стекольников, протягивая Бахрушину руку.

— Так не тяни...

— Я и не тяну, а подыскиваю сухое место, где можно сесть.

Бахрушин, глянув на Федора Петровича, лукаво прищурился.

— Других подзадоривай, которые помоложе, а не меня. Я все равно хвалиться не стану. Пусть они хвалятся. — Бахрушин кивнул в сторону стрекочущих бульдозеров, на которых работали парни лет по двадцати. — Я ихнюю молодую удадь себе не приписываю. Только одно скажу, что на этом болоте теперь и кулик не напьется.

Петр Терентьевич повел Стекольникова по рыхлому сухому зеленому ковру, покрывающему до двух тысяч гектаров окаймленной лесом поляны, добрая четверть которой была уже распахана.

Сейчас снова следует напомнить о фронтовой дружбе Бахрушина и Стекольникова. Раненый Петр Терентьевич хотя и не дошел с Федором Петровичем до Эльбы, но не потерял его, вернувшись в Бахруши. Петр Терентьевич уговорил в жарких письмах молодого агронома Стекольникова поселиться в Бахрушах, обещая ему «неограниченную свободу опытов, не считаясь с затратами и риском». Стекольников вначале приехал в Бах-

руши один, а затем перевез из Пензы мать. Здесь он женился на молодой учительнице и осел.

Это было около пятнадцати лет тому назад. Заметного и энергичного агронома вскоре направили на партийную работу. И теперь, став секретарем райкома, Стекольников все еще не терял своего фронтового облика командира батальона. Он и сейчас, идя с Бахрушиным по «целине», будто осматривал не будущее колхозное поле, а новый боевой рубеж.

— Хороший плацдарм твои комсомольцы высвобождают,— похвалил он осушенную землю.— Только зачем же это все молчком?

— Во-первых, кричать пока не о чем и теперь...— принялся обстоятельно отвечать Бахрушин,— а во-вторых, бригаде коммунистического труда не хотелось подымать эту землю напоказ, как бы для личной славы. Есть в этом, конечно, тоже какая-то ненужная, показная скромность. Но все же скромность... И, в-третьих... в-третьих, прошу садиться. Смотри, какие славные кочки, получше иных кресел. Садись, гостем будешь!

Стекольников, последовав примеру Петра Терентьевича, уселся против него на обсохшую, пружинистую кочку, затем вынул из кожаной походной офицерской сумки два белых листа и подал их Петру Терентьевичу:

— Это листы из сводки ТАСС. Сиречь Телеграфного агентства Советского Союза. Ясно?

— Пока ясно,— ответил Бахрушин,— не знаю, как дальше будет.

— Тогда поехали дальше. Наш советский корреспондент, находящийся в Нью-Йорке, сообщает... Сам читать будешь или я?

— Читай ты. Потом сам перечитаю. Секретно?

— Да нет, нет! В большой печати это, наверно, не появится... а в нашей газете мы, может быть, и опубликуем. Слушай.

Стекольников, пробежав глазами по строкам, предваряющим информацию корреспондента, принялся читать медленно и внятно:

— «...далее газета уделяет внимание поездке фермера из штата Нью-Йорк Трофима Т. Бахрушина в Советский Союз. Трофим Т. Бахрушин, в прошлом русский крестьянин Пермской губернии, эмигрировал в тысяча девятьсот двадцатом году в Америку. Начав свой путь сезонным рабочим, Бахрушин скопил деньги и обзавел-

ся фермой. Предприимчивый и старательный, фермер за сорок лет сумел стать состоятельным человеком. А теперь, на склоне лет, Бахрушин решил побывать в своей деревне, где он родился, и возложить венки на дорогие могилы его отца и матери. Бахрушину стало известно из советских газет, что в родной деревне преуспевает его брат Петр Т. Бахрушин, награжденный недавно правительством высшим орденом страны за успехи по выведению новой породы молочного скота».

— Что ты скажешь на это, Петр Терентьевич? — спросил Стекольников.

— Да как будто все мотивировано и ясно... Не знаю, как дальше будет.

— Слушай дальше. Второе сообщение не столь мотивированное и ясное.

Стекольников снова принялся читать:

— «Газета находит, что встреча двух братьев — американского фермера и русского колхозника — может представить общественный интерес в деле упрочения дружбы двух великих стран, в деле обмена опытом... «Надо полагать, — заявляет довольно известный журналист Джон Тейнер, — что братья Бахрушины, не видевшись сорок лет, найдут, о чем поговорить. Эта встреча хотя и будет происходить не на столь высоком уровне и не в столь известном населенном пункте мира, все же, — говорит далее Тейнер, — она может представить широкий интерес для американских и советских читателей. Поэтому я нахожу любопытным для себя сопровождать фермера мистера Трофима Т. Бахрушина в Советский Союз, чтобы наблюдать несколько необычную встречу двух братьев из разных миров».

— Все?

— Все, — ответил секретарь райкома.

— И никаких примечаний, ни сопроводилок — ничего?

— Да есть кое-что, но об этом потом. Вы лучше скажите, Петр Терентьевич, какое впечатление производит на вас прочитанное?

— Шут его знает, Федор Петрович... Не нахожу, что и сказать, — признался Бахрушин. — С одной стороны, будто все как на блюбочке... Состарился человек. Стосковался. Решил под конец жизни приехать посмотреть родные места. Совесть как будто тоже не надо сбрасывать со счетов. Может, она мучит его... А если он в са-

мом деле верующий, то и бога в ту же строку пиши. Хочет очиститься... Но это с одной стороны.

— А с другой?

— А с другой, Федор Петрович, опять-таки этот Тейнер-контейнер... Все-таки ехать из Нью-Йорка в Бахруши ради статейки в газете, мне думается, дороговато.

— Это верно, но ради книги, может быть, и стоит терять время и тратить доллары,— заметил Стекольников, будто помогая этим размышлять Петру Терентьевичу.

— Ради какой книги? — спросил тот. — О чем?

— Как о чем? Об успехах вашего колхоза. О начале развернутого строительства коммунизма. О прославлении нашего строя,— ответил с еле заметной усмешкой Стекольников.

Петр Терентьевич опустил голову. Неожиданно под ним треснула и накренилась кочка. Бахрушин, легонько выругавшись, пересел на другую кочку. Погладил поясницу и спросил:

— Ты так сам по себе думаешь, Федор Петрович, или советовался с кем?

— Советовался с одним тут товарищем и тебе рекомендую поговорить с ним.

— Кто это?

— Здравый смысл, Петр Терентьевич. Здравый смысл.

— А не подведет он меня?

— Да что ты! Это же наш проверенный, боевой партийный товарищ.

— Оно конечно...— Бахрушин снова задумался.

Стекольников посмотрел на солнце, потом на часы. Бахрушин, заметив это, сказал:

— Значит, как бы сказать, Федор Петрович, время истекло и прием окончен?

— Ну зачем же ты так?.. Беседа наша еще и не начиналась. Сегодня вечером запрягите свою Жимолость да часикам так к восьми приезжайте новый телевизор посмотреть. Как раз про Америку передача будет. Нам теперь такие передачи пропускать не следует...

— Само собой.

— Ну, коли так, жду. Вот и побеседуем.

Бахрушин, проводив Федора Петровича до машины, ожидавшей у дороги, вернулся на прежнее место. Необходимо было собраться с мыслями.

Перечитав еще раз оставленные листы из сводки ТАСС, Петр Терентьевич решил прибегнуть к нескольким домыслам.

Первый из них был самый радужный. Заключался он в том: Трофим, впадая в старческую набожность, в самом деле едет за отпущением грехов, а Джон Тейнер, вроде Джона Рида, написавшего хорошую книгу «Десять дней, которые потрясли мир», тоже напишет сущую правду про колхоз «Коммунистический труд» и будет этим способствовать лучшему пониманию американцами сущности советского строя вообще и колхозного рас-порядка в частности.

Этому своему домыслу Бахрушин верил мало, но не исключал его, хотя бы ради объективности и желания видеть лучшее.

Второй домысел состоял в том, что неизвестный ему опенок Джон, ловкач и пройдоха, присосался к старому пню Трофиму ради того, чтобы с его помощью больше увидеть, больше услышать, а потом лучше очернить увиденное.

Такое тоже было известно Бахрушину в истории встреч с заграничными журналистами. Пока гостят — хвалят, превозносят, а как уедут — начинают мазать дегтем, без стыда и совести выдумывать несусветное и обливать грязью.

Третий домысел состоял в том, что и Тейнер и Трофим командируются третьими лицами, которые сумели довольно правдоподобно обосновать подлую цель поездки того и другого в Советский Союз.

Кем могли быть эти третьи лица? Какие-нибудь издатели или кто-то, кому надлежит мутить чистую воду?

В этом, самом худшем третьем варианте Джон Тейнер представлялся Петру Терентьевичу хищным заморским рыбаком, а Трофим — хитрой наживой на тейнеровском крючке.

Какой бы из этих домыслов ни оказался правильным, во всех случаях приезжих нужно было расквартировать.

Где?

У себя в доме? Нет. Это означало бы, что Петр Терентьевич заранее прощает Трофима.

Бахрушин примет Трофима и Тейнера в своем доме,

потому что они «его гости», но поселит их в другом месте.

Другим местом мог быть старый дягилевский дом, но там теперь библиотека и читальня. Ее можно потеснить, но не много ли чести? Как отнесутся к этому колхозники в Бахрушах?

В старом Доме приезжих американцев поселить тоже нельзя было. Дом слишком стар и запущен. А новый дом не готов. Ну и что? Кто мешает отделать три комнаты? Одну — для Трофима, другую — для Тейнера, третью — для уборщицы, которая будет приставлена к ним.

Где они будут питаться?

Они будут питаться в колхозной столовой. Если в ней заменить клеенки скатертями и велеть снабженцам купить новую посуду...

Нет, он этого не будет делать. И вообще он ничего не будет подновлять, подкрашивать и подслащивать. Пусть видят все таким, какое оно есть.

Зачем ему, председателю колхоза, известному в области человеку, давать повод для досужих разговоров, будто он боится показать жизнь своего колхоза такой, какая она есть, каким-то там... неизвестно каким?

Он даже не будет теперь заваливать щебенкой лужу на главной улице Бахрушей, засыпать которую хотел до покоса. Могут сказать: «Ага... струсил чужого глаза». А зачем ему бояться чужого глаза! Если этот чужой глаз дальновиден, он разглядит, как росло и как будет расти хозяйство колхоза. А если чужому глазу нужна только «лужа», пусть она ему будет приятным бельмом, закрывающим неприятные для него достижения.

Вообще говоря, в предстоящей встрече правда должна быть самым лучшим союзником. А этой правды вполне достаточно, чтобы показать самому лютomu врагу, что врать о колхозах нынче нужно тоже с оглядкой.

Конечно, жаль, что леший их приносит именно в этом году, а не позднее, когда Бахруши станут железно-дорожной полосой отчуждения и на южном склоне Ленивого увала появится новое село Бахрушино, где будет на что посмотреть... Но что поделаешь?.. Он же не может перенести их приезд. Да и зачем? Они и в этом году могут увидеть застолбленные улицы, фундаменты домов и некоторые здания, белеющие на отлогом склоне увала.

На этом можно было и порешить. Коли прояснилось главное, второстепенное придет по ходу дела. Так бывало всегда.

Хватит. На носу покос. Травы нынче одно загляденье. И бюро погоды обещает солнечные дни... Хватит, хватит, Петр Терентьевич, переживать да строить догадки... Приедут — увидишь. Есть поважнее дела. Взять тот же снос и переезд старых Бахрушей на Ленивый увал. Железная дорога хоть и своя сестра, а деньгам знает счет. Не передаст на переезд села, а ущемить не оплошает. Пусть в колхозе тоже не лыком шиты, не по-банному крытые бухгалтера, но все же и самому надо считать. Другой дом на старом месте еще постоял бы десяток лет, а вздумай его перевозить — и дом окажется дровами.

И это все надо железнодорожным оценщикам доказывать на деле, на примере.

Не легки заботы Петра Терентьевича, но без них нет радостей, нет счастья. Нет ничего...

Эх! Здравствуй, лето красное —
Горячая пора...

Бюро погоды только не подвело бы. А остальное все образуется.

Х

В районной газете «Под Ленинским знаменем» появилась краткая информация, озаглавленная «Из Америки в Бахруши». В статье приводились выдержки из сообщения нью-йоркского корреспондента о предстоящем приезде Трофима Бахрушина и журналиста Джона Тейнера. Там же говорилось о том, как разошлись пути двух братьев, выросших под одной крышей.

Информация заканчивалась словами: «Надо полагать, что колхозники с должным русским гостеприимством встретят своего бывшего односельчанина и господина Джона Тейнера, любезно выразившего желание описать встречу двух братьев из двух миров».

Теперь приезд американцев, еще вчера казавшийся предположительным, стал точно определенным. Их ожидали в воскресенье, о чем Бахрушин был оповещен Трофимом телеграммой из Москвы.

Дарья Степановна, как и говорила, уехала из Бахрушей, наказав Петру Терентьевичу передать Трофиму:

— Видеть его и показываться ему не желаю!

В новом Доме приезжих заканчивалась отделка и меблировка комнат. Наскоро, но добротно был построен «персональный» тесовый туалет. Бахрушин нашел его нормальным и благоустроенным.

Ходить за приезжими вызвалась старуха Тудоева. Как-никак молочная сестра Трофима. Себе в помощь она предполагала вызвать внучку Соню из Челябинска.

— Соня тем хороша, — заявила Тудойха Бахрушину, — что она маракует по-ихнему. И если этот Джон по-русски ни тыр ни пыр, она при мне как толмач.

Главному механику колхоза, молодому «заочному инженеру», любимцу председателя Андрею Логинову, было велено подвести телефонную линию-временку. Если захочет мистер Тейнер разговаривать с Нью-Йорком — пожалуйста.

Холодильник Бахрушин отдал свой. Все равно его, благоверная Елена Сергеевна считала, что натуральный холод погреба лучше химического. Установили и телевизор. Трофиму и Тейнеру не помешает для полноты картины заглянуть в светлое телевизионное окошечко, через которое можно увидеть многое в Советской стране.

Бахрушин не нашел предосудительным выделить для гостей карего жеребца под многообещающей кличкой Вихрь. Пусть ездят. Трофим смолodu был понимающим лошадиником. Таких, как Вихрь, и поблизости от дягилевского двора не бывало. Пусть посмотрит, какие кони теперь в Бахрушах. Ну а если гостям будет удобнее машина — тоже пожалуйста. К их услугам необъезженный еще горьковский вездеход с ведущим передком. Хочешь — сам управляй, хочешь — тебя будут возить.

Коли уж газета рекомендует встретить их с «должным русским гостеприимством», значит, так и нужно встречать. Проверив, нет ли пересолу в этом «русском гостеприимстве», Петр Терентьевич не нашел ничего умаляющего его председательское достоинство. А если что-то окажется не так, ему не привыкать перестраиваться на ходу.

Теперь оставалось обдумать порядок приема гостей. Может быть, первый раз в жизни Петр Терентьевич

вмешивался в кухонные дела. Это удивило Елену Сергеевну.

— Неужели ты думаешь, я не сумею накормить двух бутербродников, когда чуть ли не все правительство пребывало в нашем доме?

А Бахрушин свое:

— Правительство — это одна статья. Оно наше. И всякое блюдо поймет, как его надо понять. А эти будут искать во всем показной умысел. Поэтому ни севрюги, ни осетра.

— А зачем же нам прибедняться? — возразила Елена Сергеевна.

А Бахрушин опять:

— А кто говорит — прибедняться? Я говорю, что в нашем доме нет никакого праздника. Мы учтиво и любезно примем гостей. У нас нет оснований принять их плохо. Но у нас также нет никаких поводов раскрывать свои объятия. Про мистера Тейнера мы пока знаем только то, что он журналист. А про Трофима нам известно, что он изменник. Правда, изменник, собирающийся раскаться. Собирающийся пока... А вот как он и в чем раскается, от этого и будет зависеть все дальнейшее...

Петр Терентьевич прошелся по горнице, посмотрел на портрет отца, недавно увеличенный со старинной карточки, и снова заговорил:

— Если бы не отец, Трофим бы прикончил меня тогда... Во всяком случае, мог бы... И если этого не случилось, он не становится краше и светлее. Я не собираюсь сводить с ним счеты. Партия научила стоять выше личных обид... Но все же он искал тогда меня не просто как личность, а как красного, как большевика...

Елена Сергеевна подошла к мужу и, погладив его волосы, сказала:

— Петруша, не надо так распалать себя. Ведь он все-таки не убийца...

— Но он мог бы стать убийцей. И если не стал по счастливому случаю, это не очищает его. Ты добрая душа, Елена, — сказал Бахрушин, ласково глядя в глаза жены. — И у меня есть что-то такое, ну как бы тебе сказать, смягчающее, что ли, его провинности за давностью лет. Но этого смягчающего так мало, что даже не знаю, как я подам ему руку... Однако ничего не поделаешь. Придется подавать. Но в нашем доме мы будем

их встречать, как подсказывает сердце и как велит нам совесть. И никаких дипломатических поправок ни на что.

Сказав так, Бахрушин занялся столом.

— Из питья — квас, водка, настойка шиповниковая. И никаких «Араратов», «Двинов», «Грузвинов» и всего прочего, что подают дорогим и званым гостям. Теперь «силос и фураж». Огурцы свежие всех сортов. Некрошенные. Помидоры с луком, перцем и уксусом. Ни одного розового. Чтобы Галка сама все двадцать семь теплиц обошла и выбрала самые красные. Цветную капусту. Отварить и подать запросто. Без никаких. С боку стола. Лук-перо. Грибы малосольные. Возьмешь у Тудоевых. Молодую картошку. И все.

— А для еды что? — спросила Бахрушина.

— Если приедут с утра — подать шаньги налёвные или картофельные и пирог окуневый. С луком, из серой пшеничной муки. Запомнила?

— Запомнила, Петр Терентьевич.

— Тогда дальше. А если явятся к обеду, начнешь с «фуража» и кончишь пельменями. А если придут вечером, выберешь из всего этого по своему усмотрению.

— А к чаю?

— К чаю сервиза гедээрковского не выставлять. Нет в нашем доме никакого выдающегося события. И не может его быть. Хлебосольным-то дураком легче прослыть, чем на уровне...

— Ну вот, — снова с веселым притворством заговорила Елена Сергеевна, — теперь я вижу, что в доме хозяин появился. Во все вникает. Может быть, ты и мне, товарищ председатель, посоветуешь, что надеть, как к гостям выйти?

— Именно. Чуть не забыл. Платье наденешь это, которое на тебе. Не в оперу едешь, дома сидишь. Никаких кружев и московских нарядов. И если уж без них потом тебе покажется неучтиво, слегка переоденешься, как бы из некоторого уважения. Выйдешь к ним, как Галина Сергеевна Уланова в Америке. Наше вам почтение... Если вы по-хорошему, мы в два раза лучше. Не выпрашивать, не допытываться. Себя не выставлять и над собой не давать возвышаться. С едой не набиваться. Поставлено — значит, ешь. Если совсем не ест, скажешь: «Хелп ёселф, мистер Тейнер...» Библиотекаря завтра тебе преподаст эти слова. Штук десять бу-

дешь знать, и хватит. Как бы для гостеприимства. А если забудешь — шут с ними. Скажешь по-русски: «На то и на стол поставлено, чтобы ели и пили». Трошка ему переведет. Теперь закончим на этом и не будем открывать прения.

Бахрушин чмокнул Елену Сергеевну в щеку и, вспомнив, что его давно уже ждут послы от голубятников, крикнул:

— Я выхожу! Берите инструменты. Сходили за мелкими гвоздями?

В ответ слышалось:

— Сходили... Кладовщик нам и краски дал...

— Тогда лады.

Проводив глазами мужа, Елена Сергеевна решила по холодку заняться прополкой огурцов на огороде.

Странно... Можно было бы и не сажать их. И вообще выращивать свое обходится дороже... Но привычка и порядки, заведенные годами,—как старая комолая корова Тютя, от которой не жди ни молока, ни мяса. Ни в колхоз ее не сдашь, и не прикончишь... Жалко старую.

Недолго уж осталось. Вот переседет Елена Сергеевна на Ленивый увал и заведет на новом месте новые порядки. Дом — это жилье. Работа — это птицеферма. И никаких при доме поросят, индеек, уток, кур и даже клубничных гряд. Другое дело — сад. Цветы. Десяток яблонь. Тройку вишен. Грушу. Не для плодов. Для красоты. Для цвета.

Надо же когда-то кончать с единоличными репьями в семье передового председателя колхоза.

Это все тоже между прочим. Для лучшего знакомства с женой Бахрушина и для завершения главы.

XI

Минуло еще два дня. Настало воскресенье. Накануне, в субботу, Петр Терентьевич подстригся, выпарился в бане и чувствовал себя помолодевшим.

Прослушав обзор газет, а за ним утренний легкий концерт, пропустив для равновесия воскресную рюмку шиповниковой, он готов был к встрече с Трофимом.

Елена Сергеевна хотя и надела то самое будничное платье, которое было на ней в день вмешательства Петра Терентьевича в кухонные дела, все же выглядела павой. Платье было так выстирано, подкрахмалено и

отглажено, что залюбовавшийся нарядной женой Бахрушин не удержался и сказал:

— Елена, когда ты постарше будешь?

— А зачем это мне? — ответила она, подсаживаясь к Петру Терентьевичу. — Муж у меня молодой... Дети выращены, пристроены. Сейчас самая пора чайной розой цвести. А там видно будет.

Бахрушин закрыл шторку. Нехорошо, если кто-нибудь, проходя мимо, увидит, как немолодой председатель милуется со своей женой.

В эту минуту Бахрушин услышал, как остановилась машина напротив его дома.

Глянув в окно, Петр Терентьевич увидел легковой автомобиль «Волгу» и сидящего в автомобиле Трофима, которого он узнал сразу же, и крикнул ему:

— Дома я, дома... Сейчас выйду...

И вот он вышел за ворота. Трофим грузно вылез из машины и тяжелой рысцой подбежал к Петру Терентьевичу.

Из окон смотрели соседи. Как-то они встретятся? Обнимутся или нет? Кто первым подаст руку? Какие слова скажут?

Все это вдруг стало немаловажным.

— Здравствуй, брат, — сказал Трофим, протягивая руку.

— Здравствуй, Трофим, — ответил Петр Терентьевич и пожал его руку.

Трофим, оглядев брата и вытерев платком вспотевшую шею, сказал:

— Никак дождь будет? Парит.

— Вчера тоже парило, а дождя не было, — поддержал разговор Петр Терентьевич.

Трофим снова посмотрел на брата, потом перевел глаза на родительский дом и, вздохнув, сказал:

— Стоит, как стоял.

— А что ему делается?

— И нижние венцы не подопрели?

— Да нет, малость тронулись... Седьмой десяток как-никак дюжат.

— Седьмой! — снова вздохнув, сказал Трофим. — Давно стоит дом.

Опять помолчали. Опять поглядели друг на друга. Петр Терентьевич, пряча волнение, решил прикрыть его шуткой:

— Если, Трофим, у тебя больше неотложных вопросов нет, то проходи в избу.

— Да я ведь не один.— Трофим оглянулся на «Волгу».— Познакомься,— указал он на вышедшего из машины и стоящего поодаль толстячка лет сорока.— Это мистер Тейнер, о котором я писал.

— Вдвоем-то, как бы сказать, сподручнее ездить. Милости прошу,— обратился Бахрушин к Тейнеру, слегка наклонив голову.— Переведи, Трофим, мистеру, что я его приглашаю тоже...

— Я слышу, я слышу и благодарю вас, господин Бахрушин Петр Терентьевич, — отозвался по-русски Тейнер.— Ваш брат в России не был больше, чем я. И мне теперь многое из вашей жизни приходится переводить русскому Трофиму.

Тейнер непринужденно подошел к Петру Терентьевичу и запросто поздоровался с ним.

— Значит, и я и моя жена зря по двадцать английских слов выучили,— сказал смеясь Бахрушин.— Но, чтобы не пропадать им полностью, камин в дом, мистер Тейнер, камин.

Тейнер подпрыгнул, звонко расхохотался и, аплодируя, крикнул:

— Браво, дорогой Петр Терентьевич! Гип-гип ура!

В ответ на это послышался одобрителный смех из соседских окон.

— Вот видите! — воскликнул Тейнер.— Я всегда говорил, что на этом уровне люди договариваются скорее.

Полное улыбающееся лицо Тейнера с бровями в виде двух рыжеватых точек светилось. Зеленоватые зоркие глаза излучали веселье. Хохолок на его лысине и тот обнадеживающе приятно дорисовывал портрет невысокого жизнерадостного человека, заряженного безудержным весельем.

Петр Терентьевич вежливо улыбнулся и спросил, как быть с машиной.

— Она будет ждать, сколько необходимо ждать.

— В таком случае прошу быть гостями.— Петр Терентьевич открыл калитку, затем сказал шоферу: — Свернул бы ты, парень, в холодок, под тополя, а то изжаришься на обочине...

Трофим тем временем робко переступил подворотню калитки и оказался на родном дворе. И первый шаг — только один шаг — вернул Трофима в ту пору, когда

ничто не разделяло его с этим домом. Сохранилась даже старая бочка под навесом сарая, превращенная в конуру для черно-пестрой собаки Зорьки. И теперь из конуры выбежала черно-пестрая сучонка, похожая на Зорьку.

Может быть, она была далекой правнучкой собаки, которую когда-то подобрал и вырастил Трофим?

Двор был вымощен, как и многие уральские дворы, большими каменными плитами. Время не коснулось их. Они лежали в том же безмолвии, сохраняя те же извилины стыков, засыпанных золотистым песком, что натаскал маленький Трофим в лукошке с речки Горамилки.

Трофим вдруг остановился и зарыдал.

Петру Терентьевичу были понятны эти слезы, но ему не хотелось — он не мог — утешать Трофима.

Пока Трофим всхлипывал, закрывая обеими руками лицо, Тейнер, то присаживаясь, то отходя, суетливо фотографировал его, приговаривая:

— Эта пленка не будет иметь цены. Все будут плакать, когда увидят, как он плачет. Это великая драма встречи с родным двором.

Чтобы как-то принять участие, Петр Терентьевич накачал из колодца ведро воды.

— Трофим, умойся холодненькой. Помогает.

Тот послушался. Умылся. Потом посидел на бревнышке под навесом и стал оправдываться:

— Слезливый я какой-то стал. Над вашими газетами тоже другой раз реву. Хотя и не верю напечатанному, а реву. Слова в них родные.

— Это бывает, — согласился Петр Терентьевич. — Ополоснись еще раз, да пойдем позавтракаем с дороги... Оно и полегчает. А вы как, господин корреспондент, пьете водку?

— О! — Тейнер причмокнул губами, целуя воздух. — Я алкоголик на двести процентов.

— Ну, значит, контакт устанавливается полный. Прошу!

Первым Петр Терентьевич провел Трофима, показывая этим, что он хоть и не столь желанный, но настоящий гость, а Тейнер, так сказать, во-вторых.

Встреча состоялась. Самое трудное для Петра Терентьевича миновало.

Пока все шло безупречно...

Старый бахрушинский дом, срубленный крестом, то есть с двумя внутренними взаимно пересекающимися стенами, оставался таким же, каким его знал Трофим. Кое-что сохранилось из прежней отцовской утвари. Были живы толстенные лавки, намертво прикрепленные к стенам. Стоял на тех же тяжелых ногах обеденный стол. Видимо, и теперь находили удобным обедать рядом с русской печью, чтобы поближе было подавать еду. Сохранилась и божница, на которую подчеркнуто помолился Трофим до того, как поздоровался с хозяйкой. Пусть на божнице вместо икон стояла приземистая глиняная ваза с ветками папоротника — это не имело значения.

— Бог внутри человека,— объяснил он Елене Сергеевне,— а не в углу на деревянной божнице.

— У кого где. Смотри по человеку,— не преминула вставить свое словечко Елена Сергеевна.

Русская печь, как заметил Трофим, была переложена заново. Она стала меньше и опрятнее. Лохань ушла. На месте ее встал франтоватый умывальник с мраморной доской и зеркалом. Тут же Трофим увидел стиральную машину «Урал». И это ему тоже показалось вполне нормальным. Как-никак прошло сорок лет. Если за эти годы до стиральной машины не дойти, тогда о каких же успехах можно говорить!

Осматривая горницы, Трофим не сумел скрыть улыбку. С потемневшими бревенчатыми стенами и низкими дощатыми потолками так не вязались стулья из орехового дерева затейливой работы, сервант, книжный шкаф, телесвизор на тумбочке тоже орехового дерева и тоже полированный. Эта городская начинка, особенно в комнате Елены Сергеевны, выглядела не по избыному пиру.

Бахрушина читала по лицу Трофима, какую критику он наводит в ее доме. И ее сердило, что так затянулся переезд на Ленивый увал. Посмотрел бы он тогда, в каких домах живут люди!

Она с первых же минут знакомства оценила его как поверхностно цивилизованного человека. Весь он был на манер его медной или какой-то другой часовой цепочки, выглядевшей золотой. Она не упустила и его глаз, похожих на Петрушины. Цветом, но не выражением.

Они грустны и пусты, как у их коровы Тютти. В них не светится ум. Это были скорее стеклянные глаза, какие ей доводилось видеть в окне охотничьего магазина. Их продавали там для любителей набивки чучел. Она невольно сравнила его с ходячим чучелом.

А Тейнер продолжал щелкать своим на редкость большеглазым фотографическим аппаратом.

Трофим задержался перед портретом отца. Петр Терентьевич, наблюдая за братом, думал, что если бы Трофим отрастил бороду, то теперь, глядя на отцовский портрет, он бы стоял как перед зеркалом. Наверно, только это и скрашивало встречу.

Что там ни говори, а живое повторение отца пришло в старый отцовский дом.

После того как сели за стол, Трофим спросил:

— А дети есть у тебя, Петрован?

— Есть, трое. Живут сами по себе, своими семьями.

— Тоже крестьянствуют?

— Один-то, пожалуй, крестьянствует, как и я. Другой — мастером в Невьянске, а третья учительствует в Сергах.

— Это хорошо. А у меня никого, кроме падчерицы.

В это время в кармане Трофима послышался мелодичный и звонкий бой часов.

— Люблю музыку, — сказал он, показывая часы, и, спохватившись, полез в карман. — Совсем забыл про подарок. Как там никак, а устав блюсти надо.

Трофим вынул из кармана нечто похожее на карманный электрический фонарик.

— Штука глупая, но забавная. У вас, наверное, таких еще не напридумали.

Подарок оказался карманным радиоприемником. Он довольно громко воспроизводил музыку и голос диктора, легко переключаясь с одной передачи на другую.

— Пожалуй, что таких в продаже у нас еще нет, — сорвалось с языка у Петра Терентьевича. — А может быть, и есть, да до Бахрушей не дошли, — поправился он.

— А это позвольте хозяйшке. Заводить не надо. Сами собой заводятся.

Трофим вынул из футляра часы.

Елена Сергеевна посмотрела на мужа, потом позволила Трофиму надеть ей на руку золоченые часики.

— Спасибо, Трофим,— поблагодарил Бахрушин.— От подарков, как бы сказать, не отказываюсь. За подарками тоже дело не станет. Дай срок. А теперь кому что... Я лично предпочитаю шиповниковую.

— А я это! — Тейнер, попросив глазами разрешения позаботиться о самом себе, налил из графина в лафитник водки.— Не удивляйтесь, темпы — это моя особенность!

— Значит, со свиданьем!

— Со свиданьем, Петрован! — поддержал брата Трофим. Чокаясь стоя, отвешивая поклон каждому, он, неторопливо расчавкивая настойку, выпил свою рюмку глотками.

«Значит, ханжа», — подумал Петр Терентьевич, а Тейнер, будто подслушав мысли Бахрушина, возразил:

— Нет, нет! Вы не думайте о нем плохо. Я видел, как он пьет дома виски. Дайте ему привыкнуть к обстановке, он покажет вам «Ах вы, сени, мои сени...»

«Словесное реле» Бахрушина переключало его речь то на Трофима, то на Тейнера, но он не находил, что называется, тональности для разговора.

Речь Трофима была вчерашней русской речью. Он, видимо, не только писал, но и разговаривал с «твердыми знаками» и с буквой «ять», отчетливо произнося окончания слов, будто боясь быть непонятым. Сказалось долгое пребывание на чужбине. Говорил он медленно, иногда с трудом вспоминая родные слова, думая, видимо, наполовину на русском языке, наполовину на английском.

Тейнер же хотя и разговаривал с заметным акцентом, но в речи его были сегодняшние русские слова. И, заметя это, Петр Терентьевич спросил:

— Извините, мистер Тейнер, могу ли я спросить вас, откуда вам так хорошо известен русский язык? Надеюсь, это уместный вопрос?

— Очень уместный. Он был бы неуместный тридцать минут позднее, когда мне не будет известен никакой язык, кроме языка, который во всех странах называется «хрю-хрю». А сейчас я еще могу о моем русском языке сказать по-русски. Но для этого я должен освежить свою память русской водкой.

Тейнер снова налил в лафитник водки и, отпив из него глоток, стал рассказывать:

— Я давно готовился стать переводчиком. Перевод-

чик — это великая профессия. Эта профессия — катализатор взаимного успеха и обогащения всех профессий и всех народов. Мой отец еще в начале этого века понял, что русский язык будет кормить его сына в Америке. Отец не ошибся. Я кормлю теперь не только себя, но и его великим русским языком. И достаточно хорошо кормлю. Достоевский умер не очень богатым человеком, но мне он оставил хорошее наследство. И некоторые ваши советские писатели — не буду делать из этого тайны — тоже хорошо помогают мне прилично содержать мою большую семью.

Отпив из лафитника еще, как будто в нем был чай, а не водка, Тейнер продолжил:

— Конечно, знать язык глазами — это мало. Я хотел узнать его ушами. И мне это удалось. Я четвертый раз приезжаю в Россию. Первый раз я приехал сюда со вторым фронтом. Это была не Россия, а Германия. Но солдаты были русскими. Я очень много времени прожил среди русских солдат на Эльбе. Это был мой первый класс изучения языка ушами. Потом я работал корреспондентом в Москве. Но недолго. Меня отозвали за то, что я видел не то, что хотелось видеть тем, кто начинал «холодную войну»... Сейчас я сделаю последние два глотка, и все будет ясно. Потому что мне осталось сказать не более ста слов.

Тейнер снова обратился к лафитнику и снова стал говорить:

— Потом я был интуристом. Это был третий класс моего обучения. Я уже умел строить фразы так, что меня почти не поправляли русские. А сегодня я учусь в четвертом классе. Какую вы мне можете поставить отметку, Елена Сергеевна.

— Пятерку, мистер Тейнер. Пятерку с большим плюсом, — любезно и непринужденно ответила Бахрушина.

— Нет, нет, это слишком гостеприимная отметка. Когда я прослушиваю свой русский язык через магнитофон, в нем еще очень много посторонних шумов... — Затем он обратился к Бахрушину: — Теперь я, надеюсь, имею право применить свой рот по другому назначению?

Тейнер понравился Бахрушину и его жене. Но, может быть, по его высказываниям им не следует делать поспешных выводов о нем. И все же пока американский корреспондент выглядит сверх ожидания весьма приятным человеком.

Чтобы в доме не было жарко, пельмени варила соседка в своей печи.

С появлением пельменей Трофим опять чуть не прослезился:

— Боже ж ты мой, боже ж ты мой... Значит, все-таки ждал ты меня, Петрован, окаянного... Я ведь их во сне только видел в Америке. Ну, скажи, в ребячьи годы возвратился... Боже ж ты мой!

Трофим бережно стал класть на свою тарелку пельмень за пельменем. Словно это было невесть какое лакомство.

А Тейнер привычно, будто он ел пельмени по крайней мере каждую неделю, разыскал уксус, горчицу, перец, перемешал все это на своей тарелке, сгреб с блюда сразу десятка два пельменей и принялся их есть, как заправский уралец.

— Нет, нет,— не соглашался он с Трофимом.— В Нью-Йорке тоже можно заказать пельмени... Но всякая трава растет на своей земле лучше... Сколько я могу съесть еще?

— Да хоть двести,— отозвалась Бахрушина.— Их больше тысячи настряпано.

— Елена Сергеевна, не сообщайте моей жене, что я сегодня счастлив разлукой с ней. Она меня кормит третьей морковью и сухим творогом, чтобы как можно дольше не лишать себя моего общества и оттянуть расходы по моему переезду в ад. Это в Америке, уверяю вас, тоже стоит недешево.

Сказав так, Тейнер заметил, что его слова не были оценены должным образом, и сделал оговорку:

— Не правда ли, Петр Терентьевич, водка и пельмени дают очень болтливую смесь. Не кажется вам, что ее следует приглушить?

Тейнер снова наполнил лафитник. Затем он еще раз смешал уксус, горчицу и перец, положил еще два-три десятка пельменей и сказал:

— Не пройдет и пяти минут, как развязный американец мистер Тейнер будет храпеть на соломе под крышей вашего сарая... Потому что он всегда, прежде чем сесть за стол, предусматривает место для сна...

— Мистер Тейнер, у нас раскладушечка найдется. Я ее живехонько разложу вам в тенечке, вы и отдохнете...

— Как вам угодно, Елена Сергеевна... Во всяком

случае, мое опьянение вполне объясняет, а также извиняет мой уход и дает возможность братьям Бахрушиным поговорить без свидетелей.

Тейнер учтиво откланялся и удалился под навес. Бахрушин, вынося ему раскладушку, мягко заметил:

— Не стоило бы вам дипломатничать, мистер Тейнер. В моем разговоре с Трофимом никто не может быть лишним... Тем более вы...

— Но все же... Я ведь чужой для вас человек,— ответил Тейнер, располагаясь на раскладушке.

— Воля ваша.

Бахрушин, возвращаясь в дом и думая о Тейнере, вспомнил бабкину поговорку: «О сказке не по присказке судят, а по концу».

ХIII

Вернувшись в дом, Петр Терентьевич, не желая разговаривать с братом один на один, придравшись к его фразе «люблю музыку», поднял крышку радиоприемника и включил проигрыватель, затем взял коробку с граммофонными пластинками, на которой было написано «Чайковский». Не выбирая, вынул одну из них. «Первый концерт».

— Ты сказал, что любишь музыку. Я тоже. В этом мы сходимся.

Зазвучал «Первый концерт». Трофим, послушав минуту, снова обратился к пельменям. А потом спросил:

— Что это за музыка?

— Это музыка нашего земляка Петра Ильича Чайковского.

— Не слышал,— отозвался Трофим, жуя пельмени.

— Чайковского или музыку?

— Обоих.

— Жалко.

— Всех не узнаешь, Петрован. У нас в Америке этих пластинок тучи. И такие случаются, что нутро выворачивают. И шум и гром. Откуда что берется. Не знаешь даже, на чем дудят, на чем гремят. Дойдут до этого и ваши. Переймут. Беда как жалко, что не захватил пяток-другой пластинок. Послушал бы. Мороз по коже ходит. Особенно, когда на манер гончих залают трубы. Или, что тебе недорезанные овцы, заблеют дудки. Что говорить, Америка—страна чудес. Даже

такая у нас есть пластинка, которую хоть сто раз слушай, и каждый раз судорожит. Если ее название перевести по-русски, то будет «Март на крыше». Чуешь! И кошки там мяучат так, что не надо слов. Все ясно. Кошек слушаешь, а видишь гёрлс... девчонок...

Елена Сергеевна вышла из комнаты. Бахрушин снял пластинку.

— Давай лучше спрашивать о жизни друг у друга,— предложил Трофим.

— Давай,— сказал Бахрушин.

Сначала спрашивал Трофим. И Петр Терентьевич отвечал на все его вопросы исчерпывающе точно, без всяких смягчений и поправок на то, что Трофим был хоть и незванным, но гостем.

Когда речь зашла о Дарье Степановне, ответ был тоже прямым:

— Она не желает видеть тебя, Трофим. Ты все-таки, Трофим, придумывая себе смерть, заботился только о себе. А не о ней и не о ребенке, которого ты оставил после себя.

— У нее был ребенок? Мой ребенок?

Голос Трофима задрожал. На лице проступили белые пятна.

— Да, она родила дочь и назвала ее Надеждой... Может быть, не случайно. У Надежды теперь трое своих детей. Как бы, ну, что ли, твои внуки, если не принимать во внимание все прочее и тому подобное.

— Как звать внуков, Петрован?

— Тебе бы лучше об этом не спрашивать. Ни к чему... Одно дело — мы с тобой, родились под одной крышей... Другое дело — они. Зачем им знать о тебе или тебе о них!

— Петрован,— взмолился Трофим,— как же я могу не увидеть их! Ведь они моя кровь...

— Ну, знаешь, Трофим, мы все-таки не на конном дворе, чтобы толковать про кровь. Для лошади или коровы есть смысл вести учет крови, а для человека принимаются во внимание другие данные. Не сердись на прямоту — ты умер для них под городом Омском в девятнадцатом году.

— А чье отчество у Надежды?

— Опять двадцать пять — за рыбу деньги. При чем тут отчество? Вот ты носишь отчество Терентьевич, и я Терентьевич. Оба мы Бахрушины. А что из этого? Не

по истоку о речках судят, а по тому, как и куда они текут. Может, не так точно сравнил, зато понятно обоим сторонам. Ты лучше Расскажи о себе. Мне ведь тоже надо знать, как ты тек, куда вытек, в какое море впал.

— Это пожалуйста, Петрован. Только все сорок лет за один вечер не перескажешь.

— А ты самое главное. Как в автобиографии пишут.

— Ась?

— Ну, словом, в кратком описании жизни. Понял?

— Понял.— Трофим кивнул головой.

И принялся рассказывать:

— Коротко, значит, будет так. Под Омском я поймал дезертира. Из образованных. И хотел было, как предполагается, доставить его куда следует, но дезертир мне сказал, что этого делать не надо, и раскрыл положение на фронте. Все как есть. Не поверить было нельзя. Так и так труба. К тому же в нас начали стрелять с тылов. Сибирь трекнулась. Даже справные мужики, которые держали работников, и те увидели, что Колчак не козырной туз, а пешка в адмиральских погонах. Я подумал-подумал да и дунул вместе с дезертиром в урман. Постранствовал сколько-то. Потом наткнулись на беженцев. Из торговых. Подводы четыре-пять. Тоже не знают, куда податься. Грабить не стали. Столковались по-хорошему. «Вам жизнь, господа хорошие, дорога, и у нас она одна. Дайте нам перекусить и одежду почище. По возможности с документами». Подобрали одежду беженцы. Переоделись мы, переобулись... Побрились, почистились... Расстались по-хорошему. Заплатить даже хотели... Не взяли. Не до денег, видно, было. Добрались мы до станции Татарская. Прикупили что было надо и по железной дороге катанули до Новониколаевска. Он решил там остаться и ждать красных. Где-то в этих краях у него тетка была. А я двинул дальше. Простились мы с этим человеком, который Николаем Николаевичем Сударушкиным себя называл. Тоже, думаю, напридумано это все было. Да мне-то мало было дела до этого. Попросил я его, когда все уgomонится, переслать Даруне ее карточку и письмо, которое он написал с моих слов, но как бы от моего товарища. Будто бы тот видел меня убитым. Чтобы концы в воду и очистить Даруню моей смертью. Другого выхода не было.

Голос Трофима снова дрогнул, навернулась слеза. Слезы, как заметил Бахрушин, у него были близко.

И он пускал их запросто, как хвоя сосна смолу.

— Не было другого выхода — только сказать убитым, — повторил Трофим.

— Пожалуй, что и так, — согласился с ним Петр Терентьевич. — Она и без того немало в белогвардейских женах ходила. А коли ты убит, значит, все ее прошлое тоже как бы умерло. Давай дальше, Трофим.

— А дальше дедово золото помогло. Наверно, слышал об этом от Даруни.

— Знаю, рассказывала она.

— В Шанхае я пожил недолго. Схватить могли. Подумал-подумал... Пересчитал остатнее... Да и махнул в Америку. Не из чего было выбирать... Приехал и объявился, каким я и был, Трофимом Терентьевичем Бахрушным. Посидел сколько-то как бы в карантине... А потом видят — правду человек говорит. И деться ему некуда. Выпустили. Дали временные бумаги. Иди на все четыре стороны. Ну вот я и ходил то по портам, то по фермам.

— А разговаривал как? — перебил Петр Терентьевич.

— Когда приспичит, так заговоришь. Там слово, тут два... А до этого, когда плыл в Америку, матросы меня натаскивали. В Америке не много надо слов, чтобы не пропасть. Главное — денежки. Они на каком хочешь языке без запинки разговаривают. Скопил их сколько-то... Одежонку справил. А потом как-то слышу — две женщины по-русски говорят. Я к ним. Так и так. Дальше — больше. Адрес дали... И попал я, братец, в американский Висим. К русским кержакам. Кругом Америка, а у них русские печи топятся. Избы с крытыми дворами стоят. Медные иконы. В огороде горох, бобы, репа — тоже русские. Ну, думаю, женюсь я тут и в дом войду. Предвиделся такой... Одна там рано овдовела. Марфой звали. Дом хороший... И она, хоть была далеко не ровня покинутой Дарунюшке... Но ведь что сделаешь. Жить-то надо... Да рассохлось дело.

— Не приняла?

— Что ты, Петрован! Слезми обливалась. Ну а я, видно, к той поре совсем звереть начал. Уж коли я столько потерял в Бахрушах, не хотелось на малом останавливаться... Эльза в деревню приехала. На паре вороных... Кержаков на свою ферму нанимать... Как увидел я ее, так и обмер...

В это время вернулась Елена Сергеевна и спросила, не пора ли подавать самовар. Трофим оборвал рассказ на полуслове.

— Потом доскажешь,— попросил Петр Терентьевич.— А теперь, пожалуй, не грех и чаю напиться.

XIV

Тейнер проснулся так же неожиданно, как и уснул. Войдя в дом, где Бахрушины пили чай, он сказал:

— Я хочу спросить, не пора ли гостям домой, а затем узнать, где их дом...

— Я провожу вас, мистер Тейнер. Давайте стаканчик чайку покрепче, для освежения.

— Может быть, огуречного рассольцу? — предложила Бахрушина.

— Да! Я об этом читал много раз и никогда не пробовал сам. Но я верю русской литературе.

Елена Сергеевна не заставила себя ждать. Видимо, огуречный рассол был загодя налит в квасный жбан.

— Теперь я вижу, Елена Сергеевна, как высоко стоит в России народная медицина,— поклонившись в пояс, сказал Тейнер, допив из жбана огуречный рассол.

Покончив с чаепитием, Трофим тоже выразил желание отправиться, как он сказал, «по принадлежности».

Вскоре машина покатила к Дому приезжих.

Любопытных оказалось больше, чем ожидал Петр Терентьевич. Дети — от малолеток и до вышедших из пионерского возраста — окружили машину, когда в нее садился председатель колхоза с «американцами». Глазели из окон. О весельчаке Тейнере уже знала вся деревня.

— Тейнер — это который с шофером сидит,— указал на него мальчик лет девяти.

И Тейнер помахал детям беретом.

Ребята это оценили должным образом. Оценили и то, что с ним при случае можно поговорить по-русски.

А случай был уже наготове. Ребятам хотелось показать американцу бобровое озеро, лосей на воле, хижину дяди Тома, сооруженную ими в лесу, и, конечно, голубятню.

Мальчики перебежали короткой дорожкой на Ленивый увал к Дому приезжих: им хотелось увидеть, как старуха Тудоева встретит американцев.

Тудоиха, наряженная в «к обеднешное», давно поджидала на крылечке недостроенного дома для приезжих его первых постояльцев. И как только подошла машина, старуха направилась к ней, чтобы, поздоровавшись с Трофимом, произнести давно заготовленные ею слова.

Петр Терентьевич рассказал дорогой о Тудоевой, и Трофим сделал вид, что узнал ее.

— Здравствуй, молочная сестрица, Пелагея Кузьминична.— Трофим поклонился, а затем протянул ей свою большую пухлую руку.

— Здравствуй, батюшка серый волк, Трофим Терентьевич.— Старуха поклонилась в ответ.— Далеко-ко ты от нас убежал, да, видно, вспомнил на склоне своей жизни родимую сторонушку.

— Да как еще вспомнил-то, Пелагея Кузьминична! Ногам не верю, что они меня по родной земле носят.

— Не разучился еще русскими словами говорить?

— Да нет пока. Конечно, попрizaбыл кое-что,— сознался Трофим,— но у меня на ферме русские живут. Не дают родные слова забывать.

Поздоровался и Тейнер с Тудоевой:

— Очень приятно представиться такому почтенному директору отеля. Моя мама меня называет Джонни. Вы можете называть меня Ванькой...

— Да зачем же Ванькой-то? Можно и Вáнюшкой...— шуткой на шутку ответила Пелагея Кузьминична и попросила поглядеть «никем еще не обжитые горенки».

— «Широка страна моя родная...» — запел Тейнер и заявил, что если ему продлят срок пребывания в Советском Союзе, то он согласен здесь жить до конца семилетки.

Петр Терентьевич приветливо улыбался и вникал в каждое слово, сказанное Тейнером. «Уж очень он как-то чересчур политически грамотен и чрезмерно осведомлен в наших делах», — подумал Бахрушин. И, подумав так, решил пока не делать для себя никаких выводов. «Поспешность заключений иногда уводит с истинного пути, и человек принимается не таким, каков он есть, а в соответствии придуманному твоим торопливым разумом облику», — вспомнил он сказанное Стекольниковым.

— Да так-то, пожалуй, лучше, Петрован,— будто продолжая начатый мысленно разговор, сказал Трофим, поставив чемодан в отведенной ему комнате.— И тебе буду не в тягость, и себя не стесню.

— Именно, Трофим. Чем прямее, тем лучше.... Ты как, отдохнешь или пойдешь куда?

— Пойти-то бы лучше... А то как-то сразу и один... Давай уж, Петрован, пожертвуй денек для меня. Сходим на речку... Может, и окунемся по старой памяти... Да и дорассказать надо про свою жизнь.

Тейнер, рассчитавшись с шофером, видимо, желая опять оставить братьев одних, сказал Петру Терентьевичу:

— А я хочу предоставить возможность огуречному рассолу и водке выяснить свои отношения и тем временем проверить качество новой кровати.

На этом и порешили.

Трофим сразу же, как они вышли в поле, приступил к продолжению начатого. Это был холодный рассказ, вовсе не похожий на ту исповедь, которую он обещал Петру Терентьевичу в письме. И Петр Терентьевич, слушая Трофима, не верил даже тому, что было правдой.

И когда братья подошли к речке, Петр Терентьевич сказал:

— Всего все равно не расскажешь... Давай лучше пойдем в воду.

Здесь они когда-то купались мальчиками. Здесь ловили рыбу. Здесь они теперь снова, на склоне лет своей жизни. А речка течет, как прежде. Может быть, она стала чуть-чуть мельче. А может быть, только казалось, что она была глубже и шире в те далекие детские годы.

— Ну что же... Это можно,— ответил тихо Трофим, оглядывая знакомые берега.— Как много утекло воды, Петрован!

— Порядочно,— подтвердил Петр Терентьевич и начал вслед за братом неторопливо раздеваться.

XV

Вечером этого же дня Бахрушин зазвал к себе старика Тудоева и секретаря парткома колхоза Дудорова.

— Не пропадать же пельменям,— пошутил Петр Терентьевич, довольный их приходом.— Да и перекинуться надо о текущем моменте.

Жаркий день сменился теплым вечером. Солнце еще не село, а уже пахло табаком, посаженным в пали-

саднике Еленой Сергеевной. Доносились далекие песни воскресного гуляния молодежи.

Петр Терентьевич начал рассказывать о своих впечатлениях не сразу. Надо же было расспросить о здоровье семьи, о том, как провели день, каков был улов карасей у Дудорова на Тихом озере, где тот бывал каждое воскресное утро.

— Ты, парень, давай не о карасях речь заводи, а о Трошке,— сказал Тудоев,— о карасях он тебе завтра расскажет, а об этой «рыбе» желательно бы знать сегодня.

Петр Терентьевич помедлил с минуту, а потом начал так:

— Один себе на уме, а другой не крепко запертый дуботол. Я говорю про Трофима. Пустой он или, лучше сказать, опустошенный. Читал, видать, маловато, а может быть, и вовсе ничего не читал. Но, видимо, свое дело на ферме знает. Русские слова попрizaбыл, но говорит складно. Политических убеждений никаких. Стыдно даже как-то за него. Люди у него все еще, как в девятнадцатом году, делятся на белых и красных. Вот и все его политические взгляды. Себя не обеляет, но и не раскаивается. О людях судит по одежде и по стенам, в которых они живут. Деньги, я думаю, у него единственный и главный аршин. Душонка, если она у него есть,— не больше луковицы. Словом, серый мужик. Скуповат. Жаден. О себе высокого мнения. «Я» да «я»... Жену, Эльзу, не любит. В бога едва ли верует, но козыряет им. Не он один так поступает в Америке. И у нас такие делеги есть. В колхозе он мало что сумеет увидеть и того менее — вынести. Тары нет. Голова хоть и велика у него и порожняя, да в нее, как мне думается, ничего положить нельзя. Наглухо она запечатана для всего нового. А старое в ней сгнило. И вообще он замороженный человек.

— Какой, какой, Петр Терентьевич? — переспросил Дудоров.

— Законсервированный, — разъяснил Бахрушин. — Смолоду он хоть как-то да мыслил. Отличал все-таки эсеров от коровьего хвоста. А потом его будто взяли и замариновали в консервной банке и продержали в ней сорок лет. Потом откупорили эту банку, и он явился к нам из маринада таким овощем соления двадцатых годов... Может быть, я в чем-то и ошибаюсь, что-то

преувеличиваю, наговариваю на него. Может быть. Ведь у меня с ним особые отношения... Но каковы бы они ни были, он для меня мертвый.

— А тот как? — спросил Кирилл Андреевич Тудоев о Тейнере. — Ребятню он приглянулся.

— Да и мы с Еленой Сергеевной пока худого не можем сказать про него. Американец он. Я с ним будто встречался раньше много раз. Наверно, в книжках. Там он бывал под другими именами, другой масти, а существо одно и то же. Но это все, Григорий Васильевич, — обратился он к Дудорову, — первые впечатления. И, я думаю, впечатления поверхностные. Но какие бы они поверхностные ни были, можно сказать, что Тейнер — человек общительный, прост в обращении с людьми. Острословен в разговоре. Понимает толк в русской речи и, как мне показалось, любит ее до щегольства. Зорок. Любознателен и откровенен. Или делает вид, что откровенен. О нас знает раз в сто больше, чем Трофим. В машине мы перебросились с ним о семилетке, и оказалось, что он читал съездовские материалы и даже помнит наизусть некоторые цифры. Сталь. Зерно. Рост производительности. Очень хорошо отзывался об электрификации.

— Допускает ли он, что мы перегоним Америку? — спросил Дудоров.

— Мы не касались этого вопроса, но все же он сказал, что в мире нет шагов шире, чем наши. Но он тут же, как бы мимоходом, вставил о том, что мы, широко шагая, многое перешагиваем. В смысле — недоделываем. Не обращаем внимания. Не заботимся о качестве некоторых вещей. И с этим нельзя было не согласиться, особенно когда мы ехали через наш старый мост. Мы ведь его тоже перешагнули, не сменив опорные сваи.

— Он на меня произвел тоже неплохое впечатление, — заметил, к удивлению Бахрушина, Дудоров.

— Как это понимать? Неужели ты виделся с ним, Григорий Васильевич?

— Разумеется. Должен же секретарь парткома знать: «Не терпят ли приезжающие неприятностей?»

— А он что?

— Ничего. Ответил, что чувствует себя отлично, и спросил, с кем имеет честь разговаривать, и я назвал себя по имени, отчеству, фамилии и партийной должности.

— Ну и как? — заинтересовался Бахрушин.

— Очень был доволен и ни капли не удивлен моим приходом. А потом попросил показать ему село. И я не отказался. Пока вы купались с одним американцем — с другим мы успели побывать в новом саду, в библиотеке, в музыкальном кружке. Тейнер, оказывается, играет на скрипке. Не ахти как, но все-таки... Ребята-скрипачи с удовольствием слушали его американские детские песенки. А потом он играл «Сомнение» Глинки. Жалею, что не было вас, Петр Терентьевич.

— А я и не сомневался, что Тейнер любит музыку и любит детей. За это велю завтра же доставить ему подарочную бутылку петровской водки.

— Тогда велите доставить две, — сказал Дудоров. — Тейнер заснял маленьких скрипачей узкоплечным киноаппаратом для американского телевидения и записал маленьким магнитофоном их игру. Я думаю, это все вам должно быть приятно.

Бахрушин остался доволен. Может быть, Тейнер в самом деле такой человек, каким выглядит. Не притворство же это ради стремления расположить к себе! Зачем ему это? Хотя...

Всякое бывает на белом свете.

В этот вечер не в одном бахрушинском доме разговаривали о Тейнере и Трофиме. Едва ли была изба, завалинка, улица, где не упоминались бы эти имена и не пересказывались события минувшего дня, сразу же ставшие достоянием всех. Но все это, как поведала Пелагея Кузьминична Тудоева, только запевка к песне, а песня — впереди. И как она споется, пока гадать рано.

— Утро вечера мудренее, — повторила Тудойха известные сказочные слова и добавила к ним свои: — А день и того больше. Не столько мудростью, сколько длинностью. Поживем — увидим, а видеть, я думаю, будет что...

XVI

Трудовая жизнь колхоза шла своим чередом...

Как всегда в первый день сенокоса, Бахрушин поднялся до зари, чтобы не упустить росу. До зари поднялись и остальные.

Сенокос и поныне остается веселым деревенским

праздником. Даже бухгалтерские работники и те просились покосить, погрести, пометать в стога сено. Пусть машина давно вошла в обиход жизни колхоза, все же техническое богатство не вытеснило матушку-косу. Коса все еще остается живой, не знающей старости прабабкой шустрых косилок, как и старые деревянные грабли, потерявшие в веках счет своему возрасту. И этому есть свое объяснение.

Самые сочные, молокогонные травы в Бахрушах растут в лесах, по малым полянам, где для косьбы непригодна даже верткая одноконная косилка. А коса, обкашивающая каждый пенек, каждое дерево, дает добрую треть самородного зеленого богатства, ничуть не уступающего сеяным травам.

Для «разминки телес» косил и сам председатель. Во время покоса на своих постах оставляли только самых незаменимых. Птичниц. Доярок. Сторожей. Дежурных по водокачке. Секретаря при телефоне... Да и те ухитрялись выговорить себе подмену, чтобы хоть день-другой провести на покосе, на вольном воздухе.

Большая половина косарей выехала на свои участки с вечера, чтобы переночевать в лесных балаганах, сооруженных из веток, в незатейливых шатрах или просто под разлапистой елью у костерка.

Ночевать в лесу ни с того ни с сего было бы странным для всякого, а оправданная покосом ночевка в шалаше манила каждого. Теплые ночи, звонкие песни, смолевые запахи, скородумки из первых грибов, уха с дымцом, ужин с винцом, печеная картошечка особенно хороши в родных лесах.

И от мала до стара все веселы в эти покосные дни. Одни вспоминают, другие надеются...

Кого только не одарил уральский лес своими щедротами, своим умением молчать!

Семнадцать лет Кате, внучке Дарьи Степановны. Семнадцать лет. Еще по-девчоночьи Катя тоща, легка и пуглива. Рано ей еще, как еще рано цвести в сосняке, щебетать в ельнике... А что сделаешь, коли месяц тому назад он повстречался на просеке, затормозил голубой, ухоженный до зеркального блеска мотоциклет и, словно боясь своего голоса, сказал:

— Здравствуйте, Катя! Можно вас подвезти?

А Катя почему-то вдруг застеснялась, потупилась и ответила тоже на «вы», как будто это был не их быв-

ший вожатый Андрюша Логинов, а посторонний, мало-знакомый человек:

— Да что вы, Андрей Семенович, я и пешком дойду. Тут всего-то осталось километра три...

А он:

— Нет, что вы, пять! — И, отстегнув у коляски чехол, еще раз пригласил Катю: — Пожалуйста!

С этого дня бахрушинским невестам стало ясно, что завидное и всегда пустовавшее место в коляске мотоцикла молодого главного механика колхоза прочно занято внучкой Дарьи Степановны — Катей.

Вот и сегодня Андрей Логинов гонял по лесным покосным таборам, оставляя за собой синий дымок. Он якобы проверял технику. Только всякому было ясно, что лесная покосная техника — коса да грабли — не нуждается в заботе главного механика.

Андрей не знал, что Кате строго-настрого приказано Дарьей Степановной не появляться весь этот месяц в Бахрушах. И пока не уедет в Америку «бабушкина напасть», Катя вместе с братьями будет жить подле Дальней Шутёмы, на Митягином выпасе.

Надежда, дочь Дарьи, не соглашалась с матерью. Она не считала нужным прятать своих детей и прятаться самой от человека, к которому у нее не было и не могло быть никаких чувств. Надежде Трофимовне даже хотелось показать себя и ребят Трофиму Терентьевичу.

— Пусть увидит, как он далек нам, — уговаривала она мать. — Пусть это будет хоть какой-то оплатой за прошлое.

Но Дарья Степановна не уступила дочери. Она даже привела в доказательство и то, во что не верила:

— Сглазит еще ребят. Особенно Катьку.

Напрасно мотоцикл Андрея Логинова сегодня ревмя ревет, одолевая лесные колдобины. Катя не услышит его, не появится светлым видением, не скажет свое «Опять я вас встретила...»

И вот занялась заря. Зашипели со свистом литовки. Мягко ложатся лесные травы, стоявшие в этом году куда выше пояса.

Петр Терентьевич косил в белой рубаше с расстегнутым воротом. Он шел за молодыми, выкашивая трудные места.

Сенокос начался.

Солнце уже поднялось, а в лесу все еще было прохладно, и росяная трава пока еще и не думала высыхать.

Увлечшись косьюбой, Петр Терентьевич и не услышал, как к нему подошел Трофим. Он тоже был в русской рубашке, без пояса и с косой.

— Ты это что? — сказал, увидев брата, Петр Терентьевич. — В косаря поиграть захотелось?

— Кто его знает. Может, и так. С хорошей погодой, брат! С хорошим укусом. — Трофим поклонился Петру Терентьевичу и принялся довольно уверенно точить косу.

— Тудойха небось тебя так обмундировала?

— Она. И косу она принесла, — ответил Трофим.

Петр Терентьевич посмотрел на брата, усмехнулся, глядячи на знакомые штаны старика Тудоева, и сказал:

— Поглядишь — так вовсе как русский!

— А я и есть русский, Петрован! — твердо заявил Трофим. — Русская нация не на одной русской земле живет.

— Оно, конечно, так, Трофим, да не совсем. Ну да не будем касаться этого вопроса... Покажи лучше, как ты не разучился страдовать.

Трофим принялся косить. Было видно, что коса не по его руке. Легка. Но на втором десятке взмахов он приноровился к ней. Косил низко, под корень, чуть ли не сбривая траву. Огрехов не оставлял даже там, где ему меж деревьев было тесно и без косы.

— Можешь, значит, еще, — похвалил Петр Терентьевич брата.

— Могу, да недолго. У меня на ферме лесок не велик. Годов десять тому назад я в нем один за день управлялся. А теперь дня три его кошу. И тоже балаган ставлю из веток, хоть дом и рядом.

— Старый как малый, — отозвался Бахрушин, — те-шится, чтобы утешиться. А лес там такой же?

— Может, он и такой же, да не тот. В Америке, Петрован, понимаешь, и русская береза по-американски растет.

Петр Терентьевич, перестав косить, громко захотал.

— Вот видишь, Трофим, если уж береза на всякой

земле растет по-своему, то что же говорить о человеке! О нации по одному языку или там, к слову, по косьбе не судят. Нация — это не только общая земля, но и воздух. Чем дышит человек, как думает, может быть, важнее того, на каком языке он разговаривает.

— Так кто же я? Без роду, племени, что ли? — заспорил Трофим. — Разве мы не одного семени плоды? Разве не эта же земля вскормила, вспоила меня? Ты что? Неужто политика сильнее, чем кровь?

— В лесу нынче много народу, — предупредил Бахрушин, — не будем толковать про кровь. Ты гость, я хозяин. Тяжбы между нами нет. Не надо шевелить прошлое и выяснять точки зрения на будущее...

— Воля твоя, Петрован. Ты хозяин, я гость. Только я-то думал, нам есть о чем поговорить, окромя политики.

— Ну коли «окромя», пусть будет «окромя». Под елочкой квас стоит. Ты никак с непривычки-то уморился? Испей. Отдохни, а я докошу для порядка полянку и, если захочешь, свожу тебя по полям. Мне так и так надо ехать...

Трофим молча сел под ель. Принялся набивать трубку. Рубаха на нем взмокла. Живот мешал сидеть вытянув ноги.

Послышался треск приближающегося мотоциклета. Вскоре появился вместе с ним и его обладатель.

— Никак Катерину в рабочее время ищешь, товарищ главный механик?

— Да, Петр Терентьевич, — сознался Логинов. — Здравствуйте. Говорят, что она с Дарьей Степановной уехала из Бахрушей.

— Ну, коли говорят, значит, правда. А что?

— Редкий альбом я для Кати достал. Все коровы мира. И в красках, и на фотографиях. Как бы ей передать? Где она?

— Не велено знать мне об этом, Андрей, — ответил Бахрушин, переводя глаза на Трофима. — Ее бабка, видишь ли, не хочет своих внуков заморскому деду показывать. Вот и уехала без адреса... Познакомься, Андрей. Мистер Бахрушин, Трофим Терентьевич.

Логинов, не ожидавший такой встречи, замер, не зная, как себя вести. А Петр Терентьевич не унимался:

— А ты не робей. Не ровен час и у тебя родня в Сэшэа будет, если Катке твоя тарыхтелка больше к

душе привьется, чем самоходный «москвич» нового зоотехника. Он ведь их всех четверых увез в неизвестном направлении. А Катю-Катерину, распрекрасную картину, на переднее место посадил. Как в рамку, под ветровое стекло вместе с собой врезал...

Андрей окончательно растерялся. Он неловко направился к ели, где сидел Трофим, и поклонился ему:

— Здравствуйте, мистер Бахрушин. С приездом.

Петр Терентьевич, чтобы не показать, как он любит-ся молодым выдвиженцем, стал косить, повернувшись к нему спиной.

— Здравствуйте, молодой человек. У меня тоже есть свой механик. Только постарше.

Дальше разговор не пошел. Логинов постоял, помялся, потом решил объяснить свой уход:

— На третий участок надо съездить. Там два трактора только что из капитального вышли... Хочу взглянуть.

Андрей исчез так же быстро, как и появился. И когда стих гул мотоциклета, Трофим спросил:

— Значит, она на выданье?

— До выданья далеко,— ответил Петр Терентьевич,— пока зоотехнический техникум не окончит, и думать не о чем. Ты лучше спроси, какова она из себя.

Тут Петр Терентьевич повесил на сук свою косу и принялся описывать, какова собой Катя. Бахрушин, рассказывая о ней, не желая того, воскрешал облик Дарьи, которую, даже судя по скупому словесному рисунку Петра, теперь повторила ее внучка.

Не так-то просто складывалось все в Бахрушах, как представлялось еще вчера. И Трофим, чтобы не думать или, может быть, скрыть свои переживания, снял с дерева косу и принялся ожесточенно косить, будто желая на траве выместить свое недовольство.

XVIII

Общительный, разговорчивый и любознательный, Кирилл Андреевич Тудоев короче других сошелся с Тейнером. Старик называл его запросто Джон или даже «парень». Вот и сейчас Тудоев, привезя Тейнера на большой покос, указывал:

— Ты, парень, только погляди, какое нынче выдалось распокосное времечко. И ведреное и ветреное. Сено

сохнет, как на сковороде. Глянь, какое оно гонкое да звонкое.

— Да, да... Гонкое и звонкое... Ведреное и ветренное,— повторял Джон Тейнер новые для него слова, а затем, записывая их в объемистую памятную книжку, требовал у Тудоева объяснения каждому впервые услышанному слову.

Нестерпимая жара заставила Кирилла Андреевича разуться. Он быстренько скинул сапоги, размотал белые, хорошо стиранные портянки и пошел по лугу.

— Идея! — воскликнул Тейнер. — Вы еще можете косить, Кирилл Андреевич?

— Вот тебе и нá,— ответил старик. — Как же не мочь. А зачем ты спросил об этом?

— О! Вы не можете представить зачем. Вы такой необыкновенный человек. Вы так похожи на вашего великого писателя Льва Толстого! Он тоже косил босиком.

Тудоеву это понравилось. Он уже не раз слышал об этом сходстве, которым, в частности, Кирилл Андреевич объяснял для себя свое умение складно рассказывать.

— Пожалуйста, покосите косой, и я сделаю в память о нашей встрече хороший портрет. Вы понимаете?.. Гонкое и звонкое сено... Кругом ветрено и ведрено... Очень хорошо.

— Это можно. Отчего не сняться. Только тут не сыщешь литовки, видишь, чем косят. — Тудоев указал на машины. — Поедем в лес.

И они, набив коробок ходка свежим сеном, поехали к лесу. Раскормленный «шеф-конюхом» племенной жеребец Вихрь бежал степенно и легко, далеко выкидывая вперед тонкие ноги.

Путь до ближайшего леса оказался недолог. Пока расторопный Тейнер привязывал коня к дереву, Кирилл Андреевич сбегал в лес и раздобыл косу. Из лесу вместе с ним появились любопытные. В их числе оказался секретарь райкома Стекольников, имевший обыкновение в страдную пору объезжать покосы.

— Надо же посмотреть, как Кирилл Андреевич будет сниматься Львом Николаевичем Толстым,— шутил он, выходя из лесу с главным агрономом Сергеем Сергеевичем Сметаниным. — Да и неплохо взглянуть на живого американца. Я ведь когда-то их видел тысячи... Разговаривая так, Стекольников замедлил шаги, не желая мешать съемке.

Кирилл Андреевич позировал отлично. Тейнер, сделав несколько снимков, сменил аппарат.

— Теперь идите на меня, — командовал Тейнер. — Боже вас упаси, Кирилл Андреевич, не утирайте со лба пот и не смотрите в аппарат!

Тейнер завел пружину небольшого киноаппарата, присел и, нацелившись, приникнув к видоискателю, медленно повел аппарат за косящим Кириллом Андреевичем Тудоевым.

— Теперь последнее. Теперь крупно. Только одна голова во весь экран.

Тейнер подбежал к Кириллу Андреевичу и сказал: — Сейчас вы устали. Сейчас вы вытираете рукой пот...

Старик оказался хорошим артистом, и Тейнер громко выражал свое восхищение:

— Да, да! Это прекрасно! Это так неожиданно. Это так естественно!

— Не знаю, насколько естественно и неожиданно то, что сейчас снял Джон Тейнер, — поделился Стекольников своими мыслями с главным агрономом, — но мне кажется, продолжение этой съемки будет куда неожиданнее для Тейнера, если мне не изменяет память и слух.

— А что такое, Федор Петрович? — спросил Сметанин.

— Если мне не изменяет память и слух, — повторил Стекольников, — то я должен напомнить избитую полуправду о том, что мир не так велик. Мы с ним встречались на Эльбе. Он был тогда переводчиком. Даже не верится...

— Скажите, как бывает, Федор Петрович! А вдруг это не он? Мало ли схожих лиц.

— Но голос? Суетливость?.. И короткие пальцы. Нет, это он, Сергей Сергеевич. Это он.

— Может быть, подойти ближе, Федор Петрович?

— Нет, зачем же? Не надо. Потом... Только вы, Сергей Сергеевич, пока не делитесь этим ни с кем... Может быть, я и в самом деле ошибаюсь...

— Вот именно... И вообще надо ли вам, следует ли его узнавать? Ведь вы как-никак... Хотя, конечно, ничего особенного в этом нет, но все же...

Стекольников, не скрывая улыбки, заглянул в маленькие серые глазки Сметанина, сказал:

— Вы очень тонкий и чрезвычайно дальновидный стратег.

Главный агроном скромно потупился.

— Не похвалюсь, Федор Петрович, но бдительность всегда была свойственна мне. Даже когда я еще не был кандидатом в члены КПСС. И если бы я был на месте Тудоева, я ни за что бы не согласился сниматься босиком и с косой, когда у нас такая техника,— Сметанин сделал широкий жест рукой, как бы показывая огромность зеленого пространства, где машины косили, гребли и метали в стога сено.

ХІХ

Наверно, за всю свою многолетнюю историю Бахруши не запечатлевались так подробно на пленку, как за эти несколько дней. Тейнер не зная устали фотографировал все. И дом правления колхоза. И слесарей за работой. Огородные гряды. Свиней в луже. Старые избы. Новые строения на Ленивом увале.

Старуха Тудонха еле успевала переодеваться. Она снималась и в новом городском костюме, в котором выступала по телевидению, рассказывая свои были-небыли. Она снималась и в старинной одежде — пряхой. Снималась и на завалинке подле своего дома... А ненасытный Тейнер искал новые сюжеты.

Чувствуя себя необыкновенно свободно, быстро сводя знакомства с колхозниками, благодаря знанию языка и завидному умению усваивать новые слова, Тейнер всех удивлял своей энергией. У него находилось время отвечать на вопросы, которые задавали ему об Америке. И, судя по этим ответам, он вовсе не превозносил американский образ жизни и не козырял многими несомненными достижениями Америки, а даже наоборот, он иногда выглядел нашим агитатором, разбирающимся в цифрах и фактах социалистического строительства.

— Да, избы... Очень тесные избы...— говорил он.— Но каждую вашу избу я вижу счастливой женщиной с большим животом, у которой если не в этом году, так в том появится красивый сын. Он будет походить на свою мать только бревнами... Да, да, только бревнами... У него будут большие, светлые глаза с хорошими стеклами. У него будет хорошая крыша и теплые сени...

Я верю, я вижу... Я знаю, что на увале, который все еще пока немного ленится, появится много таких красивых деревянных сыновей... Из них составятся новые улицы... Да, да! Я верю в это...

Бахруши всегда, и даже в трудные годы, были крепким колхозом, а теперь, после слияния с соседями и покупки машинно-тракторной станции со всем ее инвентарем, появилась возможность стать большим и богатым хозяйством. И об этом Петр Терентьевич много рассказывал Тейнеру.

Тейнер не был глух к цифрам, называемым Петром Терентьевичем. Бахрушину было свойственно убеждать собеседника неоспоримыми доказательствами. А доказательства были простые: для того, чтобы показать завтрашний день, Петр Терентьевич оглядывался на вчерашние дни. И для Тейнера было очевидным, что если кривая успехов подымалась год от году круче, то какие основания думать, что она изменит теперь своей кривизне!

Бахрушин при первом знакомстве всегда выглядел мечтателем, преувеличивающим свои возможности. Таким он и показался Тейнеру. А может быть, хотел показаться таким для затравки разговора. Для того, чтобы собеседник усомнился. И после того, как он усомнится, у Бахрушина появится необходимость оперировать фактами и цифрами. Факты и цифры убеждали Тейнера, и он видел еще не появившиеся даже на чертежной доске проектировщика консервный завод колхоза, небольшое мясоперерабатывающее предприятие, механизированное зернохранилище, задумываемую канализацию Нового Бахрушина со станцией перекачки сточных вод из жилых домов, коровников, телятников на поля.

И горожанин Тейнер отлично понимал, как это разумно и выгодно. Тейнер даже как-то сказал Бахрушину, что, может быть, он напишет небольшую книгу и назовет ее «Мечты и цифры».

Можно было этому верить и не верить, но вторая толстая тетрадь с записями бесед была у Тейнера на исходе. Может быть, эти страницы тетрадей, испещренные стенографическими значками, он обратит во зло. Этого не исключал Бахрушин. Как бы хорошо ни относился Петр Терентьевич к Тейнеру, он оставался для него человеком, торгующим продукцией своей толстой ручки-самописки. Человеком, торгующим и зависимым

от спроса. И его разговоры о свободе печати в Америке походили на свободу полета домашних голубей, которые никуда не могли деться от своей голубятни.

Тейнер, может быть, и сам не понимал своей зависимости от тех, кто печатает написанное им, как не понимал Трофим, что мелкая собственность в развитых капиталистических странах подобна автомобилю, даваемому напрокат и принадлежащему настоящему хозяину капиталистической страны — капиталисту-монополисту. Но как Петр Терентьевич мог сказать об этом Тейнеру? Еще обидится... Поэтому Бахрушин ограничивался тем, что помогал видеть свой колхоз не одними лишь стеклянными глазами аппаратов, но и глазами человека, умеющего заглянуть в завтрашний день.

Колхозникам нравилось, как рассуждает Тейнер. Им была близка его хотя и коверканная, словесно бедная, зато образная речь. О переезде на склон Ленивого увала мечтали почти в каждой избе и ждали: когда же, когда начнется строительство железной дороги, которая пройдет по Бахрушам, и бахрушинцы получают субсидии и материалы для переселения?

Увлекаясь мечтами Петра Терентьевича, стремящегося как можно скорее и как можно больше перенять у города все целесообразное для села, Тейнер пропагандировал бахрушинские замыслы. И пропагандировал настолько увлеченно, что находились недалекие люди и люди, желающие во всем видеть только самое хорошее, которые считали Тейнера коммунистом. Некоторые были даже уверены в этом, утверждая, что он скрывает свою партийную принадлежность. Скрывает потому, что ему может не поздоровиться, когда он вернется домой.

Но однажды ему вопрос был задан прямо... Впрочем, об этом следует рассказать в особой главе хотя бы потому, что описания и пересказы, которые неизбежны во всяком романе, нужно стараться не смешивать с главами, где преобладает действие.

Именно такой будет следующая глава.

XX

Однажды Тейнеру был задан прямой вопрос:

— Сэр, вы так часто разговариваете о коммунизме, наверно, потому, что верите в него?

Этот вопрос был задан один на один белокурой и

синеглазой женщиной в легком дорожном пыльнике и тонких нейлоновых перчатках, входивших в этом году в моду. Она отрекомендовалась до этого Тейнеру корреспондентом Всесоюзного радио Еленой Михайловной Малининой.

— Я реалист, коллега Малинина,— ответил Тейнер.— Я верю во все, что есть... Что я могу увидеть, осязать руками...

— Мистер Тейнер, вы уходите от прямого ответа. Я спрашиваю вас, как на Эльбе... Не для радио... При мне, как вы видите, нет магнитофона...

— Вы, госпожа Малинина, сказали: «Как на Эльбе». Но, судя по вашей молодости, вы не могли быть на Эльбе...

— Нет, могла, мистер Тейнер. Мне тридцать пять лет. Как жаль, что я вынуждена признаться в этом... Я могла быть на Эльбе, мистер Тейнер, хотя и не была на ней... Но если бы я была, то могла ли бы я встретить там похожего на вас переводчика, на циферблате часов которого был светящийся портрет его жены Бетси?.. Этот портрет был виден только в темноте. Бетси тогда улыбалась из-под стекла часов...

Тейнер присел от неожиданности на ступеньки крыльца Дома приезжих, где происходила встреча. На его лысине проступили капли пота.

— Нет, нет... вы не могли быть на Эльбе...

— Какое это имеет значение! Я спрашиваю о часах...

— Госпожа Малинина... Вот эти часы... Идите сюда,— пригласил он Малинину под лестницу,— и вы увидите мою жену... Правда, она теперь не так молода, но не менять же ради этого циферблат хороших часов!

Тейнер прикрыл от света циферблат, и Малинина увидела фосфорическое и, как показалось, мерцающее лицо смеющейся женщины с копной волос.

— Очень хорошо! Я рада, что мне удалось выполнить поручение одного моего знакомого, который вчера видел вас и узнал.

— Кто?

— Вы, может быть, и не помните его. Он был командиром батальона. Вы переводили его речь, обращенную к американским солдатам. Вы были с ним на вечере встречи... Вы, кажется, и тогда не пренебрегали водкой.

— У вас хорошая информация, госпожа Малинина... А у меня плохая память... Я переводил много речей...

Тогда все русские для меня были на одно лицо. Солдаты... Как мне встретить человека, который знает меня по Эльбе?

— Он найдет вас, мистер Тейнер, может быть, даже сегодня. А теперь я хотела бы вам задать несколько вопросов. Вот они. Я переписала вам их. Надеюсь, что вы, мистер Тейнер, такой остроумный человек и так хорошо для иностранца знающий нашу жизнь и русский язык, не откажетесь провести завтра вместе со мной запись для радио?

— Да, да... Но я еще так мало видел в Бахрушах...

— Ничего, ничего... Мы назовем беседу «Первые впечатления мистера Тейнера о Бахрушах».

— Пожалуйста.

— Благодарю вас.

Они распрощались.

Тудоиха, проводив Малинину, вернулась в тень дома, где она, размышляя о том, какой может стать побывальщина о сером волке, вязала пестрые шерстяные чулки на добрую память Трофиму.

Тейнер, помимо воли Тудоевой, входил чужеродной ниткой в словесную вязь сказа, который петля за петлей, слово за словом рождался вслед за событиями этих дней. Но без него, без Тейнера, без этой нитки, как решила сегодня Пелагея Кузьминична, невозможна была живая пестрота задумываемого ею узора.

Сухие, тонкие губы Тудоевой беззвучно, как и вязальные спицы, зашевелились вновь, будто помогая друг другу...

XXI

Митягин выпас, где томилась Катя, привезенная сюда вместе с ее младшими братьями Дарьей Степановной, представлял собою богатое лесное угодье, входившее в земли объединенного колхоза.

По преданию, Митягин выпас получил название от имени атамана Митяги, который безнаказанно «выпасался» здесь со своей разбойной ватагой после удачных налетов.

Издавна об этом лесе, как и о заболоченной Большой Чище, рассказывалось много таинственного. Говорят, будто здесь был самый скрытый раскольничий скит, уживавшийся в соседстве с логовом молодых чаровниц

ведьм, принимавших тысячи леших и болотных страшилищ.

В этом лесу скрывались и жили беглые с уральских заводов, а в гражданскую здесь укрывались от колчаковцев крестьяне. Здесь же скрывался тогда и Петр Бахрушин с Кириллом Тудоевым.

Митягин выпас и теперь остается дремучим и негостеприимным темным лесом для тех, кто впервые попадает в него. А Дарья Степановна здесь как дома. Сюда она хаживала на тайные встречи с Трофимом. Здесь теперь живет ее закадычная подружка Агафья Микулична Ягодкина, главная лесничиха Митягина выпаса.

Хороший большой дом срубил колхоз в самом сердце Митягина выпаса Агафье Ягодкиной. Не пройдет и года, как оживет, подобно Большой Чище, старый лес. Уже поднялись из земли фундаменты серого плитняка для лесопильной рамы, для большой столярно-плотничьей мастерской.

Здесь будут рубить и оснащать срубы домов нового села Бахрушина. Радует Агафья и, как молоденькая, неумолчно стрекочет, рассказывая о веселье, которое уже этой осенью заглянет в ее бобыльную жизнь.

А у Дарьи свои думы...

Ей вдруг начинает казаться, что она зря смалодушничала, уйдя от встречи с Трофимом, будто чего-то боясь... Поймут ли и правильно ли оценят ее отъезд односельчане, не скажет ли кто-нибудь из них, будто она не нашла в себе силы ответить ему тяжелыми словами на его обман?

Но зачем? Он не стоит и этого. Его нет для Дарьи. Это чужой человек. Никто. И даже ненависть — большая честь для него.

Она могла поступить только так, и нечего об этом думать. Как приехал, так и уедет. И если она не встретит его — значит, он как бы и не приезжал. А уж что касемо внуков, им-то никак не пристало видеть его. Еще разнюнится. Пустит слезу... А то, не ровен час, кинется обнимать внуков... Да... Да причитать... Каково им будет тогда? Ну, Сергунька так-сяк — ему четыре года... А Борис? Как-никак перешел в четвертый класс. Что он сумеет ответить, когда его спросят школьники о деде из Америки?.. Разве им объяснишь?

Катя понимала бабушку, но не соглашалась с ней. Не соглашалась умом, не сердцем. Бабушка для нее

была второй матерью. Катя выросла у нее. Катя продолжит труды Дарьи Степановны. Продолжит не самоучкой, какой была бабушка, а образованным зоотехником. Телята для Кати тоже не просто телята, а ее «трудова́я суть». Именно так называла их бабушка, рисуя Кате ее жизнь...

И Катя видела эту жизнь большой, счастливой и полной. Особенно отчетливо она ощутила все это после памятной встречи с Андреем на лесной просеке.

Будь проклят этот воскресший дед! Так хочется в Бахруши, а дни тянутся неделями. Солнце еле-еле ползет по небу.

В Бахрушах радостная пора сенокоса. Все в лесу. И ночи светлые-светлые. Хорошо мчаться на мотоцикле, не включая большую фару. Теплый ветер раздувает, путает ее волосы, и она говорит:

«Андрей! Остановите машину... Я же вся растрепанная. Разве можно ездить на такой сумасшедшей скорости!»

И он, такой виноватый, затормозит и ответит:

«Вот на руле зеркало. Пожалуйста, причесывайтесь, Катя».

Катя знала, что Андрей любит ее, и была очень довольна, что он не говорит о своей любви. Это так разумно с его стороны. Потому что, если он признается в своих чувствах, ей придется ответить на них. А как ответить? Сказать правду: «Андрей, я тоже люблю тебя» — это невозможно. Она дала слово и бабушке и матери не быть торопливой. И она сдержит это слово. Но сказать об этом ему нельзя, как нельзя и солгать или придумать ничего не значащий ответ.

Может быть, ей при первой же встрече с Андреем следует сказать:

«Пожалуйста, не признавайтесь мне в любви еще два года, я очень прошу вас...»

Это рассмешило Катю, и она показалась себе жалкой и глупой.

Катя слышала знакомый шум мотоцикла. Вначале она решила, что ей почудилось... Почудилось потому, что она думала о нем... Но если это так, то зачем же ее братья бросились к дороге с криками: «Едет, едет!»?

Да, это ехал он. Кто бы еще мог по такой избитой лесной дороге пробираться на выпас.

Это был он... Не зря же сказала бабушка:

— Сходила бы ты, девка, минут на десяток в лесок, чтобы румянец с тебя пообдуло.

— А я, бабушка, его ключевой водой смою... Никто не заметит,— ответила Катя и побежала к лесному ручейку.

А мотоциклет уже совсем близко, призывно и громко выговаривал: «Ка-тя! Ка-тя! Ка-тя!»

Как теперь она выйдет к нему навстречу, когда холодной ключевой водой нужно гасить не только румянец щек, но и трепет сердца.

XXII

Трофим, освоившись в Бахрушах, увидел, что колхозный способ ведения сельского хозяйства вовсе не такой безнадежный, каким представлялся ему в Америке. Он даже отмечал для себя некоторые преимущества колхоза по сравнению с фермерским землепользованием. И эти преимущества, на его взгляд, заключались главным образом в обширности и многообразии угодий. Лес, поле, выпасы, озера, речки... Хочешь — разводи стаи водоплавающей птицы. Населяй водоемы рыбой. Расширяй стадо. Занимайся тепличным хозяйством. Сей кормовые. Заводи пчел. Строй: камень и дерево есть. И всюду деньги...

Деньги росли породистым молодняком. Деньги зрели под стеклом тоннами огурцов, крикали белыми скороспелыми величавыми утками, наливались ячменем, завивались в тугие вилки ранней капустой... И куда ни погляди, за что ни возмись, можно стричь прибыль... Но...

Но колхозному хозяйству не хватает самого главного. А самое главное заключалось в нем, в Трофиме. Потому что он без малого сорок лет прожил в стране, где из всего умеют извлекать пользу. Решив оставить по себе хорошую память, он из самых лучших побуждений взял на себя роль наставника в ведении колхозного хозяйства. И когда он приступил к выполнению своей поучительской миссии, для Петра Терентьевича настали трудные дни.

— Кирилл Андреевич, сделай милость, освободи меня от Трофима,— упрашивал Бахрушин Тудоева.— Этот куль с прелой мякиной решил нас учить уму-разуму. А у меня сегодня еле хватит дня. Запродаю сено и пойдруму. Обещали приехать для окончательных торгов с

железной дороги. А он всюду суется и высказывает свои дурацкие суждения, не выходит из правления. Выручай, дорогой.

— Да я уж, Петр Терентьевич, всяко его от тебя ослобоняю,— оправдывался Тудоев.— Два раза его на кладбище, на родительские могилки, водил. В старом дягилевском доме битый час сидели. Кукурузу показывал. Раков даже звал половить. Что я могу?

— А ты, Кирилл Андреевич, еще придумай что-нибудь,— наступал Бахрушин.— Попа, в конце концов, найди. Панихиду-то ведь надо отслужить! Опять, глядишь, часа три на это уйдет.

— А где его взять, попа... Разве в город мотануть!

— И мотани. Мою машину можешь взять. Город покажи. В музей своди... Мало ли... В ресторане пообедай. До копейки отдам. Мой гость, шут бы его побрал. Туда да сюда, опять день пройдет. А там, глядишь, может быть, и я посвободнее буду. Домаюсь с ним сколько положено. А может быть, он раньше срока укатит.

— Будет исполнено, Петр Терентьевич. В лепешку расшибусь, а отманю его от тебя.

Бахрушин вздохнул свободнее в надежде, что старик в самом деле освободит его от Трофима. Но не прошло и часа, как снова появился Трофим.

— А я, Петрован, опять к тебе в контору. Тудоев сказал, будто ты нынче будешь продавать Бахруши железной дороге, так боюсь, как бы ты, добрая душа, не продешевил.

Бахрушин еле сдержался, чтобы не выругаться калеными словами.

— Нет уж, ты мне лучше не подсобляй, Трофим. У меня здесь все-таки не американская биржа, а правление колхоза.

— Ну и что? Один черт на дьяволе. На железных дорогах везде плуты. Что у вас, что у нас. И вся суть в проценте чиновнику.

— Трофим! — начал было закипать Петр Терентьевич.— У нас другие порядки. Другие.

— Оно, может быть, и так,— не отставал Трофим.— Оно, может быть, и другие порядки, а деньги те же, только по-разному называются. И там без доллара плохо, и тут без рубля нехорошо. Бизнес есть бизнес. Цыпленок тоже хочет пить и есть... Так будто пелось при Керенском...

Бахрушину много стоило, чтобы не выгнать Трофима. Но с Трофимом Тейнер.

И кто знает, как он может повернуть эту вспышку Бахрушина.

Нужно было держать себя в руках. Поэтому Петр Терентьевич как можно вразумительнее сказал:

— Трофим, а что, если бы у тебя на ферме я стал так же соваться в каждое дело?

— Брат! Я бы тебе поклонился в ножки. В наших американских правилах наказывается выслушивать всякие советы, даже глупые. Не годен — не принимай. А я ведь хочу по себе памятку в Бахрушах оставить. Уж чего-чего, а покупать и продавать я мастер... Кому платят доллар, а мне всегда полтора. Я хоть цент, да выторгую.

Далее терпеть брата Петр Терентьевич был уже не в силах. И он решил на минуту оставить его одного и зайти к секретарю парткома Дудорову, чтобы тот в случае приезда представителей новостроящейся дороги объяснил им все как есть, а затем свел бы их в сельсовет и оттуда вызвал бы Бахрушина по телефону.

Вернувшись, Петр Терентьевич еще долго выслушивал наставления Трофима.

Трофим твердил:

— Святым можно быть только в раю, потому что там, окромя праведников, никого нет. А земля населена живоглотами и удавами. И если ты не проглотишь удава, он проглотит тебя. К примеру, мой сосед был богаче меня. Хотелось ему слопать мою ферму. И слопал бы, да я забежал вперед. Он и не знал, что его долговые в моих руках... Надеялся на отсрочку от компании... Хотел выкрутиться моей фермой... А я его цап-царап! Плати! Суд в нашем округе скорый и правый. Очухаться старик не успел, как его ферма перешла ко мне. Все перешло ко мне. Только рухлядь выдал ему, жалеючи... Езжай куда хочешь, старый удав!

Петр Терентьевич решил не поддерживать далее разговора, не задавать вопросов, не выражать удивления и не опровергать. Он молча смотрел на брата и думал, что рядом с Трофимом его дед, тряпичник Дягилев, был куда более терпимым стяжателем и умеренным хищником.

А Трофим, любуясь собой, продолжал чуть ли не нараспев изрекать:

— А что такое ваши колхозы? Это такие же фермы, как у нас. Только сообща и без головы.

— Без какой головы? — не удержавшись, спросил Петр Терентьевич.

— Без хозяина. Ты-то ведь на манер приказчика. У тебя ничего своего здесь нет. И ты тут как карандаш, которым пишут.

— Карандаш, которым пишут?

Задав этот вопрос, Петр Терентьевич посмотрел в упор на Трофима, и тот понял, что продолжать разговор не следует.

Поэтому он сказал уклончиво:

— Все мы карандаши в руке божией...

— Увильнул? И правильно сделал. Нам, Трофим, лучше не говорить, кто чем и как пишет. Это грамота не для всякой головы. Жалеючи, говорю...

— А что меня жалеть, Петрован... Я ведь как-никак подтверже тебя на земле стою. На своей земле. На собственной. Меня с нее не выгонишь и не переизберешь, как тебя. Я хозяин. А ты?

Это задело Бахрушина за самое дорогое, сокровенное. Теперь перед ним сидел не просто спорщик, а злой и враждебно настроенный к нему человек. И Петр Терентьевич сказал:

— Не лезь в драку, Трофим. Разъедемся мирно! Ты ведь только сам себе кажешься пиковым тузом, а на самом-то деле ты пыль. Дунь — и нет тебя. Ты ничто. У тебя даже нет настоящих слов умного поборника капитализма. Ты как был мелким хапужником, так и остался им. За спиной таких, как ты, ничего нет. И впереди у тебя тоже ничего нет. Тьма. Тебя уже давно нет в мире. Тебе только чудится, что ты есть, как чудится иногда безному, что у него чешутся пятки. Тебе только кажется, что ты споришь со мной. А ты споришь с собой. Тебе хочется разувериться в том, что ты увидел здесь. Разувериться потому, что увиденное здесь рушит твое понятие о мире, населенном удавами и живоглотами. И ты увидел, что можно жить, не проглатывая друг друга. И ты боишься в это поверить, но и не можешь этого не признать. Потому что признать это — значит зачеркнуть самого себя. А это нелегко, особенно в твои годы. Но я ничем не могу помочь тебе. Тебе нельзя растолковать даже того, что отлично схватывают пионеры.

Вошел Тудоев.

— На этом и прекратим, мистер Бахрушин, вмешательство во внутренние дела.

— Вон ты где! — обрадовался Тудоев.— А я старые дягилевские карточки выискал. Полная семейная выставка. И он, и бабка твоя, и ты, маленький... Даруня в молодые годы и маманя твоя во всей красе и в лисьей шубе... Пойдем!

— Пойдем,—нехотя подымаясь, ответил Трофим и обратился к брату: — Серчать не надо, Петрован. Договорим вдругорядь. Хорошо бы при Тейнере... Бывай здоров!

Утро у Петра Терентьевича явно было испорчено, и он, махнув рукой, плюнул в сторону закрывшейся за Трофимом двери.

XXIII

Федор Петрович Стекольников появился в Доме приезжих вечером. Его встретила Тудойха и сказала, что мистер-свистер пошел на речку купаться, а Трофим Терентьевич ловит с Кириллом Андреевичем рыбу и будет ночевать в лесу, как в молодые годы.

— Это хорошо! — обрадовался Стекольников.— Пусть ловит рыбу и варит уху да меньше путается под ногами у Петра Терентьевича.

— Это да, Федор Петрович. Как таракан, в каждую щель лезет, в каждые щи норовит попасть! — пожаловалась Пелагея Кузьминична.— В наших делах он дуб дубом, а обо всем берется судить.

— А мистер как? — спросил Стекольников.

И старуха неопределенно ответила:

— Круглый он. Увертливый. Катается туда-сюда, как шарик на льду, и не ухватишь. На словах-то он беда какой, медовый пряник, а по делам-то — кто его знает... Я ведь шибко беспартийная, Федор Петрович.

— Да будет вам, Пелагея Кузьминична, на себя наговаривать... Вон, кажется, он возвращается.

Тудойха посмотрела из-под руки на закат.

— Он! И ты, стало быть, узнал его через столько лет!

— А откуда это вам известно, Пелагея Кузьминична?

— На уши-то я пока, Федор Петрович, не жалуюсь.

— Да, я знавал его,—сказал Стекольников и, осмотрев себя, подтянув легкие тканевые сапоги, застегнул

на все пуговицы чесучовый китель, пошел навстречу Тейнеру.

— Алло, Джон,— приветствовал его Стекольников.— Пусть ты не помнишь меня, но я узнал тебя...

Джон остановился, всмотрелся в лицо Стекольникову, потер лоб, потом постучал кулаком по темени, будто желая этим поторопить свою память, подпрыгнул и запел:

— «Расцветали яблони и груши...» Шашлык на теске... Спирт из котелка... Ударь меня по голове, капитан, вот этим камнем. Может быть, ты выбьешь из нее свое имя...

— Федор,— подсказал Стекольников.

— Федор!— крикнул и снова подпрыгнул Тейнер. Они обнялись.

— «Прощай, любимый город, уходим завтра в море»,— пропел Тейнер.— Ты научил меня первым русским песням... Ты подарил трофейную кружку с музыкой... А теперь дай мне по-русски в морду, Федор, за то, что я забыл твое имя. Так могут забывать только американцы... Нет, нет. Ты не говори мне... Американцы очень забывчивый народ. Я знаю. Я очень хорошо знаю.

— Да будет тебе, Джон. Я ведь тоже забыл твое имя... Но сразу узнал тебя, когда ты снимал Кирилла Андреевича. Мы квиты.

— Квиты! Да. Это очень хорошее и короткое слово. Мы — баш на баш. Тогда пойдем в мой отель де Бахруши, у меня найдется кое-что для встречи.— Тейнер взял под руку Стекольникову и потащил к Дому приезжих.

Потом он оглянулся на речку и сказал:

— Всякая река может стать Эльбой, если этого захотят люди... Если они могут захотеть... Но об этом потом. А теперь скажи мне, Федор: хочешь ли ты, чтобы я обнял земной шар?.. Или, может быть, тебе кажется, что у меня для этого коротки руки?.. Тогда я могу достать солнце, пока еще оно не очень далеко закатилось, и подвесить его в авоське, которую я сегодня так удачно купил в сельской лавке. Пусть оно светит нам, как на Эльбе. Как на Эльбе!

Стекольникову радовала безудержная болтовня Джона. Этот весельчак, потолстев, полысев и обрюзгнув, оставался таким же, как и прежде, жизнелюбивым. В эти минуты казалось, словно оба они вернулись на памятный берег Эльбы и словно их не разделяли долгие годы

тягостного и напряженного «мира» и холодной «дружбы» двух стран, державших в своих руках счастливые ключи обоюдного благополучия и пороховые нити судеб десятков народов и жизней миллионов семей.

Пусть будут длиннее минуты встречи! Сегодня Стекольников не станет касаться острых тем. Они поговорят о семьях, о детях, о богатствах уральской земли, об усовершенствовании фотографических аппаратов, о межпланетных путешествиях, наконец... Мало ли о чем могут поговорить люди, не желающие переступить черты того круга, за которым излагать свои суждения куда труднее, нежели толковать о полете на Луну или о продлении человеческой жизни.

Таким и было начало ужина. Пелагея Кузьминична подала на большой черной чугунной сковороде глазунью с зеленым луком. Нашлась бутылочка анисовой настойки, которой изредка баловалась Тудоева, появились и малосольные огурцы, а затем молодой картофель, сваренный в соленой воде, приправленной уксусом.

Федор Петрович рассказал о себе, начиная с Эльбы и кончая встречей на берегу Горамилки.

О таком же отрезке своей жизни более длинно, но очень весело рассказал и Тейнер.

Из рассказа, в котором было множество лишних подробностей и отступлений, Федор Петрович понял, что основной источник существования Тейнера — переводы с русского языка и компиляции по русским изданиям. Все это, как видно, давало достаточные доходы. Иначе как мог бы Тейнер субсидировать поездку Трофима, которая стоит немало денег?

Тейнер не скрыл, что эта поездка сулит не только большую популярность, но и хорошее вознаграждение.

— Правда о Советском Союзе хотя и не пользуется еще бóльшим спросом, чем ложь, но все же приобретает растущую популярность. Меня устроила такая конъюнктура, и я подписал контракты и получил по ним достаточно, чтобы привезти сюда Трофима.

На вопрос о том, как он встретился с Трофимом, Тейнер сказал:

— Я давно искал героя моей книги о двух братьях. Мне предлагали многих. Но я не надеялся на них. Они могли не вернуться в Америку, и у меня тогда не было бы книги.

— Почему? — перебил Стекольников.

— Какой издатель в Америке захочет издать книгу, в которой герой меняет американское царство небесное на коммунистический ад? Нужно быть дураком, чтобы написать такую книгу. А я, Федор, сын аптекаря и знаю, что такое доза. А моя мама играла на скрипке. И от нее я узнал, что такое такт.

— Я бы мог возразить тебе Джон,— сказал Стекольников.— Пусть мой отец не был аптекарем, а моя мать не играла на скрипке, однако и мне не чужды и доза и такт, поэтому я отложу свои некоторые дружеские замечания до новой встречи. А теперь досказывай о том, как ты нашел Трофима Терентьевича.

— Он нашелся сам. Фортуна вытащила мне его из счастливой урны беспроигрышным билетом. Он узнал обо мне по моей книжке «По дорогам России». Ее, кажется, переведут на русский язык... Он разыскал меня и рассказал о своей жизни, а потом спросил, может ли он не опасаться за жизнь, если вздумает поехать в Россию... И когда он показал газету, где называлось имя его брата Петра Терентьевича, я поверил, что на небе есть высшие силы, у которых находится время обратить свое светлое внимание на Джона Тейнера... Дальше инициатива перешла в мои руки... Трофиму нужно было сказать: «Я еду» — и больше не думать ни о чем, включая письмо Петру Терентьевичу, которое я переписал без «ять», без твердых знаков и «фиты»... Трофим не знает новой русской орфографии. И я не уверен, что он хотя бы на тройку с минусом знает старую.

Тейнер, явно любовавшийся своим знанием русского языка, досказал историю знакомства с Трофимом, задержав у себя Стекольникова до полуночи.

Федор Петрович позвонил в правление колхоза, где находилась его машина, затем, прощаясь с Тейнером, пригласил его побывать у него дома, пообещав прислать за ним «Ивана Виллиса» новейшей марки.

XXIV

Трофим в Бахрушах наскучил до того, что им перестали интересоваться, а многие даже избегали его.

Секретарь парткома колхоза Григорий Васильевич Дудоров, оберегая в первые дни беспартийную колхозную массу от чуждого влияния американского гостя, поручал коммунистам в случае чего вмешиваться и, что

называется, «давать отпор». Но вскоре секретарь парткома увидел, что это была ненужная опека:

Веселый по нраву, любящий шутку Дудоров однажды заявил, что лучшего агитатора, разоблачающего сущность капитализма, нежели Трофим Терентьевич, пожалуй, трудно сыскать не только в районе, но и во всей области.

Хищническая, грабительская натура была до такой степени незамаскированно очевидна, что разъяснять все это было не только ненужным, но, может быть, даже и обидным для колхозников.

Петр Терентьевич и Дудоров не ошибались в оценке разглагольствований Трофима. Его словоизлияния были не только спутниками возраста и результатом хвастливой самонадеянности, но и желанием проверить незыблемость своих догм и основ устройства жизни. А эти догмы, унаследованные еще от деда Дягилева, исповедуемые Трофимом до последнего времени, как оказалось, нуждаются в проверке.

Не могли же, в самом деле, все эти люди, с которыми он встречался, просто так не соглашаться с ним и подсмеиваться над теми истинами, на которых держится не одна страна. Значит, есть какая-то другая, и немало важная сила, отрицающая все то главное, что для него было, есть и остается обязательным условием существования людей.

В чем же эта сила? На чем, в частности, держится их колхоз? Не на красных же словах и не с закрытыми же глазами они создают другую жизнь, непохожую на ту, какой живет его ферма. Что заставляет их любить все это, заботиться, защищать?..

Потребность сталкивать свои убеждения с «ихними» для Трофима становилась день ото дня неодолимее. Потому что только в этих столкновениях и несогласиях можно было узнать хотя бы немного из того, что противоречит его понятиям, проверенным длинной жизнью.

Восхищаясь невиданным до этого сметанинским горохом «ССС», высеваемым вместе с овсом, Трофим однажды при встрече сказал главному агроному:

— Цены вам нет, Сергей Сергеевич, коли вы сумели выпестовать такой горошище. И стручков на стебле много... И много горошин в каждом стручке... И горошины самые отменные... Только почему же вы, Сергей Сергеевич, продаете свой горох не в дробленном виде?

— А зачем же его нужно дробить? — не понимая, куда клонится речь, спросил Сметанин.

— Да ведь недробленный горох — семена. Ваши конкуренты, окрестные колхозы, будут выращивать сами ваш горох, и годика через два вы останетесь с горохом, но на бобах.

Сметанин не нашел тогда ответа, хотя он именно для того и выводил свой горох, чтобы как можно шире распространить неприхотливый и урожайный сорт. Трофим не понял бы этого. Колхоз представлялся ему как некое акционерное общество земледельцев, ведущих хозяйство в складчину и конкурирующих с другими такими же акционерными обществами — соседними колхозами.

Поэтому и зоотехнику Володе Козлову было сказано:

— Уж кто-кто, а я-то понимаю толк в скоте. Не похвалюсь, но и у меня на ферме есть завидные коровки, однако скажу по чести, что моим коровам далековато до ваших, и тем прискорбнее, что вы продаете не только телок, но и бычков.

Володя Козлов широко открыл свои и без того большие серые глаза, стал торопливо возражать:

— Что вы, что вы, Трофим Терентьевич, за каждого десяти-одиннадцатимесячного бычка мы получаем втрое-вчетверо больше. У нас очередь за бычками...

На это Трофим Терентьевич тихо, будто по секрету, принялся вразумлять молодого человека:

— Не спорю, может, и выгодная статья, если на эту выгоду смотреть вблизи. А ежели заглянуть подальше, получится то же, что и с горохом.

— А что именно, что именно? — заинтересовался молодой, жадный до знаний зоотехник.

— Как что? — Трофим развел руками и принялся далее вразумлять Володю: — Если ты продаешь только телок, а бычков, хотя бы себе в убыток, режешь на мясо, значит, ты сохраняешь за собой монополию на эту редкую породу. Телки-то без бычков не дадут стада.

Володя, как и Сметанин, не стал убеждать Трофима Терентьевича, что взаимоотношения колхозов и всех предприятий страны строятся на взаимопомощи, а не на выгоде одного за счет другого. Это было бы напрасной тратой сил. Пришлось бы сначала дать представление о новых производственных отношениях людей. О народе-хозяине и народе-труженике. Затем перейти к основам социализма и общественной собственности.

Коснуться хотя бы коротко важнейших разделов семилетнего плана... Но на это потребовалось бы не час и не два, а может быть, не один месяц работы, потому что расчистка беспросветной головы Трофима Терентьевича была делом куда более трудным, чем осушка и вспашка заболоченной Большой Чищи. И Володя сказал:

— Вы посоветуйте это все, Трофим Терентьевич, правлению колхоза или секретарю парткома Григорию Васильевичу. Там люди постарше, они лучше поймут.

— И посоветую, обязательно посоветую,— пообещал Трофим Терентьевич.

XXV

Трофим сдержал свое слово и явился в партком к Григорию Васильевичу Дудорову.

Наверно, в первый раз за время своего существования стены партийного комитета слышали подобного рода высказывания.

Трофим Терентьевич начал так:

— Вот вы, Григорий Васильевич, являетесь молодым коммунистическим пастырем и, наверно, хотите знать, как достичь благополучия и полного достатка.

— Как не хотеть, Трофим Терентьевич.— Подавляя улыбку и садясь в кресло напротив своего собеседника, Дудоров выразил готовность не только выслушать его, но и записать наиболее ценное из сказанного.

Трофим, заведя речь о бычках и горохе, перешел к программе благополучия:

— Если бы мне этот горох, это стадо, эти земли, леса и озера с птицей и, главное, этих людей, я бы добился в Бахрушах за три, за четыре года благополучия не хуже американского.

— Это очень интересно,— подлил масла в огонь Дудоров, выразив на своем лице такое внимание, что, кажется, не только маленькие розовые уши, но и синие задумчивые глаза, и высокий гладкий лоб, и зачесанные назад волнистые рыжеватые волосы, и все, вплоть до ямочек на щеках, замерло в ожидании величайшего откровения.

Довольный Трофим изрек:

— Брат мой, Петрован, простоват. И лишковато добер. К нему ездят перенимать опыт, а он, душа нарас-

пашку, не таясь, открывает свои патенты. Это же самое делают бригадиры и звеньевые.

— Тоже раскрывают секреты своих достижений?

— Именно, Григорий Васильевич.

— А как же быть?

— Огородить колхозные земли. Огородить и не допускать конкурентов...

— Так, так, так...— Дудоров всматривался в одутловатое лицо Трофима с мешками под глазами, может быть, впервые видя настоящего, живого мироеда.

— Это первое,— продолжал Трофим.— А второе — нужно захватить в городе колхозный рынок. Если не под силу одним, то надо прихватить компаньоном какой-то надежный, располагающий капиталом колхоз и стать хозяином цен на молоко, мясо, овощи и птицу.

— А как это можно сделать? — спросил Дудоров.

И Трофим, сжимая кулак, как будто показывая этим, что он кого-то душит, сказал:

— Сбить цену. Не бояться на первых порах убытков. Уж коли соревноваться, так соревноваться насмерть, чтобы другим колхозам было невозможно. И когда они запоют Лазаря, бери их тогда голыми руками. Они как шелковенькие согласятся продавать свою продукцию через тебя, отдавая тебе положенный процент. И ты потом можешь играть колхозным рынком, как захочешь. Понятно ли это вам, Григорий Васильевич?

— Понятно, Трофим Терентьевич, только одно в моей голове не укладывается.

— Спрашивайте. Не стесняйтесь. Ничего от своих земляков не утаю. Я на этот счет, прошу поверить, не одну собаку съел...

— Чувствую и понимаю,— сказал Дудоров с иронической почтительностью, принимаемой Трофимом за чистую монету,— только покорнейше прошу вас так же чистосердечно разъяснить мне: пострадают ли от этого захвата рынка другие колхозы?

— Само собой. Для того и рынок. У кого козыри, у того и деньги, а у кого деньги, у того и жизнь.

— А бог?

— Какой бог, Григорий Васильевич?

— Тот самый, который повелел любить ближнего своего, как самого себя. Который велит видеть в каждом человеке брата своего или сестру свою... Как, вы думаете, он посмотрит, если мы начнем притеснять со-

седей, присваивать труд и хлеб, добытый в поте лица своего другими колхозами?

Трофим нахмурился, глянул исподлобья на Дудорова и сказал:

— Вам-то зачем о боге разговаривать, Григорий Васильевич? Вы же не верите во вседержателя.

— Это не имеет значения... На Страшном суде, если мне и Петру Терентьевичу пришлют на таковой судебные повестки, будут судить не по вере, а по делам. А наши дела все на виду. Горох мы не дробили. Цены выше положенной не драли. Пожалуйста, сейте все горох «ССС» — Сергея Сергеевича Сметанина. Бычков мы поставляем отменных. Таланты свои в землю не зарываем, а раздаем их по мере наших сил и возможностей... Чужим трудом не живем... А вот вам, Трофим Терентьевич, могут сделать некоторые замечания на Страшном суде.

— За что?

— Да хотя бы за то, что вы молодого секретаря партийного комитета, которому надлежит бороться за справедливые порядки, сбиваете на путь спекуляции и угнетения соседей... А ведь в скрижалях заповедей, врученных на горе Синае пророку Моисею, бог довольно отчетливо сформулировал: «Не пожелай дома ближнего своего, ни жены его, ни раба его, ни вола его...» И так далее. Цитирую по памяти... Но на Страшном-то суде эту заповедь до буковки вспомнят и могут предъявить мне обвинение по советской линии, а вам — по вашей капиталистической...

— Какие обвинения?

— Это уж вам самого себя надо спросить, Трофим Терентьевич. Проверьте прожитое по законам божьим и спросите себя... Чтили ли вы отца своего и мать свою? Я имею в виду вашего покойного батюшку Терентия Петровича... Не пожелали ли жены ближнего своего... Не убивали ли братьев своих?... Здесь я имею в виду не огнестрельное оружие, а убийство мелких фермеров путем конкуренции. Проверьте это все по обеим скрижалям Моисеевым, а потом прикиньте на тех же весах жизнь и деяния вашего брата Петра Терентьевича, и вам, как человеку верующему, а не притворяющемуся верующим, будет довольно ясно, кого и какие перспективы могут ожидать на предварительном архангельском следствии перед Страшным судом...

Багровый и злой, расстегивая ворот рубашки, Трофим спросил:

— Почему вам так хорошо известно Священное писание?

— Потому, что я коммунист, Трофим Терентьевич. А коммунисты до того, как что-то опровергать или отрицать, очень хорошо изучают опровергаемое и отрицаемое... И если бы вы или кто-то из ваших единомышленников перед тем, как опровергать и отрицать великое Ленинское учение о коммунизме, познакомились бы с ним, хотя бы в общих чертах, нам не пришлось бы терять время, как мы это делаем сейчас.

— Имею честь откланяться, господин коммунист. Дудоров поднялся и ответил Трофиму поклоном.

— Прошу принять мое сожаление в том, что я не сумел быть неоткровенным с вами. Но ведь вы же сами вызвали на это своей проповедью порабощения. И если теперь, оставшись наедине с самим собой, вы захотите подумать над сказанным мною, то, может быть, вам покажется хотя бы ненужным убеждать нас в том, во что вы не очень твердо верите сами... Имею честь...

Трофим еще раз откланялся и, споткнувшись о край ковровой дорожки, направился к выходу. Он что-то сказал, открывая дверь, но свист большого самолета, идущего на посадку, заглушил его слова.

Оказавшись на улице и не зная куда деться, Трофим направился в магазин, на витрине которого стояла давно привлекавшая его внимание бутылка столичной водки.

XXVI

Дружно начавшийся сенокос закончился без единого дождя. Кое-где в перелесках, на малых далеких полянах метали сверхплановые комсомольские и пионерские стога. Они уже становились традицией колхоза. Года четыре тому назад, когда в колхозе было трудно с деньгами и не из чего было выделять средства на комсомольские и пионерские затеи, Петр Терентьевич предложил молодым людям «выискивать деньги самим», а бухгалтер колхоза открыл особые счета для комсомольцев и пионеров. Тем и другим было предоставлено право последней подчистки. Это было обоюдно выгодно. При массовой уборке урожая нельзя было собрать все

до колоса, до клубня. К тому же машины нередко давали «осечки», делали пропуски. «Подчищать» поле вручную силами колхозников стоило дорого, а оставлять добро тоже казалось расточительством. Вот и нашли тогда способ подчистки силами молодых рук и зорких глаз.

— Это очень шикарная идея! Это великий коллективный бизнес! Я обязательно напишу в «Комсомольскую правду», как можно собрать в поле оставленный там стадион или пионерский дворец. Это американский подход, по-коммунистически устремленный. Комсомольцы за один субботник и за одно штурмовое воскресенье накосили бросовой травы на две трибуны нового стадиона. А пионеры получили гарантию прокормить своих кур и голубей на школьной ферме до Нового года. Это отлично, Федор! Это очень хорошо!

Так говорил Джон Тейнер за вечерним чаем в небольшой столовой новой квартиры Стекольников.

— Я очень рад, Джон. «Комсомольская правда» непременно напечатает твою статью о комсомольской инициативе Петра Терентьевича. Мне очень приятно, Джон, что твой пытливый глаз заметил «по-коммунистически целеустремленный американский подход». Это очень правильное замечание. И если бы некоторые из наших журналистов обладали этим по-коммунистически целеустремленным американским подходом, то появилась бы хорошая книга о том, как остаются в поле многие и очень многие миллионы рублей... И, может быть, такую книгу следует написать тебе. На чужой земле лучше видишь достоинства и недостатки, нежели на своей... Но ты скажи мне, Джон, что ты напишешь о нас для американского читателя...

— Правду!

— Я так и думаю... Но какую! Успехи механизации, высокая урожайность — это правда. Лужа у правления колхоза, из которой не вылезают свиньи, — тоже правда.

При этих словах сидевшая за столом жена Стекольников, сославшись на кухонные дела и попросив извинения, вышла. Догадливый Тейнер понял, что сейчас начнется самый главный разговор, и, забегаая вперед, сказал:

— Конечно, я для экзотики запечатлел на пленке и лужу. Я сделал фотографию и покосившегося старого коровника с соломенной крышей, на котором висел боль-

шой призыв об экономическом соревновании с Америкой. Разве это не так? Разве это я выдумал, Федор?

— Это правда, Джон! Но не будет ли это выглядеть на снимке издевательски, даже без подписи. Как и свиньи в луже, снятые перед правлением колхоза. Снятые тобою так, что в кадр снимка попало крыльцо правления колхоза и вывеска, на которой написано: «Правление колхоза «Коммунистический труд». Согласись, что это не очень благожелательное фотографирование... Тем более что ты сам чуть ли не ложился в лужу, чтобы захватить объективом и свиней и вывеску.

— Ты неплохо наблюдаешь за мною, Федор.

— Нет, Джон, ты и Трофим совершенно свободны в своих действиях. Но если дети, маленькие фотографы-любители, замечают это и жалуются своему вожатому, тоже еще очень юному человеку, я обязан откликнуться на их протест.

— У вас очень смышленные дети, Федор Петрович.

— Да, Джон, хотя они еще и многого оставляют желать, но они правильно мыслят... Лужа — это правда. И ужасный, подпертый десятками жердей, готовый рухнуть коровник — тоже правда. И старик Тудоев, босиком косивший косой в первом году семилетки, — тоже правда, хотя и придуманная тобой. Но согласись, что неразумно приводить в порядок коровник, которому осталось жить месяц, потому что там пройдет полоса отчуждения железной дороги и коровы уже этой осенью будут жить в новых коровниках, на Ленивом увале... Это тоже правда... И до ломаного гроша расчетливый Петр Терентьевич тоже не засыпает лужу, потому что она уже не на его земле, а на железнодорожной. Это тоже правда, хотя я и не одобряю ее. Новейшие свинарники на горе, с водопроводом и канализацией, с полуавтоматической чисткой нечистот и баней, — тоже правда. Почему же ты не обратишь свой объектив на эту правду? Почему?

Джон опустил глаза, барабанил короткими пальцами по столу, ответил так:

— Видишь ли, Федор, я озорной и веселый человек. Мне показались очень забавными эти контрасты. И я боялся, что лужа высохнет, а коровник рухнет и я потеряю снимки, которые могут привлечь внимание к моей книге... Да, да... Ты не знаешь, как нужно делать книгу для американского читателя... Если я покажу

падающий коровник, а потом покажу коров, которые обогнали своих сестер не только в Америке, но и в Дании, а затем покажу контрастом новый коровник — это будет увлекательный сюжет по-американски. Так же и лужа. Ты не можешь знать, какие комментарии в моей голове к этой луже. Вот, скажу я, в этой луже купаются одиноличные свиньи старых Бахрушей в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году. А в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году здесь пройдет железная дорога, одна из многих электрических дорог, которые будут построены за семилетку... И дальше, на другой странице... Да, да, Федор. Я уже вижу страницы моей книги напечатанными. На другой странице я показываю огромный свинарник... Я американский журналист, Федор. И я знаю свое ремесло. Я не могу делать такую книгу, которая не увидит ротации. Американский читатель любит сюрпризы. И если бы я начал торговать сосисками, которые вместо мяса начинены джемом или мороженым, я уверяю тебя, что такие сосиски хватили бы вместе с кистями рук до тех пор, пока не поняли, что глупо бараньи кишки фаршировать мороженым... Но я бы уже сделал капитал на моей выдумке... Не сердись на меня, Федор, но я американец, и я не могу быть другим... И если я... Нет, нет, так я не сделаю... Но если бы я на обложке книги напечатал снимок падающего коровника с лозунгом «Перегоним Америку», компания не побоялась бы вложить в мою книгу миллион долларов, чтобы получить два. Такая обложка была бы хорошей кишкой для продажи. Да, да, Федор... Верь мне, компания не будет интересоваться, чем я начиню свои сосиски. Им важно продать их как можно больше.

Стекольников тяжело вздохнул, выпил залпом стакан остывшего чая и сказал:

— Так-то оно так, Джон, но все-таки в этом «так» что-то не так.

Джон стал оправдываться:

— Не я, Федор, делал историю Америки, и, думаю, ее также не делал, хотя и начинал, Авраам Линкольн... Не я, Федор, придумывал судорогу рок-н-ролла или конвульсии хула-хупа. Не я убийство сделал главным гвоздем кино. Не я выковал золотой ключ, без которого ты не откроешь даже самой дешевой банки с бобовыми консервами. Но я должен повторить волчью истину Тро-

фима Терентьевича: «А жить-то надо». И я живу, нахожу компромиссы со своей совестью и живу.

Джон, кажется, говорил правду. Его зеленые веселые глаза вдруг погрузстнели, и он совсем просто сказал:

— У меня очень большая семья, а Бетси все еще любит наряжаться. Она не понимает, что за наш красивый дом на берегу Гудзона не выплачено и половины. Ах, Федор, зачем тебе знать, как Тейнеры штопают свои носки! Конечно, Федор, я не могу тебе обещать написать коммунистическую книгу. Нет, нет. Я не могу обещать этого, и я не напишу ее. Но я сделаю сосиски с хорошим фаршем.

XXVII

На другой день Федор Петрович Стекольников, объезжая с Бахрушиным поля, разговорился о Тейнере.

— Как ты, Федор Петрович, после стольких встреч думаешь о нем? — спросил Бахрушин.

— Мне нравится Тейнер со всеми его вывертами, — ответил Стекольников. — Конечно, от него можно ожидать всего, но не самого худшего. Тейнер старается доказать мне, что американская печать не похожа ни на какую другую. Что будто бы ее предприниматель рассматривает печатаемое им только как товар, дающий прибыли, не задумываясь над его идейным содержанием. И поэтому он, Джон Тейнер, якобы свободен в своих писаниях.

— А ты что ему на это?

— Тейнеру, видимо, стыдно поверить, что он если не слуга, то, во всяком случае, прислужник доллара, а следовательно, и тех, кто вознаграждает его труд... А мне как-то неудобно называть вещи своими именами...

Бахрушин удивился. Посмотрел на Стекольникова:

— Почему же тебе неудобно говорить то, что есть? Ведь вы же братались на Эльбе.

— Стыдно признаться, Петр Терентьевич, но мне его жаль. Я думаю, что Тейнер в конце концов созреет сам и поймет несостоятельность своих суждений. Ему трудно понять, что сосуществование социализма с капитализмом не означает сращивания и, как он выражается, «диффузии этих двух начал». Он хочет капитализм разбавить социализмом, а социализм — капитализмом, что-

бы получить новую общественную формацию. Он и не знает, что эти потерпевшие крах старые идеи некоторых теоретиков, прогоревших вместе со своими партиями, вовсе не являются его открытием. Ну как скажешь, что он во второй половине двадцатого столетия изобрел велосипед?

Бахрушин не соглашался:

— Если они в журнале «Америка», издающемся на русском языке, свободно пропагандируют у нас капиталистический, американский образ жизни... если они привозят этот образ жизни в Сокольники в виде выставки, почему же мы не можем теми же способами говорить о своем образе жизни? Тейнеру прямо нужно сказать...— Недоговорив, Бахрушин вдруг смолк.

Он увидел выползшего из овсов Тейнера с двумя мальчишками в головных уборах из петушиных перьев. Снимался эпизод, показывающий, что дети везде остаются детьми и что в индейцев советские ребята играют, как и американские.

— Что нужно сказать Тейнеру прямо? Я слушаю вас, Петр Терентьевич,— спросил Тейнер.

И Бахрушин ответил:

— Садитесь, мистер Тейнер, в коробок и поедem смотреть раннюю капусту, если индейские съемки вами закончены. Я скажу, что советовал сказать Федору Петровичу.

Тейнер распрощался с ребятами. Они, не снимая настоящего индейского убора, который смастерил им настоящий американец мистер дядя Джон Тейнер, видевший настоящих индейцев, отсалютовали ему, произнеся какое-то, наверно, тоже настоящее индейское слово, и уползли по меже.

— Я опять что-то делаю не так? — спросил Тейнер.— О чем мне нужно сказать прямо?

— Ничего особенного, Джон,— ответил Стекольников.— Я рассказывал о твоей теории диффузии капитализма и социализма.

— Это то, чем я буду знаменит на весь мир. Да! Вы видите, я это говорю серьезно. Вы видите, на моем лице нет улыбки. Я тоже могу быть серьезным человеком. Потому что я хочу счастья людям, которых люблю. И нашим и вашим. Теория диффузии даст миру золотые ключи к счастью. Мы должны диффундировать. И это неизбежно.

Федор Петрович, выслушав Тейнера, посоветовал Бахрушину:

— Теперь вы, Петр Терентьевич, возьмите и скажите ему прямо то, что вам хотелось.

Петр Терентьевич, пересевший из коробка на козлы, шевельнул вожжами. Жимолость перешла на рысь, подавала голос бежавшему за ходком жеребенку, и разговор прервался.

Да и как его продолжать? «Да» и «нет», «нет» и «да» — это пустая, бездоказательная болтовня. «Нет» и «да» без подкрепления доказательствами равнозначны. А какие доказательства может привести Бахрушин, если уровень политических знаний Тейнера куда ниже развиваемой им темы? Он даже не слышал о знаменитых пяти Ленинских укладах. Он не знает о существовании книги Энгельса «О происхождении семьи, частной собственности и государства».

Тейнера хотя и нельзя было сравнивать с Трофимом, но какая-то отдаленная схожесть между ними давала себя знать. Тейнеру, образованному человеку в буржуазном понимании этого слова, не были известны хотя бы в смутных чертах законы общественного развития.

Как можно разговаривать с человеком о ракетной технике, если он не представляет себе, что такое огнестрельное оружие.

И когда они приехали на плантацию ранней капусты, поставка которой в город шла настолько неудовлетворительно, что даже звонили в райком Стекольникову, Бахрушин сказал, глядя на Тейнера:

— Эти кочаны только на глаз кажутся большими, пригодными в дело кочанами, но, если взять их в руки, они легки, пусты и недозрелы. Одна видимость. Вот хоть этот взять. Голова велика, да не туго свита...

Тейнер, поняв намек, стал ощупывать свою голову так же, как Бахрушин ощупывал белый рыхлый кочан капусты.

— Я не спорю с вами, Петр Терентьевич, — сказал Тейнер. — Может быть, и моя голова велика, если судить по размеру шляпы, которую я ношу, но не туго свита. На свете бывают разные сорта капусты. Но всякий кочан имеет свое применение. Вот этот, например, моя мама предпочла бы другим. Его пустоту легко заполнить рубленным мясом и потом сварить. Получается отличное блюдо... Вообще пустой кочан очень удобен для

всякой начинки. Поэтому я рад выслушать вас, Петр Терентьевич.

Бахрушин покраснел:

— Не обижайтесь, дорогой мистер Тейнер. Вы, право же, мне очень приятны, и я искренне сожалею, что как мы ни садимся, а в совместные музыканты не годимся... Видимо, у каждого своя нотная грамота.

— Ну, вот и все ясно,— вмешался Стекольников.— Если уж капустные кочаны смешали с нотной грамотой, нечего от этого ждать хорошей музыки... Джон, хочешь поехать в питомник серебристых лис?

— Спасибо. Я не люблю их ни в прямом, ни в переносном смысле.

— Джон! Неужели я похож... Ну как ты мог так сострить!

Джон расхохотался. Подпрыгнул. Пожал руку Стекольникову и сказал:

— Но ведь моей голове тоже не хочется быть кочаном капусты, если она думает о себе как о фабрике великих идей!

Размолвка свелась на нет. И они заговорили о грибной вылазке, о специальном телевизионном фильме Тейнера, который он назовет «Дети как дети», но все же «хорошей музыки» пока не получалось.

— Не диффундируем! — сказал Тейнер, прощаясь у Дома приезжих.

— Но и не враждуем,— ответил Стекольников.

— Пусть Пелагея Кузьминична начинит его рубленным мясом. Научите ее. Не пропадать же сорванному кочану. Я сегодня буду вашим гостем, и мы подиффундируем на эту тему.— Бахрушин подал Тейнеру кочан и, махнув рукой на прощание, повез Стекольникову в правление.

XXVIII

— Ежели б,— говорил Трофим Тудоевой,— ваши люди могли увидеть хоть бы в половину глаза, чем крепко американское благополучие, мне бы тогда не надо было доказывать, на чем растут еловые шишки. Вот посмотрят в Москве американскую выставку, и люди поймут, почему сотня гребешков.

Долго и подробно объяснял Трофим терпеливой слу-

шательнице, что такое конкуренция, без которой невозможно никакая жизнь.

— Ну, пускай земля общая, пускай машины и скот принадлежат всем, но если не будет конкуренции колхоза с колхозом, как можно богатеть?

Тудоева слушала и вязала чулок, а Трофим, сидя босиком, в нижней рубаше на крыльце Дома приезжих, доказывал теперь не столько ей, сколько самому себе, что борьба на рынке приводит к процветанию. Он утверждал, что один другого для того и бьет ценой, чтобы битый перекрывал небитого для всеобщего процветания и выискивал удешевление всякой и всяческой продукции, от моркови начиная и до автомобилей включительно.

Убежденный в этом Трофим искренне сожалел, что ни брат, ни Сметанин, ни самый глазастый из всех секретарь партийного комитета Дудоров не усваивали этих его мыслей.

Социалистические порядки, как и религию, Трофим находил хорошими для души, для самочувствия, но не для дела. И ему было совершенно непонятно: на чем держится колхозное хозяйство и что двигает его? Не сознание же, о котором так много рассуждали и Кирилл Тудоев и Петрован.

Ну как может сознание заставлять человека добросовестно трудиться и добиваться благополучия? Может быть, *они* открыли новую веру в построение рая на земле? Может быть, этот рай, именуемый коммунизмом, и зовет *их* на подвиги?.. Не зря же Дудоров знает заповеди, как хороший кержацкий начетчик. Может быть, *они* по-своему пересортировали Священное писание и отвеяли плевелы и выбрали из него наилучшие истины?

Как в кипящем котле, бурлили мысли в голове Трофима, усомнившегося в проповедуемых им правилах ведения хозяйства и боящегося своих сомнений. Может быть, рядом с богом и превыше его он сотворил себе золотого тельца, считая его всемогущим двигателем жизни и повелителем рода человеческого?

Набив трубку, Трофим стал прикидывать, что движет им и теми, кто живет и работает на его ферме. Сначала он нашел на это ответ: жизнь. «Но что значит жизнь?» — спросил он себя. И кошка живет, и собака живет. Жизнь жизни рознь. У него большой дом

в шесть комнат. В доме хорошая утварь и полный достаток. Его постоянные рабочие живут хуже. Некоторые совсем худо. А сезонные рабочие даже спят в сараях, и все их имущество ездит вместе с ними. И это считается справедливым. Справедливым по закону золотого бога, чью веру исповедуют в его стране. А по Священному писанию?

Священное писание расходится с законами его страны. А у *них*, в колхозе?

У них в колхозе тоже есть расхождение, но куда меньшее. И это расхождение изо всех сил норовят уничтожить.

Если говорить по совести, то в Бахрушах нет такой разницы в жизни людей, какая была и какую он помнит.

Так что же, безбожники, выходит, на самом деле ближе к богу, чем он, верующий в господа?

Верующий, но исповедующий ли его?

Выколотив трубку, Трофим продолжил рассуждения.

И эти рассуждения подтверждали, что он, фермер Трофим Бахрушин, молится другому богу, исповедует другие, подsunутые кем-то ему законы... И этот другой бог велит поработать братьев своих. Даже братьев по вере. Таких же молокан, как и он. Этот бог заставляет разорять соседей и желать им зла, не в пример безбожному Дудорову, Сметанину, Петровану, Кириллу Тудоеву, безусому зоотехнику Володе и всем, кого знает теперь Трофим.

— Что же ты молчишь, моя молочная сестра Пелагея? Почему ты не распнешь брата своего или не найдешь слова успокоения его душе? — вдруг обратился Трофим к Тудоихе, как кержак к игуменье.

Тонкое ухо Тудоевой, хорошо чужавшее речь до малейшего словца, уловило ту напыщенность, которой Трофим окрашивал свои искания.

И Пелагея Кузьминична ответила:

— А что я могу сказать тебе, молочный мой брат Трофим? Правду? Тебя обидишь. Гость как-никак. Фальшивую утеху? Перед самой совестно. Одно скажу: зря ты приехал сюда.

— Как это зря?

— А вот так. Жил бы там и жил своей жизнью. Умер бы в своей молоканской вере. Почил бы от дел

мирских... И тебе бы хорошо было, и нам не маетно. А теперь что получается?

— А что?

— А то, что ходишь ты среди нас, как верблюд в театре... Хочется тебе понять и то и это, а понять-то нечем.

— Нечем?

— Нечем, Трофим. Поздно. Хрящи у тебя в голове захрясли. Окостенели... И ты нам чужой, и мы тебе не свои. Хорошо еще, что Дарью не встретил...

— А если бы встретил, так что?

— Она бы сказала тебе, что нужно сказать...

— Я бы ей всю жизнь, всю душу открыл, и узнала бы она, в каком я пекле пекся. Узнала бы и простила меня. За этим и ехал сюда.

Трофим опустил голову, подпертую руками. Помолчал. Потом высморкался под лестницу и принялся обуваться. Обувшись, он подошел к Тудоихе и сказал ей:

— Хочешь, часы с боем для твоего Кирилла отдам? На двадцати двух камнях. Ни разу не чинены. Возьми и скажи: где она хоронится с внуками?

Пелагея Кузьминична, довязывавшая в это время второй подарочный носок Трофиму, спустила петлю. Этого с ней не случалось. Старуха не ожидала такого поворота. У нее запал язык. Она не скоро собралась с силами, чтобы ответить Трофиму. А когда собралась, ей не захотелось делать этого. И она молча вынула спицы из недовязанного носка и принялась сматывать на клубок свою работу.

Как хочешь, так и понимай.

XXIX

Чем больше появлялось новых знакомых у Трофима Терентьевича, тем сильнее он чувствовал одиночество и разлад с самим собой. Бесцельно бродя, он убивал время. Вот и сейчас, разгуливая по знакомым полям, Трофим встретил свинаря Пантелея Дорохова.

Этого человека он знал мальчиком. Отец Пантелея был работником у Дягилева. Пантелей тоже знал Трофима. Но тот и другой не подавали виду, что они помнят друг друга.

Пантелей, сызмала пристрастившийся к выращиванию поросят, теперь, в свои немолодые годы, чувство-

вал себя знатоком и великим новатором по части выращивания и откормки свиней.

Отвергая содержание молодняка в неволе, то есть в свинарнике, он добился большого травянистого участка, огородил его, разделил на отсеки и стал выпасать там свиней на «полной свободе и соответственно их возрасту».

На огромном зеленом пространстве резвилось до тысячи свиней. За этим немалым стадом ухаживали сам Пантелей и его сын, готовящийся вместе с Дарьиной внучкой Катей стать зоотехником.

Тысяча голов свиней на двух человек — даже Трофиму, умевшему выжать у себя на ферме из рабочего все возможное, это казалось невообразимым. И Трофим решил познакомиться с выпасом.

Пантелей встретил Трофима недружелюбно. В приходе заморского гостя он видел происки американского империализма, желающего через подосланного Трофима похитить его метод самого дешевого выращивания свиней и тем самым обогатиться за счет изобретательности Пантелея. Но Трофим сразу же обескуражил его, сказав:

— Какому это умнику пришло в голову нагул мяса терять?

Пантелей на дыбы:

— Что значит нагул мяса терять?

Трофим неторопливо и подробно объяснил, что бегающая свинья, как ведро без дна: сколько ни съест, ничего в себе не оставит.

Уязвленный в самое больное, Пантелей скинул брезентовую курточку, засучил рукава, будто собираясь драться, осмотрел своего противника с ног до головы и, предварительно выругавшись, сказал:

— Учил волк пастуха баранов пасти, а тот с него шкуру снял. — Затем, подойдя к Трофиму вплотную, лицом к лицу, спросил: — Что такое свинья? — И ответил: — Свинья есть млекопитающее, которое дышит вольным воздухом и любит солнце. Для чего нужны свинье вольный воздух и ультрафиолетовые лучи? Они нужны для правильного развития организма млекопитающего и для устранения болезней. А свободное передвижение и бегание молодых свиней нужны для правильного развития всех органов млекопитающего и скелета.

— Это, может быть, и верно, мил человек, только от свиньи не скелет нужен, а мясо.

На это Пантелей снова обдал противника бранным словом и приступил к дальнейшему изложению нормального формирования скелета и мышц свиньи.

— Вот ты мясной и раскормленный тип. В тебе, я думаю, весу не меньше, чем в нашем племенном борове. А отчего? А оттого, что у тебя сильный костяк и на нем может держаться много мяса. Так же и свинья. Пока она молодая, ей нужно дать кость и мышцу. Как рассаде стебель и листья. А когда у нее это все есть, тогда запирай свинью на месяц-другой в камеру, и она покажет тебе такой вес, что иноземные свиньи супротив нее будут перины перинами, а она — тяжелый налиток. Иди, покажу...

И Пантелей повел Трофима в небольшой свинарник, где молодые свиньи содержались по всем правилам ухода за ними.

— Это пробные свиньи, что значит — научные. От одной и той же матери я выращиваю поросят в неволе и на воле. В неволе свиньям я даю превыше всяких норм, всего вволю. А вольных свиней содержу главным образом на траве и на малой дешевой подкормке. Теперь сравни тех и этих. Эти жирны, да малы и рыхлы, как поповские дочери. И росту от них большого ждать нечего. А эти поджарые бегуны, — указал Пантелей на бегающих по выпасу наперегонки крупных поросят, — при всей их поджарости и теперь тянут тяжелее своих ровесников.

Не согласиться с Пантелеем было нельзя. В его доводах была какая-то правда. Особенно нравилось Трофиму, что при выращивании молодых свиней на выпасе они почти не нуждались в уходе. И если б еще пристроить поперек выпаса подвижную ленту с бункером для корма на одном ее конце и с обмывом водой на другом, тогда и один справится и с тысячью голов молодых свиней. Но какой огромный луг занимает выпас! Выгодно ли так использовать землю, на которой можно, наверное, вырастить корма не на одну тысячу голов?

Пантелей будто читал мысли Трофима и угадал, какой вопрос он хочет задать:

— Не прикидывай, господин фермер, не подсчитывай. Все прикинуто, все подсчитано. Осень свои

цифры скажет, а новый год итог подоьбет. Кто ищет, тот всегда найдет.

— Благодарствую на беседе. — Трофим приподнял свою легкую, из тонкой американской соломки, шляпу и покинул выпас.

XXX

Идя медленно опушкой березняка, тянувшегося через верхний край выпаса, Трофим думал о Пантелее Дорохове, отец которого жил в работниках у его деда Трофима Дягилева. Он думал и о двадцатидвухлетней Гале, заведовавшей теплицами на первом участке. Они оба походили чем-то друг на друга. Галя показывала Трофиму длинные и невысокие теплицы-фонарики, по сути дела являвшиеся увеличенными до роста человека парниками, обогреваемыми теплом преющего навоза. В них высаживали рассаду, выращиваемую в зимних теплицах с центральным водяным отоплением. Казалось бы, находка невелика, а доходы огромные.

Галя, как и Пантелей, любовно объясняла прибыльность таких теплиц и привела даже цифры. Оказалось, что затраты на постройку теплицы-фонарика окупаются половиной ее урожая первого же года. И этому нельзя было не поверить, потому что Трофим видел, как плотники возводили основания для десяти новых теплиц, общая протяженность которых составит добрую милю.

Судя по одежде, Галя, как и Пантелей, не получает еще тех заработков, которых так хочет добиться Петрован через два года. Они не получают какого-то особого, выгодного процента за успехи в своей работе. Почему же тот и другой так привязаны к своему делу, будто выпас или теплицы принадлежат им?

Неужели все дело в сознании?

Неужели труд, как говорит Тудоев, становится радостью, и если это так, значит, и впрямь на свете рождается новое, неизвестное Трофиму чувство, которое приходит на смену сильнейшей из сил — собственности?

На ферме за ферму держится только тот, кому она принадлежит, но не те, кого нанимает фермер постоянными или сезонными рабочими. Те даже стараются

сделать меньше и хуже. Им нет дела, скольких свиней откормит Трофим и как удешевит этот откорм. Об этом приходится думать только ему одному. А здесь думают все. И каждому работающему, даже свинарю, есть дело до того, сколько будет вложено в свинью и сколько выручено за нее.

Конечно, думают и нанятые люди. Но думание у них не трудовая радость, а служба. Повинность. Одни работают руками, другие — мозгами. Кто как умеет, тот так и ловчится.

Если взять, к примеру, Галю. Галя помимо колхозной конторы знает, что с квадратного метра она должна получить по плану шестнадцать килограммов огурцов, а добывается восемнадцати. А его рабочий заботится только о своей выгоде и уже в понедельник думает только о субботе, когда Трофим выплачивает заработанные деньги.

Рассуждая так, он дошел до Большой Чищи, где давным-давно охотился с шомполкой, подаренной дедом. И здесь тоже трудились Гали, Пантели, подрастающие Дуровы, Сметанины.

Он слышал об осушении Большой Чищи, но не допускал, что из нее можно сделать пахотную землю. А теперь он увидел черно-коричневые полосы вспаханной земли. Увидел и стал прикидывать эту ширь на корма и на коровьи головы, которые может прокормить Большая Чища.

Не верилось. Неужели опытный глаз обманывал Трофима? Нет, Трофим не ошибался. Это было неслыханное богатство, которое уже в будущем году скажется большими доходами.

Увлечшись подсчетами, Трофим и не заметил, что трактор, ревущий на всю Чищу, поднимающий непашаную землю, пашет без тракториста. Он протер глаза, потом посмотрел, прикрывая глаза обеими руками от яркого солнца, и увидел, что тракториста нет.

Уж не начало ли это помешательства?.. Не повреждение ли мозгов, сотрясаемых со дня приезда сюда? Он закрыл глаза. Постоял. Обмахнулся платком. Прочитал «Отче наш» и снова посмотрел на трактор, который успел повернуться и шел обратно. Тракториста не было. Трофиму стало как-то не по себе в безлюдной равнине, о которой в старые годы рассказывалось всякое. Но тут он услышал:

— Не срабатывает. Виляет! Ого-о!.. Давай ко мне! Голос принадлежал худощавому парню в майке и в засаленных штанах, расположившемуся в тени кустов. Крикнув, парень стремительно бросился к трактору, потерявшему управление. С другой стороны вспаханного поля бежал второй парень и кричал:

— Я сам! Я сам!

Вскоре трактор был пойман и остановлен. Трофим заметил в кустах аппарат, напоминающий радиоприемник. Когда молодые люди вернулись, он их спросил:

— Как, прошу покорно прощения, это следует понимать?

Им, видимо, было не до вопросов. У них что-то не ладилось. Поэтому худощавый парень в майке раздраженно ответил:

— Не видите разве, что мы пробуем управлять трактором по радио?..

Трофим решил больше не спрашивать и опять подумал о Гале, о Пантелее и снова стал сравнивать незнакомых ему парней со своими наемными пахарями. Это были тоже другие, совсем другие люди.

Не дожидаясь, пока они наладят свой аппарат, управляющий трактором, Трофим пошел дальше по дороге, ведущей в Дальнюю Шутёму.

XXXI

По этой дороге хаживал Трофим на тайные свидания с Даруней. Тогда здесь было куда глуше. А теперь бегают мотоциклеты...

Трофим посторонился, услышав позади себя шум. Уступил дорогу. С ним раскланялся, притормозив мотоциклет, спешащий куда-то главный механик Андрей Логинов.

— Далеко ли, государь мой? — спросил Трофим.

— Да так, — смутившись, ответил Логинов, — по делам.

Тут Трофим вспомнил разговор брата и Логинова о Кате, о купленном для нее альбоме.

«А что, если он едет к ней?» — подумал Трофим и посмотрел на часы.

Если принять во внимание, что сегодня суббота, а часы показывают половину пятого, то Логинов не может ехать по каким-то делам, когда все поразбредись

на отдых и только два одержимых парня учат трактор слушаться радио.

К тому же непонятно и то, что Логинов не заехал на Большую Чищу к трактористам: никак нельзя было пробовать новую пахоту без ведома главного механика, а он, такой дотошный человек, должен был вернуться к ним, хотя бы на пять минут.

Значит, что-то более важное манит молодого человека, мчащегося во весь опор, не жалея ни себя, ни машины. Если вспомнить, что Дальняя Шутёма — родная деревня Дарьи, то, может быть, именно туда и уехала она с внуками?

Попытка не пытка, семь верст не столь дальняя прогулка. И он пошел по дороге в Дальнюю Шутёму.

Не прошел он и трети пути, как захотелось вернуться. Но повстречалась женщина лет сорока в шелковом розовом полushалке.

— Не попадалась ли вам, случаем, комолая коза?

— Нет, — ответил Трофим.

— Для развода, понимаете, купила ее, а она как заячьего следу напоена, — продолжала разговор женщина, остановившаяся в раздумье.

— Да что горевать, — стал успокаивать Трофим, — как ни блудлива коза, а от своего дома никуда не денется. Пошатается-пошатается да вернется...

— Это верно. На той неделе тоже дня три где-то шлялась... Может, свой-то козел не люб... Бывает ведь так, — рассмеялась женщина, показав рот, полный белых зубов. — А потом пришла.

— И на этот раз явится. Я ихнего брата знаю.

— Да, пожалуй, что так. Далеко она не могла убежать. Надо бы мне с механиком вернуться, а то пешком-то далековато шагать, он бы живехонько домахнул меня до развилки, а там мне рукой подать.

Они пошли рядом. Трофим спросил женщину:

— А вы, стало быть, из Дальней Шутёмы?

И та сказала:

— А как вы это могли догадаться? Ваши-то, из дома отдыха, дальше коровьего брода не гуляют. Знаете, что ли, нашу Шутёму?

— Знавал в молодые годы.

Женщина насторожилась.

— А вы, случайно, не брат Петра Терентьевича из Америки?

— А кто это Петр Терентьевич и что у него за брат из Америки? — схитрил Трофим.

— Неужели не слышали? В газете об этом писали. Сорок лет в наших местах его, серого волка, не было, а потом объявился в Америке и к нам пожаловал.

— Зачем?

— Да кто его знает. Писал он что-то такое об этом своей жене. Конечно, она уж ему никакая не жена, коли он ее на какую-то там, прости господи, в Америке сменял... Пишет, значит, что хочу прощения перед тобой на коленях выпросить... А она и видеть его не захотела... Хлысь по кобылке, да на Митягин выпас уехала. И внуков забрала, чтобы его волчья морда не обнюхала их, красавчиков.

— Хороши, стало быть, у него внуки?

— В кино только таких показывают. А старшая-то, которой механик провиант разный да письма от матери возит, ни дать ни взять княжна Тараканова, только белобрысенькая, и годов помене, и тела женского пока еще на ней нет. А так вылитая картина из журнала «Огонек». Бабка ее, Дарья, в молодые годы, рассказывают, тоже всякого встречного заставляла оглядываться. Сильного цвету, говорят, была женщина. Покойник Артемий Иволгин на девятом месяце молил ее женой ему стать. А она вышла за него, когда ее Наде, стало быть Трофима Бахрушина дочери, три года было. Все ждала своего подлеца. Не верила, что он под Омском погиб. Вот и дождалась... Выжил, костяная душа, тряпичное дягилевское отродье! Ну да ничего. С чем приехал, с тем и уедет...

Незнакомая женщина долго и подробно рассказывала Трофиму знакомую историю с неизвестными для него добавлениями.

— Ее, говорят, в те выборы депутатом выдвинут. Так мыслимо ли ей себя ославить в Бахрушах и с каким-то там... уже вы сами, гражданин хороший, это не бабье слово про себя вымолвите... разговоры разговаривать, — сказала женщина и плюнула в сторону.

Они дошли до развилки.

— Ишь куда бабий язык завел вас... Вот она, дорога-то на Митягин выпас. Там раньше скит, говорят, был. Ну, так счастливого вам отдыха, а мне — сюда.

Трофим, раскланявшись с женщиной и поблагодарив ее за рассказ, присел на пеньке возле развилки лес-

ных дорог и, вытащив трубку, показал этим, что ему необходимо отдохнуть, покурить перед тем, как двинуться в обратный путь.

XXXII

Трофим просидел так более часа. След мотоциклетных шин, уходивший по дороге на Митягин выпас, звал его. А он не решался ступить на эту дорогу. Он боялся теперь встречи с Дарьей. То, что говорила ему незнакомая женщина, несомненно, выражало отношение к нему Дарьи. Может быть, ее слова были повторены здесь.

Но желание видеть ее было велико. Если он станет перед нею на колени, а потом падет ниц и скажет: «Я так долго хотел услышать из уст твоих отпущение незамолимых грехов моих», может быть, она и не прогонит его?

Нет. Ему нужно найти другие слова. Ему нужно рассказать правду о том, как счастливый случай выболтал к ней дорогу, и не напускать никакого тумана. Бог для ее сердца будет плохой отмычкой. Но ведь Трофим и в самом деле не преследует никакой корысти. Ему нужно видеть ее и сказать ей, что он любит ее одну, и даже если ему казалось, что Эльза была любима им, то это случилось потому, что ее сатанинская бесстыдная плоть полонила его. И это нужно было сказать Дарье, чтобы она знала, как в этих лесах началось и кончилось его счастье и что только здесь останется продолжение его рода, который не хочет и, наверно, не должен узнавать в нем своего отца и деда.

Тишина.

Вечерело. Лес смолкал. Ни ветерка, ни писка птенца. Солнце было еще высоко, и на верхушках елей густо зрели в его лучах золотые шишки.

Все живое оставляет после себя потомство. И ель, и папоротник, и замеченный Трофимом под елочкой мухомор.

И зачем не ответил тогда Трофим девствующей во вдовстве Марфе и не вошел в ее тосковавшую по мужику избу! Может быть, теперь он бы и не оказался таким одиноким.

Где-то далеко, очень далеко, заговорил мотоциклет.

Несомненно, это возвращался Андрей Логинов. Трофиму не следует встречаться с ним в двух-трех верстах от Митягина выпаса. Об этом завтра же будет известно Дарье.

Пойти назад по дороге в Бахруши?.. Но далеко ли уйдешь? Главный механик нагонит и спросит Трофима, как и зачем он забрел сюда.

А мотоциклет все ближе и ближе. Самое верное — спрятаться в молодом ельничке, а потом, пропустив Логинова, пойти ближней тропой, если она не заросла. Так он и сделал.

В густом еловом молодняке не раз хоронился он с Даруней от чужих глаз и часами просиживал, не замечаемый даже птицами.

Мягкок и сух лесной покров в жарком июле. Как на хорошей постели, лежит Трофим. Здесь еще гуще пахнет грибами и ярче видится прожитое.

Мотоциклет замолк. По дороге прошла комолая коза. Наверно, та самая блудня, которую искала женщина в розовом полужалке.

Мотоциклет снова объявил о своем приближении и наконец показался. Трофим прижался к земле, пригнул голову, но так, чтобы видна была дорога.

Это был он. В коляске мотоциклета сидела девушка в голубом сарафане. Она сказала Логинову:

— Дальше бабушка не велела...

— Я знаю, — ответил Андрей.

Девушка легко выпрыгнула из коляски и протянула руку.

— Завтра приезжай пораньше.

— Да как же пораньше... Надежда Трофимовна по воскресеньям рано не встает.

— А ты разбуди маму.

— Это все равно... Пока до завода да обратно... Да она и забойтся скорой езды... Вот тебе и три часа. Раньше одиннадцати не приехать... Погоди, Катя, не уходи... Еще мало времени.

Если бы Андрей не назвал Катю по имени, если бы Катя не произнесла ни единого слова своим тягучим и певучим, никогда не смолкавшим в ушах Трофима голоском, если бы Катя встретилась Трофиму на Бродвее или в самом неожиданном месте, он все равно остановился бы и окликнул ее: «Даруня, как ты попала сюда?»

Ни одежда, совсем не похожая на ту, что носили сорок лет тому назад, ни две косы, заплетенные вместо одной, ни слова, которых не знала Даруня, — ничто не помешало бы узнать ее.

Холодный пот крупными каплями покатился по лицу Трофима, заливая его глаза. Он пошевелился, чтобы достать из кармана платок. Катя повернула голову в его сторону.

— Да что это, право, мы, Андрей, ни туда и ни сюда... Проводи уж лучше меня... Мне как-то не хочется тут сидеть...

Логинов стал заводить мотоциклет в ельник, чуть было не коснувшись передним колесом Трофима. Затем Катя и Андрей, взявшись за руки, медленно пошли по дороге обратно к Митягину выпасу. Трофим, проводив их глазами и дождавшись, когда пропадут их голоса, поднялся. Пот лил не переставая, в висках стучало.

Постояв у ели, он наскоро набил трубку и направился напрямик через лес с твердым намерением вернуться в эту же засаду, чтобы хоть краем глаза увидеть свою дочь Надежду.

XXXIII

В субботу вечером Петр Терентьевич сидел в молодой голубой рубашке за вечерним чаем. Причесанный рукой Елены Сергеевны, он пребывал в самом разотличном настроении. Бахрушин только было хотел начать рассказывать жене, до чего хорошо кончились его ряды-переряды с железнодорожниками, как звякнула щеколда и на дворе появился Тейнер.

— Если товарища Пэ Тэ Бахрушина нет дома, то скажите ему, Елена Сергеевна, что совершенно одинокий и «спозабытый, спозаброшенный» иностранец хочет вызвать сожаление у местного населения...

— Давай, давай, казанская сирота, американское сосуществование... Самовар на столе, витамины в графине, — отозвался Петр Терентьевич, приглашая Тейнера. — Коли слаще поешь, пьянее попьешь, может, и напишешь лучше...

— Нет, нет, Петр Терентьевич, американская пресса не продается и не покупается. Но!.. Я говорю «но», — сказал Тейнер, входя, раскланиваясь и прито-

пывая, — но, если хозяин не поскупится, великий империалист Тейнер, может быть, станет добрее.

— Очень рады, очень рады! — пригласила Елена Сергеевна Джона, наряженного в клетчатую, расписанную обезьянами, шестернями и пальмами рубаху-распашонку. — Ну до чего же наряден нынче мистер Тейнер, чего только наши бабы смотрят...

— О! Не шутите... Я уже имею заманчивое предложение Тудоихи сходить за грибами.

После памятной размолвки на участке, где росла ранняя капуста, у Бахрушина с Тейнером снова установились дружеские отношения.

— Ну и что же мы имеем на сегодняшнее число, господин сочинитель? — спросил, усаживая Тейнера, Бахрушин.

— Начало без конца.

— А где же конец?

— У Дарьи Степановны.

— Гм... Так ведь она-то в этом деле, насколько я понимаю, сбоку припека. Все-таки главная цель в вашей книжке — это колхоз, увиденный глазами Трофима и вашими глазами...

— Это цель! Но она не должна быть на виду. Вы не знаете нашего читателя... Он хочет, чтобы для него развязано было все. Сделайте так, чтобы Трофим Терентьевич встретился с Дарьей Степановной.

— А как я это могу?.. Я даже не знаю, где она находится.

Тейнер заглянул в глаза Петру Терентьевичу, улыбнулся и сказал:

— Если вам мешает только это, то я вам подскажу, где сейчас находится Дарья Степановна.

Петр Терентьевич в свою очередь заглянул в глаза Тейнеру:

— А откуда вам известно ее местонахождение?

— Ах! Не спрашивайте... Я совершенно напрасно оказался журналистом. Мне нужно было стать детективом. Сыщиком. Слушайте... Недавно мне пришлось в голову позвонить дежурной телятнице. И я спросил ее, как обеспечить очерк в газету о Дарье Степановне... И она сказала, что Дарья Степановна отдыхает сейчас на Митягином выпасе со своими внуками. Я сказал «спасибо» и повесил трубку...

— И вы поверили этому, мистер Тейнер?

— Нет. Я решил проверить и позвонил на Митягин выпас и попросил к телефону Дарью Степановну. И мы очень мило поговорили и условились о встрече.

Бахрушин поежился на стуле, переводя глаза то на жену, то на Тейнера, будто говоря этим: «Ишь ты, какой ловкач!»

А Тейнер продолжал:

— И я вскоре побывал у нее. И я записал все необходимое на тот случай, если Трофим Терентьевич не встретится с нею и у меня пропадут самые интересные главы моей книги.

— Ну, коли так, то кто же вам мешает сводить туда Трофима?

Тейнер ответил на это:

— Одна из моих прабабушек была англичанкой, и говорят, что несколько капель ее благородной крови передалось мне. С тех пор я себя чувствую джентльменом, с одной стороны, и провокатором — с другой. Поэтому я не мог под вашей гостеприимной крышей рассказать Трофиму Терентьевичу то, что вы делаете для него тайной.

— Благодарю вас, если вы говорите правду, мистер Тейнер.

Тейнер поклонился и ответил:

— Я стараюсь всегда говорить правду... И, может быть, вовсе не потому, что это приятно для меня... Это выгодно.

— Выгодно? — спросил Бахрушин. — Это как же так?

— Очень просто. Одна ложь всегда рождает вторую, вторая — третью, третья — четвертую, и так до тех пор, пока ты не запутаешься во лжи и не скажешь правду... Я не вижу в этом выгоды и предпочитаю сразу говорить то, что есть. Это нелегко, но что же делать! Приходится.

Бахрушин и Елена Сергеевна одобрительно захотали. А Тейнер стал показывать снимки, сделанные им на Митягином выпасе.

— Я нахожу ее живописной и в эти годы, — сказал он, положив на стол цветной снимок, на котором Дарья Степановна стояла в окне дома Агафьи вместе с маленьким внуком. — Не находите ли вы, Петр Терентьевич, что таким же мальчиком рос его дед?

— Да, — подтвердил Бахрушин. — Сергунька очень

похож на Трофима, когда тот был маленьким. Поэтому-то и не нужно, чтобы Трофим видел его.— Бахрушин, тяжело вздохнув, положил руку на плечо Тейнеру и негромко сказал:— Вы хороший человек, Джон Тейнер. Мне всегда нравится делать для вас самое приятное. И я очень хочу, чтобы ваша книжка была похожа на вас. Книги ведь всегда похожи на тех, кто их сочиняет. Только прошу извинить: завтра Дарьи не будет на Митягином выпасе.

— Это очень жаль, Петр Терентьевич.

— Что делать, но я не могу в угоду вашей книге заставлять волноваться немолодую женщину и вынуждать ее объяснять своим внукам, что, как и почему... Вы чуткий человек, Джон Тейнер, и вам должно быть понятно, что такие встречи не доставляют радости.

Тейнер согласился с Петром Терентьевичем, но, оставаясь верным себе, повторил:

— Это очень жалко.— И добавил:— Пропадает такой сюжет...

XXXIV

Теперь о Дарье Степановне и Кате.

Любви Кати хотя и не суждено развязаться на этих страницах, заканчивающихся поздней осенью тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, но мы все заранее знаем, как будет счастлива Катя с Андреем Логиновым. Она будет так счастлива, что даже хочется, говоря словами Тудоевой, «забежать вперед солнышка» и представить себе свадьбу этой пары.

Свадьба, конечно, будет происходить на Ленивом увале, в отстроенном к тому времени селе Бахрушино и, конечно, в доме Дарьи Степановны. Дом у нее будет веселым, с большими окнами, на улице Мира, которая уже застолблена и разбита на участки.

На свадьбе, конечно, будет посаженным отцом Петр Терентьевич. Тудойа непременно придумает к Катиной свадьбе веселую сказку о том, как прилетал белый лебедь на Тихое озеро высматривать лебедушку... Или, может быть, сказку о третьей и последней молодости Дарьи Степановны, цветшей собой, цветшей дочерью и зацветшей теперь молодостью своей внучки. Эта сказка, кстати говоря, уже бродит у нее в голове,

и кое-что Тудонха пробовала рассказывать своим знакомым...

Регистрировать брак они, наверно, поедут на своем «Москвиче». Не зря же Андрей Логинов завел сберегательную книжку.

Свадьбу, конечно, назначат весной, когда распустится черемуха. Ее букеты ах как украсят белое платье невесты! А оно будет белым и длинным. Это же венчалное платье, а не плясовое. Материя уже куплена Дарьей Степановной. Может быть, она и поторопилась с покупкой, но ведь как знать: будут ли через два года вырабатывать такие шелка? А если и будут, то их могут завезти в другие города. Ищи тогда. Ведь все же знают, как иногда наши «торги» разнаряживают товары. Именно что разнаряживают. Как много отвратительных слов появилось в нашем языке за последнее время! Но не будем останавливаться на этом...

Катя и Андрей, конечно, будут жить вместе с Дарьей Степановной. Не оставлять же ее одну. Это все решено, хотя об этом никто пока не обмолвился ни единым словом. Но везде ли нужны слова? О том, что у Кати родится дочь, тоже никто ничего не говорил, однако никому не придет в голову, что эту девочку могут назвать иначе, как Даруней.

Дарья Степановна, думая о внучке, заново переживает прошлое. Она знает, что Катя и Андрей не расплещут чувства уважения друг к другу. Они не поторопятся, как это было с Дарьей. Дарья все-таки не разглядела своего Трофима. Она, конечно, может оправдывать себя временем, уровнем жизни, даже политической отсталостью, но от этого не становится легче на ее душе.

Ее первая любовь, разумеется, чистая и светлая, как любовь Кати к Андрею, теперь, почернев, стала пятном в ее жизни. Пусть в этом никто ее не упрекает и не упрекнет, но разве дело в упреках? Дарья же не знает, как все это оценивает самый близкий к ней человек — Катя. Ведь даже очень откровенные люди всегда что-то недосказывают друг другу. Причиной этому бывает любовь, жалость, или желание не касаться больного, или даже простая вежливость.

Катя никогда не разговаривала с бабушкой о Трофиме. Это было хорошо и плохо. Ведь она уже боль-

шая, и Дарье хотелось поделиться с нею своими переживаниями.

Но как? Оправдываться перед внучкой? В чем? Виниться тоже не в чем. А какая-то виноватость налицо. Пусть эта виноватость чем-то похожа на сметанинскую: Сметанин, вступая в партию, чувствовал себя виноватым в том, что его отец был псаломщиком. Но Сметанин, как и все, не мог выбирать родителей. Другое дело — выбор мужа или жены...

Дарье наконец надоело разговаривать самой с собой, и она решила поговорить с Катей. Та и другая в это время, коротая часы, просовывали в бутылки — на маринад — первые мелкие рыжики, «гривеннички», и слушали, как надоедливо жужжат под новым сосновым потолком несносные мухи, затеявшие какую-то веселую и шумную игру.

— Когда только унесет его из Бахрушей? — начала Дарья.

Катя, досадуя на вынужденную разлуку с Андреем, впервые сказала бабушке то, что думала о ней и Трофиме:

— Бабушка, когда бы он ни уехал в Америку, он никогда не оставит тебя в покое, если ты будешь избегать встречи с ним.

— А зачем нужна встреча? Для пересудов?

— Нет, бабушка. Для того, чтобы их прекратить. Для того, чтобы все — и он, и ты в том числе — знали, что нам нечего и не от кого прятать... А прятать на самом деле нечего. Андрюша правильно говорит: отношения нельзя выяснить, если их не выясняешь.

— Нет у нас с ним никаких больше отношений.

— Нет, бабушка, есть. Вражда. Обида. Ненависть. Даже твой отъезд — это тоже отношения.

— Учишь бабку?

— Что ты! Отвечаю. Ты ведь давно хотела знать, как я думаю об этом. Ну, правда же давно?

Дарья привлекла к себе Катю, прижала ее голову к своей груди и сказала:

— Да... Давно. Ты судишь хорошо. Только бывают такие отношения, которые выяснять и не надо. Потому что начнешь выяснять, а из этого получатся новые отношения... Ведь я же все-таки, Катя, любила его. Представь себя на моем месте, а на его — Андрея.

— Это нельзя представить, бабушка. Но если б...

Даже сейчас, когда я с ним еще даже не целовалась, и он всего только позабыл бы приехать в назначенный день, я бы не промолчала. Молчание, бабушка, — это старый женский и даже, я скажу, бабий пережиток.

— Ну, вот и выяснили отношения внука с бабушкой. Выяснили и пообещали друг другу никогда больше о нем не говорить.

Разговор на этом оборвался, и снова стало слышно, как утомительно жужжат летающие под самым потолком мухи.

Разговор кончился и как будто ничего не изменил в намерениях Дарьи Степановны. Но это ей лишь показалось. Недаром же она сказала:

— Не к добру мухи что-то разжужжались.

— Да, бабушка, они, как и самовар, когда он воеет, нехорошая примета. — Катя еле заметно улыбнулась.

— Я не про примету, Катька, а про самочувствие. Да тьфу вам! — крикнула на мух Дарья Степановна и принялась выгонять их посудным полотенцем.

А мухи не улетали.

XXXV

Воскресное утро начиналось позднее и тише. Люди еще спали. Петухи и те, казалось, пели с опозданием. В поле не было ни души, только на Большой Чище стрекотал трактор без седока: видимо, одержимым парням не спалось в это утро, а может быть, они, прикорнув под кустом, и не ночевали дома.

Трофим пробирался к месту своей вчерашней засады краем леса, минуя деревни. Очутившись на дальнешутёмовской дороге, он пошел не крадучись.

Выпрошенная накануне у Пелагеи Кузьминичны грибная корзина и кирзовые сапоги, взятые у Тудоева, должны были объяснить его появление в дальнем грибном лесу.

Он вышел с большим запасом времени. Счастливый механик, наверно, еще и не выезжал за Надеждой. У Трофима достанет времени, и он наберет грибов, чтобы не возвращаться с пустой корзиной.

Со вчерашнего дня перед его глазами стояла Катя. И теперь она мерещилась за каждым поворотом лесной дороги. Трофим не крестил себе лба, не говорил «свят-свят» и не гнал от себя видение, появившееся

с каждым разом отчетливее, хотя в лесу и становилось светлее. Наоборот, он распалял воображение, и это, кажется, ему удалось. За поворотом, неподалеку от развилки, видение запело:

Ах, Наталья, Наталья, куда ты идешь?..

Видимо, «видению» тоже не спалось в это утро. Увидев постороннего, Катя умолкла, а тот взволнованно спросил ее:

— Дозвольте вас обеспокоить, милая внученька: как нынче у вас грибы?

— Да, кажется, пошли, — ответила Катя. — Бабушка чуть не полную корзину набрала.

— А вы, стало быть, не интересуетесь грибами? — упавшим голосом спросил он Катю.

Встречный показался Кате несчастным и больным. У него заметно тряслись руки и губы. В его глазах стоял испуг. И Катя спросила:

— Не обидел ли вас кто-нибудь в лесу?

— Пока еще нет, — ответил Трофим.

И услышал совсем рядом голос Дарьи:

— Ты с кем там, Катерина?

Не дожидаясь ответа Кати, Трофим стал на колени, потом пал ниц и сказал:

— Я не видел твоего лица, Даруня. Я по голосу узнал тебя... Если ты не хочешь видеть меня, я не подымусь, пока ты не уйдешь... — гундосил он, как дьячок, читающий псалтырь. Его плечи вздрагивали.

Дарья Степановна метнулась в сторону, но Катя окликнула ее:

— Бабушка, ну куда же ты?..

За этими словами Дарья услышала: «Ну зачем же уходить, коли так случилось? От этого не нужно уходить».

Дарья Степановна вернулась.

— Подымись! — сказала она Трофиму. — Зачем только тебя занесло в этот лес?

Трофим поднялся и, боясь взглянуть на Дарью, поклонился ей в пояс.

— Теперь кланяйся не кланяйся, времечко вспять не повратишь... Да не трясись ты, не трясись, как осиновый лист... Старовата хоть я стала, да пока еще не ведьма... Шкуру снимать с тебя не буду.

Их глаза встретились. Трофим надеялся увидеть

Дарью куда старше. Гладко зачесанные на прямой пробор волосы с седыми прядями по бокам не старили, а украшали худое, но еще не тронутое морщинами лицо. Глаза по-прежнему были сини и прекрасны. Годы не затуманили и не убили их цвета.

— А ты, парень, сильно сдал. Видать, ретивое-то отстучало свое... Ишь как потеешь... Сядь... Не ровен час, хватит тебя нелегкая, отвечай тогда перед Америкой.

— Да кому я там нужен, Дарья Степановна.

— Ладно, ладно, потом врать будешь. Отсидись. Как-никак не каждый день такие встречи бывают.

Трофим сел на поваленное дерево. Ему в самом деле было нехорошо.

Катя боязливо смотрела на бабушку. У Дарьи Степановны подергивалось веко. И чтобы как-то облегчить ей тягостную встречу, Катя сказала:

— И ничего особенного не произошло. Так вы могли встретиться и в Америке. Ведь посылали же тебя туда, бабушка, и, если бы не твое воспаление легких, ты бы поехала с дедушкой Петром.

— Это верно, Катя. К тому же муху не выгонишь, если она еще не хочет улетать... Может быть, и к лучшему это все... Никак мать с Андреем едет?

Катя прислушалась и побежала по дороге.

— Едет, едет. Надо ее предупредить.

Трофим сидел понуря голову. Чтобы не молчать, Дарья Степановна спросила:

— Сболтнул кто или сам дорогу сюда вынюхал?

— Женщина вчера козу искала. Из Дальней Шутёмы. Встретил ее в конце леса. Она и принялась мне обо мне рассказывать... Ну, я и решил сегодня еще раз на внучку поглядеть...

— Значит, видел ее уже?

— Я вчера в ельничке лежал, а они, стало быть, ехали... Хороший парень этот Логинов. Ничего плохого не скажешь...

— А если скажешь, так слушать будет, некому.

Подкатил мотоциклет. Катя сидела на втором сиденье, позади Андрея, а Надежда Трофимовна — в коляске.

— Здравствуй, мама, — поздоровалась она с Дарьей Степановной. — Не удалось все-таки спрятаться.

Трофим повернул голову, потом приподнялся. Да, это его дочь. Это его женственно облагороженное лицо. Надежда Трофимовна первая шагнула ему навстречу и сказала:

— Здравствуйте, Трофим Терентьевич...

И тот ответил:

— Здравствуйте... Не знаю, как и назвать вас.

— Называйте Надеждой Трофимовной. Так будет и мне лучше, и вам понятнее.

— Это верно. В моем положении спорить не приходится. Очень приятная встреча, Надежда Трофимовна. Даже не нахожу слов...

— Да уж куда приятнее,— еле слышно откликнулась Дарья Степановна. Потом обратилась к внучке: — Зови, стальная игла, заморского гостя на выпас, чайку отпить. Не оставаться же ему тут, на развилке.

— Пожалуйста, Трофим Терентьевич! Бабушка разрешает мне пригласить вас к нам на выпас.

— Благодарствую. — Трофим откланялся.

Дарья Степановна, примерив, кому идти, кому ехать, сказала:

— Я, пожалуй, с Андреем поеду, а вы господина Бахрушина пешечком проводите...

— Хорошо, мама,— согласилась, скрывая волнение, Надежда Трофимовна.

И, дождавшись, когда усядется и уедет с Андреем Дарья Степановна, сказала Трофиму:

— Прошу составить компанию...

— Премного буду рад,— ответил Трофим и поплелся за внучкой и дочерью по узкой придорожной пешеходной тропе.

XXXVI

На сковороде в сметане жарились грибы. Маслята. Тут же, на летней плите, под навесом, закипала в чугуне похлебка из свежей баранины. Агафья доводила до дела крупных карасей, запекавшихся в картофеле. Катя и Андрей накрывали большой стол, вынесенный под разлапистую сосну. Надежда Трофимовна ушла с десятилетним сыном Борисом купаться в лесном озере, а Трофим поодаль складывал из кирпича половняка доменную печь вместе с младшим сыном Надежды Сережей.

Агафья, молчавшая все это время, размышляла о встрече Трофима и Дарьи, наконец пришла к выводу и сказала:

— А оно у тебя хоть и твердое, как орех, а ядро в нем мягкое.

— Ты это про что? — спросила Дарья.

— Про сердце.

— Да нет, Агаша, — не согласилась Дарья, — маленько не так. Только что об этом теперь говорить, когда скорлупа расколота, а ядро годы съели!

— Это верно, — поддакнула Агафья и снова ушла в свои мысли, как и Дарья.

Донесся восторженный визг младшего внука. Это Трофим задул для Сережи доменную печь, заваленную сосновыми шишками.

Так могло быть, думалось Дарье Степановне. Старился бы он в тихой радости, окруженный внуками. Скрашивал бы, как и она, свои годы ребячьим весельем, отсвечивал бы их счастьем.

Четырехлетний Сережа, не зная всех сложностей появления в «бабушкином лесу» незнакомого человека, который, как оказалось, может строить настоящие доменные печи с дымом, тут же привязался к нему. Мальчику не было известно, что он, будучи похожим на свою мать, походил и на толстого дядьку с трубкой, который сразу же захотел с ним играть в домны.

Десятилетний Борис, непохожий на мать, пошедший в другую породу, как решил про себя Трофим, смотрел исподлобья, видимо, зная все. А маленький несмышлёныш тянулся к Трофиму, не ведая, какие неизвестные чувства он пробуждает в этом человеке своей болтовней, своими пытливыми темными глазенками, заглядывающими в его глаза, и прикосновением своей ручки к его большой руке.

Да, это внук. Настоящий, доподлинный внук. Ради него можно забыть все...

Сердце Трофима, не знавшее отцовства, не испытывавшее счастливых забот о детях, широко раскрылось, и в него вошел Сережа в своих тупоносых башмачках, выпачканных глиной и сажей... Вошел, чтобы никогда не уходить отсюда.

Маленький Сережа — теперь самое большое, что есть и что останется после него на земле. Трофим теперь будет знать, где бы он ни был, что на свете есть внук. Те

двое не в счет. Они узнали плохое о нем до того, как увидели его.

«Настоящая» доменная печь дымила на весь лес. Нужно было ее заваливать и заваливать шихтой. И эту «шихту» Сережа еле успевал собирать под соснами. Доменная печь требовала топлива. Сережа, желая позвать на помощь Трофима и не зная, как обратиться к нему, спросил:

— А как тебя зовут?

Трофима испугал этот вопрос. Ему не хотелось, чтобы и Сережа называл его Трофимом Терентьевичем. Но он не мог назваться дедом, боясь, что за это его разлучат с мальчиком.

— Зови меня, Сереженька, грэнд па.

— Грэнд па? — переспросил Сережа. — Такое имя?

— Да, так меня называют все знакомые ребята.

Сережа не стал далее спрашивать о новом для него слове «грэнд па», означавшем по-русски «дед» или даже «дедушка», стал называть Трофима этим ласкающим его слух именем.

А когда Дарья спросила: «Что это такое «грэнд па»?» — Трофим, тихо улыбаясь, ответил.

— Это значит — доменный мастер.

— Ой ли? — усомнилась Дарья.

— Да, бабушка, да, — подтвердила Катя, она глубоко вздохнула, услышав знакомое еще по пятому классу слово.

— Пусть будет так, — не поверила Дарья Степановна и велела Кате сбегать за матерью: пора садиться за стол.

Вскоре за столом собралась большая семья.

Так могло быть всегда, думал Трофим. А кто виноват? Дед ли Дягилев, отшатнувший Трофима от родного дома и внушивший ему, что в мире все начинается с рубля? Заводчиков ли сын, убедивший его, что большевики хотят погубить Россию? Виновен ли сам он, не поверивший отцу и младшему брату Петровану, что красные принесут людям счастье? Вернее всего, что он сам был хозяином своей судьбы, и никто ему не мешал прислушаться к доброму голосу любящей его Даруни и сбежать от колчаковской мобилизации на Север, где не было тогда никакой власти. Где можно было одуматься и хотя бы не совать свою голову в белую петлю.

Не сделал Трофим и этого. Не верил он в «кумы-

нию». Да и верит ли он в нее теперь, когда «у них» так хорошо идут дела?

— Ешь, Трофим Терентьевич, не задумывайся, — сказала Дарья Степановна, положив ему в тарелку широкого, как лопата, карася. — Теперь думай не думай, себя заново не выдумаешь, а карась простыть может...

Трофим не удивлялся тому, что Дарья слышала его мысли. Да он и не прятал их. Не для чего и не для кого. Он теперь как бы человек с того света. Только кажется, что он живет, а на самом деле он умер для Дарьи, для Надежды, для всех... Может быть, он живой только для Сережи. А для остальных он покойник. И никому нет до него дела.

Придя к такому заключению, Трофим сказал:

— Худо жить на свете умершему человеку.

— Да уж куда хуже, — поддержала разговор Дарья Степановна, — если человек при жизни чувствует себя мертвецом.

Трофим, посмотрев на Дарью и решив, что его «премудрости» запросто раскусываются ею, умолкнул, принялся ковырять вилкой широкого карася.

XXXVII

Где-то стороной прошла гроза. Чуть посвежело. После молчаливого завтрака на Митягином выпасе все поразбредись, и Дарья осталась с Трофимом наедине. Она не противилась этому.

Уж коли встретишься, надо было рано или поздно поговорить. А коли так, зачем же откладывать?

Они остались за тем же большим столом под сосной. Дарья на одной стороне, Трофим на другой.

— Ну-у, выкладывай, как ты перешагнул через свои клятвы, как ты потерял и похоронил для нас себя заживо.

— Мне, Дарья Степановна, как перед богом, так и перед тобой таить нечего. Проклял, видно, меня господь еще во чреве матери моей за купленное начало мое, породившее меня по корыстному принуждению...

— Трофим, ты с Адама-то не начинай... А то и до грехопадения не дойдешь, как за обед приниматься надо будет. Да сектантства поменьше на себя напускай. Не с молоканкой разговариваешь... Ты с Эльзы, двоеженец,

начни. Про остальное-то в каждом доме знают, и до меня дошло.

— Так я и начинаю с нее. Про остальное я и писал и сказывал. А как про Эльзу без проклятия всевышнего начнешь? Я ведь тоже при ней, как собака на привязи, по корыстному принуждению. Слушай же. Я буду рассказывать, как могу, а ты, что не надо, отметай.

— Веников нынче маловато наломала. Боюсь, что на весь-то твой мусор не хватит их. Ты, сказывают, утонуть готов в своих словах, лишь бы говорить. Н-ну, давай начинай с кержацкой деревни в Америке, где тебе хорошая вдова с домом подвернулась.

— Стало быть, тоже знаешь...

— Да что мне, уши паклей затыкать, что ли? Пелагея-то Тудоева два раза у меня чаевничала, плачи души твоей пересказывала.

— Именно что плачи. И сейчас душа моя кровавыми слезами обливается.

— А ты давай без слез... По любви же ведь ты прожил с ней без малого сорок лет? Чем-то же зацепила она тебя? Чем-то завлекла?

— Это конечно. Наживка была такая, что чуть не ослеп. Надо и то взять во внимание, что тогда мне куда менее тридцати было. Слушай. Как, стало быть, попал я в кержацкую деревню и порешил, что лучшего мне ничего и не надо... Дом так и так неворотим. Да и к тому же подумал, что во вдовах ты тоже не засидишься. Артемий-то Иволгин когда еще к тебе приглядывался...

— Артемия не касайся,— перебила Дарья.— Про него особый сказ будет, если ты будешь стоять того.

— Я же к слову... Не в обиду тебе,— стал оправдываться Трофим.— А Марфа, которую мне кержаки приглядели, хоть и была икона неписаная, неопалимая Купина жаркого письма,— икона, а все ж таки не по мне. Грамоте не знала. Одежда постная. Разговор суконный. Будто не в Америке родилась, а в шайтанском скиту... А огня много. И в глазах и в теле...

— Разбирался, значит,— заметила как бы между прочим Дарья.

— Ну, так ведь Шанхай город веселый. Не знаю, как теперь, а тогда там со всего свету наезжали. Всяких навидался. Должно, любила меня Марфа. Первая открылась мне и хозяином в дом позвала... Смешно бы

отказываться при моем батрачем положении. Но отвечать тоже с умом надо было. Один раз приголубишь — сто годов не разделаешься. Кержаки тебя со дна моря вынут, к ней в дом приведут. Раздумывал... То постом огораживался, то говорил, что еще году нет, как ее обиженный житейскими радостями Фома одночасно на третий день свадьбы помер. И осталась Марфа ни вдова, ни девка, ни мужняя жена. А она ни в какую... Как только встретит меня... уткнется в грудь... «Пожалей, Трофимушко... Коли женой не гожусь, марьяжкой возьми... На огне в этом не признаюсь нашим. Не заставляю тебя моим мужем быть».

— Смотри ты, как любила тебя Марфа, — с сочувствием сказала Дарья. — Не пожалел, значит, ты ее женскую нищету...

— Пожалел бы, да Эльза приехала. Приехала в бричке на двух вороных.. Тогда еще «форды» на фермах только-только в моду входили. Приехала и увезла меня...

— Как же это так увезла? Против твоей воли?

— Да что ты, Дарья... Она кого хочешь увезти могла. Сатана. Испанских кровей немецкая полукровка. Ноздри тонкие, как рисовая бумага. Шея как у дягилевской пристяжной. Масть иссиня-каряя. Грива в крупное кольцо. Рот полон зубов, и все как снег. Глаза будто смолевые факелы. Губы тугие, норовистые. Рот маленький, как у чечетки. А ноги лосиные, длинные, быстрые... И я, стало быть, как увидел ее — и... сноп снопом. Даже глаза закрыл, будто на солнце глядел...

— А она что? — напомнила Дарья, когда Трофим прервал рассказ, видимо, заново переживая давно отгоревшее.

— А что она, когда ее Роберту за шестьдесят пять перевалило, а я был в самой горячей поре... Подошла ко мне на поле, уставилась на меня смолевыми факелами и сказала: «Об условиях говорить не будем, я умею вознаграждать...»

— Так и сказала?

— Так и сказала... Сказала и повела меня, как коня, к бричке. А остальные, которых она наняла в деревне на сезон, пошли на ее ферму пешком... А мы, стало быть, вдвоем да ночью... Нет, это была не любовь, Дарья, а пьянство. Теперь уж во мне сгасло все житейское. Я смотрю на себя, как чужой человек, и мне незачем врать тебе. Это была не любовь. Может быть, она и

могла бы быть, но не нашлось времени, чтобы ей зародиться. К полудню Эльза приехала в кержацкую деревню, а к полуночи она плясала передо мной в перелеске только в одних полосатых чулках... Надо правду сказать, что я не видывал и, конечно, уж не увижу таких плясок. Надо правду сказать и о том, что я никогда никого не любил, кроме своей Даруни... Не прими это за красное гостевое слово, Дарья. Тебя я любил с первого часа моей первой любви и буду любить до последнего издыхания. Ты не слушай, Дарья. Это не я и не про тебя... Я говорю про тех двух людей, которых уже нет...

Трофим снова умолк. Дарья, взволнованная его рассказом, показавшимся ей правдивым даже в преувеличениях, не стала больше напоминать ему о продолжении. К тому же послышались голоса.

Это возвращалась Надежда с детьми.

Отказавшись от обеда, Трофим попросил разрешения побывать еще раз на Митягином выпасе.

Дарья на это сказала:

— Зачем же в такую даль ноги маять? Завтра я решила перебраться в Бахруши. Там и свидимся. Принародно.

Любезный Андрей Логинов вызвался довезти Трофима до дому.

Катя отпросилась прокатиться с Андреем.

— Я тоже, я тоже, — увязался Сережа. — Гренд па возьмет меня на руки... и даст мне послушать часы. Гренд па, возьми меня...

— Ты теперь, Сереженька, бабушкин, спрашивайся у нее, — наставительно сказала Надежда Трофимовна.

— Пускай едет, — распорядилась Дарья Степановна.

И Сережа тотчас оказался в коляске на коленях у Трофима.

Когда мотоциклет был заведен, Дарья совсем по-свойски сказала Андрею:

— На колдобинах-то сбавляй скорость. В оба гляди. Тебе меньшого внука препоручаю. С тебя и спрос.

Андрей ответил в той же манере грубоватой задушевности:

— Да уж как-нибудь, Дарья Степановна, оправдаю доверие.

Мотоциклет тронулся. Сережа завизжал, захлопал ручонками. Трофим прижал его к себе...

Как бы это все не понравилось ревнивому Петру Терентьевичу! Он хотя и двоюродный дед, а любит Сергуньку, как родного внука. Именно об этом подумала Дарья, провожая глазами уехавших.

XXXVIII

— Как это жаль, как это жалы! Мне очень жалко и время, и деньги, и такие возможности!.. Такие возможности показать Америку в Москве! — сокрушался Джон Тейнер об американской выставке, разжигая костер на лесной поляне.

Федор Петрович Стекольников не забывал американского гостя. И сегодня, в воскресный день, пригласил его на обещанную грибную вылазку в дальнешутёмовский лес.

Грибные трофеи были не столь уж велики, но Елена Сергеевна Бахрушина и Надежда Николаевна Стекольниковы обещали угостить американца уральской грибной похлебкой.

Петр Терентьевич, прихвативший из дому богатое разнообразие съестного, сервировал на разостланной скатерти полевой стол. Сервировал его с таким расчетом, чтобы было что запечатлеть Тейнеру на пленке для американского телевидения.

Такого обилия хватило бы на добрую неделю трем большим семьям.

Это развеселило Тейнера, и он, продолжая разговор об американской выставке, сказал:

— Федор, дорогой Федор, ты посмотри, как Петр Терентьевич в миниатюре повторяет ошибки американской выставки. Нужно вооружить большими ложками два батальона солдат, чтобы они съели половину этой икры... Нет, Федор, я всегда буду говорить, что правда — лучший способ понимать друг друга.

Бахрушин, отшучиваясь, возразил:

— Я ведь не для правды расставляю это все, а для Трофима. Если он найдется, не хватит и этого.

В ответ послышался смех. Все знали, как он любил поесть.

— Пусть ваши газеты немножечко тенденциозны... Да, да, они не могут без тенденции, — продолжал Тейнер. — Но это не играет роли. Газеты правы. На американской выставке нет Америки. Америка — это умные станки, это

конвейер, это сталь... Где, я спрашиваю, самое главное на земле и в Америке — труд? Труд, который создает все... От пепси-колы и жевательной резинки до миллиардов Уолл-стрита. Танцы? Моды? Рождественский домик? Это так же типично, как банный таз с черной икрой, поданный к столу. Федор, мы должны говорить правду. Федор, правда — это лучшее оружие.

— Я так же думаю, Джон, — сказал Стекольников и подбросил бересты в лениво разгоравшийся костер.

Береста заверещала, закорчилась, костер вспыхнул, и Тейнер воскликнул:

— Обмен опытом — это великая вещь! Мы должны обмениваться опытом, Федор, даже для того, чтобы толковее разводить костры. Федор, я не могу не любить Америку. Это моя страна... Тейнеры — это янки. И если говорить по-сибирски, мы, Тейнеры — чалдоны Америки... Америка — это родина производительности. Производительность — это мировая слава Америки и ее позор. Производительность в Америке сегодня — это небоскреб, который подымается за облака за счет съедения своего фундамента... Ты понимаешь эту аллегория? Или ты не понимаешь ее?

— Почему же не понимаю? Понимаю, Джон.

— Очень хорошо, Федор, что ты понимаешь меня. Фундамент — это народ. Великий и прекрасный, изобретательный американский народ. Это он, облегчая свой труд, придумывает автоматические машины, желая освободиться от тяжелой работы... Но он освобождает себя от работы вообще и становится безработным, который лишается возможности питаться плодами своего технического гения. Это великая трагедия технического процветания Америки. Дом не может стоять без фундамента.

— Джон, ты сегодня рассуждаешь как коммунист. Ты не боишься, что я где-нибудь процитирую эти слова и тобой займется в Америке? — шутливо предупредил Стекольников.

На это Тейнер ответил:

— Тогда тебе придется называть коммунистами еще сто миллионов американцев. И почему ты, Федор, думаешь — когда человек критикует капитализм, он обязательно должен быть коммунистом?

— Я думаю, обязательно. Даже если человек не хочет назвать себя коммунистом, боится этого, а иногда

просто не знает, что он коммунист. Так было с моим отцом. Коммунистические идеи вовсе не монополия коммунистов. Они возникают так же естественно, как в свое время возникла письменность. Человек или, точнее скажем, человеческое общество всегда стремилось и будет стремиться к лучшему, наиболее справедливому устройству жизни... Так или нет, Джон?

— Да, так. Но что из этого?

— А из этого следует то, что единственно справедливое устройство жизни такое, где каждый имеет одинаковое и максимально обеспеченное право на жизнь и возможность пользоваться всеми ее благами и радостями, где сознание человека делает его другом и братом всех людей. Такой порядок жизни называется коммунистическим порядком, или коммунизмом. Это объективный закон общественного развития, Джон. Это историческая неизбежность.

— Нет, это пропаганда, товарищ секретарь райкома. Это фанатизм... Я уважаю его. — Сказав так, Тейнер прижал руку к сердцу. — Я могу завидовать таким людям, как ваши люди... Но почему Америка оказалась вне этого объективного закона общественного развития? Почему ее избегает эта коммунистическая неизбежность?

— У каждой страны свои особенности общественного развития и свои темпы созревания общественного сознания, — ответил Стекольников.

— Это слишком универсальный ответ, Федор, — снова возразил Тейнер. — Такой универсальный, что он не является ответом. В Америке особый, демократический капитализм, и в этом его сила.

— Демократический капитализм? — громко переспросил подошедший к костру Бахрушин. — Особый? Вечный?

— Нет, я этого не говорю, Петр Терентьевич... Он будет иметь катастрофы, но не такие, чтобы умереть, а чтобы переродиться.

— Во что? Может быть, в социалистический капитализм?

И Тейнер повторил:

— Может быть, Петр Терентьевич, и в социалистический. Элементы социализма уже есть в американском капитализме...

Бахрушин присел на корточки возле Тейнера и,

положив ему руки на плечи, совсем по-дружески спросил его:

— Дорогой мистер Тейнер, неужели вы всерьез говорите все это? Ведь вы же так много можете понимать и схватить на лету...

В это время приехали Трофим и Тудоев. Разговор был прерван. Трофим сразу же стал рассказывать о встрече с Дарьей Степановной.

— Приняла и выслушала меня... И внука Сережу доверила мне... Как в молодых годах побывал... — сообщал Трофим.

Это разозлило Петра Терентьевича, и он пообещал больше не церемониться и сегодня же высказать при Тейнере все, что он думает о нем и о Трофиме.

XXXIX

На вылазку в лес Бахрушин захватил с собой карманный радиоприемник. Приемник, не позвучав в общей сложности и двух часов, стал глохнуть. И это тоже сердило Петра Терентьевича. Он не любил останавливаться на полдороге. Передавали «Гаянэ» Хачатуряна. Приемник смолк на «Танце с саблями». Именно его-то и ждал Бахрушин. И только-только скрипки изобразили зигзаги и блеск сверкающих сабель сражающихся... только-только, забыв об окружающих, Петр Терентьевич ушел в музыку, как она стихла...

Взбешенный Бахрушин схватил приемник и, размахнувшись, швырнул его с такой силой, что тот, ударившись о ствол сосны, разлетелся.

— Какие-то обманные подарки привез ты нам из Америки. Часы у Елены ходят не каждый день. И этот, — Бахрушин кивнул на разбитый приемник, — заманил в хорошую музыку и посадил на мель.

— Так ведь починить можно было бы, Петрован, — сказал с сожалением Трофим, подбираясь с ложкой к икре.

— Нет, я ничего не буду чинить. Конвейерная продукция плохо поддается ремонту. Будь то карманная пищалка, будь то субъект вроде тебя или какое-то другое изделие хвастливой цивилизации.

— Например, я? — вмешался Тейнер. — Но зачем же опять говорить намеками? Сегодня так много солнца. Пусть откровенность и правда сопутствуют ему. Хва-

тит нам щадить друг друга. Все равно никакая прямота не может посорить людей, которые относятся и хотят во что бы то ни стало относиться с уважением друг к другу. Да, да, не посорит. В этом я клянусь черной икрой, которая так нравится мистеру Бахрушину.

Петр Терентьевич не ошибся в количествах приведенного им съестного. Трофим навалился на зернистую икру, как боров на кашу. Бахрушины и Стекольниковы старались не замечать, как мохнатая рука Трофима совершала частые рейсы от его рта до липовой дуплянки с икрой, не давая сесть на ложку назойливой осе. Это окончательно взорвало Джона. Все-таки Трофим был его соотечественником. И без того ему очень часто приходилось слышать шутки о падкости американцев на черную икру и русскую водку. Поэтому Тейнер обратился к Трофиму по-английски. Стекольников хотя и не все понял, но кое-что разобрал из сказанного: Джон советовал Трофиму оставить в своих кишках хоть дюйм для грибного блюда.

Трофим на это ответил по-русски:

— У каждого своя мера...

Когда икра была доедена и пресыщенный Трофим, отказавшись от грибной похлебки, стал набивать трубку, Тейнер обратился ко всем:

— Дамы, господа и храбрейший победитель черной икры, мне кажется, что лучшим десертом после такого обилия еды будет обещанный откровенный разговор Петра Терентьевича...

Присутствующие поддержали Тейнера, и Петр Терентьевич стал говорить.

— Пусть будет по-вашему, — согласился Бахрушин. — Я тоже верю, что правда должна не портить отношения, а укреплять их. Ну а если нет между людьми желания хорошо относиться друг к другу, прямое слово поможет им размежеваться и разъехаться в разные стороны.

Перед тем, как предоставить слово Петру Терентьевичу, нужно заметить, что откровенная и прямая публицистика не только в наши дни, но и во все времена была обязательной спутницей произведений, показывающих жизнь общества через своих героев.

Необходимо также предупредить, что следующая, сороковая глава, представляя собою монолог, похожий на политическую статью газеты, читаемую вслух Пет-

ром Терентьевичем, определяет ход дальнейших событий и некоторые отклонения в поведении Трофима Бахрушина. Поэтому нужно набраться терпения и выслушать Петра Терентьевича, чтобы потом не возникало неясностей.

Перед тем как Бахрушин начал свою речь, его внутреннее «реле», о котором вы, наверно, помните по первым страницам, переключило строй его речи на регистр высокого звучания, как будто он не беседовал запросто на пикнике, а выступал общественным обвинителем.

Послушаем его.

XL

— Начну я так, мистер Тейнер... Было бы ошибочным думать, будто мы, русские люди, или даже, скажем, мужики вроде меня, не думаем об Америке и ничего не понимаем в устройстве ее жизни. Для меня Америка — это, как бы сказать, повторение пройденного, но в наиболее хитрой укупорке. У нашего русского капитализма против американского капитализма хотя и была, как говорится, труба пониже да дым пожиже, но едкость дыма, ненасытность трубы были такими же.

Тут Бахрушин посмотрел на задремавшего Трофима и сказал:

— Я держу сегодня речь и для тебя, Трофим, и, может быть, главным образом для тебя.

Затем он снова обратился ко всем сидящим на лесной полянке:

— Я не был в Америке. Мне, как и Дарье Степановне, не удалось побывать в этой великой стране по причинам, от меня не зависящим, но я все же представляю себе Америку не по одной лишь печати да кино. Наши люди, прожившие в Америке не так много дней, рассказывали о ней куда больше и вразумительнее, нежели Трофим, проживший там сорок лет. Видимо, он — как некий пассажир, ехавший зайцем в трюме большого парохода, ничего не мог рассказать о корабле, кроме того, что каменный уголь черен и тяжел.

Раздался легкий женский смешок, его поддержали закатистый хохоток Тейнера и смех закашлявшегося старика Тудоева.

Дремота окончательно оставила Трофима.

— Раздевать, стало быть, решил? — спросил он Петра Терентьевича.

— Разве можно раздеть голого... Хочу всего лишь предоставить тебе возможность увидеть свою наготу и человеческое бесправие. Не всегда одет тот, на ком одежда, и не всегда гол тот, на ком ее нет. Вот, скажем, на тебе пиджак. Хороший, пускай полушерстяной, но нарядный клетчатый пиджак. Но твой ли этот пиджак?

Трофим, усмехнувшись, пустил клуб дыма на стайку комаров.

— А чей же? Не напрокат же я его взял?

— Именно что напрокат. Тебе его дали поносить, — совершенно определенно заявил Петр Терентьевич. — Тебе позволили им пользоваться до поры до времени, как и фермой, которая тебе тоже кажется своей.

— Ты, может быть, хочешь сказать, Петрован, что ферма по бумагам принадлежит Эльзе и она, если захочет, покажет мне на порог?

— Нет, Трофим, — ответил брату Бахрушин. — Я не хочу знать, кому принадлежит ферма по бумагам, я говорю о том, что ферма, как и многое, что считается собственностью в странах капитализма, дается напрокат под видом собственности.

— Что-то ты мудрено говоришь нынче, Петрован...

— Я тоже не понимаю вас, Петр Терентьевич, — слышался голос Тейнера.

— Поймете, мистер Тейнер, если захотите понять, — сказал Бахрушин. И снова обратился ко всем: — Что такое ферма Трофима? Это маленькое капиталистическое предприятие, на котором Трофим предоставляет работу десятку-другому постоянных и сезонных рабочих. Предоставляет им работу с единственной целью, чтобы какую-то, по возможности наибольшую, часть этой работы присвоить себе и превратить ее в деньги. Так это или нет?

— Да, это так! — согласился Тейнер.

— Для чего же тогда городить огород, если она не дает прибыли! — подтвердил Трофим.

— Значит, фермер Трофим является хотя и маленьким, но капиталистом, или эксплуататором, — продолжал Петр Терентьевич.

— Но он же трудится сам, — возразил Тейнер.

— Да, я не сию сложа руки, — снова присоединился к Тейнеру Трофим.

Тогда Бахрушин сказал:

— Но разве банкир, имярек, или какой-то тоже не безымянный владелец заводов сидит сложа руки? Разве ему не приходится что-то делать или, скажем, хотя бы думать о том, как вести дело... Однако разве это его занятие стоит тех прибылей, которые он загребает? Каким бы он ни был сверхдаровитым банкиром, но стоимость его дня не может оцениваться в миллион долларов, а то и в пять... Вы знаете точнее, мистер Тейнер, кому и сколько миллионов и за чей счет приносит каждый день... Но я не об этом веду речь, а о ферме Трофима, которую ему дали напрокат под видом собственности. Дали те, кто, владея всем, владеет и страной. Дали под неписаную гарантию выжимать из рабочих этой фермы все возможное по всем правилам капиталистического уклада жизни. Выжимать все возможное и, превращая в деньги, отдавать их тем, кто владеет страной, а себе, то есть Трофиму, оставлять лишь самое необходимое из этой наживы, чтобы он все-таки мог чувствовать себя собственником.

— Кажется, костер разгорается, — шепнул Тейнер Стекольникову. — Я Петра Терентьевича вижу в новом освещении...

— Волён ли ты, Трофим, в делах своей фермы? — спросил Бахрушин. — Не отвечай. Я сам отвечу на этот вопрос, потому что мне виднее и понятнее твое хозяйство, хотя я и не видел его. Нет, ты не волен в своем хозяйстве, как и мистер Тейнер на своей «ферме», состоящей из пишущей машинки и белого бумажного поля, которое он якобы свободно и независимо засеивает якобы свободным словом. Однако ни тот и ни другой не волен в своем хозяйстве. Ни тот и ни другой не могут вести его по своему разумению. Трофим не хозяин на ферме, а шестеренка, которую крутит другая шестерня... Назовем ее компанией. Я не знаю, что это за компания. Но знаю, что и она тоже шестерня, которая тоже крутится не сама по себе в большом капиталистическом механизме. И стоит тебе, Трофим, замедлить твое кручение на шаг, как полетят все твои зубья, и тогда тебя, негодную шестерню, выкинут на свалку и на ферме появится новый владелец, умеющий не отставать, потому что он безжалостнее и успешнее тебя способен выжимать из своих рабочих бóльшие прибыли. Именно бóльшие. Потому что этого требует прослав-

ляемая тобою капиталистическая конкуренция, при которой человек человеку не может не быть волком. Серым, голубым, полосатым или клетчатым... Но не в этом главное. Главное в том, что человек живет в страхе быть съеденным и в надежде загрызть или, по крайней мере, искушать другого, чтобы уцелеть самому. На этой-то, ну, что ли, как бы сказать, тотальной грызне и междоусобице людей, на этом, также тотальном, самообмане, что будто бы грызня и драка — единственная возможность существования и процветания народа, и держится капитализм и его вольные и невольные катализаторы, употребим такое слово, непонятное Трофиму и знакомое, как свой собственный портрет, искренне уважаемому мною мистеру Джону Тейнеру.

Тейнер хотел вмешаться, но Бахрушин предупредил его, подняв руку, прося не прерывать, и снова обратился к брату:

— Именно так жил Трофим, проглатывая соседей, таких же маленьких и бесправных... Проглатывал из боязни быть проглоченным. Так он живет и теперь... И мне нечего убеждать Трофима, он знает лучше меня, что у него нет под ногами твердой почвы, даже если есть собственная земля. Да, Трофим, у тебя нет веры в то, что тебя не вытряхнут из твоего полушерстяного клетчатого пиджака...

Теперь Бахрушин обратился снова к Тейнеру:

— Если сказанное мною, мистер Тейнер, тоже пропаганда, то что же тогда называется правдой, которая позволяет нам лучше узнавать друг друга и самих себя? Если то, о чем я говорил, и есть социалистические элементы капитализма, то что же называется тогда чертовой мельницей, где черти проигрывают друг друга в карты? И когда это все будет распознано и понято, капитализм предстанет во всей его наготе, как бы его ни называли... народным, трудовым, сверхсоциалистическим. Тогда вы увидите, минует ли ваша страна или какая-то другая капиталистическая держава тот объективный закон, о котором говорил вам Федор Петрович Стекольников.

Тейнер любезно поклонился Бахрушину:

— Я ничего не потеряю от этого. Только прошу поверить: ни я, ни ваш брат и ни миллионы американцев не заведуют погодой истории.

— А кто же заведует ею? — задал вопрос молча-

ший все это время Стекольников.— Впрочем, не надо отвечать... Лучше запьем нашу дискуссию чаем. Чайник уже, кажется, вскипел.

И когда все расселись вокруг разостланной на поляне скатерти, приступив к вечернему чаепитию, Трофим Терентьевич принялся за коньяк.

— Сказанное Петрованом чаем не запьешь,— заявил он мрачно.— Да, у меня волчья жизнь... И я на самом деле не знаю, принадлежит ли мне сейчас этот пиджак...— Трофим обвел всех мутным взглядом, затем выпил залпом коньяк, налитый в эмалированную кружку, и смолк.

Всегда шумный и разговорчивый Тейнер тоже стих. Но и молчание иногда бывает выразительно и красноречиво.

ХЛІ

Потерявший равновесие Трофим больше не затевал споров о лучшем устройстве жизни. Может быть, не столько сам, сколько через Тейнера, высоко оценивающего кругозор и ум Петра Терентьевича, он понял, как несоизмеримы их познания механики жизни.

Трофиму казалось, что он и в самом деле провел эти годы в трюме большого корабля, если им назвать Америку, и ничего не видел, кроме своей фермы. И все его интересы ограничивались подсчетом доходов и расходов своего хозяйства. Если он бывал в Нью-Йорке, то и там ему не приходилось подыматься выше трюма этого города.

А Петрован, живя в колхозе, живет интересами всей державы. Он разговаривал о выплавке стали в стране, о валовых сборах зерна и судил о мирной конкуренции с Америкой так, что даже всезнающий и коренной американец Тейнер слушал Петрована открывши рот.

Вот тебе и мужик, каким представлял Трофим и каким хотел он видеть Петра Терентьевича, чтобы удивить его своей одеждой, часами с боем, новейшими чемоданами, своим американским благополучием. А его самого, Трофима Т. Бахрушина, распознали лучше, чем знал он сам себя.

У Петрована убежденность и вера. Завтрашний день у него как посаженный сад. Он уже сегодня точно знает,

какими вырастут яблони и что он соберет с них в таком-то и таком-то году.

А что у него, у Трофима? Ничего. Ничего, кроме изменчивой надежды на удачу. И как знать: может быть, без него ферма уже...

Но об этом ему не хочется думать. Страшно об этом думать, особенно в автобусе, когда все, рассматривая его, может быть, как и Петрован, видят насквозь.

Автобус остановился напротив амбулатории завода, где работала Надежда.

Трофим выпросил через Андрея Логинова, когда у нее приемные часы. И он поспел, как и хотелось ему, к их исходу.

— Пожалуйста,— ответила Надежда Трофимовна, сидевшая спиной к дверям своего врачебного кабинета, когда Трофим постучал и спросил: «Можно?»

Надежда Трофимовна не ожидала его прихода, но не удивилась ему.

— Зачем вы? — спросила она.

— Поговорить,— ответил он.

— О чем?

— Даже не знаю, Надежда Трофимовна... Но думаю, что и худому отцу незапретно разговаривать с хорошей дочерью.

— Садитесь, Трофим Терентьевич. Я только не знаю, для чего все это. Я не существовала для вас сорок лет. И вы даже не подозревали о моем появлении на свет. И если б не ваш приезд, вы бы никогда не узнали обо мне и моих детях.

— Но я же приехал и увидел, что у меня есть дочь и внуки. Неужели у вас ко мне нет никакой жалости? Подумайте, прежде чем ответить отцу.

— Я подумала до того, как вы попросили об этом. Подумала сразу же после того, как вы написали письмо моей матери. Но подумали ли вы о ней, решившись приехать сюда? Может быть, вам казалось, что для нее будет удовольствием ворошить умершее и отболевшее? Или, может быть, вы предполагали, что ваш приезд украсит ее? Вы не посчитались с ней. Вы думали только о себе. Или я ошибаюсь?..

— Нет, вы не ошибаетесь. Я думал только о себе. Думал, но не думаю так теперь.

— Это ничего не меняет. Ваш приезд не принес радости мне и моим детям. Но вы не знали, что мы существ-

вuem, и я не могу винить вас за это. Но мама... Это бессердечный поступок с вашей стороны и... бесстыдный. В прошлое, если оно потеряно, имеет право возвращаться только человек, глубоко раскаявшийся и осознавший разрыв с этим прошлым. А вы ничего не осознали. Вы приехали посмотреть на нее, кощунственно пощекотать свои нервы, показать себя всем своим старым знакомым и брату. Щегольнуть и уехать. Это было для вас чем-то заменяющим театр. И мы не можем быть благодарны вам за наше участие в вынужденном зрелище, в которое вы нас вовлекли. Будь бы вы хоть немножечко порядочным человеком, вы уехали бы на другой же день, когда дядя Петя сказал вам, что моя мать не желает вас видеть. Это не устраивало вас. Вы продолжали думать только о себе и, может быть, принимать во внимание доллары, затраченные на дорогу. Уж коли купил билет, так подавай все...

— Может быть, это и так,— сознался Трофим.— Вернее всего, что это именно так. Но ведь могло быть и по-другому. Допустите, Надежда Трофимовна, что я не уезжал в Америку. Допустите, что я вернулся из колчаковской армии живой и здоровый. Ведь вы называли бы тогда меня отцом, а внуки — дедом?

— Разумеется.

— Так что же мешает вам теперь?.. Ведь я тот же...

— Нет. Вы не были бы тем, что есть теперь. Сорок лет жизни в Советском Союзе могли сделать из вас человека. Для этого множество примеров. Такие же, как вы, убежденные враги теперь оказались хорошими советскими людьми и даже... коммунистами. И они забыли о своем прошлом, будто его и не было. А вы... вы же были белогвардейцем по невежеству и звериной боязни потерять свою кость, свой жирный кусок мяса, свою убогую нору. И вам бы, будь все это по-другому, тот же дядя Петя, все люди помогли бы открыть глаза... Да что говорить — сама жизнь открыла бы их вам. И я, может быть, гордилась бы своим отцом, как горжусь теперь матерью. Разве мало людей, обманутых и сверщенных Колчаком, живут теперь счастливо! Мне не хочется называть их, но ведь главный врач нашей больницы тоже был колчаковским офицером. А нынче он депутат областного Совета, дважды награжденный орденами. Да что он, этот... сыночек фабриканта, с которым вы прятались в лесу. Он теперь директор отцовского

завода... завода, который сейчас не узнать, как и его. Кто знает, кем бы вы стали в нашей стране!

— Неужели ж он выжил? Переметнулся?

— Я не знаю, как это называется на вашем языке, только мама рассказывала, что он явился с повинной и требовал себе высшей меры наказания.

— Лиса!

— Перестаньте судить о людях, как о ваших лесных родственниках.

Надежда Трофимовна встала, намекая этим на окончание встречи. Но Трофим и не думал трогаться с места.

— Стало быть, они все вовремя успели раскаяться, а я, как бы сказать, опоздал.

— Опоздывает только мертвый,— ответила Надежда Трофимовна.

— А я живой!

— Не заблуждайтесь, Трофим Терентьевич, и не самообольщайтесь.

Надежда Трофимовна вызвала сестру и наказала ей проводить «больного» до автобусной остановки и посадить с передней площадки.

— Благодарствую, Надежда Трофимовна, пока что я в посторонней помощи не нуждаюсь,— сказал Трофим и, не простившись, с поднятой головой прошествовал за дверь.

Сестра пожала плечами:

— Это он и есть, Надежда Трофимовна?

— Да!

— Бывают в жизни встречи...— хотела продолжить разговор сестра, да Надежда Трофимовна прервала ее, попросив накапать в стакан двойную дозу успокоительных капель.

Может быть, они ей и не были нужны, но сестра поняла, что Надежде Трофимовне не хочется разговаривать об отце.

XLII

Дарья Степановна вернулась в Бахруши в то же воскресенье, после встречи с Трофимом. Это не понравилось Петру Терентьевичу...

— Как же так, Дарья? Я в выходной день погнал машину, чтобы тебя переотправить с выпаса к племяннику в Кушву, а ты вдруг наперекор всему... Чем окол-

довал тебя этот мешок с прелой мякиной? Чем разжалобил?

Дарья не могла еще разобраться в сумятице спорящих в ней голосов. Ясно было одно — прятаться далее унижительно для нее. И она сказала:

— Пускай все будет на виду. И пересудов меньше, и мне спокойнее. А то получается, будто я боюсь чего-то... И если уж казнить его, так на людях, а не в одиночку...

Прощаясь с Дарьей у ворот ее дома, Бахрушин все же попросил:

— Не сердись на меня, Дарья. Я сейчас только сплю и вижу, как бы скорее получить у железной дороги бумаги и деньги на снос Бахрушей. И не могу распыляться на личные дела. А тебя только хочу предупредить: не верь ни одному слову Трофима, ни одной его слезе... Не верь, даже если покажется, что все это у него ото всего сердца. Не верь, потому что он человек минуты. И главное — без царя в голове. У него нет никаких тормозов. От него можно ожидать и того, чего он сам не ожидает от себя. Уж скорей бы он уезжал к своей Эльзе, — сказал Петр Терентьевич, садясь в корабль.

Дарья, постояв у ворот, хотела было направиться в телятник проведать, что делается там без нее, но не с кем было оставить Сережу. Катя, ускакавшая на минутку, запропастилась, а Борис ушел еще до зари ловить большую рыбу.

Из-за угла выплыл Трофим. Дарье неудобно было уйти, тем более что Трофим уже увидел ее, снял шляпу и пожелал доброго утра.

— Катерину жду, — объяснила Дарья, — Сережку не с кем оставить. Спичками после твоей домны баловаться начал. Того гляди, дом спалит.

Трофим расплылся в улыбке.

— На ловца и зверь бежит. Дозволь мне понянчить внука. За этим и шел. Не обижу. Не бойся. Прогуляю его по селу и, когда велишь, доставлю.

В это время распахнулось окно. Сережа, услышав голос Трофима, закричал на всю улицу:

— Гренд па! Гренд па! Лезь в окошко, я тебе настоящего ежика покажу...

— Здорово живем, Сережа! — поздоровался Трофим с внуком и поцеловал его ручку. — Тяжеловат я стал в окошки-то лазить. Давай лучше ты лезь ко мне. Бабуш-

ка-то никак согласна, чтобы я на реку с тобой пошел? Может, рака поймает, а то, может, и матерую щуку вытянем...

Сережа прыгнул из окна на руки Трофиму:

— Давай поймает.

Мальчик обнял Трофима за шею и прильнул теплой щекой к его щеке. Дарья отвернулась, посмотрела украдкой на соседские окна и сказала:

— Часок-другой погуляйте. Я не против... Теперь уж недолго тебе жить здесь осталось.

— Восемь дён точно. На девятый выедем. Значит, позволяешь. Спасибо тебе.— Трофим поклонился Дарье, снял с рук Сережу, оправил на нем рубашку, потом кряхтя нагнулся, завязал шнурок на его маленьком ботиночке и повел его за руку по залитой солнцем улице.

Все видели, как большой и толстый Трофим вел за руку маленького белокурого мальчика. Все знали, что этого мальчика зовут Сережей и он приходится родным внуком Трофиму. Знали, видели и не обсуждали. Не обсуждали не потому, что людям нечего было сказать и у них не было своих суждений... Нет. Видимо, в жизни есть явления, лучшим способом оценки которых бывает молчание.

Да и что тут скажешь. Хорошо это или плохо? Правда Дарья, отпустившая внука с Трофимом, или нет? Сразу возникают тысячи «да», тысячи «нет» и столько же «но»... А может быть, и задумала что-то Дарья Степановна. Не зря же вдруг прикатила она в Бахруши. Ей виднее, как себя вести. Не зря она во время войны в председателях ходила.

А Сережа и не знал, что он стал предметом внимания многих людей, и весело заглядывал Трофиму в глаза, останавливался, рассматривая большого, переползающего дорожку жука, или радовался щуке, которую они сегодня поймает с дедом. Да и Трофим не видел ни улицы, ни окон, ни глаз любопытных. Он шел за руку с самым дорогим, что у него есть на свете, с существом, для которого он, кажется, способен сделать все, даже, может быть, остаться колхозным сторожем при зерновом складе... Может быть... Пусть Трофим и сам знал, что он «человек минуты», но в эту минуту Сережа для него был единственной радостью и целью жизни.

Люди видели, как Трофим и Сережа прошли на реку. Там они наловили плотвички для наживки на большую

щуку. Люди слышали, как Трофим сказал Сереже:

— Пока ловится матерая щука, нам можно и пашню пахать.

И Сережа стал трактористом, а Трофим — трактором. Мальчик с трудом вскарабкался на спину «трактора», ставшего на четвереньки, а вскарабкавшись, поворачивал его за уши то в одну, то в другую сторону и, наконец, направил в воду.

Трофим-«трактор» по локоть зашел в речку и «заглох».

— Зажигание подмокло,— сообщил он, перестав тахтеть, как положено всякому трактору, когда он глохнет.

Люди видели, как «трактор», развалившись на песке, стал сушиться, а потом вдруг закричал:

— Сергунька, никак щука попалась!..

Трофим и Сережа кинулись к палке, воткнутой в берег. Шнур туго натянулся. Оба кричали от радости на всю реку...

Тейнер всегда появлялся неожиданно и вовремя. Он уже успел незаметно сделать съемки «трактора» и «тракториста». Теперь, боясь, что пойманная рыба сорвется, Тейнер предупредил с того берега, чтобы добычу вытаскивали медленнее.

До Тейнера ли было Трофиму! Он, не надеясь, сдержал свое обещание. Он подыметесь теперь в глазах внука на сто голов. А это сейчас для него самое главное. «Только бы не сорвалась!» — молил он.

Трофим выматывал щуку, то отпуская шнур, то выбирая его. Щука делала бешеные рывки, но Трофим еще мальчишкой ловил шук, знал повадки этой рыбы.

И вот щука показалась. Она делает последние попытки сорваться. Сережа визжит. Он забегает в воду, чтобы схватить рыбину, но ему страшно. Он боится ее.

Наконец щука на берегу. И откуда только набегали люди! Появился и брат Сережи, Борис. В его глазах радость.

— Вот это да!

Но его радость безразлична для Трофима. Этот одинаково родной для него внук чужд Трофиму. Потому что десятилетний Борис знает, что его дед — не дед, а серый волк, убежавший в Америку. И наверное, ничто и никогда Бориса не сблизит с Трофимом. А Сережа еще мал, и его можно заставить полюбить деда. Ведь дети судят

по тому, как к ним относятся, что и кто для них делает.

Щука билась и прыгала на песке. Трофим стеснялся при Сереже утихомирить ее ударом камня по голове. Сережа, следя за щукой, увидел кровь.

— Ей больно? — спросил он Трофима.

— Да нет, наверно, — ответил Трофим. — Она же рыба.

Но мальчик задал новый вопрос:

— А у нее в реке остались детеныши?

Трофим, заметя беспокойство Сережи, глядящего на тяжело дышащую щуку, мягко сказал:

— Да откуда же у нее детеныши! Она старая. Видишь, какая здоровенная... Разве что щурята-внучата остались в реке.

Сережа неожиданно вцепился в руку Трофима:

— Гренд па! Гренд па! Отпусти бабушку-щуку в реку!

Раздался веселый смех. Смеялся и брат Сережи, Борис.

— Это ты всерьез, Сережа? — шутливо спросил Трофим.

Спросил и увидел в глазах мальчика слезы. Трофим испугался. Он торопливо и осторожно снял рыбу с крючка и виновато сказал:

— Сейчас, Сереженька, сейчас...

Затем так же бережно он взял щуку и пустил ее в реку.

Сережа подбежал к Трофиму, обнял его ногу, затем тихо спросил:

— У нее заживет рот?

Трофим ответил:

— Завтра же здоровехонька будет. Карась-доктор пропишет ей что положено — и живи себе, щука, сто лет.

Люди молчали на берегу. Молчал и Тейнер. А Трофим, подняв на руки Сережу, понес его, машущего ручкой щуке, уплывшей к своим щурятам.

Об этом было передано Петру Терентьевичу, и он сказал:

— И змея можно заморозить. Только он от этого не перестает быть ядовитым. — А потом, вздохнув, добавил: — Не надо было Дарье показывать ему Сергуньку. Эта тонкая струна не по Трофимовым ушам. И если уж Надежда признает своим отцом не его, а Артемия Ивол-

гина, так Сергей-то уж никак не волчий внук. Ну да что об этом говорить. Пройдет неделя, две после его отъезда, Сергунька и не вспомнит... Скорей бы только уезжал!

Но маленький Сережа неожиданно для всех стал едва ли не самой главной причиной событий, разыгравшихся в последние дни пребывания американцев в Бахрушах.

XLIII

Малозначащая история с поимкой и возвращением шуки в реку, удивительная привязанность Трофима к Сереже нашли отзвук в сердцах людей. Наметилось какое-то, хотя очень сдержанное, потепление к нему и в отношениях Дарьи Степановны.

— Есть, видно, в тебе еще какие-то стоящие остатки, коли ты старую шуку пожалел,— сказала Трофиму Дарья Степановна, когда они сидели на кладбище.

На кладбище заменялись кресты на дягилевских могилах и ставилась чугунная ограда.

— Теперь все по закону. Жаловаться им не на что,— радовался Трофим.— Кресты хорошие, с просмоленными комлями. Оградка просторная. Места много. И лежать им сухо на горе. Песок.

— Не сыро,— поддержала разговор Дарья. И спросила: — В Америке-то как насчет могильников? Тесновато?

— Да где как. Смотря по покойнику. Денежному человеку везде место найдут. Эльзу, например, я к Роберту в могилу положу. Он же ее венчанный муж, и ей как бы сподручнее лежать с ним рядом.

Дарья, не скрывая усмешки, будто рассуждая сама с собой, сказала:

— Это хорошо, когда человек знает, кому когда умереть, кого где похоронить. Много ли ей, твоей Эльзе, теперь?

— За семьдесят ей. Она ведь куда старше меня. Пускай семьдесят лет не велики годы, да она рано цвести начала. И цвела, себя не жалеючи. Не ходит уж.

Дарья, посмотрев на Трофима, заметила:

— Ты как о чужой о ней говоришь. Жена ведь...

— Оно, с одной стороны, будто и так, а с другой...

Дослушай уж то, что я тебе на Митягином выпасе не досказал.

— Досказывай,— согласилась Дарья.

— Стало быть, так,— начал Трофим.— Привезла меня тогда Эльза на ферму, познакомила с мужем. С Робертом. Он спервоначала велел мне ходить за конями, а потом сделал меня на ферме своей правой рукой. Доверял продажу молока, мяса, овощей, а также свою тогда еще молодую жену, которую я отвозил в церковь. Тебе, конечно, не надо рассказывать, какое это было богомолье. Не знаю, догадывался ли старик, что его Эльза сходила по мне с ума, да и я, чтобы не обелять себя, скажу, что тогда готов был бежать с нею хоть в Мексику, хоть на Аляску. И звал я ее.

— Значит, любил? — решила уточнить Дарья.

— По всей видимости, пожалуй, что так. А она не хотела от своей фермы, от своего дома с милым рай в шалаше искать. Велела потерпеть. И вскоре ее Роберт умер. От рыбы.

— Отравился.

— Да. Так было написано доктором после проверки его смерти. Рыбий яд. А как было это на самом деле, я не спрашивал у нее. Я не хотел и не хочу знать этого... Знаю только, что она по ночам жарко молилась. Задерживалась на его могиле и подолгу плакала. Я не хочу думать, что она поторопила его смерть, но все-таки вокруг нашей кровати она каждый вечер наливала святую воду.

— И помогало?

— Помогало. Ко мне он не приходил ни разу. А потом мы построили новый дом.

— Значит, ты уже стал ее мужем? — опять перебила Дарья Степановна.

— По жизни — да. А по сути дела остался управляющим ее фермой, потому как по бумагам ферма перешла ей и ее дочери. И мне даже в голову не приходило, что могло быть как-то по другому. А когда я вошел в курс и прикупил соседнюю ферму, а потом еще три, стал понимать, кто на ферме мужик, кто барин. Все оказалось записанным на нее, а у меня как бы жалованье на личные расходы... Так и шло. Удесатерил капиталы я, а капиталы ее. Конечно, я и теперь всему голова. Без меня соломинки не могут шевельнуть. Но я голова, как бы сказать, отъемная.

— Вот тебе и нá! Как же это ты, серый, дал овце себя слопать? — подзадорила Дарья.

— Что теперь сделаешь? Сначала жизнь не начнешь. Я-то, как видишь, еще косить могу, а она из кресла не вылазит. Чужая она мне. Сколько за ногтем черно — чувства не осталось к ней. Одна злоба. И если я смиряю свою злобу, так только тем, что господь за тебя карает меня. Терплю.

— И что ты теперь думаешь? — спросила Дарья.

— А что я? Весь я тут. Эльза завещала ферму своей дочери Анни. Она замужем. У нее два сына. Это не мои внуки. Ее муж не мой зять. Он неплохой человек, но глуповат. Ферму он пустит на ветер на другой же день, как меня не будет. Эльза знает, что ферма — это моя жизнь. Поэтому она в завещании написала: если ее дочь Анни захочет, чтобы ее фермой управлял кто-то другой, кроме меня, она обязана выплатить мне треть всех капиталов. Да разве она захочет этого? Анни не дура. Она знает, что без меня не будет ни ее, ни фермы. Она, как и мать, будет держать меня своим почетным батраком.

Из груди Трофима вырвался вздох, похожий на стон:

— Эх! Если бы можно было купить у Эльзы ферму...

— Для чего?

— Чтобы продать ее другому человеку...

— Зачем, Трофим? Что ты? — удивленно спросила Дарья Степановна.

— Как зачем? Тогда у Эльзы не будет дома, который она любит. Не будет сада, которым она не надышится. Не будет пруда. Ничего не будет. Ей придется снимать квартиру и умирать в чужом доме.

— А ты куда денешься?

— Я? Я уеду в Данию или в святую землю. Мало ли куда я могу уехать...

— В Россию, может быть?

— А может, и в Россию. Я ведь здесь никого не убил. И ни в чем не грешен перед вашей властью. Ну а то, что я не могу думать так, как все вы... это вопрос десятый, особенно для сторожа при хлебном складе.

— Горестна твоя судьба, господин почетный батрак. Но ведь ты сам был ее хозяином. Твоя и теперь власть над ней. Тебе, я вижу, хочется, чтобы я пролила слезу, простила да посочувствовала. Зечем это тебе? Разве дело в моем прощении? Разве ты виноват только передо

мной? Ты бы хоть задумался над этим. Загляни к себе в душу и посмотри: винишься ли ты перед этой землей?

Дарья встала со скамьи. Выпрямилась. Обвела взором зеленые просторы лесов и полей, синеющие у горизонта горы и дальние дымы заводов.

— И если в твоей душе нет покаянного чувства, которое тебе дороже твоей жизни, значит, все, что я слышала от тебя, игра, слезливая игра для самого себя.

— А если правда? Если я хочу остаться здесь, что ты про это скажешь?

— Ты все «если бы» да «кабы».

— Так ведь и ты ни да, ни нет.

— Хватит из пустого в порожнее... А то не ровен час деда Дягилева разгневешь в могиле. Выскочит старик да скажет: «И передо мной винись, ворюга, за николаевские рыжики...» Не такое это простое дело: «А если я хочу остаться!» Я вот, например, не вижу, не могу себе представить тебя на родной земле.

— А в земле?

— Такие раньше срока в землю не уходят. Хоть и смердят, а думают, как бы еще подольше посмердить наперекор другим. Ферму бы купить да потом ее перепродать другому... Эх ты! Твоя ли ферма, чья ли — все равно ее не унесешь в могилу. За что же мстить Эльзе? За любовь? За то, что она боялась выпустить из своих рук аркан и потерять своего коня...

Они шли молча. Прощаясь, Дарья сказала:

— Сумел бы хоть уехать по-человечески, а большего-то мы и не хотим от тебя.

Трофим направился на Ленивый увал, а Дарья — в свой вдовый дом. Теперь ею все высказано, и встречаться с Трофимом, пожалуй, больше незачем.

XLIV

Вечером Трофим выпил литр водки и чекушку смородиновой. Таким его не видели ни Тейнер, ни Тудоев, ни Пелагея Кузьминична.

Трофим последними словами костерил Эльзу на весь Ленивый увал. Когда его попытались запереть в комнате, он выломал дверь вместе с дверной коробкой. Язык его заплетался, но на ногах он стоял твердо.

Тейнер принимал немало мер, чтобы уговорить его. На английские фразы Джона он отвечал русской бранью

и называл Тейнера клещом на его теле, который пьет его горе для-ради долларов.

Наконец Трофим снял шляпу и запел:

Вихри враждебные веют над нами...

Тудоиха стала звонить Бахрушину. А Трофим был уже в селе.

— «Темные силы нас злобно гнетут...» — горланил он на всю улицу. Единственный милиционер, квартировавший в Бахрушах, не знал, что делать.

С одной стороны, явное нарушение. С другой — иностранный подданный с непросроченной визой. И поет не что-нибудь, а то, что надо.

— Кончено... Все кончено! — кричал Трофим под окнами бахрушинского дома. — Все кончено, Петька. Я остаюсь в Бахрушах. Давай делиться. Выбирай, которую половину дома берешь ты. Мне все равно. Как скажешь, так и будет. Я хочу умереть там, где я родился. И нет такого советского закона, чтобы дом оставляли одному сыну, когда их два. Я — кровный сын Терентия Бахрушина. Меня обманули белые... Дай мне бумагу, я напишу прошение в колхоз.

Собрались люди. Петр Терентьевич, выйдя на улицу, взял Трофима под руку и увел в дом.

— Делиться так делиться. Я не против. Распилим дом, и вся недолга... А теперь давай соснем малость. Заря-то вон уж где...

— Дай мне бумагу, Петька, я хочу написать прошение, — требовал Трофим. — У меня здесь Сережа, а там никого... Там я один. Что мне Эльза? Она выпила меня до дна. А я не хочу больше жить пустой бутылкой. У меня есть внук Сережа. Он любит меня. Он пожалел даже старую шуку... Дай мне бумагу.

Немалых трудов стоило уложить Трофима. Он долго плакался на свою жизнь и проклинал Эльзу.

Петр Терентьевич, Елена Сергеевна и прибежавший Тейнер не спали добрую половину ночи. Наконец Трофим уснул. Он спал тревожно. Бранился во сне. Звал Сережу.

Утром Трофим проснулся раньше Петра Терентьевича. Тише воды, ниже травы.

Встретив брата, Трофим сказал:

— Прости меня, дурака, Петрован. Я был пьян. Но я все помню. — Он поднял красные, опухшие и еще не

протрезвевшие глаза.— Я решил остаться в Бахрушах.

— Так ведь это же не из села в село...

— Понимаю. Но если я хочу... Если тут моя земля и мой внук Сережа и, кроме него, у меня никого и ничего на белом свете... Останусь — и все. Не вытолкнут же меня из родного села силой...

— А ферма как? — осторожно спросил Петр Терентьевич.

— У меня нет фермы. У меня ничего нет. Дарья знает, спроси у нее. Я весь здесь. Раскаиваться поздно только мертвым. А я еще не весь умер.

— А что ты тут будешь делать?

— Наймусь сторожем при хлебном амбаре.

Эти слова рассердили Петра Терентьевича, и он прикрикнул:

— Не юродствуй, Трошка. Я не верю тебе. Уж больно ты громко кричишь и лишковато размахиваешь руками, будто хочешь кого-то удивить и облагодетельствовать. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты будто боишься передумать и всенародно сжигаешь корабли, чтобы отрезать себе обратный путь. Юродству хоть и случается иногда притвориться правдой, но оно никогда не бывает ею, если даже в него верит и сам шаман.

— Блажен, кто верует даже наполовину. Я твердо решил.

— Надолго ли? Ты же весь там, в своем логове. Ты даже мизинцем ноги не стоишь на нашей земле. Не пройдет и двух дней, как в тебе снова заговорит ферма. Собственность. Ты ее пожизненный раб. Ты жил и живешь только для себя и наперекор другим.

Петр Терентьевич, наскоро накинув на себя пыльник, сунул в карман завернутый в бумагу кусок рыбного пирога и ушел. Когда звякнула щеколда калитки, Трофим обратился к молчавшей все это время Елене Сергеевне:

— То, что ферма не моя,— это не суть. Все равно я ей голова, и ферма без меня не тулово, а прах. Но ведь и Эльза не хозяйка на этой ферме. Ферма может лопнуть, как старая резиновая шина. Уже лопнули многие фермы, и я их взял под свою руку. Также может лопнуть и наша ферма. Один крутой поворот, и все в пропасть... Я лучше Петрована знаю, как это бывает... Люди остаются в одной рубаше. Потому что все работают на последней черте. Ни у кого нет запаса на черный

день. Все в обороте. Даже цепная собака, цена которой два доллара, и та может пойти на покрытие долгов, если ферма лопнет. Собака тоже в оборотном капитале фермы. Это смешно, но когда лопнул сосед Айван Тоод, ему пришлось отдать и собаку. Чистокровную колли. Она скулила и отказывалась жить у меня. Но она все равно пошла в зачет долга. Ее оценили в двадцать долларов. Я не спорил. Собака была еще молодая. Потом она сдохла. Сдохла, тоскуя по сыну Тоода. Так могу сдохнуть и я.

— Да будет вам, Трофим Терентьевич, — прервала его Елена Сергеевна, — что это вы вдруг... Не бывает же так на свете, что ни с того ни с сего человек оказывается нищим.

— У нас бывает только так. У нас можно жить и конкурировать только на последней черте. И если твоя свинья отстает от свиньи конкурента в нагуле на несколько фунтов и на несколько дней, она съест тебя. Даже миллионеры ведут счет на пенсы. Я видел, как просчеты в пенсах съедали миллионы. Я знаю, что такое маленький просчет, когда ни у кого нет подкожного жира. Все в деле. И я каждый год прыгаю через пропасть. И каждый год боюсь, что мне для прыжка может не хватить одного дюйма. И я сейчас, сидя здесь, нахожусь в прыжке. И я не знаю, какие крылья мне в этом году пришьет конъюнктура. Мне надоело прыгать для других и укорачивать свою жизнь. А не прыгать нельзя. Потому что там вся жизнь состоит из счастливых прыжков и смертельных недопрыгов. Один дюйм... Вы здесь не знаете, что значит один дюйм...

Елена Сергеевна, чувствуя, что она очень мало понимает из того, что рассказывает он, и боясь сказать что-либо некстати, молчала. А Трофиму и не нужно было, чтобы она говорила. Он разговаривал не с ней, а с собой, выясняя разлад двух голосов, двух Трофимов, спорящих в нем. Один Трофим, повергнутый в прах, лежал молча, но пока еще шевелился. Другой Трофим добивал его, чтобы тот никогда не мог подняться и позубоскалить над ним.

Отречься в свое время от православия и перейти к молоканам Трофиму было легче, чем теперь раскаяться. Теперь он и в самом деле должен был сжечь все корабли. А корабли горели плохо. Им нужно было добавить огня. Опохмелившись половиною стакана вод-

ки и доев рыбный пирог, Трофим снова стал клясть свою жизнь.

— Петровану и всем вам хорошо. У вас не может быть краха. Что из того, если случится недород или мор на свиней? Налетят ветеринары. Потом дадут ссуду или придумают поблажки. Петрован может срубить сотню-другую срубов на Митягином выпасе и продать их по хорошей цене. У меня тоже есть лес. Но нет ни одного моего дерева. Они пересчитаны, и под них получены деньги. И эти деньги мычат коровами и жиреют свиньями. Все до последнего доллара поставлено на кон. Конъюнктура каждую осень мечет банк. Каждую осень биржа сообщает тебе, можешь ли ты готовиться к следующему прыжку или надо заживо ложиться в гроб. Я каждый год готовлюсь провалиться в преисподнюю. И если уцелеваю, то прибыль не радует меня. Велика она или мала, все до последнего доллара пожрет ферма. Ее шестерни не могут останавливаться ни на час, ни на минуту. Ты должен приобретать новейшие машины и улучшать обработку земли, чтобы избавиться от лишних ртов и рук! И если ты этого не сделаешь, рты съедят тебя.

У Елены Сергеевны от этих разговоров защемило под ложечкой. Она выпила глоток остывшего чая и уселась поудобнее, полагая, что это лишь начало разговора и Трофим Терентьевич засидится у нее до полудня. Но тот вдруг поднялся, продолжая досказывать стоя.

— И если ты пожалеешь своего работника, даже своего брата по вере, молоканина, и не заменишь его руки новой машиной, как это уж сделали твои соседи и конкуренты, — конъюнктура не простит тебе этого осенью, когда ты начнешь подбивать свои барыши.

Надев шляпу, Трофим неожиданно закончил:

— Лучше уж сторожем при хлебном амбаре да при солнышке и на твердой земле, чем главным колесом в чужой телеге... Я остаюсь в Бахрушах, — и рысцей выбежал из дома. Оказавшись на улице, он подумал: не зайти ли ему к Дарье и не объявить ли о своем намерении? Но, решив, что пока этого делать не стоит, он вышел на большак, намереваясь отправиться с попутной машиной в город. Не в Бахрушах же, в самом деле, заявлять ему о своем бесповоротном решении не возвращаться на ферму!

Весть о желании Трофима остаться в Бахрушах всполошила село едва ли не более, чем его приезд. Это происходило, наверно, потому, что все предшествующее — и разговоры Трофима, и суждения о преимуществах ведения хозяйства на его ферме — никак не готовило почвы для такого неожиданного решения. Даже, наоборот, можно было ожидать, что Трофим, вернувшись, не в пример Тейнеру, забудет гостеприимство и честь, оказанные ему. Забудет все то, чем он восхищался в Бахрушах, и вспомнит досадные промахи колхозной жизни, вытащив их на первый план. И где-нибудь в беседе с ловцами газетной клеветы или искаателями очернения он, как человек, рожденный в России, а следовательно, заслуживающий доверия, с елейно-смирненным сожалением ханжи заляпает родное село. И, может быть, он будет скорбеть о коммунистическом рабстве и о колхозном порабощении, в котором находятся его родной брат Петрован и его бывшая жена Дарья, пожизненно прикованная к своему телятнику и не знающая никаких радостей жизни.

При желании, как известно, можно очернить или подвергнуть сомнению все. Кто ему помешает сказать, что у Петра Терентьевича он собственными глазами видел лапти, висящие в сенцах на деревянной спице? Можно к этому приложить фотографический снимок. Ведь никому же не придет в голову, что Петр Терентьевич бережет лапти покойного отца, которые тот в молодые годы запасал впрок для отходной работы в горячих цехах.

Как могут знать в Америке, если не знает пока и Елена Сергеевна, о том, что Петр Терентьевич сделает свой дом и две соседние избы «заповедником старины». Не случайно же он не отдирает от стен старые лавки и бережет на чердаке старинную жалкую утварь, собирая ее по старожильским дворам не только своей деревни.

Дедовские иконы тоже ведь лежат упакованными в хорошем ящике на чердаке.

Можно прискрестись и к ним: вот, мол, каково истинное лицо господина коммуниста Петра Бахрушина! Ходи потом и доказывай, что ты делал все это из самых лучших музейных побуждений.

Ничего нет страшнее языка, умеющего красноречиво и доказательно клеветать. Именно этого и можно было ждать от Трофима, непостоянство которого было не только его характером, но и способом его жизни.

Утром он называл Дудорова «заводным кукарекалом», а вечером прославлял его при той же Тудоихе, как «пророка грядущего». Еще накануне свинарь Пантелей Дорохов был для него «пустым свиным корытом для потехи Петрована», а потом этот же Пантелей оказывался «самородным чудом», а день спустя Пантелея Дорохова Трофим сравнивал с грибом-обманкой: «С виду ах как хорош, а для еды негоден».

Но никому и в голову не приходило, что Трофим может повернуться на все сто восемьдесят градусов в самом главном. А он взял и повернулся. И все узнали, как Трофим проклинал жизнь на своей ферме и вскрывал неизлечимые язвы капиталистического строя. Вскрывал правильно и по существу, хотя он и был политически невежественным человеком.

— Значит, нутром дошел, — твердил Тудоев. — На своей шкуре понял, что он не хозяин своей фермы, а ее раб, которому настоящий господин американской земли, господин Капитал, позволяет поиграть в собственность.

Тудоев долго митинговал среди стариков, своих постоянных слушателей, высказывая мысли о капиталистических странах.

— Уж если и есть где самая зыбкая собственность, так это там, где правят законы незыблемой собственности. Закон-то незыблем, да собственность зыбка. Поэтому там каждый богач, ложась спать, боится проснуться нищим, — повторял он сказанное Бахрушиным.

Свинарь Пантелей Дорохов, которому сын сообщил новость о Трофиме, решил про себя:

«Значит, подсылают поближе к нашему аэродрому».

Пантелей никак не мог допустить чистых намерений Трофима. Мистер Бахрушин для него был только волком и никем другим.

Пелагея Кузьминична Тудоева придерживалась того же мнения. Разговаривая с Дарьей Степановной, Тудоева легонько, чтобы не оскорбить ее, поделилась своими мыслями:

— Ты, девка, меньше думай об этом... Конечно, он для тебя не то, что для других. Хоть и мертвый, а не

похороненный. Только, я так думаю, поблажит он, поблажит, покрасуется да и уедет.

— Зачем ему это красование, эта блажь? Ты жизни его не знаешь, а он мне всю ее на могильнике рассказывал. А Петровановой Ляльке и того больше... Была она у меня. Пересказывала, что политически прозревать начал человек. Прыжки, говорит, это над пропастью, а не жизнь. Весь капитализм так вывернул, что впору по радио передавать. Значит, копилось в нем все это. Спорил он с собой. С Дудоровым спорил, может, тоже для того, чтобы понять нашу жизнь... А потом лопнул в нем гнойный пузырь, и он захотел очиститься перед нами и перед собой.

Тудоиха кивала ей в знак согласия, а от своего не отступалась:

— Дитятко ты мое, Дарунюшка, а кем он тут жить будет? Подумай. Неужели ж в самом деле сторожем при хлебном складе или на конном дворе ворота станет открывать? Года-то у него уж пенсионные. А кто ему пенсию даст? За что? За его ферму? Значит, работать надо. Где? Не в правление же его выбирать...

— Начнет со сторожа. Плохого в этом нет. И если хорошо будет сторожить, люди заметят это. А потом видно будет...

— Да что же видно-то!.. В секретари райкома, что ли, его выберут?

— Зачем в секретари? У Трофима своя стезя. Он сызмала торгаш. К тому же Америка отполировала его по этой части—дальше некуда... А у нас сбытовики сама знаешь каковы... Первый сорт огурцы еле третьим сортом сбывают... А Трофим любого кладовщика на базе усовестит.

Тудоиха соглашалась:

— Что говорить. Продать он, надо думать, мастер. И вид самый такой. Шляпа. Кругом бритый. И с трубкой. Не один бы миллион колхозу добавил... За свекольную бы ботву и за ту бы деньги взял... Да ведь только то помнить надо: сколько ты ни корми этого самого... сама знаешь кого... а он все в лес смотрит.

— А есть ли лес-то у него?—в упор спросила Дарья.—Может быть, лес-то остался теперь малым кустиком, который Сергунькой прозывается... Дрожит даже, когда видит его. Собакой лает для него. Конем скачет под ним...

Тудоиха пошамкала синими губами, потом облизнула их и сказала:

— Значит, простить его удумала? Забыть ему все порешила? Ох, Дарья, Дарья... Видно, и ты, девка, овца.

Это задело Дарью Степановну. У нее дернулось левое веко. Она не сразу ответила Пелагее Кузьминичне. Подумала. Выглянула в окошко, будто желая проверить, как играет на дворе Сережа. Потом расправила седые пряди на висках и сказала:

— Я не вижу худого в том, если Трофим повинится перед народом и последние годы доживет на родной земле. Пусть я, как и Петрован, не верю всем его словам, но ведь чему-то надо поверить... Ведь что-то же пошевелинулось в нем? Не убеждать же мне его не оставаться! Не упрашивать же мне его вернуться в Америку! Ты это понимаешь или нет?

Тудоихе оставалось теперь только сказать ничего не обозначающее «да, да, да» и перевести разговор на небывалый урожай ячменя, который всех удивлял в этом году «ядренным зерном, большим колосом и ранней спелостью».

Дарья, поняв уловку Тудоихи, обронила грустную смешинку, блеснув белыми, не знавшими «бломб» и дупел зубами, тихо сказала:

— У каждого, видно, свой «ячмень». У кого в поле, у кого на правом глазу.

Тудоиха не ответила на это и начала прощаться:

— Батюшки, часов-то уж сколько... Тейнерок-то мой заждался уж, наверно. Я в эту пору его вторым завтраком кормлю, под названием «ленч». Малосольные огурцы, стало быть, и сыворотка творожная вместо чая для похудения живота. Побегу...

Она ушла, хотя отлично знала, что Тейнера не было в Доме приезжих.

Тейнер, готовясь к отъезду, использовал каждый час последних дней. И сейчас он беседовал с молодым архитектором — автором проекта нового села Бахрушино на Ленивом увале.

Архитектор показывал планировку улиц, фасады строений первой, второй и третьей очереди. Наиболее интересные листы Тейнер фотографировал. Это происходило в старом клубе, где для общего обозрения была развернута выставка проектов нового села.

Туда же пришел секретарь парткома колхоза Григорий Васильевич Дудоров. Поздоровавшись с Тейнером и обменявшись шутками, он спросил:

— Между прочим, скажите, мистер Тейнер, почему вы не огорчены решением Трофима Терентьевича не возвращаться в Америку? Ведь из вашей будущей книги уходит такая фигура.

— Григорий Васильевич, а почему я должен огорчаться? — задал встречный вопрос Тейнер. — Мне можно приписать все, что угодно, но не отсутствие здравого смысла. Неужели вы думаете, что это четвероногое способно оставить те пятьдесят тысяч или, может быть, более долларов, которые он тайком от Эльзы превратил в акции «Дженерал моторс» на черный день? Неужели вы думаете, глубокоуважаемый Григорий Васильевич, что я при моих долгах и тысячах обязательств стал бы брать в свою книгу человека, который не вернется в Америку? Три «ха-ха», как говорят ваши стилиги. Считайте меня кем угодно. Дельцом. Предпринимателем. Спекулянтом. Я не буду спорить. Наверно, эти слова в большей или меньшей степени подходят для меня. Но я не могу себя вести иначе, чем общество, в котором я функционирую. И я функционирую по законам, которые, может быть, я и не разделяю. Но мы не так близко знакомы с вами, как с Федором Петровичем. И я не так доверчив и откровенен, как мне, может быть, хотелось бы. Потому что «мой бог не на божнице, а внутри меня». Эту фразу, сказанную четвероногим господином, я повторяю сейчас применительно к себе, но не в прямом ее понимании. Перед тем как затеять свое предприятие с поездкой в Бахруши, я проверил все стропы, которые привязывают это человекоподобное к земле Америки. И я не мог иначе. У меня нет никаких фондов для риска.

— А что вы скажете о таком «стропе», как его внук Сережа, которого он боготворит? — спросил Дудоров.

Тейнер на это не без раздражения ответил:

— Повторяю, когда четвероногое становится на две ноги, оно начинает напоминать человека. Да! Я говорю: да! У него проснулись нежные чувства к внуку. Он даже сам поверил, что вся его жизнь принадлежит Сереже. Но стоит высоким чувствам, которые всего лишь посетили его сердце, а не вырабатываются этим сердцем, покинуть его хотя бы на минуту, он снова станет на

свои четыре ноги и его трудно будет поднять на две. Потому что стоять на четырех ногах — это нормальное состояние четвероногого, а ходить на двух — это шок или, в лучшем случае, цирковое представление. Так думаю я, и так думает Петр Терентьевич. Нет, я думаю так же, как думает Петр Терентьевич, который умеет слушать и понимать очень сложную музыку. Натура мистера волка, если бы вы захотели показать ее при помощи оркестра, выглядела бы циничной какофонией в сопровождении подвывающего старого самовара и скрипки, звучащей иногда то сентиментально, то трагически для доверчивых ушей. Для доверчивых. Не для ушей Петра Терентьевича, не для моих и, мне хочется верить, не для ваших. Больше я не добавлю и половины слова, чтобы не исказить суть моего соотечественника в ваших голубых глазах.

XLVI

А Трофим между тем шел по главной улице города, по улице Ленина. Он уже выяснил у постового милиционера, кому должен подать иностранец заявление о своем намерении остаться в СССР, и тот, подумав, назвал председателя областного Совета депутатов трудящихся, а затем рассказал, как пройти туда.

Итак, Трофим шел по улице Ленина. Шел и думал о том, какие большие дома поднялись в старом городе, который он знал, в котором даже жилал и в котором он, наверно, будет жить. Пятьдесят семь тысяч долларов в акциях «Дженерал моторс» — это деньги, и закон не позволит Америке отнять их у него. А если дела у «Дженерал моторс» пошли лучше, то к этим пятидесяти семи тысячам и четыремстам двадцати трем долларам кое-что причитается еще в виде дивиденда... Нет, он не пропадет здесь. Не пропадет.

Остановившись перед гастрономическим магазином с большими окнами и нескончаемым потоком входящих и выходящих из него покупателей, Трофим стал думать о колхозном магазине, который он сможет открыть. Не сторожем же, в самом деле, при зерновом складе останется он! Это было все так, для красного словца. Для крайности проверки своего решения.

Весело думалось Трофиму. Одна машина — туда,

другая — сюда. Каждые два часа прибывают продукты из Бахрушей. Парное мясо, свежее молоко, овощи с грядки, сливки из холодильника. Хочешь — окорока, хочешь — грудинку...

Хорошо.

Ходит Трофим по колхозному магазину, покупателя слушает. Звонит по телефону в Бахруши: «Подкинь-ка ты мне, Петрован, сотни три с половиной уток да пяток бочек муромских огурцов». — «Будет исполнено», — отвечает Петрован. А сам радуется. Текут в колхоз денжки через магазин, и каждая копеечка славит Трофима.

Трофим разыскал здание областного Совета и, узнав, где ему найти председателя, поднялся на лифте на третий этаж и по светлому коридору прошел в приемную.

— Я из Америки, — отрекомендовался он секретарше. — Вот мой вид на проживание. Вот моя визитная карточка.

Секретарша скрылась за дверью председателя облисполкома. Не прошло и минуты, как дверь снова открылась и секретарша пригласила его в кабинет.

— Проходите, пожалуйста, господин Бахрушин Трофим Терентьевич, — сказал председатель. — Приятно познакомиться с американским братом выдающегося человека в нашей области и моего личного друга Петра Терентьевича. Садитесь, пожалуйста. Уж не с жалобой ли ко мне? Не обидел ли кто вас в Бахрушах?

Трофим, забыв узнать у секретарши имя председателя, теперь, не находя удобным спрашивать об этом, решил называть его господином председателем.

— Нет, господин председатель, совсем наоборот. Я позволил себе обеспокоить вашу честь по другому делу.

Сказав так, Трофим оглядел большой кабинет, письменный стол и другой стол со множеством стульев, затем боязливо посмотрел на ленинский портрет и сел на предложенное место.

— Слушаю вас, господин Бахрушин.

— Я, господин председатель, пришел заявить вам, что хочу остаться и умереть в Бахрушах.

— Вот как? И давно вы решили?

— Вчера ночью.

— И чем это вызвано, господин Бахрушин?

— Хочу порвать с капитализмом навсегда и бесповоротно. Я там один. Все там у меня чужие. А здесь мой внук Сережа, о котором я даже и не знал. Если мои акции «Дженерал моторс» мне не возвращут в Россию, и шут с ними! Проживу и без них. Кому и какое нужно написать прошение?

— Да ведь у вас, насколько мне известно, кончается срок пребывания. За три или четыре дня едва ли может быть рассмотрена ваша просьба.

— А я не тороплю, господин председатель. Подожду.

Председатель облизполкома на это мягко заметил:

— Но ведь по существующим и общепринятым правилам одна страна не может продлить срок пребывания приехавшему из другой страны без ее согласия.

— А я и не собираюсь спрашивать у них согласия. Я прошу вас объяснить, кому я должен подать прошение. Вам или господину первому министру.

Председатель ответил:

— Председателю Президиума Верховного Совета СССР.

— Черкните это все на бумажечке... А что касемо срока, пока ходит письмо туда и сюда, не беспокойтесь. Родной лес и без визы прячет. Отсижусь. Не впервой... Силком не выселят с родной земли...

— Вы, я вижу, решительный человек, Трофим Терентьевич... Но я хочу предупредить вас, ничуть не желая изменить ход ваших мыслей и намерений... Я хочу предупредить вас, — повторил председатель, — может случиться, что ваша просьба не будет удовлетворена...

— Это почему же не будет? Разве я остаюсь не от чистого сердца и не от всей души?

Председатель снова терпеливо и спокойно стал объяснять:

— Дела такого рода хотя на первый взгляд и очень ясны, но иногда встречаются непредвиденные обстоятельства. Я не говорю, что с вами именно так и случится, но я должен предупредить... В родном лесу можно прятаться месяц, два, три... Но потом приходит осень... Зима... Господин Бахрушин, мы взрослые люди.

— Спасибо вам, господин председатель. Я знаю теперь, что мне надо делать... Благодарствую... Думаю, что гражданин СССР Трофим Терентьевич Бахрушин еще будет иметь честь встретить вас если не в этом, так в том году...

— Погодите, — остановил председатель. — Вы же просили написать вам...

— Благодарствую. Я помню. Председателю Президиума Верховного Совета СССР... Благодарствую... Только если ваша милиция будет меня искать в дальнешутёмовских лесах, это зряшнее дело. Меня в годы моей юности кликали, да и теперь кое-кто кличет серым волком... Пусть это прозвище сослужит мне последнюю службу, пока я не добьюсь своего права доживать век на родной земле. А если я, господин председатель нашей губернии, не добьюсь его, то уж лечь-то в родную землю мне не надо спрашивать разрешения ни у кого. Даже у бога. Гуд бай, господин председатель. Пока!

XLVII

Солнце было еще высоко, когда Трофим вернулся на рейсовом автобусе. До села ему нужно было пройти меньше километра. Он решил направиться прямо к Дарье. С Тейнером ему встречаться не хотелось. Напишет бумагу в Верховный Совет, тогда и объявит.

Через него передаст последние слова и проклятие съевшей его жизнь и его ферму Эльзе. А что касается акций, то верный молоканин, у которого они лежат, продаст их, перешлет деньги. За это, может быть, Трофим вызволит его обратно в Россию вместе с его старухой и даст им кусок хлеба в Бахрушах или в городе.

Надо отсидеться пяток-десяток месяцев — и он будет здесь как рыба в воде. Еще и в правление выберут. Он знал не только по словам дочери Надежды, но и по другим разговорам, что Советская власть дает помилование даже уголовным, если они от души раскаялись и порвали с прошлым, доказав это трудовыми делами. А он докажет. И Дарья тогда сменит гнев на милость. Все образуется само собой.

Дарью он нашел на огороде и сразу же объявил ей:

— Был у губернатора. Подаю прошение в Верховный Совет. Помоги мне написать поглаже и от всей души. Помоги найти слова.

— Если ты хочешь написать в Верховный Совет от души, зачем тебе у других искать слова? Они сами родятся в твоей душе, — ответила Дарья. — Иди и продиктуй Петровановой машинистке Сашуне все, что

тебе хочется сказать нашей державе, у которой ты просишь прощения...

А Трофим:

— Оно так. Это все верно. Тебя не к чему в это дело впутывать. Да боюсь окоlesiцу наплести. Начну про Фому, кончу про Ерему. А надо суть. Всю-то ведь жизнь не продиктуешь на бумагу.

— Так ты и диктуй только суть.

— А в чем она, моя суть, Дарья?

— Если ты не знаешь в чем, так другим-то откуда знать?

— Опять верно сказано. Когда я убегал, так ни с кем не советовался. А как следы замечать, так метельщиков ищу... Нет уж! Сам уж я. Сам! У меня есть слова, которые не отскочат. Я, может быть, теперь могу даже себе голову отрубить. Не остынуть бы только, пока я до правления иду.

— И я об этом же думаю. Ты ведь как солома. Пых — и зола.

— На это не надейся. Словесно я остынуть боюсь, а не как-нибудь. Спасибо. Побегу, пока правление не заперли....

Трофим ушел.

Дарья старалась больше не думать о нем. Не думать потому, что она после прихода Тудоихи разговаривала с Петром Терентьевичем, и он сказал ей:

— Если тебе уж так хочется поверить ему, так хоть на людях-то в этом не признавайся, чтобы потом, когда он уедет, не краснеть перед народом.

Уверенность Петрована в отъезде Трофима была железной. Дарья не могла не считаться с этим. Но если Трофим был в облисполкоме и теперь готовит заявление в Верховный Совет, то как она может усомниться в этом.

Петрован всю жизнь был для Дарьи главным судьей. Во всем. Она ему доверяла, может быть, больше, чем своим глазам или ушам. Но ведь и он может ошибиться. Человек же...

Тут она поймала себя на том, что ей хочется, чтобы Трофим остался. И она спросила: зачем ей этого хочется? И, ответив на это, она успокоилась.

Решение Трофима остаться вовсе не льстило ей. А если и льстило, то в-пятых или десятых, а не во-первых. Ее по-прежнему ничего не связывает с ним. Пото-

му что, сколько бы лет он ни прожил здесь, все равно ему никогда не обелиться перед ней, если даже она его со временем простит.

Но прощенный не уравнивается с прощаемым. На солнце гляди, на земле живи, а рыла не задирай. Прошное засыпает, но не умирает. Прошное можно крепко-накрепко позабыть, но не для того, чтобы не вспомнить о нем, если ты его разбудишь каким-нибудь своим поступком.

— Здоровый — это здоровый. Вылечившийся — тоже здоровый человек, но леченый.

Теперь все стало на место в душе у Дарьи, и она снова принялась подрывать картофельные кусты, выискивая первые маленькие плоды для дорогих внучат.

Трофим тем временем, дождавшись, когда в правлении никого не будет, начал диктовать свое заявление, которое начиналось так:

«Осознав на склоне моих лет всю тяжесть разлуки с родиной, я, Трофим Терентьевич Бахрушин, проживающий в Соединенных Штатах Америки в штате Нью-Йорк, а ныне находящийся в родном селе Бахруши, решил в таковом остаться бесповоротно и пожизненно...»

Заявление было длинным и подробным. Трофим не забыл и не утаил даже того, что не имело особого значения. Он рассказал, как он прятался от красных в лесу, как он не верил в Советскую власть и как он дезертировал из колчаковской армии. Он подробно рассказал об Эльзе, на которую батрачил всю свою жизнь, и о пятидесяти семи тысячах долларов в акциях фирмы «Дженерал моторс», которые, если надобно, может пожертвовать в пользу Красного Креста или передать на строительство Нового Бахрушина.

Трофим рассказал, каким он увидел свое село и как узнал, что у него есть внуки Екатерина, Борис и Сергей, а также их мать, его единственная родная дочь Надежда Трофимовна.

Машинистка Саша мало что поправляла в его заявлении. Она даже не стала вычеркивать не подходящие для Верховного Совета слова, где он Христом-богом молил вернуть ему родную землю, и дедовское право видеть внуков своих, и посмертное право быть упокоенным в земле своей.

Саша, перечитывая потом Трофиму черновик заяв-

ления, оценила и то, что он ни в одной строке не сослался на Дарью Степановну, хотя и знал, что это ускорило бы, а может быть, и предрешило положительный исход его дела.

Было уже поздно, и Сашуня сказала, что она перепечатает заявление набело завтра утром. Встанет до света, и к восьми часам все будет исполнено на хорошей бумаге.

XLVIII

Трофиму не хотелось возвращаться в Дом приезжих. Тейнер может заставить повременить его, пока еще не послано письмо.

Зачем испытывать судьбу и встречаться с Тейнером! Ночь такая теплая и короткая. Можно провести ее на берегу Горамилки. Посидеть наедине с луной, полюбоваться серебристыми струйками речки. Прикорнуть на мягкой мураве... И после полуночи, когда Тейнер будет дрыхнуть, вернуться в Дом приезжих, чтобы рано утром отправиться к Саше, подписать прошение и самолично отнести письмо на почту.

И вот он на берегу. В его душе, если воспользоваться музыкальным образом Джона Тейнера, сейчас ликовала скрипка, звучание которой переливалось в унисон серебристым струйкам речки Горамилки. В Трофиме смолк разноголосый хаос труб, литавр и новейших американских инструментов, способных воспроизводить поражающие слух завывания.

Он снял свой клетчатый пиджак и, положив его под голову, развалился на зеленом бережке, думая о том, как начнется его новая жизнь...

Хорошо пела скрипка в его душе...

Здесь нам предоставляется возможность вместе с Дарьей Степановной поверить в искренность его намерений. Ее логика ничуть не противоречит здравому смыслу. Подобным образом завершались не только многие произведения сцены, кинематографии, литературы, но и подлинные истории, о которых мы читали в журналах и газетах.

Но нам также никто не запрещает согласиться с утверждениями Петра Терентьевича и Тейнера. Ведь Тейнер тоже довольно убедительно призывал нас разо-

браться в зверином сердце Трофима и посетивших его нежных чувствах.

А скрипка между тем внутри Трофима, захлебываясь, торжествовала где-то за «верхним си» и предрекала необыкновенно изящную развязку этой истории, способной в театре музыкальной комедии (если б она происходила там) вызвать слезы умиления у зрителя. И пары: Трофим и Дарья, Андрей и Катя, Петр Терентьевич и Елена Сергеевна, даже Тейнер с Тудоихой (в музыкальной комедии допустимо и это) могли бы, танцуя финальный танец, пропеть примиряющие всех куплеты и ждать благожелательных рецензий на спектакль.

Но, к сожалению, в романе действующие лица не всегда послушны, как хотелось бы. Они нередко совершают поступки в соответствии с тем, что было заложено в них. Иногда они, упираясь и конфликтуя с автором, мало сказать не следуют за его пером, но и водят им.

Именно так и произойдет в предстоящей, сорок девятой главе, на том же берегу удивительно милой речки Горамилки.

XLIX

Налюбовавшись вдоволь серебряными струйками речки Горамилки, посидев наедине с луной, Трофим Терентьевич принялся размышлять об акциях «Дженерал моторс».

Не поторопился ли он сгоряча, пообещав их Красному Кресту или на строительство Нового Бахрушина? Конечно, это благое дело было велением его сердца, но все же почти шестьдесят тысяч долларов, если считать проценты, хотя и не ах какой капитал, но и не маленькие деньги...

Трофим, мысленно переводя доллары в рубли, почувствовал легкий озноб. Может быть, этому ознобу способствовал потянувший с реки холодок. Но как бы там ни было, здесь эти денежки проглотят, как собака муху.

Ам! — и нет их. Растекутся они в колхозных миллионах и не узнаешь, куда и на что истрачены...

Потом он, надев пиджак, стал думать о ферме. Ферма, что там ни говори, для него каторга, и он каторжанин на ней. Это верно. Однако же столько лет...

И он так привык быть колесом... Ферма может лопнуть. Это тоже верно. Так рано или поздно обязательно случится. Но если он завтра подпишет письмо и пошлет в Верховный Совет, то ферма лопнет для него завтра же. Завтра же он должен будет отказаться от всего, чем жил и что составляло его жизнь все эти годы. Даже разведенные им голуби «кинги», и те не будут принадлежать ему. Но голуби — пустяк. Их можно развести и тут... А «бьюик»? Пусть он старше его собаки, но может бегать довольно быстро.

Нет, он не должен думать о каком-то старом «бьюике», которому место на свалке. Он не должен забивать себе голову пустяками, когда уже решено зачеркнуть все и начать жизнь снова. Там у него нет твердой земли под ногами. Там у него нет тихой старости. Через несколько лет его растопчут молодые и безжалостные люди так же, как когда-то он растоптал старика Айвана и Ро... Нет! Он не растаптывал Роберта. Это сделала Эльза... Но ради кого?

Трофим не хочет больше оглядываться назад. Ферма не сулит ничего хорошего. «А так ли это?» — вдруг довольно настойчиво спрашивает Трофим, лежавший до этого во прахе и признавший себя несостоятельным. Так ли это? Даст ли он растоптать себя? Настолько ли уж он стар и беден? И потом — почему только Тейнер должен получить деньги за его встречу с Петровым? Разве Трофим не главное лицо в этой встрече? Могло ли бы все это завертеться без него?

Уж не дурак ли он, размягченный родными местами и воспоминаниями о прошлом? Дарья-то ведь тоже прошлое. Уж не плотвичка ли его внук Сережа на крючке самолюбия Дарьи? Уж не глупая ли он сам, Трофим, щука, которую потом никто не пожалеет и не кинет обратно в реку?

Ради чего же бросать ферму, с которой еще можно стричь золотую шерсть и тайно превращать ее в акции на черный день? Зачем, в самом деле, отдавать Тейнеру все доходы за книгу о Бахрушах? Ведь Тейнер настрижет немало долларов в свой карман. Ведь чем-то из этого положено воспользоваться и Трофиму.

Поверженный и лежавший пластом фермер Трофим стал на четвереньки и принялся шептать другому Трофиму, стоящему сейчас, широко расставив ноги, на родном берегу:

«Ночь еще не минула, и нужно последний раз взвесить все. И если уж ты решил перебраться в Россию, так зачем же так скоропалительно? Разве нельзя вернуться сюда, побывав в Америке, получив все, что причитается? К тому же брат во Христе и по секте может оказаться подверженным человеческим слабостям и заграбастать акции. И нужно будет с ним судиться, а на суде выяснится, что ты обворовал ферму, которая принадлежит Эльзе и ее дочери. По букве закона это будет выглядеть только так».

Нет, нет... Еще не минула ночь и есть время, чтобы откровенно поговорить с самим собой. Эльза вот-вот умрет. Она не может не умереть. И, может быть, это произойдет без него, и он, приехав, сумеет повести себя так, что окажется невыносимым для Анни. И Анни, расставаясь с ним, обязана будет отдать ему треть. А это ого-го-го! сколько...

Да, да, да... Нужно пересмотреть еще раз все, хотя и без того ясно, что чаша весов перетягивает в пользу здравого смысла. А здравый смысл — это временное возвращение в Америку.

Но что сказать Дарье? Что сказать всем? Ведь он же объявил о своем желании... Рассказать так, как есть, так, как он думает, невозможно. Никого не убедят его доводы. У них же другие взгляды на жизнь!

«Но есть еще способ: не говорить ничего. И это самое лучшее...» — подсказал один Трофим другому Трофиму.

Они, почти слившись теперь вместе так плотно, что не всякий психолог смог бы отличить одного от другого, вернулись единым, хотя все еще двоящимся Трофимом в Дом приезжих.

В кинематографе это можно бы показать очень наглядно и операторски выразительно. Сначала идут крупным планом два Трофима, наплывая один на другого. Потом — постепенно сливаются... Но... что возможно в комбинированных съемках новейшего искусства кино, к сожалению, недоступно прозе.

Этот абзац, также не имеющий никакого отношения к нашему повествованию, приведен здесь исключительно для того, чтобы дать Трофиму возможность дойти до дому и несколько притормозить крутой поворот сюжета на развилке двух финальных дорог: ложной и действительной.

Тейнера не было дома. Он отдавал последний визит Стекольникову и засиделся у него за полночь. Пелагея Кузьминична спала. Ключ был под лестницей в условленном месте. Трофим вошел в свою комнату и зажег свет. На столе лежала телеграмма из Нью-Йорка, от Эльзы.

Из этой труднопонимаемой даже для знатока английского языка семейно зашифрованной телеграммы Трофиму стало ясно, что на ферме дела идут сверх ожидания хорошо. И что «первое» (в расшифровке — молоко), за что опасался Трофим, оказалось «тяжелее и веселее». Это обозначало увеличение надоя, жирности и цены. Далее говорилось об успехах «второго» и «третьего», то есть мяса и овощей. И, наконец, говорилось, что «дерево начинает приносить хорошие плоды». Это нужно было понимать так: муж Анни, Юджин, делает без него успехи в хозяйничанье на ферме.

Сообщение о «дереве, начавшем приносить хорошие плоды», затемнило все и решило исход раздумий, начавшихся на берегу Горамилки. Ведь он до последней минуты считал себя главным колесом фермы. А теперь, оказывается, ему есть замена. Вспышка ревности заставила Трофима действовать так быстро, что он и сам не ожидал от себя такой прыти.

Судорожно собрав самые необходимые вещи в небольшой чемодан, Трофим сел к столу и хотел было написать письмо, адресованное всем. Но в коридоре послышался шум.

Трофим решил, что это возвратился Тейнер, поэтому погасил свет.

Шум повторился. Трофим прислушался. Это, оказывается, молодой кот вздумал играть с половой щеткой. Трофим махнул рукой на письмо и, не включая электричества, вышел из комнаты. Тихо, чтобы не скрипнуть наскоро уложенными половицами, он прошел по коридору, спустился по лестнице и направился в сторону, противоположную от села.

Теперь он, уже не двоясь, убегал цельным старым зверем через молодой березняк. Воровато оглядываясь, Трофим поднялся на увал, чтобы, минуя село, выйти на шоссе.

Он напрасно оглядывался. Его никто и не собирался догонять. Тудоиха, спавшая чутким старушечьим сном, была первым свидетелем его побега. Но она даже и не

подумала будить телефонным звонком Петра Терентьевича.

Пелагея Кузьминична всегда считала излюбленные ею русские пословицы неопровержимыми. И одна из них сбывалась сейчас.

Все еще не теряя из глаз Трофима, она складывала новую строку своей были-небыли:

— ...и тихой лунной ночью он тайно покинул Бахруши, не вильнув даже хвостом на прощанье за хлеб-соль спящему селу...

L

С увала Трофим увидел белесую, освещенную луной ленту шоссе. Оно жило довольно напряженно и ночью. То и дело проходили грузовые машины.

Вскоре Трофим вышел на шоссе и, подняв руку, остановил большой МАЗ с дощатой надстройкой на кузове, доверху заполненном свежей капустой.

— До города, если можно,— сказал Трофим молодому водителю.— Отблагодарю.

— Пожалуйста! — пригласил водитель, открывая дверцу.— Вдвоем-то веселее будет.

Сев в машину, Трофим почувствовал облегчение. Только так, а не иначе, мог поступить он. Побег для него был самым лучшим исходом.

Водитель, доставлявший из Бахрушей капусту на колхозный рынок, узнал Трофима, когда тот стоял на обочине с поднятой рукой. Водителю показалось странным, что Трофим ночью «голосует» на шоссе в трех километрах от Бахрушей.

— Куда путь держите? — как бы между прочим, спросил водитель, притормаживая машину перед переездом через железную дорогу.

— В аэропорт,— ответил Трофим,— к утреннему самолету.

— Такси-то бы вам проще вызвать, а то вон какой крюк придется делать.

— Что сделаешь! Так уж случилось, молодой человек. Не собирался лететь, да одночасно собрался.

— Не поладили с кем или что?

— С самим собой не поладил, молодой человек. Вот и уехал ночью... Бежал, можно сказать.

— А как же теперь Сережа? — неожиданно спросил водитель.

— Какой Сережа? — Тут Трофим заглянул в лицо водителю и сказал: — Тем лучше, что вы из Бахрушей. Теперь и письмо не надо писать. Я, государь мой, не мог по-другому... Оказывается, я весь там и не уезжал оттуда. А здесь был кто-то другой в моей плоти. Вы чей будете, молодой человек?

— Меня зовут Алексей. Я двоюродный брат главного механика Андрея Логина.

— Это хорошо, что вы его двоюродный брат.

— А что же тут хорошего? Жених-то вашей внучки он, а не я, — пошутил водитель.

— А то хорошо, — сказал Трофим, — что я через вас могу передать часы с музыкой. Сережа любил их слушать. Я ему их раз по двадцать заводил. Передадите, Алексей... как вас по батюшке?

— Иванович. Передам. Отчего не передать, коли мальчик любит музыку. Только потом отцепите. Руки у меня на руле...

— И Дарье Степановне передайте, Алексей Иванович...

— А ей что передать?

— Даже не знаю. То, что видели. То, что слышали от меня. Сбег, мол... серый. По-волчьему сбег, и, как полагается, ночью.

В кабине воцарилось молчание. МАЗ шел быстро, на прямой передаче. Минуемые деревни, заводские поселки спали. Из города еще не начался встречный поток машин. В открытые окна кабины врывались сосновые запахи. Слегка свежело.

Где-то за лесом вспыхивали и гасли алые зарева доменных печей. Сливали шлак.

Луна смешливо поглядывала на Трофима, и он отвернулся от нее.

— А что передать Петру Терентьевичу? — спросил Алексей.

Трофим, раскуривая трубку, помедлил с ответом и наконец сказал:

— Ничего ему не надо передавать. Он меня знает лучше, чем я себя. А Тейнеру, который приехал со мной, скажите, что я его буду ждать в Москве в том же отеле. И если он захочет прихватить мои оставшиеся ~~пожитки~~, пускай прихватывает, а если нет, пускай ими

распорядится по своему усмотрению Пелагея Кузьминична Тудоева. Вот и все.

Машина въехала в пригород. Начались объезды строителей, огороженных временными заборами. Трясло. Наконец показалась первая стоянка такси.

— Я, пожалуй что, здесь сойду,— сказал Трофим и тронул Алексея за руку.

— Как угодно, Трофим Терентьевич,— ответил тот и затормозил машину.

Трофим стал рыться в бумажнике. Алексей, заметив это, предупредил:

— Не беспокойтесь, с гостей не берем.

— Тогда хоть вот это.— Трофим протянул зажигалку и, забыв отцепить часы, обещанные Сереже, сошел с подножки, а затем, сняв шляпу, пожелал: — Счастливо торговать!

— Счастливого пути! — послышалось из кабины тронувшейся машины, нагруженной капустой.

LI

К половине восьмого Сашуня закончила тщательную перепечатку на хорошей бумаге заявления Трофима.

Теперь старательная девушка перечитывала и подчищала резинкой написанное. Она торопилась, чтобы работу сделать в срок и удивить Трофима Терентьевича чистотой письма.

Сашуня накануне читала черновик этого заявления матери и бабушке. Та и другая остались довольны не только тем, что Трофим Терентьевич прозрел под конец жизни, но и слогом заявления, в котором пело каждое слово.

Радовалась и Саша. Ей впервые в жизни довелось писать бумагу в такую высокую инстанцию. Саше было очень приятно, что она сумела сохранить правые поля страницы такими же ровными, как и левые, и от этого страницы выглядели почти что книжными.

Пробило восемь часов. «Шесть часов по московскому времени», — объявил репродуктор. В комнатах правления уже началась жизнь. Петр Терентьевич, наверно, уже давно объезжает участки. День наступил, а заявление все еще лежит на столе, как будто до него теперь нет никому никакого дела.

Зачем же ее торопили? Зачем же она проснулась до восхода солнца и бежала по росе, не жалея своих новых синих замшевых туфель?

Ах, Сашуня, Сашуня, тебя очень оскорбит, когда ты узнаешь, что произошло этой ночью, но разве теперь до твоих семи аккуратно перепечатанных страниц! Послушай, что говорят в Бахрушах.

Алексей, отвозивший в город капусту, вернулся и рассказал о ночной встрече с Трофимом.

Бахрушин выслушал Алексея молча. Тудойха уже побывала на зорьке у Петра Терентьевича.

— Иначе и не могло быть, Алексей,— сказал он, попросив водителя «замахнуть его» к Дарье Степановне.

Она, и только она, беспокоила Петра Терентьевича. Он, и только он, первым должен рассказать ей о случившемся. Всякий вестник не только приносит весть, но и смотрит, какое впечатление она произвела на извещенного.

Дарья для Петрована не просто родня, но и знатный человек в колхозе. И без того все эти дни она была на языке у каждого.

Нужно внушить ей спокойствие и уверенность в неизбежности клятвоотступничества Трофима.

Рассказав Дарье о побеге, он повторил:

— Иначе и не могло быть, Дарья. И тебе незачем принимать все это близко к сердцу. Разве он имеет к тебе какое-то отношение!

— Имеет,— твердо сказала Дарья.— Я поверила ему.

Теперь она, не стесняясь Петра Терентьевича, дала волю слезам. Молча, не мигая, она смотрела в открытое окно, за которым так недавно стоял Трофим и протягивал Сергуньке свои большие трясущиеся руки.

Не притворялся же он... Иначе как бы она могла разрешить ему брать в свои волчьи лапы такого любимого ею и Петрованом внука!

Пусть она в своем отношении к нему ничем, кроме разрешения видаться с внуком, не уронила себя в глазах односельчан. И пусть Петровану не нужно оберегать ее в этом. Людям нечего сказать о ней худого. Но ведь себе-то самой Дарья Степановна должна сказать, что она не поверила ни Тудоевой, ни Петровану, ни Тейнеру и наперекор всем хотела видеть его лучше. Дарья не разглядела.

Но виновата ли она?

— Мне стыдно за себя, Петрован, но я не раскаиваюсь, что поверила ему. Все-таки хоть на сутки, всего на одни сутки да просыпался в нем человек и побеждала наша правда. Это хорошее знамение... Не для него, а для других. Для того же Тейнера... Ведь не все же, кого очеловечит наша жизнь, захотят вернуться в свою волчью или в какую-то другую — лисью там или трусливую заячью — шкуру. Я не раскаиваюсь, Петрован, хотя мне и стыдно.

— Ну вот и хорошо. И очень хорошо,— сказал Бахрушин.— Выреемся дома, а на людях слез не покажем. И не потому, что мы прячемся, а потому, что и у нас, кроме добрых глаз, есть и злые. Зачем их радовать? Ни к чему. Главное, что ты все поняла и лучше меня объяснила все это... За что-то же я и люблю тебя.

Поговорив и успокоившись, они отправились на виду у всего села, ведя за руки Сергуньку в гости к тете Ляле. Там он познакомится с другими внуками дедушки Петра. Внучата приедут сегодня на большом автобусе. Вот будет веселье! «Хорошо быть дедом,— думает Петр Терентьевич.— Честное слово, хорошо. Это как бы второе отцовство. Только более осмысленное. Увесистое. Громкое».

III

Джон Тейнер, узнав о событиях минувшей ночи, позвонил Дудорову и сказал:

— Имею честь доложить, Григорий Васильевич. Четверноего сегодня ночью приняло нормальное положение. Оно хотело подарить Сереже антикварные часы с музыкой, но забыло их отцепить при выходе из машины. Подробности можете узнать у Петра Терентьевича. Сожалею, что беглец не успел заплатить колхозу за гостиницу и рассчитаться за продукты с Пелагеей Кузьминичной. Но ничего. Это сделаю я.

Повесив трубку, Тейнер принялся звонить Стекольникову.

— Федор, алло, дорогой Федор! Держись за стул, на котором ты сидишь... Слушай последние известия...

Далее началась информация об исчезновении Трофима, выдержанная в манере газетной информации о происшествиях.

— Если сегодня ночью я тоже сбегу и прихвачу кое-что из ценного имущества отеля де Бахруши, это уже никого не удивит. Он скомпрометировал и меня. Теперь в Бахрушах никто не поручится, что я, вернувшись, не напишу антисоветскую книгу... Пожалуйста, пожалуйста, пусть все думают самое худшее обо мне... Я люблю делать сюрпризы. Извини, я иду фотографировать разбросанные вещи в комнате сбежавшего мистера и позволю тебе еще.

Знатный свинарь Пантелей Дорохов после появления большой статьи о нем в областной газете стал еще более уверен не только в правильности выращивания свиней своим методом, но и во всем остальном.

О побеге Трофима он своему сыну говорил так:

— Значит, передумали его засылать в глубокий тыл... Или его раскусили наши... Недаром же почтальонша Ариша сказывала о шифрованной телеграмме, которую он получил вчера ночью и тут же бежал.

Кирилл Андреевич после известия о побеге раздавил «маленькую» перцевой.

— Я теперь опять высвободился из-под ига капитализма,— радовался он,— и ни за что не отвечаю.

Бдительный, как и Дорохов, и осторожный в словах, главный агроном Сергей Сергеевич Сметанин оценивал побег как «не тает», заслуживающее пристального изучения.

Машинистка Сашуня, узнав, что ее работа пропала даром, хотела переслать напечатанное ею «куда следует», но потом ограничилась тем, что первый экземпляр отдала Петру Терентьевичу, второй — Дудорову, а третий — милиционеру, который квартировал в Бахрушах.

Борис, внук Дарьи, созвав сверстников, назначив тайный и секретный разговор в лопухах, рассказывал о том, как беглец тайными тропами сквозь джунгли пробирается на свою ферму.

Вскоре возникла игра. Сначала тянули жребий, кому быть фермером, а потом, закрыв глаза и считая до ста, давали фермеру убежать... Убежавшего искали и, найдя, снова тянули жребий.

А Сергунька все-таки ждал гренд па. Его не отвлекло веселье в бахрушинском доме, связанное с приездом новых маленьких знакомых. Настоящая живая белка, подаренная ему дедом Петей вместе с клеткой, где она

презабавно бегала в колесе, хотя и заставляла его весело смеяться, но время от времени Сережа поглядывал на Ленивый увал. Поглядывал и ждал: не покажется ли там гренд па?

Сережа, верящий всем бабушкиным сказкам, не мог поверить, что гренд па был волком, притворявшимся человеком, что он снова обернулся волком и убежал в свое заморское логово.

Если бы он был волком, то Сережа заметил бы когти, или зубы, или хотя бы злые глаза. А они были добрыми и хорошими глазами.

Нет, Сережа не мог поверить этому. Он ждал гренд па...

Детская острая память не хотела расставаться с тем хорошим, что врезал в нее Трофим. Почти настоящая доменная печь... Часы, в которых сидел маленький музыкант, наигрывавший на крохотных гусельках... Настоящая щука, которую мог поймать и мог пожалеть только он...

И вдруг теперь все его называют волком! Даже веселый дядя Джон, который приходил прощаться с бабушкой...

Бабушка добавила к белке четырех белых голубей, которых хотел подарить гренд па. А дядя Андрей сколотил очень хорошую голубятню. Это они сделали затем, чтобы Сережа не ждал больше гренд па. А он все равно будет ждать...

А дни шли. Дни шли, но он не приходил...

ЛIII

Настал день отъезда Тейнера. Перед Домом приезжих собрались колхозники. Стихийно возник маленький митинг.

Такого рода самодеятельность радовала Григория Васильевича Дудорова.

— Не организовано, а лучше и не придумаешь! — делился он своим впечатлением с Петром Терентьевичем.

Выступавшие Тудоиха, Андрей Логинов, зоотехник Володя, брат Андрея Логинова, Алексей, желали приятною гостю счастливой дороги и выражали уверенность, что их знакомство не будет омрачено.

«Шибко беспартийная» Пелагея Кузьминична не позабыла наказать Тейнеру в своей речи:

— Когда доведется тебе в Америке встретить гостей из наших мест, русского ли, татарина, украинца ли или всякого другого советского человека, не забудь, как я тебя тут ублажала, как блинчики да творожники тебе выпекала, как бельишко твое не стиральной машинкой, а своими старыми руками стирала... Я не о том говорю, чтобы и твоя Бетсинька нашим людям варила, парила, жарила. У них и своего прованту хватит, а к тому говорю, что ты за ними всех нас видишь — и меня, твою бабушку старую... Теперь подожди ко мне, вертопрах, дай я тебя при всех поделую в твою маковку. Стоит она этого, а почему стоит — сам знаешь.

И Тудояха поцеловала Тейнера в голову. И все хлопала ей так, что было слышно в селе.

Тейнер в ответ целовал руки Пелагее Кузьминичне, и от этого аплодисменты, как принято говорить, перешли в овацию.

Молодой коммунист Андрей Логинов приветствовал в лице Тейнера американский народ и борцов за мир. Он, между прочим, заканчивая речь, сказал:

— Наши колхозники, встречаясь с вами, будто заглядывали через ваши рассказы в ту Америку, которую нельзя не любить, особенно мне. Техника для меня не только моя профессия, но и сам я. Дорогой мистер Джон Тейнер, вы даже не представляете, каким борцом за мир и дружбу народов вы были здесь в ваших встречах с колхозниками. Нечего приукрашивать правду, многое в вас непонятно нашим людям, но ведь и вам, глубокоуважаемый Джон Тейнер, тоже кое-что непонятно в нас. Для лучшего понимания уклада нашей жизни разрешите преподнести вам книгу на английском языке «Происхождение семьи, частной собственности и государства», написанную Фридрихом Энгельсом, а приложением к ней позвольте вам подарить для вашего автомобиля сконструированную мною маленькую лебедку, на которой с одной стороны написано по-английски: «Мэйд ин Бахруши», а с другой стороны по-русски: «Сделано в Бахрушах». Гарантирую — из любой грязи вытащит.

Добрый хохотом ответили люди на речь главного механика. Смеялся и Тейнер, принимая подарки Логинова.

— Позвольте и мне... Позвольте и мне,— обратился к провожающим Тейнер.— Я имел в виду тоже сделать подарок. Но так как некоторые люди забывают отцеплять свои подарки до того, как они уедут, я отцеплю его сейчас.

Тейнер снял свою небольшую кинокамеру и подал ее Андрею.

— Наконец-то и я приступил к подрывной деятельности,— сказал Тейнер.— Я сейчас завербовал вас, дорогой Андрей, корреспондентом американского телевидения. После того, как вы устанете снимать одну особу, имя которой я не знаю, как и все присутствующие здесь, я прошу вас продолжить начатый мною фильм о строительстве на Ленивом увале. За лебедку спасибо. Я давно имел на нее зуб, как и вы на мой аппарат. Теперь мы ничего не имеем друг против друга.

Снова раздался смех.

— За книгу тоже спасибо. Хотя мне до этого разные лица подарили уже семь таких книг, но я возьму с собой и эту.

Тейнера сменили на крыльце Дома приезжих пионеры. Они протрубили в горн и стали читать в разбивку и вместе сочиненные, видимо, не без участия взрослых стихи.

Пусть эти стихи непригодны для печати, но в данном случае без них нельзя.

— Кто весельем заряжен?
— Мистер Тейнер! Мистер Джон!
— Кто в работе напряжен?
— Неустанный дядя Джон.
— Детворой кто окружен?
— Наш индеец смелый Джон!
— Кто стилига и пижон?
— Страшный модник мистер Джон!
— В луже кто снимал «кошон»?
— Кто-то... но не мистер Джон.
— Кто в лесу сказал обжоре:
«Много есть нехорошо»?
— Деликатный мистер Джо!
Рифмы все. Стих завершен.
Путь счастливый, мистер Джон,
Приезжайте к нам ужю,
Будем ждать вас в Бахрушо!
Хорошо?

— Нет, нет, ребята! — возразил сияющий Тейнер.— Есть еще рифмы. Есть, есть... Например: «свежо» —

«поражен»... Я тоже могу сочинять стихи. Да, да... Что вы на это скажете:

— Очень мило и свежо!
Я приятно поражен, —
Им ответил мистер Джон. —
Я вас тоже уважаю...

Оператор телевидения, как ему и положено, опоздал, но все же прощание с детьми было снято и записано на пленку.

Тейнеру это было, видимо, приятно, и он чуточку позировал.

Появление телевизионной аппаратуры лишило проводы некоторой доли непринужденности, и Елена Сергеевна Бахрушина сказала, наверно, меньше, чем она собиралась, но все же не так уж мало и не столь уж официально.

Она привезла ящик с продуктами в дорогу Тейнеру. В обращении к нему вместо «мистер Тейнер» она, оговорившись, сказала «товарищ Тейнер».

Несколько смутившись этим, сделав вынужденную паузу, она решила не исправлять оговорку, а подтвердить ее:

— Дорогой товарищ Джон Тейнер! В этом ящике и еда и питье. Припасенного мною вам хватит до Нью-Йорка, если даже вы будете угощать в дороге кого-то другого, кто многовато ест. Но я прошу вас, Джон, не угощать моими продуктами посторонних. В этом ящике нет ничего, что может испортиться в дороге. И мне будет очень приятно, если кое-что вы сумеете довести до дому и угостить вашу жену, Бетси, вашего отца, мистера Тома Тейнера, и вашу маму, миссис Джой Тейнер, и ваших детей — Джекоба, Китти и младшего, которого зовут дорогим для меня именем Питер. Для вашего маленького Пети тут лежит особый кулечек, на котором нарисован петушок. До свидания, веселый человек Джон Тейнер. Не позабудьте оставить адрес. Я надеюсь, что у Петра Терентьевича еще будет возможность поехать в Америку. И если это случится, то уж я не отстану от него, потому что в Америке теперь у меня много знакомых и есть где остановиться. Так что этот ящик обойдется вам недешево...

Тейнер поклонился, потом поцеловал руку Елене Сергеевне.

А она, такая наряженная, надушенная, в розовой шали, накинутой на плечи, так живописно теперь подчеркивающей ее зардевшиеся щеки, была довольна собой и сказанным ею.

Бахрушин, стоявший поодаль в толпе провожающих, нескрываясь любовался женой. Ему было приятно сегодня все: и речи, и шутки, и даже рискованное кружевное платье жены, и еще более рискованные высокие, тоненькие каблочки ее туфель.

Теперь это кстати: она выражала свое уважение отъезжающему не только словами, но и своим нарядным платьем, надетым в честь его проводов. А проводы проходили самым лучшим образом. Да и как могло быть иначе, если все от души и без всякой натяжки!

Водитель Алексей Логинов, брат главного механика, и тот к месту сказал, подавая автобус:

— Мне, мистер Тейнер, повезло. Я отвожу в аэропорт второго нашего гостя из Америки. Отвожу и надеюсь, что вы не будете мне предлагать чаевых, совать зажигалки и не позабудете проститься со мной за руку.

Тейнер тут же нашелся:

— Я? Зажигалки? Да что я, сумасшедший? Другое дело, очки...

Алексей и мигнуть не успел, как на его носу оказались тейнеровские очки с затемненными стеклами.

— Это я не сую, а надеваю на ваш нос профессиональную принадлежность. Она позволит вашим глазам не только не уставать, но и различать гостей не по одной лишь нумерации: первый, второй,—но и по тому, как они уезжают.

— Спасибо. Я это знаю и понимаю, мистер Тейнер. Поэтому и подал не фургон с капустой, а настоящую карету на сорок два места.

На приглашение водителя Алексея Логинова откликнулось слишком много желающих проводить Тейнера в аэропорт. Именно этого и боялся теперь Бахрушин. Но обошлось все благополучно.

От ребят поехали только двое выбранных «индейцев». Тудохна нашла, что он уже «провоженный ею» здесь. К ней присоединилась и Елена Сергеевна. Поехали главным образом мужчины.

Автобус, недавно купленный Петром Терентьевичем для субботних и воскресных поездок колхозников в театр, в цирк, сослужил еще одну хорошую службу.

В аэропорту Стекольников уже ожидал прихода автобуса.

Он приехал сюда с председателем райисполкома и редактором районной газеты, показывая этим, что Тейнер для них не просто турист.

Обменявшись любезностями и выражениями надежды на потепление отношений между США и СССР, сказав, точнее, сформулировав все необходимое для официальных лиц, какими были и председатель райисполкома и редактор газеты, они пожелали Тейнеру счастливой дороги, успехов его книге и подчеркнули, что побег его злополучного спутника ни в какой степени не омрачает приятного впечатления, которое оставляет о себе прогрессивный представитель американской печати.

Редактор газеты спросил:

— Не угодно ли мистеру Тейнеру сделать заявление, которое будет опубликовано в газете?

Тейнер поблагодарил за честь, оказываемую ему, продиктовал появившемуся для этой цели сотруднику газеты благодарность за прием, за предоставленные ему широкие возможности знакомиться с жизнью советской деревни и, наконец, за проводы и надежды, которые он пока еще не оправдал.

Вскоре объявили посадку на самолет. А через несколько минут большая стальная птица поднялась в синеву, и на душе у Петра Терентьевича стало немножко грустно.

Месяц тому назад он ожидал Тейнера с опаской, а теперь, столкнувшись с ним и попривыкнув к нему, он сожалел, что месяц пролетел так быстро. Так быстро, что он не успел сказать Тейнеру и десятой доли из того, что следовало бы.

Впрочем, кто может знать, как воспользуется Тейнер тем, что увидел и узнал в Бахрушах?

Все же нужно надеяться на лучшее. Надеяться, но... не обольщаться.

В жизни случается всякое...

LIV

С дороги, а потом из Нью-Йорка пришли в Бахруши веселые телеграммы о благополучном прибытии Тейнера и благодарности от всей его семьи за вкусные подарки.

О Трофиме — ни слова, ни намека.

Один он летел в Америку или вместе с Тейнером — неизвестно. Впрочем, не все ли равно? Тейнер напишет об этом в письме.

Но письмо от Тейнера не приходило.

Время шло, а почтальонша Ариша неизменно сообщала:

— Из Америки ничего.

Щедрая осень уже подводила предварительную черту итогов года.

Бахрушин по вечерам, запираясь с бухгалтером, подсчитывал предстоящие затраты по переселению на Ленивый увал.

Днем и ночью на Ленивом увале шла стройка. Работали пришлые и свои. Все, начиная с главного агронома Сметанина и секретаря парткома Дудорова, хоть по два часа да трудились на увале.

Дом приезжих стал конторой строительства. Как будто и не жили в нем гости из Америки. Только тесовый туалет с архитектурными излишествами в виде вырезанных петушков и деревянного кружева давал повод бахрушинским острякам для соленых шуток о том, что на родной земле Трофим все же оставил кое-что, являющееся самой короткой характеристикой его личности.

А Тейнер продолжал хорошо звучать в Бахрушах. И не только фотографическими снимками, раздаренными в колхозе, не только памятными встречами, но и своим именем. «Тейнером» почему-то называли теперь большой прицеп. Прозвище «Тейнер» получил пришлый проворный каменщик-весельчак. «Тейнером» называли и киносъемочную камеру, которую он подарил Андрею Логинову.

Приезд американских гостей, казавшийся еще недавно событием, стал теперь маленьким эпизодом в жизни колхоза.

Строительство поглотило все.

Строительство живо касалось всех и каждого. Строились и перестраивались заново перевозимые на увал жилища людей.

Не обошлось и без драм. Бахрушинцы хотя и переезжали всего лишь на другой берег Горамилки, но покидали с грустью привычные дворы, где жили многие годы их отцы и матери, деды и бабки. Каждый куст, камень; колодец на дворе вдруг становился дорог.

Мало ли что в Новом Бахрушине будут на улицах водоразборные колонки, а по желанию можно провести за свой счет воду в дом; люди привыкли ко вкусу воды из своего колодца. Ломка русской печи — большое событие. Дедушка спал на ней. Мальчиком или девочкой играли они на печке в студеные дни. А теперь кирпичи да мусор.

В городе с легкой душой меняются обжитые старые квартиры на новые, а в деревне возникает масса причин, заставляющих не только вздыхать, а иногда и выть на всю улицу, оплакивая старую, съеденную зеленым мхом, лишайником тесовую крышу.

До Тейнера ли теперь, тем паче до Трофима ли в Бахрушах.

Петр Терентьевич тоже, может быть, не вспоминал бы о Трофиме, но его беспокоило, что тот сбежал, не только не простившись, но даже не написав благодарственного письма хотя бы для проформы. И если он не сделал этого, то не увез ли он камень за пазухой. Злой силе ничего не стоит подбить Трофима на подлое дело. И он, продажная душа, выщет самое худое в Бахрушах. Хоть бы тот же, ныне снесенный, старый коровник с лозунгом «Перегоним Америку». Или босого Тудоева, вздумавшего косить перед аппаратом... Вот тебе и наглядные картины колхозного строительства первого года семилетки! Ничем ведь не брезгают прислужники «холодной войны».

LV

Когда первый ранний снежок, падая на талую землю, пугал зимой, забеливая поля, лес и крыши, пришло письмо из Америки. Его принесла Ариша и без обиняков сказала:

— Волк подал голос...

Это письмо, как и первое, было напечатано на пишущей машинке. Но на другой, хотя также по всем правилам и без ошибок.

Вот оно:

«Октября 31 дня 1959 года.

Город Нью-Йорк.

Когда ты, проклявший меня брат, и ты, дважды обманутая мною первая и последняя жена Дарья Степа-

новна, получите это письмо, меня уже, наверно, здесь не будет.

Ты добился своего. Теперь в моей душе пусто, как в старом погребе. Я расстался с чертовой мельницей, где черти проигрывают друг друга в карты, но я не вышел из игры стриженным дураком и рассчитался со всеми сполна и в полную силу. И, само собой, с Тейнером.

Тейнер не хотел мне отдать половину того, что он должен был получить за меня и за мою встречу с тобой.

Но я не из тех котят-подслепышей, которых можно обсчитать хотя бы на один цент. Я заявил шефу компании о своем отказе признавать правдой тейнеровское «аллилуйя» колхозу имени Коммунистического труда, которому Тейнер, может, и не сознавая того, присягнул на воскресной гулянке в дальнешутёмском лесу под влиянием водки и своего друга по реке Эльбе коммуниста Стекольников Ф. П.

Пожалевший половину своих доходов Тейнер потерял все. С него стали взыскивать задатки, которые он нахватал перед поездкой в Россию, и предложили книжку о Бахрушах написать мне. А так как я книг никогда не писал, то ее написал другой человек с моих слов.

Не скажу, что эта книжка придется по душе тебе, или Дудорову, или господину Стекольникову. И не скажу, что в ней нет перехлесту против правды. Я не вникал в это, я даже не перечитывал полностью того, что они написали. Не все ли равно? Не я, так другой перехлестнет. Но если перехлестнет другой, так он и получит за это деньги. Так лучше уж я. Коли уж волк, так и выть мне по-волчьи, да я и не мог отказаться от денег, которые положили передо мной сразу же, как я подписал каждую страницу книги под названием «Как они перегоняют Америку». Деньги мне были нужны, чтобы рассчитаться со всеми, кто обидел меня. На эти деньги я купил у Эльзы ферму. Я сказал ей, что хочу умереть хозяином фермы, которая так и так достанется Анни. И Эльза поверила мне. А через неделю я продал ферму молодому живоглоту. И у Эльзы нет теперь фермы, нет тополей и нет даже спальни. И нет меня, главного колеса. Ничего нет. Только деньги. Я рассчитался ими с лихвой за все ее милости ко мне и за то, что она выпила

мою жизнь. Ей, как и Тейнеру, теперь будет над чем подумать.

Я еще не знаю, где мне осесть. Пока живу по отелям. Может, подамся в Швецию, где, говорят, горы схожи с Уральскими. А может, поселюсь в Англии. На прожитые у меня теперь есть, и еще останется, чем моему внуку Сергею помнить своего деда, серого волка. Ему я послал видимо-невидимо игрушек и забав. Не захотите отдать — ваше дело. Только зачем ребенка лишать радости? Можете не говорить, что это все от меня. Дед Мороз, в конце концов, мог все это принести ему. А игрушки ценные. На двести тридцать шесть долларов. И часы там же.

Вот и все.

Считайте меня — кем вам лучше считать. Теперь мне все равно. Потому что я умер для вас теперь окончательно и бесповоротно.

К сему *Трофим Т. Бахрушин*.

Прочитав письмо, Петр Терентьевич позвал Сашуню и велел ей до буквы, до точки снять точную копию и передать ее потом ему вместе с письмом.

Когда Бахрушин читал письмо Трофима, ему казалось, что оно снова выбьет его из колеи жизни. Этого не случилось. Он всего лишь спросил себя: «А чего еще можно было ожидать от него, бесстыдно кичащегося своей собственной грязью? Чего? Но как сопоставить это письмо с письмом в Верховный Совет? Пусть оно не подписано, но ведь диктовал-то его один и тот же человек...»

Это не умещалось в сознании Петра Терентьевича. Это было подлее всех подлостей, какие он мог себе представить.

LVI

Как хорошо бы сейчас побывать в Америке и своими глазами увидеть то, что так необходимо для завершения романа! Разыскать Эльзу, поговорить с ней. Узнать, что думает она о Трофиме. Интересно знать, как вел себя Юджин, зять Трофима по его падчерице Анни. Не остался же он чурбан чурбаном, когда старый волк лишил их фермы. Это все никак не обеднило бы

последних глав. Но кто чем располагает, тем он и располагает.

Будем ждать вместе с Петром Терентьевичем и Стекольниковым письма от Тейнера. А они его ждут.

— Но хоть что-то он мог написать! — говорил Федор Петрович Бахрушину. — Не оказался же он, как и этот...

— Ни при каких обстоятельствах, — перебил его Петр Терентьевич. — За это я ручаюсь головой.

Бахрушин не ошибся и на этот раз. От Тейнера пришло письмо. С первых же строк письма Тейнер предстал как живой. Письмо будто говорило его голосом:

«Алло, Федор! Алло, дорогой Федор Петрович, товарищ Стекольников! Не держись за стул и выполощи рот от всех нехороших слов по моему адресу, которые у тебя навязли в зубах.

Дорогой Федор! Я не могу портить людям настроение моими письмами. Пусть это делают другие. Я всегда хочу нравиться.

Это мой пережиток, от которого я не буду избавляться.

Что я тебе мог написать, когда некто притворявшийся набожным молоканином оказался змеей, рядом с которой кобра выглядит безвинной гусеницей. Он разрушил все мои планы и лишил меня всех контрактов. Он украл то, ради чего я возил его за океан. Он сумел так уронить мою репутацию, что тюрьма мне показалась самым лучшим вариантом, я мог предвидеть и то, что в результате его клеветы меня объявят врагом своей страны.

За контрактами, которые были расторгнуты, не замедлили их последствия — взыскание полученных денег. Отдав все, что было сбережено на тот день, который в России называется «черным», наша семья уже готовилась переезжать из дома с видом на Гудзон на чужом автомобиле, потому что мой «форд» ушел оплачивать долги.

Но!.. Федор, я говорю: но!..

Федор, я не могу сделать так, чтобы у тебя со следующей строки было хорошее настроение. Ты должен, хотя бы из солидарности, хотя бы в течение одной минуты пережить хоть немного из того, что я переживал так долго. Кажется, сто лет. Потому что минута была длиннее недели, а неделя тянулась дольше года.

Но, повторяю я, изменилась погода. Погода измени-

лась так круто, что никакой сверхдипломатический синоптик или академик политического погодоведения не мог предсказать даже накануне такого резкого скачка барометра.

Жизнь так сложна, что на потепление или на похолодание влияет многое. И урожай и новшество в ракетной технике. Военная опасность. Назначение нового посла, уход — старого. Приезд делегации. Успех гастрوليрующего театра. И сто, тысяча неперечисленных вещей...

Теперь ты читай медленно... Очень медленно, иначе ты что-нибудь пропустишь мимо глаз.

Вечером, когда я думал, что можно продать еще на уплату долгов, на экране телевизора появился русский крестьянин Кирилл Тудоев, который, как сообщил диктор, в угоду американским вкусам и представлениям о России любезно согласился косить траву старинным способом и босиком, позируя известному журналисту и знатоку русского языка Джону Тейнеру, недавно побывавшему в России и вернувшемуся с книгой «Две стороны одной и той же планеты», которая представит несомненный интерес для всех желающих объективно взглянуть другую сторону земного шара.

— Бетси! — крикнул я тогда жене. — Перестань укладывать вещи и просуши свои глаза в лучах телевизора. Там, кажется, торжествует правда твоего мужа.

И Бетси прибежала. Отец уже был тут и наливал кое-что в мой стакан.

На экране в это время заслонили Кирилла Андреевича большие тракторные косилки и «ведренная и ветренная погода», высокие стога «звонкого и гонкого» сена, и слышалась песня девушек, которую я записал карманным магнитофоном.

А потом пошло все, как я смонтировал. Дарья Степановна и ее коровы. И Золотая Звезда Дарьи Степановны — награда за новую породу коров — во весь экран. И никто не вырезал эту звезду.

Федор, ты слышишь, ее не вырезали из фильма. Я тогда сказал:

— Папа, необходима еще бутылка, потом я тебе объясню зачем.

Отец принес две. Он чем-то напоминает своего сына Джона.

Потом, также во весь экран, шли Катя и Сережа.

Лицо Кати родилось на экране из лица Дарьи Степановны. Оно как бы просто помолодело.

Это была тоже цветная пленка. Теперь Катя может сниматься в Голливуде, а Пелагея Кузьминична стать самой знаменитой манекенщицей Нью-Йорка. Я показал ее в десяти русских костюмах, начиная с тех, что из прошлого века.

Миллионы людей увидели закладку нового села Бахрушина. Оно, как и Катя, появилось сквозь... (извини, не могу найти слово). Пусть будет сквозь лицо своей бабушки — старой деревни.

Потом из высокого овса выползали маленькие индейцы. Потом они стали скрипачами. Их скрипки звучали на всю Америку. Потом они оказались голубятниками. С крыши большой, объединенной голубятни взлетели белые голуби. Они так кстати смонтировались в моем фильме! Эта первая передача заканчивалась пашущим трактором без тракториста на Большой Чище и моим заключительным словом, которое я еще летом наговорил на пленку.

Федор, милый Федор, не хочется ли тебе чокнуться со мной? Но, чокаясь, помни, что показ моих телевизионных фильмов может быть всего лишь уступкой общественному мнению, трюком «холодной войны», притворившейся потеплением.

Но чем бы это ни было, это было. Значит, обстоятельства таковы, что наша пропаганда вынуждена делать реверансы в сторону правды.

Теперь дальше. Дальше все пошло наоборот.

Компания предложила возобновить контракт. Но разве только она одна теперь могла издать мою книгу «Две стороны одной и той же планеты»? И я почувствовал, что иногда могу становиться на четыре конечности и показывать зубы.

Нет, нет, Федор, я не спекулятивный стяжатель, хотя объективно я и есть таковой. Потому что могу жить и бороться только по правилам борьбы, которые считаются здесь нормой поведения человека.

Не думай, что мой бог — деньги, хотя я теперь и молюсь на них, потому что они, как никогда, нужны. Потому что я теперь могу без посредничества компании издать еще одну книгу «Мечты и цифры», которую я обещал Петру Терентьевичу.

Я попросил компанию до наступления вечера покрыть

все убытки по убыстренной продаже некоторого моего имущества, к чему мне пришлось прибегнуть не по моей вине. Затем я, не подымаясь с четырех конечностей на две, попросил удвоить все положенное по контракту и также до наступления темноты полученную сумму вручить мне чеком или наличными.

И только после того, как эта операция была произведена, у меня появились основания написать тебе письмо. Но я не сделал этого, потому что рукопись еще не стала тогда книгой. И могла не стать ею в стране, где так все континентально. Вкусы. Моды. Умонастроения. Внешняя и внутренняя политика. Где даже делающий политику, просыпаясь утром, не знает, какой ветер будет господствующим к полудню. Повеет ли умиротворяющий бриз или подует ледящий ураган. Но книга вышла и ушла в продажу. Теперь ее уже не выдуешь из рук читателей никаким ветром. Она живет и говорит, а я занимаюсь тем, что между английских строк вписываю в нее русские строки, чтобы ты мог убедиться, что мы не зря встретились после Эльбы на берегах Горамилки.

Я знаю, ты многое пожелал бы дополнить в этой книге. Но ты ничего не найдешь в ней такого, что тебе захотелось бы исключить.

Наш разговор о темпах созревания не прошел мимо. Ты, может быть, и забыл его. Но твои слова звучат в моих ушах.

Это было на поляне в лесу в воскресенье, когда молканин (я не хочу его называть уважаемой фамилией) съел всю черную икру столовой ложкой.

Кажется... Впрочем, я это скажу при встрече. Весной я получу возможность лично выслушать твои замечания о моей книге. Я буду снова в России.

Русский поклон с американским реверансом твоей молчаливой и прелестной жене, твоим детям — от меня и от всех Тейнеров. Мои лучшие пожелания Петру Терентьевичу (он тоже мой педагог), Дарье Степановне, Кате, Дудорову, Сметанину, досточтимому Кириллу Андреевичу и его прославленной в Америке миссис «Тудоихе». Андрею Логинову — тоже... И всем, всем, кого я полюбил и кто немножечко, наверно, все еще посмеивается надо мной. Каждый жнет то, что сеет.

Твой болтливый
Джон.

Ноябрь 59

*Кэмп-Бетси с видом на Гудзон
и с твоим портретом на восточной стене
моей рабочей комнаты».*

В конце письма была небольшая приписка:

«Р. С. Тебя, наверно, удивляет, что здесь ничего не сказано о волке. Я не хотел быть с ним на одних и тех же страницах.

Читай следующие листы. Потом пусть прочтут их все. Это уже не письмо, а нечто напоминающее эпилог, который, может быть, будет полезен Пелагее Кузьминичне Тудоевой».

LVII

«Будучи верным себе американским журналистом, я считаю, что и письма должны иметь свой сюжет, если они хотят читаться с интересом. Это письмо, написанное для всех моих бахрушинских друзей, наверно, будет оценено в этом смысле.

Итак...

В хронике самоубийств одной из вечерних газет Нью-Йорка (вырезку прилагаю) мелким шрифтом сообщали о том, что полисмен Генри Фишмен, дежуривший ночью на Бруклинском мосту, был свидетелем прыжка в воду неизвестного.

Самоубийца сбросил с себя перед прыжком пиджак. Подоспевший Генри Фишмен обнаружил в карманах пиджака документы и никому не адресованное письмо. В письме всего одна строка: «Да будет всевышний моим судьей». В документах значилось: «Трофим Т. Бахрушин. Фермер».

Далее газеты не интересовались уходом мистера волка из жизни.

Но если бы все это описывал репортер из газеты, состоявший на службе у «холодной войны», он бы объяснил смерть фермера как печальный результат его поездки в Советский Союз, где почтенный мистер, будучи отравлен коммунистической пропагандой, потерял рулевое управление и, сбившись с правильного курса, дал «лево руля» с Бруклинского моста.

Затем следовал бы вывод о том, как опасно здорово-

мыслящим, каким и был вышепоименованный мистер во все годы его жизни, ездить в СССР и соприкасаться с губительными свойствами коммунистических идей, завораживающих не очень устойчивых джентльменов.

И этому кто-то поверил бы.

Но если взять интервью у набожной Эльзы, она бы сказала, что провидение покарало его сразу после того, как она попросила об этом в своих жарких молитвах бога.

Эльза, сделав рот трубочкой, обманывая неизвестно кого, себя или своего бога, сказала мне, что в конце концов покойный ее муж Роберт, может быть, ушел в иной мир не без помощи Трофима. И что это только теперь ей приходит в голову, после того как она узнала, каков в действительности Трофим.

Старая костлявая гиена готовилась к встрече с Робертом в потустороннем мире. Разговаривая со мной, она, видимо, репетировала объяснение с супругом, чтобы снять с себя обвинения в отравлении старика рыбой.

Потом я встретился с Юджином, мужем дочери Эльзы. Его фигура, с засунутыми в карманы руками, напоминала мне русскую букву «Ф», начальную букву слова «фат», являющегося его настоящим именем.

Тупорылый, как говорят в Бахрушах, напоминающий в профиль зайца без ушей, он мне объяснил причины прыжка с моста тем, что старый мистер боялся Юджина.

— Он меня боялся всегда. Он боялся, что я его подчиню себе на ферме. Он боялся моего острого ума и умения вести дело на ферме новейшими способами. Потом, когда он, обманув нас, купил и продал ферму, стал бояться, что я его укоюшу. Я бы пропустил его через бабыны молотилки или медленно перерезал бы его глотку тупым столовым ножом.

Юджин пугал. Он хотел выглядеть чудовищно страшным крокодилом, но выглядел тощим шакалом, доедающим оставленное волками.

Но Анни, его жена и дочь Эльзы, уже вполне сложившаяся пантера, сказала:

— Я очень сожалею, что в его табаке вовремя не оказалось порошка, превращающегося при курении в смертельные газы. Тогда бы ничего не случилось с нами. Нужно вовремя избавляться от тех, кто мешает жить и радоваться жизни другим.

Ее мышление, как можно заметить, отчетливо окрашено коричневыми пятнами фашизма. Она опередила свою мать в утонченности способов отравления зажившихся вожжаков своей стаи.

Методично знакомясь с каждым из бывшего логова мистера волка, я поговорил и с братом его по секте, у которого хранились акции фирмы «Дженерал моторс».

Он, лишившись работы у нового хозяина фермы и обозленный за это на Трофима, объявил его вором, утаившим прибыли фермы и превращавшим их в акции вышепоименованной уважаемой автомобильной фирмы.

— Это я,— говорил брат по секте,— я пресек его грешную жизнь. Он боялся суда и огласки. Если бы он не боялся этого, зачем бы ему понадобилось задабривать меня двумя тысячами долларов? Он слишком дешево хотел откупиться. Я взял эти доллары как оплату за потерянное место и сообщил Юджину и Эльзе, как Трофим обворовывал их. Мне нечего было терять, если я потерял кров и работу.

Этому молоканствующему мистеру не скоро подберешь образ из области зоологии. Наверно, его следует отнести к тем пресмыкающимся, которые жалят, когда их тронут.

Очень интересно и красноречиво о прыжке с моста рассказывал мне шеф компании, потерпевший убытки на книге, подписанной Трофимом и пущенной потом под нож. Шефа компании никто бы не осмелился назвать волком. Он скорее напоминал тигра полосатостью своих утверждений и поступков. «Да» и «нет». Смена точек зрения. Черное и белое... Словом, все противоположное сочетается в его облике хищника так же естественно, как защитные полосы в шкуре тигра. Тигром его следует назвать и по грациозности прыжков, и по умению прятать в подушечки своих лап когти, а при случае вонзать их в жертву.

Разве не он вонзил их в меня, находясь в темной полосе? Разве не он был главным автором клеветы, чуть было не появившейся в свет в виде книги «Как они перегоняют Америку», каждая страница которой, как судебный протокол, была подписана Трофимом? А теперь, когда тигру стало необходимым акцентировать на светлых полосах своей шкуры, он вонзил когти в Трофима,

объявив, что самоубийца чуть было не ввел в заблуждение компанию.

Тигр, заигрывая со мной и называя мою книгу «Две стороны одной и той же планеты» предельно объективной книгой, вовсе не стремился к объективности. Объективное описание жизни в Советской России оказалось в это время товаром, имеющим спрос.

Но я ни на минуту не верю, что тигр перестал быть кровожадным. Ему нужен был тактический промежуток умиротворения для нового прыжка.

И моя заслуга состоит в том, что я сумел воспользоваться этим промежуток и выпустить мою книгу в свет.

Может наступить такое время, такая полоса жизни, что я снова окажусь «клеветником», а мистер волк — героем, сложившим голову за свободный мир со свободой частного предпринимательства.

Теперь же шеф компании во всем видит происки волка. Он мне сказал так:

— Наш юрист вырыл для него достаточно глубокую яму, и он был обречен вернуть за подлог не только все полученное от компании, но и добавить к этому акции «Дженерал моторс» или пожертвовать свободой передвижения по штатам.

Таким образом, Иуда не только лишился тридцати сребренников, но еще должен был покрыть типографские расходы по изданию не им одним сочиненной лжи.

Этому тоже можно было поверить. Волк был бы заточен в клетку. И суд не был бы на его стороне.

Я бы мог привести еще многие показания других лиц, чтобы кличку «серый волк» наиболее справедливо поделить между большим числом названных и не названных здесь мною. Может быть, толкуя образ серого волка расширительно, следует увидеть нечто большее, составляющее уклад жизни некоторых стран... Но я не склонен к большим обобщениям. Все же если кому-то интересно мое мнение о прыжке волка с Бруклинского моста, то я бы сказал, что он не прыгал с него. Я бы сказал не только потому, что мой ограниченный здравый смысл не может допустить столь смелого прыжка. Сорок метров над уровнем моря мне показались слишком высоким прыжком для этой низменной натуры... Я бы сказал так и не только потому, что мне известна и его первая симуляция гибели под городом Омском. Я бы ска-

зал так потому, что мне показалась подозрительной его тщательная забота о вещественных доказательствах, констатирующих смерть. Зачем ему нужно было сбрасывать пиджак с документами и письмом, которое он, ни к кому не обращаясь, явно адресовал своим кредиторам?

В ограниченных извилинах моего мозга зародилась примитивная мысль о долларах, вырученных за перепродажу фермы, и об акциях «Дженерал моторс», которые он не пожелал завещать кому-то из остающихся на этом свете, хотя бы во имя спасения его души.

Куда же делись деньги? Не захватил же он с собой и акции и доллары, чтобы вручить их святому Петру в качестве пропуска в рай? Он не мог быть уверен, во-первых, что обладатель ключей от врат в царствие небесное берет взятки, а во-вторых — что американские доллары и акции «Дженерал моторс» котируются и на небесах.

Рассуждая так, я решил познакомиться с полисменом Генри Фишменом. Ведь он был единственным очевидцем прыжка с моста, давшим показания репортеру вечерней газеты.

Знакомство с ним не составило труда. Я нашел Генри Фишмена на мосту. Приняв позу колеблющегося самоубийцы, я обратил на себя его внимание. Мы разговорились. И я рассказал ему, что мне хочется уйти из жизни, не уходя из нее.

Простоватый Генри сообщил мне:

— О! Это уже второй случай за последнюю неделю...

С меня было довольно такой реплики. Но я хотел большего. После того, как Генри сменил его напарник, мы отправились поболтать в обществе виски и зажаренного с яйцами бекона. И когда Генри узнал, что я, кроме всего прочего, покупаю острые сюжеты, то прежде осведомился о расценках, а затем, повеселев от виски и обещанного гонорара, рассказал мне, как некогда некий его коллега на некоем мосту получил от старого джентльмена три тысячи долларов за свидетельство о прыжке с моста. Прыгавший с моста уплатил пятьсот долларов до своего «самоубийства» и остальные две с половиною тысячи — после появления сообщения в печати о его «кончине». За такую же сумму Генри гарантировал мне публикацию о моем прыжке.

Я поблагодарил его, сказав, что меня все это инте-

ресует всего лишь как повод для рассказа, и вручил ему обещанное за сюжет. И мы расстались.

Теперь Пелагея Кузьминична Тудоева может завершить свою быль-небыль, как ей кажется наиболее целесообразным. Нашел волк свою волчью смерть или повторил омскую симуляцию в нью-йоркском варианте и предпочел медленное издыхание в скитаниях по чужим землям — для меня это не существенно. Не существенно, думаю я, и для вас, мои дорогие друзья.

Навечно ваш

Дж. Т.»

LVIII

Недели через две Федор Петрович получил от Тейнера обещанную книгу. Получил такую же книгу и Петр Терентьевич. А до этого на имя Дарьи Степановны пришла посылка с игрушками для Сережи.

Дарья Степановна, может быть, и отдала бы их внуку, придумав какое-нибудь объяснение появлению игрушек, чтобы не напоминать ему о забытом им гренд па. Не пропадать же ни в чем не повинным хорошим американским игрушкам! Но было в этом что-то оскорбительное и для нее, и для Сережи. Посоветовавшись с Петром Терентьевичем, она переслала игрушки в детский сад. И не в свой, не в бахрушинский, а в детский сад дальнего колхоза.

Часы с боем, которые пришли в посылке с игрушками, были вручены Кириллу Андреевичу Тудоеву. Отдавая их, Дарья сказала:

— Это тебе за муки с ним. Как-никак ни за что ни про что месяц жизни на него выбросил.

Тудоев, принимая часы, сказал:

— Носить-то я их, конечно, не буду. Но, может, сгодятся на что-нибудь...

И часы «сгодились» — не ему, а Тудоихе.

Пелагея Кузьминична, многократно перешептывая в длинные вечера складываемую ею быль-небыль о сером волке, сплетала затейливую вязь речений и не находила только конца, венчающего рассказанное.

И вот пришли в ее дом часы с боем. Пришли и неожиданно-негаданно темной тихой ночью прозвенели Тудоихе конец этой истории, которая сказывалась ею потом так:

— И затерялись его волчьи следы в большом мире. Ни весточка, ни слух, ни досужая молва о нем не дошли к людям. Остались после него только часы с боем да вот эта сказка о сером волке, который хотел под конец жизни стать человеком, да не пересилил своего звериного нутра...

Слушая эти последние напевные слова Тудоевой, Дарья Степановна, как-то задумавшись, заметила:

— Да уж забегал ли он на родную землю? Может быть, и впрямь все это только сказка о сером волке, о незамолимом грехе измены родной земле...

1960

С ТАРАЯ
ВЕДЬМА

Р О М А Н

I

В жизни случается иногда так, что и маловажные события вызывают большие потрясения.

Нечто подобное произошло в новом доме довольно известного сталевара Василия Петровича Киреева. Событие заключалось в том, что владелец и строитель этого добротного дома обнаружил в нем гниль.

Не верилось... Дом в общей сложности с начала закладки не простоял и четырех лет. Его рубленые стены едва-едва пошли в краснину. А сегодня утром, когда Василий Петрович полез в дальний подпол, где хранились снадобья для опрыскивания растений, увидел невероятное. Балки, переводы и пластины наката черного пола оказались изъеденными бурой гнилью так, что некоторые из них можно было проткнуть пальцем.

Василий Петрович вылез из подпола трясущийся и потный.

— Ангелина! — окликнул он жену, работавшую в саду. — Беда!

— Где? Какая?! — отозвалась она, подбегая к мужу.

— Там, — указал он вниз, утирая рукавом на лбу холодные капли. — Гниет, понимаешь, наш дом. Вот посмотри.

Василий Петрович положил на крыльцо перед женой большую бурую гнилушку. А она, боясь взять ее в руку, смотрела испуганно и жалостливо, не зная, как понять, как принять, как оценить случившееся.

— Только бы не грибок... Только бы не грибок... — твердил Василий Петрович, разламывая и разглядывая кусок сгнившей древесины.

При слове «грибок» молодая женщина вздрогнула, ее миловидное личико искривилось, и она готова была дать волю слезам, но сдержалась. А сдержавшись, припала к груди Василия Петровича и принялась его утешать:

— Почему же именно грибок, Вася, а не что-то другое? Ну почему же именно он?..

Василию Петровичу было не до утешений. Ему, человеку порывистому и нетерпеливому, нужно было знать сегодня же, сейчас же о природе возникновения гнили и о том, какие нужны меры, чтобы приостановить беду. И он как был, в рабочей одежде, так и кинулся к старенькому «Москвичу», торопливо завел его и, не дожидаясь, пока разогреется мотор, покатил в город.

— Сейчас привезу Чачикова, — крикнул он из окна машины Ангелине, открывавшей ворота, — а там будем решать!..

Проводив мужа, Ангелина Николаевна принялась ощупывать стены своего такого долгожданного, такого любимого дома. Обходя его, она в беспокойстве пробовала крепость бревен сначала ногтем, потом подобранным на земле гвоздем. Стены были целы. Крепки были и нижние венцы.

Значит, поражен только пол. И это, может быть, не означает гибели дома, хотя она и была наслышана, как страшен грибок, этот неизлечимый рак древесины. Он мог перекинуться на стены, и тогда — прощай... Прощай тогда сбывшаяся мечта — полная чаша радостей и благополучия.

Разговаривая сама с собой, Ангелина увидела прислоненную к яблоньке огородную тяпку. Эту тяпку оставила здесь Лидия, шестнадцатилетняя дочь Василия Петровича от первого брака. Вспомнив сейчас о падчерице, Ангелина подумала: а не мстит ли ей жизнь за падчерицу — за то, что она бывает холодна с нею, а иногда и несправедлива?

Подумав так, Ангелина многое вспомнила из их отношений и во многом готова была раскаться, чтобы предотвратить этим возможное поражение грибком стен дома. Грибок мог не пощадить и здоровую древесину. Грибок мог съесть все строение в два-три года...

Но так думалось Ангелине, пока она, ковыряя гвоздем стены дома, обходила его. Убедившись же, что страхи преувеличены, она посмеялась над своим нелепым предположением. В этом было что-то от покойной бабки Самсоныхи, верившей в промысел тайных сил и неизбежность возмездия за всякое зло.

Успокоившись, Ангелина решила дожидаться возвращения матери, чтобы вместе с нею слазить в подпол. Одной лезть туда было почему-то страшно. Может быть, потому, что гниль связывалась в ее голове со смертью.

Время шло, а мать не возвращалась с рынка. Наверно, она зашла к Анисье Панфиловне. Эта оборотистая старуха оказывала Киреевым немало различных услуг. У них же не просто свой дом, но и сад, огород, тепличка, три козы, два борова и племенная свинья.

Серьезное хозяйство. Оно требовало деловых помощников и оборотистых посредников...

Обо всем этом еще будет сказано, а теперь предоставим слово старому технику-строителю.

II

Мирон Иванович Чачиков хотя и не имел специального образования, но, будучи одаренным человеком, выбившись из десятников в прорабы, пользовался хорошей репутацией не только у застройщиков, возводивших дома своими силами, но и в строительных организациях.

Выйдя теперь на пенсию, Мирон Иванович уже не строил, а занимался одной лишь консультацией, давая советы, всегда умные и всегда исчерпывающие.

Знатоку и практику строительного дела хватало, как он говорил, «легкой умственной работы в частном строительном секторе». Вычертить проектик застройщику, подсказать экономию средств и материалов, распланировать застраиваемый участок... мало ли дел толковому человеку, умеренно берущему за свои наставления!

Вот и сейчас он добросовестно облазил весь подвал, затем, рассмотрев образцы пораженной древесины, сказал:

— Самый настоящий домовый грибок, в самом окаянном его виде, под названием «домовая губка». Перекрытие необходимо сменить полностью.

— И чистый пол тоже? — заикаясь, спросил Киреев.

— И чистый пол, и, наверно, нижние венцы, Василий Петрович, хотя они и не тронуты. Но ведь глаз, дорогуша, не микроскоп. Да и микроскоп может увидеть не все. Грибница у домового губки въедливая и живучая. Поэтому все пораженные части нужно не только выбросить, но и сжечь, а здоровые тщательно обработать антисептиками. Антисептиков нынче напридумано видимо-невидимо, и это не вопрос. У меня есть рецепт «адской» антисептической смеси. Положение аварийное, но не смертельное. Организм дома здоровый. И после капи-

тальной вырубке поврежденных частей дом будет жить сто лет...

Бледность не покидала лица Василия Петровича.

— Так как же, откуда же все-таки, Мирон Иванович, взялась эта губка? И главное — ни с того ни с сего...

— Дорогуша Василий Петрович, ни с того ни с сего ничего не бывает на свете, — отвечал разговорчивый старик. И его разговорчивость усилилась еще больше, когда на столе в большой комнате появились зеленый графин, две рюмки под стать ему, а затем сопровождающая все это закуска. — Дом, как и человек... Сегодня жив-здоров, а завтра — бац! — аппендицит или какое-нибудь другое заболевание. Печени, скажем, или двенадцатиперстной кишки, или морально-душевное прободение на нервной почве.

Выпив одну, затем другую рюмку, Чачиков принялся рассуждать о возможных причинах возникновения домового грибка, показывая полную осведомленность в этом вопросе:

— Главное — сырость, затхлость и темнота. Это среда для развития. А причин возникновения — сто. Доска с синевой попала в дело. Плохая изоляция фундамента от деревянных стен. Пол неаккуратно мыли, воды напустили в щели. Вот тебе и опять повод. Засыпку по черному полу сделали непросушенной землей... Всякий дом, дорогуша мой Василий Петрович, хорош только издали да на картинке. А когда он свой, да самодельный, да весь из экономии сделан, без просушки, без настоящего строительного глаза, то это не дом, а заманчивое строение для предварительного погребения.

— Да будет тебе, Мирон Иванович! — огрызнулась из кухни мать Ангелины, теща Василия Петровича. — Наши отцы-деды все своими домами жили.

Мирон Иванович, продолжая развивать свои мысли, не пожелал обратить внимание на замечание.

— Другому хозяину только кажется, что он живет в доме, а не дом в нем. Хоть бы и тебя взять, Василий Петрович... Грибком больно перекрытие, а на тебе нет лица. Будто домовая губка не балки ест, а съедает твое сердце, губит твою нервную систему.

На это Киреев сказал:

— Иначе и быть не может, Мирон Иванович. Я ведь его чуть не наполовину своими руками возвел. И он как бы уже не он, а я сам в его деревянном облиции. И мне

в этом доме не только каждая балка, каждая половица, понимаете, дорога, но и каждый сучок мил, каждая капля смолы для меня по-особенному пахнет.

— Точно,— подтвердил Чачиков, выпивая очередную рюмку.— Разве я не понимаю? Сам домом жил. Тоже и сад-палисад был. Корову держал. Своими руками теплый коровник рубил. А рядом тоже курятник был. На двадцать кур. С электричеством. В феврале нестись начинали. Ноские были курочки. И свинок держал. Свои окорока солил... Да на квартиру переехал.

— Что так?

— Дольше пожить захотелось,— ответил МIRON Иванович, улыбнувшись, а затем, опрокинув еще рюмку, стал собираться.— Мне пора. Если понадобится, вызывай, дорогуша. Чем могу, помогу.

Василий Петрович полез было в бумажник, но старик предупредил его:

— Потом. Я еще не один раз к тебе приду. Так ты уж аккордно... И лучше не деньгами. Тещенька-то твоя любит больше продуктами вознаграждать. И правильно.

Киреев крикнул возившемуся на дворе сыну:

— Вань! Тебе так и так в город надо, подбрось Мирона Ивановича, а потом — куда вздумаешь. Машина мне сегодня не нужна. Только посматривай... Опять никак через сальник масло гонит.

Двадцатилетний сын Киреева, которому в этот воскресный день предстояло вместе с сестрой работать в саду, был несказанно рад возможности побывать в городе, повидать друзей.

— Я — раз-два, только переоденусь! — весело согласился он.

Вскоре Мирона Ивановича проводили. Серафима Григорьевна, теща Василия Петровича, сунула ему банку с черносмородинным вареньем и пару ранних огурцов, выращенных в теплице.

«И хватит с него»,— подумала она, а потом сказала дочери:

— Весь графин усидел, а работы было всего ничего. На пять минут в подпол слазить...

Происшествие почему-то не особенно взволновало Серафиму Григорьевну. А Василий Петрович, наоборот, принял все это очень близко к сердцу. После разговора с Чачиковым ему даже стало казаться, что домовый грибок и в самом деле поражает его сердце и легкие.

Труднее дышалось. Будто что-то надорвалось. Будто наметилась какая-то невидимая, но роковая трещина в его жизни.

III

Чтобы рассеяться, чтобы забыть о проклятой губке и пока не думать, как он будет менять пол, балки, а возможно, и нижние венцы стен, где он добудет сухой лес и деньги на его покупку, Киреев занялся опрыскиванием плодовых деревьев и кустов.

Когда уходишь в работу, неизбежно отвлекаешься от тревожных мыслей. Но сейчас отвлечься было ему трудно. И чтобы не думать о грибке, о домовладельческих тяготах, Василий Петрович принялся вспоминать о том, как все это началось...

Все началось с улыбки Лины. Ей тогда было двадцать два года, а ему тридцать семь или тридцать восемь лет.

Похоронив жену, Василий Петрович долго тосковал. Его утехой были дети — Ванечка и Лидочка, и работа. Удачи в то время будто сами собой приходили к нему и по качеству плавок, и по времени и количеству выплавленной стали.

К его боевым орденам и медалям прибавились трудовые ордена. И все радовались этому. Его любили товарищи, потому что он щедро и широко раздавал окружающим свои сталеплавильные находки. Помогал словом и делом. Его нельзя было не любить.

Ваня и Лида росли хорошими ребятами. Их бабушка, Мария Сергеевна, заменила внучатам мать, и Василий очень любил тещу, называл ее мамочкой, всячески старался высказывать ей свои чувства, деньги давал ей без счета, подарки дарил без меры. Заработки у Василия Петровича были отличные, а сверх них еще и премии. То за новую марку стали, то за прибавку тоннажа, то за ускорение плавок...

Но все-таки, что там ни говори, а жить вдовцом в его еще в общем-то молодые годы не очень веселое дело. А ездить по всяким-разным курортам или бегать на лыжах по веселой извилистой женской лыжне как-то не подходило солидному сталевару.

Конечно, ему улыбались не одна и не две. И главное — из хороших, коренных рабочих семей, стоящие не-

весты. И, можно сказать, обнадеживали своими улыбками... Но как он мог просто так на улыбку ответить улыбкой? Не в такой он рос семье. Его сызмала научили отвечать за каждый свой поступок и относиться с уважением к каждому человеку, особенно к женщине.

Нет, не мог улыбнуться женщине «между прочим» и «просто так» хороший человек Василий Петрович Киреев. А не «между прочим» улыбнуться было тоже нельзя: дети же. А комнат две. Лучше сказать — одна, разделенная фанерной перегородкой. Как введешь жену в дом? И, кроме того, какая она ни будь, а все-таки мачеха. И какво это покажется светлой душе Марии Сергеевны? Новая жена будет напоминать теще ее умершую дочь Наташу. Значит, лишние слезы по ночам.

Нельзя. Нужно жить для детей, и нечего думать о семейном счастье.

Но счастье пришло.

В диспетчерской на заводе появилась девушка. Высокая, светловолосая, строгая. Из тех, кто с кем попало не танцует и без подружки в кино не появляется. Проводить себя не позволяет.

Крутился, правда, возле нее один смазливый молодой парень, механик заводского гаража Яков Радостин, да, кажется, напрасно.

Девушка из диспетчерской звалась Линой, полностью — Ангелина. Ее заметили на заводе сразу. Это и понятно: чем красавица строже, тем она милее, красивее и дороже. А о том, что она хороша собой, никто не спорил. Красота не требует доказательств. Она говорит сама за себя.

Василий Киреев тоже заметил девушку. Заметил так, что и другим стало ясно, как это надо понимать. Он тогда, может быть, и сам не знал, как и чем это кончится и куда все это уведет его, да Лина подсказала ему. И не сама по себе, а по материнской указке.

Мать ее, Серафима Григорьевна Ожеганова, слыла женщиной разумной и рассудительной. Ей хотелось, как она говорила, счастья для своей дочери не на одну лишь короткую медовую пору, а на всю жизнь. И еще до знакомства ее с Киреевым Серафима Григорьевна положила в надежные уши, надежным людям веские слова, которые непременно должны были дойти до Василия Петровича. А слова были такие:

— Вот Киреев — жених так жених. Такой богатырь

хоть Василисе Прекрасной и той может счастье составить.

Эти слова запали в душу Василия. Запали так, что иной раз, рассматривая кипящую плавку в печи, он видел совсем другое.

Да и Ангелина, находясь под влиянием матери, частенько забежала в мартеновский цех и украдкой любовалась, как Василий Петрович управляет с большим огнем. В слове «богатырь» есть что-то преувеличительное, но сталевару это слово в самый раз, особенно когда начинается в печи кип стали. А уж про выпуск нечего и говорить. Это уже ослепительное волшебство. При выпуске стали Киреев выглядел сказочным витязем — победителем огневого полоза, который, стремительно скользя по желобу своим нескончаемо длинным телом, перегибался из печи в огромный ковш, поданный краном. А витязь стоит руки в боки, любуясь своей победой.

Несомненно, Яша Радостин моложе и фамилия его ласковее, нежели Киреев, зато глуше. Радостин — это что-то цветочное, одеколонное. А Киреев — это мощь. Сила. Возьмет такой Ангелину в охапку и перенесет за тридевять земель, в незнаемое ею счастье, от которого закружится голова и сладко замрет сердце.

Слегка кружится голова и у него, когда он думает об Ангелине. И кажется, все хорошо, если бы не пятнадцать лет разницы в их возрасте.

Пятнадцать лет?!

Но так ли уж это много? С годами сгладится разница. Да и теперь Ангелина, в свои двадцать два, по своей солидности, степенности выглядит старше. И прическу носит не девичью. И, может быть, не случайно. Может быть, и ей хочется сгладить эту разницу лет?

Так это или нет, только однажды после дневной смены шел Василий квартал, другой, третий следом за своей мечтой, а потом хотел было свернуть в переулок... Неудобно все-таки плестись за чужой девицей, по чужим улицам. А мечта возьми да и оглянись, да улыбнись.

— Зачем же вы, Василий Петрович, сворачивать вздумали? Неужели я не стою того, чтобы вы еще немножечко за мной прошли?

Тут Василий не стал таиться — и сразу ее по имени. И по отчеству, конечно, для придания встрече большей солидности.

— Вы, Ангелина Николаевна, не только квартала, я думаю, стоите, а на край света рядом с вами дорога короткой покажется.

А она как сверкнет зубами, да как ослепит его зеленым светом своих больших глаз, да как заворкует своим веселым голосом — у него и сердце в левый сапог. Слова не может выговорить.

Василий и не заметил, когда кончилась улица. Они вышли за город.

— Теперь-то уж недалеко нам осталось,— сказала она.— Скоро дойдем.

— А куда дойдем-то? — спросил он.

— До конечной станции,— отшутилась она.— До заводского Садового городка. Я там черную смородину на днях высадила. Хочу посмотреть, принялись ли черенки.

Дошли они так до заводских садов. Осмотрели смородиновые черенки на Ангелинином участке, порадовались, что почки в лист пошли, и соседними садами стали любоваться.

Хорошо в этот вечер дышалось Василию Кирееву. Давно не пьянили его запахи весны и женская, тоже весенняя, близость. И он сказал:

— Загородное садоводство — это разумный досуг. Особенно для металлургов. Ох как славно после горячей работы вольным воздухом подышать! Хорошо бы и мне здесь участок добыть да садовый домишко срубить...

— Так кто же вам мешает, Василий Петрович? Вот, пожалуйста... Рядом с моим, самый крайний.

С этого все и началось. Началось все именно с этого.

IV

На другой день завкомовские садоводы отмерили положенные восемь соток Василию Петровичу да прирезали еще столько же за знатность, за успехи в труде. А неделю спустя был найден «деловой человек», который брался за двадцать дней вывести под крышу садовый домик, пустить дым и вручить ключ хозяину.

«Деловой человек» по имени Кузьма Ключников и по прозвищу Ключ хотя и спросил «деловую цену», но Василий не стал торговаться. Хоть и дорого, зато без хлопот и быстро. Кузька Ключ, славя в Садовом городке рвачом и выжигой, считался человеком слова: «Хоть и

семь шкур дерет, а обещание выполняет в точности».

Выплатив Кузьке задаток, Василий Петрович радовался и за своих ребят. Будет где Лидочке с подружками повеселиться. Может быть, захочет свои кустики вырастить. Скажем, мичуринский виноград или даже большую тыкву для смеха. И его сыну Ванечке с Мишей Копейкиным будет куда на велосипедах сгонять и есть где велосипеды оставить, в субботнюю ночь переночевать.

Садовый домик — это во всех отношениях веселая затея.

С тех пор редкий вечер Василий и Ангелина не встречались на садовом участке. Еще было не поздно, и Киреев сумел посадить и ягодники, и яблони, которые так счастливо окоренились, зазеленев в полную силу на третью неделю.

Любовь к растениям, как вспоминает теперь Василий Петрович, проснулась вместе с любовью к Ангелине.

Как она была тогда хороша! Розовое лицо, светло-пепельные волосы. Ямочка на правой щеке и какой-то фарфоровый носик. А глаза веселые, изумрудные. Правда, в них иногда появлялась не то какая-то грусть, не то сомнение или раскаяние в чем-то...

Василию, целомудренному от природы человеку, стыдно было рассматривать ее руки, плечи, выгиб шеи, редкостное сложение стана.

Надо же было природе выписать такие линии! С какой стороны ни глянь на них, они завораживают своей строгостью, изысканной простотой. Особенно бесподобны очертания Лины, когда она, окапывая растения, стоит освещенная солнцем!

Неужели этакая самородная прелесть может полюбить его и пренебречь таким красивым и молодым парнем, как Яшка Радостин? Нет. Пусть его красоты хватило бы на троих завидных женихов, зато и легкомыслия тоже было достаточно на добрый десяток вертопрахов.

Нет, Яков Радостин не та фигура, которая может стать ему на пути. Пусть он мелькает на садовом участке, пусть иногда он ей шепчет о чем-то, — ну и что? Нельзя же каждое лыко в строку. Да если бы даже Радостин и нравился ей, он не перестал бы любить свою прекрасную Ангелину. И как знать, может быть, она,

думая о своем счастье с Василием, поторапливает его ложным вниманием к Якову Радостину? А если это так, то во всех случаях не надо медлить. Нужно как-то и что-то сказать... А вот как и что? Можно и спугнуть счастье. Торопливость и утку уводит из-под ружья, говорят охотники.

И вот настал день, когда Василий подал Ангелине ключ от своего садового домика, который был достроен в самом лучшем виде.

— Это вам, Ангелина,—сказал, чуть потупившись, Киреев.

— А зачем?— был задан пытливый вопрос.

— Ну мало ли, понимаете... Дождь вдруг польет... Или с матушкой, или, скажем, с кем другим захотите чаю выпить, глазунью поджарить... Пожалуйста. Распожарайтесь.

— Спасибо за доверие, Василий Петрович,—ответила Ангелина, взяв из его рук ключ.

Потом она прошла к домику и открыла ключом дверь. Они вошли в единственную комнату, которая была и кухней, и столовой, и спальней. Вошли, сели за тесовый стол. Они сидели долго друг против друга и смотрели один другому в глаза.

Глазами так много было сказано, что почти не понадобилось слов, хотя и не обошлось без них. Это были простые и прямые слова, которые произносят люди, подобные Василию Кирееву.

— Дальше-то как, Лина?

— Не знаю, Василий Петрович,—ответила она.— У вас ведь дети. А я сама пока еще при матери. А мать — у родни. Своего угла тоже нет. Вот и судите.

Опять умолкли. Опять смотрели друг другу в глаза. Ангелине было очень приятно, что большой, сильный Киреев робеет перед ней. Ей вдруг стало жаль Василия, и она, поднявшись, подошла к нему со спины и обняла его.

— Милый Василий Петрович, и я им не мать, и они мне не дети. И две тещи в одном доме тоже, так сказать, не компания.

Сказанное было сущей правдой, обойти ее было невозможно.

— Тогда хоть дайте, Линочка, я обниму вас. На этом и расстанемся.

Он обнял ее, но расстаться с ней не сумел. Это было

выше его сил. Легче было умереть. И он уже дважды умирал на фронте, возвращаясь к жизни неизвестно по какому чуду. И если он дважды вернулся к жизни, так нужно прожить ее так, чтобы можно было вспомнить о прожитом. А жизнь и все ее радости заключались теперь в этих тонких руках, в этой бездонной зелени глаз, в этой доверчивости ее гибкого стана.

Это была, конечно, любовь, а не притворившееся ею влечение, которое посещало Василия в холодные годы вдовства, когда его внимание и во сне и наяву оставляли, может быть, и стоящие молодницы, да не такие, как Лина. Она будто родная тайга, такая знакомая и такая незнаемая, бескрайняя, непроходимая и манящая...

Это была любовь чистая и настоящая. Обнимая Ангелину, он боялся нечаянным, невольным движением руки оскорбить ее еще не расцветшую юность.

— Яблонька вы моя,— сказал он,— спасибо вам за эту радость. Может быть, моя любовь к вам подскажет, как правильнее решить неразрешимое...

V

Когда матери Лины стало ясно, что Киреев любит ее дочь и, кажется, тайно ревнует к молодому красавцу Радостину, она не стала раздумывать, кого предпочесть из двух кандидатов в женихи своей дочери.

Радостину был дан ею довольно понятный намек о материальной несостоятельности для начала семейной жизни: «Жених без денег — без листьев веник».

Радостин жил в общежитии.¹ Его имущество легко укладывалось в два чемодана, а сбережения не превышали даже самых скромных расходов на свадьбу.

Но Радостин не терял надежды. Не деньги же, в самом деле, решают любовь и счастье! И не от матери Лины зависит их счастье.

Как-то в короткий рабочий день, в субботу, мать и дочь Ожегановы работали на своем садовом участке. Появился там и Яков Радостин. Он не столько помогал Ангелине, сколько смешил ее, рассказывая забавные истории, случившиеся в заводском гараже за последнюю неделю.

Киреев молча и, как заметила Серафима Григорьев-

на Ожеганова, нервничая рыхлил и без того разрыхленные приствольные круги пошедших в рост саженцев.

Ожеганова, наблюдая за работой Василия Петровича, перешла канавку, размежевывавшую их участки, и певуче заметила:

— Разве так окапывают, когда желают молодую яблоньку укрепить на своей земле?

— Кто как умеет, Серафима Григорьевна, тот так и укореняет,— ответил ей Киреев и посмотрел на Якова Радостина, приборанивающего граблями садовую дорожку, посыпанную песком.

Тогда Серафима Григорьевна сказала без обиняков:

— Люба, что ли, тебе Ангелина? Признавайся уж, staleвар, а я послушаю.

Киреев, воткнув в землю лопату, ответил тоже довольно прямо:

— А вам-то зачем я должен признаваться, Серафима Григорьевна?

Ожеганова ухмыльнулась, глянула исподлобья на Киреева и тихо, но внятно заметила:

— Линочка-то пока что моя веточка. Для кого захочу, для того и заставляю ее цвести.

— Вот оно что,— в свою очередь, роняя улыбку, ответил Киреев.— А я и не знал, что у вас, как при царе.

На это последовало:

— При царе там или не при царе, но без царя в голове тоже худо. Меды-то всякий умеет пить, а вот пчел вести да пасеку соблюсти — не каждому по рукам. Так или нет?

— Вам виднее, Серафима Григорьевна,— отозвался примирительно Василий.

— Мне-то видно, да ты-то видишь ли, Василий Петрович? Как тебе могло в голову войти, что я могу этого самого неоперенного скворца допустить к своей дочери, когда у него, кроме посвиста, ни дупла, ни гнезда, ни скворечницы?

— Разве в этом счастье?

— В этом или нет, а без стола, без чашки-ложки не пообедаешь, без своего угла голову не приклонишь, без крыши от дождя не укроешься. Только говорится, что с милым рай в шалаше, а по жизни-то и садовый домик не жилье.

Киреев стоял, оперевшись на лопату, и слушал рас-

суждения Ожегановой. В них чувствовалась житейская мудрость, а вместе с нею и приятные надежды. А Серафима Григорьевна, не умолкая, очаровывала Василия:

— Попосыпает Яшка золотым песочком, поприборонивает грабельками счастливую дорожку, а кому по ней с Ангелиной идти — я решать буду. Так и знай, Василий свет Петрович. С прямым человеком и я прямая... Конечно, — пораздумав, добавила Ожеганова, — и не таких матерей нынче дочери вокруг трех елок обводят, а сами под четвертой судьбу свою губят... Случается. Этого-то я хоть и не сильно боюсь, но побаиваюсь.

— И я побаиваюсь, — вдруг вырвалось откровенное признание Василия Петровича.

— Коли ты побаиваешься и я побаиваюсь, выходит, мы в одно думаем. Об одном болеем. Тогда и говорить больше не о чем. Отрубать надо веточку, да и дело с концом.

— А отрубится ли она? — слышался боязливый вопрос Киреева.

— Да уж как-нибудь... У тебя топор остр, у меня язык хитер. Вдвоем-то, глядишь, и справимся. — Сказала Серафима Григорьевна и весело сверкнула-мигнула левым, с небольшой косинкой, глазом и вернулась на свой участок.

Кажется, все было предreshено. Наверняка Ожеганова до этого разговора с Василием вела не одну беседу с дочерью в его пользу.

Теперь, что называется, оставалось не зевать, и пока кипит сталь, нужно доводить плавку до дела — и в ковш.

VI

Яков Радостин, почувствовав, что его большая любовь и малый достаток образовали некие ножницы, способные перерезать последнюю нить надежды соединения с Линой, прибегнул к печальной крайности.

Вскоре стало известно, что в Садовом городке у военного ветеринара в отставке П. П. Ветошкина угнана автомашина «Победа».

А через неделю намечался суд над похитителем этой машины Яковом Радостинным, не успевшим отъехать и ста километров от города.

Похититель был явно наивен. Преступление было явно совершено по легкомыслию. Истинных причин кра-

жи самолюбивый Радостин, конечно, не объяснил. К тому же из гаража последовала хорошая характеристика. И что самое главное — об отмене суда над Радостиним ходатайствовал сам потерпевший П. П. Ветошкин.

Это сыграло немалую роль в решении суда. Но все же факт угона машины оставался уголовным фактом. Радостин был виновен не только перед владельцем машины Ветошкиным, но и перед обществом. Однако были приняты во внимание заявления, характеристики, чистосердечность раскаяния. Судье и заседателям стало известно и о романтической стороне проступка, которую тщательно скрывал подсудимый, боясь бросить тень на возлюбленную. И это его характеризовало тоже с хорошей стороны. Но ему стыдно было после суда оставаться в родном городе, и он уехал в неизвестном направлении.

Спустя несколько дней после суда Серафима Григорьевна позвонила Кирееву в цех:

— Можешь, Кирей Кирибеевич, приходить с букетом.

И он пришел.

Мать и дочь Ожегановы ютились в маленькой комнате у родни покойного отца Ангелины. Приехав сюда, Ожеганова, не играя с родней в прятки, сказала:

— Ангелиночке пора замуж, а там у нас, на руднике, по ее красоте и статности женихов нет. А тут город большой и выбор достаточный. Не бойтесь,— предупредила она родню,— и шесть месяцев не пройдет, как я ее выдам.

И она не обманула.

Василий Петрович пришел в черной тройке. Пригалстук. Чисто бритый. Аккуратно подстриженный. Чем не жених? Высок. Широкий в плечах. Легок в ходьбе. Ручищи такие, что из камня, как из творога, сыворотку выжмут. Малость подгуляло только, хотя и очень приятное, лицо. Профессиональная краснота лба, щек и кончика носа, обычная спутница сталеваров, несколько портила картину. А что сделаешь? Работа огневая, не всегда и брови убережешь — подпаливаются. Зато денежная работа. Это и по одежде видно, и по подарку заметно. Он принес ни много ни мало две пары серег, три брошки, часы-браслет и серебряные с позолотой сахарные щипчики. Что попало под руку в ювелирном, то и купил.

Войдя и поздоровавшись, он не стал тянуть и сказал Серафиме Григорьевне при всей ожегановской родне так:

— Мои чувства к вашей дочери Ангелине Николаевне известны, наверно, не только вам, но и всему заводу... Так что я, понимаете, пришел выяснить окончательно ваши ко мне отношения и спросить, согласна ли Ангелина Николаевна стать моей супругой.

Мать посмотрела на дочь, и та, вспыхнув, вполголоса спросила:

— Так уж сразу и отвечать?..

— А почему бы и не сразу? — сказала Серафима Григорьевна.

— Но все-таки... Я хотя и готова к этому ответу, но жить-то где?

На это Василий сказал:

— Мне, Линочка, понимаете, тридцать семь... И я, прежде чем сделать такое ответственное предложение, объяснил в дирекции завода и в завкоме мое семейное положение. И мне сказали, что на той же неделе могут дать квартиру. Отдельную. Две комнаты. А если, понимаете, две комнаты мне покажутся тесноватой квартирой и я захочу, сказали мне там, то они могут помочь мне возвести коттедж личного пользования. За мои любезные, но с их долгосрочной ссудой и предоставлением некоторых материалов.

— Свой-то бы дом лучше, — перебила Серафима Григорьевна. — Горновой Бажутин со Стародоменного вон какую домину в Садовом городке сгрохал. А чем хуже его знатный сталевар Киреев?

— Ну, так у Бажутиных не семья, а коммуна. Столько работников — они горы свернут, — заметил Василий. — Да им никак и нельзя без большого дома.

— Это так, — не стала спорить Серафима Григорьевна. — Но и малой семье в своем доме не худо. Квартира — она и есть квартира. А дом — это дом. И луковую грядку можно посадить, и кур завести, а если охота будет, то и боровка в клетушку запереть. Соглашайся на дом, Василий Петрович.

— Мама, — остановила ее Ангелина, — так сначала же главный вопрос надо решить, а потом уж и о доме говорить...

— А главный-то вопрос твои щеки решили. Вон как горят. Подойди к жениху да уткнись в его широкоую

грудь. Стоит он того. А слова говорить не будем. Лучше посмотрим, что за коробочка у него, которая, видать, ему руки жжет.

— Мама! — оговорила Ангелина мать. — Всему же есть край!.. Я согласна, Василий Петрович, — сказала она Кирееву и подошла к нему и припала, как велела мать, к его широкой груди.

— Большого я ничего и не желаю, Линочка, — сказал Киреев. — Спасибо, что так все просто и хорошо. Это для вас. Наверно, глупости купил. Зато ото всей души, от чистого сердца.

— Э-э-э! — удивилась Серафима Григорьевна, рассматривая серьги, броши и часы. — По-царски ты, парень... Только не следовало бы такие деньги бросать, если ты дом строить собрался. Теперь каждый рубль считать надо.

— Мама! — еще раз остановила ее дочь. — Нельзя же так...

На столе как-то сами собой появились закуски и то, что предшествует им. Сели всей новой родней за стол. Пригласили и тещу по первой, покойной жене Василия — Марию Сергеевну.

— Что ж, — сказала она, — от жизни не уйдешь. Поздравляю тебя, Василий, и тебя, Ангелина. Желаю вам счастья.

Так началась вторая семейная жизнь Василия Петровича Киреева.

Вскоре он переехал на временную квартиру, предоставленную дирекцией большого металлургического завода. Старая семья — Ваня, Лида и Мария Сергеевна — остались в прежней квартире. И все это находили правильным. Дети уже подросли. Они были привязаны к Марии Сергеевне, а что касается некоторых тонкостей переживаний, особенно младшей, Лидочки, то тут уже ничего не поделаешь. Это неизбежно. И Лидочка понимала, что, любя отца, нельзя желать ему пожизненного вдовства.

Дом решено было строить рядом с садовыми участками. Земельные власти отвели Кирееву пятнадцать соток земли, примыкающей к садовым шестнадцати соткам. Не отбирать же их.

К тому же Серафима Григорьевна резонно доказывала:

— Если бы мы не строили дом, так садовые-то сот-

ки были бы нашими. Зачем же мы теперь должны попускаться ими?..

И землеустроители не стали спорить. Принималось во внимание и то, что Василий Киреев был «фондовым» рабочим, и если какие-то там сотки в нарушение закона окажутся лишними, то невелик грех, Киреев за день возместит эту земельную поблажку сверхплановой сталью.

Василий задумался над этими поблажками. Куда ему столько земли?.. А тещенька, умница-разумница-наставница, опять на Бажутиных кивнула. У них и спортивная площадка, и лагерь палаточный для гостей, и баня... говорилось и о том, что при малом участке куда ни ткнишь — везде изгородь рядом. Кашляни — у соседа слышно. В своем доме — как в коммунальной квартире. Живешь будто в витрине магазина — в исподнем во двор не выйдешь.

И это верно. Уж городить так городить. Натура у Василия Петровича широкая. Знакомых много. Будет где гостям разгуляться. Не для себя же лично это все. То Юдин с семьей, то Веснин, то подручные пожалуйут в подвыходной. Приезжай! Милости просим! Ешь, пей, закусывай! Хоть хоровод затевай... Да и у детей своя компания. Тоже надо где-то и в городки поиграть, и мяч побросать. Весело будет у него, как у Бажутиных. Сирени можно насадить, цветы развести — ни один гость без букета домой не уедет, без ягод не погостит. Особенно ребяты. Жалко, что ли? Лакомься, рви, а такой, как Афоня Юдин, может и варенье сварить у него. Пожалуйста...

Малина, смородина что твой сорняк: воткни черенок, вкопай корень — вот тебе и ягоды. Работы на вечер, а удовольствия не на один год.

Нет, не для себя Василий Петрович берет такой большой участок. Жил он с людьми, для людей все эти годы — так и будет жить...

...Весело начиналось строительство дома. Радостно было ходить Василию по такому большому и такому милому сердцу участку. Любо было ему копать ямки, а затем ставить в них и утрамбовывать со щебенкой столбы будущей ограды.

Большой дом вырастет у Василия Петровича. На всех хватит. Летом здесь, как на даче, будут жить его дочка Лидочка и сын Ванечка.

С улыбкой засыпал Василий Петрович рядом с ми-

лой Линочкой. Счастливым просыпался он, любуясь робко зацветающей женской красотой...

Ах!.. Маловаты листки, коротковаты строчки для этой большой любви хорошего человека Василия Петровича, превосходного сталевара Киреева, нежного мужа и покорного зятя. И ста страниц неостанет, чтобы рассказать на них, как пришло счастье в большое и чистое сердце, истосковавшееся по любви...

VII

Дирекция завода помогла возведению дома, но Василию Петровичу, и Лине, и Серафиме Григорьевне досталось строительство нелегко. В замысле всякий дом кажется прост и дешев, а стоит начать, как появляются такие трудности, такие расходы, которые никак нельзя было предвидеть.

Не обошлось и без услуг Кузьки Ключа. Не все легко и просто можно достать. А Ключу только скажи — из-под земли выроет, со дна моря достанет. На пустом лесном складе для него и тес и доски. У кого-то перебой с материалами, а у Кузьмы Наумовича Ключникова всегда полный ассортимент. Конечно, за это особая плата. И если она кажется высокой, то Ключ не навязывается, можете сами достать, если достанете.

В большую копеечку влетело строительство. Пришлось кое-что попродавать, кое-где признаться. Почти два года строил дом Василий Петрович. Работал вечерами, прихватывал ночи, не знал выходных. Ангелина не отставала от мужа, трудилась не покладая рук. Муж — за одну ручку пилы, жена — за другую. Только земли да шлаку перетаскала она на чердак тысячи ведер. Одной замазки вымазала она добрых две старые квашни. На каждую работу не наймешь со стороны. Ссуда ссудой, заработки заработками, но и у них есть дно...

Возьмите вы тех же стекольщиков-«леваков». Они готовы раздеть-разуть, особенно когда дело идет к осени. Вот и приходится самим. А центральное отопление? Не нанимать же слесарей, если есть свои руки. Мелкие трубы Лина нарезает, крупные — он, а монтаж ведут вместе. Кажется, просто, а не легко. Поворочай радиаторы, погоняй сгоны, понавертывай сотни муфт, погни «утки» — подводки к батареям... Хочется-то ведь как лучше. А это «лучше» требует и рук и времени.

Простое, кажется, дело — окраска дверей и окон. Простое, если одно окно или одна дверь. А попробуй во всем доме произвести окраску. Даже малой кистью так намахаешься, что своя-то кисть руки готова отвалиться к вечеру. И красить надо тоже не как попало. Не сухо, не сыро. Без ласин и слез. Заслезилась дверь — вот тебе и счищай весь слой. Снова подшпаклевывай да снова крась. А хватки малярной у него нет, а уж про Линочку-то и говорить нечего. Но стараются, работают и учатся на ходу. Для своего ведь гнезда. Хоть и устают Василий, работая за полночь, зато сколько радости любоваться на белую дверь, на застекленную раму, ощутить первое тепло тобой же установленной батареей центрального отопления и ступать босыми ногами по ласковым сосновым половицам. Забудешь, ходя по ним, как они были добыты, с какими трудами насланы и что за них заплачено.

А пахнет-то, пахнет-то как от стен. Будто в бору, а то и на Пицунде, где когда-то любовался древнейшими соснами Василий Киреев.

Или взять печь. Конечно, можно было сложить плиту с духовкой. Но русская печь привычнее Серафиме Григорьевне. И пироги в ней как пироги, а в случае чего и окорок можно запечь. Круглый день тепло. Обед не разогревай, щи так славно томятся в вольном жару. Начнешь их есть — горшком пахнут. Какая прелесть! Ну а плита при русской печи — сама собой. Под шестком. Нужно скороварку, скородумку по летней поре, сунул щепу в подтопок — и пожалуйста.

В доме Василия Петровича все предусмотрено Серафимой Григорьевной. И кладовки, и чуланы, и подпол, и сенцы, и две комнаты для Ивана с Лидией.

Случалось, конечно, что эта предприимчивая торопистость хлопотуньи Серафимы Григорьевны претила Василию, шибала в нос кержацким скопидомством, кулацкой запасливостью. Бывало, и семейно спорили. Спорили не то чтобы пыль до потолка, а семейно — на степенной основе. И всегда получалось так, что Василий напрасно начинал прения.

Если кур завели, то как им жить без курятника! Или свинье — без свинарника. Можно, конечно, и не заводить кур, только зачем в городе яйца покупать? Вози их. Да береги, чтобы не раздавить. А тут они под рукой и всегда свеженькие. Без штемпеля знаешь, какого числа

снесены. То же и свинина. Сколько после обеда всякого добра остается! Не вываливать же в помойку? Или, того смешнее, не отдавать же это все чужой свинье. И если опять взять в рассуждение коренных коммунистов Бажутиных. Покойный Корней Бажутин чуть ли не с пятого года в партии состоял, а Евграф даже член бюро, а свою свинью держит, и никто даже не думает на вид ставить или намекать на какие-то там разные кержацкие, кулацкие замашки.

Жизнь — это жизнь. И если ты живой человек, то как ты можешь обойтись без бани! Ванна, душ — это ж купание, а баня — мытье, все тело с богом разговаривает и все хвори выпариваются.

Не Серафима же Григорьевна придумала баню. Уж на что царей взять — всякие брызгальные фонтаны могли завести, а мылись в бане. И уж если такой дом срублен, то смешно поодаль от него баньку не поставить. Хоть бы два метра на три. Самую крохотную. Без предбанника.

И опять здравый смысл на тещиной стороне. Только два на три метра — это не баня, а собачья конура. Три на четыре — это еще можно терпеть. И постирать есть где. И все такое. Зимой тоже лыжи надо куда-то поставить. Не в дом же тащить.

Себе Серафима Григорьевна, как ее ни упрашивали, взяла комнатку самую маленькую. «Мне не телиться», — заявила она Василию Петровичу, и тот высоко оценил скромность новой тещи, все более и более доверяясь ей и советуясь с ней о каждом своем шаге. А Серафима Григорьевна, всячески ублажая своего зятя, затмевала его первую тещу Марию Сергеевну. Хоть и знала Серафима Григорьевна, что Мария Сергеевна не будет жить в новой семье Василия, а предусмотрела место и для нее.

Если захочет она пожить с внучками Ванечкой и Лидочкой на даче — милости просим, хлеб да соль.

Тягостными были дни строительства дома, да хороши награды за труды.

Каждая скобочка улыбается Василию Петровичу, каждый сучок стеного бревна подмигивает. А дом покарякивает, осаживается. Всякое бревно в своем пазу паклю уплотняет, тепло бережет.

Стены рублены хотя и по-старому, а все в доме по-новому, на уровне новейшей санитарной техники. Даже

вместо выгребной ямы специальный резервуар с дозатором и рассасыванием смывных вод по дренам в верхних почвенных слоях. Дважды разумно: и за выгреб платить не надо, и растения получают добавочную подкормку.

Жить да радоваться. Любоваться молодым садом. Наслаждаться, глядячи в изумрудные глаза своей жеманушки. Гладить нежный пепел ее волос. А на работе побольше отдавать внимания своей мартеновской печи. Годы строительства дома поубавили его сталеварскую славу...

Маловато занимался он и сыном Иваном. А ведь он продолжатель отцовского дела. Будущий сталевар. В заводе на хорошем слуху. Пусть не делегатом, а всего лишь гостем, но все же он был в Большом Кремлевском дворце на Всесоюзном слете трудовой юности. На слете передовиков, соревнующихся за звание ударников и бригад коммунистического труда. Передовой, значит, парень. Вот только дома тише воды, ниже травы. По всему видно — что-то в доме ему не по душе. Но молчит. В чем дело? Надо как-нибудь поговорить с сыном о чистоте и о семейных и о заводских делах...

Впрочем, о заводских делах Иван не молчал. Недавно прямо сказал отцу:

— Пап! Нам новую печь отдают. В полное наше распоряжение. А распоряжаться некому. Тебя комсомольцы хотят. И в дирекции тебя, пап, называют. «Пора, говорят, уж...»

— Что пора-то? — насторожился тогда Василий Петрович.

— «Пора, говорят, заводу внимание уделять...»

Это прозвучало как упрек. Как справедливый упрек. Конечно, давно пора кончать с домоустроительством. Надо бы постоять у печи с сыном и с его дружкой Мишей Копейкиным. И вообще заняться молодежью в цехе, как он это делал всегда. Да нет времени. То весенние работы в саду, то подготовка к зиме. Дрова, уголь и все такое... Добудь, доставь, сложи. Пустое дело — свиначник утеплять, а месяца нет. Вот и теперь: осталось только опрыснуть кусты и деревья, а тут — бац! — губка! Грибок! И снова все к чертовой этой самой... в тартарары!..

— Ангелина! За что же это все, моя милая? — жалуются ей Василий. — Неужели, понимаешь, опять в

колья-мялья и снова за пилу, за топор? Шутка ли — вырубить полы, подвести новые венцы... В месяц не уложишься... А деньги? Долги еще не выплачены. Крыша покраски требует. Электрическую линию нужно менять. А это все немалый расход, особенно если поручить работу пройдохе Кузьке Ключу. Глаза бы его не видели, а как обойтись без него? Для этого Ключа ничего нет запретного. Все откроет, все найдет и рабочую силу добудет на полном законном основании.

Ангелина молчит и слушает мужа. Потому что ей нечего ответить ему и нечем помочь. Да и какие бы слова ни сказала она, все равно полы и венцы нужно менять, крышу красить, тянуть вместо временных новые провода. И от этого никуда не уйдешь, так же как не обойдешься без Кузьки Ключа.

Лина молча хлопает ресницами, разглядывает свои обветренные и погрубевшие на работе руки и потом советует:

— Может, садовый домик продать? Или «Москвича»? Все равно старенький.

Эти мысли приходили в голову и Василию Петровичу. Но как можно расстаться с «Москвичом» и ежедневно ходить два километра до трамвайной остановки, а потом минут сорок стоять в переполненном вагоне? Это же потеря добрых двух часов в день. А на «Москвиче» сел — и через двадцать минут на заводе. Час сорок минут — разница. А за этот час и сорок минут многое можно сделать в своем хозяйстве.

Нельзя было продать и садовый домик. Как можно было оторвать Прохора Кузьмича Копейкина от любимых садовых занятий! К тому же у Копейкина без малого шесть лет прожил в сиротские годы Василий, а теперь сам же упросил Прохора Кузьмича поселиться в этом домике.

На этой странице нужно бы подробнее рассказать о старике и старухе Копейкиных, об их появлении в садовом домике, об их внуке Мише и другой родне. Но теперь пока не до них. Вернемся к невеселым раздумьям Василия Петровича.

Нет, нельзя продать садовый домик, окончательно решил Василий. Ведь вместе с этим домиком нужно было отдать участок, на котором буйно цвели яблони и так хорошо плодоносили кусты новейшего сорта черной смородины «Лия-великан». Кроме того, пришлось бы

лишиться пристроенного к дому курятника и вольера для кур из отличной сетки.

Так поступить было никак невозможно.

Вечер прошел в еще более тоскливом раздумье. Не радовал обещающий хорошее утро закат. Не успокоила веселая «чекушка» водки, а за нею и другая, принесенная стариком Копейкиным.

— Уляжется, ушомкается,— утешал Прохор Кузьмич,— все станет на свое место.

Но этого пока даже не предвиделось. Ночь прошла почти без сна. Лина украдкой плакала.

Не такая простая штука домовый грибок...

VIII

На другой день, в понедельник, Василий Петрович работал озлобленно. Ожесточенно. Широко размахиваясь, он кидал большой лопатой в зев мартеновской печи вместе с добавками и свои думы о доме. А они, эти черные думы, не сгорая, возвращались из печи в голову Василия нагретыми, нестерпимо и беспощадно воспаляя ее...

Работа и на этот раз не заглушала его горя.

Василий не замечал, как неподалеку от него стоит и откровенно любит его его товарищ по саперному батальону Аркадий Михайлович Баранов. Они не виделись более пятнадцати лет. В давней переписке друзья редкий год не давали обещания встретиться где-нибудь на берегу Черного моря или провести отпуск здесь, на Урале. Побродить. Порыбачить. Вспомнить «минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»... Да все как-то эта встреча переносилась из года в год. А нынче случилось так, что Аркадий приехал в этот большой город, где ему предстояло жить и работать.

Прямо с вокзала Баранов, оставив вещи в камере хранения, направился по старому адресу Киреева и, узнав, что Василий на заводе, не стал откладывать встречу на вечер.

— Никак, Василий Петрович, этот товарищ к тебе. Судя по всему — это корреспондент из газеты,— предупредил Киреева его первый подручный Андрей Ласочкин.

Василий даже не пожелал оглянуться, орудуя лопа-

той. Ему хотелось устать, вымотаться. Но Ласточкин опять обратился к нему:

— А может, из министерства?

— Да ну тебя, понимаешь...— огрызнулся Киреев, а потом все-таки оглянулся.

Лопата выпала из его рук. Он заорал на весь цех, заглушая гул пламени:

— Аркадий! Неужели это ты?..

Они заключили друг друга в долгие объятия. Светлому костюму Баранова угрожала гибель. Едва ли химическая чистка снимет коричневый отпечаток пятерни Василия на спине пиджака Аркадия Михайловича. Но разве тот или другой могли думать об этом? Разве могли об этом думать два фронтовых товарища, поочередно спасавшие один другого от верной смерти?

Печь была оставлена на первого подручного. Ласточкин уже не раз подменял Киреева и был созревшим сталеваром.

Найдя в цехе уголок, где потише, друзья наскоро переговорили, как и зачем приехал Баранов, и Василий потребовал:

— Немедленно ко мне! Такси за углом. Вот записка теще.

Баранов попробовал отказаться:

— Стесню. В гостинице удобнее. Сегодня же приеду. Проведем вместе вечер.

Но Василий был неумолим:

— Ты что? Разве это возможно?.. У меня же, понимаешь, дом в сорок хором. Разве я могу допустить?.. Не обижай. Да и, кроме того, ты теперь, понимаешь, нужен мне...

— И ты мне, Василий, тоже нужен.

— Ну вот, видишь... По рукам?

Иначе не могло и быть.

— Еду!

— Такси за углом,— еще раз напомнил Киреев.

Домовая губка мигом вылетела из головы. Встреча развеяла мрачное состояние Василия. Баранов всегда был добрым советчиком. Даже заочно. В письмах. С ним советовался Василий и перед тем, как вступить в брак с Линой.

Он и теперь наверняка поможет.

Плавка пошла веселее. Вслед за оживившимся сталеваром оживленнее заработали и подручные.

Им хотелось верить, что наступает перелом в работе Василия Петровича, что киреевская бригада снова засверкает на заводе и не их, а они будут брать на буксир товарищей.

Когда-то успехи сталевара Киреева в общем итоге выплавки по цеху покрывали отставание некоторых других. А теперь нередко приходится другим покрывать недоданное Киреевым. Хотя одна печь и не делает погоды, но ее успех или неудачи сказываются — и довольно заметно — на выполнении заводского плана.

Большой металлургический завод, где работал Василий Петрович, принадлежал к старым уральским заводам, хотя от старого теперь не осталось и фундамента. Начав реконструироваться еще в тридцатых годах, завод достраивался, перестраивался, расширялся и, далеко перешагнув свои прежние границы, вырос в могучее передовое предприятие.

Металл, как известно, был и остается показательнейшим мериллом роста промышленности. Особенно тяжелой. По цифрам выплавки чугуна и стали всегда можно судить об уровне роста ведущих отраслей народного хозяйства.

И как бы много ни было у нас доменных и мартеновских печей, все же задувка каждой новой печи становится не только событием завода, где она появилась, но и заметным явлением в стране.

Взять, например, мартеновскую печь, на которой работает наш Василий Петрович. Каждая ее плавка составляет в среднем триста пятьдесят тонн стали. Нетрудно, переведя эту сталь в металлические изделия, представить, что можно произвести из этих трехсот пятидесяти тонн!

На страницах романа не принято заниматься техническими описаниями и экономическими расчетами. Однако же если техника и экономика становятся лидерами трудовой жизни нашей страны, то как обойтись без них?

Современная сталеплавильная печь — сложнейшее и громаднейшее сооружение. То, что мы видим в кинохронике или на страницах журналов, где нередко показывают работу сталеваров, — это чаще всего заслонка печи, снятая крупным планом, или ее желоб, по которому мчится слепящий поток сваренной стали. Но это всего лишь, говоря фигурально, электрическая лампочка, по

которой нельзя составить представление об электрической станции.

Высокая механизация, а за последние годы и автоматизация сталеплавильного дела не заменили сталевара, его умения, его мастерства, а иногда и особой одаренности в производстве стали. Пусть нет в наши дни каких-то «тайн» в плавке металла, пусть приборы, вспомогательные механизмы, автоматические устройства значительно помогают сталевару и облегчают его труд. Но и теперь сталевар остается магом и волшебником, творцом и художником в искусстве производства стали, особенно редких марок специального назначения.

Сталь испокон веков была предметом легенд, сказов, таинственных историй. Сталеплавильное дело, процессы в мартеновской печи, кристаллизация стали при остывании слитков до сих пор еще хранят немало «белых пятен».

Так только кажется, что стоит мартеновскую печь залить жидким чугуном, завалить вышедшим в лом металлом, дать необходимые по рецептуре той или иной марки стали добавки — и все.

Нет. Как и любое мастерство, сталеплавильное дело требует не одной лишь квалификации, но и вдохновения.

Вот и сейчас, уже в первой половине плавки, было видно, что выпуск металла мартеновской печи Василия опередит плановое время. Зря толкуют некоторые шибко умные говоруны, что техника — это одно, а человеческая душа — другое. Можно, конечно, доказывать, что жар человеческой души не помогает плавке. Можно! Однако всякий коренной мастер, будь он сталеваром или кузнецом, знает, какому теплу обязаны его удачи. Не зря же говорится, что без «струмента» и блохи не убьешь, без души и гвоздя не скуешь».

Василий, безусловно, был в своем деле поэтом. Пусть муза большого внутреннего огня за последние годы редко посещала его, но сегодня он будет неразлучен с нею. Она не оставит его.

Так веселее же гуди, пламя! Закипай, милая! Гуляй, золотая, огневая пурга! Варись, нержавеющая, нетемнеющая... А потом разлейся, бесценная! Остынь дорогами слитками. Стань добрыми изделиями! Радуй, любимая-несравненная, людей! Так кипи же, кипи-закипай, красавица, веселей в честь дорогого фронтowego дружка-

товарища, распрекрасного мужика Аркадия Михайловича!

— Эй, Андрей! Кинь еще десяток лопат и прибавь факел...

Андрей Ласточкин выполняет приказание. Таким он давным-давно не видел Василия Петровича Киреева. Радует молодого коммунист Ласточкин «классной» плавочке. Верит, горячая голова, в крутой подъем умолкнувшей славы. Верят и остальные, вместе с первым подручным любуясь одухотворенным лицом Василия Петровича, любуясь веселым словом его команды.

— Значит, пойдет дело...

Нет, Андрей Ласточкин! Это преждевременная радость. Домовой грибок — очень серьезное заболевание...

IX

Добраться до такси до Садового городка не составило труда и не заняло много времени. Аркадий Михайлович сразу узнал дом Василия по снимку, который был прислан ему в прошлом году.

Серафима Григорьевна также сразу узнала Баранова. Тоже по снимку. Даже не по одному.

— Милости прошу, — пригласила она его и начала расспрашивать: — Какими судьбами? Надолго ли?

Узнав, что Баранов собирается провести у них свой отпуск, она не выразила большого удовольствия. Зато приезду Баранова невыразимо радовался Прохор Кузьмич Копейкин. Они тоже были знакомы по письмам к Василию. Симпатизируя друг другу заочно, очно они подружились сразу же, что называется, «по гроб жизни».

Пока Баранов переодевался с дороги в отведенной ему на втором этаже светелке, Серафима Григорьевна принялась изрекать:

— Несчастья, как и болезни, редко приходят в одиночку. Сегодня ни с того ни с сего обезножела коза. Будто кто ей подсек ноги. Еле вывели ее с Лидкой на луг. Вчера ночью хорь в курятник подрылся, молодую псушку сожрал. А теперь дружок у Василия Петровича обнаружился.

— Серафима Григорьевна, — увещевал Копейкин, — нельзя же все это на одну нитку низать. Аркадий Михайлович Васю без чувств с минного поля вынес, от смерти спас.

— Я ничего не говорю против этого, Прохор Кузьмич. Только до гостей ли теперь нам...

Серафима Григорьевна, опасаясь при Копейкине выражать недовольство приездом гостя, перешла к разговорам о работах в саду.

Аркадий Михайлович Баранов, одnogодок Василия Петровича, познакомился с ним в первый год войны и провоевал вместе, с небольшими госпитальными промежутками, более трех лет.

Тот и другой служили в саперных частях. Тот и другой подрывались на минах.

После войны Баранов работал в партийных органах Курска, Воронежа, потом в главке, потом где-то еще, а кем именно — Баранов не уточнял. Поэтому в семье Киреевых его и знали главным образом по фронтовым фотографическим снимкам, где он и Василий то в шинелях и шапках, то в гимнастерках и пилотках были сняты на привалах, в строю, во время вручения орденов и на вокзале, при расставании. Баранов Серафиме Григорьевне и Ангелине представлялся военным человеком.

А теперь он приехал совсем другим. Только лицо оставалось тем же, что и на снимках. Моложавое лицо. Улыбчатое, но со строжинкой. И глаза простые, но зоркие. «Проскваживающие такие глаза», — как их определила Ожеганова.

Нельзя было составить о нем суждения и по одежде. С одной стороны, как будто все по моде, до последней пуговицы и ботинка с узким носком. А с другой — это все было как бы для порядка, а не по существу. Едва ли он замечал, что на нем, как сшито и скроено. Бывают такие люди, которым не до себя...

Напившись чаю и подзакусив, Баранов попросил Серафиму Григорьевну показать ему, так сказать, владения.

Серафима Григорьевна, польщенная вниманием к хозяйству, которое она считала своим личным, повела за собой Баранова и начала с сада.

Х

Хотя Серафиме Григорьевне и было без пяти минут сорок шесть годиков, она все еще не переставала баловать себя молодящими нарядами и прибавлять бедрам крахмальную пышность. Не теряла Ангелинина мамаша

виды на возможные перспективы. Надеялась. Вот и теперь она выпестрилась в цветастос. Как бы из уважения к зятеву товарищу, а также в смысле «знай наших».

Если бы не начавшие стекленеть и жухнуть зеленые глаза, если бы не провал щек и предательская дряблость кожи, то еще бы она могла покуковать годок другой-третий, а там бы видно было. Ее плечи можно и по сей день показывать на люди. На суставах рук еще и не думают завязываться старческие узлы. И сумей бы она бросить свои заботы да поднакопить где-нибудь в Сочи пять-шесть кило веса, то при ее-то среднем росте да при складном костяке можно и в обтяжном походить, и покрасоваться на высоком каблуке. Нога у нее меньше дочерниной. Тридцать третий номер. Редкие копытца... Ну да что об этом вздыхать! Либо хозяйство вести, либо себя блюсти. Эти два зайца бегут в разные стороны. Но тем не менее...

Тем не менее почему же не набить себе цену затейливым фасоном, ладной вытачкой, модной складочкой? Почему не подкрасить проседь? Химия — добрая чудесница. Обо всех заботится. На все у нее своя продукция. Даже уши можно так подрозовить, что и растворителем не смоешь.

Это к слову. А теперь по ходу дела.

— У нас, Аркадий Михайлович, изволите видеть, два сада. Даже три, разгороженные в один. Это вот старые сады. Бывшие садовые участки — дочкин и зятев. Тут уже яблоки были, а смородины — не обобрать. С малиной тоже еле справились. А это, прошу вас, новый сад. Его мы заложили, как начаться строительству.

Так говорила Ожеганова, показывая себя и свои владения.

Баранова неожиданно заинтересовала неизвестная для него плантация:

— А это что, Серафима Григорьевна?

— Смородиновый питомничек, — ответила она. — Кусты из черенков выращиваем.

Аркадий Михайлович остановился:

— Интересно. Тут, я думаю, их никак не меньше пятиста.

— Нет, тысяча двести, — поправила Серафима.

— Куда же столько? — спросил в простоте Баранов.

— Ну, так ведь тому куст, другому два... Глядишь, и две тысячи кустов не цифра. А смородина редкая,

«Лия-великан». Не поверите, чуть не по волоцкому ореху случаются ягоды. Разбирают эти кусты, только успевай выкапывать...

— Торгуете, стало быть, кустиками?

Ожеганова замаялась:

— Торговать не торгуем, а услуги оказываем. Конечно, кое с кого приходится и деньгами брать... Дом-то ведь выпил нас, Аркадий Михайлович. Вот и приходится тишком от Василия Петровича то смородиновыми кустиками лишнюю копейку добыть, то цветами крышу покрасить. Помогать ведь надо хозяину. Жалеть надо его. Так вот я и свожу концы с концами. Да и зачем же земле даром пропадать? Негосударственно.

— Что и говорить,— усмехнувшись, согласился Баранов.— А это?— обратился он внимание на вольер, где расхаживали белые куры.

— Курицы, Аркадий Михайлович. Неужели вы такой уж городской житель, что кур не признали?

— Пока еще курицу с голубем не путаю. Просто удивился количеству. Двадцать?

— Тридцать одна. Теперь-то уж двадцать восемь осталось. Одну хорь намерен прикончить, а сегодня двух в вашу честь жарим.

— Я очень сожалею,— сказал Баранов.— Но и двадцать восемь кур тоже лишковато.

— Да кто его знает, Аркадий Михайлович... Но ведь если разобраться и вдуматься, то получится: что за десятком ходить, что — за тремя. Да и нагрузка на петуха правильная,— попыталась она пошутить, но Баранов не принял шутки.

Они пошли дальше. Возле сараюшки послышалось хрюканье.

— Ого! Значит, и свиноферма своя, Серафима Григорьевна! Сколько их у вас?

— Трое.

— Правильно. Что за одной свинкой ходить, что — за тремя.

— Вот именно, Аркадий Михайлович. Золотые слова! Свое мясо едим, свои окорока солим.

В это время из свинарника на прогулочный дворик, огражденный невысокой балясниковой изгородью, вышла огромная свинья с доброй дюжиной поросят. Белая, холеная, отличная свинья. Аристократка. Из столбовых. Не без английских кровей красавица.

Баранов залюбовался степенностью, неторопливостью животного, переступавшего своими короткими ножками с достоинством обладательницы великолепных, рожденных словно специально для кинематографа, розовых поросят.

— У вас, стало быть, и свиноматка своя?

— Да еще какая! Редкостная. Золотую могла бы получить. Да не хочу. И без того завистников достаточно.

— А зачем она вам, эта свиноматка, Серафима Григорьевна?

— Вот вам и здравствуйте! — удивилась Ожеганова и тут же разъяснила: — Каждый год поросят не напокупаешься. Да и какие попадут... Купишь за скороспелых, а тебе такой мусор продадут, что за год и пудового боровка не выкормишь. А это уже свой завод. Точно знаешь, какой приплод, какой привес.

— Да, тут уже не может быть ошибки, — не без ехидства согласился Баранов. — Но приплод слишком велик. С ним много хлопот. Вам для откорма нужно не больше двух, а остальных куда?

Серафима Григорьевна весело расхохоталась:

— Были бы поросята, а поросятники находятся! То кровельщикам пару боровков, то за доставку досок свинку. Мало ли дыр-то при своем доме! Хоть бы то же сено для коз взять. Что ни поросенок, то воз. У окрестных колхозов такой породы нет, а у меня она есть. Ты мне — сено, я тебе — редкую породу.

— Так у вас и козы свои?

— Да. Тоже редкие козы, Аркадий Михайлович. Помесь с пензенскими. И молока невпроед, и пуху не вычешешь. Не хуже гагачьего. Такие шали у Ангелиночки получают, что в перстенок можно продеть. Она теперь не работает у меня. Да и зачем? Шаль свяжет — вот тебе и месячное жалованье в диспетчерской. А долго ль шаль связать?

— Ну да, конечно. И ездить на завод не надо... А Василий согласился на уход Ангелины Николаевны с работы? — спросил Баранов.

— Какое там согласился? Возражал. И круто возражал, — степенно объясняла Серафима Григорьевна — Ну да ведь он у нас человек логический и здравомыслимый. Умные слова от него не отскакивают. Я подсчитала ему, во что выливается это все и в рублях и в часах.

— И он понял?

— Понять, может, и не совсем понял, а спорить не стал. Не стал свою точку защищать.

«И я не буду спорить и защищать свою точку», — решил про себя Баранов, желая лучше узнать и понять эту расторопную женщину с мягким голосом и твердым характером. А Серафима Григорьевна, поощренная интересом Баранова к ее хозяйству, расхваливала своих коз, приплод от которых тоже не шел «вразрез целесобразности жизни».

— Пруд-то Василию Петровичу козлята да поросята вырыли.

— Какой пруд? — изумился Аркадий Михайлович.

— Милости прошу, — пригласила Ожеганова. — Форменный рыбий садок. Извольте посмотреть.

Она подвела Баранова к прямоугольному водоему длиной до пятнадцати и шириной примерно до десяти или более метров. Вода водоема была прозрачна. Не напрыгаясь можно было увидеть крупных рыб и молодь. Это были преимущественно карпы.

— Часами Василий Петрович на рыбу любит. И нет для него лучшего развлечения, чем кормить ее. Киньте-ка вы им, Аркадий Михайлович, корочку... вот на столбике сохнет. Да посмотрите, что будет.

Баранов последовал совету Ожегановой. И как только хлебная корка оказалась в воде, началось невероятное. Одна, другая... Десяток... Два десятка мелкой и крупной рыбы ловчились схватить черствую корочку.

— Это я Василия надумила свой пруд выкопать. Болотце на этом месте стояло. Потому что низинка. Аккурат перед этой низинкой, где мы стоим, наша изгородь кончалась. Я и говорю: «Плохо ли будет для Садового городка, Василий, если ты в противопожарном отношении прудок выроешь?» А его как осенило. Он живехонько в райисполком. А там с превеликим удовольствием разрешили ему вырыть этот прудок. На случай если пожар в городке, то не одна тысяча ведер обеспечена. А он за это попросил пригородить болотце или, стало быть, будущий пруд к своему участку. Потому что должен же он как-то покрыть свои траты на пруд. Вот и завел рыбку. А если пожар, руби изгородь и хоть всю воду высоси. С умом ведь дело сделано?

— Да еще с каким, Серафима Григорьевна! Вам бы совхозом руководить...

— Куда там! А вообще-то — я бы могла...

Разговаривая так, Аркадий Михайлович и Серафима Григорьевна и не заметили, как раскрылись ворота и как появился маленький серенький «Москвич», а в нем — Василий Киреев.

XI

Снова пришел тихий розовый вечер. В стороне, у маленького прудика, в честь дорогого гостя Аркадия Михайловича был вынесен и накрыт большой стол.

Хозяйничала Серафима Григорьевна. Сегодня, как ею было замечено, она зарезала двух кур. Как ни считай, а за столом, кроме нее, будет семеро: четверо Киреевых, Баранов и двое стариков Копейкиных. Пришлось пригласить и их. Потому что Прохор Кузьмич с первого часа приглянулся Аркадию Михайловичу. А вчера Копейкин на свои, на пенсионные, выставил две «чекушечки» в знак сочувствия к Василию Петровичу в смысле домового грибка.

Говоря по правде, Серафиме Григорьевне было жаль в самое ноское время жарить двух несушек, но курицы были очень старые и когда-нибудь их нужно было отправить на сковородку.

Киреев и Баранов ловили рыбу. Вернее, ловил Баранов, а Василий насаживал на крючок хлебные шарики.

— Ты, Аркадий, не торопись,—предупреждал он друга,—дай ему, понимаешь, заглотнуть, а потом тяни. Да эластично тяни, чтобы не вырвать губу.

Аркадий Михайлович так и делал. Рыба, кишмя кишевшая в водоеме, видимо, недоедала, поэтому клевала отчаянно. Но не всякая из них была годна на сковороду. Мелочь осторожно снимали с крючка и бросали в пруд.

— Рано ей еще на столе быть. Пусть подрастет.

Брошенный в пруд карпешка давал стрекача, вызывая радость и смех товарищей.

А за изгородью, никем не замечаемые, наблюдали за ловлей карпов горящие мальчишечьи глаза страстных рыболовов. Их сердчишки бились, выстукивая: «Вот бы нам выудить такую!»

Ангелина и младшая дочь Киреева Лидочка тут же потрошили пойманных карпов и укладывали на сковороду вместе с тонкими ломтиками картофеля.

— Красота! — воскликнул Василий.

— Красота! — повторил Аркадий.

— Свежее не может быть рыбы. Стерлядь пробовал пускать в пруд, да не живет в непроточной воде. А ерши есть. На хлеб они, изверги, понимаешь, никак. Их надо на червей. В другой раз я тебе налажу ершиную снасть. Знатную съедим уху.

Они то и дело обменивались улыбками, то один, то другой начинал:

— Ты помнишь, Вась, когда мы наводили мост...

Или:

— А ты еще не забыл, Аркадий, как под Смоленском ночью...

И несколько сказанных слов воскрешали пройденное, прожитое. Вспоминаемые дороги смертей и страданий, огня и крови, атак и окружений заставили того и другого задуматься над тем, как скоро человек забывает прошлое.

— Как мы только выжили тогда, Аркадий?.. Мне и до сих пор снятся сны, в которых я погибаю,— признался Василий.— То, понимаешь, подрываюсь на mine, то, понимаешь, тону...

— И я тоже,— пожимая ему руку, тихо сказал Баранов.— От этих снов, видимо, не уходит ни один фронтовик.

Они не могли наговориться. Им нужно было так много сказать важного, а в результате все свелось к грибку. К домово́й губке. Никуда от нее не мог уйти Василий Петрович. Даже в этот вечер такой радостной, такой долгожданной встречи с Аркадием Барановым. Губка надрывно ныла в душе Василия, ни на минуту не давая забыть о себе.

И когда были съедены карпы, когда зубы гостей и хозяев ценой немалых усилий обглодали кости кур, Василий Петрович поведал о несчастье, постигшем его дом.

— Эта губка, понимаешь,— сказал он,— съедает дерево, как туберкулез легкие. Мы вот тут, понимаешь, сидим, говорим, а она его ест и ест...

Выслушав друга, Аркадий Михайлович довольно спокойно сказал:

— Оттого, что мы будем переживать и хмуриться, твоя губка не приостановит свою разрушительную работу. Я уже кое-что слышал о ней от Прохора Кузьмича. И нахожу, что ничего страшного нет. Из такой ли беды мы выходили с тобой, Василий!

— Это так, Аркадий,— не очень охотно согласился

Василий,— но где взять денег? Это ведь, понимаешь, капитальный ремонт. Капитальный! Весь пол, все балки, новый накат... А заработки мои пали.

— Как же это так? Почему?

— Даже не знаю. Или я устаю по хозяйству. Или, понимаешь, фарту не стало... Только нет уже теперь у меня, почти нет, тех плавок, что были раньше. Случаются, конечно, удачи. Сегодня, например... А вообще-то редко. А если удач нет, нет и этих самых, без которых ни доски, ни бревна на лесном складе не дадут.

— Это плохо, но голову вешать не надо. Твоя теща Серафима Григорьевна — женщина, как мне показалось, хозяйственная, хорошо знающая и меру и цену вещам,— осторожно заметил Баранов,— у нее, я думаю, найдется кое-что для такого случая.

Василий Петрович настороженно оглянулся, проверяя, не слышит ли кто-нибудь их разговор. И, убедившись, что поблизости никого нет, все же предложил пройти в дальний угол участка, заросший густым малинником. Там он спросил Аркадия:

— Ты думаешь, у нее могут найтись деньги?

Аркадий Михайлович, не пряча улыбки, сказал:

— Не я один так думаю.— А потом как бы между прочим заметил: — Умнейший человек Прохор Кузьмич Копейкин. Если я обоснуюсь здесь на самом деле, он у меня будет первым советчиком и консультантом.

— Да, он весьма и даже очень башковит. Но как-то, понимаешь, легковат в словах и делах. Будто не живет, а порхает. А порхание ему уже не по годам. Он тебе, что ли, сказал про тещины деньги?

Баранов на это ответил так:

— Намекнул.

Василий Петрович вздохнул, потом сорвал малиновый лист, помял его в руках. Понюхал и спросил:

— А откуда у нее могут быть деньги?

— Вась! — сказал Баранов, кладя на плечо товарища руку.— Хорошо быть простым человеком. Простым, но не простаком. Иногда нужно кое-что не замечать «по целесообразности жизни», но жить с закрытыми глазами едва ли следует. Я ничего не утверждаю пока, Василий, но думаю, что все эти козы, свиньи, плантации заведены Серафимой Григорьевной не для научно-познавательных целей и не ради любви к живой природе. Или я ошибаюсь?

Василий подумал о чем-то, что-то взвесил в уме, потом сказал:

— Конечно, я ее не учитывал. Но ведь, Аркадий, понимаешь, рента, подходящий, страховка... Я ничего этого не знаю. Всё она. Это с одной стороны.

— А с другой?

— А с другой, понимаешь, к ней ходит эта Панфиловна. С виду божья коровка, а вникни — ядовитая паучиха-крестовичиха. Видеть ее не могу. На порог бы не пускал... Но ведь не запретишь же, понимаешь, теще...

— Конечно, конечно, — ответил нейтрально Баранов.

Василию не хотелось верить, Василий боялся верить и тем более признаться, что мать Ангелины способна вести двойную игру. Но чего ради доброжелательному человеку Баранову ни с того ни с сего порочить его тещу? Может быть, на его свежий глаз виднее это все, чем ему, привыкшему доверять во всем Серафиме Григорьевне? Никак нельзя было заподозрить в клевете или склочничестве и Прохора Кузьмича.

— Как ты можешь, Аркадий, и дня не прожив, сориентироваться во всем? Наверно, это у тебя с войны. Помню, бывало, зайдем населенный пункт, у которого мы и названия не слыхивали, а ты сразу разбираешься, где, что и что к чему. Да и людей взять. Случалось, человек и рта не раскроет, а ты по глазам читаешь его биографию. Это, верно, дар в тебе такой?

Сказав так, Василий снова задумался. Зерна сомнений заставили его кое-что вспомнить. И это «кое-что» не обеляло его тещу.

— Может быть, ты и прав, Аркадий, — продолжал Василий. — Но у нас, понимаешь, с нею очень хорошие отношения. И я не могу их портить. Ради Лины. Ради себя. Как я посмею начать разговор с ней на эту, понимаешь, довольно щекотливую тему? У нее, наверно, есть сбережения. И если ей намекнуть... Хотя бы взаимно... или как-то еще, но под благовидным, понимаешь, предлогом и без обид найти вежливые ключи...

Василий Петрович сорвал еще один малиновый лист и растер его в руках, потом чуть ли не шепотом стал признаваться:

— Я очень, понимаешь, люблю дом. И дом будто в самом деле не дом, а я сам. И будто гибнет не он, а я...

Мне очень нужно, Аркадий, для моего самочувствия вы-
лечить дом от губки.

Лицо Василия Петровича теперь нескрывасемо выра-
жало страдание, даже вздрогнули губы.

Заметя это, Баранов пообещал:

— Поищем «вежливые ключи». И если, на худой
конец, постигнет неудача, заем найдется. На этом и
порешим.

На этом и порешили.

ХИ

Аркадию Михайловичу была отведена светелка на
втором этаже. Туда он и отправился. Василий Петрович
решил проведать кур. Теперь он это будет делать еже-
дневно. Хотя подкоп хоря и был засыпан щебенкой, пе-
ремешанной с битым стеклом, все же надо погляды-
вать. А вдруг хитрый гость из соседнего леса ведет но-
вый ход?

Но все обстояло благополучно. Вернувшись в дом,
Василий застал Лину спящей. Тут нужно было бы при-
писать еще несколько строк и полюбоваться вместе с
Василием Петровичем живописно покоящимися на по-
душке пепельными косами молодой женщины, подивить-
ся ямочке на ее плече и увидеть, как она улыбается
кому-то во сне. Эти улыбки во сне хотя и наводили
Василия Петровича на некоторые размышления, но раз-
ве человек волен в своих встречах во сне? От таких
встреч никуда не уйдешь. Лишь бы их не было наяву.

И Василию Петровичу снились всякие сны. Разные
свидания случались во сне у него. Но это было до же-
нитьбы. А после нее он видел другое. Дом. Цветущий
сад. Огромных налимов и осетров. А сегодня, если он
уснет, ему будет сниться губка или хорь, крадущийся,
скалящий на него острые зубки и шурящий свои под-
лые, злые глазки.

Василий спал тревожно. И снился ему действительно
хорь. Он был в сапогах, в шляпе и с ружьем. Как тот
знаменитый сказочный кот на обложке книги, которую
давным-давно Василий Петрович купил своей дочери
Лидочке. Василий Петрович, вооружившись двуствол-
кой, крался по кустам и стрелял в хоря. Но дробь по-
чему-то отскакивала от зверя, и хорь смеялся над ним.

Снилась и губка. Она была живой. Дышала и шипела: «Съем, съем, съем...»

А потом снилась Серафима Григорьевна. Поминутно оглядываясь, она шла по окраинным улицам города. За нею по-пластунски полз, как это было на фронте, Аркадий Баранов. И когда теща свернула в переулок, где стоял небольшой дом с вывеской «Сберегательная касса», Баранов схватил Серафиму Григорьевну за подол юбки, крикнул: «Так вот где твои денежки!»

Это уже было под утро. Киреев проснулся и, словно желая уйти от сна, выбежал в трусах и майке из дому. Подбежав к пруду, он стал плескать на свое лицо воду одну пригоршню за другой, будто желая вымыть из своих глаз нехороший сон.

Утро в киреевском доме началось, как всегда, стремительно. Нужно было накормить «самого» и его сына Ивана, отправлявшихся на завод. К столу были поданы не доеденные вчера карпы и по крылышку вчерашних кур. Без того жесткое мясо за ночь усохло так, что зубы не могли сорвать его с костей. Оставив крылышко, Василий Петрович обратился к Серафиме Григорьевне:

— Мамаша, я с вами никогда повелительным голосом не разговаривал и главой этого дома себя не считал. Поэтому почтительно прошу вас, мамаша, учесть, что я, понимаете, обязан этому человеку моей жизнью. И если для него нужно будет распилить пополам это красивое сооружение с кружевными наличниками, покрашенными стопроцентными свинцовыми белилами, то я распилю его. Поэтому, мамаша, когда вам вздумается еще раз готовить куриное блюдо, то, понимаете, поинтересуйтесь годом рождения курицы, прежде чем ей отрубить голову...

Никогда еще таким не видела Серафима Григорьевна своего зятя. Она даже и не представляла, что в этом покладистом добряке могут найтись такие тихие и такие каменные слова. Да и сам Василий Петрович удивился первой размолвке с тещей. Неужели сон был виной этому или догадка о сбережениях Серафимы Григорьевны? Вернее всего, что причиной этому были только старые куры. Но...

Но если она могла подать к столу в день долгожданной встречи оскорбительно жесткую курятину, если она могла наводить экономию такого рода, значит, она мог-

ла скрытно от него и, может быть, от дочери проворачивать и другие дела.

Не зря же в первый день приезда в умную голову Аркадия заползли такие мысли. Не зря же, наконец, снятся такие сны! Ведь человек не может увидеть во сне того, что ему не известно или о чем он не думает днем.

Вышел из-за стола Василий Петрович голодным. Он даже не стал пить парное козье молоко, которое любил. Его сегодня сердило и то, что Ангелина не вышла к столу, хотя она и до этого просыпалась позднее других.

Сын Иван, как обычно, молчал. Наскоро позавтракав, он побежал заводить и разогревать «Москвича», Василий Петрович тем временем надел спецовку. Он не переодевался на заводе, чтобы не терять времени.

Уезжая, Киреев сказал теще:

— Так, я думаю, вам понятна линия в смысле гостеприимства Аркадия Михайловича?

Это было сказано на крыльце, сказано подчеркнуто официально. Баранов уже проснулся и через открытое окно слышал их разговор. Он также слышал, как после отъезда Серафима Григорьевна поднялась наверх и, пройдя в соседнюю светелку, шепотом стала будить дочь Василия:

— Солнце-то уж вон где, Лидия...

— Я сейчас,— ответила девушка.

Через тесовую перегородку слышалось, как торопливо одевается и обувается Лида, как спешит она по лестнице. Потом он увидел в окно, как Серафима Григорьевна у крыльца сунула Лиде бутылку с молоком и сверток, сказав:

— На вольном-то воздухе слаще поешь. И умоешься там же, на ключике. Здоровее будешь.

Затем были выгнаны три козы и два козленка.

Козам не терпелось. Им хотелось есть. Они тянули Лиду, еле удерживавшую концы привязи. Козлята резво бежали за самой большой, коричневатой, хорошо вычесанной козой.

Когда едва успевающая за козами Лида скрылась за воротами, появилась старуха с двумя пустыми корзинами.

— Григорьевна! — крикнула она. — Уехал сам-то?

— Тсс! — предупредила ее Ожеганова. — Гостя разбудишь, — сказала она, оглянувшись на занавешенное окно, не думая, что Баранов наблюдает за ними.

Потом женщины, шепчась, прошли за огород. Баранов не видел того, что они там делали. Зато позднее об этом рассказал Прохор Кузьмич.

Час за часом открывалась не очень приглядная картина жизни этого дома. Это была чужая и даже враждебная Баранову жизнь. Он и не предполагал встретить Василия в таком окружении, которое, кажется, засасывает его простого и доверчивого друга. Он, может быть, и не замечает этого. Случается, что люди привыкают к дурному запаху и с годами не чувствуют его. Иль, выпивая рюмку водки, не придают этому значения, а потом, втянувшись, не могут жить без нее и становятся алкоголиками.

Мало ли знает Аркадий Михайлович примеров, когда опускающийся или ошибающийся человек искренне и убежденно не замечает этого. Не хитрит же с Аркадием его друг Василий. Не хитрит, но, может быть, обманывает себя? Ищет оправдания, занимается самовнушением? Такое ведь тоже бывает! Даже явно виновные люди всегда хотят оправдаться перед своей совестью и найти смягчающие вину обстоятельства.

Но это пока размышления. Первые впечатления могут быть обманчивы, и пока еще рано делать какие-то заключения. Поэтому Аркадий Михайлович решил копнуть поглубже и познакомиться покороче со всеми, кто населяет дом Василия. Этого требовала не простая любознательность. Во-первых, для Баранова была не безразлична судьба Василия, а во-вторых, Аркадию Михайловичу хотелось воспользоваться случаем и получше узнать людей, подобных Серафиме Григорьевне, узнать, как и чем живут такие люди.

ХIII

Аркадий Михайлович принадлежал к людям, которые едят крайне мало. Но на этот раз он уплетал за обе щеки. Ему страшно хотелось как можно лучше понять те стороны души Серафимы Григорьевны, которые, как ему казалось, она искусно прятала от постороннего глаза.

Он уже был сыт сверх меры. Но, покончив с одним стаканом сметаны, принялся за второй. Положив три ложки сахарного песка, он добавил четвертую и потом

пятую. Очистил два яйца, сваренных вкрутую, придвинул к себе тарелку с парниковыми огурцами.

Ожеганова силилась улыбнуться и не могла. Как ни старалась она сказать что-либо ласковое и гостеприимное — не получалось. От пронизательных глаз Аркадия Михайловича не ускользнуло ни одно выражение ее лица, он чувствовал, как Серафима Григорьевна смотрит ему в рот и мучительно переживает каждый его глоток, каждую съеденную им ложку сметаны. Баранов, уже не в силах больше есть во имя исследования скаредной души Ожегановой, поблагодарил. Она повеселела, сверкнула, мигнула левым глазом, как вчера, когда Баранов похвалил ее хозяйство.

Поблагодарив хозяйку еще раз и выразив изумление ее необыкновенной способности вести хозяйство, он вдруг сказал:

— Был у меня один знакомый. Из хозяйственных мужиков. Дока. Так этот деловой человек считал, что правильнее всего превращать деньги в недвижимое или в такие вещи, которые никогда не упадут в цене.

Баранову хотелось знать, заинтересует эта тема Ожеганову или нет, продолжит она разговор или не обратит на него внимания. Серафима Григорьевна оживилась:

— А почему правильно?

— Деньги, как и цены, вещь переменная. А куст смородины — всегда куст. Или взять козу. Это вам не сберегательная касса, где больше трех процентов не платят.

— Да кто его знает... — сказала, раздумывая, Серафима Григорьевна. — Коза может сдохнуть, смородина — засохнуть, вот тебе и... — Тут она остановилась, желая скрыть свою заинтересованность и, вздохнув, пожалела: — Нам-то что до процентов, когда их не с чего получать!

Из ее ответа Аркадий Михайлович понял, что, во-первых, у Ожегановой есть деньги, а во-вторых, вот эти деньги она в сберегательной кассе не хранит. Проверив свой домысел, он как бы между прочим заметил:

— Но если они случаются, их, наверно, лучше всего хранить на сберкнижке. Никаких хлопот, и обеспечена тайна вклада...

— Обеспечена? — Серафима Григорьевна лукаво хихикнула. — Девчонки же там сидят! Девчонки! Одна другой по секрету, другая — третьей... Вот вам и тайна!

Поддержав таким образом разговор, она снова спохватилась. Как ни хитра и ни осторожна Серафима Григорьевна, она не была умна и, скажем прямо, в чем-то даже глуповата.

— Впрочем, зачем об этом думать? — снова заговорил Баранов. — Нам тайну вклада хранить незачем. Все на виду. Да и нужно ли таиться, особенно теперь, когда ожидается обмен денег? — Интересно, как отзовется на это Ожеганова.

— Вот именно, — подхватила Серафима Григорьевна. — Тут уж таи не таи, менять придется... Только не возьму в толк, сколько ни думаю: зачем понадобился такой обмен?.. Разве эти деньги плохи!

— Государству виднее, Серафима Григорьевна, — зевая, уклончиво ответил Баранов, ожидая нового вопроса.

И этот вопрос последовал.

Именно его он и ждал:

— А как их менять будут, Аркадий Михайлович?

— Как написано. Рубль за десятку. Десятку за сотню. И соответственно все в десять раз дешевле. Разницы никакой. Ни прибыли, ни убытка.

Но не этого ответа ждала Ожеганова. И Баранов отлично понимал, что ее интересует порядок обмена. Серафима Григорьевна долго искала слова, а потом спросила:

— А какой он будет, обмен? В кассах или приходить куда будут люди?

— Паверное, в кассах. У кого на книжке тысяча — перепишут на сто рублей. И все.

— А у кого не на книжке, а в кубышке, тому как? — с шутливой игривостью спросила Ожеганова.

Аркадий Михайлович сделал вид, что не расслышал, но Серафима Григорьевна повторила вопрос в новом, затемненном виде:

— Старуха ко мне ходит. Помогает кое в чем. На смерть копит. Дома деньги держит. Не посоветовать ли ей их на книжку переложить?

— Право, не знаю, Серафима Григорьевна, — ответил Баранов и в упор посмотрел своими смеющимися глазами в бегающие глазки Серафимы Григорьевны.

Он посмотрел так, будто заглянул в ее нутро и увидел там спрятанное ото всех. Ожеганова не выдержала его взгляда.

Баранов теперь знал твердо, что у нее есть тайные и

немалые сбережения. Он с укоризной глядел в ее глаза и сдерживал себя, чтобы не бухнуть:

«Как вам не стыдно! Муж вашей дочери теряет голову, не знает, где найти средства, чтобы привести в порядок дом. А вы утаиваете деньги, копите их, оставаясь равнодушной к горю человека, которому вы обязаны всем, в том числе и возможностью красть...»

Но так сказать он не мог. Это было бы слишком. Это могло бы внести разлад в семью. Да и, кроме того, убежденность — еще не доказательство. И Баранов посоветовал:

— Было бы неплохо, если бы ваша знакомая старуха, которая копит деньги на смерть, дала бы их взаймы Василию. За ним не пропадет. Я, например, собираюсь ему предложить из своих отпускных...

Опять сверкнул-мигнул левый глаз Серафимы Григорьевны, и она сказала:

— Какой вы разумник, Аркадий Михайлович! Я, пожалуй, потолкую с Панфиловной. На половину пола у нее, я думаю, наберется, да вы дадите, — вот и новый пол...

XIV

После этой беседы с Ожегановой Аркадий Михайлович уже не предположительно, а определенно мог судить о теще Василия. Ему было жаль Василия и его детей. Особенно Лидочку.

Баранову вдруг захотелось узнать, где Лида пасет коз, поговорить с нею, выяснить, как живет ей в новой семье отца.

Ничего не спрашивая у Серафимы Григорьевны, чтобы не навлечь излишнего недоброжелательства, он только сказал ей:

— Хочу побродить по окрестностям, — и ушел.

Садовый городок оказался невелик, и не так трудно было найти Лиду. Он встретил ее на опушке березняка. Лида вязала березовые веники.

— Какая удачная встреча! — начал Баранов. — Вот теперь давай знакомиться как следует, Лидочка.

— А мы и так хорошо знакомы, Аркадий Михайлович.

— Ну, все-таки. Я очень мало знаю тебя и о тебе, Лида.

— А я много знаю о вас, Аркадий Михайлович. И о Ксении Ивановне, и о Лиде, и о Володе. Ваш Володя, наверно, будет очень хорошим строителем.

— А почему ты так думаешь?

— Потому что у него между бровей, как и у вас, очень серьезная складка.

Баранов расхохотался.

— Сколько тебе лет, Лидочка?

— Больше, чем есть. А сейчас меньше...

— Что за загадки. Почему меньше?

— А мне так хочется,— ответила Лидочка не без проники.— И мне веселее, и вам проще разговаривать со мной.

Баранов почувствовал себя смущенным. Лида в свои шестнадцать лет действительно была куда взрослее. Меняя тему разговора, Баранов спросил:

— Куда столько веников? Их за год не измести.

— Но в конце зимы они стоят недешево.— В звенящем голосочке Лиды опять послышались нотки насмешливости.

— Серафима Григорьевна и вениками торгует?

— Нет. Она только оказывает услуги. Она очень любит оказывать услуги.

— А у тебя с нею хорошие отношения, Лида?

Лида улыбнулась. Потом прищурилась:

— Какой вы хитренький да любопытненький, Аркадий Михайлович... А я такая глупенькая и такая болтливая, что мне, наверно, ничего не удастся от вас скрыть. Да, конечно, я безумно «люблю» Серафиму Григорьевну, но еще больше — Панфиловну.

— А она-то тут при чем?

— При Серафиме Григорьевне. Вы знаете, Панфиловна ужасно заботливая старушка. Она даже заботится обо мне. О моей душе даже.

Баранов не сразу понял, о чем идет речь, и Лидочка разъяснила:

— Эта Панфиловна обещала мне счастье на небесах, в загробном мире, и даже подтвердила свои обещания на земле.

— Чем именно? — насторожился Баранов.

— Она показала мне маленькие часики «Заря» и обещала подарить, если я вступлю к ним в секту.

Аркадий Михайлович не верил своим ушам:

— В какую секту, Лида?

— В какую-то ужасно божественную. Я не спросила, как она называется.

— И что же ты? — Баранов с тревогой взглянул на маленькие часики на руке Лиды.

— Поблагодарила за внимание и сказала, что на таких условиях мы, пожалуй, вступим в секту организованно — всем классом, только сначала я поговорю с классным руководителем. И Панфиловна сразу перестала заботиться о моей, как она говорила, юной и грешной душе.

Заметив, что Баранов смотрит на ее часики, Лида добавила:

— А потом обо всем узнали мой брат и Миша Копейкин. Как они испугались! Просто ужасно испугались!

— Чего же они так испугались?

— Моего соблазна. И... купили часики. Вот они. В складчину. Ужасно точные. Теперь-то я наверняка не вступлю в секту.

Глаза Лидочки сияли, смеясь. Аркадий Михайлович и не предполагал, что в этой простенькой на вид девчонке столько юмора.

— А Серафиму-то Григорьевну Панфиловна не вовлекала в свою секту? — на всякий случай спросил Баранов.

— Что вы, Аркадий Михайлович! Как вы могли подумать такое? Серафима Григорьевна такая передовая женщина, у нее на все такие твердые взгляды и такие серьезные суждения. Она сама по себе секта.

— Да ну? И какая же? — улыбнулся Баранов меткому сравнению.

— Об этом вам лучше поговорить с моим братом или с Мишей Копейкиным. Они уже имеют право голоса, а я только паспорт получила. Я пока еще безголосый человек, и мне можно думать, но не очень разговаривать о взрослых делах. Не так ли?

Теперь смеялись не только ее глаза, но и вся она, кажется, даже пальцы и даже часы «Заря» на ее руке. Знает ли обо всем этом Василий? Знает ли он характер своей дочери? Знает ли он мысли Лидочки? Или она для него все еще ребенок?

Эх, Василий, Василий, всем, даже детям, многое понятно в обстановке, в которой ты живешь, и только тебе кажется, что ничего не происходит в твоём доме!

— Лидочка, я понимаю, — продолжал Баранов раз-

говор,— тебе трудно быть откровенной со мной и говорить об отце, об Ангелине Николаевне. Это хорошо, что ты рассказала мне о Панфиловне. Но я хочу знать о тебе, о твоей жизни, и не ради праздного любопытства. Может быть, надо тебе в чем-то помочь? Скажи мне прямо.

На это Лида ответила, не иронизируя, не прячась:

— Мне ничуть не трудно быть откровенной с вами. Даже необходимо. И мы уже советовались с Ваней и Мишей Копейкиным и решили обязательно воспользоваться вашим приездом, чтобы...

— Чтобы что?

— Только вы это можете сделать для нас... для меня... нет, не для нас, а для папы...

Баранов обрадовался такому повороту в разговоре:

— Я готов, Лида. Скажи, что я могу для тебя сделать?

— Нет, нет, нет...— поспешно возразила Лидочка.— Для меня самой ничего не надо. Вы не думайте, что мне плохо живется. Это только со стороны я выгляжу какой-то Золушкой... И никакая я не Золушка! Я могу и уйти и оставить всех этих коз, свиней и кур. Ваня наш очень хорошо зарабатывает, он ведь уже третий подручный сталевара. А у моей бабушки пенсия большая. Мы совсем ни в чем не нуждаемся... Да, да, не нуждаемся. Как и Копейкины тоже...

— Так почему же,— недоумевал Баранов,— ты венки вяжешь, встаешь чуть свет, в доме работаешь без отдыха?!

— Для отца. Я люблю отца, Аркадий Михайлович. Я его люблю, может быть, больше, чем мою бабушку. И Ваня любит. Он так им гордится! Отец очень хороший. Он превосходный человек. Вы слышите: превосходный! И я никому не позволю... Вы слышите: никому не позволю даже сомневаться в этом... Ему только надо бы... надо бы немножко помочь...

Баранов посмотрел на возбужденную Лидочку, подождал, пока она немного успокоится, и попросил:

— Говори, Лидочка. Я слушаю.

— А что еще говорить? И так все понятно. Не можем мы оставить отца одного, без нас. Пусть мы пока молчим, но молчание тоже влияет.

— На кого? — спросил Баранов.

— Аркадий Михайлович, да разве вы сами не ви-

дите, что тут происходит? Если мне не верите, спросите у Прохора Кузьмича.

— А он, кажется, тоже в кабале у Серафимы Григорьевны? — осторожно сказал Аркадий Михайлович.

— Да что вы, Аркадий Михайлович? В какой кабале? В кабале только папа... У Прохора Кузьмича свой домишко на Старогуляевской улице. Правда, жить там тесновато. Его старший внук женился. Но жить можно. Он может от нас уйти хоть сейчас. Но Прохор Кузьмич любит сад. Любит землю. Любит природу, лес, птиц. И папу любит. Поэтому и согласился жить в садовом домике. А Серафима Григорьевна повернула все по-своему. Воспользовалась этим и стала выжимать для себя пользу... Серафима Григорьевна из всего делает пользу. Даже из моей любви к папе.

— А почему ты не поговоришь с отцом?

Лида вместо ответа посмотрела на часы и весело сказала:

— Ого, уже сколько! Пора гнать мое стадо, и ужасно хочется есть. Мне никогда не хватает завтрака. Я же расту. А бутылка козьего молока — какая же это еда при физической работе? Правда?

Она явно не хотела продолжать разговор.

Вместе они принялись отвязывать коз, и, когда Лида нагнулась, Баранов невольно залюбовался ее длинными светлыми косами.

Аркадию стало ясно, что нужно вмешаться в жизнь Василия.

— Ты води коз, — сказал он Лиде, — а я понесу веники. Должна же Серафима Григорьевна извлечь пользу и из моей любви к тебе и к твоему отцу!

С этого дня между Лидочкой и Аркадием Михайловичем установилась дружба. Они хотя и не договаривали всего, но стали тайными союзниками.

Откуда же все-таки появляются люди, подобные Серафиме Ожегановой? Что питает их душу? Что порождает стяжательство, ненасытность, страсть наживы?

Эти вопросы, волновавшие Баранова, прояснил Прохор Кузьмич Копейкин. Баранов частенько беседовал с этим любопытным человеком. Зашел разговор и о жизни Серафимы Григорьевны. То, что рассказал Прохор Кузьмич, — это рассказ не об одной лишь Ожегановой. Поэтому стоит послушать и нам Прохора Кузьмича.

Послушаем.

— Я, Аркадий Михайлович, не все про жизнь Васинной тещи досконально знаю, но про кое-что слышал от ее земляков. Наш край не только по рудам да по прочим дарам земли удивительный и пестрый, но и по людям. И среди наших людей, особенно в старые годы, нигде, пожалуй, такой пестроты не было, как у нас. Даже рабочий люд взять...

Скажем, работает человек на домне или на руднике. Это одно. А скажем, бегает по лесам, шныряет по речкам — золотой песок ищет или камнями редкими хочет разбогатеть — это другое, а прозвание общее — рабочий люд.

Серафимин отец из вторых был. Не манила его коренная трудовая, рабочая жизнь. Токаря, скажем. Слесаря. Горнового. Или, к примеру возьмем, кузнеца. Серафимин отец Григорий Самсонович по-своему жизнь видел. Не хотелось ему простым куском хлеба с солью питаться. Хоть и верен был этот трудовой кусок и никогда не давал с пустым брюхом ходить, а все же простой хлеб. А зачем в золотом краю простой хлеб есть, когда земля столько всяких-разных богатств прячет! Не лучше ли свой фарт поискать, золотую жилу найти, — тогда и хлеб не в хлеб, и мясо не в мясо, и молодая курятина не еда.

Вот и бросил этот Григорий, Серафимин отец, работу на руднике. Обзавелся искательским инструментишком да подался в леса — золотого полоза за хвост ймать. Год ймает, два ймает, а он не ймается, только мелкой удачей дразнит искателя. То самородочек обронит ему полоз не больше кошачьей слезы, то золотой пылью пожалует или самоцветное зернышко подкинет. Хоть и не купишь на это бархатный кафтан, а все же из кулька в рогожку перебиваться можно. А главное дело — малые, грошовые находки большую удачу сулят. Ею-то и жил Григорий Самсонович. Ее-то и видел во сне и наяву. А тут, скажу я тебе, Аркадий Михайлович, еще были-небыли ему покоя не давали. Дальше в лес манили. Глубже в землю врываться велели. Вот и довырывался Григорий Самсонович, лег в нее на вечный покой. И остались после него жена да двое дочерей.

Старшая дочь, Анна Григорьевна, не в отца пошла. На руднике стала работать и за хорошего парня вскоре-

сти замуж вышла. Хорошо и по сей день живут. С неба звезд не хватают, а своему очагу гаснуть не дают. Своими руками кормятся. А руки, известно, не разменный капитал. Всегда кормят.

А младшенькая дочь Григория, Серафимочка-херувимочка, от тятеньки золотую болезнь унаследовала. Тоже золотой жиле стала молиться, о сытой, бездельной жизни думать. И, как рассказывают про Серафиму, маслом ее не корми, только сказы, легенды разные про золото, про земные клады говори. А этой словесности у нас на Урале хоть отбавляй. И не одна небыль, а чистая правда тоже сказывалась. Мало ли совсем пропащих людей в богатыни выходили. Про это, сам знаешь, Аркадий Михайлович, не в одной книжке написано.

И захотелось Серафиме отцовский ненайденный фарт найти, из его золотой думки удачу свить. Ну а под силу ли ей это самой! Мыслимо ли девахе по лесам, по горам с каёлкой шататься. Не один медведь страшен. Вот и задумала она за такого парня замуж выйти, который пошел бы по тятенькиному следу. И нашла. Гранильщика. Николаем звали. Из первых чудодеев был. На вывоз камни гранил. В молодые годы сверкать мастер начал. Далеко бы пошел, да...

Да жена-красавица на свою тропу его заманила. Серафима Григорьевна в молодые годы, рассказывают, кого хочешь своей красой-басой могла ума-разума лишить.

Много ли, мало ли годов прошло, а ее Никола из леса не выходит. На речках днюет, под зеленым кустом ночует, а фарта нет. Не зря говорится, что ни золото, ни самоцвет не любят, когда их ищут. Они как-то больше любят сами находиться. Не зря про это и байки сложены.

Не нашел Николай жилы, а мастерство свое гранильное потерял. Из трудовых людей в «прочих» стал числиться, а потом и из этой графы совсем в плохой параграф угодил. В недозволенном месте решил у жарптицы золотое перо выдернуть. В уголовные попал.

Осталась Серафима с Ангелиной на руках. Переменила местожительство, а когда овдовела, нового добычика завела. Он лавкой золотопродснаба заведовал, куда старатели золото за разный товар сдавали.

Хорошо ее второй муж лавкой заведовал, да не долго. Помогла ему Серафима Григорьевна освободиться

от занимаемой должности. И он в силу той же причины, что и ее первый муж, потерял гражданские права.

Серафима опять на новое место подалась. А тут и Ангелиночка подросла. Годы подоспели ее замуж выдавать. Сама-то уж Серафима Григорьевна не надеялась больше искателя золотой жилы заполучить. Да и разуверилась, видно, в жиле. Другие ходы-выходы стала искать. Через дочь. И нашла.

Чем не жила это хозяйство Василия? Жила. Хоть и не золотая, а не простая. Есть чем поживиться Серафиме Григорьевне.

Вот тебе, Аркадий Михайлович, я вся история про золотую цикорию и про то, как в одном и том же лесу разные грибы вырастают. Теперь уж ты сам смекай, что к чему и по какому поводу. А меня никак Серафима Григорьевна кличет...

XVI

Рассказанное Прохором Кузьмичом пролило новый свет на стяжательский характер Серафимы Григорьевны. Теперь яснее, откуда что взялось. Значит, сохранила она хотя и в замаскированном под цвет времени, но в чистом виде страшный норов староуральских хищников, искавших богатой поживы в таинственных недрах.

Можно негодовать на живучесть корней проклятого прошлого, но одно лишь негодование — это ничто! Баранову надо было действовать. Теперь в этом его убеждало все. И дети Василия, и Прохор Кузьмич. Он не один, не один. И не только здесь, на участке Киреевых.

История прогнившего пола дома Василия Петровича дошла до цеха и даже вызвала общественный отклик. Но, поговорив, пошумев, этому событию все же не придали особого значения. И доведись бы до вас, вы бы, наверно, тоже не стали бить в набат по такому поводу, когда главное — это выполнение производственных заданий, программы цеха, государственного плана завода. Нет слов — для многих было печально видеть, как ведущий сталевар то выдаст отличную плавку, то норму не вытянет.

С давних пор в цехе считалось, что Василий Петрович Киреев унаследовал от стариков-«колдунов», обучавших его, дар «понимать и чувствовать» металл. Говорили, что Киреев умеет варить сталь «красиво». Это сло-

во, видимо, вбирало все определения высокого класса работы. Нередко Василий Петрович, представляя свой завод, выезжал на соседние сталеплавильные предприятия для обмена опытом. Говоря точнее, он производил показательные плавки, особенно на новых заводах, на вновь задутых печах, где еще не «устоялись кадры».

Василия без преувеличения можно было бы назвать «межзаводской фигурой». О нем даже есть книги. Пусть тоненькие. Но разве дело в количестве страниц? И Киреев был одно время образцом для сталеваров не одного своего, но и соседних заводов. А уж в цехе его уважали — дальше некуда. Многие товарищи искренне желали помочь его беде, вернуть ему былую славу, но не знали как.

Вот и сегодня, заметив, что Василий киснет, к нему подошли Афанасий Александрович Юдин и Михаил Устинович Веснин.

— Поразвеемся бы тебе, Василий Петрович,— начал Веснин.

— Выдать бы пару хороших плавочек на подшефном Новоляминском сталеплавильном,— присоединился Юдин,— я бы первым к тебе стал.

— А я бы,— опять заговорил Веснин,— за второго подручного при тебе не погнушался постоять. Завод хороший. Печи новые. Народ там зоркий, а перелома в работе пока нет. А мог бы быть... Поехали? Пару легковых подадут... И-эх! Как по новой шоссейке порхнем! — уговаривал Михаил Устинович Веснин.— Фронтového дружка захватишь!

— Отпорхал я,— ответил товарищам Василий.— Да и нет во мне, понимаете, теперь того жара, какой там нужен.

Юдин положил руку на плечо Василию и спросил его:

— Вась! Неужто твоя губка так студит тебя?

— Не перебарщиваешь ли ты с ней? — вставил свой вопрос Веснин.

Василий на это сказал со всей откровенностью. Зачем скрывать от друзей?

— Понимаешь, Афоня, чирей на заду тоже бывает невелик, а ни встать, ни сесть. Даже заноза под ногтем и та человека выводит из строя. Как я у других перелом произведу, когда я сам себя не могу переломить? И все думаю, думаю, переживаю.

— Это уж точно,— поспешил согласиться добродушный Веснин.— Если уж ты сам не дымишь, не горишь, большого огня ждать нечего.— И тут же предложил: — Может, нам вмешаться в твоё жите-бытие? Мы же не только в одном цехе с тобой работаем, но и в одной жизни живем.

— Живем-то мы, конечно, в одной жизни, да страдаем-то порознь,— ответил Василий на участие товарищей.— Я ведь никогда не отказывался, когда мог. А теперь не могу. Не могу, ребята...

И Веснин и Юдин жалели Василия, не зная, как ему помочь. Да и что они могли сделать. Сказать добрые слова? Выразить сочувствие? Дать совет?

Понимая, что дом Василия и его загородное хозяйство охлаждают его трудовой пыл, ослабляют его любовь к заводу, они все же находили для него оправдания.

— Как-никак,— рассуждал Веснин,— он почти всю войну был на передовой. Каждый день готов был жизнью пожертвовать. Потом овдовел. Сколько один маялся. С головой в работу ушел. Весь день у своей печи. Горячие плавки. Вечером — натаска молодых. Все свои лучшие годы людям отдал. Жил для людей. А для себя когда? Так я говорю или нет? — обращался он к Юдину.

Юдин не отрицал, но и не соглашался:

— Но в такой жизни тоже есть личное счастье!

— Отчасти, может быть, и есть,— продолжал свои рассуждения Михаил Устинович Веснин.— Однако же есть и любовь. По себе сужу. И к нему она пришла. Но как? Какой ценой? Дом построил! А сил каких потребовал этот дом?! И я знаю, и ты знаешь... А ведь мог бы он и не строить его, если бы тогда дирекция дала ему пощеднее квартиру. И было кому дать. Ведь он же за месяц, по его старым успехам, давал добавочной стали по стоимости никак не менее десяти квартир. Так одну из них, побольше, не в две комнаты, можно было дать Василию или нет? Дать и не толкать его на строительство своего дома. Дома, который так дорого обошелся Василию и еще дороже заводу, потерявшему тысячи тонн недоданной Василием Киреевым стали. Один ли он виноват в том, что случилось? Один ли? А мы?

— Однако ж, Михаил Устинович,— принялся возражать Юдин,— это все наружный вид дела. А ты изнутри взгляни. Не сам ли Василий предпочел свой дом квартире, которую ему давали? Не сам ли? Пусть по жениной

или тещиной подсказке. Это неважно по чьей. Важно, что эта подсказка стала его собственным интересом.

Наконец Веснин тоже склонился к тому, что дело было не в доме, а в отношении к этому дому самого Василия. Вот и сейчас беда была не в губке. Можно всем гамузом пойти к Василию. Устроить аврал. Выбросить ко всем чертям гниющий пол и заменить новым. Но в нем ли суть? А не в самом ли Василии, сотворившем себе бревенчатого, соснового двухэтажного идола и поклоняющегося ему.

А губка — это тыфу! Это чепуха на постном масле.

Может быть, и нам следует согласиться с Весниным и Юдиным? Но не будем ничего предрешать в первой четверти романа. Посмотрим, увидим и сделаем свои выводы. Тесто пока еще только замешено, и трудно гадать, каким калачом оно выпечется.

XVII

Лидочка, подоив коз, задавала корм свиньям. Ожеганова и Аркадий Михайлович беседовали в саду. Серафима Григорьевна только что проводила Панфиловну и поспешно прятала что-то в карман юбки. Наверно, деньги.

— Кто эта божья старушка? — спросил Баранов.

— Бедняжка одна. Панфиловна. Умереть ей не даю. Помогаю. То лучку настригу, то редисочки надергаю. Продаст — глядишь, и деньги...

— Да, конечно, конечно... Самой-то вам не к лицу торговать. Все знают Василия Петровича Киреева, а с ним и вас. Разговоры пойдут...

— А какие же могут быть разговоры? Не ворованное, а своими руками выращенное продаю и Панфиловне жить даю. Подоходный налог и ренту мы платим самым исправным образом. А кроме этого, я — это я. А Василий Петрович остается Василием Петровичем. Не могу же я на его шее сидеть. Вот и добываю своими руками себе на пропитание...

Опять встретились глаза Ожегановой и Баранова. Теперь эти глаза отчетливее говорили о неприязни друг к другу.

— Гостили бы вы и гостили, — прервала короткое молчание Серафима Григорьевна. — Зачем вам во время

отпуска утруждать себя тяготами нашей трудовой жизни? У всякого хоря своя нора, у всякой сороки свой поров.

Послышался голос Лиды. Она просила ключи от кладовки. Ей нужно было приготовить кормовую смесь курам.

— Лови! — крикнула Серафима Григорьевна и бросила ключи.

— Трудовая дочурка растет у Василия, — сказал Баранов. — И коз доить, и свиней кормить... все умеет.

Баранову хотелось знать, как вывернется Ожеганова. И она вдруг действительно сделала весьма неожиданный ход:

— Ну так ведь, Аркадий Михайлович, зачем-то мы выписываем газеты. Читаем по силе возможности. И радио слушаем. Понимаем, что такое связь школы с жизнью и трудовое воспитание... Не даем заплесневеть девочке. Хотим, чтобы из нее хороший человек вырос. И народу своему хороший помощник, и партии нашей на радость...

О-о-о! Не так проста Серафима Григорьевна...

Баранову не хотелось больше разговаривать с нею, и он пошел бродить по участку.

Участок был засажен с такой расчетливостью, что не оставалось ни одного пустовавшего клочка. Даже у забора рос лук-батун и ревень. На широких огородных грядах с узкими, тоже экономными, бороздами Баранов не заметил обычных огородных растений, если не считать редиски, дающей несколько урожаев в году и, видимо, имеющей хороший спрос. Не было ни бобов, ни гороха, ни свеклы и ни любимейшего Аркадием Михайловичем огородного десерта — репы. В огороде густо росли цветы. Росли, подобно луку, чесноку, моркови, подобно кропу.

Никогда еще не видел Баранов цветы на грядах. В этом было что-то оскорбительное для обитателей оранжерей, клумб и газонов. Значит, и цветы росли не для радости семьи, а для наживы.

И крыжовник, посаженный тоже довольно густо, явно рос для этих же целей. Многие из его ветвей были припилены сучками-рогатками к почве и, окоренившись, дали маленькие дочерние кустики. Их было тоже очень много. И они, конечно, готовились не для расширения своего сада, а для продажи.

Ожеганова, следившая за Барановым, подошла к нему и, расплывшись в улыбке, сказала:

— Вы прямо как инспектор по качеству. Видать, вы, Аркадий Михайлович, большой любитель растений?

— Да, я очень люблю растения. Очень люблю. И так сожалею, что у вас нет такой близкой моему сердцу картошечки, нет моркови, свеклы...

Теперь Ожеганова отвечала прямо:

— Зачем выращивать у себя то, что дешевле купить в лавке? Я о каждой гряде думаю и считаю это правильным. Коли уж заводить хозяйство, так чтобы оно чувствовалось, а так что же попусту руки на поливку вытягивать!

Но Баранов не стал отвечать прямою на прямую и называть все это тем словом, которое давно просилось сорваться с языка. Разговор дальше не пошел. Баранов смолчал, но, чтобы как-то проучить Ожеганову, он принялся рвать на грядках цветы, выбирая самые лучшие. Выбирал и приговаривал:

— Ну и букет же сегодня я подарю вашей внучке Лидочке! Ну и букет!..

Губы Ожегановой дернулись.

— Зачем же ей букет, когда она среди цветов живет?

— Одно — цветы на гряде, другое — в комнате букет, — возразил Баранов, продолжая энергично орудовать на грядках.

Серафиму Григорьевну слегка зазнобило. Но запретить рвать цветы было нельзя. В ее ушах стояли слова Василия о доме, который он может распилить, если этого захочет его друг Аркадий.

А тем временем Аркадий Михайлович рвал и рвал цветы. Букет уже не умещался в его руке. Сердце Серафимы Григорьевны наливалось злобой, но Баранов и не думал останавливаться.

И только после того, когда букет превратился в огромный цветочный сноп, он сказал:

— Наверное, уже хватит. Думаю, такой букет стоит никак не меньше пятидесяти рублей, а?

— Пятидесяти? И в семьдесят пять не уложишь, — процедила, стараясь улыбнуться, Серафима Григорьевна.

— Пожалуй, что и в семьдесят пять не уложишь, — согласился Баранов и, положив букет в борозду, достал

бумажник, вынул из него сторублевку, подал ее Серафиме Григорьевне.

А та, запрятав руки за спину, словно боясь, что руки помимо ее воли возьмут деньги, закричала:

— Нет, нет, нет... Вы что?

— Да будет вам,— стал уговаривать ее Баранов.— Неужели вы думаете, что я буду преподносить дочери своего друга даровые цветы? Да что я, оккупант какой? Вы же их растили, выхаживали, пропалывали, а тут явился даритель за счет чужих рук... Берите, берите! Не ворованное же продаете, а кровное, свое.

Руки Серафимы Григорьевны дрогнули, затем появились из-за ее спины и потянулись к деньгам.

— Только уж если вы хотите по совести, так и я хочу, чтобы на моей совести обиды не оставалось. Пятьдесят рублей — и ни копейки больше!

— Семьдесят пять! — потребовал Баранов.— Я тоже не люблю, когда меня обижают.

— Извольте,— согласилась Ожеганова и полезла в карман своей широкой кашемировой юбки за сдачей. Она принялась отсчитывать двадцать пять рублей засаленными рублями, трехрублевками, принесенными Панфиловой.

Это уже было невыносимо для Баранова. Он не мог выдержать дальше этой сцены.

— Не надо сдачи. Рассчитаетесь потом — цветами. Это же не последний букет.

— Как вам будет угодно, Аркадий Михайлович,— сказал она, одаряя его уже не деланной, а настоящей, живой улыбкой неподдельной радости.— Пусть эти денежки пойдут на приданое Лидочке,— солгала она. Сто рублей канули в глубокий карман темно-синей юбки Ожегановой. А букет был водворен на косоногий столик в комнате на втором этаже, где жила Лидочка.

Баранов долго разглядывал лепестки цветов. Торопливое тиканье будильника напоминало, что время движется. И время серьезное.

А в этом доме не чувствуется ни течения времени, ни большого дыхания жизни. Будто ничего не происходит в мире. Будто не здесь, не на этой уральской земле, упал сбитый самолет-шпион. А это было так недавно и так близко...

Близко, но за изгородью трех садов, соединенных в один. А то, что происходит за изгородью даже в ста

шагах, происходит за границей интересов людей, населяющих этот дом.

Газеты приходят сюда молча. Молча ложатся они в стопку на угловом столике. Молча дожидаются очереди стать оберткой или кульками для расфасовки ягод.

Все проходит мимо.

Где-то поднялась самая большая доменная печь в мире. О ней не знает даже Василий. Дом закрыл все. Завод. Край. Страну. И, кажется, космос, где являются миру звездные чудеса нашей науки.

— Черт возьми, как же мириться с этим мещанским стяжательским болотом?.. Не страшнее ли оно минного поля, где умирал Василий? Можно ли оставить его в этой трясине ложного семейного благополучия?..

Но спокойно, спокойно, Аркадий! Зыбкое болото не любит резких движений. Нужно ступать мягче, обдуманно и безошибочно...

Дай дням свое течение. Обходной путь иногда бывает самым коротким.

XVIII

Если трагическое не перемежается с комическим и наоборот, то не может получиться ни трагедии, ни комедии.

Трудно сказать, что преобладало в Серафиме Григорьевне, трагическое или комическое, когда она мысленно произносила страшные ругательства, адресованные старикам Копейкиным.

Чем же вызвано это злобное кипение Серафимы Григорьевны? Что случилось?

Случилось нечто на первый взгляд не заслуживающее внимания. Но то, что произошло, потрясло Серафиму Григорьевну, как говорится, до основания. Дело в том, что почти вдвое снизился ежевечерний сбор яиц в курятнике. Серафима Григорьевна могла бы объяснить это тем, что куры, запертые в тесном вольере, лишены животных кормов — червей, личинок, гусениц. Об этом ясно говорится в книжках по птицеводству, которые читает Серафима Григорьевна. Можно было бы объяснить это все и жарой, которая тоже сказывается на курах. Но как объяснить то, что Копейкины выбрасывают яичную скорлупу в таком количестве, что Сера-

фиме Григорьевне нетрудно было по этой скорлупе, добытой из помойной ямы, вычислить количество яиц, съедаемых стариками? Исследуя скорлупу, она установила, что Копейкины ежедневно съедают от четырех до шести яиц, сваренных вкрутую или «в кошелек».

Могли ли бы так роскошествовать Копейкины, если бы курятник Серафимы Григорьевны был закрыт на замок? И она закрыла бы его, потому что для кур был проделан особый лаз в вольере и через этот лаз, конечно, нельзя проникнуть в курятник. Но тонкость отношений Василия со стариком Копейкиным не позволяла Серафиме Григорьевне прибегнуть к замку. Каким бы невинным и маленьким ни был этот замок, от него неизбежно падает слишком большая тень явного подозрения на Копейкиных.

Она могла бы, разумеется, пренебречь это потерей четырех и, самое большее, шести яиц в день. Пусть на круг пять. Но если шесть перемножить на тридцать, то за месяц получается сто восемьдесят. Если сто восемьдесят яиц перевести в деньги по бытовой цене, которую дает Панфиловна, то получается значительная сумма.

Можно бы пренебречь и этой суммой. Можно! Потому что любящие землю и растения Копейкины, теща свою охотку, дают Серафиме Григорьевне немалый прибыток. Можно закрыть глаза — пусть жрут. Есть же на земле «принципы». Например, Панфиловна по своим «принципам» является «принципиальной» хапугой и грабительницей, которая может за уворованную луковку или пучок хрена клясться Христом-богом и приводить в доказательство своей невинности хитроумные заповеди своей секты.

Это Серафима Григорьевна знает, поэтому ведет себя с Панфиловной в открытую: «Секта сектой, а мощна мощной. Подавай, ханжа, до копеечки». Тут отношения ясные: «Нажилась — твое, проторговалась — богом не прикрывайся. Убытки тоже твои». Совсем другое дело Марфа Егоровна Копейкина. Ей даже намекнуть нельзя, что, мол, куры мало стали нестись. Нужна тонкая и точная проверочка.

Во-первых, снесенные в курятнике яйца можно метить маленькими точечками химическим карандашиком. Ни тот, ни другой эти точечки сослепу не разберет. А когда будут съедены меченые яйца, помойка свое слово скажет. Серафима Григорьевна во имя установ-

ления истины выгребет из ямы все скорлупочки и найдёт на них свои точки.

Это первая улика. Найдется и вторая. Если взять самые тоненькие, как паутиночки, шелковые серенькие ниточки да протянуть их под порошком двери в курятник, да так, чтобы нога похитителя яиц не почувствовала, когда она порвет ниточку, то Серафима Григорьевна точно будет знать, что в курятник хожено без нее. Не сама же по себе порвалась ниточка.

Так было и сделано Серафимой Григорьевной. Так было сделано, да недодумано. Старики Копейкины давно, задолго до приезда Баранова, чужали подозрения Серафимы Григорьевны, а избыть их не могли. Как скажешь ей: «Неужели тебе не стыдно, Серафима Григорьевна, такое думать про людей?» Тоже палка о двух концах. Серафима Григорьевна живехонько вывернется: «Да что вы... Да разве я могла?.. Вам-то как не стыдно такую напраслину думать обо мне!» И они же окажутся виноватыми.

Вот так и молчали обе стороны до тех пор, пока Марфа Егоровна не увидела, как Серафима Григорьевна натягивала нитки в курятнике. Копейкина, не поняв сразу, «что и к чему», наконец догадалась — и к старику:

— Проша! Подлость-то какая... Нам она проверку учиняет.

Узнав об этом, Прохор Кузьмич решил усювестить Серафиму Григорьевну. Усювестить тоже не простым способом. Без шума, без гама. Даже без слов.

Он ежедневно начал докладывать в гнезда столько яиц, сколько их недоставало по числу кур. Скажем, снесли сегодня двадцать восемь кур четырнадцать яиц — Прохор Кузьмич добавляет еще четырнадцать. И что ни день, то сто процентов. Ни одной курицы выходной. Все каждый день несутся.

Задумалась Серафима Григорьевна. Задумалась и поняла, чья это работа. Понять-то поняла, да как дальше быть, не знала. Если признаться, то, значит, надо просить прощения. Но разве это возможно для Серафимы Григорьевны?

Злую отместку придумали для нее Копейкины. Серафима Григорьевна начала было и так и сяк умасливать стариков, а они ни в какую. Даже ухом не шевелят. Доклаживают каждый день в гнезда яйца, и вся недолга. Что ни день, то двадцать восемь сполна.

Узнал об этой тайной войне и Аркадий Михайлович. Баранова это вначале рассмешило, а потом потрясло. — Ну, погоди же, Серафима Григорьевна! — погрозил он курятнику.

Копейкин испугался было и стал просить Аркадия Михайловича не говорить ничего Василию.

— И без этого у него голова кругом идет.

— Не беспокойтесь, Прохор Кузьмич, — предупредил Баранов. — Я доведу эту тайную войну до мирного конца так, что агрессор сам на колени встанет.

И на другой день в курятнике слышались вопли Серафимы Григорьевны. Вопли и восклицания самоубийчеств. Иного выхода не было. Сегодня Серафима Григорьевна, кроме обычных двадцати восьми яиц, обнаружила в гнездах еще тридцать, из которых двадцать были со штемпелем «Диетические. Гастроном № 2», пять были печеными, со следами темных ожогов на боках и еще пять предстали на сковороде в виде яичницы-глазуньи. Яичница оказалась «приправленной» пятью катушками серых шелковых ниток.

Теперь оставалось только признаться и каяться.

— Спасибо тебе, Прохор Кузьмич, — завсхлипывала Серафима Григорьевна, — умертвил ты сегодня во мне ненасытного змея! Так ему и надо, окаянному шептателю-клеветателю.

Баранов сидел в это время в тени за садовым домиком и читал газетную статью о недалеких днях, когда осуществится давняя мечта полета человека в космос. Чтение прервалось причитаниями Серафимы Григорьевны. Она убеждала Копейкина, что всеми силами боролась со змеем жадности и подозрительности, а он не давал ей покоя даже ночью, науськивая ее назло, нашептывая ей несусветные мерзости.

— Сидит этот змей во всех нас, — твердила она, — сидит. В одних большой, в других маленький. Я ему твержу: «Хорошие они старики с Марфой Егоровной, честные». А он мне, губитель, нашептывает: «Ой ли? Хорошие ли? Проверь. Натяни нитки в курятнике. Натяни — узнаешь». Я и послушалась его, окаянного...

— Ну и ладно... Бывает... Случается, — смягчал ее признания Прохор Кузьмич, довольный, что все кончилось миром.

— Теперь все. Конец ему, злыдню. Спасибо тебе за урок, за счастливое избавление, — закончила Серафима

Григорьевна свои объяснения и спросила:— Сколько я тебе должна яиц, Прохор Кузьмич?

Прохор Кузьмич, поверивший в искренность Серафимы Григорьевны, ответил:

— Да что нам считаться с тобой, Серафима Григорьевна, из-за какой-то сотни-другой яиц...

— То есть как это сотни-другой? Когда же ты успел такую цифру доложить в мои гнезда? Если я с открытой душой, так ты-то зачем...— Хотела она сказать: «Зачем пользуешься случаем?», но осеклась. Осеклась и снова завиляла хвостом:— Жив еще, видно, змей-то во мне. Жив, окаянный! Опять шепчет: «Усомнись, усомнись!» — и я из одного греха в другой. Все до яичка отдам... Может, деньгами возьмешь? Почем они нынче на рынке?

Прохор Кузьмич не мог далее слушать ее.

— Хватит! Мне ничего не надо. Голова кругом идет... Часу бы не оставался здесь, коли б не Васька...

И тут Прохор Кузьмич добавил те слова, которые обычно не пишутся на бумаге, плюнул и ушел.

Стало тихо. Баранов снова вернулся к статье о полете человека в космос. Но статья не читалась. В ушах все еще стояли гнусные, лживые заверения Серафимы Григорьевны да слышалось, как стучали о сковородку клювами куры, доедающие в курятнике яичницу-глазунью.

Мечта о полете в небо... Реальное, близкое завоевание космоса... И... меченая яичная скорлупа...

ХІХ

Василий Петрович Киреев заметно повеселел. Серафима Григорьевна сообщила зятю, что ее родня обещала ей в счет зимнего мяса кое-какие деньги. И если к этому кое-что ссудит на годок-другой верный друг и золотой человек Аркадий Михайлович, то можно покупать лес и нанимать плотников.

На самом деле никакая родня Серафиме Григорьевне не захотела бы давать в долг даже трех рублей, зная ее способность не платить долгов или по меньшей мере растягивать выплату на долгие времена.

У Серафимы Григорьевны, как это и предполагал Прохор Кузьмич, а за ним Баранов и, наконец, мы с

вами, были сбережения. И эти сбережения хранились в большом глиняном горшке, закопанном под полом.

Горшок был жирно смазан снаружи и внутри свиным салом, чтобы через поры его стенок не проникла влага внутрь и не повредила деньги. Сверху он был покрыт аптекарской клеенкой, крепко-накрепко привязанной медной проволокой к его шейке. Через клеенку также не могла проникнуть влага, к тому же клеенка не подвержена гниению.

Драгоценный сосуд она закопала еще прошлой осенью. В нем было считанных и пересчитанных тридцать тысяч рублей. Они береглись для Ангелины, о чем ей не говорилось, потому что она могла в приливе нежных чувств рассказать об этом Василию. Тогда прощай все... Закопав горшок, Серафима Григорьевна прятала теперь новые сбережения в мешке с неприкосновенным запасом овсяной крупы. Мало ли что случится и уже случалось за эти годы. Мешок овсянки не ахти сколько стоит, а при тяжелом случае, черном дне, ему не будет цены.

К мешку никто не прикасался. Ни дочь, ни зять не спорили с блажью Серафимы Григорьевны. И мешок с овсянкой стал вторым хранилищем денег. Там уже было тысяч до десяти. По расчетам Ожегановой, к зиме должно прибавиться еще двадцать. Расчет был на кусты смородины, выращенные из черенков, на побеги крыжовника и прочую «мелочь», которую постороннему нельзя было заметить и проверить. Сюда же относились и цветы. Нашелся кроме Панфиловны новый скупщик. Он сбывал их через киоски под видом цветов из государственного цветоводства.

Дело незаметное, а тысячное. И главное — оптом.

Теперь появились надежды скопить сто тысяч. А при ста тысячах не так страшна дальнейшая судьба дочери. Все-таки никуда не уйдешь от того, что Лина моложе Василия на целых пятнадцать лет. И выдана она была за него не по большой любви, а «по целесообразности жизни». Именно так формулировала Серафима Григорьевна. И если вдруг случится какая-то осечка, то при ста-то тысячах да при дележе дома можно и другого, да еще помоложе, к рукам прибрать.

Пусть Серафима Григорьевна не желала для своей дочери иного счастья, нежели с Василием Петровичем, но не желать — одно, а предвидеть всякое — другое.

И если есть эти самые, которые «не пахнут», так и горе — в полгоря, и беда — в полбеда. Безусловно, хорошо бы догнать сбережения до полутора ста тысяч. И, может быть, она это сделает, если сумеет уговорить Василия выбить из рук соседа Ветошкина его хитроумную наживу и переманить к себе его работницу Феньку. Тогда можно будет прикончить с козами, со свиньями и со всеми этими мешкотными цветочными делами. Да разве согласится на это Василий?..

Нечего и думать! Нужно быть довольной и тем, что есть. Только бы не захворать, не надорваться! Только бы не вздумали дать квартиру внуку Копейкина. Тогда придется сильно сокращать хозяйство.

Рассуждая примерно так, Серафима Григорьевна тем временем решила перекопать горшок в свинарник или спрятать его, на худой конец, в тот же неприкосновенный мешок с овсянкой.

Плотники могли появиться со дня на день, и при них будет труднее вырыть дорогой горшок. Поэтому нужно сегодня же, пока никого нет дома, произвести намеченное.

Серафима Григорьевна вооружилась маленькой саперной лопаточкой, полезла в подпол.

Добравшись до места, где был зарыт горшок, она принялась отрывать его. Отрывать спокойно, не спеша, чтобы не повредить клеенки.

Она и не предполагала даже, какой печальный сюрприз ждет ее.

Главное управление государственных сберегательных касс хорошо бы оплатило труд сценариста и режиссера, воспользовавшихся этим сюжетом для короткометражного фильма, который можно было завершить призывом:

«Храните деньги в сберегательных кассах. Удобно, выгодно и надежно».

Это в скобках.

Не будем, однако, удлинять паузу и останавливать развитие действий под полом, где ожидается не совсем обычный, но вполне закономерный крах...

Только не нужно думать, что горшок кем-то выкраден. Этого не могло быть. Не следует также полагать, что Серафима Григорьевна не нашла места, где был зарыт горшок. На этом месте покоился довольно большой камень.

Горшок был найден сразу же и вскрыт, но денег в нем не оказалось. Они, разумеется, не истлели в земле. Их также не съела и домовая губка.

Деньги съели мыши. Голодные мыши в голодную зиму. Учувя сало, они прогрызли клеенку, проникли в горшок и стали есть пропахшие свиным жиром и просаленные многими руками сторублевки. Пусть эта пища оказалась не так сытна, но все же это была еда и ею можно было обмануть голод.

И мыши обманули его на тридцать тысяч рублей в исчислении до 1961 года. Мышам, впрочем, была безразлична и сумма денег, и год выпуска. Деньги пахли. Дразнили аппетит. Поэтому от них осталась только бумажная труха. Эту труху да мышиный помет и обнаружила Серафима Григорьевна. Едва не лишись чувств, она еле выбралась из подпола. Но сознание вскоре вернулось к ней. Она поняла, что, потеряв тридцать тысяч, можно потерять и все остальное, если кто-нибудь узнает о ее горшке.

Превозмогая себя, она выкинула в подтопок бумажную труху, сожгла ее и залилась горькими слезами, запершись в своей комнате.

Многое теперь приходило ей в голову. Даже бог, в которого она никогда не верила. Не он ли наказывает ее?

Но бог так же скоро вышел из ее головы, как и вошел в нее.

Она винила только себя. Только себя. Надо же было так опростоволоситься, ей, такой тертой, такой опытной женщине.

В доме хлопнула дверь. Послышались шаги. Это прошел наверх Баранов. Следом вошел и зять с Ангелиной. Видимо, все они приехали на его «Москвиче».

Ничего не оставалось, как брать себя в руки. Иного выхода не было.

Серафима Григорьевна вышла из комнаты и, зевая, сказала:

— Надо же было столько проспять!

Никто ничего не заметил. Никто, кроме Баранова. Его удивили дикие глаза Серафимы Григорьевны и улыбка душевнобольного человека.

В ее левом глазу прибавилась косина и остекленение.

Касса взаимопомощи, друзья и, наконец, Серафима Григорьевна дали деньги для ремонта. Ожегановой ничего не оставалось, как убавить в мешке с овсянкой слезами омытые тысячи. Обещала же...

Были куплены половые доски. Хорошие, сухие. Недоставало бревен для балок. Были бы бревна — можно нанимать плотников. Тоже нелегкая задача. Строительный сезон в разгаре.

Кузьма Наумович Ключников не приходил просто так. Он являлся только по делу и только наверняка.

Он пришел к Василию Петровичу вечером, после ужина. Пришел в габардиновом макинтоше и, в цвет ему, синем берете. При крагах и с тростью. Он заметно прихрамывал.

Баранова заинтересовало это новое лицо, начиная с внешности. А внешность Ключа можно определить как помесь молодящегося стилиста с ловкачом валютных спекуляций. В нем можно было признать и поездного вора, прикинувшегося снабженцем.

Кузьма Ключ, поздоровавшись с Василием, запросто отрекомендовался Аркадию Михайловичу героем тыла, инвалидом второй группы. Первое было наглядным враньем, второе — формальной правдой. Но какой правдой? Болтаясь по заводам, бегая от войны, Ключников в конце концов почувствовал, что отправки на фронт все равно не миновать, и тогда искусно поломал себе ногу на строительстве, обвинив в этом охрану труда, притупившую бдительность в боевое, военное время.

Вылечившись, Кузька остался инвалидом, негодным для военной службы. Протолкавшись войну на стройках, добившись каким-то образом медали и трех грамот за «доблестный» труд, он вышел после войны на инвалидность. Сломанная нога сослужила ему и вторую «службу». Он получил «законное» право не работать. А это ему было нужнее всего. Для него открылись пути «свободной деятельности свободного предпринимателя». Так он аттестовал себя в надежных кругах.

Кузьке Ключу не следовало бы отдавать столько строк. Но Кузька, хотя и не распространенное, все же существующее печальное явление в нашей жизни.

Говорят: «Было бы болото, а черти найдутся». Это касается и Кузьмы. Не самому лишь себе обязан

Ключников своим процветанием, но и болоту. А болото было.

Известно, что всякий выстроенный личный дом увеличивает жилищный фонд страны. И застройщик уже не требует коммунального жилья. Этим и объясняется большая помощь индивидуальным застройщикам и материалами, и денежными ссудами. Но можно замутить и чистую воду. Не все застройщики руководствуются благородными намерениями — возвести жилье и этим помочь и себе, и своему государству. Иногда за жильем тянется и многое другое. К хорошему делу порой налипает клейкая, подчас и несмываемая грязь. Она-то и порождает дельцов, подобных Кузьке Ключникову. Подобные люди присасываются к каждому дачному, садовому городку, ко всякому поселку, где граждане строят своими силами свои жилища. Их распознаешь не сразу. Не все из них откровенно наглы и развязны, подобно Ключу. Некоторые жульничают хитрее, осторожнее, смиреннее, якобы нужды ради. Но суть та же.

— Ну как, Петрович,— начал Ключ,— дымишь или только собираешься?

— Дымлю,— ответил Киреев.

— Я так и думал. Поэтому и зашел. Могу тебе уделить сорок минут. Еще трое ждут. Прямо хоть разорвись.

Далее Ключ, не спрашивая Киреева, в чем его нужда, сказал:

— Балки есть. Плотники будут. Процент за хлопоты старый. Хотя по нынешнему строительному размаху и требовалось бы его уполуторить. Трудно... Ой как трудно...

Как бы в доказательство сказанного, Кузька стал вытирать со лба пот своим синим беретом.

— Подрядно, стало быть, не выйдет,— принялся оговаривать он условия найма.— Неизвестен объем работы. То ли менять венцы, то ли нет... Платить — поденно. Половина косой на рыло. Харчи твои. Дешевле — никак. Могу дать четыре первых топора. Больше никак. И этих снимаю с одного денежного объекта.

Аркадий Михайлович слушал и не верил своим ушам. Перед ним был самый отпетый предприниматель, подрядчик, разговаривающий так, будто дело происходило не на советской земле.

Василий сидел, опустив голову, что-то прикидывал, высчитывал, а потом тихо сказал:

— Кузьма Наумович, может быть, по сорок рублей на человека в день... Ведь ты же и с них возьмешь тоже...

На это Ключников заметил:

— Василий Петрович, регламент на исходе. Нет — так нет. Я в обиде не буду. А что касается, если плотники мне на пол-литра дадут, это их добрая воля. Зачем тебе болеть об ихнем магарыче? У тебя еще восемь минут с секундами. Решай. Думай. Не тороплю. Но не забывай, какая я фирма. Брать умею, но выдаю по цене. Любая комиссия не найдет изъяна.

— Сорок пять! — послышался умоляющий голос Киреева.

В это время на крыльце появилась Серафима Григорьевна. Развязность Ключа сразу куда-то исчезла. Он побежал к ней навстречу и почтительно раскланялся:

— Добрый вечер, Серафима Григорьевна...

А она:

— Здравствуй, Ключ. Слушала я вас, слушала через открытое окошко да и вышла свое слово вставить.

— Как вам будет угодно... Вы человек понимающий, и вам ясно, что в такое время...

— Ясно, — сказала Серафима. — Зятюшке только, доброй душе, не все ясно. Привык уступать, а я его трудовым денежкам цену знаю. Поторопился он сорок пять на день дать. Ну да ничего. Сказано — не подписано. Сорок, Кузя. Сорок, и ни рубля выше.

— Как же так — сорок, если уже было сказано: сорок пять...

— Я, Кузя, не часто свой голос утруждаю. Сорок! — повторила она властно и ушла.

Ключников потоптался возле крыльца, где происходил разговор. Закурил. Посмотрел для отвода глаз на часы и сказал в открытое окно:

— Только для вас, Серафима Григорьевна. — Потом обратился к Василию: — Никак не могу противоречить женщине. Пускай будет сорок. Задаток не нужен. Верю.

Ключ манерно распрощался. Повернулся на каблучках и натужно захромал к воротам, скрипя протезом и крагами.

Баранов нервно курил, косясь то на уходящего Ключа, то на окно, где сидела торжествующая Серафима Григорьевна, провожающая Ключа улыбкой, полной презрения, как будто она имела право на такую улыбку.

Баранов кипел от негодования.

Аркадий Михайлович оставался загадкой для Серафимы Григорьевны. С одной стороны, министр министром. И по одежде, и по уму. С другой стороны, мужик мужиком. Самые простые слова и ухватистые руки. Кем он собирается работать у них в городе, на какую работу его хотят определить — спросить было неудобно. Да и едва ли он сказал бы ей.

Она уже заводила разговор на эту тему, но Баранов ответил, что тайны он не делает, но и опережать события не собирается. Частенько уезжая в город, он тоже не объявлял, где бывал и что делал.

Серафима Григорьевна откровенно побаивалась его. И жена Василия — Ангелина Николаевна — избегала разговоров с ним. Его карие, добрые и чуть насмешливые глаза спрашивали ее: «А как вы, Ангелина Николаевна, относитесь к своему мужу? Как вы относитесь к его детям?»

Как она относится к его детям? На это ответить ей было довольно легко: никак. Ее отношение к ним состояло в том, что у нее не было с ними никаких отношений. Кроме коммунальных. Живут в одной квартире — и все. И она этого не скрывала.

А вот как она относится к Василию?.. Ответить на этот вопрос, казалось, не так-то просто. Не так-то просто потому, что Ангелина и сама не знала, не выяснила за эти четыре года своего отношения к Василию.

С одной стороны, она познала с ним первые радости любви и бывала счастлива до крайнего накала свечения. Временами ей казалось, что она в самом деле светится, горя изнутри. Ангелина и мысли не допускала, что все это мог ей принести кто-то иной, кроме Василия.

С другой стороны, она отказывалась стать матерью и все еще что-то проверяла. Чего-то не хватало в ее чувствах к мужу. Может быть, и очень небольшого, но очень нужного, того, что было в ее чувствах к Якову Радостину. Чего-то не хватало с того памятного дня, когда она согласилась выйти за Василия замуж. Может быть, мать поторопила цветение ее любви, которая теперь не дает завязи полноценного чувства.

Когда Яков Радостин всего лишь подходил к ней, у нее замирало сердце.

Может быть, в отношениях между нею и Яшей Радост-

стиным, рассуждала сама с собой Ангелина, «электрического» было больше, чем настоящего и разумного... Может быть.

А что настоящее и разумное?.. Никто не знает, никто не скажет, даже она сама, какой была бы ее любовь с этим парнем, если б она была.

В любви с Василием началом всегда был он, а она — как бы эхом, отзывающимся тем громче, чем сильнее начало, породившее его. А Яков и она оба были неначавшимся началом и взаимно ответным эхом, которому не суждено было прозвучать.

Может быть, в этом и есть мудрость и сила любви, а может быть, это всего лишь молния, ослепительно вспыхивающая в ночи.

Радостин мог стать только молнией. А разве жизнь — это только сверканье, а не то, что есть теперь? Такое ровное, благополучное, надежное. Домовой грибок — это несчастный случай, который забудется через месяц. Уже Кузька доставил балки. Василий взял отпуск. Не минует и двух недель, как все пойдет своим чередом. Уедет и Баранов вместе со своими пытливыми глазами. А его глазам, как, впрочем, и самой Ангелине, хочется знать: нет ли в ее отношениях к мужу корыстных примесей?

А эти примеси, кажется, есть. Иногда даже кажется, что примесей значительно больше, чем всего остального, и ей становится стыдно перед людьми, перед собой. Тогда она, ища успокоения, становится необыкновенно ласковой и внимательной к мужу. Опустилась перед ним на колени, снимает его рабочие сапоги. Приносит в тазу теплую воду, сама моет и вытирает его ноги, отстоявшие у печи нелегкую плавку. У нее тогда просыпаются нежные чувства и к Лиде. Она делает ей подарки, упрекает мать за придиричивость к падчерице. И это на время успокаивает Ангелину. Она не кажется себе «арендованной» и пошедшей на сговор со своими чувствами, убеждается в искренней преданности своего сердца Василию, единственному, первому и неповторимому.

Такими чувствами она жила и в эти дни, но старуха Панфиловна сегодня шепнула ей, что вернулся Яшка Радостин. При шляпе. В узконосых чибриках. В дорогом креповом «спинжаке», а на «спинжаке» две колодки. Одна — целинная медаль, вторая — «Знак Почета». Вот тебе и на!

Сердце Ангелины застучало... Застучало так, что

захотелось вырвать его, растоптать, размельчить и скор- мить свиньям.

Но этого можно хотеть только в порыве самобичева- ния, а сделать нельзя. Сделать нельзя, но справиться с сердцем необходимо.

Вечером Кузька Ключ привел плотников. Завтра на- чинается вырубка полов. Суeta строительства отвлечет Ангелину. Она снова войдет в свое русло жизни, хотя она из него и не выходила. И, вообще-то говоря, ничего особенного не случилось и, надо думать, не случится.

XXII

Ломка полов началась стремительно. В шесть топо- ров. Четыре плотника, Василий и Баранов. Уже артель. А после обеда прибыли неожиданные резервы. Еще чет- веро: сталевары Афанасий Юдин и Веснин, первый под- ручный Василия Петровича Андрей Ласточкин и Ваня — сын.

— Пришли посубботничать, повечерничать, какую там никакую чуткость выразить! — выпалил скороговор- кой Юдин и представился Баранову: — Будем знакомы!

А Веснин Юдину в масть:

— Ломать — не строить, и металлург за плотника сойдет. Я со своей снастью, — предъявил он лом.

— И я, — в том же веселом тоне продолжал Андрей Ласточкин. — Без подручного нигде не сподручно. Глав- ное — покрикивать будет на кого и найдется кому ска- зать высокоградусное словцо. Приказывай...

С треском, с визгом больших гвоздей, когда-то вби- тых, казалось, намертво, отдирались толстые, шестисан- тиметровые половые доски. С ними не церемонились. Не на перестил снимались они, а на выброс.

Подковырнув ломом одну пластину ряда черного пола, остальные вымахивали с руки. Многие из них были здоровехоньки. Но коли такая заразная хворь, выбрасы- валось и относилось в дальний угол участка все подряд, чтобы сжечь вместе с губительной губкой.

Кто ломает, кто вырубает, кто таскает... Перекрытия не стало так быстро, что и не верилось.

Снова появился старый техник Мирон Иванович Ча- чиков. Обследова нижние венцы, он нашел их вполне здоровыми, посоветовал лишь для профилактики перед промазкой «адской смесью» на всякий случай соструг-

нуть рубанком или хотя бы соскоблить топором верхний слой бревен.

Черт оказался не так страшен, как он виделся.

Чачиков тоже посоветовал снять на штык, а лучше на два штыка землю подпола, затем полить ее жидкой смесью глиняного раствора с антисептиками, и если возможности позволят, то нанести пальца на четыре толщиной покрытие из тощего бетона.

Желая показать, как это сделать, Чачиков взял лопатку и повел Василия с Барановым в обнаженный теперь подпол. Повел их в ту часть дома, где был зарыт Серафимой Григорьевной злополучный горшок. Когда старый техник хотел приступить к показательной копке, он увидел один, а потом другой клочок сторублевки.

— Как это понимать? — спросил Чачиков, нагибаясь и поднимая клочки. — Обгрызены кем-то... Или, может быть, истлели? — ни к кому не обращаясь, говорил он, рассматривая клочки. — У этого оба номера целы. Значит, можно обменять в банке.

Баранов посмотрел на Василия, но Василий не хотел верить тому, что читал в глазах товарища.

— Наверно, обронили пьяные плотники, когда строили дом, — сказал он не очень убежденно, а сказав, увидел еще клочок сторублевки и наступил на него сапогом.

Заметив это, Аркадий Михайлович сказал:

— Да, конечно, обронили плотники. Не иначе.

Тут он, как и Василий, обнаружил еще один обрывок сторублевки и так же, как Василий, наступил на него, а затем обратился к Чачикову:

— Нас, кажется, зовут к столу. Пошли, пока не остыло. Я так голоден сегодня... И так хочется выпить...

— И мне, — присоединился Василий.

Чачиков передал Василию найденные клочки сторублевок:

— Коли в твоём доме нашлись, значит, это твои деньги.

Дальнейшего хода улика не получила. Да и не могла получить. Однако забыть о ней Василий не мог.

В саду ждал ужин. Плотников уже накормили, и они ушли отдыхать в шатровую палатку, сооружённую из половинок.

Первый подручный Ласточкин раскупоривал принесённое им и купленное Серафимой Григорьевной. Юдин

и Веснин любовались суетней карпов, вырывающих друг у друга брошенные им куски хлеба. В каждом настоящем мужчине не перестает жить мальчишка. И в самом деле—это зрелище! Вода кипит. Карпы выскакивают, стараясь своим телом утопить еще не намокшие куски.

Надставили стол другим, принесенным из дому. Баранов сходил за Копейкиным. И тот пришел, доволен-нешенек. Старику было любо посидеть в такой большой мужской компании. А кроме того, у него была давняя тайная задумка рассказать одну быль-небыль, как бы невзначай, «к слову доведясь» и «промежду прочим», на самом деле «по существу текущего момента и в точку».

Тары-бары-растабары. Настроение у всех хорошее. Не так часто собираются они все вместе. Весел и Василий. Ему не надо менять нижние венцы, вывешивать дом, искать домкраты, бояться за перекос стен.

Копейкин в свои семьдесят два мог выпить много, но пил он всегда и особенно сегодня в норму. Он то и дело ввертывал шутки, прибаутки, загадки, ища зацепки к началу задуманного им пересказа были-небыли, которая именно сегодня, как никогда, попадет в хорошие уши, а попав, не выдует из них.

Подвыпив, Мирон Иванович Чачиков, изображая протодьякона, пропел:

— Здравие, благолепие и благополучие дому сему, и славному хозяину Василию Петровичу, и домочадцам его многая лета...

Василий, отвечая поклоном, сказал:

— А все-таки, братцы, тяжело быть хозяином. Вот уже четыре года, как я никуда не выезжал, нигде не отдыхал...

— Это уж так, — слышался голос Копейкина. — Коли ты попал в колдовские тенета старой ведьмы, так тебе в них и сидеть до скончания века!

Василий Петрович не понял, к чему такой разговор.

— Это в какие такие тенета, какой такой старой ведьмы?

Прохор Кузьмич тут же отозвался:

— Сказ-пересказ, верный ватерпас, про эту старую ведьму бытует. Большой правды эта небыль. Былее ее и сама быль не придумает. Чех мне один ее рассказывал.

— Какой чех? Ты же, Прохор Кузьмич, дальше за- вода, понимаешь, лет двадцать нигде не был!

— Оно так, Васенька, только к нам-то со всего света разные люди ездят! И приезжал как-то один премуд- рый чех. Очень башковитым человеком себя показал. По-русски этот чех лучше нас с тобой может. Он, ви- дишь ли ты, еще в ту германскую попал в плен. Осел. Женился на русской. Дети пошли. Младшенькую-то за нашего парня со Стародоменного замуж выдал. Вот и приезжал внука проводить. Внука повидал, да и меня встретил. Внук-то его и мне дальняя родня. По Марфе Егоровне. Встретились мы с ним и, как полагается, залили по двести пятьдесят граммов «зверобоя» и при- нялись друг перед другом слова разные метать. Я — про уральские колдовские случаи, а он — в междуна- родном масштабе и с идейно-политическим прицелом. С дальним. Не на два-три года, а, можно сказать, с проглядом в светлые времена...

— Хватит, Прохор Кузьмич, присказывать, ты сказ- ку начинай, — попросил Чачиков.

— А будете ли слушать? — спросил Копейкин. — Сказка хоть и не столь долгая, а в половину уха ее не понять.

— Будем слушать в полное ухо. Пойдем, — пообещал Василий и предложил выпить перед сказкой.

Выпили. Крякнули. Закусили зеленым луком с солью. И Копейкин обратился ко всем:

— Теперь слушайте. Только чур-чур — не переби- вать.

Пересев со стула на ящик, стоявший неподалеку, расправив черно-пеструю бородавку, затем утерев ла- донью серые усы, Прохор Кузьмич принялся рассказы- вать сказку.

XXIII

— Вскорости или вдолгости после того, как получе- ловек, по прозванию педикантроп, в сознательном тру- де себя человеком обнаружил, началась пещерная, первобытная жизнь. Пускай ни рубанков, фуганков, станков, доменных печей тогда еще не напридумали, а жили сообща, в большой дружбе жили.

И эта большая дружба, когда один за всех и все за одного, была неписаным законом всех законов

и статьей всех статей. Что добудут на охоте, то и съедят. Что соорудят, тем и пользуются. И не было между ними никакого дележа и никакой зависти. Топор ли каменный, стрела ли, копье ли — считалось *нашим*. И труд у них был общим — кто что может, тот то и делает. Никому не приходило в голову друг дружку попрекать: я, мол, мамонтиху прикончил, мне и есть из нее печенку, а тебе — мослы обглаживать.

Не было этого. Для всех мамонтов били. Для всех плоды собирали. Для всех пещеры приютом были. Каждому солнышко равноправно светило.

Выдумал человек к этому времени бога или нет, твердо сказать не могу. И чех мне этого не сказывал. Но то, что человек чертовщиной и лешачиной всякой, чистью и нечистью леса да болота заселять начал, это уж точно. Точно и по Марксу, и по Энгельсу, и по Владимиру Ильичу. Огонь даже за тайную колдовскую силу почитался. Это я самолично читал.

Словом, зародились на земле добрые силы и злые. Чисть и нечисть. С этого все и началось. С этого самого и стал свободный человек рабом темных сил, порожденных им в темноте души своей и в страхе неведения своего.

Точно так до последнего словечка и сказывал мне про это головастый чех.

И зародилась в те стародавние времена одна ведьма. Трудно сказать, какой она зародилась, писаной красотой или хитроумной прихоткой, только она была ведьмее всех ведьм. Захотелось ей не только людей, но и всю чистую и нечистую силу под себя поднять, а самой владычицей всех-перевсех владык стать. И самого бога, который, мне думается, в те годы еще не оформленным Священным писанием в невыясненных ходил. И ни Буддой, ни Саваофом, ни всяким другим Аллахом пока еще не назывался. А жил как бы безымянно и предположительно, впредь до выяснения. Ну да не о нем сказ-пересказ, а о ведьме.

И задумала эта ведьма расколоть, раздробить людей, а потом поодиночке полонить каждого.

И подбросила она незнаемое в первобытности слово — «*мое!*».

«Мое!»

Как это было — никто не знает. То ли полюбовника околдовала... То ли старому старейшине такой микроб

в голову положила... И чех не мог сказать. Тут надо «не тяп-ляп — и корапъ», а понимать вглубь.

И к чему сначала пристало это слово «мое», тоже не скажу. К палке ли, которая оказалась сподручнее. К топору ли — по рукам. К собаке ли, что позалаистее. Врать не буду. Только это «мое», как сорняк в жите, так пошло в рост, что никакая сила его выполоть не могла.

И все узнали, что на свете есть не только «наше», но и «мое».

Моим стал топор. Моей стала пещера. Моим стал поделенный кусок мяса. А потом *моим* стал и огороженный мною клин земли. В десять-двадцать соток или в сто десятин — не в этом суть. А суть в том, что и всеобщая мать-земля, мать всего живого, стала пластаться, делиться, размежевываться, разгораживаться, по семьям, по родам, по племенам. По Сириям, Египтам, Иудеям, Вавилониям... А потом фараоны и кесари — кровавые слесари — друг к дружке отмычки начали подбирать, мечами размахивать, кровь проливать, братьев своих в полон брать. И каждый: «Мое!», «Мое!», «Мое!»

И так-то все замоёкали — хоть караул кричи. А ведьме только того и надо. Она людям новые распри нашептывает. К захватам зовет, к промеждоусобиям. Зависть распаляет. Кривду за правду выдает. Краже учит. Убийство преподает и тому подобное зло.

К той поре от ведьмы сильные отпрыски пошли. Под стать ей ведьминское отродье подрастало. Сердитые имена им мать-ведьма дала. Жадность. Подлость. Кража. Кривда. Нажива. Клевета и тому подобное. Всех не перечесть по памяти. Да и надо ли? Каждый может ведьминской родне список составить. От нее это все исчадье началось. Она намоекала все зло на земле, все гадости.

А годы, как и положено, шли, копили века... Счет перевалил за тысячи лет, а слово «мое» росло да росло и переросло все слова, а с ними росла власть ведьмы и ее отродья. Сильно состарилась она, а смерть ее не брала, потому что живучее слово «мое» оберегало старую ведьму от всех напастей.

Слово «мое» породило законы, служащие ему, а потом оформило и бога, оберегающего его. Ну а про царей-королей, ханов-богдыханов нечего и говорить.

Все они стали служками-прислужками старой ведьмы... окосевшей с годами на левый глаз. Она их короновала и раскороновывала или убивала по своему ненасытному велению, как мух.

Поделив белый свет на царства-государства, великие и малые княжества-судяжества, она подсказала хитроумные знамена, на которых писались высокие слова, но всякий зрячий и честный человек читал на них одно лишь слово: «Мое!» Во славу его складывали головы несчетные миллионы людей. В честь его возводились храмы. Запугивались. Томились в темницах. Попадали в кабалу. Продавались в рабство. Работали на износ. И по сей день эта старая ведьма управляет через свое колдовское слово «мое» половиной мира, половиной белых и черных людей...

Только у нас ей после семнадцатого года тягу пришлось дать. Почвы не стало. Аминь подошел... Конечно, случается и на нашей земле, пускает ростки старая ведьма, но уже скрытно. То садом-виноградом околдовывает, то белой свинкой завораживает или козой замоекает... Пускай это все не былые времена, а всего лишь одна икота, однако и тем не менее, к слову доведясь, скажу...

Да нет, не буду досказывать... Не буду я к этой старой сказке новый хвост пришивать. И так, что к чему, ясно, если в два глаза глядеть, в оба уха слушать...

XXIV

— К чему ты рассказывал эту сказку, Прохор Кузьмич? — спросил Василий, нарушая общее молчание.

Копейкин обвел взглядом сидящих за столом и ответил, хитря:

— Просто так. Спьяна, наверно. Сегодня она как-то плохо сказывалась. Серафимы Григорьевны постеснялся.

Прохор Кузьмич кивнул в сторону березы.

У березы стояла Ожеганова. Мужчины ее заметили только сейчас.

— Вы-то, мамаша, как тут оказались? — удивился Василий.

— Еще бутылочку принесла, да перебивать Кузьмича не захотела, к тому же заслушалась. На доброе здо-

ровье, Прохор Кузьмич, — поклонившись, поставила она перед ним бутылку. — Пей. Может, еще что рас-скажешь веселенькое, домовый гриб.

И она исчезла в кустах, словно растаяла. Словно ее и не было.

Василию стало не по себе.

— Не надо было, Прохор Кузьмич, понимаешь, при-писывать ведьме косину на левый глаз...

Вместо Копейкина ответил Баранов:

— Кто какой эту ведьму видит, тот так ее и рисует. Мне лично эта сказка понравилась. К месту сказана. Кое-кого и сегодня держит на привязи эта старая ведь-ма. Ну да мы об этом как-нибудь еще поговорим.

«Умен же Копейкин! — подумал Баранов. — Чеха он для большего веса приплел, а сказку-то сам выду-мал». — И вслух добавил:

— Давайте по последней за сказку...

Василий отказался, Чачиков тоже. Копейкин, молча раскланявшись, побрел к своему домику. Он сделал свое дело. Теперь кто как хочет, так пусть и понимает. А уж Василий-то понял сказку, и она не пройдет для него даром, произведет хоть какую-то работу в его голове.

Кое-что намотали на ус оба сталевара и первый подручный Ласточкин. Они, распростившись с хозяева-ми, шумно обсуждали за воротами рассказанное Ко-пейкиным.

Серафиме Григорьевне в этот вечер стало понятно, что против нее не один Баранов и что страшная потеря тридцати тысяч, съеденных мышами, не самое тяжкое из того, что может ее ожидать.

Ухо теперь надо держать особенно остро.

Василию и Баранову постелили во дворе, под сос-ной. Ночь была теплая. Воздух чистый. Луна большая, полная. Она почему-то сегодня косила и, кажется, под-мигивала одним глазом.

Не приснилась бы только проклятая ведьма! Васи-лий Петрович был очень податлив на сны. Они у него как кинохроника. Сегодня — в жизни, а завтра — на экране.

Хотелось проверить курятник. Да постеснялся пока-зывать Аркадию свое беспокойство за кур. Хотя, с дру-гой стороны, в этом не было ничего плохого. Глупо же, в самом деле, давать хору жрать молодых несушек!

Чтобы как-то оправдаться перед Аркадием, Василий сказал:

— Я не вижу ничего плохого, Аркадий, если человек вырастит лишнюю свинью или курицу. Ни та, ни другая с мясного баланса страны никуда не денется. Во всех случаях в стране будет больше на одну свинью и на одну курицу. Что ты скажешь на это?

Аркадий Михайлович промолчал. Ему не хотелось спорить с Василием по мелочам. Он готовился к большому разговору, накапливая слова и факты. А Василию не терпелось. Ему нужно было сейчас же, сегодня же выяснить, что значит насмешливая улыбка Аркадия. Эта улыбка, как и сказка Копейкина, заставляла Василия чувствовать себя виноватым. Забегая вперед, он хотел снять возможные обвинения:

— Так, понимаешь, можно дойти до того, что тебя будут винить за то, что ты свою рубашу считаешь своей. И ты никак не сумеешь защититься... Потому что никто не скажет, с чего начинается собственность — с твоей курицы или с козы... Ну что же ты молчишь?

— Я слушаю, как ты выясняешь отношения с самим собой, — отозвался улыбаясь Аркадий Михайлович. — Продолжай.

— А что мне выяснять отношения с самим собой? Во мне разногласий нет.

Сказав так, Василий посмотрел на своего друга. А тот улыбался еще насмешливее. И под его взглядом Василий продолжал чувствовать себя нашкодившим школьником. А ему не хотелось быть в этой роли. И он доказывал свое:

— А почему бы и не чесать с козы пух, если он на ней растет? Ты небось не оставляешь своего пуха на ведомости, когда приходит время получать жалованье, а вычесываешь все до копейки. И тебя никто не называет собственником. А если моя Лина получает из своей козьей кассы за свой труд, так она собственница? Стяжательница? Да?.. Да не молчи же ты, черт тебя возьми! Не будь умнее жизни. Ответь.

Аркадий, растянувшись под сосной, закрыл глаза.

— Аг-га! Сонливость напала? Уходишь от прямого ответа? — обрадовался Василий и продолжал: — Если моя теща перегоняет гладиолусы в рубли, так она служит старой ведьме? А если какая-то черно-бурая мадам покупает шубу ценой в дом, так она укрепляет совет-

скую торговлю? А мои свиньи подрывают социализм? Мои курицы, выходит, тоже наносят какой-то вред? Но разве они не несутся в счет выполнения семилетнего плана?

Баранов слушал Василия с закрытыми глазами. Василий явно искал доказательства правильности ведения его тещей хозяйства. Так делал не только он, но и всякий начинающий торговать плодами своей земли или позволивший это делать другим членам своей семьи.

— Свой дом, — продолжал Василий, — не то что квартира. Содержание дома стоит... ого-го! И если теща, понимаешь, ловчится и я смотрю на это сквозь пальцы, то только потому, что нужно покрыть какую-то часть расходов. И потом — ведь я же вложил в свой дом свой труд, свою заработную плату. А другие получили квартиру от государства даром. Так должен я хотя бы немного сравняться с другими и возместить свой урон, свои траты?

Баранов по-прежнему не открывал глаз. Теперь это было для Василия безразлично. Кажется, он и в самом деле разговаривал с самим собой, убеждая себя в правильности своих слов.

— Нашли, понимаешь, мишень для стрельбы, — возмущался он, — семерку пик! Взяли бы туза поковырнее, с наемным трудом и потерянной совестью. Взяли бы да и показали его во всей, понимаете, наготе перерождения в верноподданного слугу старой ведьмы. Не я же, в конце концов, выпустил ее из бутылки и дал ей волю околдовывать людей и ловить, понимаешь, их в свои сети. Попробуй теперь загони ее туда обратно! Да и захочет ли кое-кто расстаться с нею, если даже она добровольно полезет через узкое горлышко и согласится быть запечатанной сургучом? «Не-ет, — скажу ей, — не покидай нас, веселая старуха. Поживи, понимаешь, с нами, милая ведьмочка, до своего полного отмирания. До коммунизма...»

Василий прошелся по дорожке. Вернулся и снова, как артист на сцене, принялся читать свой монолог:

— Я и сам не всем доволен в своей жизни. Я бы тоже хотел жить, как горновой Бажутин со Стародоменного завода. Но у него же работают семеро. Семь заработных плат. Четырнадцать рабочих рук. А у меня — двое. Ему можно не торговать малиной и оделять цве-

тами весь цех. Приходи да рви. Дайте мне стать на ноги. Избавьте меня, понимаете, от угля и дров, от домашних хлопот и дыр, которые надо затыкать чуть не каждую неделю, — и я завтра же ликвидирую свое свиное и куриное поголовье... А сейчас я не имею прав делать глупостей. У меня семья. Я их глава. Я отвечаю за них. Понимаешь, черт тебя возьми, я отвечаю...

В это время, зарывав, тявкнула Шутка.

Василий прислушался. Повернулся в сторону курятника и сказал:

— Я не позволю никакому хору вести подрывную работу в моем курятнике. Я его создал вот этими, мозолистыми, пролетарскими руками...

Василий ушел. Баранов открыл глаза. Кое-что в словах Василия было правдой. Но у этой правды Василия была слишком короткая рубаша. Как ни одергивай ее, как ни тяни, а голого зада не закроешь. Василий хорохорился и оправдывался, а не признавался. Он обвинял обстоятельства, а не себя. Неладное происходило вовне, а не в нем. Но то, что Василий ищет обеляющие его причины и одобряет уклад жизни дома Бажутиных, это уже хорошо. Значит, внутри него происходит борьба, значит, он не принимает то, что есть, а лишь вынужденно уступает ему.

Лай Шутки был напрасным. Василий вскоре вернулся и лег рядом с Аркадием на вторую раскладушку. Вскоре он уснул. Никакая старая ведьма ему не снилась. Зато дурные сны видела Серафима Григорьевна. Она видела шепчущихся мышей подле мешка с овсянкой. Они сговаривались съесть оставшиеся десять тысяч рублей. Поэтому Серафима Григорьевна стонала и потела во сне.

И Ангелина видела тоже не очень приятный сон. Яков Радостин шептал ей слова любви и звал на целину. Она негодовала. Ей хотелось крикнуть, а губы не разжимались. Но все обошлось благополучно. Залаяла Шутка, Радостин испугался и убежал, и Ангелина проснулась.

Засыпать уже не хотелось. Тянуло к Василию. Хотелось оправдаться, хотя она и не чувствовала себя виноватой за случившееся во сне.

Серафима Григорьевна, как всегда, поднялась раньше всех. На уличной плите под навесом готовился завтрак плотникам. Варилась картофельная похлебка

со свиным салом и яичница-глазунья с зеленым луком и тем же прошлогодним салом. Оно уже начало желтеть и горкнуть. Его следовало скормить, как и картофель, которого оказалось больше, чем нужно до нового урожая.

В это утро все встали раньше обычного. Ангелина не отходила от мужа.

— Васенька, хоть на минуточку забеги ко мне в сараюшку. Совсем я не вижу тебя... Истосковалась по тебе...

И Василий пришел в сараюшку, где жили свиньи. Ангелина долго стояла, прижавшись к груди Василия. Большая белая матка, кормя поросят, пристально смотрела на Ангелину и Василия, мигая длинными, с загнутыми кверху кончиками, белесыми ресницами.

Ангелина молча каялась Василию и казнила себя за увиденного во сне Яшу Радостина.

Плотники тем временем хвалили похлебку, считая, что прогорклое, желтое сало для готовки — самый смак. Аркадий Михайлович ел вместе с ними, из общего котла, хотя ему и моргала Серафима Григорьевна, на этот раз правым глазом, давая знать, что его она будет кормить особо.

Запертый человек был для нее Баранов. Между тем запертого в нем не было ничего. Он давал понять, что, если плотников наняли с «хозяйскими харчами», значит, харчи должны быть хозяйскими, а не какими-то особыми харчами для плотников. Таков порядок учтивости.

Это понял и Василий, вернувшийся со свидания из свинарника, садясь за общий стол. Серафиме Григорьевне ничего не оставалось, как подать в виде добавки изжаренное мелкими кусочками с луком и картофелем мясо. Подать и сказать:

— Это вам наверхосытку, плотнички-рабочники.

— Ну что за золотая хозяйшукa попалась нам! — нахваливал Серафиму Григорьевну старший из плотников.

Это очень понравилось ей, и она переглянулась с Барановым. Его глаза были по-прежнему веселы и насмешливы.

И то хорошо. Лишь бы они не оказались злыми.

Вскоре зазвенели топоры. Зашелестела щепы. Обтесывались новые балки...

Дом Василия Петровича стоял в глубине участка. Метрах в пятнадцати от ворот. Поэтому в шуме стройки никто, кроме чуткой собачки Шутки, не услышал, как хлопнула калитка и как вошел рыжеватый, коренастый, невысокого роста человек лет сорока пяти, в холщовом пыльнике, с кнутом в руке.

Он остановился у ворот и стал кого-то искать глазами среди работающих.

— Наверно, к тебе? — указал Василию на вошедшего Баранов, и они направились к воротам вместе.

— Мне бы Василия Петровича. Это вы? — обратился вошедший к Баранову.

— Нет, это я. Здравствуйте! — Василий подал руку.

— Очень приятно. Здравствуйте. Моя фамилия Сметанин Иван Сергеевич. Я новый председатель «Красных зорь». Знаете, наверно, — в пяти верстах от вас...

— Знаю.

— Я вас тоже знаю, Василий Петрович, по газетам, хотя и работал с вами на Большом металлургическом... А выдывать вас не выдывал. Потому что вы в цехе, а я — на подсобном хозяйстве. Может быть, тоже слышали... Грамотой меня награждали, а теперь меня вернули в колхоз. Я уже десятый день в председателях хожу. Можете проверить...

— Нет, что вы! Зачем же мне проверять?

Василий не мог понять, для чего это все ему знать и что нужно от него Сметанину. Но коли тот пришел, значит, есть дело. Поэтому Василий предложил:

— Садитесь и рассказывайте...

Сметанин, Василий и Баранов уселись на скамеечку в тени, около ворот.

— Даже не знаю, как начать, чтобы политичнее и короче, — заговорил Сметанин, разглаживая усы и разглядывая Баранова. — Вы друг или родственник?

— Друг, — ответил Баранов.

— Тогда лады. В партии состоите?

— Состою, — чуть улыбаясь, снова ответил Баранов.

— Тогда давайте в открытую, без подходов и без обид. Хотя обиды и могут быть, но мы их, можно сказать, превозмогём.

Такой подход «без подходов» заинтересовал Баранова и обеспокоил Василия.

— Что случилось? Выкладывайте, товарищ Сметанин, — попросил он.

— Это уж обязательно, только дайте все-таки объяснить, что и к чему, для разбега и для ясности. А когда ясность будет, мы порешим все миром и без огласки. Курить разрешается?

— Само собой... Мы же на улице.

Сметанин стал свертывать сигарку.

— Не из бедности, не подумайте. Привык курить самокрутные. А дело было так... Наш бывший председатель, Семен Явлев, сначала охал меня якобы за клевету, а потом выжил из колхоза как бригадира по скоту начисто. А теперь, перед Пленумом, все увидели, что с моей стороны все это была правильная борьба против очковтирательства. Вызвали куда надо и рекомендовали председателем... А Явлева — наоборот. И было за что.

— За что же его «наоборот»? — поинтересовался Баранов.

— За обманные, главным образом, обязательства и надувательства. Обязательства год от году все выше и выше, а выполнение было год от году наоборот. Совсем до ручки колхоз довел. Но не буду задерживаться на этом. Партия о таких свое слово скажет, и думаю, что мое письмо тоже даром не пройдет.

— Вы писали в ЦК? — спросил Баранов, которому Сметанин явно нравился и своим открытым взглядом, и прямою суждений.

— А как же? У меня, слава тебе, можно сказать, семиклассная грамота. С запятыми только нелады. Так дочь же есть. Все изложил. И получил персональный ответ... Только я не за этим к вам, а насчет вашей белой свиньи.

— Свиньи? — переспросил Василий Петрович. — Тогда вам лучше разговаривать с Серафимой Григорьевной. Я ее сейчас позову...

Сметанин удержал Василия за руку:

— Не надо. С нею у нас мирных переговоров не получится. Все может кончиться прокурором и следователем, а у меня покос и строительство. Некогда.

— Что же вы хотите от меня? — спросил, недоумевая, Василий Петрович.

— Свинью, Василий Петрович. Белую свиноматку, двух лет и трех месяцев. За наличный расчет.

— А как же, понимаете, так? — растерялся Василий. — Во-первых, я не торгую свиньями, а во-вторых, понимаете, если бы и торговал, так зачем я должен...

— По закону, Василий Петрович. По принадлежности. Свинья наша, колхозная, — сказал Сметанин, опустив глаза, похлопывая кнутовищем по голенищу сапога. — И ее надо возвернуть...

Василий Петрович пожал плечами, посмотрел на Баранова, не зная, как дальше вести себя.

— Товарищ Сметанин... Я отлично помню, что эта свинья куплена Серафимой Григорьевной небольшим поросенком...

— Именно, — подтвердил Сметанин, — поросенком. Но как? По какому праву и у кого? Вот в чем вопрос, Василий Петрович... А куплена была эта валютная и призовая свинка у нашего подлеца председателя. И не она одна, а три и один боровок этого же призового, валютного племени. А получили мы их по централизованному распределению и для завода белого стада.

— Я ни у кого ничего не покупал не по закону...

— Я знаю. Но голова-то всему тут вы. Вы и в ответе за всех ваших, можно сказать, свиней... Но я не хочу на вас тень наводить! А наоборот. Я веду мирные переговоры. Этой матке нет цены. И отступить от нее я не могу. Уже если меня на председательское место посадили, так не для одного на нем сидения, а для наवरстывания упущенного. Таких свиней в нашей округе три да один боров. Двух я уже доставил обратно. Тоже сначала их незаконные хозяева то да сё... Особенно лесник, который свою свинку персонально выменял у нашего бывшего председателя на беспородного белого поросенка с большой придачей. И я ему объяснил, чем это все может кончиться. И он понял. А вам мне что объяснять? Вы сами понимаете, что отчуждение свиньи из социалистической собственности в частную собственность в районной газете может выглядеть, как не таё... А зачем вам нервничать, когда у вас и без того гнили достаточно? — Сметанин указал кнутом на груду досок, пораженных грибом.

Слушать Сметанина далее было для Василия оскорбительно. Тем более, что он действительно не имел никакого касательства к покупке белого поросенка. Поэтому была приглашена Серафима Григорьевна.

— Это новый председатель колхоза «Красные зори»,— сказал Василий.— Он требует белую свинью, как незаконно купленную вами...

— Это еще что?.. Как же так незаконно, когда у меня свидетели? Когда я за нее, вот такухонькую, тысячу двести отдала?— стала защищаться Серафима Григорьевна, взвизгивая, притопывая и сверкая левым глазом, который выглядел теперь совсем стеклянным, искусственным.

Баранов понял по этому крику, что председателю колхоза нетрудно будет уличить Серафиму Григорьевну, и вмешался:

— Серафима Григорьевна, никто же не говорит, что вы купили краденого поросенка непосредственно в колхозе... Он мог попасть к вам через третьи руки...

— А я о чем говорю?— обрадовался председатель.— Кто и что может сказать про вас, про такую самостоятельную женщину?.. Вам и в голову не могло прийти, что она, это самое... А поскольку это так, получите причитающееся.

Хотя выход был найден, и вполне благопристойный, но Серафима Григорьевна упиралась:

— Так вы с того и спрашиваете, кто ее незаконно продал...

Но Сметанин сказал:

— Не советую вам, от души не советую виноватых искать. Дело прошлое, запутанное... Сколько вам за нее?

— Я уж сказала, что за нее тысячу двести отдала, когда она была поросеночком...

— Девятьсот пятьдесят,— поправил Сметанин,— вы забыли. Ну, будем считать—тысячу, а остальное доплачиваю по живому весу, по рыночной цене... Техник!— крикнул он за ограду.— Заезжай в ворота!

Серафима Григорьевна опешила:

— Это как же? Сразу и заберете ее?

Сметанин любезно принялся убеждать:

— А зачем вам на завтра откладывать? И мне будет думаться, и вам, можно сказать, икаться. Не ровен час захворает свинка—нарекания возникнут. А свинка валютная. Четыре приза у ее матери. Через два года она мне треть стада белых свиней даст... Прошу вас... Давай, Тихон Иванович, подъезжай к сви-

нарничку, — обратился он к молодому человеку. — Это наш зоотехник. Знакомьтесь.

Зоотехник провел под уздцы лошадь, запряженную в телегу, на которой стояла большая клетка. Видно было, что Сметанин действовал наверняка.

— Что же это делается, Василий Петрович? — не столько спрашивала, сколько оправдывалась Серафима Григорьевна.

— Это уж мне надо вас спрашивать...

Василий еле-еле сдерживал себя. И он тоже не сомневался, что Сметанин знает гораздо больше, чем сказал, щадя его, известного сталевара.

Белую свинью зоотехник легко загнал в клетку, а клетку с помощью плотников поставили осторожно на телегу.

— В смысле расчета не беспокойтесь, — заверил Василия председатель, — до грамма взвесим и до копейки высчитаем. А за быстроту решения вопроса от имени «Красных зорь» благодарю...

Прощаясь с Аркадием Михайловичем, Сметанин сказал:

— А что сделаешь? И у нас в колхозе, можно сказать, единоличный сектор есть. Другие тоже через свою грядку на колхозное поле глядят... Ничего, ничего, — хлопал он Баранова по плечу, — минует и это...

Вежливый Сметанин сам закрыл ворота и, салютуя кнутом, крикнул:

— Общий привет, товарищи!

Закрылись ворота. Хлопнула калитка за веселым и хитроватым Сметаниным, а он между тем не ушел. Он остался рядом с Василием, насмешливым Барановым. Лицо, глаза, нос и все прочее — другое, а суть та же.

— Вот тебе и ответ на твой вопрос, Вася. Выходит, одна и та же свинья может подрывать социализм и может укреплять его. Или я ошибаюсь? — спросил Аркадий.

Василий ничего не ответил на это. Да и что мог ответить он? Защищать тещу? Это невозможно. Как обелить? А сознаваться не хотелось. Ой, как не хотелось! Далеко это пойдет. Так далеко, что и заблудишься во всех этих недоговоренностях, примиренностях и в сторублевых клочках, найденных при вскрытии пола.

Иногда лучше кое на что закрыть глаза, чем открыть их. Откроешь — и не ровен час увидишь то, с чем нель-

зя уже будет смириться, а не смирившись, придется ломать все, что создавалось с таким трудом и с такими радужными надеждами.

Не пойти ли да не покормить ли хлебными объедками карпов? Веселое это и, главное, отвлекающее занятие...

XXVI

Казалось, что через день-два забудется визит председателя «Красных зорь», но этого не случилось. Вбитый им клин между Василием и его тещей продолжал увеличивать трещину в их отношениях.

Баранов ничем не напоминал о случившемся. Он, видимо, считал, что Василий должен сам разобраться во всем этом и сделать выводы.

Выводы Василия сводились к тому, что через неделю или две он поговорит с тещей при Ангелине, внушит ей то, что надо, и у них снова установятся нормальные отношения.

Тещу надо щадить ради Лины, Лина не может отвечать за Серафиму Григорьевну. В любви Василия к Лине должно быть найдено снисхождение к ее матери. Но пусть пройдет время. Пусть теща попереживает, помучается из-за свиньи. Может быть, она и в самом деле купила ее через третьих лиц, ничего не зная. Хочется думать, а может быть, и следует думать, что это так...

Новые балки уже на месте. Стелется новый черный пол из толстых сухих пластин, плотно пригнанных в закрой стыков и хорошо обработанных «адской» антисептической смесью. Скажем, что наш милейший Аркадий Михайлович Баранов показал себя недюжинным плотником. Он смело и точно выбирал топором в балках губку, не отставая в работе от нанятых мастеров.

— Ну так ведь саперы — они все могут! — одобрил работу Баранова старший из плотников.

Аркадий Михайлович, честно отработывая свои харчи и койку, которая все еще пока находилась под сосной, трудился до полудня, а потом уезжал в город, не объясняя зачем.

— Я же работать здесь собираюсь, — отвечал он Василию. — Нужно позаботиться и о квартире, и о пе-

реезде семьи. Познакомиться с людьми. С городом, наконец. Отпуск отпуском, а дело делом.

А сегодня, в субботу, Баранов не поехал в город. Он встретился с человеком, которого, оказывается, он знал по фронту. Этот человек был тогда подполковником ветеринарной службы, а теперь он в отставке. На пенсии. У него свой дом. И свои полгектара.

Речь, как вы догадываетесь, идет о Павле Павловиче Ветошкине. Он пришел к Серафиме Григорьевне относительно кормов. Ей хотя и не удалось осчастливить замужеством Ветошкина, за что она про себя желала ему «и язву, и рак, и затяжную смерть», но все же состояла с ним в деловых отношениях, приносивших ей немалые прибыли.

Пронырливый доставала Кузька Ключ приобшил Серафиму Григорьевну к тому миру, который жил возникающими затруднениями в торговле, а чаще искусственно создавал эти затруднения.

Аркадий Михайлович сразу узнал пришедшего. Ветошкин почти не изменился за эти годы. Та же бритая седина. Те же мешки под глазами и такой же буро-малиновый нос. Правда, Ветошкин чуть располнел и даже порозовел.

— Прошу извинить, но, мне кажется, ваша фамилия Ветошкин?

— Ветошкин,— ответил тот.

— В таком случае мы с вами встречались под Барановичами, когда вы приезжали к нам... Помните сержанта, который вас вывел после легкого ранения в руку из леса, где мы отсиживались?

Ветошкин пристально посмотрел на Баранова.

— Это вы?

— Это я. Моя фамилия Баранов, а зовут меня Аркадий Михайлович. Тогда у меня не было возможности, а равно и оснований представиться вам подобным образом.

Ветошкин обнял Баранова и сказал:

— А я все равно помню ваше лицо, ваши глаза и даже голос. Теперь я получаю счастливую возможность хоть как-то отблагодарить вас. Прошу ко мне. Я живу в трех шагах. У меня превосходное хозяйство и соответствующий резерв «пороховых», так сказать, запасов в погребах. Хо-хо-хо!

Баранов не отказался, и вскоре вместе с Павлом

Павловичем они очутились в окружении цветов и благоухания.

Клумбы — ромбами, овалами, кругами... Дорожки, посыпанные золотистым речным песком, мелким щебнем. Маленький журчащий фонтан. Огромный дог. Гамаки. Качалки. Садовые зонты. Стриженные кустарники, маленькая оранжерея, наконец, дом в стиле пряничного теремка, с петушками на коньках остроконечных крыш и росписью по ставням и ветровым доскам. Крылечко с белыми лебедями, выпиленными из толстых сплоченных досок. Коврик перед входом с надписью: «Прошу пожаловать».

— Прошу пожаловать, — повторил Павел Павлович сказанное ковриком. — Это мои скромные апартаменты, а это моя дражайшая Алина Генриховна.

Алина Генриховна протянула смуглую тонкую руку.

— Баранов, — отрекомендовался Аркадий Михайлович и почему-то смутился, увидев жгучую, черноволосую красавицу, стоявшую рядом с розовощеким и седым Павлом Павловичем.

Алине Генриховне никак нельзя было дать больше двадцати шести — двадцати семи лет. Ее темные большие глаза были грустны. И весь ее облик напоминал индианку-танцовщицу, недавно виденную Барановым не то в журнале, не то на экране телевизора. Вызывала она и другие сравнения. Пришла на ум лермонтовская Бэла. Может быть, причиной этому была молчаливость Алины.

Разговаривал пока только Ветошкин.

— Вас, Аркадий Михайлович, попугай судьбы вынул из урны случайностей не только приятным подарком для меня, но и для Алины Генриховны. Она так одинока в этом Садовом городке!..

Молодая женщина украдкой рассматривала Баранова.

Аркадий Михайлович — человек среднего роста. Подвижен, но не тороплив. Широкоплеч, но не коренаст. Чуть смугловат. Чуть седоват с висков. Но эта ранняя седина так украшала его волнистые, склонные к кудрявости и, видимо, сдерживаемые в этой склонности гребенкой густые темно-каштановые волосы, обрамляющие продолговатое лицо. Лицо с прямым носом, гладкой кожей и единственной глубокой складкой меж густых бровей.

О глазах Баранова говорилось несколько раз на этих страницах. Они привлекали внимание каждого. Алина Генриховна, попав в их карие лучи, почувствовала себя в том освещении, в каком она давно уже не бывала.

Тут нужно предупредить заранее читающего эти строки, чтобы он не делал пока никаких предположений и тем более не строил боковых сюжетных конструкций.

Однако скажем, что ничто живое не было чуждо Аркадию Михайловичу. Но не будем отвлекаться на приводящиеся абзацы...

XXVII

Павел Павлович и его молчаливая жена провели Баранова по комнатам, обставленным с большим вкусом то старинной, тяжелой, то легкой и элегантной мебелью.

Повторяясь, скажем, что огромные глаза Алины были грустны. Строгий, как у «Неизвестной» на картине Крамского, нос украшал ее лицо в сочетании с тонкими собольими бровками. Именно собольими. Нельзя же ради хвастовства мнимым словарным богатством искать иное, идентичное, но худшее слово. Мелкие синевато-белые зубки и вишневые губы, не знающие губной помады, были ярки.

Алина Генриховна куда выше низкорослого Павла Павловича. Наверно, этому помогали очень высокие и очень тонкие, немногим толще шорной иглы, каблучки.

Была показана ванная, а затем и кухня, сверкающая белизной кафельных плиток и кружевного фартука девушки, поджаривающей ароматные деволяи.

Наконец Баранова провели в гостиную, где было предложено сесть.

Павел Павлович добыл из буфета коньяки, настойки и виски, расставил рюмки различных калибров и форм, по пути включив магнитофон под названием «Мелодия». Он продекламировал под музыку:

— Вальс! Вальс! Вальс!

Это прозвучало как приглашение потанцевать с Алиной.

— Приглашайте же, приглашайте Алину Генриховну, а я займусь хозяйством. Это мне нравится куда больше... Хо-хо-хо!

Павел Павлович скрылся. Они остались вдвоем. Баранов не ожидал такого поворота. Танцы никак не ожидалось им. Пусть он не чуждается их, но все-му свое место и своя «музыка». Однако же...

Однако же коли ты решил побыть в роли «груздя», то и «лезь в кузов». И Аркадий Михайлович неожиданно для себя и наперекор себе спросил:

— Вы, конечно, танцуете, Алина Генриховна?

— Еще бы...

— Если вам хочется...

— Я с удовольствием, Аркадий Михайлович. — Она подошла к нему и подняла глаза. В них читалось теперь что-то похожее на признательность.

И они закружились.

Алина Генриховна танцевала, едва касаясь пола. Порхая, она будто заранее знала, куда поведет ее Аркадий Михайлович, предупреждая каждое его движение.

Может быть, она профессиональная танцовщица? Но не спрашивать же ее об этом! Все же Баранов заметил:

— Вы поразительно танцуете, Алина Генриховна!

— Благодарю вас, — не жеманясь сказала она. — Я очень люблю танцевать. Но не с кем, — пожаловалась она так же просто, ни на что не намекая. — У Павла Павловича одышка и живот. А наша Фенечка плохо водит и очень занята...

— Но ведь город же рядом, — попытался подсказать Баранов.

— Да, конечно... Но я с зимы не была там. — Она снова подняла на Баранова глаза и сказала: — Вы, кажется, на самом деле добрый человек...

— Помилуйте, как можно судить по первой встрече!

— Я наблюдаю за вами давно. А кроме того, я очень люблю Лидочку Кирееву и бесконечно верю ей.

Так они, разговаривая, танцевали минут пять. Вальс сменился медлительным танго и наконец... де-волями.

— Боевого товарища прошу к столу. Фенечка, разлейте нам коньяк! — попросил Павел Павлович кружевную девушку, соперничающую красотой блондинки с темноволосой Алиной Генриховной.

И когда сели за стол, Павел Павлович принялся рассказывать Алине Генриховне о встрече с Аркадием Михайловичем, балансируя на грани преувеличений и лжи.

Баранов всячески смягчал перехлёсты Ветошкина. Алина Генриховна со всей непосредственностью заметила на это:

— Преуменьшать так же дурно, как и преувеличивать. Я знаю, Аркадий Михайлович, — мне Лидочка говорила, — вы герой. И не стоит этого стесняться. И если бы вы и Василий Петрович Киреев были менее скромны, то ваше геройство было бы отмечено высокими наградами. Но это между прочим...

Баранов слушал не слова, а голос. Мягкий. Неторопливый. Искренний. Слушая Алину и наблюдая за ней, он убеждался, что перед ним человек, во-первых, прямой и правдивый и, во-вторых, несчастный. Об этом он разузнает у Лиды. У Василия. У Серафимы Григорьевны, наконец... Сейчас его интересовало другое.

Любознательного Баранова интересовало благополучие этого дома. Вернее — источник благополучия. Откуда взялось и на чем держится все это? Ковры, мебель, сервировка стола, антикварное изобилие ненужных, но дорогих вещей, роскошество сада, гараж на две машины и все остальное, на что никак не могло хватить ветошкинской пенсии.

Может быть, Ветошкин, как и Серафима Григорьевна, стрижет прибыли с цветов, ягодников или свиней? Но сад у него не промышленный. Скотом даже не пахнет, как и птицей. Канарейки, заливающиеся в мансарде, тоже не могут давать дохода. Так что же?

Распознавание Павла Павловича не составило особенного труда. Он не прятал себя, как Серафима Григорьевна.

— Нет, батенька мой, не медицинское дело заниматься цветочками на продажу, разводить этих самых, из которых получают окорока, корейка и коп-

ченая колбаса, — ответил Павел Павлович на вопрос Баранова о дороговизне содержания такой дачи.

— Так что же, Павел Павлович, позволяет вам утопать в таком великолепии? — польстил Баранов хозяину, обводя широким жестом стены столовой, увешенные хорошими картинами.

— Хо-хо-хо! — закатился Ветошкин смехом. — Сто лет угадывайте — не угадаете! В интересах вашего аппетита я не могу раскрыть секрета моих доходов во время еды. А после завтрака не только расскажу, но и покажу...

Ветошкин сдержал свое слово. Взяв под руку Баранова, он повел его в глубь сада. Там, в зелени сирени и жасмина, находилось довольно большое каменное здание с высоко расположенными окнами, какие бывают в скотных дворах.

Ветошкин открыл дверь, обитую клеенкой, затем вторую. Пахло резким и кислым. Они вошли внутрь.

Вдоль стен и посередине помещения, как книжные составные полки, в шесть рядов стояли клетки, а в клетках сустились белые крысы и крысенята.

— Как это понять, Павел Павлович?! — опешив и, кажется, испугавшись, спросил Баранов.

Ветошкин, злоупотребивший до этого коньяком, развязно заявил:

— Вы лучше, голуба, спросите, как и во что следует оценить это научное звероводство.

— Вы ведете исследовательскую работу?

— Бог с вами! Я всего лишь способствую ей. Я поставлю моих белых питомцев научно-исследовательским и лечебным учреждениям.

— Каким образом?

— Самым простым. Приезжают. Отсчитывают. Забирают. Расписываются. Увозят. Затем без хлопот переводят причитающееся на сберегательную книжку. И все.

Баранов едва ли не лишился дара речи. А вопросов нахлынуло так много, и, который из них уместнее задать, он не знал. Постояв минуту-другую, он наконец спросил:

— А почему же лечебные и научные учреждения сами не разводят подопытных животных?

— Нерентабельно. Не укладываются в ассигнования. А я не только укладываюсь, но, как видите, кое-

что приобретаю. Хо-хо-хо!.. Конечно, это все кое-что стоит и мне. Корм... Феня. Феня кроме обычного жалования получает еще два. И проценты за перевыполнение запланированного поголовья... Она великолепно владеет тонкостями ухода за матками и приплодом. Она же бывшая свинарка колхоза «Красные зори». У меня есть и свинки. Только морские... Вот. Пожалуйста, полюбуйте, какие красавицы...

Вспомнив название колхоза, Баранов вспомнил и недавний приход Сметанина.

— А почему Фенечка оставила колхоз?

— Она же доктор! Академик! Как Фенечка могла погибнуть в колхозном свинарнике и получать какие-то... Конечно, — спохватился Ветошкин, — у нас есть отличные сельскохозяйственные артели, но в данном случае я ее спас. Вы видите, какие я ей создал здесь условия!

— Вижу!

— Блеск! Для медицинских целей нужна не просто крыса, а своего рода стерильная крыса. Абсолютно чистая кровь. Чистый волосяной покров. Ежедневно бывает эпидемиолог. Он у меня получает второе жалование. Зато никаких признаков болезней за все эти годы. Он определяет состояние здоровья по глазам крысы безошибочно. «Эта больна», — и сейчас же в карантинник... Вот это моя лечебница...

Ветошкин указал на загородку, где стояло до пятнадцати клеток, застекленный шкаф с медикаментами, шприцами, маленькими термометрами, чем-то еще, чего не стал рассматривать Баранов. Ему хотелось как можно скорее покинуть эти стены, заставленные клетками с кишашими в них крысами. Но влюбленный в свое предприятие Ветошкин сообщал все новые подробности о повышении рождаемости, о температуре питомника, об особом рационе для маток, уходе за ними в период помета. Затем — вычисления. Прогрессия прироста. Роль жиров. Известняка. Яиц. Полезность кварцевого облучения. Значение гексахлорана в борьбе с блохами...

Баранов вышел из крысятника, шатаясь. Серафима Григорьевна показалась рядом с Ветошкиным светлым ангелом.

— А налог вы платите? — спросил он, чтобы что-то спросить, а потом округлиться и уйти.

— Какой налог? Что вы! За крыс — налог? Хо-хо-хо! Такого нет и не может быть...

«А не помешало бы», — подумал Баранов и начал прощаться.

Алина Генриховна ждала их на площадке перед домом. Не сказав ни слова, она сказала очень много, взглянув на Баранова. Он видел, как ей было стыдно за Ветошкина и за себя. А может быть, только за себя...

Павел Павлович, кажется, порозовел еще более. Может быть, этому помогал зеленый фон растений. Но что бы ни помогало — фон, коньяк или солнце, — Баранова не оставляло назойливое слово: «Упырь».

— Мне очень жаль, — слышался голос Алины, — Павел Павлович напугал вас своим питомником.

Она протянула руку и улыбнулась Баранову.

Как много иногда заключается в улыбке! В ней она просила прощения. В ней она роняла надежду на встречу. В ней она повторяла уже сказанное: «Вы добрый человек».

Аркадий Михайлович, пообещав заглянуть к ним, пригласил Ветошкиных ответить ему визитом на дачу Киреевых и поспешно удалился.

На пути перед его глазами вырастали стены с клетками и белые крысы, а в голове назойливо звучало: «Белые крысы, черный барон...»

Над городком просвистел самолет. Потом слышался дальний гул поезда. На горизонте, за лесом, дымили трубы. Где-то пела круглая электрическая пила. Сигналили автомашины.

Это была другая жизнь. Жизнь, из которой пришел он и очутился в этой яме. И люди, живущие там, едва ли сумели бы поверить ему, если бы он стал рассказывать им обо всем увиденном. Да и сам он теперь готов усомниться: явь ли это все? А если явь, то как она могла возникнуть и смердеть под этим голубым и огромным небом, куда опять улетел новый чудесный космический посланец его страны?

Что породило эту проказу, этот духовный распад Ветошкина, любующегося своим цинизмом?..

Надо же было так сложиться дню! Надо же было встретиться с этим пресыщенным негодяем!

Домой Аркадий Михайлович не пошел. Хотелось прийти в себя.

После встречи с Ветошкиным Аркадий Михайлович несколько раз обошел Садовый городок, размышляя о нем и его населении.

Садовый городок состоял главным образом из небольших разномастных домишек, теснящихся на окаймленной лесом гектаров в пятнадцать-двадцать поляне, когда-то числившейся в заводских покосных землях.

Справа и слева от городка проходят железнодорожные магистрали. Свидетельство этого — неумолкаемый шум поездов, сирен электро- и мотовозов, гудки все еще пока здравствующих паровозов. Стоило пройти километр вправо или полтора километра влево, чтобы убедиться, как напряжены эти железнодорожные артерии страны. Грузы — лес, цемент, нефть, известняки, кирпич, огнеупоры, прокат, машины. «Белые» поезда, везущие мясные, молочные продукты. «Черные» — угольные поезда. «Коричневые» — рудные... Сборные. Специальные. Пассажирские. Неперечислимое множество длинных грохочущих составов, стремительно проносящихся в далекие и ближние города, свидетельствовало о ритме жизни огромной страны. Страны спешащей и успевающей. Страны строящейся и создающей. Великой индустриальной державы.

Здесь сотни младших сестер знаменитой Эйфелевой башни несут на своих стальных плечах тяжелые высоковольтные провода. Это электрическая магистраль. Тут ее дельта. Она ветвится многими линиями, передающими электрическую силу рудникам и заводам, образующим огромное промышленное кольцо вокруг большого города.

Рядом, в двухстах метрах от Садового городка, роют траншеи, сваривают трубы, в которых, почти не сгибаясь, бегают дети. Это магистраль газопровода, который, вступив в строй, будет событием этого года. Огромнейшим событием.

И тут же проходит новый нефтепровод. Тоже магистраль.

Все это пространство, вся эта лента шириною в два или более километров, вправе называться одной из магистральных дорог, соединяющих Сибирь и европейскую часть Советского Союза. Над этой великой

трассой, как бы венчая ее, пролегла дорога воздушных кораблей, и близится к завершению еще одна невидимая дорога — дорога взаимного обмена городов телепередачами.

И надо же было именно здесь, в промежутке магистральных путей, появиться Садовому городку.

Ничто, даже грибы, не возникает без причин. Всякий, желающий рассмотреть пристальнее этот городок, увидит в нем некоторую закономерность издержек времени.

Рост населения больших промышленных городов Урала долгие годы опережал размеры и темпы жилищного строительства. Новые дома возводились, начиная с первой пятилетки. Возникали рабочие поселки и города. Но настоящее, большое строительство, проводимое новейшими индустриальными способами, стало особенно ощутимо за предшествующие три года и в первые два года семилетки.

После XXI съезда КПСС для многих граждан получение новой квартиры из предположительной возможности стало реальной, а иногда и «календарно-определенной». Особенно точным в этом отношении было руководство Большого металлургического завода. Заводская жилищная семилетка и распределение квартир на ближайшие два года были сверстаны с точностью до квартала. Если ожидающий знает, сколько ему осталось ждать, он чувствует себя куда спокойнее, нежели тот, кому обещают «твердо» без «твердого» срока ожидания...

Некоторые в ожидании счастливого новоселья построили себе под видом садовых домиков временные жилища. Построили, не заботясь об их внешности, благоустройстве, зная, что одни через год, другие через два года получают запланированную им квартиру.

Это одна категория застройщиков, называющихся в просторечии Садового городка «временные». Другая категория — это «любители». К ним относились садоводы, огородники, цветочники и просто желающие провести летний вечер, воскресный день на свежем воздухе.

Для этой категории садовые домики были улучшенным продолжением лесных и покосных балаганов.

Балаганы в старые годы ставились уральскими рабочими на покосах в страдную пору и в лесу в

грибную пору. В этих балаганах, сооруженных из елового лапника, из домотканых половиков, рабочие жили семьями. Это был своеобразный летний отдых, совмещенный с заготовкой сена, дров, со сбором и солкой грибов. А теперь более капитальным потомком балаганов явился утепленный садовый домик — своеобразная дача. И в этом Баранов не видел ничего зазорного, как и в садах, уход за которыми приносил столько радостей садоводу, исключая и тень корысти.

Конечно, старая ведьма, не выходявшая эти дни из головы Аркадия Михайловича, караулила под каждым кустом бескорыстных садоводов, и кое-кто из них клевал на ее поживку, как это произошло с Василием. Но есть и Бажутины...

Дом Бажутиных куда больше дома Киреевых. Те же яблони, вишни, ягодники, цветы. То же хозяйство. То же, да не то. Не то, начиная с широко распахнутой калитки, будто приглашающей вас. Здесь всегда шумно. Днем — детвора, вечером — молодежь. Здесь бывает и Лидочка, Здесь, а не у отца на даче, Лидочка встречается со своими сверстниками. Сюда приезжает на велосипеде и Миша Копейкин.

Этот гостеприимный дом будто и не принадлежит Бажутиным. Да и Бажутины не знают теперь, кому он принадлежит. Начиная строить его дед, продолжил отец, а сыновья и зятья в свою очередь прирубали прирубы, надстраивали второй этаж. И что теперь чье, кажется, никому нет дела.

Таким, как мы помним и как знает Аркадий Михайлович, хотел видеть свой дом и Василий Петрович. И если бы это так произошло, то не о чем было бы и говорить. Кто что может сказать о рыбаке или грибнике, для которых ужение или сбор грибов — радостный отдых? Но мы тотчас обращаем внимание и на рыбака и на грибника, гонящегося за наживой. Даже цвет черемухи, лесные ландыши, еловые ветви с нарядными шишками становятся иногда жалким товаром в руках стяжателя. И это правда.

Аркадий Михайлович вспомнил, как в Крыму, в Ялте, маленькая, хорошо одетая девочка торговала на берегу ключевой водой. Пятачок за стакан. Она приносила воду в большом чайнике. Торговля шла ходко. И девочка радовалась пятакам.

Кто подсказал этой девочке торговлю водой? Кто

ее отравил стремлением собрать как можно больше пятаков? Может быть, некая тетка вроде Панфиловны? А может быть, и родная мать? Как скажется все это на девочке, как отзовется эта торговля на ней, когда она вырастет?

Серафима Григорьевна тоже была когда-то девочкой. И, наверно, приятной, как все дети. А потом отец, его мечта о золотой жиле, рассказы о кладах и вся атмосфера семьи, желающей разбогатеть, отравили душу маленькой Серафимы. И она стала жить отцовской желтой мечтой стяжательницы.

Мы знаем, что госпожа частная собственность чаще всего ставит свои капканы на землях личного пользования, будь то садово-дачные или колхозные приусадебные участки. Однако же не они, а человеческая душа, внутренний мир человека, — единственное и главное место, где старая ведьма может сплести свою губительную паутину.

Не кажется ли вам, что можно быть собственником, не имея ничего? Ничего, кроме желания владеть, стяжать, наживать, обогащаться.

У великого русского писателя Чехова в свое время было имение в Мелихове, а потом дом в Ялте, между тем Антон Павлович никогда не был собственником.

У бездомной ханжи Панфиловны нет даже собственной кровати. Панфиловна снимает углы. Между тем ее темная, густо затканная собственническими тенетами душа ничем не отличается от души владетельного банкира, ворочающего миллиардами.

Так думал Аркадий Михайлович. Может быть, так же думаете и вы...

XXX

Утром Аркадий Михайлович решил пойти побродить по городу. Здесь ему жить и работать не один год. Надо знакомиться.

Город густо дымил на окраинах. Дымил металлургическими, химическими, цементными заводами. Машиностроительные заводы, заводы приборостроения, мебельные фабрики и фабрики одежды обходились без дыма. Там царствовало главным образом электричество.

Прекрасен этот город. Таких не больше пяти или

шести на Урале, если сюда же включить столицу Башкирии Уфу. Здесь в эти дни все дышит вторым годом семилетки. И витрины магазинов, и большие фанерные щиты, сообщающие о достигнутом заводами и о том, чего еще нужно достичь. Доски показателей и Доски почета — привычные спутники советских городов. Есть они и здесь.

Вот Доска почета Большого металлургического завода. На ней все еще красуется фамилия Василия Петровича, хотя ему давно уже нет места на этой Доске. Инерция — великая сила. Человек сошел с гребня волны трудовых успехов, а фамилия его звучит. Звучит по привычке. Кто возьмется зачеркнуть его имя?

Баранов ходил по городу час, два, три, четыре... Он знакомился с каждой улицей, заходил в магазины, встречался с незнакомыми, но такими близкими ему людьми. Кажется, впечатлений было достаточно для того, чтобы выйти из лабиринта мыслей, суждений, внутренних споров, навеванных Садовым городком. Ему хотелось как можно справедливее и определеннее понять, а затем оценить увиденное за эти дни.

Что бы и кто бы ни говорил, но для таких людей, как Серафима Григорьевна и Ветошкин, оказывается, еще находятся в нашем обществе лазейки, которые позволяют им вступить в капиталистические отношения. Да, их отношения, с какой мягкой меркой ни подходи, капиталистические.

У одной — эксплуатация земельных угодий и скота, у другого — капиталистическая ферма в чистом виде, с наемным трудом.

Может быть, Баранов ошибается? Преувеличивает? Может быть, он делает поспешно выводы?

Давайте проверим вместе с ним. Прибегнем к простому способу и допустим, что Ветошкин или Серафима Григорьевна получили беспрепятственное право укрупнять и развивать свои хозяйства, и представим себе, во что бы это вылилось.

Мог бы Ветошкин нанять не одну, а двух работниц на свою ферму? Несомненно. Он мог бы нанять и трех. И тридцать.

Могла ли бы Серафима Григорьевна, если бы ей позволили, прирезать еще два, три, четыре таких же земельных участка, могла бы она вместо трех-четырех голов свиней и дюжины поросят держать до сорока

голов? Несомненно. До этого же она старалась всячески увеличить и свой участок, и поголовье своего скота. И если она не расширяет своего хозяйства далее, то это происходит вовсе не благодаря умеренности ее аппетита. Ее аппетит безграничен. Ограничены возможности, условия стяжательства. Ей, как и Ветошкину, приходится балансировать.

Отсюда мы вместе с Аркадием Михайловичем можем сказать, что и Ветошкина и Серафиму Григорьевну сдерживают только условия и возможности, вернее — невозможности, а в остальном мы имеем дело с капиталистическими элементами.

Это не просто отрицательные персонажи, но и социально враждебные нам типы. Может быть, поэтому Баранов так пристально и так всесторонне изучает этот гнилой мирок Ветошкиных — Ожегановых, где ненавистное капиталистическое вчерашнее ищет легального укоренения в нашем сегодняшнем дне. Ни Серафима Григорьевна, ни Ветошкин, разумеется, не могут представлять сколько-нибудь существенной угрозы. У них нет почвы. Это случайно выросшие сорняки. Это случайные клопы в новой квартире, привезенные вместе со старым креслом. Но что вы скажете о Василии и об Алине? Они-то ведь по своей природе не сорные травы.

Рассуждая так, Аркадий Михайлович принялся думать об Алине. Кто она? Жертва Ветошкина или сознательно пришедшая в этот дом безделья и мещанского благополучия?

Кто?

Хочется верить в лучшее. Хочется думать, что Ветошкин заманил ее, расположил, околдовал и сделал своей женой. Но...

Но и в этом случае Алину нельзя оправдать полностью. Все же мы живем в такое время, когда невозможно принудить к браку и заставить мириться с крысиным царством. Алина не бесправная красавица из волшебной сказки, как и Павел Павлович при всей своей ядовитости не обладает чарами Синей Бороды или Змея Горыныча.

Как некстати вклинилась еще эта забота! Баранов мог бы пройти мимо. Но проходить мимо зла — значит поощрять его. А это не в характере Аркадия Михайловича. Но все же нельзя думать все время о Сера-

фимах, Ветошкиных, губках, кубышках... Нужно хотя бы здесь, в городе, уйти от них.

Баранов решил зайти на рынок. Ему хочется купить что-нибудь неожиданное к ужину. Например, раков. Он очень любит раков. Хорошо купить и стерлядь. О ней так часто говорит Василий. И вот Аркадий Михайлович отправился по рядам колхозных ларьков и столов утихающего базара.

Торговля все еще шла бойко, как государственная, колхозная, так и прочая. В числе бойких и зазывных торговшей Баранов увидел старуху Панфиловну.

Он узнал ее. Узнал и корзины, с которыми она тогда приходила. Это, несомненно, была Панфиловна. Она продавала последние цветы. Но не на них обратил внимание Баранов. Его заинтересовали карпы. Их было три.

Панфиловна, заметив взгляд Баранова, обращенный на рыбу, весело затараторила:

— Последние! Свеженькие! Только из пруда. Отдам недорого. Что же вы?.. Мо-ло-дой человек.

Баранов постоял, посмотрел на Панфиловну и сказал:

— Купил бы, да Василия Петровича Киреева обидеть боюсь.

У Панфиловны едва не выкатились на прилавок глаза, но выход был найден:

— Да разве у Василия Петровича водятся в прудке такие крупные рыбины? Вы только прикиньте...

Но Баранов не стал уличать далее старуху. Для него и без того было ясно, что Серафима не пропускает даже самую малую возможность продать, продать.

Словно напасть какая-то! И здесь, в городе, его преследует Ожеганова. А может быть, он напрасно избегает с нею прямых разговоров? Ему все равно не уйти от них. Когда-то нужно сказать, что он думает обо всем этом, и дать бой.

XXXI

На берегу киреевского прудика задумчиво сидела Алина Генриховна, равнодушная к плавающим карпам, к своему отражению в воде и, кажется, ко всему окружающему.

Она ждала Баранова. Ей нужно было улучшить минуту и сказать ему: «Я непременно должна встретиться с вами».

Алина еще не знала, зачем ей нужно было встретиться с ним, что она скажет ему... Но потребность видеть его была так велика, что ничего не могло оставить ее.

Пока Алина занята своими мыслями, послушаем, о чем шепчутся в стороне Ветошкин и Серафима Григорьевна.

Эти два человека, разнящиеся друг от друга образованием, запросами, кругозором, вкусами, оказались самыми близкими людьми, связанными единством стремлений. У них нет ничего недоговоренного, невыясненного. Они, как два прожженных картежника-шулера, не прячут взаимного намерения облапошить один другого.

После потери тридцати тысяч озлобленная Серафима готова на любые спекуляции, чтобы как-то утишить черную ноющую боль.

Ветошкину необходимо раздобыть две-три тонны зерна. И в этом ему может помочь только Серафима.

Заламывала она очень дорого, клянясь счастьем своей дочери, доказывая, что «накладные расходы» непомерно возросли, что ей из полученного не достанется и десятой доли. Ветошкину ничего не оставалось, как согласиться на рваческий куш. Летом у крыс наибольший приплод и чудовищный аппетит. А покупать корма в розничных магазинах можно было в килограммах, не в тоннах. Да и разве натаскаешься той же крупы в кульках? Для этого не хватит и дня, даже если он, Феня и Алина с утра до вечера будут заниматься покупками.

Ветошкину приятнее было вести свое хозяйство «чисто», но «дело» неизбежно заставляло идти во все тяжкие, и он шел.

Серафима Григорьевна, чтобы набить цену, лгала Ветошкину, будто достает «левое» зерно. В действительности, разузнав через Кузьку Ключа о порченном, негодном в переработку зерне, Серафима Григорьевна надеялась приобрести его по сниженной цене и, продав Ветошкину это зерно вдесятеро дороже, выглядеть спасительницей.

Что бы вы ни говорили о Серафиме, а ее следует

отнести к одаренным мерзавкам. Уж кто-кто, а пишущий эти строки нелицеприятен Серафиму каждой каплей изведенных на нее чернил. Но, ненавидя, нельзя зачеркивать ее изумительной изощренности. Запусти эту особу в одну из стран, где бессовестность, обман и нажива имеют преимущественные права гражданства, дай этой Серафиме оглядеться годок-другой в такой стране... Как знать, со скольких живодецов она сняла бы там шкуру и скольких бы пустила по миру?

Получив причитающееся за зерно вперед, Серафима Григорьевна пригласила Ветошкина и его милую «Алиночку-тростиночку» отужинать вместе с новым знакомым Ветошкиных — Аркадием Михайловичем Барановым.

Серафима Григорьевна еще не теряла затаенных надежд войти хозяйкой в дом Павла Павловича, а затем проглотить его вместе с крысами. Она была уверена, что Алина рано или поздно покинет Ветошкина. И как знать, вдруг да Баранов поможет ей в этом... Сигналы налицо. Никогда не бывавшая у Киреевых Алина вдруг явилась. Явилась и терпеливо сидит на берегу, нет-нет да поглядывая на ворота.

Всякое случается во время летнего отпуска. Принципы принципами, а соловьи соловьями... Главное, Серафима Григорьевна, не робей, не падай духом и смотри теперь в оба.

Ветошкин только было хотел ответить на приглашение Ожегановой: «Нет, что вы, нам пора», но Алина опередила его:

— С большим удовольствием, Серафима Григорьевна.

В довершение ко всему в воротах появились сначала козы, затем Лида и Аркадий Михайлович. Раков он все-таки раздобыл. Он привез их, переложенных крапивою, в плетенке. Видимо, рассказанное Лидой настолько прояснило личность Алины, что, увидев ее, он весело крикнул:

— Посмотрите, какие великолепные раки!

— Я их очень люблю! — отозвалась Алина.

Ракам обрадовался и Василий Петрович:

— Никак сотня?

— Нет, две. Я покупатель оптовый.

Снова появилась белая скатерть на столе возле пруда. Снова две курицы лишились голов. Сейчас был

смысл жарить молодых несушек: счет шел на тысячи, и пара кур в этом магарыче — две понюшки табаку.

Раками занялись Баранов и Киреев. Десяток самых крупных сразу же пустили в пруд для развода и как «санитаров».

Улучив минуту между курами и раками, коньяком и цинандали, Алина сказала Баранову:

— Могу ли я увидаться с вами наедине?..

Баранов ответил:

— Да!

Когда все занялись раками, Алина успела шепнуть:

— Благодарю вас, Аркадий Михайлович... Лидочка передаст вам записку.

XXXII

Василий Петрович и Баранов ночевали под сосной последнюю ночь. В большой комнате достигали пол.

Рано утром сквозь сон Василий Петрович услышал в пруду шумный всплеск, а за ним негромкий мальчишеский голос:

— Тяни, Лешка, тяни... Не сорвется...

Открыв глаза, Василий Петрович увидел двух мальчишек, сидящих на заборе. Один из них поймал крупного карпа и, выбирая леску, старался вытянуть его наверх.

Не помня себя, Василий схватил кол и опрометью бросился к пруду. Увесистый кол полетел точно в сидящих на заборе и, конечно, попал бы в одного из них, если бы быстрота и ловкость не оказали мальчишкам спасительной услуги.

Они очутились за забором до того, как зловеще свистящее возмездие пролетело над ними. Бросив удочки, они пустились наутек.

Догонять их было бесполезно.

Карп, сорвавшийся с крючка, метался на берегу, подпрыгивая в траве, и очутился снова в пруду до того, как Василий Петрович подбежал к нему.

Все это видел проснувшийся Баранов. Не подымаясь, он ждал, что скажет Василий. И тот, вернувшись с трофеями — с двумя удилищами, сказал:

— Какое, понимаешь, нахальное и открытое воровство!

— Воровство? А может быть, озорство? — тихо, еле сдерживая себя, спросил Аркадий Михайлович. — Ты вспомни себя в эти годы. На днях мы тоже с азартом в этом же прудике ловили карпов, и ты радовался вместе со мной...

Василий смяк, отвернулся.

— Это все так, но ведь рыба-то, понимаешь, не ими пущена в пруд. Они знают, что это моя рыба.

— И ты знал в их годы, что в огородах растет не тобой саженная репа или горох, — все громче и осуждающе говорил Баранов. — Но ты и я ползали крадучись по чужим огородам... Ползали не потому, что в своих не росла репа или не было гороха. Ползали потому, что охотничья страсть, проверка себя на страх, на храбрость, тяга к смелости неизбежны для этого возраста. Я не одобряю лазание по чужим огородам. Не одобряю. Я не оправдываю сладостью риска, очарованием ночного приключения подобного рода налеты, если даже ими движет только романтика... Но разве подобное преступление заслуживает наказания дубиной? Эх, Василий Киреев, Василий Киреев, старшина саперной роты! Как ты дошел до жизни такой? Как смог ты поднять руку на детей?! Как ты мог... — И тут снова Баранов оборвал гневные слова, не сказав всего, что хотел, и стал одеваться.

Утро было явно испорчено. Киреев пошел в дом проверить полы. Черный накат был уложен плотно. Протрава «адской смесью» велась исправно. Пройдет неделя, и губка останется позади. Завтра кончается отпуск, взятый за свой счет. Кузька Ключ не обманул, плотники — хорошие и добросовестные мастера. Они отлично будут работать и без него. Нужно только сегодня же сжечь заразную древесину. Другим это доверять нельзя. Могут недоглядеть и, чего доброго, сожгут дом.

Василий направился в дальний угол, где было свалено дерево, пораженное домовою губкой. Но там оказалось пусто.

— Где гнилье? — спросил он подоспевшую к нему тещу.

— А я его еще позавчера продала.

— Как продали? Заразу продали? Кому продали? Мамаша, вы в своем...

Серафима Григорьевна умела находить нужные

ответы, не заставляя себя ждать, и чернейшую ложь выдавать за светлейшую правду. Не дав Василию закипеть, она сказала:

— Василий Петрович, чем таким добром небо греть, подумала я, лучше оно на кирпичном заводе кирпичи обожжет. И им хорошо, и для нас пять бумажек деньгами. Вот они.

— Это другое дело, — сразу же согласился Василий, — кирпичный завод каменный, и губкой там зарзнить нечему.

Ангелина, слышавшая их разговор, знала, что ее мать лжет. При Ангелине Кузька Ключ увез на трех грузовых машинах подгнившие балки и совсем здоровые доски пола. При дочери Серафима Григорьевна, торгуясь с Ключом, говорила ему:

— Ты бы хоть, жулик, меня-то не обманывал. Стоит стеснуть с балок гниль — и за новые сойдут. А про доски нечего и говорить. Ты продашь их втридорога какому-нибудь малохольному застройщику. Наверно, уж есть такой у тебя.

Кузька не спорил. Он побаивался Серафимы Григорьевны. Видимо, она знала за ним такие грехи, за которые могут и не помиловать.

Ангелина видела, как мать пересчитывала пачки. В них было никак не «пять бумажек», которые она подала Василию. Видела и молчала.

Молчала потому, что это была ее мать. А мать, какой бы она ни была, всегда остается матерью. Матерью, которая родила ее, а потом выкормила, вынянчила, вырвала из рук многих болезней, поставила на ноги и выдала замуж. И сегодня она лгала ее мужу, может быть, тоже для нее.

Не на тот же свет, утаивая, приберегала она деньги, не на сторону же отдавала их. Или ей, или в дом, в хозяйство, а это значит — и ему, Василию.

Василий вернул теще «пять бумажек» и сказал:

— Пригодятся на олифу и охру для пола... А мне и в голову бы не пришло продать этот гиблый лес на топливо для кирпичного завода. Спасибо вам.

От этих слов щеки Ангелины густо покраснели. Она никогда не лгала Василию. Правда, она замалчивала кое-что, жалеючи мать, а теперь ей хотелось крикнуть. Назвать обман обманом... Но Ангелина опять промолчала. Застражили в горле слова.

Но несказанное, оставаясь в нас, нередко делает куда большее, чем прямая перебранка. Да, она родная дочь этой женщины. Ангелина многим похожа на свою мать. Чертами лица. Голосом. Походкой. Но и эта всего лишь внешняя схожесть теперь начинала тяготить ее. И она боялась этого растущего чувства к матери, всячески ища оправдания ее поведению. Но всему есть предел. Наступает такое время, когда человек, как бы он ни хотел, не может далее обелять черное. Нечто подобное произошло сегодня.

— Нехорошо ты делаешь, мама, — сказала, оставшись с ней, Ангелина.

— Яйца курицу не учат, Линочка, — нравоучительно и спокойно заявила Серафима Григорьевна. — Я мать. Не о себе думаю. О тебе пекусь.

Это, конечно, была явная полуправда. Такой же полуправдой было желание Серафимы Григорьевны выдать Ангелину за Василия. Она тоже тогда пеклась об Ангелине, а своей выгоды не забывала.

Что об этом говорить! Пока ей нужно молчать и прятать в своей душе чужую ложь. Прятать, пока это возможно.

XXXIII

А Лидочка по-прежнему пасла коз, исправно доила их, кормила ненасытных свиней и стеснялась в горячую пору ремонта дома попроситься в город, к бабушке. Ее бабушка Мария Сергеевна часто пересылала письма через брата Ивана. В последнем письме между строк чувствовалось, что бабушка прихворнула. И брат Ваня не скрыл этого.

Теперь Лида уже не могла пренебречь бабушкиным здоровьем. Ведь бабушка последняя кровная родня.

Лида хотела поговорить с отцом, но поговорила с Аркадием Михайловичем. Он снова оказался на березовой опушке. Девочка была так искренна с ним, ее боязнь за бабушку была так велика, а слезы так близко, что, пораздумав с минуту, он сказал довольно повелительно:

— Вот что, Лидия... Отправляйся к бабушке, не заходя на дачу. А я буду пасти коз. И буду в ответе за все.

— Вы?

— Я!

— Это же очень смешно и нелепо!

— Тем лучше.

Лидочка все еще колебалась:

— Но как отнесется к этому Серафима Григорьевна?

— Не беспокойся, моя милая. Я с нею договорюсь. Мы так хорошо понимаем друг друга... Беги!

Лидка побежала было, но, что-то вспомнив, вернулась.

— Это от Алины. Вот!

Лидочка подала Баранову письмо в маленьком конверте. Затем, сверкнув белой юбочкой, она помчалась к трамвайной остановке. Козлята ринулись за ней, но коза, привязанная к колу, позвала беглецов обратно. И они вернулись.

Оставшись один в перелеске, Баранов не стал долго раздумывать — махнув рукой на коз, он отправился на дачу. По дороге на дачу Баранов увидел девушку-почтальона.

— Нет ли Баранову письма? Дом семь. Дом Киревых.

— Есть, есть. Даже два. Вот, пожалуйста! — Девушка подала письма. — И затем, если нетрудно, захватите повестку Ожегановой Эс Гэ. Ей возвращается из Целинного края перевод. Три тысячи. Объясните ей, что адресат, Радостин Я Вэ, отказался получить этот перевод. Пожалуйста. Ей выдадут эти деньги обратно на почте.

Из этой тирады, произнесенной залпом, Баранов понял сначала не очень много. Но ему запомнилась фамилия — Радостин. Откуда он знал ее? Очень знакомая фамилия. Потом вспомнил, что о Радостине писал ему Василий, советуясь о своей женитьбе и «раскрывая всю дислокацию и положение вещей». Он вспомнил о кандидате в женихи Ангелины. А вспомнив, он не мог не спросить себя: зачем Серафиме Григорьевне понадобилось переводить Радостину деньги?

Зачем?

Василий уже начал работать после отпуска на заводе. Его не было дома. Ангелина Николаевна возилась с обедом. Серафима Григорьевна, как сыч, не сводила глаз с плотников. Следила за каждой пришиваемой половицей, проверяла, нет ли щелей. Старики Копейки-

ны таскали для засыпки черного пола сухую землю.

У Баранова с Ожегановой разговор был коротким.

— У меня, Серафима Григорьевна, есть дочь Надя. Она ровесница Лидочки. И вам, надеюсь, понятно, почему я так люблю Лиду, если не считать, что она, кроме всего прочего, дочь моего друга? У нее заболела бабушка. Ее родная бабушка, Мария Сергеевна. И я приказал Лиде отправиться домой. У вас есть возражения?

— А как же козы?

— Козы? Коз я оставил в лесу.

— Одних?

— Да. Они, как я заметил, вполне самостоятельные животные и щиплют траву без посторонней помощи.

— А понравится ли такое хозяйничанье Василию Петровичу? — осторожненько козырнула Серафима Григорьевна именем зятя.

На это Баранов решил выбросить козырька покрупнее:

— Ну, я думаю, что меня в этом деле оборонит Панфиловна!

— Какая Панфиловна?

— Та, что торгует не только вашими душистыми цветами, но и карпами Василия Петровича, которые, я думаю — не утверждаю, а всего лишь думаю, — вылавливаются в пруду не руками Панфиловны... Но вы знаете, я не люблю семейных распрей, и тем более не в моем характере разбивать семейное счастье. А оно может разбиться. Кстати, вот вам повестка на возвращенный перевод из Целинного края, на имя Радостина... Он, кажется, если мне не изменяет память, делал попытки жениться на вашей дочери?

Серафима Григорьевна, бледная, жалкая, сверкала и мигала левым глазом так часто, что ей пришлось его закрыть. Это уже был явный тик.

— Да. Я была должна Якову Радостину три тысячи...

— И Радостин отказался получить обратно свои деньги?

— Может быть, его не нашли? Или он уехал?

— Нет, почтальон ясно сказала: «Возвращаются по требованию адресата». Адресата, то есть Радостина. Читайте, — сказал Баранов, подавая повестку.

Ожеганову била мелкая дрожь. Теперь для нее не было страшнее человека, нежели Баранов.

И она стала лгать нагло и откровенно:

— Я и в самом деле собиралась отпустить Лиду и перевести коз в стойло. А вам, Аркадий Михайлович, спасибо за то, что вы так чутко отнеслись к Лидочке!

— И я вас благодарю. Мне давно известно, что вы умная женщина!

XXXIV

Работа плотников близилась к завершению. Ангелина и Серафима Григорьевна, жившие во время ремонта дома в светелке второго этажа, освободили ее Баранову. Лидочка не возвращалась, хотя бабушке стало значительно лучше. Она знала теперь, что Баранов не оставит отца в беде. Иван приезжал изредка. Аркадий Михайлович все же сумел поговорить с ним откровенно, хотя до конца так и не узнал этого тихого и, кажется, слишком замкнутого парня.

Особенных событий за эти дни не было, если не считать ночного лая Шутки и появления хоря, начавшего рыть новый подкоп.

Узнав об этом, Василий Петрович объявил:

— Ну, я его сегодня, бандита, укокошу! Где бы только залечь? Хочешь, Аркадий, поохотимся вместе? У меня кроме двустолки есть еще отцовская шомполка.

— Если не задержусь в городе.

— Зачем тебе туда на ночь глядя?

— У меня свидание.

— С кем?

— С Алиной.

— Да брось ты!..

— Тебя удивляет это, Вася?

— Да нет, но все же замужняя женщина...

— И что же из этого? Почему замужняя женщина не может встретиться и поговорить с женатым мужчиной?

— Это конечно, Аркадий, может, но, понимаешь, почему не поговорить здесь?

Аркадий Михайлович на это сказал так:

— Не все и не всегда хочется выносить на люди. Я думаю, что самый факт разговора со мной Алины насторожил бы Павла Павловича. А у него, мне кажется, есть основания насторожиться.

— Это верно, — сказал в раздумье Василий. — Я тоже, понимаешь, хотел с нею как-то поговорить о ее жизни... Да как-то, понимаешь, постеснялся в чужую жизнь залезать.

— В чужую жизнь? А есть ли теперь на свете или по крайней мере в стране чья-то жизнь, которую можно назвать чужой? Есть ли, старшина саперной роты Василий Киреев?

— Да так-то оно так... — хотел возразить Василий, но передумал. — Вот что, давай я тебя подкину до трамвайной.

— Подкины!

«Москвичок» тарахтя поковылял по колдобинам проселка, выехал на шоссе. Попалась «Волга» с зеленым огоньком. Баранов крикнул: «Такси!» — и распрощался с Василием.

По возвращении Василий занялся ружьем, а потом засадой. Был сделан небольшой балаганчик из веток метрах в двадцати от подкопа. Шутку было велено запереть наверху, чтобы она не спугнула зверя.

Тем временем на одной из окраинных улиц города, у водопроводной колонки, неподалеку от рощицы, превращенной в небольшое подобие парка, ждала Алина.

— Здравствуйте, Аркадий Михайлович, — окликнула она Баранова. — Все как в романтической пьесе... Не правда ли, все это для вас так неожиданно?

— Нет, почему же! Мне это кажется вполне нормальным.

— И мне, — живо отозвалась Алина. — Мне с первой встречи с вами захотелось рассказать вам о себе. Это не ново в жизни. Иногда люди, не сказав и десяти слов друг другу, оказываются в первую же встречу старыми знакомыми. Вы — мой старый знакомый. Мне кажется, вы были вожатым моего пионерского отряда. Мне кажется, вы принимали меня в комсомол. Этого не было, но это было, и меня никто не разуверит в том, во что мне хочется верить. Вам понятно это?

— Да-да, — живо согласился Баранов. — И я теперь вспоминаю, что вы были в моем пионерском отряде. И мы торжественно принимали вас в комсомол... Я тоже убежден в этом, даже если вы были не совсем вы... Важно то, что мы оба хотим этого. А это самое главное.

— А если это самое главное, то могу ли я не хотеть рассказать вам все, чтобы оправдаться перед

вами? Или перед собой? Это все равно. Такое бывает в жизни?

— Разумеется.

Разговаривая так, они уселись на скамью в глубине рощицы. Алина подняла вуалетку. Ее лицо заметно осунулось за эти дни. Глаза стали еще больше. Она глубоко вздохнула. Помолчала с минуту и сказала:

— Сейчас я соберусь с мыслями и начну рассказывать. У каждого должен быть такой человек, которому он может сказать все. У меня никогда не было такого человека. Лида еще очень юна и наивна. А вы... Я влюбилась в вас с первого взгляда. Нет, я была влюблена в вас до того, как мы встретились. Не правда ли, Аркадий Михайлович, каждый человек должен быть влюблен в недосягаемое?

Баранов заметно смутился:

— Вы заставили меня покраснеть, Алина Генриховна.

— Называйте меня Алиной. Или просто Анютой. Так меня называла мать. Это мое настоящее имя. Я могу показать вам паспорт. Впрочем, зачем же... Слушайте...

Рассказ Алины стоит специальной главы. И мы предоставляем ей эту главу.

XXXV

— Я, Аркадий Михайлович, принадлежу к старинной цирковой династии. Она не так знаменита, как династия Дуровых, которая, если не ошибается моя тетушка, доводится нам родственной.

Мой дед, Иван Гаврилович, специализировался в молодые годы в жанре клоунов-сатириков Бим и Бом. И, кажется, иногда в петербургском цирке Чинизелли дублировал одного из них.

Кончил свою жизнь мой дед на войне с Деникиным.

Мой отец, Гавриил Гарин, цирковая фамилия — Генрих Гранде, был жонглером, занимался вольтижировкой. Работал на проволоке и закончил «рыжим» у ковра. Белых клоунов он недолюбливал, как и я. Это какое-то голубое амплуа.

Во мне отец хотел видеть воздушную гимнастку и одновременно готовил меня в наездницы. Впрочем, я училась всему. И тарелкам. И проволоке. И даже фокусам... У меня была нелегкая жизнь. Среднюю школу я

окончила с трудом, кочуя с отцом и матерью из города в город. А после школы ежедневные цирковые занятия... Потому что хрящи и все такое, что вам неинтересно знать, нужно «захватывать», как говорил папа, с самого раннего возраста. Мой отец не был верующим человеком. Не верила в бога и моя бабушка, работавшая с тиграми. Но между тем бабушка, отдавая дань суеверию — ему подвержены были многие циркачи, — словом, бабушка тайком крестила меня Анной. Но согласитесь, Анна — слишком тяжелое имя для воздушной гимнастки. И я стала Алина. Довольно эффектное имя. А коли по цирку отец был Генрихом, отсюда пришло и мое отчество — Генриховна. Дань цирковым пережиткам. Все должно быть необыкновенно. Пережитки дают себя знать всюду.

Я влюбилась двадцати лет с небольшим. Он был тоже воздушный гимнаст. Алексей Пожиткин. Имя явно неблагозвучное для афиши, но Алексей не хотел считаться с традициями. Знаменитый клоун Олег Попов тоже мог бы придумать себе сверхзвучное имя. Между тем едва ли кто в его жанре звучит громче в советском цирке. Алеше было двадцать пять лет. Он тогда еще не сверкал под куполом. Поэтому папа сказал, что я не буду счастлива с ним. К тому же он дважды срывался. Отцу не хотелось видеть меня вдовой или того хуже — женой калеки. И отец помешал моему счастью...

А потом... Потом, Аркадий Михайлович, у меня ничего не было. Это, кажется, не мои слова. Это, кажется, слова леди Гамильтон, которые она произносит в известном английском фильме.

А потом... Потом появился в цирке Павел Павлович. Появился таким степенным, строгим, обездоленным жизнью вдовцом. Он приходил в цирк только в конце второго отделения. Садился в первый ряд. Дождавшись моего номера под куполом и посмотрев его, уходил.

В цирке все заметили это и стали поговаривать: «О-о-о! Алина! У него, кажется, серьезные намерения». Мне тогда не было дела до его намерений, но вскоре нашлась сваха. Это была моя тетка. Тоже Анна. Она не имела никакого отношения к цирку. Она презирала его. Тетка работала театральной швеей. Она и до сих пор, выйдя на пенсию, консультирует костюмеров. С нее-то

и начал прокладывать ко мне дорогу Павел Павлович.

С теткой нетрудно было познакомиться. Она консультировала и убранство комнат. Побывав с этой целью на даче Павла Павловича, тетушка пришла в совершеннейший восторг от всего, что она там увидела. Конечно, не от крыс — он их скрывал.

Вскоре на дачу пригласили и меня. Павел Павлович неплохо играл свою роль. Этакий Гремин из «Евгения Онегина»... Такой заслуженный и одинокий воитель...

Тетка вскоре стала завсегдатаем дачи Ветошкина. И затем начались «рассуждения о профессии воздушной гимнастки».

Все было очень логично. Успех работающей под куполом хотя и блистателен, но скоротечен. Богатство хотя и презренно, однако не столь вредно для жизни молодой женщины. Шуба из норки не теплее барашковой, но элегантнее. Безнравственно думать о наследстве, а отказываться от него нелепо. Пешая ходьба приятна, а езда в автомобиле еще приятнее. Старый муж не находка, но и не потеря молодого возлюбленного.

И так изо дня в день. Из месяца в месяц. Вначале меня это смешило, и мне даже было забавно представить себя женой Ветошкина. Но Павел Павлович действовал не только через тетку. Нашелся еще некто. Узнаете и об этом...

Меня всегда называли «экспортной гимнасткой» — и долго готовили к заграничному турне. И когда уже оставались до турне считанные недели, вдруг подул какой-то ветерок. Затем мне одним из организаторов поездки «доверительно» было сказано, что кто-то нашел мои возможности недостаточными, чтобы представлять советский цирк за рубежом.

Все это говорилось сочувственно и по секрету... И чтобы «спасти мою репутацию», мне посоветовали самой отказаться от поездки, найдя благовидную причину.

Это было как снег на голову. Я не находила себе места. И тетушка, также «спасая» меня, посоветовала объяснить мой отказ предстоящим замужеством. Павел Павлович на другой же день сделал предложение, и я, негодуя, не помня себя, ответила согласием...

Крышка западни захлопнулась. Мышь была поймана. У тетушки появилась новая шуба. У сотрудника, уча-

ствовавшего в организации заграничного турне и «оберегавшего» мою цирковую репутацию, заметно улучшился гардероб... Разумеется, тогда я об этом не знала, как не знала и о крысах, позволивших Павлу Павловичу так щедро вознаградить сватов. Я не в претензии на тетку. Он обманул и ее. Счеты у меня только с ним.

Я ушла из цирка. Дом Павла Павловича стал моей клеткой. Я не могу обвинить его в дурном обращении. Его отношение ко мне было таким же, как и ко всему тому, что принадлежало ему. Картины, серебро, антикварные редкости, меха и, наконец, крысы...

Я упала из-под купола цирка, но не расшиблась. И не покалечила своей души. Я не хочу скрывать — материальный соблазн не миновал меня... Все это было, пусть не в такой степени, как это кажется Серафиме Григорьевне и, может быть, кому-то еще... Это было. Но этого больше нет. Я поднялась после падения без посторонней помощи, на свои ноги, без костылей.

Вот и все.

Теперь дайте мне немножечко всплакнуть. Дайте мне почувствовать, что на свете есть человек, который может правильно понять меня и оценить мою откровенность.

XXXVI

Глаза Алины смеялись, а слезы еще текли.

— Боже, какой вы родной, Аркадий Михайлович! У вас, кажется, брови, как у моего папы, чуточку с рыжиночкой.

Она коснулась своим тонким, длинным пальцем сначала одной брови Баранова, потом другой и шепнула:

— Мой рассказ не убедил вас? И вы, добрый человек, не находите для меня оправдания? Или хотя бы снисхождения?

— Нахожу, — сказал Баранов. — Только не называйте меня добрым. Да и доброта доброте рознь. Например, доброта Василия Петровича позволяет ему мириться с проделками тещи. Во мне нет и не может быть такого доброго начала. Я вам скажу все, что думаю о такого рода браках. Неравных браках. А в данном случае — противоестественном браке. Не сердитесь, если я буду резковат. Но ведь не соловьев же слушать пришли мы на это свидание?

— Да, конечно, Аркадий Михайлович.

— Я допускаю как редчайшее исключение, когда молодая женщина любит человека вдвое старше себя! Но для этого человек должен быть, во-первых, человеком, а во-вторых, содержательной, интересной личностью. Я знаю очень немолодого композитора, в которого тайно влюблена очень молодая женщина. И я верю ее любви. Потому что такого невозможно не любить женщине, для которого его мир музыки — ее мир. Она скрипачка. Вы наверняка слышали ее имя. Брак Василия по возрастным признакам тоже не очень равный, но я не вижу в нем неравенства. Напротив, иногда молоденькая Ангелина Николаевна мне кажется старше Василия. Василий — человек длительной юности. Я его вижу комсомольским вожаком. Заводилой. Весельчаком. Правда, дом и Серафима Григорьевна — заботы приглушили все это. Приглушили, но не умертвили. Но это преамбула. Я не утомляю вас?

— Нет, я терпеливо жду, когда вы начнете говорить обо мне.

— Сию минуту. Но прежде еще маленькое введение. Алина Генриховна, не казалось ли вам оскорбительным, когда в театре или на курорте вам встречается пара — он уже не без труда передвигает ноги, а она еще не вступила в полную силу расцвета?

— Да, Аркадий Михайлович, это всегда выглядит оскорбительным.

— Для кого?

— Для нее.

— Не только. Но и для общества. Браки такого рода, если вы захотите вдуматься, чистейшей воды проклятое наследие капитализма. Я не ищу иных слов. Прямые политические слова всегда наиболее точны. В этих браках, извините за прямоту, сквозят товарные отношения.

— Вы сказали — товарные? В каком смысле, Аркадий Михайлович?

— В самом прямом. В экономическом. Есть более точный термин для подобных отношений. И они, эти отношения, не изменяются от их продолжительности или узаконения их регистрацией. Какая разница между мигом и десятилетием, если сущность и мига и десятилетия основывается на вознаграждении! Прямым ли вручением денег или косвенным вознаграждением — в виде дачи, нарядов, украшений...

Алина незаметно сняла золотой браслет и сунула его в сумочку.

— Природа такого союза, хочется сказать — такой материальной сделки, остается той же. Потому что в ее основе лежит купля и продажа или, как я уже сказал, товарные отношения. И как бы искусно ни оправдывала себя молодая женщина и, того хуже, девушка, вышедшая замуж за господина, похожего на Павла Павловича Ветошкина, общественное мнение никогда не обелит ее. Не обелит, если даже оно молчит. Молчание тоже о чем-то говорит.

Алина, заметно побледневшая, нервничая, спросила:

— Вы, кажется, от общего уже переходите к частному?

— Нет, Ветошкин не частность. Он, правда, исключителен по своему цинизму. Но если бы он был иным? Романтиком или благодушным простаком? Природа стариков — приобретателей молодых жен не украшается никаким обрамлением. Ни положением, ни заслугами, ничем. Всякий брак по расчету был и остается буржуазным, капиталистическим браком.

— Капиталистическим? — Алина пожалала плечами и, желая обезоружить Баранова, спросила: — Так что же выходит?.. Если есть капиталистический брак, значит, в противоположность ему, должен быть и коммунистический. Какой же он, этот брак?

Баранов ответил так:

— Я, разумеется, не являюсь теоретиком и провидцем браков будущего. Но я думаю, что брак в идеальном виде — это такое соединение женщины и мужчины, когда их сводит воедино любовь. И только любовь, без всяких побочных соображений и примесей корысти, выгоды и прочих материальных зависимостей. Любовь, и только любовь в коммунистическом обществе будет цементирующей, и очень прочно цементирующей силой супружеской пары. Я верю в это. Согласны ли вы с этим?

— Умозрительно — да. Но практически даже в наши дни существует достаточно всякого-разного. Приходится принимать во внимание многое.

— Вы правы. Пока существует экономическое неравенство, пока есть возможность обманывать, наживаться, стяжать, рецидивы капитализма будут давать себя знать и в браке. С этим нужно бороться, но как? Мог-

ли бы, например, закон, суд, печать, прокурор запретить вам вступить в брак с господином Ветошкиным? Никто не мог воспрепятствовать вам, кроме вашего сознания, а оно, какие бы доводы вы ни приводили, оказалось не на высоте.

— Значит, в вашей душе нет для меня прощения?

— При чем здесь мое прощение? Я не судья. Мой голос в данном случае совещательный. Дайте закончить мысль... Ваш брак с Ветошкиным не мог бы произойти, если бы вы не согласились на него. Ловушки, мышеловки, тетки, коварные подстрекатели, крах заграничного турне — все это доводы для успокоения вашей совести, которая заговорила в вас. Вы хотите оправдаться перед собой и зовете меня в адвокаты. Вам нужно, чтобы я помог вам уговорить вашу совесть. Это невозможно. Невозможно потому, что вы сознательно разрешили Ветошкину приобрести вас. Сознательно. Это же не было делом минуты. Это же были недели размышлений. И старая ведьма, о которой вы, наверное, тоже наслышаны, была не просто вашей главной сводней, но и, что называется, посаженной матерью, а тетка — всего лишь ее пособницей. Анна Гавриловна, вы нуждаетесь не в самообманных примочках и припарках. Вы должны трезво и мужественно понять и оценить свое падение.

— Падение? — почти взвизгнула Алина.

— Неужели вы это считаете взлетом? Ваши отношения с Ветошкиным, еще раз прошу простить за повторение, были отношениями купли и продажи. И нам не зачем с вами искать благозвучных определений и легкомысленно сводить это все к легкому головокружению по неопытности и коварству тетки. Это не нужно для вас. Вы никогда не любили Ветошкина. Его не может полюбить даже Серафима Григорьевна, хотя она, как я слышал, и ставит на него свои сети. Это принципиально то же самое. Только в этом случае обман будет обоюдным. Значит, экономическая сделка в этом случае может выглядеть наиболее, относительно говоря, честной.

— Спасибо, Аркадий Михайлович...

Алина решила уйти. Баранов удержал ее:

— Нет, погодите, Алина. Не затем я шел сюда, чтобы поссориться с вами, а «совсем наоборот», как говорит Сметанин из «Красных зорь».

Алина запротивилась:

— Странный способ... Отхлестать по щекам... На-

звать женщину где-то между строк худшим именем, какое только можно вообразить, и после этого говорить «совсем наоборот».

— Анна Гавриловна! То, что я сказал, это правда. Она колюча, обидна. Можно было говорить мягче. Но разве эта мягкость была бы достойной платой за ваше доверие ко мне? Правда не браслетка, ее нельзя спрятать в сумочку.

— Вы жестоки, Аркадий Михайлович!

— Я чудовищно милосерден. Я не узнаю сегодня себя. Я, кажется, еще никогда не говорил ничего подобного женщине. Видимо, ваша жизнь как-то особенно небезразлична мне. Наверно, поэтому я и не могу помочь вам обмануть себя. Если стыд, и боль, и слезы большого глубокого раскаяния не помогут вам, значит, не поможет никто. Если вы не содрогаетесь при воспоминании о его прикосновении всего лишь к вашей руке или щеке, значит, мое и ваше время сегодня было не просто потеряно, но и осквернено. Вы, окунувшись в помойную яму, хотите убедить себя и других, что от вас пахнет розовым маслом. В это не может поверить даже негодяй. Человеческая духовная чистота будет и уже становится важнейшим, извините за протокольное выражение, критерием человеческой личности. Коммунистическим критерием.

Алина не могла сдержать рыданий:

— Так что же теперь?

— Спросите об этом свою совесть. Спросите стыд, заливший ваши щеки. Спросите ваши слезы. Спросите, наконец, вашу домашнюю работницу Феню. Она хотя и сбежала из колхоза «Красные зори» в погоне за длинным рублем, но продала Ветошкину только свои рабочие руки. Рабочие, но не девические. Когда же Ветошкин попробовал поцеловать ее руки, а затем обнять Феню, она ему тут же довольно выразительно объяснила свою точку зрения на этот счет. В результате этого объяснения Ветошкину пришлось заказывать протезисту новую верхнюю челюсть. У Фени очень твердые взгляды на чистоту отношений.

— Кто вам сказал об этом?

— Серафима Григорьевна знает все, что происходит в доме, куда она мечтает войти хозяйкой, — ответил Баранов. — Таким образом, и Феня могла бы вам дать полезные советы.

Баранов посмотрел на часы. Алина, заметя это, спросила:

— Я, кажется, слишком много отняла у вас времени?

— Нет,— ответил Баранов,— сущие пустяки. Два часа тридцать пять минут.

— Откуда в вас столько сарказма? У вас такое открытое доброе лицо...

Баранов не ответил на это. Еще раз посмотрев на часы, он спросил:

— Вы в городок, Анна Гавриловна?

— Нет, я в цирк. Там еще не закончилось представление.

Они поднялись. Он проводил ее до остановки автобуса. Разговор не возобновлялся. Да и не о чем было уже говорить.

XXXVII

Двенадцати еще не было, когда Баранов вернулся домой.

Василий готовился к засаде. Хорь раньше двух никогда не приходил.

— Ну как, Аркадий? Свиделись?

— Она превосходный человек. Она выпутается из тенет старой ведьмы.

— Далась тебе, понимаешь, эта сказка...

— Далась не далась, а из головы не выходит. Это не простая сказка, Василий, хотя она и не так гладко пересказана...

Василий не слушал.

— Ну как, ты будешь со мной охотиться на хоря?

— Да нет, Василий... Он, я думаю, больше одной курицы не загрызет, а ее цена дешевле твоей ночи.

Аркадию Михайловичу хотелось после встречи с Алиной остаться одному. И он направился в светелку на второй этаж. А Василий залег в засаду.

В доме уже спали. Храпели и плотники в шатре.

Не думал Аркадий Михайлович, что его отпуск будет таким хлопотливым. До пленума городского комитета партии остается не так много дней. Ради этого пленума и приехал сюда Аркадий Михайлович. Ему оказывают огромное доверие. Предстоит большая и трудная работа. Справится ли он с нею? Справится ли,

если он не может распутать «нитки в этом курятнике» и решить частную историю в доме своего друга?

Не уехать ли ему отсюда? Не правильнее ли будет перешагнуть малое и оказаться ближе к большой жизни большого города? Что его удерживает здесь?

Что?

Ведь Василий не ребенок. Его нельзя взять за руку и увести. Он любит Ангелину. У него здесь дом. Ему дорог здесь каждый корень, каждый посаженный им куст, каждый пущенный им в пруд ерш...

Да что ты, право, Аркадий! Зачем ты все это так близко принимаешь к сердцу? Нельзя же в ущерб большому распыляться на малое...

Но малое ли это? Малое ли?

Уже половина третьего, а ты не спишь. Ты все думаешь. Перестань. Усни!

Но как можно не думать, коли такой добрый и, главное, духовно здоровый человек, как Василий, не понимает, что он в ловушке у своей тещи Серафимы Григорьевны.

В ловушке ли?

Не он ли сам построил себе западню с мезонином и сознательно вошел в нее? Как тесно в твоей голове, Аркадий Михайлович... Как недостает в этой тесноте нужных хороших мыслей...

Несомненно одно — ты должен поговорить со своим товарищем. Поговорить так же, как с Алиной, ничего не смягчая. Поговорить, не жалея и не щадя его. Дружба выше жалости.

Так он и решил, засыпая. Но уснуть ему не пришлось. Раздался выстрел, а затем начался переполох.

Василий долго ждал хоря, а хорь не приходил. Наконец послышался шорох. Василий напряг глаза. Он увидел крадущегося вдоль затемненного фундамента зверька. Луна светила по ту сторону курятника.

Будь она неладна, эта луна! Чего доброго, промажешь — тогда снова выслеживай всю ночь!

Василий выстрелил. Жертва с пронзительным визгом умчалась.

И когда все были на ногах, Василий увидел катающуюся по траве Шутку. Собака безуспешно старалась выдавить передними лапами дробинку из простреленного глаза.

— Милая Шутка! Несчастливая Шутка!

Теперь стало ясно все. Это Аркадий нечаянно выпустил запертую в доме собаку.

Пока сбегали к Ветошкину за Феней, пока она извлекала дробинку из глаза собаки, уже рассвело.

— Будет жить! — сказала Феня. — Но останется кривой. Советую показать глазнику.

— Ах, Шутка!..

Василий ушел в малинник. Ему было безумно жаль скулящую собачонку. Ему было стыдно за нелепую охоту во имя куриного благополучия.

Разговаривать с Аркадием не хотелось. Видеть дрожащую всем телом Шутку с перевязанной головой он не мог. Василий уехал на завод часа на два раньше срока.

А когда он уехал, Серафима, разводя руками, сказала:

— Скажите на милость! Как можно так расстраиваться из-за какой-то собаки... Усыпить ее, да и все! Цена ей в базарный день четвертной билет!

Тут к Серафиме Григорьевне подошел Баранов. И он спросил ее громко, чтобы слышали все:

— Скажите, Серафима Григорьевна, во сколько рублей вы оцениваете себя? У вас все имеет цену.

Серафима от неожиданного вопроса села на ступени крыльца и снова вывернулась:

— Так я же ведь в том смысле, чтобы Василия Петровича не расстраивала одноглазая Шуточка. Она собачка хорошая, и мне ее, милую, может быть, больше всех жалко! — всхлипнула Серафима Григорьевна. — И если я не реву, а сдерживаю себя, так только для того, чтобы других не расстраивать. — И залилась слезами.

Баранов на это выругался хотя и довольно тихо, но достаточно энергично. Ожеганова эту брань услышала дословно.

Завтрака Аркадий Михайлович дожидаться не стал. Он оделся и отправился в город. Его догнал Ваня. Он сегодня ночевал на даче. Этот молчаливый парень вдруг заговорил:

— Вы плохо подумали сегодня о папе, Аркадий Михайлович?

— Да-а, — ответил Баранов, — восторгаться особенно нечем.

— Я не о восторгах, Аркадий Михайлович... Но папу

нужно жалеть. Папа — хороший человек, очень хороший... Но он болен. Папа очень серьезно болен. За болезнь нельзя ненавидеть... Нельзя!

Баранов услышал в сказанном Ваней голос Лидочки. Она так же защищала своего отца.

— Может быть, он и болен,— отрезал Баранов,— но всякую болезнь нужно лечить. Лечить! — повторил он.— А не вздыхать. Сочувствие не всегда хорошее лекарство, комсомолец Иван Киреев...

В душе Баранова больше не было пощады. Нужно было действовать. И это убеждение не находило теперь никаких смягчений.

XXXVIII

Фенечка приходила на дачу к Киреевым через каждые два часа. Она делала Шутке обезболивающие уколы, и к полудню собака перестала скулить.

Серафима Григорьевна, видя радение Фенечки и думая, что все это делается ради приработка, как бы между прочим обронила:

— Коли Фенечка так старается вылечить Шуточку, мы за каждый укол заплатим вдвойне!

Феня на это ответила довольно двусмысленно:

— С собак не беру.

Серафима Григорьевна сделала вид, что не поняла издевки, расплылась в улыбке:

— У собаки какие деньги! А у хозяев они случаются...

Ей очень хотелось завести разговор с Феней и расположить ее к себе. Но девушка не прощала и никогда не простит Ожегановой давнего гнусного намека на то, что будто Феня перебежала Серафиме Григорьевне дорогу к Ветошкину. И если бы не Василий Петрович и тем более не ее любимица Лида, которая обожала Шутку, конечно, Феня не появилась бы здесь.

Часам к двенадцати плотники попросили расчет:

— Принимай работу, Григорьевна, да раскошеливайся!

Ожеганова боялась просчитаться:

— Хозяина придется подождать. А пока что надо подобрать щепу, стружку. Две двери перенавесить. Сидеть даром не заставлю!..

И она стала придумывать работу, чтобы занять плотников до прихода Василия.

День обещал быть знойным.

Козы, изнемогая от жары, просились на пастбище. Куры ходили в вольере с открытыми клювами, листья растений сникли. Пруд заметно убыл. Карпам стало еще теснее в мелкой воде. Опять два из них всплыли кверху брюхом. Придется их зажарить сегодня на ужин плотникам.

Ангелина ходит как в воду опущенная. Неохотно разговаривает с матерью. Наверно, на что-то сердится... Не растревожил ли ее неожиданный приезд Якова Радостина? Может, помочь им встретиться? Не самой, а через кого-нибудь... Самой в это дело вступать неловко. Мать как-никак. Может, ее и отблагодарит за это дочь? Да нехорошо подумает...

Серафиме Григорьевне нужно было и самой повидать Радостина и узнать, почему он не принял посланные ему от всей души три тысячи рублей. Люди зря говорят, что Ожеганиха змея и скряга, что ни о ком, кроме себя, не думает и не болеет. Нет, она думает и болеет. Радостина ей всегда было жалко за то, что так нескладно получилось с угоном машины. Ведь это произошло вскоре после того, как Серафима сказала ему, что «жених без денег — без листьев веник». А он, видать, сильно любил Линочку.

— Ох! Грехи наши тяжкие! — вздыхает Серафима Григорьевна, просаливая под жабрами уснувших карпов, чтобы они не протухли в такую жару до ужина.

А мысли, как низкие осенние тучи, бегут одна за другой. Воспоминания пугают Серафиму Григорьевну.

А вдруг он и по сей день любит Ангелину? А вдруг он затем и приехал сюда, чтобы свидеться с нею и поломать благополучие ее дочери?..

Ненастно в голове Серафимы Григорьевны.

А вдруг да в отместку за все обиды Яшка расскажет Василию, как Серафима Григорьевна, охотясь за китом Киреевым, прикармливала на всякий случай и окунька Радостина?..

Было же ведь это? Было!.. Если бы Серафима Григорьевна не замечала следы, зачем бы ей понадобилось ублажать Якова тремя тысячами, посланными на целину?

Улика?

Улика!

Думает так Серафима Григорьевна, просаливая тухлую рыбу, и принюхивается...

Да уж от карпа ли это смердит?

Козы опять подают жалобный голос, а Лидки все нет и нет. Да и приедет ли она?

Серафима Григорьевна не ошиблась. Лидия больше не вернется сюда. Так она твердо сказала Аркадию Михайловичу, который навестил ее в городе и познакомился с первой тещей Василия, с милой и приветливой женщиной Марией Сергеевной.

Он знал о ней по письмам, в которых Василий ласково называл Марию Сергеевну милой мамочкой. А она оказалась еще лучше. И Баранов тоже произвел на нее отличное впечатление. Она даже сказала:

— Коли там у вас нелады, селитесь у нас, дорогой Аркадий Михайлович!

— Да что вы! — ответил тогда Баранов. — Благодарю вас. Мне уже дали номер в гостинице, и я переселюсь туда в ближайшие дни.

Аркадий Михайлович, оставаясь в доме Василия, был готов к большому разговору с ним. Баранов еще не знал, с чего начать этот разговор, но все развязалось само собой.

После бессонной ночи у Василия Петровича произошло то, чего никогда не случалось с ним за многие годы сталеплавильной работы.

Заслезился, а потом потек свод мартеновской печи. Невыспавшийся, нервничающий, он недоглядел за пламенем факела. Незаметно нагнал слишком высокую температуру.

Раздраженный и злой, он не захотел внять голосу первого подручного.

— Не учи! И, главное, не паникуй, — оборвал он Андрея Ласточкина и прибавил факел.

Ласточкин не верил своим глазам. Со свода тянулись обильные нити расплавившихся огнеупоров. Ласточкину нужно было вмешаться решительно и, может быть, устранить Василия. Но любовь к нему, безграничная вера в его мастерство удержали Андрея. Он всего лишь сказал:

— Ты рискуешь сводом, Василий Петрович. Глянь в печь!

И Василий глянул в смотровое отверстие печи. Его

слипавшиеся от бессонной ночи глаза широко раскрылись. Ему стало понятно, что дело плохо. Он резко убавил факел. Но было уже поздно. Температура не могла упасть сразу.

Свод потоков еще сильнее и наконец стал рушиться. Василия зазнобило у горячей печи. Он едва устоял на ногах. Сердце замерло. В глазах круги. В висках стук. В горле ком.

Плавка испорчена, печь выведена из строя. Василий приказал Андрею доложить об этом сменному инженеру.

Вскоре начался досрочный выпуск недоваренного металла. Сталь полилась в ковш. Василий как потерянный устался в одну точку...

...По желобу бежали огненные хори. Потом все смешалось — и хори, и куры, и скулящая где-то в его темени Шутка. Отчетливо хрюкала увозимая в клетке белая свинья, и смеющиеся козьи бородатые морды вместе со снопом искр показались из ковша...

Только бы не сойти ему с ума! Только бы устоять на ногах! На войне ему не было так страшно, как теперь.

Василий не мог поднять глаза на товарищей. Сталевар, имя которого на Доске почета. Сталевар, о котором так много писалось в газетах. Сталевар, от которого все еще ждали новых успехов... А он...

«Нужно сегодня же перерезать всех кур», — в душевном смятении решил он.

Ах, милый Василий Петрович, разве в них дело, дорогой друг?!

XXXIX

Главный инженер завода сказал Василию Петровичу: — Вам, товарищ Киреев, нужно пойти в отпуск. Печь должна стать на ремонт, а вы должны подумать о случившемся. Подумать, взвесить и понять. А потом поговорим капитальнее.

Василий на это сказал:

— Я готов ответить за все сейчас!

— Нет, ты не готов, Василий Петрович, — вмешался начальник мартеновского цеха. Он знал о жизни Василия больше, чем тот предполагал.

Да и он ли один знал? Знали многие, и в первую очередь близкие люди. Андрей Ласточкин, Юдин, Веснин.

Знали, но почему-то молчали, а теперь спохватились.

Теперь всем стало понятно, что дело не в одной лишь бессонной ночи и не в хоре, которым объяснил свою неудачу Василий. Хорь был всего лишь последней гирькой, перевесившей чашу весов, колеблющихся между заводом и домом.

Старая ведьма взяла свою дань.

И как это случилось? Когда началось?

Суды-пересуды, ахи и охи, раскаяния и признания...

Так случается в жизни частенько. Коллектив мартеновского цеха Большого металлургического завода не исключение. Пока шатается человек — будто и не замечают. А упадет — начинается паника, заботы и аврал: спасите!

Тяжелая это была для Василия суббота, 2 июля 1960 года. Она была куда тяжелее того памятного воскресенья, когда Василий обнаружил в своем доме гниль.

И он согласился взять отпуск. Он был благодарен главному инженеру за то, что тот предложил самое мягкое и, может быть, самое тяжкое наказание — остаться наедине с самим собой, поговорить со своей совестью.

Рано утром в воскресенье, когда все спали, когда Серафиме Григорьевне не нужно было готовить ранний завтрак для плотников, Баранов и Киреев не сговариваясь проснулись, не сговариваясь, но ища друг друга, встретились на бережку мелеющего пруда.

Баранов начал первым:

— Уходишь ты от нас, Василий...

Василий сразу же насторожился:

— То есть как? От кого это «от нас»?

— Ты знаешь, кто мы.

— Куда же я уйду? Ты что, понимаешь... Куда?

— Не знаю. В малину ли, в смородину ли... К карпам или к козам... В царство старой ведьмы, в капиталистическом направлении.

— Ты говори, понимаешь, Аркадий, да думай.

Когда Василий волновался, на его лбу всегда проступал пот. Его лоб и теперь покрылся мелкими росяными капельками.

— Малина, что ли, капиталистическое направление? Или свиньи? — Кур ему не хотелось называть. Он даже не мог вспоминать о них. — Нужно взвешивать, понимаешь, слова до того, как они скажутся.

А Баранов и не думал оправдываться.

— Видишь ли, Василий, ни в чем не повинные смородина, малина или карпы растут по-разному. В одном случае они радуют глаз, заполняют досуг. В другом случае они наращивают социалистическое благополучие. Но иногда и кусты, и карпы, и поросята, и козлята растут во имя наживы, стяжательства... хаповства. Все дело в отношении к поросяткам, карпам, смородине и ко всему окружающему, к окружающим тебя людям. Из этого отношения и складывается социалистическое, коммунистическое или ка-пи-та-лис-ти-че-ское сознание человека.

Василий возразил круто и решительно:

— Аркадий, я ведь в политическом отношении не окончательный, понимаешь, пень. Я отличаю все-таки свинарник в три свиньи от завода, принадлежащего миллионеру. Одно — сто корней смородины, другое — сто миллионов в банке. Разница!

— Никакой! Природа одна и та же. Послушай, уж если начали. Договорим уж до точки. Мы же не чужие люди с тобой...

— Я готов. Говори.

Баранов сел на осиновую чурку, валявшуюся подле прудика, затем продолжил:

— Вася!.. Ты только не сердись. Я ведь любя говорю. Хорошо подумавши говорю. Мне иногда твой участок, твоё хозяйство кажутся микро... в смысле микроскопической, маленькой, мельчайшей... капиталистической странёшкой... Со всеми ее признаками, даже с колониальным захватцем в лице вот этого пригороженного незаконно прудика.

— Это уже интересно! — заметил Василий, усмехаясь.

— Интереснее будет дальше, Вася. Капитализм не бывает без эксплуатации человека человеком... Разве ты или, лучше скажем, твоя теща не эксплуатирует хоть в какой-то степени труд Прохора Кузьмича и его жены Марфы Егоровны? Или, ты думаешь, работа двух стариков на этих плантациях — всего лишь некоторое вознаграждение за то, что они живут в твоей садовой будке? Василий, ты подумай до того, как начать спорить со мной. Я скажу больше... На этом участке поработается и Лидочка.

— Дочь? Отцом? Ну, знаешь, не будь бы ты мне...

— Погоди, Василий. Сердиться будешь потом. Мы сегодня или разойдемся, или пойдем друг друга. У Лиды десятичасовой рабочий день. Она работает даже в воскресные дни. Козы — на ней. Свиньи — на ней. Да еще всякие окучки, прополки... Посмотри мне в глаза, Василий!

Василий посмотрел в глаза Баранову и признался неопределенно:

— Да, это не кругло.

— А с Иваном кругло? Он-то вовсе ничем не пользуется в этом доме, если не считать, что ты ему иногда разрешаешь прокатиться на твоей машине. А сколько ему приходится ишачить после работы на заводе!

Разговор прервался.

— Он же делает это от души. Никто его не заставляет. Он же любит меня...

— Тем хуже. Серафима Григорьевна эксплуатирует и это святое чувство твоих детей.

Ожеганова, услышав свое имя, появилась на крыльце. Разговор прервался. Она пригласила их к завтраку.

XL

Воскресный завтрак, как никогда, был обилен, вкусен и — демократичен. Пригласили Копейкиных. Серафима Григорьевна чувствовала, что Баранов не уедет из этого дома просто так. И она всячески старалась хотя бы немного расположить его к себе. Даже раздобыла огромных ключевых раков и сварила их в молоке с пивом.

Размолвка Баранова и Василия требовала того или иного разрешения. Друзья пошли в березняк, чтобы им никто не мог помешать закончить разговор.

Баранов потерял словесную нить разговора, но не была потеряна его суть. Он стал говорить до того, как они вышли на полянку.

— Ну пусть твоя теща, ставшая рабой наживы, судорожно цепляется за каждую травинку, перегоняя каждый черенок смородины, каждый отпрыск крыжовника в деньги. Пусть цветы для нее цветут только деньгами и пахнут алчностью. Пусть. Горбатого исправляет только могила. Но ведь горбиться начал и ты...

— Я?! — воскликнул Василий.

— Да. Чем вызвана твоя охота на хоря? Охотничьей

страстью или желанием весело провести ночь? Нет, она была вызвана чувством собственности. Желанием огрადить свой курятник, свою курицу... Велика ли цена этой курице? Во что обошлась она твоему народу, твоей стране? Ты лучше знаешь, сколько стоят недоданные вчера семилетке триста пятьдесят тонн стали.

Василий молчал.

— И правильно делаешь, что молчишь. Тебе нечего возразить. Ты уже запутался в этих цепких мелкособственнических сетях. Ты уже тянешь назад свой цех, хотя этого тебе никто еще не сказал в глаза.

Баранов говорил громко, как однажды на фронте клеймил труса, притворившегося контуженным. Глаза Баранова жгли. Слова били. Больно. Безжалостно.

— Ваш главный инженер посоветовал тебе остаться один на один с самим собой. Остаться и подумать о случившемся. Но ты же ищешь виноватых в курятнике, а не в себе. Ведь не кто-то соорудил этот курятник, а ты. Ты погубил плавку не по чьей-то вине, а по своей. И тебя нужно было за это судить. Исключить из партии, если бы ты в ней состоял...

— Я всегда был с партией,— огрызнулся Василий,— и меня ничто не разъединяло с ней!

— А старая ведьма? — спросил Баранов.— Или тебе кажется, что эта твоя ферма украшает тебя?

— Да что ты понимаешь! — огрызнулся Василий.— Если уж на то пошло, не было такого постановления, которое запрещает строить, возводить, разводить, выращивать и все такое.

— А зачем же запрещать это все? — сказал Баранов.— Наоборот, нужно рекомендовать и грядки, и кур, и свинку, а если возможно, то и корову. Я за то, чтобы при рабочей семье было свое маленькое подсобное хозяйство. Я говорю — при. При семье, а не наоборот, как у вас, где вы все оказались при хозяйстве, а не оно при вас. Твоя жена, оказавшись при козьем пухе, бросила работу. Тебя хозяйство фактически увело с завода. Кому же подсобляет такого рода подсобное хозяйство? А ведь могло быть и у вас все нормально, как у людей. Нет, Василий, тебе нужно понять эти немаловажные тонкости, а не лезть в драку.

Помолчав, Василий вдруг поднял глаза на Баранова и признался:

— Да, я, кажется, Аркадий, маленько того...

— Маленько ли? — перебил его Баранов. — А не слишком ли? Вспомни то утро, когда ты бросился на десятилетних удильщиков. Как коршун. Как зверь...

— Ну, это уже перехлест, Аркадий. Ну зачем же, понимаешь, такие слова?

— Перехлест? Я никогда не забуду, как ты швырнул в них метровым колом. И мог поранить их, как ту же Шутку. Не ради ли счастливой жизни и этих мальчиков ты воевал, умирал, истекая кровью на минном поле? Ведь не за свой же пруд с карпами сражался ты в Отечественную войну?

— Само собой, — тихо отозвался Василий.

— А теперь ты пожалел для них карпа. Что произошло? Что? Спроси себя: какие чувства в то утро руководили тобой?

— За этот поступок, Аркадий, я не уважаю себя. Это было позорное утро! — подтвердил Василий, все еще не поднимая головы. — Позорное утро!

— Одно ли оно было позорным? Не позорными ли были все дни и годы компромиссов с Серафимой Григорьевной? Ты вспомни белую свинью. Сметанин-то ведь пощадил ради тебя твою тещу. Она знала, что покупала. Для нее уворовали в колхозе «валютный» приплод. Сметанин довольно ясно сказал об этом. И ты в глубине своей души знаешь, что такая покупка плохо пахнет. Разве это не компромисс с подлостью? А знакомство с Ключом? Разве не компромисс — твои закрытые глаза на торговлю смородиновыми кустиками, племенными поросятами, козлятами? И даже карпами...

— Карпами? — вскипел Василий Петрович. — Этого не может быть! Я их разводил для души, а не для продажи... Я вообще ничего не собирался заводить для продажи! А потом, понимаешь, пошло и пошло...

— Я понимаю, — сказал, грустно улыбаясь, Баранов. — Так можно, не собираясь, не желая, развести белых крыс... Серафима Григорьевна давно мечтает с них. Фенечка, я думаю, не клеветает на нее. Тебе это не трудно проверить. Я бы сказал тебе больше, да не хочу перешагивать даже в таком важном споре семейных граней. Я мог бы вывести тебя из этого болота. Вот так взять за руку и увести без захода на дачу. У меня достаточно сил сделать это. Но я хочу, чтобы ты сам опомнился. Поэтому я, кажется, тоже, как и ваш главный инженер, посоветую тебе остаться наедине со своей

совестью. Остаться и спросить себя — с кем ты? Во имя чего ты живешь? Какие отношения у тебя с твоим государством, с твоим рабочим классом? И, наконец, со мной. Мои отношения к тебе ясны. Я не отказываю тебе в моей дружбе. На этом и расстанемся, Василий Петрович Киреев. Мы, кажется, в основном выяснили все.

Сказав так, Аркадий Михайлович поднялся и направился к Садовому городку.

Василий остался на полянке один.

XLI

Баранов уехал, а голос его звучал. Звучал не только где-то там, внутри Василия, а всюду. Теперь все окружающее упрекало Василия.

Баранов сидел то на крылечке, то на осиновом обрубке у пруда, то ходил по участку. А ночью Василию чудилось, что скрипят половицы и слышатся его шаги. Казалось, что Аркадий сбежит сверху по лестнице, улыбнется, как будто ничего не произошло...

Нет, произошло. Пусть Василий еще не осознал в полную силу услышанное, но, видимо, теперь уже надо не так много времени, чтобы понять куда больше, чем было сказано Аркадием.

Еще несколько дней назад Баранов существовал для Василия сам по себе. И в последний раз на поляне он говорил от своего имени. А теперь оказалось, что Баранов разговаривал от имени многих. Может быть, от имени всех. И Юдина, и Веснина, и подручного Андрея. Молчаливый сын Ваня тоже, кажется, разговаривал со своим отцом голосом Баранова. И Лидочка... Милая Лидочка, не упрекая ни в чем своего отца, тоже ушла от него.

Рано зацветшие осенние золотые шары и те, шепчась как живые, словно осуждали Василия. Томящиеся в мелкой нагретой воде пруда карпы, беззвучно открывая рты, тоже будто жаловались: «Зачем ты нас заставил жить в этой стяжательской луже?» Конечно, это его воображение, но...

Нужно было бы нанять пожарную машину, чтобы перекачать из речки в пруд кубов тридцать-сорок воды. Но до карпов ли теперь Василию, когда самому не хватает воздуха и визг поросят, блеяние коз раздра-

жают его... А тут все еще подскуливает Шутка. Не ест. Изредка лакает воду. Феня по-прежнему делает ей уклады и перевязки. Ханжа теща положила в собачью конуру свою пуховую подушечку-думку и подкармливает Шутку сливками.

— Лишь бы только выздоровела милая Шуточка-прибауточка! Какая она была ласковенькая да веселенькая!

Феня молчит. Феня не подымает своих синих глаз на Серафиму. А Серафиме нестерпимо хочется с ней поговорить. Хочется проверить радостный для ее ушей слух, принесенный Панфиловной.

Говорят, сегодня утром Алина приехала на дачу к Ветошкину с двумя артистами из городского цирка. Один — гиревик, второй — борец. Алина объявила о своем разрыве с Павлом Павловичем.

Павел Павлович умолял ее. Валялся в ногах. Рыдал. Угрожал. Проклинал и снова умолял. «Комсомолисты», как их называла Панфиловна, попросили его «не шуметь и не распускать нюни», а смотреть, не взяла ли Алина лишнее, а потом расписаться в том, что ею все было «взядено по его личной просьбе и он к ней никаких вымогательств не имеет».

Каким бы сенсационным ни было это известие, не оно волновало Серафиму Григорьевну, а его хвостик. Хвостик этого слуха заключался в том, что красавица перепорхнула к Баранову, который так неожиданно уехал, не сказавшись куда. Именно этого подтверждения и хотелось Ожегановой. Именно это подтверждение могло поколебать Василия, который заметно исхудал и ходит, будто вынашивая в себе что-то недоброе.

Но Феня ничего не ответила. Не ответила даже на далекие, не имеющие отношения к уходу Алины вопросы.

Однако жаждущему любопытству Серафимы Григорьевны пришлось недолго ждать желанного напитка. Появился Ветошкин, растерянный, постаревший и подавленный.

— Значит, правда все это, Павел Павлович? — спросила она приятного, как никогда, гостя, усаживая его на садовую скамью под яблоней.

— Да! Да! Да!.. — еле выдохнул он.

— А с кем?

— С вашим гостем. С моим фронтовым товарищем...

Боже, боже! Мы вместе сражались. Вместе окропляли родную землю нашей кровью,—стал он говорить, как обманутый простак в плохом театре.— И вдруг...

— Ты слышишь, Василий? — обратилась Серафима Григорьевна к присевшему подле конуры Шутки Василию.

— Нет, я не слышу. Я не хочу слышать,— ответил он довольно грубо.

Лицо Павла Павловича изобразило горчайшую усмешку страдающего праведника.

— Как можно требовать, чтобы Василий Петрович дурно сказал о своем друге? Я понимаю, принимаю это и не виню... Дружба — это такое высокое...

Но Василий не стал дослушивать, что такое дружба, и ушел в домик Прохора Кузьмича. У того всегда найдется добрый совет и сочувствие.

Мсть, озлобление, лютая ненависть к Баранову заставили зашевелиться изощренные мозги Серафимы Григорьевны.

— Конечно, я большим умом похвастать не могу,— начала она мягко стлать,—но ведь на ясное дело, на чистую правду и малого ума достаточно. Я бы на вашем месте обзвонила все гостиницы. А их всего-то четыре. Узнала бы, где и в каком номере проживает Аркадий Михайлович Баранов, а потом бы с понятиями к нему в номер. Если она с циркачами приезжала, то у вас-то повыше чины найдутся. Можно и с начальником милиции... — И — пики-козыри!

Ветошкин ухватился за этот совет, но тут же оставил его. О чем он будет говорить с Барановым? Какие улики? И если действительно причина ее ухода Баранов, то Алина не так глупа, чтобы поселиться с ним до развода.

Посидев, повздыхав, Ветошкин отправился к себе на дачу.

Потеря Алины для Ветошкина — серьезная утрата. Серьезная, но главная ли? А что, если Алина вздумает наказать его за хитросплетенный обман накануне намечавшейся поездки в заграничное турне? А что, если крысиное предприятие Павла Павловича станет достоянием фельетониста?

Не забежать ли вперед, не предложить ли ей отступного тысяч этак...

Нет. Такой маневр может насторожить Алину. Мо-

жет подсказать ей и то, о чем она и не думает. Да и едва ли она что-то возьмет.

Ф-фу! Как омерзительно складывается жизнь Павла Павловича! Какая зловещая тишина у него на даче! Неумолчные канарейки и те стихли, как перед грозой...

XLII

Теперь все раздражало Василия Петровича. Не находя себе места, он пришел к Прохору Кузьмичу, чтобы продолжить спор с отсутствующим Аркадием Михайловичем. Василию нужен был этот спор. Ему хотелось обелить себя и хоть в чем-то чувствовать свою правоту.

Не мог Василий взять и сразу признать правду Аркадия.

И он спросил:

— Так что же, Прохор Кузьмич, значит, душить всех поросят, резать всех коз частного пользования, выдирать смородину?

Василий выпил совсем немного. Но жара, пустой желудок и усталость расслабили его.

— Зачем же, Васенька, через край-то? Поросенок поросенку рознь... Агафью из прокатного взять. Жалованьишко у нее сам знаешь какое. А детей двое. И в ее поросеночке никакого капитализма нет, а чистое прибавочное мясо к ее питанию.

— Но у нее же и коза...

— А как ей без козы, когда корм свой? Дети же. Не на продажу же,—увещевал старик Копейкин.

— А дом? Свой собственный дом... Тоже капиталистическая отрыжка? Да?.. Но тогда половину Донецкого бассейна, половину Урала нужно обвинить в отрыжке и половину рабочего класса назвать перерожденцами...

Копейкин и не предполагал, что ему придется растолковывать Василию самое простое.

— Васенька, ну зачем же все мешать в одном копыте? Ну вот, скажем, у меня тоже свой дом на Старогуляевской улице. Это моя квартира. Я его не сдаю, прибытка от него не имею... Это—одно... А скажем, вот этот дом, в котором я теперь живу, это—другое дело. Не прими, голубок, за обиду, а за наглядный пример... И если, скажем, в Донецком, или Кузнецком, или

в каком другом бассейне рабочие люди живут в своих домах, так они для них, как, скажем, калоши или пальто, житейская постройка, а не выжигательство в корыстных целях. Или взять машину — «Волгу» там или «Москвич». Одни на них ездят, а другие возят... Вот ведь о чем речь. Сережа, мальчонок, Агафьин сын, которого ты чуть колом с забора не сбил, тоже двух крыс держит и двух морских свинок. У него это радость, а у Ветошкина — мироедство.

— Значит, вы с Аркадием все понимаете и во всем разбираетесь? А я, стало быть, нет? Так и запишем... Где у тебя топор? — спросил Василий.

— Зачем это тебе вдруг понадобился топор? — недоумевал Копейкин.

— Разобраться, понимаешь, немножко хочу в сущности микроскопического капитализма... Вот он! — обрадовался Василий, увидев под лавкой топор.

— Ты что же это, Васенька, задумал?

— Не бойся, Прохор Кузьмич... Не бойся...

Василий с топором в руках направился в вольер курятника. Схватив там первую попавшуюся курицу, он отрубил ей голову. На камне. То же он сделал со второй, выбросив ее за сетку вольера. Птицы, почуяв неладное, подняли дикое кудахтанье. Запах крови, подскакивающие в агонии обезглавленные куры заставили живых стремительно перепархивать высокую изгородь вольера. Такой прыти, такого лёта не бывало и у их диких предков.

Когда Василий отрубал голову петуху, прибежали Серафима Григорьевна и Ангелина.

— В своем ли ты уме? В своем ли? — кричала Серафима. — Отдай топор! Отдай топор! — просила она, боясь приблизиться к Василию.

Зато Ангелина вошла смело за сетку вольера и сказала:

— Милый мой, давай их прикончим завтра. Организованно.

Василий отдал топор Копейкину и примирительно сказал:

— Я всегда знал, что ты любишь и понимаешь меня. Когда я вижу курицу, у меня плачет свод и падают из него кирпичи... Но лучше бы их, проклятых, прирезать сегодня!

Ангелина увела мужа в дом. Серафима, не на шут-

ку струхнув, старалась не попадаться на глаза Василию.

— Что с ним? Сколько выпили?— стала наступать Серафима на Копейкина.

А тот, почему-то вдруг тоже осмелев, сказал:

— Литру!

На столе между тем стояла единственная недопитая четвертинка клюквенной настойки.

— Никогда я его таким не видывала. Неужели обвал свода на него так подействовал?— хотела она выяснить причину буйства Василия.

Копейкин мудрил:

— Что считать сводом? Если то, на чем волосы растут и картуз носят, так, пожалуй, этот свод сильно у него нагрет. И тебе бы, Григорьевна, не помешало бы и коз, это самое... того...

Серафима оглянулась на дом, потом сказала:

— Не подрубал бы ты сук, на котором сидишь, Прохор Кузьмич.

А он не будь плох:

— Не о сучьях теперь думать надо, а о дереве, на котором они растут. А я ни на чем не сижу. Я птица вольная!— Говоря так, Копейкин взмахнул руками, как крыльями.— Порх — и нет меня тут...

— Так что же ты... и ты улететь хочешь?

— Курей жалко, Григорьевна. Нестись они без меня хуже будут!

Серафима Григорьевна уставилась на Копейкина, как щука на ерша. И рада бы проглотить, да колючки страшат.

— Сегодня отдам я тебе яичный должок, Прохор Кузьмич. Не зажилю.)

— Ну так ведь,— ответил Копейкин,— разве за тобой пропадет? Подожду.

Скрежеща зубами, злясь на уничтожающее ее бесилие, Серафима Григорьевна отправилась в свинарник. В доме, пока не уgomонится Василий, показываться не следовало...

XLIII

Жара не спадала, и вечером от нее изнывало все живое. Раскаленный диск солнца сел в марево над лесом. Земля на грядках и дорожках испещрилась мелкими трещинками.

Всплыли еще три издыхающих карпа. Шутка поминутно пила.

Василий Петрович лежал рядом с Линой на широкой кровати. Он смотрел в потолок, а она гладила его мягкие волосы, в которых появилась еще не замеченная Василием седая прядь.

Ангелина понимала, может быть, даже лучше, чем сам Василий, что в его и в ее жизни произошло гораздо большее, чем в мартеновской печи и, уж конечно, в курятнике.

Дышалось тяжело. Было жарко и при открытых окнах.

Но вот качнулась тюлевая занавеска. Дохнул ветерок. Пахнуло свежестью. Послышался далекий глухой отзвук грома.

— Наконец-то...

— Кажется, дождались, Васенька.

Ветер дунул сильнее и уронил герань в глиняном горшке.

— Черт с ней,— сказал Василий.— Закрой дверь, чтобы не было сквозняка.

Гром прогремел ближе, и стал накрапывать дождь. Вскоре он застучал по железной крыше дома и перешел в ливень с громовыми раскатами, будто палили из многих крупнокалиберных орудий.

Сразу посвежело. Будь у Василия самочувствие лучше, он выбежал бы из дому поплясать под дождем, как это бывало и в детстве, и в недавние годы. Дождевой душ куда лучше купания. Нет на свете чище, свежее воды, чем дождевая.

Василий, вспомнив, что нужно долить аккумулятор, попросил Лину поставить какую-нибудь стеклянную посудину возле крыльца, но не у стока. И Лина выбежала в рубашке, поставила под дождь большую миску из нового сервиза.

Вернулась она под крылышко мужа мокрой. От нее пахло свежестью, здоровьем и молодостью. Сверкания молнии так чудесно и так сине освещали ее в рубашке, прилипшей к телу.

Василию хотелось, чтобы молнии сверкали еще и еще. И они сверкали без устали. Им был благодарен не один Василий, но и Лина. Какому человеку, особенно женщине, может не нравиться, когда ею любят. Зачем притворяться? Так можно дойти до утверждения, что на

свете существуют только одни производственные показатели!

Ливень сменился тихим, затяжным дождичком, который, может быть, будет идти до утра, не барабани по крыше, а усыпляя своим шелестом Василия и притулившуюся к нему Лину. Они уже задремали, как вдруг послышалось:

«Кап-п! Кап-п! Кап-п!..»

Василий открыл глаза:

— Что это?

Лина встрепелась. Прислушалась и, зевая, сказала:

— Это на чердаке. Протекает крыша...

— Лина,— обратился к ней опять Василий,— ты, понимаешь, сказала так, будто в этом нет ничего особенного... будто крыша протекает не у нас, а где-то, понимаешь, за тридевять земель.

— Ну что ты опять, Василий? Ну что тут такого?.. Замажем завтра — и все.

— «Замажем завтра — и все»... Как это легко и просто! А как я завтра узнаю, где, в каком месте, протекает крыша? Ведь все высохнет, и вода, которая найдет, уйдет в засыпку. В накат. Тебе, Ангелина, мало, что ли, было доменной губки в полу? Ты хочешь еще и на чердаке? Где у тебя лежат свечи?

— Ну что ты, Васенька... Ночью на чердак!

— Где свечи?— повторил Василий так, что уговаривать его уже было бесполезно.

— Они под полом. Под лестницей. Туда я боюсь лезть. Там мыши.

Василий встал. Сунул ноги в шлепанцы, накинул, чтобы не ободраться на чердаке, халат Лины и отправился в подпол. Найдя свечи, он взял одну из них и полез на чердак, в боковой открьлок над спальней, рядом со светелкой, где жил Аркадий.

На столе он заметил оставленные Аркадием газеты и журналы, а у стола его ночные туфли.

Очутившись в открьлке чердака, Василий стал искать течь в крыше. Вялое пламя свечи не позволяло ему заметить хотя бы одну каплю. Дождь между тем шел, и течь не могла прекратиться. Зато Василий увидел другое. Более существенное.

В живом свете костра, камина, свечи всегда есть что-то волшебное. Необычное. И Василий увидел себя в каком-то несуществующем зеркале. Этого нельзя по-

нять при отсутствии воображения. Но порою случается так, что человек, ни в чем не отражаясь, видит свое отражение отчетливее и подробнее, чем в любом из зеркал.

Так произошло и на этот раз. Василий увидел себя в женском пестром халате, из-под которого торчали его голые ноги в шлепанцах. Он увидел себя скаредным и маленьким человечком, напуганным дождевыми каплями. Человечком, зависящим от этих капель и страшщимся их. Это был не он, а кто-то другой, явно начавший горбиться.

Василий распрямился. Прислушался к дождю. Постоял и снова увидел жалкого горбатого карлика.

«Василий,—спросил он себя,—да ты ли это? Что случилось с тобой, свободный человек? Куда делся твой рост, твоя широта, твой большой замах? Васька, да ты ли это?»

Тут он почувствовал на своем лице паутину. Быстро и гадливо смахнув ее, он увидел сочащиеся через стыки листов крыши оранжевые капли. В них отражалось пламя свечи.

Василий отвернулся. Ему не захотелось запоминать место течи.

«Капай, проклятая... Мне-то что...»

Кто знал, что эти капли, эта течь окажутся в изломе течения жизни Василия... Прошло всего лишь несколько минут, и, кажется, ничего особенного не случилось в открылке чердака, но Василий вернулся к Лине другим человеком. Он возненавидел свой дом.

— Ну как,—спросила ожидавшая возвращения мужа Лина,—ты нашел, где протекает крыша?

— Это теперь, понимаешь, Линок, не имеет значения,—ответил он как-то очень звонко.—Лина, мы должны продать дом. Продать его к семи чертям, со всеми его пауками, паутиной!..

— А сами куда? Где мы будем жить?—спросила, садясь на кровати, испуганная Ангелина.

— Не знаю. Хоть под забором. Отдадим деньги в завком. В дирекцию, в кооператив... Хоть комнату да дадут, а потом увидим. Я продам его. Я расстанусь с ним... с моим кровопийцем и погубителем...

Ангелина тихо заплакала...

Он повернулся к ней спиной. Слезы ее на этот раз не трогали Василия.

Сметанину не сиделось дома и вечером. Неуемная тяга к деятельности заставила его побывать на выпасе, проверить, как чувствует себя на озере водоплавающая, зайти к возвращенным белым свиноматкам... И когда все это было сделано, он вспомнил о разговоре с Ветошкиным, который откладывался со дня на день как не первостепенный. А теперь он подросел в самый раз.

И вот Сметанин появился в благоухающем саду. Серый дог с лаем бросился на незнакомца, и тот вразумительно сказал собаке:

— Буде!— затем крикнул:— Аграфена!

Умная собака, увидев появившуюся Феню, пошла в тень. Вместе с Феней вышел и Павел Павлович.

— Чем имею честь быть полезен?

— Я Сметанин, из «Красных зорь».

Этих слов было достаточно для беспокойства Павла Павловича. Он уже знал об уводе белой свиньи у Серафимы Григорьевны, а также слышал, что Сметанин успешно возвращает своих колхозников, поразбредшихся за последние годы.

— Но я не к вам, прошу покорно, а к Аграфене Ивановне.— Сказав так, Сметанин перевел взгляд на Феню.— В начале того месяца мы ожидаем с флота Леонида Пастухова, и я хочу, чтоб он тебя встретил без этих холуйских кружев.

Феня, слегка покраснев, опустила голову. В самом деле, в ее жизни многое изменилось с того дня, когда молодая свинарка, провожая на флот Леонида Пастухова, обещала ему достойно трудиться в родном колхозе. А теперь?..

Пусть были у нее причины для ухода из колхозного свинарника, но все же это не оправдание.

Была и ее вина. Она польстилась на легкую, денежную работенку.

После сказанных Сметаниным резких и прямых слов она окончательно поняла, насколько унижительна эта работа у Ветошкина.

— Позвольте,— вмешался Ветошкин в разговор Сметанина с Феней,— как вас прикажете...

— Вы человек образованный, гражданин Ветошкин, и мне, мужику, не пристало вас учить. А наоборот,

я должен учиться у вас. Вы, можно сказать, перебили наш разговор.

— Прошу прощения, товарищ Сметанин.

— Пожалуйста,— ответил Сметанин и продолжил разговор с Феней:— Так ты, Аграфена Ивановна, теперь же, при мне, сделаешь устное заявление своему хозяину о расчете. А через то воскресенье, ровно в двенадцать ноль-ноль, придет за тобой полуторка. Тихо, гражданин Ветошкин! Дайте ей сделать заявление...

— Но ведь он же не пишет мне,— сказала Феня.

— Это ты не пишешь ему...

— Я не пишу? Спросите Павла Павловича, я всегда через него посылаю письма, чтобы он в городской ящик их кинул.

— Значит, Павел Павлович кидает их не в тот ящик... Ну да на данном этапе это, можно сказать, не так важно. Пастухову я отписал, что ты девушка все еще самостоятельная, вернулась в колхоз заведовать племенным питомником белых свиней и что ему, Леониду Пастухову, запланирован пятистенный дом на будущую весну, а место второго механика всегда было за ним.— Как бы в подкрепление сказанного Сметанин ударил кнутовищем по голенищу и, повернувшись к Ветошкину, спросил:— У вас какие вопросы?

— Это невозможно. Я не могу отпустить Фенечку. Да и она, как вы видите, не хочет возвращаться. Не так ли, Феня?

Феня ничего не ответила.

— Ну что же ты молчишь, Фенечка?

— Я заявляю о расчете... Как положено, за две недели вперед.

— И то,— продолжил Сметанин,— только потому, чтобы дать вам возможность не остаться совсем одному... Как-никак хозяйство. Не покажете ли мне, прошу покорно, ваших крысок?

— Зачем?

— Есть у меня одно валютное соображение.

— Какое, какое?..

— Крысиный белый мех нынче на вывоз берут.

— Да?— заинтересовался Ветошкин.— Для каких же целей?

— Для «горносталевых мантий»... «Горносталя» повсюду без малого выбили. У нас он тоже, можно сказать, почти что заповедный зверь... А царям и царицам,

королям и королевам различных заграничных держав мантии нужны.

— Но позвольте, товарищ Сметанин, у крысы значительно короче волосяной покров, нежели у горносталя...

— Это верно. Но если ее кормить бобовой смесью со жмыхами подсолнечника и держать на улице, волос у нее густеет и делается длиннее. Может, уступите клеток двадцать для пробы? Плачу кормом. Прямой расчет.

Ветошкин задумался. Его мысли снова вернулись к уходу Фени. Подумавши так минуту-другую, он сказал:

— Я могу вам презентовать... то есть подарить отборных животных, если вы не будете настаивать, чтобы Фенечка...

Сметанин опять хлопнул кнутовищем по сапогу:

— Наоборот. Я хочу с вас взять слово, что вы не будете колебать ее, можно сказать, неустойчивое сознание. И если вы этого слова мне дать не захотите, то Аграфена Ивановна может вас покинуть сегодня же. Учтите. Общий привет!

Сметанин откланялся Ветошкину и велел Фене проводить его до ворот.

XLV

Павел Павлович Ветошкин принадлежал к старому, хотя и захудалому, но столбовому дворянскому роду. Ветошкин Павел Сергеевич, отец Павла Павловича, перешел на сторону революции в 1917 году. Он сражался с Юденичем, воевал с Деникиным и закончил свою службу главой факультета одной из военных академий, верным сыном партии.

Павел Павлович не повторил отца. Молодой юнкер Ветошкин, сражаясь против революции, а следовательно, и против своего отца, попал в плен и был помилован. Проболтавшись несколько лет без определенных занятий, молодой Ветошкин избрал ветеринарное поприще. Он с детства любил собак, лошадей, разводил кроликов. Ветеринаром он был так себе, но между тем нашел какое-то новое лекарство против сапа. В войну, находясь главным образом в глубоком тылу, он клялся умереть коммунистом, но эта клятва, как и вся его жизнь, стоила не очень много.

Уход Алины, как уже было сказано, был для него страшнейшим потрясением, но Алина не потрясла «экономики» его предприятия. Другое дело — Феня...

На Фене держалось все.

Визит Сметанина едва не довел Ветошкина до инфаркта. Почва уходила из-под ног. Ему теперь ничего не оставалось, как умолять Феню. Он упал перед нею на колени. Это у него получалось лучше всего, начиная со дня его плена. Он падал на колени перед комиссаром части... Потом он стоял на коленях перед отцом. Потом — перед полевым судом, упрашивая не отправлять его за хищения в штрафной батальон...

Предпоследний раз он стоял на коленях перед Алиной. Сегодня — перед Фенечкой.

Он обещал утроить ее жалованье. Увеличить процент с каждой проданной головы. Обещал нанять помощника, а если она захочет — помощника.

И, наконец, он предлагал ей... руку и сердце, цинично убеждая ее:

— Не заживусь же я, моя милая. И все будет твоим. У меня нет никого родных... тебе не так долго мучиться...

— Хотя бы даже месяц, — отрезала Феня, — и то не буду!

Характер Фени был известен Ветошкину.

Предложение следовало за предложением. Но ничего не изменило решения Фени. Она потребовала немедленный расчет, обещая прожить положенные две недели со дня заявления об уходе.

Все это стало известно Серафиме Григорьевне. И она появилась у Ветошкина. Появилась в шуршащем сиреневом платье, в кружевной косынке и в туфлях на тонких высоких каблуках.

Лицо Серафимы Григорьевны было густо напудрено, волосы подзавиты.

— Что это вы какая модная? — спросил ее, встречая в саду, Ветошкин. — Именинница, что ли?

— Почти, — ответила Серафима, усаживаясь против Павла Павловича. — Коли вы такой франт, так ведь я-то как-никак моложе вас на целых шестнадцать лет и семь месяцев.

— Смотрите, какая точность.

Серафима хихикнула. И довольно заливисто.

— Счета не бывает без расчета! — попыталась она

на что-то намекнуть, но этого не получилось, и она прямо спросила:— Уходит Фенька?

— Да... А что?

— Ничего. Просто так спросила. На всякий случай. Может, вам планы какие-то в голову придут... Человека нынче беда как трудно достать. Особенно у которого язык за зубами умеет держаться... А?

Теперь Ветошкин понял, куда клонится речь, но не поверил этому. И, желая убедиться, прав ли он в своей догадке, спросил:

— Может, ликерчику?

— А почему бы и нет? Всякая дама любит, когда за нею ухаживают.

Это было уже слишком, но ухаживать приходилось. Портить отношения с Серафимой сейчас было невозможно. Она же поставщик кормов, акционер своего рода...

Акционер? Какое чудесное слово ему пришло на ум! Может быть, взять ее в пай? Тогда он будет спокоен за все.

И когда они выпили по одной, по другой, сумерничая в затененной деревьями столовой, Ветошкин намекнул ей на артельное крысоводство. Серафима, увидев, что старый плут на самом деле оказался на мели, ответила намеком на намек, пересев поближе к нему.

Серафима, очутившись подле Ветошкина, пощекотала, а потом почесала легонечко ему за ухом и сказала:

— В «прынципе» я за... А об остальном надо подумать...

Изрекши такое, она потрепала Павла Павловича по дряблой щеке, и тот задержал ее руку.

— Ой!— воскликнула Серафима тонюсеньким, совсем молодым голосом.— Никак уже стемнело!

— Да куда же вы?— стал удерживать ее Ветошкин.— Задержитесь хотя бы на полчаса. Ну задержитесь же, ожегательнейшая...

Ожеганова устранилась от объятий Ветошкина. Во всех иных случаях она была бы счастлива его вниманием, которого так долго добивалась. Но сейчас он тонул. И она могла спасти его. Поэтому побоку все... До улыбок ли, до любезничанья ли ей, не знающей сытости жабе, когда в болоте завязла такая пожива.

— Вы бы не с этого начинали, Павел Павлович, а с

дела. Нам ли с вами в прятки-то играть... да еще в темноте,—отрубала слово за словом Серафима.—Завтра светлее будет и в голове, и на улице. А пока поцелуй в задаток.—Она ему протянула свою сухую руку.—В этой руке и счастье твое, и гибель.

Ветошкин испуганно поцеловал руку Серафимы.

—То-то же,—тихо сказала она, сверкнув зеленым, кошачьим глазом, и направилась к воротам.

Ветошкин, оставшись один, задумался.

XLVI

Радужные надежды, появившиеся у Серафимы Григорьевны после встречи с Ветошкиным, затемнились печальным известием. Василий сказал теще твердо и определенно:

—Я должен продать этот двухэтажный катафалк под железной крышей.

И мало того—стали приходиться покупатели. Панфиловна, не теряя случая, в надежде получить куш от продажи дачи, подсылала то одного, то другого денежного человека.

Не дремал и Кузьма Ключ. Пусть он появляется на этих страницах лицом второстепенным, но в его руках многие нити. Он знает, у кого сколько, с кем можно иметь дело, кого надо опасаться. Прикинув, подсчитав объем «операции», он подобрал надежного во всех отношениях покупателя и ожидал дня, когда ему следует появиться в доме Киреева. Ослепить ценой. Убедить гарантиями. Стать спасителем и взять положенное с продающего и покупающего.

Мелкая хищница Панфиловна была не страшна Ключу. Она даже была полезной, приводя несостоятельных покупателей. Ожеганова отказывала им сразу же, едва они переступали порог:

—Это еще что? Откуда вы взяли?

Но слух шел. Дошел и до дирекции завода. Там сказали Василию примерно так:

—Завод не может купить недвижимое у частного лица. Но дирекция и завком хотят помочь тебе, Василий Петрович. Отдай дачу завкому, оформи дарственную запись. А ты переедешь в новую большую, благоустроенную квартиру... Ведь именно ее-то тебе и надо теперь.

Предлагалось то, о чем не мог и мечтать Василий. Дачу расширят. Она станет детским садом. Он всегда сможет приезжать сюда, если вздумает полюбоваться творением своих рук,— и точка. В ней не будет жить какой-то частник-жмот, который оскорбительно станет доить посаженные Василием кусты, деревья. Это самый лучший выход. Но...

Ветошкин прав. «Многое не так просто на белом свете». И, уж конечно, не проста Серафима. Она быстрехонько связалась с юристами, нотариусом, и они в один голос заявили, что продажа строения или передача его кому бы то ни было по дарственной записи может быть оформлена только при согласии жены владельца...

Аг-га-а, Василий Петрович! Попробуй переступи этот закон!

Василий был уведомлен об этом. Василий спросил жену:

— Ты, конечно, я думаю, не будешь противиться передаче дома завкому?

Ангелина ответила слезами. Далее спрашивать ее было не о чем. И Василий Петрович больше не разговаривал на эту тему. Он вообще почти не говорил дома за последние дни. С каждым часом ему становилось понятнее, что нужно делать и как нужно поступить.

С ним здесь было в разладе все, и только одноглазая собачонка Шутка соглашалась на все. Хоть в огонь, хоть в воду.

Осуществлять намеченное Василий начал с пруда. Он велел приехать вечером сыну Ивану, затем пригласил соседского парня и, наконец, позвал Прохора Кузьмича Копейкина. Когда они собрались у пруда, Василий сказал:

— Сейчас мы будем переносить изгородь на старое место. По эту сторону пруда, чтобы восстановить законные границы участка.

Никто не задал ни одного вопроса. Видимо, всем было понятно, что это означает.

Когда изгородь, расчлененная на звенья, была перенесена наполовину, из дома выбежала Серафима Григорьевна:

... — Это что же такое, Василий Петрович?

— Это возвращение государству государственных

владений, что, понимаете, может производиться без оформления у нотариуса и согласия супруги...

После того, как пруд оказался за изгородью, Василий увидел в кустах знакомых мальчишек.

— Идите сюда...— позвал он.— Не бойтесь!

Он произнес эти слова до того задушевно, что подошли сразу три мальчика.

— Теперь можете ловить рыбу сколько вздумается. Но если вы умные и честные хозяева, снимайте с крючка молодых карпиков и пускайте обратно.

— Хорошо,— сказал один из мальчиков. Это был сын той самой Агафьи из прокатного цеха, о которой говорил Копейкин.

Но сказанного Василию показалось мало. Василий хотел и не находил слов, чтобы объяснить ребятам, почему в то воскресное утро бросился на них. Пораздумав, он сказал:

— А тогда я был пьян, ребята. Сильно меня напила одна старая ведьма страшным зельем. А теперь я пить бросил. Навсегда. Будем знакомы.

Василий каждому из мальчишек пожал руку. А старик Копейкин, прислонившись к сосне, смотрел и слушал,— как хорошо отозвалась теперь его сказка!

Многое не так просто на белом свете...

— Что же дальше ты будешь делать, хозяин?— спросила Василия Серафима.— Какой высший суд будешь вершить в своем владении?

Василий ответил на это без улыбки, но и без злобы:

— Сегодня вечером будет продолжаться распад колониальной системы. Африку отдам африканцам... Садовый домик принадлежал мне до супружеского союза с Ангелиной Николаевной. Не так ли?

Вечером был отгорожен садовый участок, где стоял первый домик, с которого все и началось. Когда это было сделано, Василий сказал Прохору Кузьмичу с тем же юморком, без улыбки:

— Это моя единственная недвижимая частная, понимаешь, собственность, принадлежащая мне одному, по всем законам. Будешь жить в этой моей частной собственности. Будешь мне вносить, понимаешь, для проформы положенные по незыблемым коммунальным ставкам рубли и копейки. А в остальном ты никому и ничем не обязан.

Он произносил все это как шутейший манифест рас-

крепостителя. Но шутейность вдруг оставила Василия, и он, припав к груди Копейкина, стал просить его дрожащим голосом:

— Прости меня, Прохор Кузьмич, за мою слепоту и за все...

— Да полно тебе, Васятка!— испугался Копейкин.— Какие между нами могут быть счеты? Я ведь в охотку работал у тебя! Ради природы!

Многое не так просто на белом свете...

Не простым было и расставание Василия с домом, с садом. Он любил его, и любил не как собственник, а как садовник, взрастивший его. Любил дом и как строитель, как труженик, заставивший камень и дерево стать разумным строением.

Это все нужно различать и не валить в одну кучу. Но вали не вали, а расставаться нужно. И не половинчато, а с полным отрывом от сердца. И, может быть, вместе с большой, неслыханно большой любовью к Ангелине.

Многое не так просто на белом свете.

XLVII

Когда за вечерело, Василий приступил к обходу своего участка. Он коснулся каждой яблони, каждого куста, словно прощаясь с ними за руку. Особенно долго он задержался у ряда яблонь вдоль изгороди, сорт которых назывался «бабушкины».

С теми кустами крыжовника, которые были посажены Серафимой Григорьевной, Василий не стал прощаться. Это чужие для него кусты. У него с ними нет никаких отношений. Они воткнуты сюда ею нахально, они загустили ряды саженного им крыжовника. Он даже плюнул на одно ни в чем не повинное растение...

Потом Василий стал прощаться с изгородью, сожалея, что не сумел приставить к некоторым подгнившим столбам пасынков. Хозяйство нужно оставлять в полном порядке. Он до этого покрасил и промазал всю крышу. Проолифил новый пол. Нужно было бы заняться и пасынками, да не успел.

Потом он пошел в дом. Там плакала Ангелина. Но утешить ее теперь было не в его силах. Есть один путь примирения— она должна встать и сказать: «Василий,

я ухожу с тобой...» А как же иначе, если она жена и друг?..

И если она это сделает в последнюю минуту, тогда не будет на земле счастливее и свободнее человека, чем он. Но Лина пока лежит ничком поперек широкой кровати. Что поделаешь? Не может — значит, не может. Но и он не может пойти на уступки. Аркадий Баранов — это же не просто Баранов, личность, частное лицо, фронтовой друг. Нет, это частица партии, в которой Василий мысленно состоял, а потом исключил себя из нее. Партийность-то ведь не только организационное оформление. Это, во-первых, как ты веруешь и как ты поступаешь. Не напоказ, а по требованию своей души. Как Сметанин из «Красных зорь». Как сын Иван, зашагивающий всем своим существом в завтрашний день. Без крику. Без желания попасть на Доску почета.

Прощание с комнатами было недолгим. Побывав в каждой, начиная с верхних, Василий спустился вниз. Погладил радиаторы отопления. Заглянул в маленькую котельную. Немало она пожрала у него сна, заставляя зимой просыпаться после полуночи и подсыпать уголь... Ну да ладно. Что ее винить?

Василий Петрович, прощаясь со своим домом, обрывал сотни невидимых нитей, тянувшихся от его сердца к каждому бревну, отесанному им и врубленному в стену. К каждой двери, навешанной им. К каждой раме, в которую он врезал стекла. К каждому кирпичу: если даже не он уложил его, то оплатил своим трудом. Здесь ничего нет чужого. Здесь все заработано им.

Милый Василий Петрович, ты воздвигал эти стены в двадцать два венца, чтобы потолки были высоки, чтобы дышалось легко... А что произошло?

Ты входил в этот дом, как в светлый чертог, а покидаешь его, как камеру пыток. Дом стал душен и тесен. Ты перестал в нем жить. Он стал жить в тебе. Жить и тянуть соки твоей души. Замыслы твоего ума, новые сплавы твоей стали.

Конечно, ни в чем не виновен твой хороший дом. Виноват не он, а отношение к нему. Виновны люди, начинившие его гнилью, куда более страшной, чем домовая губка.

Прощай, дом! Ты больше не принадлежишь Василию Кирееву. У тебя с ним не получилось правильных отношений.

Наконец комнаты были обойдены. И он пришел в последнюю. В спальню. Сел на скамеечку, куда обычно клал перед сном одежду.

Ему нужно было посидеть. Для порядка. Перед дорогой всегда сидят. Остальным не обязательно. Они же остаются.

Теперь предстояло самое трудное, хотя он и все решил, все предусмотрел и уговорил свое сердце не мешать ему в единственно правильном исходе.

Избавляя дом от жестокой домово́й губки, Василий устранил все, что могло возродить эту страшную болезнь. Выбрасывались и здоровые, но чреватые вспышкой губки доски, балки, пластины наката.

Так же и теперь — он уходил от всего, что могло удержать, а потом отбросить его в цепкие объятия той жизни, с которой он хотел порвать. И Ангелина — душа этого дома, построенного для нее, — могла сейчас изменить весь ход его мыслей и намерений.

Она могла зарыдать, лишиться чувств, забиться в истерике, начать рвать на себе одежду или... или что-то еще, что не приходило в голову Василию. В такие минуты жизни бледнеют самые душераздирающие сцены в театре или в кинематографе. Потому что, какие они ни будь, это игра. Сцена. Экран. А тут — жизнь. Тут не актриса, а живая жена. И ты не зритель — и даже не герой-любовник, страдающий по загодя предусмотренным ролю страданиям, а муж. И ты не знаешь, как развернется действие и какие скажутся слова.

Воля волей, а сердце сердцем. Его любовь хотя и омрачилась упорством Ангелины, но все же он безумно любит ее. Любит, хотя и считает изменой и, может быть, даже предательством ее поведение. Что там ни говори, а она предпочла дом живому, страдающему Василию. Как там ни формулируй, а дом Ангелине ближе и дороже, чем он, ее муж. Разве это не так? Разве не ради дома Ангелина остается в нем? Поступил бы так Василий, окажись на ее месте?

Теперь ему оставалось выяснить: «С кем ты повенчана, Ангелина, со мной или с домом?» Разве это все второстепенно в их отношениях? Разве это не проверка любви?

Недавно на их заводе рухнуло счастье одной пары только потому, что она не захотела поехать с ним на далекую новостройку. Какова же цена этой любви, если

любимая предпочла любимому свои привычные городские удобства?

Василий вспомнил и Радостина. Радостин получил поворот от ворот только потому, что у него «ни гнезда, ни дупла, ни скворечника». Именно эти слова были сказаны Серафимой Григорьевной четыре года тому назад.

Так что же выходит? Выходит, что «скворечник», который возвел Василий, связывал его и Лину больше, чем все остальное. И если это так, то какова цена всему остальному?

Наступил момент, когда нужно было выяснить все до конца.

За этим-то он и пришел в спальню.

Сердце, будь твердым. Мужчина, останься солдатом и в этом поединке.

Ангелина поднялась с кровати, подошла к Василию и сквозь слезы спросила:

— Уходишь?

— Да, Лина.

— От меня уходишь?

— Не от тебя, Лина, а от всех этих тенет. Я уже вышел из них, и ни одна паутинка больше не держит меня здесь.

— А я?— с надрывом спросила Ангелина, опять падая поперек кровати.

— Так ты-то ведь не паутина, а человек. Свободный человек. У тебя разум и ноги.

Василий надеялся, что сейчас, в эту минуту, будет найден какой-то новый выход. Что-то такое, что Аркадий называл компромиссом. Но Ангелина сказала определенно:

— Я не могу расстаться со всем этим. Это радость моей жизни. Это мои счастливые заботы.

— Разве я неволю тебя, Лина? Если дом, козы и боровы — радость твоей жизни, если черная смородина проросла через тебя, значит, между нами возникли, как говорится, серьезные разногласия идейного порядка.

Ангелина опять заплакала. Серафима Григорьевна, стоявшая за дверью, вбежала и закричала истошным голосом:

— Кто поверит этому? Какие могут быть между мужем и женой идейные разногласия? Придумал бы уж, Василий Петрович, что-нибудь посклепистее!

Василий, не желая видеть тещу, не поворачиваясь к ней, сказал:

— Придумывать я ничего не собираюсь, как и не собираюсь кому-то и что-то объяснять. Кто хочет, кто может, тот пусть верит мне и понимает меня, а кто не может — доказывать не стану.

— Значит, ты бросаешь ее?— в упор спросила Серафима Григорьевна. Ее лицо перекошилось. Снова час-то засверкал остекленевший левый глаз.

— Если жена не следует за мужем, значит, не он, а она оставляет его.

Тут Василий посмотрел на тещу и, увидев на ее лице густой слой пудры и подчеркнутые ресницы, добавил к сказанному:

— Я никому не хочу мешать устраивать свою жизнь и... пудриться!

Серафима хлопнула дверью. Теперь Василию оставалось только положить ключи. И он положил их на кровать. Положив, сказал:

— Бывай здорова, Лина. Не беспокойся, на свою половину этого логова я не претендую. Нотариальная контора пришлет тебе какие следует бумаги. Давай поцелуемся.

И они поцеловались. Поцеловались так, будто тот и другой целовали не живого, а мертвого.

Василий медленно подходил к старенькому «Москвичу». Долго проверял уровень масла в картере, достаточно ли воды в радиаторе. Он даже сходил под навес и взял бутыл с дождевой водой для доливки аккумулятора. С той самой водой, которой наполнил недавний ночной дождь большую суповую миску из нового сервиза.

Видно было по всему — он все еще ждал, что Ангелина выйдет и скажет: «Я согласна, Василий. Отдадим дом завкому...»

Но Ангелина не вышла.

Он сел в машину, нажал кнопку стартера. Машина взвизгнула, будто заплакала. Больно кольнуло сердце Василия Петровича. Пронзительно громко заскулила Шутка.

— Ты что?

А она, будто зная все, просилась к нему. Виляла обрубочком своего хвоста, наклоня голову набок, глядела на него своим единственным глазом.

— Да разве я тебя оставляю здесь? Прыгай, бедняга.

Шутка прыгнула в открытую дверцу машины и села на переднее место справа от Василия, мордой к ветровому стеклу.

Он хотел остановиться у ворот, чтобы открыть их. Но там оказалась Марфа Егоровна Копейкина.

— Не останавливайся и не оглядывайся,— сказала она, открывая ворота.— Уход огляда не любит.

XLVIII

— А я тебя еще вчера вечером ждала,— как бы между прочим сказала Мария Сергеевна, когда Василий Петрович сел за стол в кругу своей старой семьи.

— Да ведь я, мамочка, будто не оповещал тебя о своем приезде,— ответил Василий,— и будто никому ни о чем не говорил. Откуда же ты могла, понимаешь, предположить такое?

И та ответила, смеясь добрыми серыми глазами, светясь белизной своих волос, выглядывающих из-под шелкового клетчатого платочка, повязанного по-молодому:

— Наверно, лампочка мигать начала. Как пробкам перегореть, всегда ты приезжаешь.

И больше ни она, ни Лида и ни Иван ни одним словом не обмолвились о том, почему приехал он, что произошло там. Василий заметил, что его кровать была застлана особенно тщательно. Чистые, новые наволочки на подушках, новые шлепанцы на прикроватном коврикe и снова появившийся на тумбочке жбан с квасом, который пил Василий и ночью,— все говорило о том, что его ждали, что здесь известно все.

Мария Сергеевна подала к ужину стерлядь уху на ершином бульоне. Тоже, наверно, не случайно было приготовлено это блюдо.

Лидочка налила первую тарелку отцу, потом бабушке, потом Ване, потом себе.

— Эх, мамочка! А у меня, у бывшего домовладельца, ни гроша в кармане, а надо бы для такого случая...

Ваня поставил перед отцом узкую бутылку пятизвездочного коньяка и сказал:

— По звездочке на брата...

Василий пересчитал сидящих за столом, спросил:

— А пятая-то в честь кого, Ванек?

— Это уж как ты пожелаешь. Хочешь — в честь Ангелины Николаевны, хочешь — в честь Аркадия Михайловича.

Сказал так сын и откупорил бутылку.

— Как в кино, — заметил Василий, поглядывая то на сына, то на Марию Сергеевну. — Все со смыслом. Ну, если все со смыслом, то пятая звездочка пускай будет в честь Шутки. Это уж пожизненная спутница, вокруг Луны и обратно... А мой Аркадий, видно, сбег из города. Иначе показался бы... Ну а что касается остального-прочего, то за отсутствующих я не пью.

Налили. Чокнулись стоя. Молча. Выпили, затем стали есть уху.

Едва ли есть в мире вкуснее уха, нежели сваренная на ершах, а потом заправленная стерлядь. Купцы знали толк в этой дорогой еде! А из простого народа разве только уральцы, живущие близ больших рек, могли позволить себе приготовить такое блюдо. Архиереи — те варили стерляжью уху на курином бульоне. Ну, так им разрешал это не один лишь бог, но и карман.

Ночь Василий проспал не просыпаясь. Проснулся выпавшимся. Свежим. Шутка вылезла из-под кровати, потягиваясь. Ей, кажется, тоже было хорошо среди знакомых людей. Лида и Ваня — это свои. И если они так внимательны к неизвестной ей Марии Сергеевне, значит, она тоже своя. Тем более — кормит ее. Кормит такими косточками, на которых есть что обглодать. И не бросает их, как Серафима Григорьевна, а подает, приговаривая. Пусть Шутка не понимает всех ее слов, но это ласковые слова. В них нет ни одного рычащего слова: «жри», «прорва», «мымра», «обжора». У Марии Сергеевны певучие слова: «Шуточка», «бедняжечка», «умница», «чистюлечка»...

Через день Василий вернулся на работу. И все ему снова так дорого. И шум, и дым. И сверкание тысячи раз виденных слепящих искр, вылетающих золотым снопом из ковшей при разливке стали. И малиновый свет темнеющих слитков, освободившихся от форм и увозимых в прокатные цехи. Радостная и суетная работа одноруких завалочных машин, сующих в огненную пасть мартенов мульду. Все такое привычное и такое новое!..

Киреев зашел в комнату цехового партбюро. Здесь он, кажется, не бывал больше года. И у него, кажется,

там не было никакого дела. И он даже не помнил, кто теперь в партбюро. Но его ноги будто сами остановились перед этой дверью, а руки открыли ее. И он прошел туда. Прошел и увидел Афанасия Юдина, сталевара с девятой печи.

— Здорово, Афоня!

— Привет, Вася! Ну как?

— Не знаю, что и сказать...

— Василий Петрович, я тебе советую кончать с отпуском. Тебе нельзя сейчас оставаться без работы. Тебе нужно в жар, в пекло, по самую маковку.

— Пожалуй, понимаешь, Афанасий, что так!

Василий направился к начальнику цеха, чтобы объявить ему о прекращении отпуска по его личному желанию и по совету секретаря партийного бюро, товарища Юдина.

XLIX

Через день Киреев появился в цехе во вторую смену. Эти два дня он провел с Лидой. Она ходила с ним по городу под руку. Они шли счастливые и нарядные, не замечая прохожих, витрин и, конечно, афиш. А на одну афишу им следовало бы обратить внимание. Это была цирковая афиша. На ней значилось:

«Под куполом цирка воздушные гимнасты Анна Гарина и Алексей Пожиткин...»

Эта строчка заставила бы их задуматься о дальнейшей судьбе Алины. Она вернулась в цирк и нашла себя в своем блистательном, но нелегком труде. Но нашла ли она своего Алешу не только лишь в воздухе, под куполом цирка, а на земле?— в афише не сообщалось.

Добрые люди умеют прощать. Умение прощать— великое богатство человеческих душ. Все же не все и не сразу может простить и самое доброе сердце.

Первая после отпуска плавка Василия была осторожной, но успешной. Когда началось раскисление стали и в плавке наступила некоторая передышка, Василий решил заглянуть в вечернюю газету. Там сообщалось о пленуме городского комитета партии и говорилось, что первым секретарем горкома избран т. Баранов А. М.

Киреев заметил подручному:

— Скажи, понимаешь, на милость, Андрей, сколько

Барановых на свете! У моего-то Баранова имя, отчество тоже А. М.

— Так, может быть, его и выбрали,— сказал первый подручный, заглянув в газету.

Василий громко расхохотался:

— Барановых и Киреевых на свете не меньше, чем Ивановых! Городской комитет такого города, как наш,— это, понимаешь, побольше другого обкома. Туда знаешь каких людей избирают... А мой Аркадий — почти что я. Только у него, конечно, на плечах голова раз в двести покрепче моей.

— Тем более, значит, могли выбрать...

— Тыфу тебе, понимаешь! — крикнул Василий. — Дай газету. Глянь в печь. Ты же первый. А я сталевар. Мое дело — читать, а тебе печься!

Не хотел Василий да и не мог поверить, что Аркадий, который тесал вместе с ним балки, помогал Копейкину чистить свинарник, занимался судьбой циркачки Алины, спал под сосной, жил в каморке верхнего этажа — и вдруг... первый секретарь! Не бывает такого. Это же номенклатура, город же у них союзного подчинения. Но...

Но, с другой стороны... Теперь такое время... И такой свежий ветер...

Нет, он больше не должен думать ни о чем. Нужно доводить плавку и готовиться к пробе, а потом к выпуску. Сталью больше шутить нельзя.

В эту ночь в мартеновском цехе появилась «молния». Поздравляли Василия Петровича с новым успехом. Киреев отлично понимал, что это «аванс». Успех был не велик. В минутах по времени, в полутора тоннах по весу. Но все же это был успех. И Василий Петрович сказал комсомольцу, работавшему в канаве и выводящему «молнию»:

— Спасибо, понимаешь... Оправдаю!

В это время в разливочном пролете Василий увидел сына. Он явно ждал отца. Уж не стряслось ли что? Да, кажется, нет — Иван весел.

Сдав смену, Василий Петрович спустился вниз.

— Ты что здесь, сын?

— Жду тебя.

— Зачем?

— Есть поручение.

— От кого?

— От ребят. От цехового бюро комсомола.

Они вышли из цеха. Ваня начал издали:

— Ты, конечно, знаешь, что новая печь стала на сушку. Это будет комсомольская печь. Полностью комсомольская. Все смены. И на завалке тоже наши ребята. И крановщики... Словом, сквозная, спаренная, комплексная и тому подобное...

— Ну так что?

— Ничего. Сообщаю.

— А сообщаем зачем?

— Я думал, ты уже догадался...

— Может, и догадался, да не вполне. Не темни уж, понимаешь... Чего вы хотите?

— Бюро выдвигает твою кандидатуру возглавить наш комсомольский коллектив, который будет бороться за звание коммунистического.

Василий Петрович остановился, заглянул сыну в глаза.

— Ванька! Да ведь мне сорок третий. Опоздал я в комсомольских-то кандидатурах ходить. Андрюшку Лас-точкина выдвиньте, он давно уже готовый сталевар...

— Нет, папа. Нам нужен ты. Я ведь не как сын, а как член бюро. И в дирекции тебя рекомендуют...

— В дирекции? Вот либералы, понимаешь, проклятые... меня же судить нужно, а не выдвигать...

Ваня сказал на это:

— Суд, папа, судом, а доверие доверием.

В первый раз почувствовал Василий Петрович, что его сын взрослый, самостоятельный человек, член бюро цеховой комсомольской организации, фигура, с которой нельзя не считаться...

— Я подумаю, товарищ Иван Киреев,— сказал Василий Петрович.— Утро вечера мудренее.

Утро и в самом деле оказалось мудренее. Явился второй агитатор — сам секретарь комсомольского бюро цеха Миша Копейкин. Форменный Аркадий Баранов в молодости. Даже глаза карие. Он старше Ивана двумя годами... Мы должны бы сказать о младшем внуке Прохора Кузьмича несколько подробнее. Это эпизодическое действующее лицо могло бы начать ответвление романа, если бы он не был на исходе. Все же кое-что скажем о Мише, чтобы порадоваться за счастливый день Лидочки Киреевой, который может наступить через два или три года.

Миша Копейкин, младший внук Прохора Кузьмича, всего лишь мельком назывался на страницах, хотя он имел полное право быть показанным на них в березовом перелеске, где Лидочка пасла коз. Он появился там затем, чтобы сказать, как идет строительство новой, большой мартеновской комсомольской печи. И что он и Ваня придут на нее третьими подручными сталевара.

Он рассказывал ей, что, наверно, его вскоре назначат вторым, а потом и первым подручным и когда-нибудь он будет, как и ее отец, сталеваром вместе с ее братом Ваней. И это очень хорошо.

Миша Копейкин ничего не говорил Лидочке о своей любви. Потому что он еще пока всего лишь третий подручный, а она школьница. И Лида по этой же причине не сообщала ему о своих чувствах, хотя она как-то между прочим заметила:

— У меня никогда не будет никаких коз, никаких поросят и садовых домиков.

И Миша солидно-пресолидно сказал ей:

— Лидия, зачем ты предупреждаешь меня? Неужели ты думаешь, что мы с Иваном способны торговать смородиновыми черенками или поросятами? Нам с Ваней дадут общую квартиру, и мы будем... А как ты относишься к Соне Ладышкиной?

— Я думаю,—ответила Лида,—что у Вани очень хороший вкус, а у Сони Ладышкиной доброе сердце. Я сужу по глазам.

— Это верно,—подтвердил тогда Миша.—Соню очень любят ее пионеры. А это лучшая рекомендация.

Лида считала Мишу самым серьезным молодым человеком. Ему можно было доверять любые тайны. И она почти ничего не скрывала от него, кроме желания хотя бы один раз быть поцелованной им. Но за это желание Лида не уважала себя. Оно было неразумным. Если он поцелует однажды, то поцелует и дважды и трижды... А ей нужно кончать школу и не думать ни о чем таком... преждевременном. Поцелуй—очень серьезный шаг. Это почти обручение. Пусть она живет не в тургеневское время, но ведь лучшее-то из этого времени не умерло и не может умереть... Да и нужно сто раз проверить. Это же на всю жизнь. И нужно поговорить с бабушкой. Она же совершенно ничего не знает. Хотя

ей и не о чем пока знать. И если Миша однажды, прощаясь, поцеловал Лиду руку, так это же всего лишь этикет. Аркадий Михайлович бабушке тоже поцеловал руку, когда прощался. И смешно было бы, если Миша, такой необыкновенный, и вдруг вел бы себя обыкновенно, как все... Это было бы невыносимо. Это было так же странно, как если бы она не встречала Мишу улыбкой или бы запрещала ему брать себя под руку, танцевать с ней и покупать для нее билеты в оперу. Из прошлого нужно брать самое лучшее и самое красивое.

Вот и сегодня Лида, узнав, что придет Миша Копейкин, с утра надела плиссированное платье и тщательно заплела косы. Она будет угощать его чаем, не бабушка же. Ведь он ее гость, хотя и приходит к папе. Она приготовит легкий завтрак. Омлет с мелко нарезанной ветчиной. Наденет бабушкин фартук. Может быть, даже предложит по рюмке оставшегося коньяку. А что такого? Ведь он же почти второй подручный и официальный представитель общественности цеха.

Миша Копейкин появился в светлом, чрезмерно выглаженном костюме. Поздоровавшись прежде с бабушкой, потом с Лидой (и правильно — она же тоже почти женщина) и только потом с папой, потом и с Ваней, он сказал:

— Василий Петрович, Ваня уже, наверно, говорил вам...

Миша Копейкин повторил предложение и неторопливо рассказал о замыслах комсомольцев, о мечте работать по-новому.

Миша давно нравился Василию Петровичу, он всегда любовался им, а теперь вдвое. Не зная, как ответить, внутренне польщенный, он сказал:

— Посоветоваться мне кое с кем надо, ребята...

— Пожалуйста, Василий Петрович, посоветуйтесь, — сказал Миша и, увидев кого-то через открытое окно, заметил: — Как это кстати!

«Как это кстати» относилось к Юдину. Он должен был зайти «кстати» минут через двадцать-тридцать после прихода Миши Копейкина. Как «тяжелая артиллерия». И он зашел.

— Собрался навестить Кузьму Кононова да решил завернуть к тебе... Не помешал?

— Афанасий, — обратился Василий Петрович к Юдину, — так партийную работу не проводят. Врать,

понимаешь, не нужно даже по безобидным пустякам. Кузьма Кононов уже две недели как в отпуске, на Кавказе. И ты знаешь это. Ты шел ко мне. И у вас сговор...

— Сговор? С кем?

— Афоня... Хватит... Я согласен...

— Тогда и говорить не о чем. Руку!

— Изволь.

Появилась Лидочка в белом фартучке, с омлетом на большой сковороде.

— Ваня, приглашай гостей к столу...

— И эта в сговоре?

— Ну так ведь комсомолка же, — ответил за Лиду Юдин. — Комсомолка.

— Ну да, конечно... Вы все здесь комсомольцы, коммунисты, только я... так сказать... Недозрелый, недовоспитанный... Сырой материал.

Юдин на это с улыбкой, но всерьез сказал:

— А ты их не сторонись, Василий Петрович. Довоспитают. До дела доведут да еще в партию передадут. Это ведь сила... Да еще какая... Попробуй им отказать...

Василий Петрович заметно расчувствовался после этих слов. Расшатанные нервы все еще давали себя знать.

— Ну что же, начнем новую биографию с комсомольской работы... Ах! — стукнул он кулаком по столу. — Как жалко, что не видит всего этого мой друг Аркадий Баранов!

LI

Рано утром в приемной секретаря городского комитета партии появился человек в холщовом пыльнике, с кнутом за голенищем правого сапога. Он сказал молодому помощнику секретаря:

— Доброго здоровьица. Я Иван Сметанин из «Красных зорь», председатель. Мне бы к новому секретарю, к товарищу Баранову.

— Еще без пяти, — ответил помощник. — Он приходит ровно в девять.

В это время в приемной появился Аркадий Михайлович Баранов.

— Хо! Здорово, знакомец! — окликнул его Смета-

нин. — Никак тоже к секретарю? Ваша очередь, прошу покорно, вторая.

Молодой помощник, слыша это, был страшно шокирован таким обращением с первым секретарем. Он хотел было «тактичненько» вмешаться и разъяснить. Но Баранов опередил его:

— Здорово, товарищ Сметанин! Как поживает белая свинья?

— Полный порядок. Теперь ей дана, можно сказать, настоящая зоотехника и полная проверка на заболевания... Спасибо вам за умный ход... Тогда вы очень хорошо подмогли. А где вы работаете?..

— Да еще начинаю только, — ответил Баранов. — Проходите, — указал он на дверь кабинета.

— Неудобно как-то без самого-то, — отказался войти Сметанин.

Баранов открыл дверь.

— Ничего, ничего... Я его знаю.

— Тогда лады.

Они прошли в кабинет.

На стенах портрет Ленина в рост, огромный план города, раскрашенный в несколько цветов.

Сметанин сразу понял, что к чему. У него такой же генеральный план своего колхоза. И тоже раскрашен разными красками, и каждая краска означала год семилетнего плана, год прироста намеченного и запланированного.

— Дельно, — одобрил Сметанин план, — наглядно, можно сказать, и перспективно для каждого. Не худо бы на главной площади такой вывесить. Только перечертить надо пошире разов в десять и соответственно подлиннее.

— А зачем? — пытливо спросил Баранов.

— Каждый увидит, что и когда, какая краска какому году соответствует. Массово нужно это все.

— Вы правы. Так и будет сделано, Иван Сергеевич, — совершенно серьезно ответил Баранов.

— Смотри ты, какая память! И отчество мое запомнил...

— Привычка запоминать людей.

— Это, конечно, но все ж таки... А я вот и фамилии вашей не запомнил... Да разве упомнишь всех? Я теперь даже книжку в помощь голове завел. Вот видите. — Сметанин показал объемистую книгу-календарь. —

Тут на каждый день. А вы, случаем, не в горькое работаете?..

— Да, здесь. Садитесь, — пригласил Баранов, и они уселись на диван.

— Тогда, может быть, пока да что перекинемся. У меня три вопроса. Не знаю, все ли они правильные. А если что не так, то вы мне, прошу покорно, по знакомству подскажите... Можно закурить?

Сметанин вынул знакомый Баранову кисет.

— Конечно. Окна открыты.

— Не буду, пожалуй, — раздумал Сметанин и сунул кисет в карман. — Так, пожалуй, начнем с кадров. Семен Явлев подразогнал из колхоза людей порядочно, а моя задача вернуть их на свои места. Особенно дельных. Агафью, например, Волову. Доярка первой руки. На Стародоменном в сторожихах работает. А зачем? Ради каких таких высоких материй? То же самое первый свинарь Акульшин Николай Степанович. Там же в подсобных при доме околачивается...

Увидев, что Баранов записывает фамилии, Сметанин сказал:

— Не утруждайтесь. Вот список потерянных колхозных кадров. — Он подал список, перепечатанный на машинке. — А это вот особая бумага. Не то что секретная, а в партийном порядке и не для всякого глаза. Наш бывший председатель Семен Явлев в кладовщики через Кузьму Ключникова метит. На городскую базу. Этого допускать нельзя. Там он при продуктах не исправится, а кончит тюрьмой. А на конном дворе он, может быть, через два-три года человеком станет. У меня на него зуб горит, а мести к нему нет. Если можете, посодействуйте.

— Посодействую, — сказал Баранов, — обязательно посодействую. Список будет рассмотрен самым добродетельным образом.

— Вы к кадрам имеете отношение?

— Да.

— Тогда лады полные! Теперь о земле. После недавнего укрупнения Нижняя Березовка со всеми землями, а равно и со всеми убытками, приплюсована к «Красным зорям». В смысле укрупнения. А семнадцать га с гаком, где незаконно расположился Садовый городок, являются законными нижеберезовскими, а теперь краснозорьскими гектарами. И у нас, скажу я вам,

назревает своего рода рабоче-крестьянский конфликт с затяжной тяжбой.

Баранов, любуясь Сметаниным, расхохотался:

— Рабоче-крестьянский конфликт?

— Именно. Когда-то, давным-давно, эти земли ходили в заводских покосах. Но в тридцатых годах по земельному переустройству эти земли были прирезаны к Нижней Березовке, а потом оформлены по акту на вечное землепользование нижеберезовскому колхозу. Оформить-то оформили, а взять не взяли. Они тогда даже со своими коренными землями не справлялись. Соображаете, что и как?

— Соображаю, Иван Сергеевич, соображаю... Получается, что земля Садового городка принадлежит вам.

— Именно. Вместе с Ветошкиным и с Василием Петровичем, хотя, сказывают, он там теперь не живет.

Сметанин заметно волновался. Он поминутно то разглаживал усы, то хватался за кисет.

— Да курите вы, дорогой Иван Сергеевич, курите. И рассказывайте, что вы собираетесь делать с Садовым городком.

Сметанин, торопливо свертывая сигарку, сказал:

— Во-первых, пока мы решаем да соображаем, арендная плата за городок должна идти на текущий счет «Красных зорь». Это уж как пить дать.

— Если это ваша земля, она должна у вас и арендоваться, а Большой металлургический завод тут ни при чем.

Это очень обрадовало Сметанина.

— Вот если бы вашему первому могли это внушить!

— Внушу, Иван Сергеевич... Значит, вам эта земля необходима, чтобы получать арендную плату? Да?

— Не только. Это, прошу покорно, только пока, — ответил Сметанин. — Пока... Не хотелось бы мне говорить, что будет впоследствии, но я вижу, что вы человек тоже с приглядом, скажу. Два у меня плана. Либо сад разбить впоследствии на месте городка, либо затопить. Поскольку тут низина, а талой воды на семь прудов хватит.

В это время вошел помощник и тихо сказал:

— Аркадий Михайлович, вас к прямому.

— Прошу извинить, Иван Сергеевич! — Баранов поднялся и подошел к телефону. — Баранов слушает... Здравствуйте.

Сметанин понял, что разговор ведется с Москвой. Он также понял и еще кое-что...

Когда Баранов положил трубку, Сметанин, прохаживаясь по кабинету и машинально ударяя кнутом по голенищу, сказал:

— Ну вот и полный порядок, товарищ Баранов Аркадий Михайлович. «В горькомое свои, в обьоме наши...» После Пленума, бог даст, и райком переизберем... Оно и пойдет. Благодарствую вам на беседе. У меня все. Когда зайти насчет списка?

— В самые ближайшие дни, — сказал, прощаясь, Баранов. — Только, если можно, без кнута.

— Кнут не вопрос. Его можно и на вешалке оставлять... Желаю вам! А если вздумается, у нас Дом рыбака оборудуется. Пятнадцать рублей комната. За право ловли четыре рубля с носа... Везде приходится деньги выискивать. Даже с внеплановых белых крыс сто тысяч годового дохода планируем. Пока!

Когда Сметанин ушел, Аркадий Михайлович обратил внимание на газету, лежащую на столе. Красным карандашом была отчеркнута заметка, озаглавленная «Комсомольская печь задута». В заметке сообщалось о том, что на Большом металлургическом вступила в строй новая печь. Киреев В. П. назывался в заметке сталеваром-наставником. Корреспондент, подписавший заметку буквами М. К., надеялся, что при таком руководителе, как опытный сталевар Василий Петрович Киреев, молодые сталевары дадут стране тысячи тонн сверхплановой стали.

Баранов тут же позвонил директору Большого металлургического завода. Поздравляя его с задувкой печи, спросил:

— А как относительно выговора в приказе сталевару Кирееву?

В трубке послышалось:

— Аркадий Михайлович, если бы вы знали этого человека, если вам рассказать все, с какой честью он вышел из...

— Я об этом знаю со всеми подробностями... — перебил Баранов.

— Конечно, — снова послышалось в трубке, — горькому виднее.

— Киреев — мой фронтовой товарищ... — сказал Баранов. — Выговор в приказе будет правильно понят им.

К тому же вы снимете с его души камень, успокоите угрызения совести. Ведь он же мучается, переживает свой проступок. Висит он на нем. А ему теперь нужно не переживать, а отрубить все и работать. Копию приказа прошу прислать мне.

III

А вокруг дома Василия Петровича ходил Смальков, ласковый, опытный, с голосом агнца и хваткой бульдога.

Где пахнет поживой — продающимся домом, осиротевшим автомобилем или даже просто усиленно спрашиваемым товаром, всегда появляются хищные ловцы с елейной улыбкой простачков. Будь это редкая библиотека, составленная за долгие годы ученым, или стоящее собрание картин, или даже коллекция почтовых марок — всегда находится покупатель, «идуший навстречу» и умеющий доказать выгодность сделки.

Олимпий Макарович Смальков действовал через Ключа. Смальков работал где-то по заготовке кож, числясь там для видимости в малых чинах. Он посредничал по сбыту даров щедрых земель Кавказа, знал толк в мехах, не брезговал черной браконьерской икрой, покупаемой в Астрахани. Он скупал с надбавкой выигравшие облигации золотого займа, нужные ему как оправдательные документы наличия у него сумм, во много раз превышающих его заработную плату.

Он предлагал Серафиме Григорьевне ни много ни мало как шесть оценочных стоимостей дома, из которых пять вручал без расписки до нотариального оформления, а одну оценочную стоимость в нотариальной конторе.

— И вам хорошо, и для меня не боязно. Отдадите половину официальной суммы для очищения совести строителю дома сего, а остальное себе на черный денек.

Кузьма Ключ ручался за сделку головой. И Серафима не могла не верить этому ручательству. Ключ был у нее в руках. Он не посмел бы обмануть ее даже на рубль. И у жулья есть своя грабительская этика.

Такая сделка во всех отношениях устраивала Серафиму Григорьевну, косившую теперь на оба глаза. Устраивала тем более, что после ухода Фени она достигла соглашения с Ветошкиным исполу кормить крыс. То есть получать половину доходов, взяв на себя

уход и корм. Она надеялась совсем переселиться на дачу Павла Павловича, затем стать ее полновластной хозяйкой, а впоследствии наследницей. Киреевский дом оказывался для нее лишним. Его нужно было сбыть Смалькову, предлагающему без расписки неслыханную цену. Лучшего нельзя было и ожидать, но для этого необходимо согласие, а затем и подпись Ангелины. Покорная дочь на этот раз не оказалась покладистой. Она повторила сказанное Василию:

— Дом — это радость моей жизни.

И все. А без Ангелины нельзя было ступить и шагу. Дом переписан теперь на нее.

К этому надо прибавить и размолвку Ангелины с матерью. Даже две размолвки.

Первая возникла после оскорбительного зазыва в ее дом Якова Радостина. Она точно знает, что ее мать через того же Ключа нашла Радостина и сказала:

— Зашел бы ты, Яшенька, вечером навестить соломennую вдову.

А он ей:

— Зашел бы, да боюсь, что мне дорого может обойтись это посещение.

Дальше — больше. Та ему:

— В каком смысле дорого? Как это понимать? Мы за встречи денег не берем, а сами можем приплатить, если будет стоить того...

А он ей:

— Я знаю. Помню ваши бесстыдные три тысячи, переведенные за мой позор.

А потом Радостин прислал письмо:

«Глубокоуважаемая Ангелина Николаевна! На вас у меня нет обиды. Вы — привада в руках у Серафимы Григорьевны. Будьте счастливы, а я счастлив. У меня сын и дочь — Миша и Линочка. Всегда уважающий вас Яков Радостин».

Ангелина ответила:

«Хороший человек вы, Яша. Я счастлива вашим счастьем и благодарю вас за добрую память. Мне стыдно за мать. Уважающая вас Ангелина Киреева».

Вторая размолвка возникла из-за Ветошкина. Ангелину унижало и оскорбляло поведение матери. Это корыстное, низменное заигрывание немолодой женщины со стариком, эта пудра, эти подчеркнутые ресницы, эти подложки-толщинки, моложение голоса были про-

тивны здоровому естеству Ангелины. Она все еще не могла сказать, что ей хотелось, что нужно было сказать матери. И лишь однажды не со зла, без тайного умысла, со всей непосредственностью она заявила Се-рафиме Григорьевне:

— От тебя нестерпимо пахнет крысами... Переодевайся, что ли, там у него. Или как-то еще... Я не могу есть с тобой за одним столом.

Мать попыталась было объяснить, что никакого запаха нет, что это все выдумка, но дочь сказала:

— Хватит. Будем есть порознь.

С этого дня они размежевались, живя в одном доме. Ангелина часто бывала у Агафьи, нянчилась с ее маленьким Гришенькой. Ангелина не знала, чем объяснить эту неожиданную любовь к детям. Ей и в голову не приходило, что просыпающееся чувство материнства заполняло всю ее душу, будило в ней нежность, и, кажется, впервые за эти четыре года просыпалась в ее сердце первая любовь...

— Случается и такое,— говорила ей Агафья,— случается, что и десять лет муж с женой проживут вместе, а на одиннадцатый год прорвется что-то такое внутри — и приходит счастье!

Редкий день не ждала Лина знакомого тарактения «Москвича» за воротами... Он не мог не приехать. Не могло оборваться все это навсегда.

Но Василий не приезжал.

Ангелина знала, проверяя себя в долгие бессонные ночи, что в борьбе за сохранение дома в ней не говорит собственническая наследственность. Нет у нее этой наследственности, а если и была, то ее съели ветошкинские крысы. В ней говорила целесообразность.

Если уж дом построен, то в нем нужно жить. Дом дорог ей как разумное сооружение, в которое вложен труд Василия и ее труд. Во всех случаях дом будет заселен, кому бы он ни принадлежал. Зачем же кто-то, а не они должны стать его жильцами?

Василий теперь боится стен дома, крыши, растений. Она понимает это. Ожегшись на молоке, он дует на воду. Но пройдут месяцы, и дом станет для него только домом, жильем и ничто не напомнит ему о проклятой ведьме. Поэтому Ангелина на правах хозяйки действовала самостоятельно и решительно. Явившись к Сметанину в «Красные зори», она сказала:

— Иван Сергеевич, заберите оставшихся свиней. Если они что-то стоят, заплатите. А если не захотите, то возьмите так. За художества матери.

Серафима Григорьевна пробовала подняться на дыбы. Но свиней увезли.

Сметанин, сочувствуя Ангелине, понимая ее, помог ей в сносе чужеродных построек и, самолично перекопав освобожденную землю, пообещал также самолично засадить ее веселой черемухой и духовитой калиной. Он же послал своего садовода, и тот перепланировал цветочные гряды, разрешил ягодники, перевез в «Красные зори» все лишнее и ценное. Участок обрел простор сада и потерял свой выжигательский облик.

Серафима побаивалась теперь дочери. В Ангелину вселился протестующий дух Василия. И от нее тоже можно было ожидать всего. Сметанин, мужик прижимистый, но справедливый, учел каждый куст, каждый корень и уплатил правильную цену.

У Ангелины впервые оказались свои деньги. Она решила изменить облик и самого дома — покрасить его в приветливые цвета. И вскоре нежно-кремовые стены, белые наличники и крылечко придали дому женский облик. Тот же, да не тот дом. В новом платье он как бы повторил собой Ангелину. Преображенную. Очищенную. Ждущую.

Он придет в новый дом. Он придет. И в этом доме для всех найдется приют и место. Дом будет служить людям — Васе, Ване, Лиде, Марии Сергеевне... А не люди ему.

И если борьба за счастье семьи Киреевых — ее семьи — будет стоять года или двух лет испытаний, она выдержит их. Василий рано или поздно поймет, что их милый, душистый, потом политый, трудом поднятый дом не может, не должен принадлежать прыгуну с тараканьими усами Смалькову.

Прохор Кузьмич предложил глухой забор, сколоченный из горбыля внахлестку, заменить изгородью из балясника.

— На виду надо жить, — сказал он. — Зачем от свежего ветра отгораживаться? Пусть он гуляет-прохаживается, добрую молву о твоём житье-бытье разносит.

И появилась новая изгородь. Пустячное дело, а люди заметили. Хорошие слова сказали. Да и сама Ангелина при новой балясниковой изгороди, возведенной

как бы для проформы, почувствовала себя не такой одинокой, как за глухим забором. Знакомый ли, чужой ли пройдет — всех видно. Через такую изгородь перемолвиться можно или просто махнуть рукой мимо идущей почтальонше Кате. И то хорошо. Изгородь тоже, оказывается, не без смысла на свете живет.

Все теперь, как открытое письмо Василию, говорило об изменениях, которые произошли в ее душе, пламенеющей любовью.

А стенной календарь тем временем терял листок за листком, становился все тоньше и тоньше. Не так далека и осень. Серая. Одинокая. Глухая.

Нужно завести собачонку. Будет лаять — все-таки как-то веселее и спокойнее. Скоро она пойдет работать в железнодорожный детский сад воспитательницей. Пойдет туда и будет коротать время с детьми, но никому не отдаст дом, построенный ею и ее мужем Василием.

III

Василий Петрович узнал, где и кем работает его друг Баранов. Узнал он об этом от Афанасия Юдина. Юдин ждал, что скажет на это Василий. А он, скрыв свое удивление, но не пряча радости, сказал:

— Я рад и за город, и за Аркадия Михайловича Баранова.

Василий впервые назвал его по имени-отчеству, подчеркивая этим, с одной стороны, уважение к нему, а с другой — некоторую отчужденность. Охарактеризовав Баранова как человека большого и простого, Василий как бы предупреждал Юдина, что в барановской простоте многовато прямоты, которая не всем придется по вкусу.

— Меня, между прочим, — неожиданно сообщил Василий, — он хотел рекомендовать в партию. Только теперь это не нужно.

— Почему же не нужно? — мягко спросил Юдин. — Он же твой фронтовой друг. А фронтовая дружба никогда не обрывается.

— Это верно, — согласился Василий, — не обрывается, а отношения, случается, приостанавливаются. Он рвал их первый, ему и восстанавливать их.

Сказал он так и задумался, а потом перевел разговор на другое:

— Прохор Кузьмич, того гляди, во внештатные советчики к Баранову перейдет... Ох и любит же он старика Копейкина! И правильно любит... Ну, я пойду на печь, — закруглил Василий разговор, происходивший в комнате цехового партбюро.

— Не перегружай себя, Вася, — предупредил Юдин, — а то из огня да в полымя... И надорваться можно. Кого мы тогда в заводской комитет выдвигать будем?

Василий задержался, ухмыльнулся и сказал:

— Комплексно, значит, лечите? С одной стороны, похвала в газете, с другой — выговор в приказе, с третьей — выдвижение в завком... Правильную, Афанаший, работу ведешь. Ладно, ладно, воспитывай! Только если тебе тоже воспитатель понадобится, в смысле, чтобы научиться тоньше шить белыми нитками, так, пожалуйста, прошу к нам на комсомольскую печь. Там у нас это все малость попроще и попрямее. Мы ведь боремся не только за коммунистический труд, но и, как говорит мой комиссар Михаил Копейкин и за ним мой сын Иван, мы боремся и за новые, коммунистические отношения друг к другу и ко всем людям. Даже к поскользнувшимся или смалодушничавшим, ошибавшимся... И мне смешно, когда ты начинаешь меня стимулировать славой, почетом, газетами, «молниями», выборами в завком. Вырубил я эту мелкосортную смородину из своей души. Слава-то ведь тоже иногда бывает отрыжкой старой ведьмы... Приходи ко мне вечером — поговорим на эту тему. Мне ведь в одной партии с тобой состоять. А партия нашего брата спрашивает не об одной лишь стали, но и о том, как здесь варит, — он указал на свою голову, а потом на сердце, — и что тут кипит. Вот они, какие дела, товарищ секретарь партийного бюро мартеновского цеха... Жду вечером.

Василий Петрович неторопливо, вразвалочку, пошел мимо гудевших мартеновских печей к своей крайней печи, которая все громче и громче опять заявляет о своих успехах.

Он знает теперь, что Баранов следит за его успехами. Он знает, что Аркадий в своем трудном и загруженном дне находит минуту, чтобы позвонить на завод и как бы мимоходом справиться о делах на комсомольской печи. Уж кто-кто, а он-то понимает Баранова. Навер-

няка он мучается, переживает, что тогда там, в березняке, перегнул палку... Мучайся, мучайся, первый секретарь! Это тебе на пользу, сапер. Ты еще увидишь, узнаешь, каков твой друг Василий. Не расскаешься, что ты, рискуя жизнью, вынес его с минного поля.

День придет, и ты появишься в цехе у комсомольской печи и крикнешь: «Василий!» А он тебе: «Аркадий!..»

И — как будто ничего не было. Никаких карпов, никаких мальчиков на заборе, никаких хорей и прочей домово́й губки...

Хорошо мечтается, весело думается Василию Петровичу Кирееву.

«Славно бы, черт побери, было, если бы Мишку Копейкина на первого подручного натаскать! Не потому, конечно, что Лидия ему оказывает внимание. Это дело десятое и далекое. А потому, что этот Мишка догонит и перегонит со временем и самого Аркадия. И по принципам, и по существу...»

Хорошо мечтается, весело думается Кирееву.

«...Вот ты, Васька, и на пороге вступления в партию...»

...А Сметанин из «Красных зорь» — сила... Не мотнуть ли к нему, если случится выходной? А то ведь и аккумулятор у «москвичонка» может сесть... Аккумулятор нужно подзаряжать, как и себя. Выходные могут случаться, если Андрюшку Ласточкина перевести сменным наставником на комсомольскую печь. Тоже ведь сила, которую не разглядел ты, Василий Петрович, а следовало бы разглядеть.

Хорошо на душе у Василия Петровича. Только временами, особенно по утрам, когда он просыпается, слышится ему иногда ровное дыхание спящей Лины, тонко пахнет ее свежестью... А откроет глаза — одно воображение.

А к Сметанину нужно съездить. Все-таки мимо Садового городка.

Василий ушел из дома, а дом не уходил из него. Добаливал в его сердце. Это же не просто дерево да камень, это и Лина...

Где-то здесь можно закончить наше повествование и, не обрывая нити судеб живущих в романе людей, передать воображению и домыслам дальнейшее течение событий. Пусть не все можно предугадать, но если

судить по жизни, то мы, наверно, не ошибемся, сказав, что люди, подобные Ветошкину, Серафиме Григорьевне, Кузьме Ключникову, ни при каких обстоятельствах не могут украсить наши финальные страницы искренним раскаянием.

Нелепо же, в самом деле, надеяться, что прожженный стяжатель Ветошкин раздаст нахапанное детским садам или клубам, а сам, скажем, пойдет бригадиром в колхоз «Красные зори» и прославит себя в сельском хозяйстве!

С Ветошкиным этого не случится. Он еще будет какое-то время сосуществовать с нами и пользоваться прорехами нашей жизни, а потом, наверное, им заинтересуется какая-нибудь газета, и он, подобно Кузьме Ключу, святоше Панфиловне, тоже станет печальным героем фельетона или всего лишь хроникальной заметки «Из зала суда». Это неизбежно.

Другое дело — Серафима Григорьевна. Эта прежде, чем сделать какую-либо пакость, семь раз примерит, сто раз взвесит, обезопасит себя тысячами неуязвимостей и выйдет сухой из воды.

Было бы очень приятно решить дальнейшую судьбу Ангелины Николаевны Киреевой до того, как будет поставлена последняя точка. Но жизнь, как и произведение о ней, не позволяет по мановению волшебной палочки или по прихоти нетерпеливого пера взять и свести два любящих сердца. И Василию и Ангелине нужно еще очень много пережить, понять, перечувствовать. Это же люди с характерами, самолюбиями. Обиды еще живы, раны свежи. Нужно дать времени свой срок. Этот старый мудрец, наверно, найдет для них счастливое примирение. А про любовь нечего и говорить. Если уж Алексей Пожиткин решил про себя простить Алину, то что же помешает Василию и Ангелине обнять друг друга? Ведь между ними никогда не стоял третий человек.

Очень жаль, что Прохор Кузьмич Копейкин тоже как-то молча ушел с наших страниц, а у него между тем продолжается своя стариковская и очень интересная жизнь. Гуляевскую улицу, где в его доме живет старший внук, оказывается, будут застраивать большими домами. И, оказывается, Копейкин будет жить в новой квартире со старшим внуком и нянчить вместе с Марфой Егоровной правнуков.

Тоже ведь не очень второстепенная возможность представить себе и порадоваться тому, как счастлив будет этот старик...

Уж кто-кто, а Афанасий Юдин не оставит Василия своим «комплексным и массивованным» вниманием. И комсомольская мартеновская печь прогремит не только на Урале. В этом можно не сомневаться. Ничто не повернет вспять ее нарастающий трудовой жар.

Теперь о Лиде.

Лидочка и Миша Копейкин как будто выглядели той парой, у которой все ясно и predetermined. Однако это не совсем так. Дело в том, что приехали дети Аркадия Михайловича Баранова — молодой инженер-строитель Володя и семнадцатилетняя Надя.

Володя еще до приезда жаждал познакомиться с Лидочкой Киреевой. О ней так много писал ему отец. А Надя, дочь Баранова, встретившись с Мишей Копейкиным, восторженно рассказывала матери, как удивил ее Миша своим умом и своей душевной чистотой.

И как знать, куда это все поведет... Юношеская любовь, конечно, всегда остается памятной, но она далеко не всегда переходит в ту большую любовь, которая скрепляет на всю жизнь любящую пару. А Миша и Лида еще очень юны, и в их отношениях больше воображаемого, нежели действительного. Кто знает, может быть, дружба Василия и Баранова, начавшаяся на фронте, продолжится родством в их детях и внуках. И можно заранее сказать, что Киреев и Баранов будут способствовать этому родству. Но это уже завязка из другой книги. А этот роман кончился.

Расстанемся с лучшими надеждами на лучшее и с твердой уверенностью, что победу за победой одерживало и будет одерживать хорошее, чистое, светлое. И терпит и будет терпеть поражение за поражением все гнилое, гадкое, лживое...

На том стоит и будет стоять наша советская земля и ее великий народ-труженик.

ПОСЛЕДНИЕ
ЗАМОРОЗКИ

РОМАН

I

Этот маленький роман о радостях и злоключениях молодых людей следует начать со школьной скамьи, на которой сидит Руфина Дулесова. Ей, как и всякой десятикласснице, пока еще мало лет, а она уже чувствует себя вполне взрослой и думает о той счастливой весне, которая улыбается каждому на пороге зрелости.

За школьным окном хохочет ручьями веселый обманщик апрель. Этот озорной месяц на Урале особенно шаловлив. Сегодня — солнце, а завтра — серое небо и белый снег.

Но стоит ли обращать на это внимание? Все равно апрель сменится маем. За маем придут выпускные экзамены, а там... бал!

Школьный бал! Она — в белом-белом платье. Он — чуточку неуклюжий и робкий. Совсем уже взрослый, но стеснительный-стеснительный... Даже не верится, что ему двадцать три года. Но ему ровно двадцать три. Когда Руфина переходила в третий класс, Алеша Векшегонов заканчивал седьмой.

Как удивленно раскроет он свои синие глаза, когда увидит ее на выпускном вечере в бальном платье! Как смущенно подойдет он к ней и пригласит на вальс!

Это будет именно так и не может быть по-другому. И, наверно, там, на балу, он скажет то главное слово, после которого приходят все лучшие слова, какие только есть на белом свете.

При одной этой мысли у нее и теперь слегка кружится голова. Но в классе слышится:

— Дулесова, пожалуйста, к доске.

Руфина, возвратившись из ожидаемого июня в текущий апрель, с уверенностью хорошей ученицы направляется к доске и берет мел...

Ей нужно сосредоточиться, заняться решением задачи по тригонометрии, не думать ни о чем «постороннем»... Но она уже дважды стирала написанное. На-

конец задача решена. Она возвращается на свое место и снова уходит в мечты.

Ей вспоминается все сначала.

А началось все с производственных мастерских. Тогда завод-шеф помогал оборудовать школьные мастерские не только станками и инструментами, не только снабжал материалами, но и посылал своих мастеров. Одним из них оказался Алеша, Алексей Векшегонов.

Руфина тогда еще не знала, кем она будет, какой трудовой путь изберет. Во всяком случае, работа на станкостроительном заводе не манила ее. Но младший брат Алексея Векшегонова, одноклассник Руфины, звал ее на встречу с мастером. И Руфина пришла.

С этого все и началось.

Сначала она не узнала Алешу Векшегонова, а ведь они жили на одной улице. Это был другой, неизвестный ей человек. Он светился. Глаза блестели. Голос звенел. И как-то необыкновенно красиво вились кудри...

Он говорил об очень знакомом станкостроительном заводе, но говорил так, что Руфина узнавала этот завод, как и Алешу, впервые.

Алеша рассказывал будто не о цехах, а о сказочных дворцах, где рождаются чудеса из чудес — станки и машины.

Он говорил:

— Любите машины! Никогда и никому не верьте, что машины бездушны, бескровны, мертвы. Так могут думать только те, для кого машина чужда, как солнечный свет темноте. Как грамота — пню. Как музыка — камню... Машина — это изумительное воплощение человеческого гения. Она согрета его теплом, рождена в болях и муках его поисков, рождена для счастья и жизни всех нас. Машина — это сам человек, продолживший себя в металле. В машину человек вдохнул свою душу...

Это была памятная встреча школьников с молодым, влюбленным в свой завод мастером-комсомольцем. Первые занятия в школьных мастерских начались с азав слесарного дела.

Алексей Векшегонов появлялся в школе всего лишь раз в неделю. В субботу. В другие дни с учащимися занимались его «ассистенты». Так шутя называл он молодых слесарей. Приход Алеши был праздником для

Руфины. И она, выполнив к субботе свое очередное задание, трепетно ждала оценки мастера, а затем — новой субботы. И так — неделя за неделей, месяц за месяцем.

Покончив с основами слесарного дела в девятом классе, Руфина потянулась к станкам. Она работала в мастерских больше других, оставалась там на час-два и заслужила высокую похвалу Алексея Векшегонова.

— Ты прирожденная станочница, — радовался он. — У тебя замечательная точность движений рук. Понимание операций.

Теперь девушкой руководило не одно лишь желание нравиться Алексею. Сама работа влекла ее. Первая слава, как горная тропинка, манила взбираться все выше и выше.

Не отставал от Руфины и ее одноклассник Сережа Векшегонов, брат Алексея. Ему-то уж положено успевать. Он, как и Алексей, с самого раннего детства играючи выковывывал наконечники для стрел, мастерил капканчики, ловушки, клетки из проволоки, самодельные ножи с закалкой до синевы... Мало ли есть поделок из металла и дерева, без которых нельзя представить детство уральских мальчишек, растущих рядом с заводами!

Сережа точно знает, что он, как и брат, будет работать на станкостроительном заводе. Руфина еще не знает этого. Но если Алеша скажет, Руфина пойдет на завод.

В восьмом и девятом классах она тайно вздыхала, любуясь своим кудрявым мастером. А теперь любовь заполнила ее всю. Любовь уже нельзя было скрыть от матери. Да и зачем? Во многих старых уральских рабочих семьях и теперь поощряются ранние браки. Руфинина мать, Анна Васильевна, вышла замуж семнадцати лет. У Дулесовых нет-нет да и поговаривали об Алексее Векшегонове. И особенно участились разговоры о нем, когда словоохотливая старуха бобылка Митроха Ведерникова принялась ворошить седую давнину о первонасельниках Старозаводской улицы — Векшегоновых и Дулесовых.

Все это хотя и ушло в забвенье, умерло в народной молве, а от прошлого никуда не денешься. Не просто же так, а для чего-то воскрешает былое старая Митроха.

Как гласит предание, — да и не только оно, но и городской архив, — Дулесовы и Векшегоновы появились на Урале во время царствования Екатерины Второй.

Молодой кузнец Афанасий Дулесов прибыл из Тулы. Его звали сюда земляки — туляки, привезенные перво заводчиком петровских времен Демидовым. Говорят даже, что будто бы с Афанасия Дулесова был писан знаменитый лесковский Левша. Эта сущая чепуха порождена желанием Дулесовых возвеличить свой род. Но о том, что предки Дулесовых были отличными мастерами, свидетельствуют и архив и музей. Архив также подтверждает, что глава рода уральских Дулесовых — Афанасий взял себе в жены пойманную им девку-вогулку неизвестной лесной красоты, идолопоклонницу, и оную продержал взаперти сорок дней, а потом самолично крестил в реке Кушве, научил ее русским словам и обычаям.

Молва гласит, что неизвестная лесная вогульская красота жены Афанасия сказывалась в дулесовском роду каждым седьмым ребенком. И что Руфина так хороша лицом и статностью потому, что она из «седьмых».

Кто не злоупотреблял цифрой семь? Все же, отмечая мистическое, мы не должны забывать, что воскрешенная Митрохой Ведерниковой легенда украшала Руфину, привлекая внимание к ней окружающих, в том числе и Векшегоновых.

Векшегоновы, по скудным сведениям архива и пространным пересказам той же молвы, ведут начало из соликамских строгановских мест древней земли Перми Великой.

Это неоспоримо. Документы архива заслуживают доверия. Можно спорить с молвой. А молва устами того же Ивана Ермолаевича Векшегонова, деда Алексея, твердит, что некий из братьев Строгановых, владевший землями по Каме, Вишере и притокам, был одержим охотой на зверя. У одержимого охотой Строганова был удачливый векшегон. Дословно — человек, гоняющий или загоняющий векш. Слово «векша» не исчезло на Урале и теперь. Это белка.

Векшегон, будучи красивым никак не менее тульского предка Дулесовых, кузнеца Афанасия, полюбил дочь Строганова. И когда та ответила ему на любовь

(а надежд на согласие быть выданной за смерда-векшегона у нее не было), она предложила побег. И они бежали за хребет Каменного Пояса. То есть по ту сторону Уральского хребта.

Побродяжничав весну, лето и осень, влюбленные покинули леса и ударили челом демидовским людям. Демидовы, нуждаясь в рабочих руках, не брезговали беглыми, опальными и даже цареотступниками. Векшегон Иов получил для поселения землю напротив туляка Дулесова, а вместе с землей и фамилию — Векшегонов.

Тем и было положено начало Старозаводской улице.

В разные времена эта улица называлась по фамилии ее основателей — то Векшегоновкой, то Дулесовкой. Те и другие до начала нашего столетия враждовали из-за названия улицы. Случались даже драки. Спорили они и в первые годы Советской власти. Дело дошло даже до разбора в городском Совете, который помирил жалобщиков решением: «...впредь предлагается именовать улицу Старозаводской».

У Дулесовых и Векшегоновых случались и светлые полосы длительных перемирий и большой дружбы. Тем и другим хотелось породниться, положив этим конец возможным раздорам и сварам. И такие попытки делались, но каждый раз случалось что-нибудь «роковое» и свадьба расстраивалась.

Последний раз такого рода «роковое» событие произошло с будущим отцом Алексея, с Романом Векшегоновым. Он полюбил сестру отца Руфины, Елизавету. Был помолвлен с нею. Векшегоновы и Дулесовы по этому поводу пировали три дня. Целовались. Клялись в вечной дружбе. Но накануне свадьбы чернобровая и кареглазая Елизавета исчезла. Она была украдена — и, как говорят, не без ее согласия — удачливым золотопромышленником.

Известно, что и дед Алеши, Иван Ермолаевич, заглядывался на покойную ныне двоюродную бабушку Руфины и та будто бы ему благоволила, но ей перебежала дорогу сухопаренькая, складненькая рудничная девчонка Стеша, ныне Степанида Лукинична, бабушка Алеши, не требовавшая от возлюбленного ни венчальных свечей, ни клятвенных речей, а только одной любви. И она ее нашла.

Так было и быльем поросло, а теперь пробудились

старые надежды. Весны, как говорится, еще не было, а с крыш капало. Чувствовалось потепление в отношениях Дулесовых и Векшегоновых.

То Руфинина мать, Анна Васильевна, прибежит посоветоваться насчет чешской мебели, которую завезли в большой универмаг, то Алешин отец, Роман Иванович, скажет отцу Руфины насчет весенней охоты, когда можно выпить-закусить на вольном воздухе.

Все это замечалось на Старозаводской улице, и молва, подогревая события, предрекала то, о чем пока молчали и Дулесовы и Векшегоновы. Между тем события развивались пусть медленно, но неуклонно, и неоткуда было ждать отклонения. И этому верили все, кроме младшего брата Алексея — Сережи.

О нем особый разговор.

III

Одногодок Руфины, Сережа Векшегонов до девятого класса сидел с ней на одной парте. В десятом классе, когда его тайные чувства к Руфине определились окончательно и он решил для себя, что рано или поздно Руфина будет носить его фамилию, Сережа пересел на другую парту.

Это влюбленному юноше казалось правильным во всех отношениях. Всему свой черед и свое место, а школа школой.

Руфина была очень внимательна к Сереже. Она делилась с ним завтраком. Возвращалась вместе с ним из школы. Танцевала на школьных праздниках. Ерошила его волнистые волосы и даже как-то раз поцеловала. Это было восьмого марта. Она сказала: «Спасибо за поздравление» — и чмокнула его в щеку.

Все это вселяло уверенность и надежды. Сережа не знал, что Руфина видит в нем будущую родню. К тому же он походил на Алексея, Руфине и в голову не приходило, что мальчишка, с которым она провела в классе столько лет, может вообразить невероятное. Наоборот, внимание к ней Сережи она объясняла тем, что он, зная сердечные тайны старшего брата, считает Руфину невестой Алексея.

Бедный Сережа! Ну как же ты, такой умный парень, не задумался над этим и посчитал за любовь ее отражение?

Милый, милый, наивный юноша, ты поверил в придуманное тобой и тоже ждешь школьного выпускного бала...

К этому дню Сереже был сшит настоящий костюм. Он сегодня впервые надел его. В нем он пойдет в школу. Там вручат ему и Руфине аттестаты зрелости. Сережа долго стоял перед зеркалом и удивлялся, что взрослый, совсем взрослый костюм не делает его старше. Усы и те пробивались каким-то цыплячьим пушком. Их нельзя было разглядеть, даже уткнувшись в зеркало.

Жаль, что ему сшили не тройку, а пару. Жилетка всегда делает человека солиднее. Может быть, ему начать курить?.. Но будет ли он от этого старше? Да и зачем ему, правдивому человеку, презирающему всякое вранье, обманывать других, а главное — себя?

Раздумывая так, Сережа решил примерить материно кольцо с изумрудом. Оно, пожалуй, могло придать солидность. Но кольцо совершенно неожиданно сделало его руку девичьей.

«Ничего я не буду делать, — сказал он себе. — Я поднесу ей букет цветов, а в цветы вложу письмо».

Сережа вырвал из тетради листок и задумался. И было над чем. Листок оказался разграфленным в клеточку. На таких листках можно решать задачи, но не такие, от которых зависит вся жизнь человека. И он принялся искать лист, достойный его признания в любви к Руфине.

После долгих поисков и размышлений он решил написать письмо на кальке, найденной у Алексея.

Это казалось красивым и необычным. Калька из чистого тонкого батиста. Она гладка, прозрачна и долговечна. В ее голубизне есть что-то выражающее нежность его чувств к Руфине.

С чего начать и чем кончить, он знал, а что написать в середине письма — как-то не приходило в голову. Но лиха беда начало. Он вставил чистое перо и принялся писать:

«Солнышко мое, Руфа! Я люблю тебя уже три года. Больше тысячи дней. Я не говорил тебе об этом раньше потому, что мы были школьниками. А теперь у нас аттестаты зрелости. Правда, нам еще мало лет, поэтому я прошу тебя сказать мне «да», и потом я буду ждать

столько, сколько ты захочешь. И знай, что я дождусь того счастливого дня, когда мы — Векшегоновы и вы — Дулесовы станем, моя любимая Руфа, одной семьей.

Отныне и навсегда твой

*Сергей Векшегонов-
Дулесов».*

Перечитав письмо, проверив, на месте ли запятые, он сложил его треугольником и сунул во внутренний карман пиджака.

Теперь можно идти. Как это приятно... Какой солнечный июньский день... Ни облачка, ни ветерка.

Как хорошо сидит на нем новый костюм...

IV

И Руфина в этот час примеряла обнову — белое платье. Его муаровая пышность восполняла недостающее девическому стану.

— Теперь я уже совсем взрослая! — радовалась Руфина, обнимая свою мать, Анну Васильевну. — Только мне, мама, не хочется быть такой высокой, и я надену туфли на низеньком каблуке, хотя они и не очень идут к этому платью.

— Ну что ж, доченька, можно и на низком, — согласилась Анна Васильевна. — Однако же твой папая ниже меня ростом, и это нам не помешало...

Постояв перед зеркалом, Руфина сняла свое нарядное платье и, будто вернувшись из праздника в будни, надела школьную коричневую форму.

— Руфина, я жду, нам пора! — услышала она за окном знакомый голос.

— Я сейчас. Я готова, Сережа... — откликнулась Руфина, выбегая на улицу и застегивая белый парадный фартук.

В этом фартуке сегодня она шла последний раз. Прощай, фартук. Прощай, школа. Прощай, физика. Прощайте, Платон Михайлович Слезкин. Прощай, школьный сад и все, все, что было.

Сереже очень хотелось, чтобы Руфина обратила внимание на его новый костюм. Он всячески выставлял его напоказ. Наконец Руфина сказала:

— Сережа, ты такой солидный сегодня.

На это Сережа небрежно ответил:

— Ничего не поделаешь, через два года мне перевалит на третий десяток...

— На третий? Впрочем, да, — еле сдерживая улыбку, сокрушалась Руфина. — «Как годы-то летят...»

А потом, дернув Сережу за ржаную прядь, совсем как младшего братца, она шепнула:

— Сережа, я всегда буду любить тебя...

В это время из переулка выпорхнула девочка в белом фартучке, с букетом фиалок. Это была Капа, дальняя родственница Дулесовых.

— Здравствуй, Сережа! Поздравляю с окончанием. Вот букетик. Я его собрала рано утром и все ждала, когда ты пройдешь, чтобы поздравить тебя первой. Тебя еще никто не поздравил, Сережа?

— Нет, еще никто, — почему-то смутившись, ответил Сережа. — Ты первая. Спасибо за цветы.

Затем он погладил Капу по головке, чтобы показать этим свое недосыгаемое старшинство, а Капа, отклоняя голову, сказала:

— Не надо так, Сергей. Я уже перешла в восьмой класс.

Тут Капа повернулась к ним спиной и ушла.

Наблюдая эту сцену, Руфина заметила Сереже:

— Нехорошо, что ты отнесся к ней с таким пренебрежением.

— Она же малютка...

Это почему-то задело Руфину.

— Малютка? — повторила она. — Я в ее возрасте танцевала с морским офицером Виктором Гладышевым и... И он не относился ко мне с пренебрежением. Эта малютка, — вдруг добавила Руфина, лукаво глядя на Сергея, — может быть, твоя будущая невеста, жена и мать твоих детей.

Сережа похолодел. Он проверил в кармане пиджака, там ли находится письмо на кальке. Потом, справившись с собой, заявил решительно и твердо:

— Руфина! Ты думаешь или нет перед тем, как что-то сказать? Или ты чувствуешь себя настолько умной и взрослой, что тебе можно болтать все, что придет в голову? Ты поучаешь меня, хотя я и старше тебя на два месяца.

— Даже на два с половиной, Сереженька. — Руфина еле заметно присела на ходу, чтобы казаться ниже. — Ты старше меня почти на четверть года.

— Хватит, Руфина! — прикрикнул Сережа.. — Мы уже взрослые.

— Ну конечно, — согласилась Руфина и, заметив, как он теребит верхнюю губу, едва скрывая улыбку, сказала: — К тому же у тебя усы, хотя и не колючие.

— Зато ты... — не договорил Сережа. Они уже были возле школы.

Он договорит потом. Сейчас не до этого. Вечером он в спокойных тонах посоветует ей, как разговаривать с ним...

V

По всему городу весело шагали десятиклассники. Во всех школах в этот день вручали аттестаты.

Алексей Векшегонов, как мастер школьных мастерских, пришел в школу на правах педагога. На нем синий костюм в полоску. Цвет оттенял глаза, а полоска подчеркивала рост. Это заметила Руфина. Ей было приятно, что Алексей заботится о своей внешности. Но ей и не приходило в голову, что этим занимается его мать.

Любовь Степановна Векшегонова не могла с уверенностью сказать о мыслях сына, зато она отлично знала свои мысли. А в них Руфочка Дулесова была неминуемой невестой Алеши. Не нынче, так на тот год. Не на тот, так через два года.

Руфа любит его, а от любви девушки уходит редкий, очень редкий парень. Тем более такой, как Алексей. Ему, как и многим другим, всего лишь покажется, будто он выбрал ее, на самом деле она заставит Алешу выбрать себя. Такова первородная неизбежность женского начала в любви.

Все собрались в актовом зале.

Появился директор. Выпускники встали.

— Садитесь, садитесь, пожалуйста!

Все тихо сели. Как первоклассники. Первый и последний день в школе чем-то похожи один на другой. Наверно, торжественной тишиной.

Директор произнес короткую напутственную речь.

Руфина в числе одиннадцати выпускников получила из рук Алексея Романовича Векшегонова похвальную грамоту за успехи в овладении основами профессий

строгаля и сверловщика. Принимая грамоту, отпечатанную золотыми буквами, чуть слышно сказала:

— Спасибо вам, Алексей Романович... За все спасибо.

После выдачи аттестатов раздали свежие номера заводской многотиражки. Одна из страниц была озаглавлена «Наши выпускники». Масса заметок и множество снимков. Под двумя из них была подпись: «Таким, как они, не надо выбирать профессию. Ворота завода открыты для них». Эти слова касались Руфины и Сережи, запечатленных довольно отчетливо в правом верхнем углу газетной страницы.

Сережа понимал, что заводская многотиражка не расточает напрасные похвалы выпускникам. Пусть не для всех, но для доброй половины школьников производственные мастерские были настоящим вечерним техническим училищем. Хоть и два раза в неделю работали мастерские, но ведь три года — немалый срок. И такие, как Руфина, обучавшиеся старательно, получали не показной и снисходительный производственный разряд, а настоящую квалификацию, по всем строгостям.

Сережа сиял.

О чем тут говорить, коли даже в газете они рядом! Она — справа. Он — слева. Как мама и папа в семейном альбоме. Все ясно. Газета знает, кого нужно печатать рядышком, кого порознь. Риту Ожеганову и Володю Санкина тоже напечатали вместе и не случайно. под снимками написали: «Они сидели рядом на парте, они рядом станут к токарным станкам».

Сережа снова проверил, на месте ли его письмо Руфине. Хотел было пуститься бегом, чтобы скорее показать матери аттестат и грамоту, но сдержал себя. Сдержал и пошел медленно, широко шагая, хмуря брови и прокашливаясь не открывая рта, как это делал директор школы. Все-таки он сейчас нес аттестат зрелости. Как можно мчаться в своем взрослом костюме, когда, наверно, из всех окон смотрят, как он идет...

Но Сереже пришлось опустить высоко поднятую голову. Он услышал мышиный писк:

— Сережа! Ты потерял мой букетик. Вот он... Я собирала его все утро. Не теряй его больше, пожалуйста.

Это была опять Капа. Та самая Капа, про которую Руфа сказала... Леший знает, что сказала она... Сереже

снова хотелось бросить букетик фиалок и на этот раз растоптать его. Но букетик фиалок словно был припаян к его руке. А темные глаза Капы смотрели на Сережу заклинающе.

— Спасибо тебе, Капа. — Сережа поклонился ей с вынужденной приветливостью. — Я так рассеян сегодня... Аттестат, понимаешь, зрелости, почетная грамота, портрет в газете... Вот! — Он показал газету. — Я непременно сохраню твой букетик...

— Пожалуйста, Сережа.

Капа сделала что-то похожее на реверанс. Она была в танцевальной группе Дворца культуры и умела раскланиваться, держась за края юбочки.

Сережа выдержал характер и вернулся домой таким важным и таким солидным, что Любовь Степановна, желая подыграть ему, робко промолвила:

— Поздравляю вас, дорогой Сергей Романович, со зрелостью!

Тут Сережа не выдержал, обнял мать, приник к ней и крикнул:

— Мама, я люблю тебя больше всех на свете!

Сережа всегда был нежен с матерью, не в пример Алеше, выросшему у деда с бабкой. Припадок нежности сына ничуть не удивил Любовь Степановну.

Обняв Сережу, Любовь Степановна провела его к себе. Там были разложены подарки. Ружье от отца. Моторчик для велосипеда от брата. Большая коробка конфет сладкоежке сыну от матери. Охотничьи лыжи от деда с бабкой. По лыжине от каждого. И... вышитая синими васильками чесучовая косоворотка от учениц восьмого класса, как бывшему вожатому пионерского отряда.

Сережа крикнул:

— Опять эта Капа!

Любовь Степановна мягко закрыла его рот рукой:

— Не надо, мой мальчик. За все, что идет от чистого сердца, нужно благодарить...

— Я никогда не надену эту рубашку, мама. Никогда!

Сережа занялся осмотром и разборкой ружья. Это было великолепное тульское ружье. Чок-бор. Его нужно было, не откладывая на завтра, освободить от густой фабричной смазки. И он занялся этим, забыв о Капе и, кажется, о Руфине.

До сегодняшнего дня ружье ему не доверяли. А теперь наступила зрелость. О ней свидетельствует не один лишь аттестат, но и мужской отцовский подарок. И невозможно откладывать охоту хоть на один день!

Но сейчас июнь, какая же охота! Однако если человеку нужно, человек хочет, он всегда придумает обходные пути. Сережа сказал матери:

— Сороки — очень вредные хищники.

— Да что ты говоришь, Сереженька...

— Да. Они разбойничают в гнездах малых птиц. Съедают яйца, птенцов. И вообще их необходимо истреблять.

— Если так, то и раздумывать нечего, — согласилась мать, довольная тем, что ружье, охота на сорок могут доставить сыну радость.

Значит, «все остальное» не так серьезно, как ей показалось, когда она прочитала забытое Сережей начало письма к Руфине на листке в клеточку.

«Он совсем у меня мальчик», — убеждала себя Любовь Степановна, когда Сережа переодевался в охотничье. Он натянул высокие отцовские сапоги, надел братову кожаную куртку, его же старую кепку, затем опоясался патронташем, вскинул за плечи вещевой мешок и наконец взял ружье.

— Я пошел на охоту, мама!

— Ни пуха ни пера, Сереженька.

Сережа осмотрел себя в зеркало. Он выглядел очень солидно.

И вот он вышел на улицу. Мать любовалась им в окно. Она знала, что Сережа, выйдя из ворот, должен пойти в сторону леса. Но Сережа пошел влево. Пошел мимо окон дулесовского дома.

Значит, сороки сороками, а все остальное само собой...

VI

Сережа, как, может быть, вы уже заметили, принадлежит к тем юношам, которые всем нравятся. Пусть он в чем-то смешноват, излишне самонадеян, но это все неизбежная дань возрасту. Кто не платит ее своей юности!

Но как бы ни был мил и хорош Сережа, все же мы, воспользовавшись охотой на сорок, должны пока

оставить его и познакомиться с его братом Алексеем.

По байке Степаниды Лукиничны, ее внук Алешенька не был найден на капустном листке или под раки-товым кустом. Он и не был куплен на базаре, куда старый цыган в большом коробе привозит для продажи видимо-невидимо маленьких ребят.

Алексея принесла, по бабушкиному велению, по дедушкиному хотению, светлая птица Феникс, которой Степанида Лукинична вылечила простреленное молнией крыло. За это светлая птица Феникс слетала за семьдесят семь лет в предбудущие годы и добыла из них кудрявого, голубоглазого мальчика, который должен жить и расти не для своей корысти, а для счастья всех людей.

С первой сказки о Фениксе, с первых шагов Алеши он рос в холе, да не в баловстве, в неге, да не в безделье. Рано узнал Алеша, для чего человеку руки нужны. Только ли для того, чтобы в мячик играть, да ложку держать, да кошку гладить? По бабушкиным, по дедушкиным, по отцовским рабочим рукам стал маленький мальчик принаравливать и свои руки. Фикус напоит, кошку накормит, бабушке нитку в иголку вденет или ухват подаст — и то дело. Большое всегда с малого начинается.

Малого ершишку поймает Алеша, а в большой семейной ухе и его навар сказывается. Пятерку из школы принесет — опять общий котел пополнит, только уж не семейный, а народный. Каждая пятерка, говаривал Иван Ермолаевич, силу народа множит и хоть не сразу, а через семь, через десять лет не малым ершишкой, а большим сомом сказывается.

И так неустанно, день за днем, воспитывали старики своего внука.

Школа встретила Алешу настороженно. Не драчлив, не шумлив, уступчив. Не слюняй ли? Даже сдачи не дает обидчику, — а мог бы. Двоих одноклассников на руках поднимает и проносит через весь школьный двор.

Может быть, трус?

Тоже не похоже. Ему не страшна никакая собака. Улыбнется и скажет: «Да будет тебе тявкать, ты же умная» — и та завилает хвостом. А бодливому козлу из пожарной части Алеша так скрутил рога, что козел и близко не подходит к школьным воротам.

Первыми Алешу разглядели девочки, а потом и

мальчишки потянулись к нему. Он, не стремясь подчинять своему влиянию других, разоружал даже озорных заводил и заставлял хорошо учиться заядлых лентяев, не жалея на это ни сил, ни слов, ни своего времени.

Приветливы с Алешей были и взрослые. В семьях всегда и все знают о школе, о ее делах и, конечно, о тех школьниках, кто на хорошей или на худой молве.

В те годы отец и мать Алеши жили в старом векшегоновском доме. Когда же они получили от завода квартиру и отделились от стариков, Алеша остался у бабушки с дедушкой, потому что началась война. Отец Алеши, Роман Иванович Векшегонов, ушел на фронт, мать стала к станку.

Алеша, как и все в их роду, начал трудовой путь слесарем. Так было заведено чуть ли не сто лет тому назад. Слесарное ремесло Векшегоновы считали чем-то вроде обязательной азбуки, без которой в заводском деле человек не может двигаться вперед.

Старомодно это или нет, только никому не приходило в голову нарушать родовой порядок.

Закончив семь классов, Алексей поступил в ремесленное училище. На завод он пришел уже лекальщиком и вскоре был замечен как искусник в своем деле. Разумеется, в этом немалую роль сыграл его дед, Иван Ермолаевич Векшегонов, натаскивая внука в домашней мастерской. Эти мастерские и в наши дни бытуют в старых уральских домах.

Молодой слесарь привлек внимание главного инженера завода Николая Олимпиевича Гладышева. Доводясь Алексею двоюродным дядькой, он вдвойне был доволен, что и этот молодой Векшегонов оказывается на виду, как и отец его Роман Иванович, как в свое время и дед Иван Ермолаевич — знаменитый слесарь станкостроительного завода.

Теперь Алексей Векшегонов работает наладчиком автоматических станков и линий. Это его призвание. Его трудовая стихия. Усовершенствовать, смастерить, придумать, заменить — самое большое счастье для Алексея. Увлекаясь рационализацией, изобретательством, он забывает о времени, окружающих и, может быть, о себе.

Это началось еще в отроческие годы, рассказывает

о внуке дед, Иван Ермолаевич Векшегонов. Для кого игра, бабки, шаровки, чижики, а для Алексея тиски, молоток, пила, ножницы. И не было у него большей радости, как соорудить что-нибудь своими руками. Клетку ли для чечеток, пенал ли для карандашей или еще какую-нибудь пустяковину смастерит он — всегда от себя добавит новое. И как бы хорошо ни сделал Алексей свою хитроумную самоделку, никогда не был доволен собой.

Вот и сейчас на заводе появился многошпиндельный сверлильный станок Алексея Векшегонова, названный его именем — «АВЕ». Радоваться бы... Не всем молодым механикам в его годы удастся создать свой станок. А ему радости нет.

— Об автомате думал, — жалуется деду внук, — а получился полуавтомат. Недотянул. Не то знаний не хватило, не то времени.

Дед утешает:

— Дотянешь. У тебя годов много впереди. Кончишь заочный. День будет длиннее — ума больше. Вот и доведешь свое детище.

У Алексея в самом деле было туговато со временем. Завод. Учеба. А тут еще школьные мастерские. У парня совсем не оставалось часов для прогулок, театра, веселых вечеринок и всего, что принято называть часами досуга.

Но на школьный бал он, конечно, пойдет, потому что должен туда пойти. Ведь он же в школе на правах педагога, и на балу будут его ученики.

Если говорить честно, то ему в этот вечер было бы куда приятнее покататься на лодке с Ийей Красноперовой. Во-первых, это настоящий отдых, во-вторых, она не будет мешать думать о приводе к винторезному станку, а в-третьих, он всегда так легко и свободно чувствует себя с ней.

И он, наверное, сумел бы как-нибудь совместить и бал, и прогулку с Ийей. Показался бы во Дворце культуры... А потом затерялся в толпе — и на пруд. Что ему, в самом деле, до бала? Танцор он плохой. Огни, шум, наряды не привлекают его. В новом костюме он будет чувствовать себя неловко. И вообще — что за радость кружиться напоказ?

Рассудив так, Алексей решил отбыть положенный час на школьном вечере, а потом махнуть с Ийей на

озеро. Белая ночь. Тихий пруд. Теплынь... Но все случилось совсем по-другому.

К Векшегоновым пришла Руфина. Она будто разгадала сомнения Алексея. Руфина появилась не в форменном школьном платье, с которым уже навсегда рассталась, а в широкой юбке и пышной кружевной кофте. Вместо кос — модная прическа. Руфина будто выросла, возмужала за считанные часы.

— Ты ли это, Руфа? — не скрыл своего удивления Алексей.

Руфина ответила на это без всякого жеманства:

— Ты знаешь, Алеша, я тоже сегодня нравлюсь себе. — Сказав так, она закружилась. — Мне очень хочется наряжаться.

— Зачем?

— Не знаю...

Впрочем, она знала «зачем». Кажется, догадался об этом и Алексей. Догадался и задумался. Задумался и вспомнил намеки матери, разговоры в цехе, на которые он не обращал внимания. А теперь Алеша, может быть, впервые зримо, осязаемо почувствовал, что кроме наладки станков, кроме зачетов и чертежей есть другие стороны жизни.

— Я надеюсь, Алеша, — просил голос и просили глаза Руфины, — что ты зайдешь за нами, а потом мы все вместе отправимся во Дворец на бал!

Тут надо сказать, что настойчивый и упорный Алексей Векшегонов, беспощадный к себе, был мягким и отзывчивым к другим. Эта черта, привитая дедом с бабкой, еще скажется не один раз и принесет немало злополучных дней Алексею и другим людям. И началось это, может быть, как раз сегодня.

— Ну конечно, ну конечно, — согласился Алексей. — У тебя сегодня такой день. Я непременно зайду.

Руфина ушла. В комнате остался тонкий запах духов, сияние смеющихся глаз, а в душе Алеши какой-то смутный разлад, какое-то разногласие с самим собой.

VII

Теперь, пожалуйста, на школьный бал!

Во Дворце культуры, построенном металлургами и станкостроителями, ожидалось семьсот-восемьсот хозяев и наследников. Отцов и детей. Корифеев знатных ра-

бочих династий и юнцов, еще не переступивших порог завода.

Июнь — месяц белых ночей на Среднем Урале, но люстры зажжены. Окна открыты. Музыка и голосам тесно в огромном зале. Они оглашают дворцовый парк и гаснут в зелени деревьев, еще не потерявших нежную окраску весны.

Распорядители бала с белыми атласными розетками, какие случались у шаферов на свадьбах минувших лет, встречают гостей и участников бала.

Сережа тоже распорядитель. Он стоит на гранитных ступенях лестницы главного подъезда Дворца в промежутке колонн. Сереже вместе с тремя другими десятиклассниками поручено встречать гостей у входа и прикалывать им бумажные ромашки с десятью лепестками, символизирующими десять классов школы.

Ромашки уже приколоты многим выпускницам его и других школ, а Руфины нет. Сережины глаза устремлены в глубину центральной аллеи парка. Среди белых платьев он ищет то, на котором сегодня должна красоваться самая большая и самая красивая ромашка.

Минуты — как улитки... Уж не случилось ли чего-нибудь?

Ну что ты, милый, заботливый Сережа! Взгляни! Она идет. Не узнаешь?

Сережа не узнал Руфину. Копна волос, перевязанная белым бантом. Какая-то другая шея, без воротничка, с тоненькой цепочкой и зеленым камушком. Платье как белый колокол. Руки открыты. Он никогда не обращал внимания, какие у нее руки. Она не идет, а будто медленно скользит, словно девушки на экране из танцевального ансамбля «Березка».

Рядом с нею — мать. Тоже в белом. Но зачем ее рассматривать? Она всегда была франтихой. А кто по другую сторону Руфины? Кто?

Не может быть! Это Алеша... Он почему-то выглядит сегодня выше. Зачем он вместе с нею?

У Сережи слегка кружится голова. Зачем он несет ее белую сумку? Зачем он разговаривает с нею и все смотрят на них? Смотрят и о чем-то переговариваются.

А радио, как по злому заказу, рыдает на весь парк:

Ах, Ольга, я тебя любил,
Тебе единой посвятил...

Это уже похоже на издевку.

— Добро пожаловать! — произнес Сережа стандартное приветствие и приколот ромашку Анне Васильевне, затем вторую — Руфине и третью, самую большую, — брату. Волнуясь, он перепутал ромашки. — Ты, Алеша, тоже на бал? — спросил упавшим голосом Сережа.

— А как же? Ведь я в некотором роде педагог... Хотя и слесарно-механический.

Дулесовы и Алексей прошли в распахнутую дверь Дворца, а Сереже нужно оставаться на лестнице и прикалывать ромашки другим.

Там уже начались танцы, а у него еще половина коробки неприколотых ромашек. Люди все идут и идут. Сережа не справляется со своими обязанностями. Его руки не приучены быстро прикалывать цветы. Он уже уколол одну родительницу из заречной школы, и та ойкнула от боли. После этого он стал просто раздавать ромашки. Пусть прикалывают сами. Но одна из пришедших на бал не захотела этого. Она попросила:

— Сережа, приколи мне ромашку своими руками. Сережа едва сдержался:

— Ты-то зачем здесь?

А та с достоинством ответила:

— Как отличница. Даже из седьмых классов все отличники приглашены на бал, а я перешла в восьмой.. И нам тоже разрешили надеть белые платья. Посмотри. Почти такое же длинное, как у Руфы.

Тут девочка, имя которой уже вам известно, сделала снова подобие реверанса, придерживая тонюсенькими пальчиками свое платье.

Окончательно рассерженный Сережа выбрал самую мятую ромашку и, оторвав у нее два лепестка, сказал:

— Все должно быть как полагается. Ты еще пока в восьмом классе.

— Пока да, — снова поклонилась Капа, благодаря этим за приколотую ромашку, а потом, нагнувшись, подняла оторванные бумажные лепестки изуродованного цветка и голосом, теперь так похожим на голос Ийи Красноперовой, прозвенела: — На следующий год я к ромашке приклею девятый лепесток. А через год у меня ромашка будет с десятью лепестками.

— Хватит!

Сережа бесцеремонно повернул Капу лицом к двери, слегка толкнул ее туда и увидел Ийю.

— Только подумал о тебе, а ты уж тут. Давай я приколю тебе две...

— Зачем же, Сереженька, две? — спросила Ийя.

— Одну за школу, другую за химический факультет... Между прочим, Ийя, понимаешь, Алексей сегодня не очень правильно себя ведет.

— Да? Что же он делает?

— Понимаешь, носит всякие белые сумки... Вызывает ненужные разговоры и вообще... Вообще ты должна держаться решительнее и солиднее.

— Постараюсь, Сережа.

Ийя грустно улыбнулась. Поцеловала Сережу в щеку, будто поздравляя его с окончанием школы, и белой тенью прошла вслед за маленькой девочкой Капой.

Сережа, провожая глазами грустную Ийю, не ждал теперь ничего хорошего.

VIII

Ничто так не нарушает последовательности рассказа, как справочно-описательные главы. Они скучны, но без них не обойтись.

Если уж мы несколько раз назвали имя Ийи Красноперовой и намекнули на какие-то отношения с ней Алексея Векшегонова, то надо узнать, что представляет собой Ийя.

Тетка Руфины, редкая зубоскалка и просмешица, говоря о необычайной худобе Ийи Красноперовой, назвала ее «ловко задрапированным позвоночником». Ийя на самом деле была поразительно худа. Правда, дед Алеши находил иные слова.

— Тоша моща, да глазки ясные, сердечко доброе. — А потом приводил в пример свою Степаниду Лукиничну: — Моя в девках тоже была квелым цветком, а после первого ребенка розой расцвела.

Это приятные слова. Но слова есть слова, не более. Заводские старухи тоже говорили об Ийе только хорошее, а счастья ей не предрекали, хотя и видели ее почти неразлучной с Алексеем. Этому тоже находили свое объяснение: «Бывает, и лебедь с цаплей гуляет, а гнездо вьет с лебедушкой».

Мать Руфины, читая ревнивые мысли дочери, утешала ее:

— Что легко в руки дается, долго в руках не держится.

У Ийи было прозвище Описка. Оно имеет свою, довольно забавную историю, которую небезынтересно рассказать.

У старика лесничего Адама Викторовича Красноперова появилась внучка. Он решил назвать ее именем своей жены — Ия. Красноперов самолично отправился регистрировать рождение внучки. В загсе тогда работала грубая и малограмотная женщина. В книге регистрации рождений она вместо имени «Ия» написала «Ийя». Адам Викторович Красноперов стал протестовать и показывать, как пишется в святцах это редкое имя — Ия, что означает «фиалка». Женщина стала кричать и доказывать, что, во-первых, святцы загсу не указ, а во-вторых, как слышится, так и пишется, и, в-третьих, из двух букв имен не бывает, а в-четвертых, она ничего не будет исправлять.

И описка из метрик перешла в паспорт и наконец стала именем, а Ийю прозвали Опиской.

Свыкнувшись с тем, что природа не отпустила ей красоты, она не ждала от Алексея и сотовой доли тех чувств, которые пылали в ней.

Ийя, как и Алексей, выросла у деда с бабушкой. Бабушки теперь уже нет. Из Красноперовых в старом доме лесничества осталось двое — Ийя да ее дед Адам Викторович.

Сухонькая, жилистая Ийя была выносливой и сильной девушкой. Работая на заводе пластических масс, Ийя с отличием окончила химический факультет вечернего института. Ею дорожат. В нее верят.

Ийю приглашают на новостройки. Там, в Сибири, как нигде, нуждаются в специалистах. И кто-кто, а она-то уж знает, какие мечтания влекут ее в этот край и с какой любовью она приложит свои знания и свои силы.

Да, ее манит Сибирь. Она любит заглазно эту землю. Ийе радостно сознавать, что там она очень нужна и там она очень много может сделать. Но...

Но Алеша?.. Разве возможно встретить ближе, дороже и светлее, чем он? И если бы встретился такой, то разве бы она позволила даже на миг, на один миг, заползти мысли, что она полюбит другого? Даже лучшего, если лучшие для нее возможны на земле...

Она понимает, что все это только ее, сугубо личное. Но ведь любовь не отвлеченная категория, если это любовь. Любовь неповторима в миллиардах ее повторимостей. Ийя никогда не будет искать иного счастья. По ее глубококому убеждению, любовь, как и смерть, приходит только один раз.

Ийя видит Руфину, влюбленную и цветущую. Счастливую и уверенную. Да и как может быть иначе, когда она привлекает всеобщее внимание. Ею любят даже пожилые женщины. Матери, для которых своя дочь самая красивая, и те понимают, что Дулесова первая среди подруг.

А если это так, то кому же, как не Алексею, может пожелать Ийя счастья с этой красавицей. Это больно. Это невыносимо тяжело. Но эта боль не должна помешать счастью Алеши. И разве может позволить Ийя дать этой боли властвовать над собой.

Пусть так поступают другие. Пусть кому-то покажется, что у Ийи не было иного выхода, как уступить дорогу к сердцу Алеши ослепительной красавице Дулесовой. Пусть думают... Ийя-то знает, что это не так. Ийя знает, что стоит сказать ей всего лишь одно слово — и она станет Векшегоновой. И этому будут рады дед и бабка Алексея, не раз ронявшие робкие слова надежды назвать ее милой внученькой.

Конечно, Ийя может заставить Алексея, даже не заставить, а всего лишь пригласить его поехать вместе с нею в Сибирь, где и для него откроются неизвестные горизонты. И он сам говорил: «Там я больше сделаю...» И это верно. Если здесь, в заводской тесноте, где так много передовиков, он всем замечен, то уж там-то, в краю непочатой работы, Алеша, конечно, сможет сделать еще больше. Ийя знает его силы, может быть, больше, чем он сам. И Алексей никогда не только не упрекнет ее за этот переезд, за это соединение их жизней, он даже не подумает, что могло быть как-то иначе. Он, как и она, живет, будет жить для других. Это главное. Это цель их жизни.

Трудно представить духовно более близкую пару, чем он и она. Но ведь это духовно... А человек состоит не из одной души.

Вот он, Алексей, духовно неразделимый с нею человек. Но взгляните, как он любит Руфину... Как восторженны его глаза...

Мало ли что хотят и подсказывают старики Векшегоновы. Разве пара соединяется во имя счастья стариков, а не во имя счастья образующих эту любящую пару? Разве пара соединяется во имя счастья одного из этой пары, а не обоих?

Нет, нет, нет... Любовь не должна знать принуждения, каким бы оно ни было. Сила и крепость любви в ней самой. И если ты, Ийя, любишь Алексея, как ты можешь не желать счастья любимому? Пусть с другой. Пусть ценой твоего счастья.

Ты же знаешь, что завтрашний день зачеркнет в людях многие страсти и чувства. Зависть... жадность... эгонизм...

И ты, Ийя, утверждающая в себе сегодня высокие черты человека грядущего дня, поступишь благородно. Ты оставишь его...

Так сегодня решила Ийя, стоя у беломраморной колонны в зале Дворца. Так решила она.

IX

Освобожденный от кресел и стульев большой зал Дворца стал танцевальным. Ложи и балкон заняли родители, но и они в разгар веселья оставляли свои места, чтобы оказаться в гуще молодежи.

Ведь не просто же так пришли сюда все они. Не ради же одной традиции школьных балов все так нарядны сегодня. Каждый, даже восьмиклассница Капа, пусть неосознанно, тянется к тому, что не чуждо всем живым.

Не каждому из танцующих сейчас приходит в голову, как может продолжиться их танец. Во всяком случае, плохой танцор Алеша Векшегонов, танцуя и наступая на ноги Руфине, и не думал о том, что было ясно всем, кто наблюдал за ними.

Алеша, до смешного неуклюжий в танцах, всячески старался успеть за музыкой, как можно меньше наступать на белоснежные носочки туфелек Руфины.

Но разве туфли волнуют сейчас Руфу? Пусть наступает, но танцует с нею. И он танцует... Четвертый... Пятый танец... И приглашает на шестой. Она считает танцы. Их так много... И очень мало. Руфине было бы трудно уступить даже половину танца кому-то другому.

— Никак, Анюта, — сказала Любовь Степановна Векшегонова матери Руфины, указывая на Алексея, — сбудется, чего не сбылось у наших отцов и дедов.

— Хотелось бы, Любаша, — призналась откровенно Анна Васильевна. — Так бы хотелось, что я даже готова не ждать седьмого августа, когда ей будет восемнадцать.

Матери обнялись. И это заметили. Дулесова смахнула слезинку — и это тоже было замечено. А когда отец Алексея, Роман Иванович Векшегонов, пригласил Руфинину мать потанцевать с ним полечку, то уже всем стало понятно, что обручение Руфины и Алексея состоялось.

Роману Ивановичу Векшегонову пятьдесят два года. Восемь лет до пенсии, но если судить по тому, как он танцует, то ему пенсию едва ли понадобится выплачивать и через двадцать лет.

Лихо подбоченясь, легко летая по паркету, мастер сборочного цеха услышал громкое одобрение старого слесаря Макара Петровича Логинова:

— Ишь ты как дает Роман прикуривать мировому империализму!

Анне Васильевне Дулесовой всего лишь тридцать шесть лет. Она грациозна. Белое платье и туфли на высоких каблуках молодят ее еще более. Она танцует куда легче и свободнее своей дочери, награждая теперь не сходящей с ее лица улыбкой маститого мастера Векшегонова.

Ийя, на которую никто не обращал внимания, продолжала стоять в сторонке. Искавший ее Сережа подошел к ней.

— Возьми меня под руку, Ийя, и пойдем со мной. Он подвел ее к брату.

— Алеша, — обратился к нему Сережа не без иронии. — Ийя так хорошо перечерчивала твои чертежи, потанцевал бы ты с ней, а я с Руфиной.

— Да, да, — обрадовался Алеша, — я даже не знал, что ты здесь... Совершенно закружился с ученицами.

— И очень хорошо. Ты мало веселишься. Я в первый раз сегодня вижу тебя таким оживленным.

Ийя подняла на него свои серые, необыкновенно большие и добрые глаза. Они как окна дедушкиного дома. Заглянешь в них — и окажешься в тишине с детства милой большой горницы.

Все чисто в этих глазах, дорого и мило сердцу. Алеша пригласил Ийю на быстрый вальс.

Ийя всегда преображалась в танце. Она, будто мотылек рядом с молодым коренастым медведем, порхала, как бы ускользая от попыток Алеши наступить ей на ногу. Не он, а она вела его. Вместе с хорошим певцом поет и безголосый. Ему легко было танцевать с нею.

С нею ему всегда было легко, потому что он никогда не задумывался, что нужно сказать, как должно себя вести.

А Сережа танцевал чопорно и строго. Так танцуют на балах при начальстве только курсанты военных училищ.

Каждое движение Сережи было отчетливо, как буква в написанной им строке. И сейчас он будто не танцевал, а писал экзаменационное сочинение, боясь пропустить хотя бы одну запятую.

— Устала я, — вдруг сказала Руфина, выходя из танца.

— А я не устала, — послышался голос Капы, и она так молниеносно, так цепко положила свою руку на Сережино плечо, что ему уже неудобно было сказать: «Я не хочу танцевать с тобой, мышонок». К тому же он распорядитель, а распорядители обязаны быть особенно обходительны.

Счастливая Капа закружилась в первом настоящем бальном танце, которого она так ждала. Кружась, она шепнула Сереже:

— Как я рада, Сережа, за Руфу. — А потом, на другом повороте, она досказала: — И за твоего брата Алексея Романовича. ↓

Сергей едва не вскрикнул. Никто еще не жалил его так больно. Но Сережа сдержался и не назвал ее змеенышем.

Только подумать...

Нет, никто не знает, с какого возраста язык девчонок начинает вырабатывать яд. Наверно, очень рано. Потому что он им заменяет кулаки мальчишек и позволяет обороняться и наступать.

Зачем? Скажите, зачем он писал Руфине письмо, которое напрасно теперь лежит в левом внутреннем кармане его пиджака, у самого сердца? Трепетного. Бьющегося. Обманувшегося сердца.

Нескончаемо длинный, светлый вечер, минуя ночь, переходил в раннее утро. Пахло июньской свежестью. Заводы, не знающие сна, и те как-то притихли в этот час.

Из Дворца веселыми стайками, семейными группами, парами и в одиночку возвращались участники школьного бала.

Капа возвращалась одна. И это понятно. Она была полна впечатлениями о первом бале. И ей хотелось не растерять их. Донести до дому. И там, засыпая в этот поздний час, постараться увидеть во сне то, что было наяву. И ромашку с оторванными лепестками... И быстрый вальс... И далекое-далекое, которому сегодня не поверит никто, тем более Сережа, но которое непременно придет. Придет потому, что не может не прийти, коли она так решила. Решила раз и навсегда.

Сережа возвращался с друзьями. И это тоже понятно.

Алексей и Руфина шли под руку вдвоем, и этому теперь никто не удивлялся.

Миновав плотину, они остановились, опершись на перила ограды весеннего водосброса, или вешняка, по которому спускают весной избыток воды.

В зеркальной глади Алеша увидел себя и Руфину. Вода — как стекло. Даже было видно его родимое пятнышко на правой щеке.

— Я сегодня, Руфа, — начал он, — почувствовал себя школьником. Таким, как Сережа. И мне было очень весело. И я, кажется, слишком увлекся танцами...

— И очень хорошо, Алеша. Я так была счастлива, когда мы танцевали с тобой, — откликнулась Руфина, думая, что сейчас будет сказано самое главное. А оно не сказалось.

— Мне тоже показалось, что я... Впрочем, все равно, что показалось мне и другим. Сейчас я увидел себя и тебя со стороны. — Алексей указал на отражение в пруду. — Посмотри и ты на нас со стороны.

— Я уже посмотрела и увидела то, что мне давно хотелось увидеть.

— Ты наивна, Руфина, а вода лукава. Не верь ей. Она отражает не все.

— Но и не так мало, Алеша. Посмотри.

Теперь Руфина указала на воду, где была видна гора, дорога и берега. По дороге шла Ийя. Ее ни с кем нельзя было спутать.

— Что ты этим хочешь сказать, Руфа?

Вместо ответа Руфина нагнулась, взяла с плотины горсть гальки и бросила ее в воду. Изображения в воде пропали. Как хочешь, так и понимай.

Они молча стали ждать Ийю. Они думали о ней. И каждый свое.

Руфина старалась и не могла понять, в чем сила Ийи, этой «тонкошеей гусеницы», этой писклявой букашки с муравьиной талией. Что может привлекать в ней Алексея? Какие чары? Что позволяет ей так уверенно ходить по земле? Будто за нею неотразимое могущество красоты или у нее на руке не простое колечко с грошовым алмазиком, а перстень-талисман... Иногда Руфине кажется, что Ийя может заставить Алешу сделать все, что захочет. И не приказывая, а как бы между прочим... Достаточно движения одной ее брови, и он исполнит любое ее желание.

Откуда в Ийе такая непринужденность в поступках и в отношениях со всеми — с нею и с Алексеем? Она ему как равная равному может сказать: «Ты устал от зачетов и работы. Завтра мы поедем к истоку на лодке». И она будет грести сама, не позволив ему даже прикоснуться к веслу. Для этого нужны не такие руки. Даже руки Руфины и то бы не могли так долго грести.

И вот она уже подходит. Алеша почему-то смущен. Он будто в чем-то виноват перед Ийей.

— Я так и знала, что ты дождешься меня на плотине, — сказала Ийя, обратившись к Алексею. А потом к Руфине: — Тебе так идет это платье.

Руфина почувствовала вдруг себя куда более неловко, чем Капа, подносявшая сегодня Сереже букетик фиалок. И то, что казалось таким предрешенным, исчезло. Исчезло, как отражение в воде.

Алеше хотелось сказать Ийе, что он ее искал и не нашел. И он сказал:

— После последнего танца я потерял тебя... Ты извини...

— Да будет тебе, Алеша. Меня так легко потерять, — сказала она, вкладывая в эти слова двойной смысл. — Мне тебя потерять невозможно, — снова при-

бегла она к двойному звучанию фразы и объяснила ее для Руфины: — Он всегда на виду. И его легко найти.

— Кому как... — задумчиво ответила Руфина, понимавшая, о чем идет речь. — Во всяком случае, ты его нашла, и он должен тебя проводить. Трамваи уже не ходят.

— Ну конечно, — обрадовался Алеша, — я тебя обязательно провожу!

— Это будет очень любезно с твоей стороны. Сегодня я, как никогда, нуждаюсь в том, чтобы ты проводил меня.

— И! Что с тобой, И?.. Почему именно сегодня?

— Алеша! — решила Ийя рассеять подозрения. — Я никогда так поздно не возвращалась домой. Почти километр лесом... Пусть я не из трусливых, но...

— Да-да... Я понял, я понял... Сейчас мы проводим Руфину, а потом я провожу тебя, И.

И?..

Так никто не называл Ийю. По крайней мере Руфина не предполагала, что так можно кого-то называть. В этом имени — И — какая-то близость и, во всяком случае, теплота.

Они пошли вдвоем, разговаривая о том о сем, а в общем ни о чем. И каждому стало ясно, что вдвоем у них никогда и никакого разговора не получится.

XI

Проводив Руфину до ворот, еще раз поздравив ее с окончанием школы, Ийя и Алексей пошли дальше по спящему городу.

Сначала они шли молча. Алексей чувствовал себя неловко. Ему хотелось объяснить Ийе, что сегодня, совершенно для него неожиданно, Руфина предстала в новом свете, и этот свет, кажется, ослепил его, но сейчас вернулось нормальное зрение, и он готов раскаться в своем мимолетном ослеплении.

— И! — начал он. — Я никогда ничего не скрывал от тебя. Я говорил с тобой, как с самим собой. Ты буд-то была моим дневником...

Ийя была готова к разговору. Она ясно представляла покаянное и самобичующее объяснение Алеши.

И ей казалось, что она слушает повторение сказанного им, когда они шли молча.

— Алеша, не надо усложнять простого и обычного.

— Да нет. И, все это не так просто, как я думал. Мне нужно сказать тебе очень много, хотя я и знаю, что не сумею сказать всего, что хочется. У меня никогда не хватало слов...

— Тогда, Алеша, дай мне сказать за тебя. У меня хватит слов и сил...

— Ийя! — перебил ее Алексей. — Ты берешься говорить и решать за меня. Как будто тебе известно все и ты обладаешь какой-то волшебной способностью читать чужие мысли.

— Мне кажется, обладаю. Ведь я же выросла в лесу, в доме старого лесничего, которого, как ты знаешь, прозвали Чертознаем. Значит, и внучка у такого деда должна быть немножечко да чертознаинкой. Ведь я же завела тебя в лес и, заморозив там, заставила поверить, будто я тоже красива и будто меня можно без памяти любить и называть «первой, единственной и неповторимой»...

— Я и теперь могу повторить это, И!

— И повтори...

Они уже давно миновали город. Прошли мимо поперечной лесной просеки, упирающейся в старый дом лесничества, где жила Ийя, и пошли далее по просеке, ведущей к знакомому Малиновому распадку.

Буйно цвела калина. Ее пьянящие ароматы куда сильнее черемуховых. Предутренний лес тих. Дневные птицы еще спали в гнездах, а ночные попрятались в свои темные убежища.

В гулком лесу голос Ийи зазвенел еще тоньше.

Они вскоре оказались в Малиновом распадке.

Заросли дикой малины были так густы, что, затерявшись в них, можно было спрятаться даже от луны. Бледная-бледная, она таяла над Ийей в светлеющем небе.

Сейчас можно прибегать к сотням самых различных иносказаний... Робкие цветы малины могли бы с восхищением пересказать, как прекрасно было утро, какой шепот слышали они, как радостно было им видеть глаза Ийи, устремленные в небо, и его слезы, сверкавшие ярче росы.

Но что могут знать цветы о чувствах Ийи, о ее люб-

ви, для которой мал небосвод, но достаточно счастливой улыбки Руфины, чтобы затмить это бескрайнее небо счастья Ийи? Руфина уже затмила его. И если оно еще кажется бирюзовым, то завтра Ийя увидит его потускневшим.

Утренняя заря была ее вечерней зарей. Прощаясь на перекрестке просек, она обвила его шею своими тонкими, очень тонкими, но очень сильными руками. Она, как никогда, целовала его.

— И, ты пугаешь меня, И! Ты готовишь что-то страшное...

Ийя улыбнулась и оказалась такой, как всегда:

— Да что ты выдумываешь? Я — и вдруг готовлю страшное... Кажется, уже проснулись трамваи... Иди! Все будет хорошо. Все теперь будет очень хорошо.

Еще объятия, еще поцелуй, и они расстались.

ХII

Алеша сегодня утром, как всегда, миновал проходную без опоздания. И, как это случалось часто, встретил Лидочку Сперанскую — консультантку-переводчицу технической библиотеки завода.

У Лидочки Сперанской очень выразительные зеленые глаза. Особенно бывают они выразительны, когда видят Алешу Векшегонова. Но Алеша не ответил сегодня им даже обязательной в таких случаях улыбкой учтивости. Ему было не до нее. Он мало спал. Не более часа. И весь этот час он видел цветущую калину. Ею цвел весь лес. И сосны и ели. Меж ними витала прозрачная, почти призрачная, Ийя. Потом она исчезла, и на ее месте остался не то дым, не то туман.

Не то дым, не то туман застилал глаза Алеши и наяву. Хотя наладка нового автоматического станка ускоренной нарезки мелких болтов и ладилась у Алеши, все же он и в цехе не мог уйти от Малинового распада.

Ийя никогда еще не была такой волшебницей, как сегодня перед восходом солнца. И как он мог вчера на балу весь вечер танцевать с Руфиной, а потом смотреть на их отражение в пруду?

Нужно как можно скорее сказать Ийе: «Милая И! Ты открыла мне глаза, и я увидел, как люблю тебя. Идем и объявим об этом всем».

Так он и скажет ей вечером. Сразу же после работы, не заходя домой, он помчится на Шайтанову дачу.

Долго тянется день. Но все равно придет вечер. Счастливый вечер. Ее глаза будут сиять. Наверное, прослезится слезами радости ее дед Адам Викторович. А уж бабушка-то... Она больше всех любит Ийю. Так приветлива с нею...

Когда закончилась смена, Алеша догнал переполненный трамвай, идущий до конца бора.

Трамвай очень весело звенел, будто желая оповестить весь белый свет о том, как счастлив Алексей Векшегонов. Он считает остановки. Мыловаренный завод — раз. Металлургический — два. Улица Мира. Загородный проспект. Рудянка...

В самых радужных мечтах Алеша не заметил, как минули все остановки, он уже на просеке. Уже виден знакомый поворот направо...

И вот он на ее крыльце.

— Разве ее нет дома?

— Нет, — ответил появившийся Адам Викторович.

— А когда она вернется?

— Думаю, что никогда или очень не скоро. Вот ее письмо.

И старая, костлявая, но еще твердая рука деда Ийи вручила письмо. А затем эта же рука закрыла дверь, у которой Алексей остался стоять, держась за резную колонку.

На конверте значилось кратко и мягко: «Алеше».

Письмо тоже оказалось недлинным:

«Ну вот и все, Алеша! На твоей совести не должно остаться и крупницы вины передо мной или обиды, как нет ее и у меня.

Разве можно обижаться на то, что моя любовь не зажгла в тебе любви ко мне?

Алеша! Не спрашивай у деда, куда уехала я. И не старайся узнавать мой адрес. Ты его не узнаешь.

Будь счастлив. Прощай.

И».

И приписка:

«Проститься с твоими родными я не могла. Поцелуй за меня их всех. И особенно Сережу, и, конечно, бабушку Стешу».

Алексей обтер рукой мокрый лоб и принялся читать письмо снова. На письмо сел шмель. Алексей не согнал его. Он поползал по строкам, потом задержался на слове «Алеша», коснулся хоботком буквы «А» и, жужжа, улетел.

Как будто ничего особенного, простая случайность, но нервы так напряжены, что, казалось, не только шмель, зажужжавший как-то озлобленно громко, но и все окружающее — калина, трава, лес были недовольны им.

Конечно, окружающее сейчас отражало состояние его души. И он понимал это. Все же было стыдно даже перед травой.

Выйдя на просеку, Алексей пошел медленнее. Теперь его руки так живо вспоминали ее, а в ушах так отчетливо звенел ее голос. Она молча шла рядом с ним. Ийя никогда первой не нарушала молчания. Она никогда не мешала ему размышлять.

Как она была внимательна к нему! И как добра!

У нее были необыкновенные волосы пепельного цвета. Такие тонкие и густые. У нее были изумительные ресницы...

Почему были? Она же не умерла. Она жива. И все живет при ней. И острые локотки. И огромные серые глаза...

От нее никогда и никуда нельзя уйти, только разве в машины... В них можно уйти и от самого себя.

Тут он услышал испуганный голос:

— Алеша, тебя ищут дома... Ты не вернулся с завода и не позвонил домой.

Это был голос Руфины.

— Зачем же ты меня стала искать именно здесь? — недовольно спросил Алексей.

— А где же тебе еще быть? Любовь Степановна так беспокоилась, так беспокоилась, и я решила...

Алеша неодобрительно посмотрел на Руфину и ничего не ответил.

ХIII

Жарок уральский июль. Давно уже отцвела калина. Буреют крупные ягоды-зеленцы в Малиновом распадке. Один-одинешенек теперь старик-пенсионер Красноперов Адам Викторович в опустевшем доме, на Шайтановой

даче. Он занялся пчелами. Не для меда. Для души, для познания тайн жизни роя.

На заводском пруду визг купающейся детворы.

Многие десятиклассники-выпускники уже работают на заводе, другие готовятся к экзаменам в вузы, третьи устроили себе последние каникулы и выйдут на работу в школьный день, первого сентября. Руфина тоже придет на станкостроительный завод в этот день. Ее зачислили сверловщицей на многошпиндельный полуавтомат «АВЕ».

У полуавтомата «АВЕ» Руфина не окажется новичком. Еще в школьных мастерских, при сдаче проб на этом станке, она удивила квалификационную комиссию четкостью и быстротой работы. В тот день это сочли всего лишь счастливой удачей. Случается, что и средний ученик предстает на экзамене чуть ли не сверхотличником.

Руфина и тогда могла получить лучший разряд сверловщика. Но комиссия есть комиссия. Кто-то усомнился: как можно девчонку-десятиклассницу приравнять к сверловщикам, проработавшим не один год... Нереально... Непедагогично. И пошло и поехало — мало ли есть готовых слов и формулировок, перед которыми бледнеет сама истина...

Главный инженер завода, Николай Олимпиаевич, и не предполагал, во что выльется эта новая встреча Руфины и станка конструкции Алексея Векшегонова. Он видел в этой встрече нечто символически-романтическое, но не более.

Руфина пришла к станку «АВЕ» как к хорошему, давнему, доброму и послушному знакомцу. Это тоже для нее не просто станина, валы, шестерни, шпиндели и сверла. Вспомните, как говорил Алексей Векшегонов о машинах, называя их воплощением в металле человеческого разума. Как же она могла не знать, не изучить, не освоить это Алешино детище? Об этом не так просто рассказать. Конечно, Николай Олимпиаевич мог бы изложить нам все тонкости, и мы с удовольствием послушали бы его, если б не задержались и без того так долго на сложных и лирических «взаимоотношениях» станка и станочницы, хотя мы и оправдываем эти излишние подробности, потому что они объясняют нам то, что без них может показаться неожиданным.

Всякие детали — в станке ли, в повествовании ли —

должны знать свое место. У всякого колеса в механизме жизни свое вращение.

У Алеши было три вращения: цеховое, учебное и ночное — изобретательское. Все остальное жило само по себе и помимо него.

Мать Алеши, Любовь Степановна, и мать Руфины, Анна Васильевна, не напоминали ему об Ийе. Они сделали вид, что не заметили ее отъезда. Как будто Ийи вовсе и не было. А если и была, то прошла, как проходит одинокая тучка в июле, обронив крупные дождевые капли, которые тотчас же высыхают.

Руфина часто забегала к Векшегоновым. За перцем-горошком, за выкройкой. За семенами редиски для второго посева. Мало ли причин, чтобы зайти к соседям, живущим на одной улице. Если что-то взял, нужно вернуть. Опять не зря человек пришел.

Алексей приветливо встречал Руфину. Она же, в конце концов, ни в чем не виновата. Скорее уж он должен винить себя. Она и теперь нравится ему.

А что сделаешь, если ею любят все... Нельзя же ему стать исключением, наперекор другим и наперекор себе. К тому же загар так украсил ее. И летние сарафаны, которые нельзя запретить носить никому, тоже выполняли какую-то возложенную на них миссию. Особенно сшитые из тонкой материи.

Может быть и не преднамеренно, а случайно, но все было по одной цели.

Однажды Руфина, разговаривая с матерью Алексея о какой-то расстроившейся свадьбе, громко сказала:

— Если бы любила, так не уехала бы. Не бросила бы его. Значит, не было у нее к нему настоящего чувства.

Алеша слышал их разговор, сидя в своей комнате. Он слышал, как его мать подтвердила:

— Именно, Руфочка. Для некоторых нынче сход-расход — как танец сплясать. Взять ту же глазастую Лидочку Сперанскую...

А может быть, ничто не случалось зря и напрасно. Может быть, все, не сговариваясь, хотели, чтобы торжествовало разумное. И как знать, прав ли он, сопротивляясь большинству и, может быть, самому себе...

Как-то вернувшись домой с завода, Алексей был встречен криками «ура». У Романа Ивановича Векшегонова и у Андрея Андреевича Дулесова «счастливо

совпали» отгульные дни. Они были отмечены большим рыбным пирогом.

Коли все за столом, как не сесть. Можно обидеть гостей.

— Все парами сидят, и ты, Алексей Романович, парой садись. — Дулесов предложил Алексею стул рядом с Руфиной.

Подали пирог. Внесли его на доске. Покрытый полотенцами. Горячий, дымящийся.

Заново налили графин с нежно-зеленой настойкой на смородиновых почках. С весны настаивалась. Налили всем. И вдруг, ни с того ни с сего, Роман Иванович, ни к кому не обращаясь, спросил:

— А не горька ли смородиновая?

Алексею показалось это недозволенным вмешательством в его чувства, в его жизнь.

— Кажется, нет, папа, — твердо отчеканил он и, повернувшись к Руфе, произнес: — За начало твоей работы на заводе.

— Спасибо, Алеша, — ответила Руфина и, совсем как сестра, поцеловала его в щеку.

Этого будто никто не заметил. Анна Васильевна присоединилась к тосту Алексея:

— Работа — самое главное, а все остальное рано или поздно придет само собой.

И Алексей понимал, что «все остальное рано или поздно придет само собой». И от «всего остального» никуда не уйдешь.

Руфина сидит рядом с ним, самоуверенная, непоколебимая. И снова кажется, будто все обсуждено, решено и принято. И лишь он, простак, как бездумный подсолнечник за окном в палисаднике, не знает, что его сорвут.

От Ийи ни письма, ни сторонней весточки. Она будто канула в никуда. Канула, но постоянно здесь, с ним и Руфиной.

А зачем? По какому праву?

Ведь если разбирать по большому объективному счету его отношения с Ийей, то Алексея никак нельзя назвать обольстителем, обманщиком или кем-нибудь в этом роде. Ийя как-то сама сказала ему, что инициатива всегда была в ее руках. Она первой поцеловала его. И если у него, кроме большой дружбы, уважения к ее уму, воле, трудолюбию, были к ней и другие чув-

ства, то в этих других чувствах первой скрипкой было его непротивление. Он делал все так, как хотелось ей. Он всегда был счастлив, когда мог доставить радость другим. Конечно, и она дарила ему немало радостей, но все же он был всегда «во-вторых», а она «во-первых». А коли это так, то за что же он должен казнить себя и оставаться верным неизвестно чему? Ийя, кажется, очень просто смотрела на их отношения. И она так же просто порвала их, а затем уехала. Значит, чувства были не столь сильны. И, в конце концов, если уж на то пошло, Алексей жалел Ийю, на которую никто не обращал даже внимания. И за это, изволите ли видеть, он должен не жалеть себя... Не жалеть и другого человека — Руфину. Весь город знает, что она влюблена в него. Нужно ведь считаться и с ней.

— Вот что, Руфина, — сказал Алексей, провожая ее. — Завтра устраиваю выходной... А то так и лето пройдет.

На другой день он и Руфина катались на лодке. Гуляли по набережной. Бродили по темным аллеям старого заводского парка. И кажется, все окружающее желало их сближения. Все, кроме Ийи, которая не оставляла Алексея ни на одну минуту.

Так минул июль. Так минули первые недели августа.

Руфина терпеливо ждала. Время было ее единственным союзником. На него все надежды.

XIV

А Сережа Векшегонов тем временем переживал первые радости первых трудовых шагов. Он стал под начало знаменитого слесаря Макара Петровича Логинова, выученика старика Векшегонова. Логинов оплачивал выучкой за выучку векшегоновским внукам.

Алексей тоже начинал работать у Логинова, а теперь Сергей, повторяя успехи брата, радовал Макара Петровича. Добрый Макар Петрович скуп на похвалы, но Сережу он хвалит, потому что видит в младшем Векшегонове парня старательного, ищущего, неуспокоенного, как и Алексей.

Сережа уже изведал гордость первой полочки, первой вечеринки сверстников, пришедших вместе с ним на завод.

Все шло по-корошему. Весело мечталось ребятам.

Придет день, и они составят свою молодежную бригаду. А пока надо вникать, осваивать свою профессию и не терять времени даром.

Свободные часы Сережа проводит с ружьем в лесу, на болоте.

Руфину он почти не видит. А если случается встретиться, «здравствуй» — и все. Она стала какой-то не такой после школы. Как полевая мышь. Все в нору да в нору. И вообще Дулесовы не то что Векшегоновы. Разные люди. Снаружи как будто все одинаково, а копни глубже — разница. Сережа ничего не может сказать плохого о Дулесовых. Андрей Андреевич, отец Руфины, на хорошей славе кузнец, но как-то для себя... Не то что Сережин отец, Роман Иванович. Конечно, и его отец тоже старается заработать и радуется лишнему рублю, но это все между прочим и само собой, а не главным образом.

Может быть, Сережа придирается и наговаривает? Может быть, он вспоминает и выскивает всякое такое, чтобы хуже думать о Руфине? Может быть. Но если даже это и так, то все равно он ничего не выдумывает, а просто обращает внимание на то, что раньше ему не хотелось замечать.

Руфа всегда держалась в школе обособленно. Даже в кругу подруг она выглядела сама по себе. Такой вспоминает ее Сережа. Но не обманывается ли он? Может быть, выделялась не она, а он выделял и видел только ее, не замечая других? Да, конечно, в этом есть какая-то правда: она для него была самая красивая, самая умная, самая необыкновенная. Но...

Но почему, скажите, пожалуйста, у нее не было подруг? Таких друзей, какие есть у Сережи, за которых он хоть в огонь, хоть в воду. Нужно ружье — возьми. Велосипед — пожалуйста. Сережа этим не хвастается перед самим собой. Он просто сравнивает. Почему же не сравнивать? Если есть на свете самокритика, так она же относится не только к плохому, но и к хорошему. Хорошее в себе тоже нужно замечать хотя бы для того, чтобы оно было еще лучше.

Сережа думает об Алексее. Алексея и Руфину даже нельзя сравнивать. Алеша — это человек, у которого нет ничего «моего». Это ненормально. Потому что мы пока еще живем в такое время, когда ружье — твое, и велосипед с моторчиком — тоже твой, и твоя получка —

тоже твоя. Нужно быть добрым, но не глупым. И среди друзей встречаются любители даровщинки. Поощрять их так же плохо, как и скопидомничать. Не жалко отдать лишнее удилище. Пожалуйста, возьми. Но если ты можешь сходить в лес и вырубить удилище, зачем же отдавать тебе свое? Это не услуга, а вред.

Серее еще трудно разобраться во всем, но если не пытаться это делать, он никогда и ни в чем не разберется. Например, ему хочется знать, почему чуть ли не все считают Алексея и Руфину парой. А они не пара. Чтобы стать им парой, для этого либо Руфине нужно стать другой, либо Алексею уйти от самого себя. А это невозможно.

Вот если бы Сережа был на месте Алексея, Руфина могла бы оказаться ему парой. Потому что у Сережи другой характер. И он бы повел за собой Руфину. А брат слишком мягок. Он может уступить даже кошке, когда та лезет на солнышко и ложится на его чертеж. Кошке нужно сказать «брысь отсюда» — и все, а он переносит чертежную доску на другой стол. Конечно, у Алексея есть настойчивость, но только в работе. Из себя он может вить веревки, а другим не может отказать даже в нахальной просьбе. Серее хочется иногда внушить кое-что брату, он уже пробовал с ним говорить, но разве младший брат авторитет для старшего?

Сейчас мы можем и не придавать большого значения размышлениям Серее, но не мешает, однако, помнить, что Сережа больше нас знает своего брата и Руфину.

Руфина выглядит милой и самобытной. Это не частый цветок. Но у всякого цветка свои корни и своя наследственность... Поэтому нам необходимо знать хотя бы кое-что о матери Руфины.

Отец и дед Анны Васильевны — Жулановы — принадлежали к той благополучной, «выбившейся в люди» части рабочего люда Урала, которая заметно выделялась среди остальных. Свой дом, своя лошадь, корова, тройка свиней, дюжина кур, большой огород, покосные земли хотя и не возводили знатоков горячего домашнего дела Жулановых в категорию богачей, но все же, вольно или невольно, ставили их в разряд тех мелкопоместных мастеров, материальное преимущество которых размежевывало их с большинством собратьев по заводу.

А это многое определяло в сознании.

Анна Васильевна воспитывалась на традициях, в которых личная собственность, накопления, стремление больше заработать, не упустить свою удачу играли не последнюю роль. Хотя для Анны Васильевны все это и было только отголосками прошлого, но эти отголоски не умолкали в ней. Не умолкали настолько, что нашли отзвук в душе Руфины. Эти отзвуки жулановского скопидомства, пусть малой тенью, все же пришли с Анной Васильевной в дулесовский дом.

Прошрое, нередко притворяясь умершим, дремлет в нас. Дремлет, чтобы проснуться и заявить о себе при первом удобном случае.

Поэтому нам следует хотя бы прислушаться к сомнениям Сережи. Дети иногда видят больше и чувствуют лучше, нежели взрослые.

Сережу в семье считают по-прежнему мальчиком. И он был им еще в июне, на школьном балу. Но теперь август. За эти недели так много произошло, что ему даже самому не верится, как он вырос и возмужал. Руфина открыла ему глаза на многое. За это Сережа ей благодарен, но будет ли благодарна она себе за это?

Научившись смотреть шире, Сережа научился и действовать. Действовать открыто и прямо. Он решил увидеть Руфину и поговорить с нею.

Встреча произошла на дулесовских мостках. Зады огорода Дулесовых выходили на берег пруда. На этих мостках полоскали белье, ловили рыбу. Сережа решил поудить с мостков. Он пришел туда, когда Руфина каталась на лодке. Руфина обрадовалась, увидев Сережу, и причалила к мосткам.

— Пришел мириться? — спросила она ласково.

— А мы и не ссорились, — ответил Сережа. — Я пришел поговорить с тобою, Руфа.

— О чем?

— О брате.

— От него?

— От себя.

— Говори. Я слушаю.

— Руфа, ты любишь брата?

— Да, — ответила она.

— А он?

— Не знаю... А ты как думаешь, Сережа?

— Я думаю, Руфа, что ты должна его разлюбить. Руфина побледнела.

— Зачем?

— Он не будет счастлив с тобой...

— Что? Что ты сказал? С кем же он может быть счастлив, с кем?

— Я не знаю...

Руфина вышагнула из лодки на мостки, затем привязала к мосткам лодку, выпрямилась и сказала:

— Сережа, я прошу тебя ловить рыбу в другом месте.

Сережа наскоро смотал леску и ушел, ничего не сказав.

Руфина осталась в раздумье. Для нее Сережа всегда был милым, простоватым мальчишкой. Зная его влюбленность, Руфина могла расценивать сказанное Сергеем как очередное мальчишеское умничанье. Но глаза Сережи были строги. Голос звучал убежденно.

А вдруг да он говорит правду? Может быть, Алексей делился с ним? Может быть, Сережа пришел сюда по просьбе брата?

Нет, это невозможно. Алеша всегда любит Руфину. Ему приятно появляться с нею. Он так внимателен к ней. Внимателен, но не более.

Он никогда не разговаривает с нею ни о чем серьезном. Ничем не делится. Не рассказывает о себе. Не дает заглянуть в себя. Что-то прячет... От чего-то уходит...

Да уж будет ли в самом деле он счастлив с нею? Будет!

Он еще не знает Руфины. Пусть время идет. Не все и не всегда приходит сразу. Так говорит тетка Евгения. Так думает теперь и Руфина.

Сбудется твоя мечта, Руфина. Сбудется. Побеждают терпеливые.

XV

Осень, словно желая смягчить свое безрадостное появление, задабривала все живое щедрыми дарами полей, лесов, садов и огородов. Шумнее с каждым днем зеленые ряды на рынке. Мешками продаются огурцы. Яблоки — ведрами. Капусте счет ведут уже на сотни кочанов. Привычка к собственным соленьям жива в рабочих семьях.

Леса полны веселыми «ау», восторгами грибных находок: «Чур! Мое гнездо!» И если уж малец нашел гнездо груздей — другой не подходит. Грузди, растущие большими семьями, могут за полчаса наполнить доверху корзину грибника.

Руфина усиленно ищет любимые Алешины грибы. Она уже засолила в новеньком дубовом бочоночке отборные грузди. Поймет же он, какие чувства вложены в эту прелесть и сколько нужно было исходить лесов, чтобы собрать такую красоту!

Алеша с утра до вечера пропадает на заводе. Днем за наладкой и пуском новых станков, а вечером в конструкторском бюро.

Машины — это его радость и наслаждение, его мир творческих поисков. Так много замыслов и пока еще так мало свершений. Они будут. Непременно будут.

Машина капризна в своем рождении. Она куда капризнее, чем стихотворение. Алеша, мечтавший стать поэтом, помнит эти муки. Стихотворение всегда спорит с автором то лишним, то недостающим слогом в строке. То вдруг огорчает чужеродным словом или глухотой рифмы.

Но даже самое простое приспособление к станку требует не меньших, а, пожалуй, еще больших усилий. Какая-нибудь маленькая шестерня или ничтожный храповичок кажутся нужными в ночных раздумьях, а приходит утро — и они оказываются лишними, ненужными деталями, как мертвые слова, отягощающие стихотворение.

Зато какая радость, когда живущие порознь детали, как порознь живущие слова, соединяются в разумное произведение. Пусть не всем понятна эта поэзия Алексея Векшегонова, но она его волшебная стихия.

Сейчас он занят автоматической приставкой к своему станку «АВЕ». Это обойма с подающим механизмом. Простая вещь, а сколько мук. Ему хотелось ее закончить до отъезда, но впереди так мало дней, а подающий механизм обоймы сопротивляется. Не хочет подавать детали. Если бы еще неделю — обойма-автомат сделала бы его «АВЕ» автоматическим станком.

Беспокоит его и дипломная работа. Он решил заканчивать последнее полугодие заочного института «очно», а все равно грызут сомнения. Справится ли он с нею? По плечу ли она ему? Не слишком ли претенци-

озно ее название: «Теория непрерывной реконструкции»? Но ведь тема не надумана им. Ее подсказал сам завод. Он иногда будто шепчет ему: «Брось ты, Алешка, заниматься обоями. Бери шире. Комай глубже. Не бойся замахиваться».

Станкостроительный завод, конечно, обязан многими успехами дядьке Алексея, главному инженеру Николаю Олимпиевичу Гладышеву. Неустанному труженику. Это верно. Но Алексею кажется, что завод стареет, а дядя Николаша не замечает этого. Если завод сравнить с живым организмом, тогда он, как всякий организм, нуждается в беспрестанном обновлении своих клеток. А этого нет.

Николай Олимпиевич — душа завода — иногда кажется душой, привыкшей к своему телу, душой, не замечающей его одряхления. Потому и возникла у Алексея теория непрерывной реконструкции. Реконструкции не эпизодической, реконструкции не время от времени, а именно непрерывной.

Займствуют же инженеры очень многое из механики природы. Почему им не перенести из природы планомерную цикличность обновления клеток завода.

Может быть, это фантазия пылкой головы... Но ведь все живое растет безостановочно, непрестанно, планомерно. И если так не растет завод, значит, он перестает быть живым организмом.

Алеша верит своим мыслям, но и боится их. Если бы он мог так же, как дядя Николай Олимпиевич, уместить в своей голове весь завод, вот тогда было бы все ясно.

Как мало у него знаний и как еще ничтожен опыт, а вокруг столько дел, простых и сложных, больших и малых, второстепенных и неотложных...

Отъезд подоспел куда скорее, чем казалось. Руфина пришла провожать Алексея на вокзал. Она была очень нарядная, в темном платье, в дымчатом прозрачном плаще, накинутом на случай дождя. Ее глаза грустны. И весь ее печальный облик даже на посторонних людей навеивает грусть.

Руфина принесла дорожки — черемуховые пирожки. Их тоже любит Алеша. Не обошлось, разумеется, и без груздей.

Грузди были в ведерке с крышкой, тщательно припаянной к нему руками Руфины. Паять ее между делом в школьных мастерских научил Алексей.

— Какая хорошая пайка! — залюбовался Алексей. — Неужели сама?

— Разве дарят чужое? — Руфина опустила густые ресницы. — Я хочу, Алеша, хоть чем-нибудь быть приятной тебе. Пирожки тоже пекла я. Наверно, не так хорошо, как твоя бабушка. И грузди я, наверно, нашла не самые лучшие. Лучшее всегда почему-то достается другим. Более счастливым. Чаще всего тем, кто не дорожит счастьем... Но все-таки это очень хорошие грузди. Если понравятся, я их буду присылать вместо моих писем, которые тебе не нужны. Совсем не нужны... Как и ничего тебе не нужно, кроме машин...

Скажите, как можно было Алексею не поцеловать на прощание Руфину? Как можно было не растрогаться и не сказать:

— Не сердись, Руфина... Я и сам недоволен собой... Но это пройдет...

XVI

Первого сентября улицы города белели фартучками школьниц, пестрели букетами цветов. В этот день Руфина стала к сверлильному многошпиндельному полуавтомату «АВЕ». Она в первый же день выполнила норму на знакомом станке. И это было сразу замечено сменным мастером и начальником цеха.

Ее поздравили с первым успехом.

Главный инженер завода, проводя в цехах большую часть дня, подходил и к «АВЕ», на котором работала Руфина. Он вовсе не хотел этим выделить ее среди других молодых рабочих, пришедших на завод, но внимание к ней главного инженера помимо его воли влекло за собой некоторые организационные последствия.

В цехе замечался каждый успех молодой сверловщицы, и когда она стала перевыполнять производственное задание, об этом заговорили несколько громче, нежели следовало. Ее имя назвал на планерке завода и сам Николай Олимпиевич. Хотя это не вызвало кривотолков, все же нельзя было думать, что такое лицо на заводе называет ее случайно.

Ларчик открывался просто. Когда Николаю Олимпиевичу было столько же лет, сколько теперь Сереже, он, как и Сережа в Руфину, был безнадежно влюблен в ее тетку Евгению.

Евгения позволяла семнадцатилетнему Николаю ухаживать за собой. Она отправлялась с ним в далекие прогулки. На камни-гольцы. На вершину Шайтан-горы. Окружающие рассматривали все это не более чем желание редкой красавицы иметь при себе пажа, а старухи говорили проще — хвост.

Двадцатидвухлетняя Евгения обещала семнадцатилетнему Николаю подумать о замужестве и подождать, когда он выбьется в техники. Обещание она подтверждала звонкими поцелуями. Иногда она клала его голову на свои колени и пела:

Баю-баю, баю-бай!
Спи, мой мальчик, Николай.

Это было обидно, но приятно. Такое богатство ощущений. Такое море счастья. Незнаемых открытий. Наверно, Евгения по-своему любила Николашу, как большую куклу, которой она безнаказанно играла перед тем, как выйти замуж за техника из Магнитогорска. Она уехала, не попрощавшись со своим «хвостом».

Как давно это было... И, кажется, уже многое забылось. А Руфина, не зная того, воскрешала в памяти Николая Олимпиевича его первую, поруганную, незабываемую любовь. Он даже как-то, не заметив, назвал Руфину Женей. И та не поняла оговорки Николая Олимпиевича.

Когда в цехе и в заводоуправлении увидели, что Руфина Дулесова перевыполняет даже «теоретические» нормы на своем станке, появились не только поздравительные «молнии» цеховой комсомольской организации, но и пространные интервью начальника цеха в газетах.

Вначале Руфина называлась одной из первых в цехе, а потом — первой. В цех стали приходить фоторепортеры, а вскоре прибыл сюда и кинооператор. Пока что из местной кинохроники. И Руфа всего лишь несколько секунд покрасовалась на экране, зато крупным планом. И все заметили ее.

Для кого-то все это «не из тучи гром», но те, кто знал, как вечер за вечером влюбленная Руфина в школьных мастерских подчиняла своей воле и станок и руки, желая понравиться Алексею, не назовут чудом естественный результат неодолимого и настойчивого желания — быть замеченной.

Скорая слава — как снег. Либо она, «попуржив», растает, либо растет, превращаясь в снежный ком.

От Алеши пришла уже вторая поздравительная телеграмма. Приходили и письма. Приходили письма и от совсем незнакомых людей.

«Уважаемая Руфина. Очень бы желал с вами познакомиться...» Или: «Я восхищен вашей работой. Хотите ли вы завести со мной переписку?..» И другие в этом же роде. . .

Письма читала и сортировала мать Руфины. Некоторые из них она пересылала Алексею. Как бы для смеха. На самом же деле преследовались иные цели.

Так началась трудовая жизнь Руфины. Не только другие, но и сама она удивлялась своим первым шагам.

XVII

Время будто укоротило свой длинный маятник и растеряло из своего механизма большие шестерни, замедлявшие его ход. Часы, а за ними и дни потекли тем быстрее, чем стремительнее нарастали успехи Руфины. Любовь и слава стали неустанными подручными Руфины у станка «АВЕ», помогая ей, как только могут помогать эти две силы, не знающие усталости, предела и успокоения.

И не заметила Руфина, как на смену бурой осени явилась белая зима. Зима пришла, а в цехе лето. Маками цветут Руфинины успехи. Июльской зарей полыхает ее слава. Проворству и точности ее рук удивляются все. Многие бегают в цех посмотреть на ее работу.

А руки выглядели медлительными, как и сама виновница шумных восхищений. Это не удивляло мать Руфины. Она уже привыкла, что ее дочь, медлительно зашипывавшая пельмени, делала их больше, чем все другие. Стирая белье не торопясь, она управлялась быстрее и стирала чище.

Не удивлялись и подруги. Если Руфина играла в баскетбол, брошенный ею мяч почти всегда оказывался в корзине. И в стрельбе из духового ружья она целилась как-то очень лениво, но всегда брала верх по времени и попаданию.

Видимо, какая-то особая врожденная расчетливость движений стала теперь основой ее успехов. Но здесь

речь пойдет не о технологии сверления, а о том, какие перемены происходили в жизни сверловщицы Дулесовой. А они были разительными.

На встрече Нового года Руфина сидела в том же зале Дворца культуры, где проходил бал десятиклассников. Руфина сидела за почетным столом передовиков завода. И это тоже было запечатлено на киноплёнке.

А вскоре в журнале «Огонек», а затем в журнале «Смена» появились цветные фотографии Руфины.

Алексей не верил своим глазам, а товарищи по институту сомневались, что такая красавица может быть влюблена в такого в общем-то простоватого студента Векшегонова.

И мать Алексея, Любовь Степановна, побаивалась, как бы не занял кто-то другой Алешино место в сердце Руфины.

У Дулесовых всегда молодежь. На улице снег, а на столе у Руфины живые цветы. Не просто же все это так... Не из одного же уважения к превышению ею норм на двух станках. Кому не лестно теперь жениться на знаменитой Руфине Дулесовой. И Любовь Степановна написала сыну в письме:

«...если нет, так нет, а если да — так зачем тянуть? Приехал бы хоть ты, Алеша, на денек-другой и решил бы, что и как. Я тебя не хочу ни в чем убеждать. Ты — бабушкин сын, но ведь и мать как-то доводится тебе, и, наверно, матери тоже хочется видеть своего первенца счастливым. Прошу тебя, приезжай хоть на денек-два повидаться с нами...»

И Алексей приехал.

Он увидел Руфину в ореоле славы. От незнакомых людей продолжали приходить письма пачками. И в некоторых из них не только хотели познакомиться, но и предлагали сердце, руку. Предлагая, прилагали свои «анкетные данные» и фотографии.

«Я как увидел вас в журнале, и потерял покой...» — писал очень симпатичный лейтенант, снятый и в военной форме, и в штатском модном костюме в лесу, на пне, и в косоворотке.

«Руфина Андреевна! Я ничего не знаю о вас, но кажется, знаю больше, чем о себе...» Далее следовали фамилия, имя, отчество и занимаемая должность в станко-строительном институте.

Алеша и Руфина смеялись так, что звенели стаканы

в стеклянной горке. Анна Васильевна была очень счастлива.

Алексей не знал, как он относится к Руфине, но все хотели, чтобы он любил ее, так хотели, что ему было жалко обмануть ожидания стольких людей. И теперь не одна его мать, но и знакомые намекали: «Если нет — так нет, а если да — так зачем же тянуть?» Спрашивала об этом и Руфина. Пусть не словесно. Но глаза... Ее глаза признаются в любви. Они ждут от него ответа. А письма? Ожидания у окна и встречи у ворот? Модные прически, наряды... Для кого они? И, наконец, сама работа на «АВЕ» — разве это меньше слов?

Алексей молчал, молчал и неожиданно спросил Руфину:

— Ты хотела бы соединить свою судьбу с моей?

Вместо ответа Руфина бросилась на грудь к Алеше и обняла его.

Анна Васильевна, войдя в эту минуту с посудой на подносе, постаралась уронить его. Невелик расход, а грохота и впечатлений уйма.

— К счастью! — воскликнула она и позвала: — Отец, иди сюда и погляди на дочь. Она его задушит... Разными!

Вбежал Андрей Андреевич. Остановился. Ахнул и сказал:

— Я к Векшегоновым... А ты, что есть — на стол! И больше горького... — Он убежал, накидывая на ходу дубленный желтый полушубок.

Ах, Ийя!.. Где ты?

Через час состоится пир горой, и нам следовало бы побывать на нем, но расчетливость и забота о главных событиях, которые впереди, заставляют нас беречь страстицы и время.

Герой уехал обрученным, и вскоре эта новость, которую так ждали, стала известна всем.

Свадьба была назначена на май-июнь, по возвращении Алексея с дипломом инженера. Теперь осталось только ждать да прикупить чехословацкий мебельный гарнитур. Только бы не прозевать. Их не очень часто доставляют в главный универмаг.

Николай Олимпиевич твердо заявил:

— Две комнаты в шестизэтажном доме. Согласовано где надо. К майским праздникам Руфина получит ключ. Салют!

Счастье улыбалось так, что и не верилось.

Приближающаяся свадьба была в поле зрения если не всего завода, то доброй его половины. Интерес к ней вызывался не одной лишь романтикой более чем векового стремления Векшегоновых и Дулесовых породниться; не только лишь зенитом славы Руфины, но и славой Алексея. Его многошпиндельные полуавтоматы «АВЕ», странствуя с одной выставки на другую, получили признание и медали за рубежом, а вслед за ними и заказы многих стран на эти станки.

Месяц назад свадьбу предлагали отпраздновать в ресторане «Горные вершины», теперь празднество решено было перенести во Дворец культуры. На многих заводах уже прошли свадьбы, ставшие общезаводским празднеством. Можно по-разному судить об этих празднествах, но от жизни не уйдешь. Если такие свадьбы происходят, значит, в них есть какая-то жизненная потребность.

Руфина ликовала. Ее свадьбу увидят все, узнает о ней и... Ийя. Узнает и поймет, чего добилась знатная станочница Руфина Дулесова и как засверкал в лучах ее славы Алексей Векшегонов, которого она делает теперь не только счастливым, но и знаменитым.

Одно только беспокоило Руфину: не запротивился бы Алексей? Ведь он уже заметил ей в последнем письме: «...а не слишком ли много шуму вокруг тебя, Руфина...»

Этой фразе, сказанной между прочим, можно и не придавать значения, тем более что многие считали Алексея человеком излишне скромным. Но если в этой фразе заключается несколько большее, то, может, следует хотя бы обратить на нее внимание...

XVIII

Единственная дочь Дулесовых, Руфочка, как это и бывает в таких случаях, окружалась вниманием, лаской, нежными заботами матери, ее баловал отец. Одна же! В ней слились жизни, чувства, надежды Анны Васильевны и Андрея Андреевича. Как не любить свое живое продолжение, от которого пойдут внуки!

Однако никто не скажет, что Руфина выросла белоручкой, лентяйкой, бездельницей. И щи сварить, и печь испечь, даже корову подоить умела радивая Руфина. Пусть теперь Дулесовы, как и большинство рабочих

семей, не держат своей коровы, а — уметь надо. Мало ли. Умение что имение, в сундуке не плачет, жить не мешает.

Шить нынче тоже можно не уметь — кругом ателье и готового платья хоть пруд пруди, а коли своя машина есть, так зачем ей даром стоять. Или взять огород. Конечно, овощной магазин нынче сподручнее. И главное — дешевле. Но матери-бабки-прабабки свою капусту ели, свои огурцы солили, свою картошку в подпол засыпали. Зачем же ломать это? Да и не пустовать же земле. Стыдно как-то, когда в огороде репей да крапива.

Руфина могла управляться и с огородом. Мать хотела видеть в дочери хозяйку, лучше сказать — главу семьи, как она сама. Андрей Андреевич Дулесов был при жене и не жаловался на это. Хлопот меньше. Все у нее в руках. А он король королем. Жена знает, какую ему рубашку надеть, когда водочки выпить, к кому в гости пойти, кого к себе пригласить. Даже охоту и рыбную ловлю жена планировала. Скажет, бывало, Анна Васильевна:

— Андрей, ты никак прокисать начинаешь. Проветрился бы на болоте.

Скажет так и начнет готовить охотничью снасть. А тот рад-радешенек не столько охоте, сколько жениной заботе. Мало того, что она его на охоту соберет, но и папарника найдет. Вот и отправится Андрей Андреевич на болото — брюхо подобрать. Работа у него хоть и кузнечная, но нынешние кузнецы не то что прежние. Молот сам кует, только педаль нажимай. На такой работе не похудеешь. Разминка нужна.

Теперь Андрей Андреевич разминается только с Романом Ивановичем Векшегоновым. Жене виднее, с кем уток бить, да и ему самому любо с таким человеком у костра портянки посушить. Также ведь дедом его внуков предвидится. Значит, почти как брат. И добрый брат. Чувствительный. Если бы он не был чувствительным, то разве бы сказал:

— Андрей, тебе, наверно, горестно, что от твоей Руфины Векшегоновы, а не Дулесовы пойдут? Так знай, что первого внука Дулесовым запишем. У меня ведь еще Сережка есть. А у тебя только Руфочка...

Андрей Андреевич прослезился тогда. Дорого ему было то, что Роман Векшегонов позаботился о его фамилии. Настоящий мужик. Правда, все это было сказа-

но под сильными градусами, однако же Роман Векшегонов не из тех, кто словами сорит, хоть бы и во хмелю.

Побратались тогда на охоту Андрей Дулесов и Роман Векшегонов. Ружьями поменялись. У Дулесова хорошее ружье. Из штучных. С золотой насечкой, с тонкой гравировкой. А у Романа Векшегонова ружьишко — так себе. Из ходовых, недорогих тулок. Ну и что? Не жалко. Даже Анна Васильевна, женщина хозяйственная, и та похвалила мужа.

Главенство в семье матери не могло не сказаться на Руфине. Мать, может быть и не желая, подсказывала этим, как дочери нужно вести себя с Алексеем. И дочь усваивала это довольно прочно. Если в прошлом году она ловила каждый взгляд Алексея, была благодарна лишней минуте, проведенной вместе, то теперь многое изменилось.

Во-первых, она не та, что раньше. Ей уже не нужно выпрашивать его улыбку и бояться, что может прийти от Ийи письмо и омрачить ее счастье. Руфина даже не допускала, что во всем свете может найтись какая-то другая девушка, которая может помешать им. Алексей теперь безраздельно принадлежал ей. И он должен быть благодарен Руфине за это. Теперь не только он ее, но и она делает его счастливым. Пусть он еще не понимает всего в полной мере, но когда-нибудь поймет. Когда-нибудь она покажет ему письмо от Виктора Гладышева... Сейчас это неудобно, но потом, когда она станет женой Алексея, почему бы ей не сказать, что такой блистательный Виктор Гладышев был ее первым увлечением. Пусть это была не любовь. Какая там любовь могла быть у девчонки в одиннадцать лет...

Но потом, когда она училась в седьмом классе, он приезжал в отпуск лейтенантом. Совсем уже взрослым. Настоящим взрослым человеком. И они танцевали. Они очень много танцевали. И его глаза говорили то, чего еще не мог произнести школьнице его язык. А теперь эти слова сказались. Она получила от него письмо с флота.

Это письмо пришло вместе со многими другими письмами после того, как ее портрет был напечатан в журнале «Огонек». Она сначала и не обратила внимания на это письмо. Оно было подписано именем — «Виктор». Мало ли пришло таких писем от Викторов, Василиев, Геннадиев, Борисов... Какая им цена! Как может по-

любить заочно серьезный человек! В этом есть даже что-то оскорбительное. Поэтому Руфина, прочитав через строчку очередное предложение, отложила его. Но мать, для которой чтение таких писем было наслаждением, потому что они каким-то боком относились и к ней, прочитала письмо Виктора от строки и до строки.

— Руфочка! — сказала она тогда, смеясь. — Да ведь это же пишет Виктор Гладышев!

Виктор недолго занимал Руфину. Его письмо всего лишь льстило ей. Она не ответила на него. А на другой день Руфине было даже стыдно, что она позволила себе думать о Викторе. Руфина знает, что Алеша во многом уступает Виктору Гладышеву. По крайней мере во внешности. В твердости характера. В решительности. Но разве счастье в этом?..

Нечего таить греха, Руфине хочется, чтобы Алеша был покруче. Хотя бы таким, как его младший брат Сережа. Потому что мужчина — это мужчина. Он не должен быть сливочным маслом — на какой кусок намажут, на том куске и едят. А он именно такой. Если бы Ийя захотела тогда... Впрочем, зачем вспоминать, как могла бы распорядиться им даже эта цапля.

Скорее бы уж приезжал Алеша... Скорее бы отшумела свадьба, затем новоселье... А затем отпуск — Кавказ, Крым... счастливая пора.

ХІХ

Идейным руководителем Руфины была ее тетка, Евгения Андреевна. Родная сестра отца. Первая юношеская любовь Николая Олимпиевича Гладышева. Она очень часто наезжала к Дулесовым. Руфа — ее завидное повторение. Даже мать ревновала дочь к тетке. Евгения той же вогульской красоты отцветшая роза. Но еще стройна и озорна. Поет под гитару. Поет глухо, да за душу берет:

Тебе от меня никуда не уйти,
такую тебе нигде не найти...

Слова песни хотя староваты, а находят отклик в душе Руфины. Тетка не то что мать. С теткой свободнее во всех отношениях. У матери и половины не спросишь, что узнаешь от тетки запросто.

Потеряв двух мужей, Евгения Андреевна нашла счастье с третьим. Наставлять племянницу для бездетной Евгении Андреевны стало какой-то внутренней потребностью. Пусть она чересчур прямолинейна, а временами даже грубовата, зато это все у нее от чистого сердца и для пользы племянницы.

Она считает выбор Руфины единственно счастливым и правильным. Но правильным и счастливым не потому, что Алексей превосходный, честный, открытый, добрый, отзывчивый человек. Это ему отчасти даже ставится в вину. Его лучшим качеством оказывается покладистость. Уступчивость.

— Подняться трудно, — внушает тетушка, — а упасть — мига хватит. Походила ты за ним, теперь он пусть за тобой тянется. Ты как-никак у нас на всю страну слышна, а он пока еще...

Тут Евгения Андреевна не находит нужного определения. Она боится унижить Алексея в глазах племянницы, но в то же время ей хочется доказать превосходство Руфины над Алексеем.

Хотя это все Руфина понимает и без тетки, но ей ничем не хочется унижить Алешу, а даже наоборот, и поэтому она пишет ему: «Ты мой учитель, Алеша, и всем, Алеша, я обязана тебе. Всем, от выбора профессии до успехов на станке твоего имени».

Так Руфина пишет и потому, что ей боязно, как бы Алексей не позавидовал ее славе, как бы он не почувствовал себя вторым лицом при ней, при ее славе. Пусть это, по ее мнению, так и есть, пусть, в этом она убеждена, но зачем же наступать на ногу любимому человеку. Руфина даже настояла, чтобы ордер на новую квартиру был выписан на него, хотя в решении было ясно сказано: «Предоставить вне очереди за выдающиеся производственные успехи сверловщице Руфине Андреевне Дулесовой, в порядке исключения, в доме № 26 по улице Металлургов трехкомнатную квартиру...» Далее следовал метраж, добавочные обоснования и прочее. Хотя предоставление новых квартир теперь на станкостроительном и стало не редкостью, все же необходимо было аргументировать пространными формулировками несколько завышенную жилую площадь, предоставляемую молодой паре.

Руфина всячески оберегала самолюбие Алексея. Ей не верилось, она не могла допустить, что ее жених ли-

шен чувства честолюбия, стремления быть впереди. Она даже как-то призналась в этом тетке:

— Я хотя и не замечала в нем ничего такого личного, все-таки мне, тетя Женя, иногда кажется, что это у него и от самовнушения.

— Факт! — подтвердила Евгения Андреевна. — Это у него от птицы Феникс да от бабкиных сказок. Походит, походит твой Алешка в юродивых отроках, а как обзаведется семьей, так и рублю цену знать будет, и своим трудом дорожить начнет.

Евгению Андреевну особенно возмущало, что награжденные и премиальные деньги за успех на зарубежных выставках станка «АВЕ» Алексей разделил поровну между членами всей бригады, участвовавшей в создании этого станка, и два пая отдал своему учителю слесарю Макару Петровичу Логинову. А мог и не отдавать. Это ведь не пачка папирос, а почти половина своего автомобиля. Но Евгения Андреевна успокаивалась тем, что скоро найдется распорядитель премиям, заработкам и всему, что составляет главную основу благополучия семьи.

Проницательная тетя Женя считала славу Руфины преходящей. Поэтому ей хотелось выжать для племянницы из славы все возможное. Евгения Андреевна видела, на какую вершину взлетали сталевары на Магнитке, в каких знатных тузах ходили удачливые доменщики, а потом — пых! — и снова нормальная трудовая жизнь. Ни портретов, ни крупных букв в газетах, ни мест в президиумах на торжественных заседаниях...

Мать Руфины, Анна Васильевна, верила, что ее дочь единственная и неповторимая, что ее знатность будет разгораться жарче и ярче день ото дня. А Евгения Андреевна помнила, как, зазнавшись, сгорел на славе второй ее муж. Вознесся. Вообразил... И когда ему это все разъяснили на общем собрании, он, привыкший к похвалам, не сумел расстаться с ними. Жадное до почестей сердце не выдержало и...

Теперь эта смерть попрizaбылась, и Евгения Андреевна не напоминает о ней своей племяннице, но подстрекает ее «не хлопать ушами» и не пропускать того, что может уйти и не вернуться.

Не без теткиного влияния обещанная двухкомнатная квартира превратилась в трехкомнатную. Тетушка резонно доказывала:

— Где двое, там через год, через два будет трое, а

то и четверо. Да еще кто-то должен за ребятами ходить. Как без третьей комнаты жить?

Мать Руфины тогда легонько возразила:

— По жизни, может быть, это все и правильно, а по общей жилищной картине — не очень. Кому-то за счет дочериной прибавки недодадут комнату. Как людям в глаза глядеть?

А потом и она, препираясь со своей совестью, нашла слова, чтобы подчинить ее. И Анна Васильевна стала твердить:

— Кому что положено по способностям, тот то и получает. Не нами это заведено.

Андрей Андреевич Дулесов тоже имел свои суждения об успехах дочери. Он говорил не таясь, не подыскивая оборонительных объяснений:

— Моя Руфка просто-напросто попала в струю. Наш завод давно привык светить героями, лауреатами, а за последние годы у него никакого фонаря... И вдруг объявляется молодая работница с десятилетним образованием. Две нормы! Три нормы! Попала девка в струю — ну и пошло, понесло, поехало...

Главный инженер завода Николай Олимпиевич Гладышев тоже не переоценивал успехи Руфины, однако брошенный им камень породил слишком большие круги на воде. Теперь Руфина с легкой руки Гладышева ставится в пример и другими. Она украшает предприятие. Как можно не соглашаться с этим?

Николай Олимпиевич не знает, что молодая станочница, пожалуй, излишне увлеклась своей славой, не внимая мягким замечаниям, которые были в письмах Алексея. Она даже сердилась: «Если ты, мой дружок, не от мира сего, так меня-то тебе зачем уводить от здравого смысла?» Так писала ему Руфина в одном из писем, а в другом она сказала еще прямее: «Алешенька, должен же кто-то из нас стоять на земле обеими ногами».

Руфина, как, впрочем, и Алексей, не думала, что в этих маленьких размолвках заключено нечто гораздо большее...

Кажется, все благоприятствовало Руфине и все заботились о ее благополучии. И ранняя весна, и пруд, поспешивший освободиться ото льда, чтобы удачливая красавица скорее могла увидеть в его зеркальной глади свое лицо рядом с Алешей. Даже огромный станко-

строительный завод теперь казался всего лишь площадкой для ее славы. Да и сам Алеша стал выглядеть хотя и прекрасным, но все же приложением к достигнутому Руфиной.

Добившись многого, она захотела большего. Руфина объявила, что она хочет работать на трех станках «АВЕ». И это подхватили. Желание знатной сверловщицы получило настолько шумный резонанс, что было решено устроить общественный показ ее трудовых достижений. Именно так и было это сформулировано на заводе.

И в этом был свой резон. Большинство станков завода все еще обслуживали руки рабочего. От умения рук зависел успех выполнения производственного плана. А руки Руфины оставались завидным образцом.

Разумеется, цех не театр и работающий на станке не артист, хотя где-то, в каких-то случаях, виртуозная работа становится зрелищем. И Руфина ждала дня общественного показа, как некоего бенефиса. Она даже придумала себе особый нарядный комбинезон из синей ткани, простроченный двойным ярко-желтым швом.

Словом, все шло самым отличным образом, а уж про свадьбу нечего и говорить. Тут все было учтено и предусмотрено, включая второстепенные подарки. Например, смирившийся Сережа Векшегонов преподнесет хромированную пластинку, на которой будет выгравирована его рукой надпись: «Алексей Романович и Руфина Андреевна Векшегоновы». Эта дощечка украсит дверь новой трехкомнатной квартиры, ключ от которой в подарочной коробочке вручит председатель завкома в день свадебного торжества. В числе подарков не будет забыта и детская коляска с колесами на резиновых шинах.

Скорее бы только приезжал он, чтобы удивиться, понять, что теперь она значит, и начать новую, счастливую жизнь.

И Алексей будто подслушал — появился раньше, чем его ждали. Оказывается, защиту дипломного проекта перенесли на завод. Перенесли потому, что проект имел прямое производственное отношение к станкостроительному заводу.

Алексей, придя в дом Дулесовых, застал Руфину перед зеркалом; с ним, надо сказать, за последние месяцы у Руфины случались встречи все чаще и продол-

жительнее. Алексей недолюбливал зеркала. Всякое зеркало напоминало ему где-то слышанное стихотворение о стекле. О чудесном стекле, через которое человеку был виден изумительный мир. А потом это стекло покрыли зеркальным слоем. Мир исчез, и человек увидел только себя. Себя!

С тех пор началось какое-то неприязненное отношение ко всякому зеркалу и к человеку, который задерживается перед этим опасным стеклом.

Но зеркало еще так-сяк... Не оно привлекло внимание вошедшего Алексея, а каблуки. Слишком высокие каблуки новых туфель Руфины.

«Как я мелочен и несправедливо придирчив!» — упрекнул себя Векшегонов и крикнул:

— Здравствуй, Руфа!

Она подбежала к нему:

— Алеша, ты вернулся!

Она подбежала к нему, и, кажется, радость встречи готова была затмить все, но, чтобы поцеловать Руфину, Алеше пришлось, как говорится, привстать на цыпочки. И это смутило его.

Здесь можно опять криво улыбнуться и посмеяться над Алексеем. Однако же найдутся и сочувствующие, особенно из людей невысокого роста. Как ни странно, а великий Пушкин, возвышавшийся на несколько голов над своим веком, был раним своей низкорослостью. Можно назвать и другие имена выдающихся людей, которые мечтали о недостающем вершке в их росте. Однако нам не следует уделять столько внимания высоким каблукам, тем более что с ними легко расстаться. Снять туфли — и все.

Так Руфина и сделала, приглашая Алешу сесть на сундук, где они часто сживали. У сидящих обычно скрадывается разница в росте.

— Какая радость. Какая неожиданность...

Восторги Руфины, перемежаемые поцелуями, ошеломили Алешу. Перебивая друг друга, они старались как можно скорее поделиться всем тем, что накопилось за эти месяцы разлуки. У Алексея тысячи планов. У Руфины миллион желаний.

Пусть во многое пока еще трудно поверить, но почему же не помечтать. И, кажется, все обещало быть голубым и розовым, но проклятые каблуки не хотели уходить из головы Алексея. Он гонит назойливые мыс-

ли, а они возводят злополучные каблуки чуть ли не в характеристику Руфины.

Нет, нет... Не стоит давать волю таким мыслям. Векшегонов расстанется со всей этой чепухой. Наверно, он слишком устал за месяцы сплошных экзаменов, зачетов.

Все станет на свое место. Ничто не омрачит его душу. Ему уже стыдно за себя. Он уже целует такие милые руки Руфины. Трудовые, прекрасные руки своей невесты целует Алексей Векшегонов.

Ну а что касается всяких отклонений Руфины от тех норм, которым следует Алексей, то это все проходяще.

Руфина любит его, а любовь поможет ей стать проще и внешне и внутренне.

Все войдет в свою колею. Завтра воскресенье. Оно, конечно, будет солнечным. И они отправятся за город навстречу весне. Радио обещает заморозки. Но это последние заморозки и на душе, и на улице. Любовь растопит чуточку заледененное славой сердце Руфины, и тогда придет настоящая теплая весна...

XX

Говорят, что наиболее гармоническую пару составляют разные характеры, которые, взаимно дополняя или, наоборот, ограничивая один другого, дают счастливые браки.

Может быть, это и так. И, наверно, многие могут подтвердить сказанное примерами из собственной жизни или из жизни своих знакомых. Однако никто или почти никто не утверждает, что разные по мировоззрениям люди, будь то муж и жена или товарищи, дают благоприятное сочетание, даже если на первых порах общения их сближают взаимные влечения и симпатии.

Старик Векшегонов на этот счет вчера вечером, как бы между прочим, сказал Алексею так:

— С красой-басой целуются-милуются, а жизнь живут нутро с нутром, душа с душой.

А потом, в этот же поздний час первого дня приезда Алексея, дедом было досказано:

— Скворцу всякая скворчиха — жена, ежу всякая ежиха — пара. Им что? Лишь бы поест, поспать да множиться. В этом смысле разногласий у них не возникает. А у человека иная линия. У него кроме телес да пищеварения есть и другие направления. Идеи, скажем.

Стремления. Размышления — для чего и как прожить свою жизнь. На то он и человек, а не скворец или, скажем, еж.

Соглашаясь с дедом, Алексей не придавал особого значения его словам. Зная, что дед недолюбливает Руфину, видел в его суждениях ту излишнюю строптивость, которая неизбежна для всякого старика.

Пройдет время, и дедушка полюбит Руфу и назовет ее своей милой внучкой. Алеша завтра же начнет исподволь влиять на свою невесту.

И завтра пришло. Светлая ночь сменилась солнечным утром. Радио не обмануло. С утра слегка подморозило, а часам к восьми наступила живительная теплынь. Природа как бы предвосхищала желания Алексея.

В девять он был у Дулесовых. Жениха потчевали мясными пирогами, что называется, прямо со сковороды. А потом Алексей и Руфина отправились в лес.

Пока еще сыро в лесу, но уже есть просохшие полянки, особенно в сосняке. Не надышишься ароматом хвои. Не наслушаешься птичьего щебета. Почему-то сейчас опять вспомнилась Ийя. Но зачем вспоминать то, что положено забыть.

Травы уже ожили изумрудной зеленью. Тропки малят все дальше и дальше в лес. Повеселели и зверушки, пригретые солнцем. Встретился бурундучок, а затем и еж. Еж напомнил вчерашний разговор с дедом. Как все странно связано... Алеше не хотелось пока говорить ни о чем серьезном. Кругом такое веселье, а еж, посмотревший на Векшегонова маленькими острыми глазками, как бы кольнув своим взглядом, спросил его: «Что же ты все о пустяках да о пустяках, а о главном-то когда?»

Надо же было встретиться ежу и вмешаться в их такой милый и такой душевно-пустой разговор. Но коли встретился еж и спросил его голосом деда Ивана Ермолаевича, значит, нечего уклоняться.

— Руфа! — начал он. — Я почему-то всегда... или очень часто... задумываюсь над своей жизнью, над своими поступками. Проверяю, понимаешь, оцениваю... А ты?

— Что это ты вдруг? — удивилась она. — Разве тебе что-то кажется неправильным в моей жизни?

— Да нет, я просто так. Просто так.

Бесхитростный Алексей не нашел тонкой нити для

начала разговора. Он не умел подыскивать слова. Они как-то сами по себе приходили на язык, не спрашиваясь его, быть ли им сказанными или утаенными до поры до времени.

— Руфа,— опять заговорил Алексей,— не кажется ли тебе, что ты одна?

— Одна? То есть как одна?

— Без людей. Сама по себе.

Руфа ответила не сразу. О чем-то подумала, что-то взвесила, в чем-то насторожилась. Вспомнила, что об этом же ей говорил Сережа.

— У меня никогда не было особенно близких друзей.

— Почему?

— Наверно, были причины.

— Какие?

Руфа опять задумалась и ответила не спеша:

— В школе я была слишком успевающей и... прости меня, заметной девушкой в смысле внешности. Таких не очень любят. А теперь... Теперь мои достижения... они тоже не могут радовать друзей...

Алеша не сдержался. Пришедшие на его язык слова не проглотились, и он спросил:

— А так ли уж велики, Руфа, твои достижения? Следует ли так часто вспоминать о них?

Руфина вспыхнула. Остановилась. Поправила прическу. Потом сказала:

— Тебе виднее со стороны, Алеша.

— Я не сторона для тебя, Руфа. Мне кажется, я нечто большее.

— Значит, ты лучше других должен видеть, чего я достигла. И воодушевлять меня, а не сомневаться.

Руфина вновь занялась прической. Как очаровательны движения ее рук! Как хороша она в лесу! Стройные и высокие сосны — выразительный фон для ее стройного стана. Но почему опять вспоминается зеркало, возникают каблуки?..

Нет, нельзя останавливаться на полдороге. Это не в характере Алексея Векшегонова. Любовь — это откровенность. И он будет откровенен. С ней же идти. Идти через всю жизнь.

— Руфа, ты только, пожалуйста, не сердись,— снова заговорил он.

— За что же сердиться? — отозвалась она.— Разве ты можешь меня обидеть?

— Нет, но... Мне кажется, Руфина, что ты...— Тут снова помимо его воли роковым образом сорвались слова, просившиеся наружу: — Мне кажется, Руфина, что весь твой внешний облик — прическа, платье, браслеты, сумка, каблуки... и эти золотые серьги... эта брошь демидовских времен... и зонтик с кружевами... и многое другое стало... ну как бы мне сказать... все это стало своеобразным выражением твоего «я», — выпалил Алексей и, покраснев, стал оправдываться: — Как туманно и коряво я говорю!

— Нет, почему же, — возразила Руфина. — Ты очень хорошо умеешь излагать свои мысли.

Наступило молчание. Над их головами усиленно стучал своим носом дятел, выискивая поживу.

— Я обидел тебя, Руфа... Но я не мог. Я должен, я не умею скрывать то, что думаю.

— Да, Алеша. У нас ничего не должно быть спрятанным друг от друга. И мне кое-что хочется сказать тебе.

— Так скажи же...

— Алешенька, сядем. Здесь сухо.

Они сели. Обнялись, и голос Руфины заворковал.

— Милый мой, а не завелся ли в твоей светлой голове черный, противненький червячок зависти?

— Какой зависти? К кому?

— Ко мне. К моим успехам.

Векшегонов вскочил. Его словно ужалила оса. Руфина удержала Алексея за руку и усадила снова.

— Алеша, радость моя, выясним все спокойно и найдем нужные решения. Конечно, всякому мужчине, даже такому, как ты, неприятно, если он вдруг оказывается при... при ней. При мне, в данном случае. Но ведь я же не виновата, Алеша, что все так случилось... И глупо же, в самом деле, отказываться от того, что принадлежит теперь нам обоим. Ведь я — это ты. И ты — это я. Разве можно завидовать самому себе?

— Я не завидую Руфа. Да и чему завидовать? Тому, что ты вместо одной детали успеваешь обработать две, три?.. Это, конечно, успех, но не такой, чтобы шуметь о нем так громко.

Алеша заметно волновался. И его волнение придавало Руфине уверенность и твердость. Теперь она не сомневалась в сказанном ею. Алексей, безусловно, завидует ей. И она сказала:

— Алеша, неужели между нами становится моя слава? Неужели тебе неприятно видеть меня известной, уважаемой? Неужели ты позволишь взять власть над собой мелким чувствам? Алеша, сейчас же прогони их прочь. Алеша, я до мизинчика принадлежу тебе. Вот я! Вот мои руки, плечи, мой дурацкий рост, голос, глаза... Это все твое... Так распорядись же разумно мной. Зачем тебе принижать меня? Зачем?..

Голос Руфины оборвался. Алексей почувствовал себя виноватым. Нет, он не отказался от своих слов. Но они ему показались ненужными. Они были словами из другого языка, который непонятен Руфине.

А дятел стучал и стучал, выискивая поживу. Теперь он долбил не старый сосновый сук, а, кажется, голову Алексея...

XXI

— Жизнь как погода,— утешала Анна Васильевна свою дочь,— то ненастье, то солнышко. У нас тоже с твоим отцом бывало всякое. Главного не надо упускать. Любовь. А где любовь, там и дети. Сына заведешь, Алешенькой назовешь, и водой вас тогда не разольешь...

Складно утешала мать, да не гладко вышивала свои узоры жизнь. То и дело какая-то злая сила вбивала клин за клином в тонкую трещинку любви Руфины и Алексея.

То вдруг появится слух о приезде Ийи в день свадьбы. То полоумная старуха Митроха Ведерникова заведет рассказни о предках Руфины с материной стороны, о Жулановых, которые шагу зря не ступали, рукой попусту не двигали — все с умом делали. К чему этот разговор? Откуда он? Может быть, от стариков Векшегоновых, которые и теперь не выражали особой любви к Руфине?

А вчера в обеденный перерыв был преподнесен новый сюрприз, и он напугал ее.

Руфина знала, что темой дипломного проекта Алексея будет автоматическая приставка к его станку «АВЕ». Ею он занимался еще до отъезда в институт. О работе над этой приставкой говорилось и в его письмах. На это Руфина как-то не обращала внимания. Другие строки писем занимали ее.

Помнится, по приезде Алексей жаловался, что приставка к «АВЕ», которую он усовершенствовал и завершил, была предложена институтом для защиты диплома.

Векшегонов искренне огорчился мелковатостью темы. Он мечтал о защите большой темы «Теория непрерывной реконструкции», но с этим не согласились. Предложенное им нашли пригодным для докторской или, на худой конец, кандидатской диссертации, но ни в коей мере не для студенческой дипломной работы.

Об этом тоже писал и рассказывал Алексей. И Руфина утешала его: «Приставка так приставка. Пусть будет приставка, лишь бы ты скорее заканчивал свой институт». Ей даже казалось тогда разумным и правильным, что его дипломный проект увенчает полуавтомат «АВЕ», превратив станок в законченный автомат. Но теперь все окрасилось иным цветом.

Мастер цеха со всей определенностью заявил:

— Эта хитроумная штуkenция высвобождает руки сверловщика. Станок будет работать сам по себе.

Кажется, обычные и привычные слова. Мало ли рук высвободила автоматизация производства. И она всеми, в том числе Руфиной, встречалась как дорогая, желанная гостья. А в данном случае?..

В данном случае автоматическое усовершенствование станка «АВЕ» устраняло не чьи-то чужие, отвлеченные рабочие руки, а ее руки, руки Руфины.

Мысли Руфины бегут стремительно и логично. Если приставка к «АВЕ» заменит ее руки, значит, заменит и ее. Ее, знатную сверловщицу, славящуюся виртуозной работой. И если теперь вместо Руфины ту же работу и, как говорит мастер цеха, лучше, точнее, скорее и экономнее будет производить эта неизвестная, но уже ненавистная «штуkenция», то что же будет делать она?

Что?

В висках стучит. Воображение сменяет картину за картиной, одну печальнее другой.

Во-первых, кому не придет в голову мысль о том, что если сравнительно небольшое усовершенствование может заменить такие искусные руки сверловщицы Дулевой, то в чем же заключалась незаменимость, непревзойденность ее рук?

Пусть подруги, которых она оставила где-то там, ей этого не скажут... Но ведь иногда достаточно и взгляда, чтобы понять, о чем они думают.

А показ работы на трех станках? Зачем он теперь? Кто захочет любоваться светом керосиновой лампы, когда появилась электрическая?

В горле Руфины сухота и горечь. Она, такая одинокая, сидит на скамейке озелененного пролета цехов. Сидит, не замечая, как ярок солнечный день, как ласков весенний ветерок, как хлопотливо кричат грачи.

Ничего нет для нее сейчас. Она в самом деле очень скоро будет выглядеть в своем цехе догорающей лампой. Лампой, которая еще может светить месяц-два. А потом, когда появятся не экспериментальные, а серийные приставки, лампа мигнет и погаснет. А вместе с нею погаснет и слава!

Легко сказать — погаснет слава! А что стоит за этим словом «погаснет». Не перечтешь. Может быть, все, чем она жила. Да и будет ли Алексей любить ее без славы... Впрочем, об Алексее потом. Не растекайтесь, мысли. Дайте понять, как это произошло и с чего началось, кто гасит ее славу? Кто?

Случай? Неизбежность замены старой техники новой? Рационализация? Но ведь нет рационализации самой по себе, как и техники. Это же люди. Приставка не появилась просто так. Она рождена Алексеем. И, может быть, рождена не случайно... Нет, так она не может думать о нем. Но почему не может... Ведь говорил же он в лесу: «А так ли уж велики, Руфа, твои достижения?» Да, он говорил это. И, может быть, теперь сконструированная им приставка станет неопровержимым доказательством сказанного?

Кажется, надо остановиться и думать о чем-то другом. Но это теперь не в ее силах. В ней проснулось печальное жулановское наследство. Заговорило то, что с детства прививали ей мать и практичная тетя Женя, воспитанные в свою очередь неизвестными Руфиной дядьями и дедами, жившими для себя и сами по себе, мерившими весь свет по своему корыстному аршину. Она старается, но не может перебороть впитанный ею дух жулановской семьи, который в их дом пришел с ее матерью, перекричать эти потомственные голоса, не может победить в себе страшнейшее подозрение. А вдруг он... пусть не он, а его зависть, его желание возвысить себя над нею, надумали избрать для дипломного проекта это усовершенствование станка его имени? Не чьего-то, а его имени. Пусть даже он поступил так подсознательно, какая разница? Ранят ли утку или какую-то другую птицу, специально целясь в нее или случайным выстрелом, — ей одинаково больно.

Руфину не узнали дома.

— Не больна ли?

— Нет,— отговорилась она, скрыв от матери свое горе.— Устала я как-то сегодня... Даже не хочется есть.

Искать защиты у матери, жаловаться ей было бесполезно. Теперь уже ничего не изменишь. Автоматическая приставка существует. Отменить защиту дипломного проекта не может никто. Даже сам Алексей.

Он, кажется, пришел. Да, это его шаги. Что она скажет ему? Как она изольет свое горе? Поймет ли он ее? Может ли он понять? Может ли?

Наверное, нет.

XXII

Так оно и случилось. Руфина искала то, чего не было в душе Алексея.

Разговор происходил на берегу пруда. Они сидели за огородами на перевернутой дулесовской лодке. Сидели рядышком. Как один человек. Обнявшись. Прикрывшись большой суконной шалью Анны Васильевны. Еще не наступили теплые вечера.

— Как ты позволяешь себе так думать, так хотеть,— упрекал Алексей прижавшуюся к нему Руфину.— Разве твое маленькое благополучие может идти вровень с таким большим делом, которым живут миллионы людей...

Его голос был очень родным, а слова? Их, казалось Руфине, произносил не он, а кто-то другой, сидящий в нем. Какой-то буквенный, какой-то параграфный человек. Правильный, как формула. Точный, как аксиома, и непогрешимый, как алгебра. Но не как жизнь со всеми яркими и блеклыми красками, счастливыми отклонениями и заманчивыми ошибками.

Неужели ее Алеша, кудрявый, голубоглазый, такой живой и, хочется сказать, такой «житейский парень», на самом деле жертва самовнушения. Ведь то, что он сейчас говорит, не может быть истинной сутью живого человека.

А он, пока размышляла Руфина, продолжал восторженно рассказывать о роли автоматики как матери производительности, о необходимости рационализаторских поисков и находок, о труде как подвиге, как творческом горении. Он говорил обо всем, что составляло суть, цель и содержание его жизни, а для Руфины было лишь од-

ним из условий, пусть очень необходимых, но всего лишь условием ее жизни, ее будущего.

— Алешенька,— прервала его Руфина,— ты будто делаешь доклад или читаешь лекцию. А ведь мы одни. Ты посмотри, как отражаются звезды в пруду. Послушай, как бьется мое сердце...

— Я слышу... Слышу и хочу, чтобы оно билось вместе с моим сердцем. Как одно.

Где-то крикнула дикая утка. Потом послышался всплеск кем-то напуганной рыбы. Потом опять стало тихо. Алексею больше не хотелось возвращаться к прерванному разговору. Сегодня впервые заползла в его голову мысль: любит ли он ее?

Любит ли он ее?

Подумав так, Алексей почувствовал легкую дрожь.

— Кажется, холодно?

— Да,— ответил он Руфине,— кажется, «похолодало».

Они поднялись. Он посмотрел на часы:

— Завтра ты в утреннюю смену? Тогда я провожу тебя и...

Руфина задержалась и тихо повторила его мысль:

— Любишь ли ты меня, Алеша?

Этот вопрос, казалось, не мог не удивить Векшегонова. А он не удивился:

— Ты спроси об этом себя. Тебе виднее... Тебе все всегда виднее куда лучше, чем мне...

Алексей открыл калитку дулесовского огорода, и они пошли молча.

Нехорошие предчувствия обуревали Руфину. Страшная автоматическая приставка теперь показалась ей малым облачком по сравнению с тучами, которые надвигались откуда-то из-за темного горизонта.

Они простились. Алеша впервые не поцеловал ее при расставании. А впереди ночь. Молчаливая ночь раздумий. А потом утро, цех и станок «АВЕ». Станок, ожидающий реконструкции. Станок, с которым она скоро разлучится.

Как просто было раньше, когда ее мать и отец, любив друг друга, стали женой и мужем. А теперь?..

Нет, нет, не надо ничего усложнять и выдумывать. Не может же, в самом деле, какая-то автоматическая «штукенция» растоптать ее счастье. Она достаточно умна. Умна не только для своих лет. Ну а если у нее не хватит ума, то у тети Жени достаточно опыта.

Напрасно она помешала Алексею высказаться. Иногда нужно терпеливо слушать даже скучные рассуждения, если они доставляют удовольствие рассказчику.

Завтра будет день, она снова увидит его, и снова будет светло.

XXIII

Тетка Евгения выслушала Руфину и вынесла решение:

— Пренебречь. Всем пренебречь. Принять. Понять, согласиться.

Сказав так, она прошлась по скрипучим половицам дулесовской горницы, посмотрелась в большое зеркало, расправила широкие рукава своей пунцовой кофты и принялась разъяснять:

— Алексей не из тех лещей, которых можно вытянуть из пруда за один мах. Смирен, да упрям. Таких выхаживают, выхаживают, а потом — р-раз, сачком, да и в сумку. И был таков...

Что-то грубое, хищническое, браконьерское слышалось в словах тети Жени, но ее совет был единственно верным. Как ни прискорбно сравнивать Алешу с лещом, а в этом сравнении есть какая-то правда. Обидная, но правда. Не сам по себе пришел к Руфине Алексей. Не сам. Многих усилий ее и его родных стоило это сватовство. Именно сватовство. Иначе и не назовешь. И теперь, когда осталось так немного дней до желанного исхода, нельзя шутить с огнем.

Тетя Женя так и сказала: «Порох сыпуч и тих, да горюч и лих». А он порох. Малейшая неосторожность — и будет поздно раскаиваться. А теперь еще можно все исправить. И это было сделано.

Руфина не стала дожидаться прихода Алексея и сама пришла к нему.

— А я собирался к тебе, Руфа. Проходи. Я один дома.

— И очень хорошо.

Алеша провел Руфину в свою комнату. Сели. Обменялись виноватыми взглядами. И, кажется, не о чем говорить. Теперь следует обняться, и все будет ясно.

Нет. Этого мало.

— Алешенька, — начала Руфина, — тебе не хочется за вчерашнее проучить меня? Наказать?

— Нет.

— Напрасно. Такие, как я, нуждаются в хороших выволочках. Отругай меня, пожалуйста. Громко. Назови дурой. Зазнайкой. Воображалкой. Мухой в сметане. Мещанкой. Наглой задирой. Идио...

— Нет, нет,— оборвал ее на полуслове Алексей.

Прозвучал поцелуй, другой, третий. И, кажется, уже ничего не нужно говорить. Все выяснено.

Все ли?

Руфина пришла сюда не за минутной вспышкой. Ей нужно убедить Алексея и, может быть, убедить себя в том, что она поняла, как ничтожна была боязнь за свое личное, каким маленьким оказалось ее тщеславное желание показывать свою работу на трех «АВЕ», и что вообще... Вообще очень многое произошло в эту ночь, когда она не спала.

Алексей не хотел слышать подробностей. Ему довольно было трех слов Руфины: «Я все поняла». И если даже она пока еще поняла не все, а лишь начинает понимать, то поймет рано или поздно. Больше не о чем разговаривать. Не следует торопить того, что требует не ночи, а многих дней. Нужно глубже, как можно глубже осознать губительную власть славы, которая чуть было не околдовала ее. Мало ли людей, даже на его памяти, запутывались, как в паутине, в золотистых лучах славы. Из них выпуталась Руфина, и он счастлив.

Так думал Алексей, не зная, что ложь, притворившаяся правдой, соткала языком Руфины иную сеть. Но кто знает, во что это выльется. А вдруг да Руфина и в самом деле поверит в то, что сейчас ею было сказано притворно? Так тоже можно предположить.

XXIV

Все эти дни перед защитой дипломного проекта Алексеем Векшегоновым прошли в предсвадебных мальчишниках и девичниках. Векшегоновы и Дулесовы не ради приверженности к старине и ее обрядности, а ради того, чтобы предотвратить возможные разногласия между женихом и невестой, старались не оставлять их наедине. Или, как говорила тетка Евгения, «леща выхаживали и вываживали, не давая ему опомниться».

Появились и бывшие школьницы, с которыми раз-

дружилась за последнее время прославленная сверловщица. Веселился и Сережа Векшегонов. Был бы только счастлив милый, хороший брат Алеша. Наверно, так и будет. Хотя где-то, очень глубоко, еще дают о себе знать сомнения, которые он старался заставить умолкнуть. Но, может быть, это не сомнения, а любовь к Руфине, избитая и раздавленная, не желая умолкать, шепчет ему всякое и разное...

Зря. Теперь уже все! Прощай, Руфина! Не знай ты тех страданий, которые пережил глупый мальчишка, вообразивший, что он любим тобой.

Но почему все — и родители Сережи, и родители Руфины — так часто где-то между слов убеждают не то себя, не то Алексея, что все будет хорошо, что и весна не бывает без пасмурных дней. Почему, разве Алеше необходимо внушать, что он любит Руфу? Разве он этого не знает сам?

Какие-то смутные сомнения роятся в Сережиной голове, словно кто шепчет ему черные слова неверия. Он хочет, от всего сердца хочет верить, что брат любит Руфину, а этого не получается. Даже в улыбке брата он улавливает какое-то непротивление тому, что происходит. И ему кажется, что брат будто не женится, а всего лишь не противится женитьбе.

Сережа, перестаны! Не выдумывай. Ты пристрастен. Ты сочиняешь свои предчувствия. Танцуй, пой!

И Сережа поет и танцует. На девичниках, на мальчишниках, на семейных сборищах будущей родни. Здесь все — и Дулесовы и Векшегоновы. Приходят ближние и дальние дядьки и тетки. Веселится дядя Николаша — Николай Олимпиевич Гладышев. Только нет деда с бабкой — стариков Векшегоновых. Один жалуется на поясницу, другая — на ноги. А дрова пилят, с огородом управляются. Целый день в ходьбе и работе.

Опять пробегают тучки в Сережиной голове, опять шепчет голос всякое и разное, а музыка гремит, бежит танцевальная лента магнитофона, жаром дышат рыбные пироги...

Хватит, Сергей. Не морочь себе голову. Посмотри, как отплясывает Руфинина тетка.

Ярмарочной каруселью кружились дни. Алеша и не заметил, как подоспел день защиты дипломного проекта. Защиту назначили на воскресенье вечером в цехе.

Он должен собраться с мыслями. Еще раз перечи-

тать написанное. Хотя исход защиты и предрешен, но все же... Это серьезный день в его жизни.

Руфина очень предупредительна. Она даже посоветовалась с Алешей, в чем ей лучше всего прийти в цех на защиту. Остановились на темном платье. Хотя оно не празднично для такого дня, но это же официальный день.

В газете появилось сообщение о дне, времени и часе защиты. Объявлялось, где можно ознакомиться с дипломным проектом.

В жизни Алексея наступило затишье. Теперь уже было все оговорено и улажено. Больше нечего обсуждать, выяснять, проверять, теряться в догадках...

Нужно перестать мучить себя и Руфину.

Дни, полные тихой радости, переживали Векшегоновы и Дулесовы. Их желания накануне исполнения. Соединяются два рабочих рода, жившие порознь на одной улице. Докупается недостающее к свадьбе. Лучше перебрать, чем недобрать в таких случаях.

Счастливые хлопоты. Милые заботы. Тепло, светло, радостно. И черемуха зацвела. Все, как хотелось, мечталось, думалось счастливым матерям Руфины и Алексея.

Неужели еще что-то может омрачить эту весну на Старозаводской улице?..

XXV

Наступил вечер защиты дипломного проекта.

В цехе были воздвигнуты подмости. Затем установлен стол, покрытый зеленым сукном. Принесены кресла. Трибуна из Дворца культуры стала кафедрой. Съехались преподаватели, профессора. Необычная для цеха обстановка.

Собралось множество рабочих, большинство из них никогда не бывали на таких защитах.

После вступительного слова председательствующего предоставили слово Алексею Романовичу Векшегонову.

Цех замер. Как-никак их парень получает сегодня диплом инженера. Это не шутка.

Руфина сидела на одной из садовых скамеек, принесенных в цех. Она не захотела сесть в первый ряд, где ей было предложено место.

— Спасибо, мне там удобнее,— скромно отговори-
лась она и уселась в глубине.

По лицу Руфины нельзя было узнать, что она думает сейчас, какие чувства владеют ею. Можно было лишь догадываться, что ей не очень легко слушать Алексея. Это теперь понимали многие. И в первую очередь товарищи по цеху. Да и в газете достаточно ясно было сказано, что популярный на заводах полуавтомат «АВЕ» больше не будет нуждаться в руках рабочего, что ему теперь придаются свои стальные, неустанные руки.

Такое сообщение в дополнениях не нуждается.

— Теперь предоставим слово «содокладчику»,— слышался голос Векшегонова.— Он лучше меня продолжит защиту моего дипломного проекта.

В цехе оживление. Одобрительный смешок. Голос: «Давай, Алеша!» Сердце Руфины забилося учащеннее. Начинается самое главное испытание.

Алексей подошел к рубильнику. Руфина замерла. У такого знакомого до последнего шплинта станка — нет ее. Нет вообще сверловщицы. Рука Алексея касается ручки рубильника. Он объявляет:

— Включаю!

Станок ожил. Сверла пришли в движение. Вращаясь, они стали опускаться на зажатую универсальную шайбу. В этом не было ничего особенного. Шайба была зажата до того, как был пущен станок. Что будет дальше? Как автоматическая приставка заменит руки?

Как?

На лице Руфины белые пятна. Она поправляет прическу. И это тоже признак волнения.

И вот операция сверления заканчивается. Сверла поднимаются в исходное положение. Зажимные кулачки талера разжимаются. Рассверленная деталь, универсальная шайба, выталкивается и сползает в ящик готовых изделий. Это делали руки.

Сверла замерли в исходном положении. Замерли и сердца сотен людей. Мгновение. Гробовая тишина. Слышался опять чей-то голос: «Смотри ты!..» По кривому желобу из обоймы автоматической приставки скатилась очередная шайба. Скатилась и точно легла в отверстие зажимных кулачков талера. Кулачки, будто почувствовав появление детали, сжались.

Кажется, не слышно и дыхания. Весь цех — внимание. Да и как может иначе быть, когда сегодня, сейчас

держит экзамен новый механический заместитель рабочих рук — автоматическая приставка.

Снова опускаются вращающиеся сверла на зажатую деталь... Операция повторяется.

Тишина взрывается аплодисментами. Председательствующий протирает свои золотые очки. И те, кто наблюдает за ним, понимают, как растроган старый ученый.

Алексей подает знак. В цехе снова тишина. Он говорит:

— А можно заставить станок работать быстрее. Но в этом случае будет уже менее наглядна его работа.

Слесарь Макар Петрович Логинов подходит к автомату и прибавляет скорость. Операции убыстрились. Руфина еще старается взять себя в руки. Она смотрит на свои часики и проверяет по секундам быстроту работы станка. По ее приблизительным подсчетам видно, что если бы она работала даже на трех «АВЕ», то и в этом случае реконструированный станок опередил бы ее вдвое.

Руфина уже знала об отмене показа ее работы на трех станках. И примирилась с этим. Но она не ожидала, что предполагаемый ею рекорд так наглядно для всех будет побит, даже и не состоявшись.

Она почувствовала на себе взгляд многих глаз. Ей показалось, что на нее смотрит весь цех — все люди, собравшиеся здесь. На самом же деле на нее смотрели только Сережины глаза да глаза старика Логинова. А ей чудилось, что все смотрящие на нее думают: «Вот и конец твоей славе, знатная сверловщица». На самом же деле так никто не думал. Это были ее мысли, приписанные людям. Даже Сережа не думал так. Наоборот, в его голове возникало совсем другое: «Ну теперь-то уж Руфина загремит еще больше и станет наладчицей двадцати, а то и тридцати Алешиных станков».

Автомат «АВЕ» был пущен на предельную скорость. Трудно стало различать, как подаются рассверливаемые шайбы, как они выталкиваются выбрасывателем.

Царило шумное оживление. Станку аплодировали, как артисту. Председательствующему за всю его долгую жизнь не приходилось бывать на таких шумных и людных защитах дипломных проектов. Он еле уgomонил разбушевавшихся слушателей, хотя их справедливее назвать зрителями.

Когда предоставили слово оппоненту, Руфины уже не было в цехе. Первым это обнаружил Сережа Вскшегонов. Она незаметно затерялась в толпе рабочих и ушла с завода. У нее не хватило силы сдержаться и делать вид, что радуется, когда хотелось плакать. За воротами завода она не стала сдерживать слезы, а вернувшись домой, рыдала по своей славе, как можно рыдать только по безвременно умершей матери.

Через час или немногим более Руфина слегла. Сначала легкий озноб, головная боль, а потом жар и бред.

Слава, ты не уходишь просто так, особенно если ты, опьянив человека, заставила полюбить тебя. Любила ли Руфина кого-нибудь больше своей славы? Была ли ее любовь к Алексею сильнее, чем к тебе, вероломная чаровница? На это теперь, кажется, не ответит и сама Руфина.

Вызванный Дулесовыми доктор, осмотрев больную, сказал:

— Нервное потрясение. Не волнуйтесь. Нет ничего угрожающего.

Затем было прописано снотворное. Вскоре Руфина уснула.

Поздно вечером появился Алексей.

— Хватит уж, Алексей Романович, нервировать Руфиночку,— сказала встретившая его Анна Васильевна.— Не добивайте невесту. Милости просим, когда встанет на ноги. Я дам знать.

Дверь, жалостливо скрипнув, закрылась за ушедшим Алексеем. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким виноватым.

Побродив по берегу пруда, Алексей направился к деду. Куда же еще? Там его родной дом! Туда принесла его птица Феникс...

— За что же это все, дедушка? — жаловался он Ивану Ермолаевичу, рассказав обо всех этих днях сомнений и размолвок с самим собой и Руфиной.— Я хочу лучше, а получается совсем наоборот...

Старик недолго думал. Видимо, то, что он сказал, давно было выношено им. Совет был кратким:

— Отложи свадьбу!

— Отложить свадьбу! А зачем?

— Там видно будет, зачем и к чему,— сказал Иван Ермолаевич.— Твой дед, Лешенька, не посоветует худого.

— И бабка тоже,— слышался из-за перегородки голос Степаниды Лукиничны.

— И надолго нужно отложить свадьбу? — совсем послушно, как в школьные годы, спросил Алеша.

— На год! — сказал, как отсек, Иван Ермолаевич, а потом куда мягче стал растолковывать: — Лет-то ей сколько... Да и тебе торопиться пока некуда. Год — не велик срок, а подумать будет когда и тому и другому.

Степанида Лукинична тоже нашла свои слова:

— Если не клеится, не паяется, зачем нитками сшивать то, чему надобно быть на хорошем клею, на вековечном паю. Так или нет?

— Так, бабушка!

И все смолкли. В старом доме стало тихо. На кухне о чем-то напевал самовар. Он, кажется, тоже был согласен, что свадьбу придется отложить на год.

Но как это сделать?

XXVI

В доме деда все было знакомо, мило и дорого Алексею. Здесь он не сумел бы назвать ни одного предмета, который бы не состоял с ним в давней дружбе, а может быть, и родстве.

Родной была и старая чугунная чернильница каслинского литья. Глядя на чернильницу, Алексей подумал, что письмо куда лучше устных объяснений с Дулесовыми. К тому же если при разговоре окажется тетка Руфины, то все может кончиться ссорой. А он не хочет и не будет ссориться.

Было уже за полночь. Откладывать на завтра не хотелось. И он принялся писать. Принялся писать, не выискивая слов, не подбирая выражений. Писал так, как пишется.

«Милая Руфина! За последние дни и особенно за последний вечер мне стало понятно, что я приношу тебе только несчастья. Я, Руфа, не виноват, что мои мысли, мои стремления не совпадают с твоими мыслями. Так, как живешь ты, живут еще многие. Но я, как ты видишь, не хочу и не могу жить этими нормами личного благополучия. Мне претит превосходство над другими людьми. Это все не только заставляет меня стыдиться людей, но и мешает мне быть самим собой. А я не могу

не быть самим собой, не могу отступить от своих убеждений, как и ты не можешь расстаться со своими желаниями и представлениями и всем тем, что составляет тебя, твою личность, твоё мировоззрение.

Мне казалось, что после того, как ты и я будем женой и мужем, все изменится. А сегодня я понял, что не изменится ничего и мы, поженившись, окажемся несчастными людьми. Ты и все наши, рано или поздно, придут к такому же выводу.

Милая Руфина! Ты будешь счастливой! Ты не можешь ею не быть. И мой уход от тебя — это начало твоего настоящего, а не кажущегося счастья; каким бы не было...»

Тут Алексей и остановился. Садясь за письмо, он хотел объявить о своём желании перенести свадьбу на год. А получилось, что он вообще отказывается от свадьбы.

Он задумался.

Раздумья не были долгими. Он понял, что разговор об отсрочке свадьбы лицемерен и лжив, что он никогда не женится на Руфине.

Алексей снова обмакнул перо и продолжил:

«...ванием ты, Анна Васильевна, Андрей Андреевич, моя мать и мой отец ни встретили это письмо, какие бы обидные дни и месяцы ты ни пережила после этого письма, все же я свой разрыв с тобой считаю благородным и честным поступком. Лучше пусть будут отравлены несколько месяцев твоей жизни, чем вся твоя жизнь.

Алексей Векшегонов».

Перечитывать письмо он не стал.

Утром, часов в пять, когда встал не смыкавший глаз дед, Алексей сказал:

— Вот, дедушка, письмо Руфине Андреевне Дулсовой. Прочитай его вместе с бабушкой, а потом заклей конверт. Письмо пусть передаст ей Сережа.

Иван Ермолаевич кивнул головой.

— А это,— протянул он лист бумаги,— заявление на завод. Я прошу в нем об уходе с завода. Потом прочитаешь. Или о продлении моего учебного отпуска. Я на

это имею право. Ты напишешь мне о решении дирекции. Свой адрес я тебе сообщу.

— Куда же ты надумал, внук?

— Наверно, в Сибирь. Мне уже советовали в институте. Там нужны люди. Очень нужны. И больше ни о чем не спрашивай меня.

Иван Ермолаевич более не задал ни одного вопроса. И только Степанида Лукинична спросила:

— Когда?

— Сейчас!

— А багаж?

— Он при мне. Если добавишь десятку-другую, с меня и хватит.

Не прошло и часа, как Алексей уехал.

Степанида Лукинична не проронила ни одной слезинки. А дед сказал:

— Стеша, где-то смородиновка была... И рюмку тоже подай...

На Старозаводской улице было тихо-тихо. Пахло черемухой, цветущей в палисадниках. Слышалось чирикание воробьев за наличниками окон. Сохли мелкие слезинки росы на траве.

Иван Ермолаевич налил вторую рюмку и сказал:

— Никак жаркий будет денек...

I

На Старозаводской улице вырос прехорошенький дом-теремок с башенкой. Он будто сошел с красочной книжной страницы и ожил на дулесовском дворе добротным строением неподалеку от старого, уже почерневшего дома Андрея Андреевича.

Крутая крыша, светлые окна, бревенчатые лиственничные стены, отливающие то нежной розовиной, то янтарным прожильем бревен, радуют глаз прохожего. А забавный железный петух-флюгер с открытым клювом, поворачиваясь по ветру туда-сюда на штоке башенки, будто хочет крикнуть на весь белый свет, как хорошо будет житься под этой крышей новой молодой семье. И все, от затейливых переплетов оконных рам до приветливого крылечка и белых кружевных наличников, рассказывает о тихой радости, которая начнется в этом доме.

Руфина подолгу разглядывает свою милую «скворешенку», и от этого на ее душе становится так светло, будто над ней никогда не проходили грозовые тучи, будто не было на ее пути Алексея Векшегонова и оскорбительного разрыва накануне свадьбы.

Прошло уже около трех лет. Срок, вполне достаточный для того, чтобы в молодом сердце зарубцевались обиды и...

Впрочем, об этом не скажешь в двух-трех фразах, и нам придется хотя бы бегло ознакомиться с тем, что предшествовало появлению этого дома с башенкой и радостям, которые должны перешагнуть его порог.

После отъезда Алексея Векшегонова было сказано немало слов и пролито много слез. Для пересудов и догадок нашлось достаточно пищи, но события большой жизни завода, города, страны вытеснили из молвы и памяти злоключения Руфины и Алексея. Конечно, Дулесовы и Векшегоновы дольше других переживали обидное для обеих сторон крушение такой желанной свадьбы,

но и они примирились с мыслью, что виноватых в этом разрыве искать не следует.

Слава еще долго не оставляла Руфину. Ветер стих, а волны не успокаивались. Руфину по привычке называли в газетах, выбирали в президиумы торжественных заседаний. Все еще шли письма от почитателей, поклонников и заочно влюбленных в нее воздыхателей.

В цех после отъезда Алексея она не вернулась. Ей советовали наперекор всему стать наладчицей новой автоматической линии, в цепь которой вошли реконструированные станки «АВЕ». Эту линию называли на заводе «kozyрной». Управляя ею, Руфина могла бы в какой-то степени поддерживать уровень своей известности. Она не захотела этого.

В цехе все напоминало Алексея Векшегонова. Руфина даже старалась не бывать там, став секретарем-диспетчером вновь созданного бюро автоматизации.

Отгоревав, отплакавшись, она стала просыпаться с сухой подушкой и перестала видеть сны, в которых Алексей стучал ей в окно и сидел с нею на сундуке, где томилось такое кружевное, такое тонкое, такое цветное приданое.

Мебельный гарнитур как был в фабричных ящиках, так и остался ждать лучших дней на бывшем сеновале старого дулесовского сарая. Мебель не состарится. Да и Руфине рано было вести боязливый счет своему возрасту.

Успокоилась и мать Руфины, Анна Васильевна. Нашла нужные слова для дочери, для себя и для других:

— Забудется, залечится, быльем порастет. Полюбит моя Руфина достойного молодого человека. А от них нет отбою. Инженеры и техники. Доктора и артисты. Художники и журналисты. Хоть бы взять того же Мишу Демину. Без пяти минут врач.

Руфине, кажется, нравится Миша Демин. Но — на час, на два... Пока он поет. У него очень задушевный голос, и он сам сочиняет песенки.

И Анне Васильевне приятен тихий влюбленный певец с зачесанными назад светлыми волосами и мечтательными глазами. И она не скрывает своих симпатий к Демину.

— Мишенька редкой души человек. Из всего твоего табуна он самый располагающий. И медицина, конечно, паука тоже уважаемая. Только тебе-то, Руфина,— рас-

суждает мать,— нужен заводской человек. Спокойнее и понятнее.

— Чем же понятнее-то, мама? — спрашивает Руфина, проверяя себя.

— Не знаю, как и сказать, доченька. В заводском дыму мы родились и выросли. И речь у нас заводская. И сами мы все одной ногой дома, а другой — на заводе стоим. Хоть бы и меня взять. Никогда я не работала на станкостроительном, а все мои думы там, в кузнечном цехе. У отца. Я не против, что Миша поет. Отец тоже пел. И на концертах выступал. Но понимаешь, Руфина... Муж должен быть мужем. И дров наколоть... Починить что-то или покрасить. Крышу замазать. Пли-ту переложить. Сараюшку соорудить...

Руфина заглушает слова матери громким смехом:

— Не надо же, мамочка, теперь ничего этого делать в новых квартирах. Кончилось время Жулановых...

А мать не может согласиться:

— Делать, может быть, и не надо, а уметь желательно. Мужчине, как и машине, нужен какой-то такой запас мощности. Взять хотя бы твоего отца, кузнеца. Лишись он, к слову, своей работы в кузнечном или окажись в беде. В самом безвыходном положении — ничего нет, все надо начинать сызнова. И я за ним, как за каменной стеной. А почему? Запас мощности. Умение. Знание. Мужские руки. В степи нору выроет. В лесу дупло выдолбит. Из снега халупу слепит и дым очага пустит.

Задумалась дочь. Молчит мать. А потом снова:

— Миша Демин очень душевный человек, но ведь тосковать под гитару только в театре хорошо, а по жизни надо и помойное ведро уметь вынести. Ведь ты же и шить, и мыть, и стирать, и вязать. А он что? Но вообще-то, Руфочка, ты хоть за артиста, хоть за журналиста... воля твоя. Лишь бы счастье. А оно бывает и с молодым, и со старым... Счастье никто не предпишет. Если уж оно есть, так и лысина солнцем светит, седой волос не замечается. А уж если нет его, так и молодая кровь в жилах стынет, и хмельные кудри могильным плющом вьются.

Разговоры на эти темы матери и дочери случались за последнее время все чаще и чаще. Видимо, сердце Руфины искало ушедшему из него Алексею замены. О ней пока не хотелось думать Руфине, но она уже и

не исключала ее возможность и потому, наверное, прибегала к древнейшему способу решения затруднений: «Поживем — увидим».

Поживем — увидим...

II

Вы, конечно, помните тот день, когда Сережа Векшегонов понял, как он был смешон, написав Руфине любовное письмо. Она оказалась вовсе не той, какой видел ее Сережа в школе. Она уже готовилась стать женщиной, когда Сережа не стал еще и юношей. Она тогда разговаривала с его братом, как с ровесником, для него же Алексей в то время был чем-то недостижимым. Автор станка «АВЕ». Мастер учебно-школьных мастерских. Человек с именем и отчеством.

А что представляет собой он — Сергей? Что представляет он собой даже теперь?

Пока он хороший слесарь — и только. Правда, ему уже доверили очень сложные штампы, и Макар Петрович Логинов сказал, что может уйти на пенсию, потому что пришел человек, руки которого вскоре еще больше прославят слесарный векшегоновский род.

Но ведь это всего лишь руки... А голова? Сережа пока ничего не изобрел, кроме новых универсальных мерителей кривизны посредством оптики и света.

Пусть его благодарили в приказе, пусть он получил немалую премию, но это всего лишь рационализаторское предложение, а не изобретение, хотя его называли именно этим словом. Наверное, хотели польстить. Или же это сделали ради брата. Брата нет, а его имя освещает Сережу. Некоторые, не стесняясь, называли его «вторым Алексеем».

Такие слова приятно слышать, но лишь отчасти. Сережа хочет быть самим собой и никаким не повторением. Но многое повторяется...

Сережа, так же как и брат, поступил на заочный. Он туда был принят без трудов. Там шутя сказали, что один Векшегонов принес славу институту, так, очевидно, принесет и второй.

Очаровательная сотрудница технической библиотеки завода Лидочка Сперанская — может быть, тоже шутя — приветлива с Сережей. Когда они встречаются на главной зеленой магистрали завода, она твердит:

— Ты красивее и стройнее своего брата. Выше ростом и серьезнее. Тебе нужно как можно дольше не отвечать на улыбки...

А сама улыбается и ждет ответа.

Он уже танцевал с нею на летней площадке и в ту ночь долго не мог уснуть.

Лидочка хотя и несколько вольно обращается с Сережей, но все это у нее очень чисто и хорошо. Ей, может быть, он нужен просто так, чтобы кто-нибудь был возле нее. Ведь одна. Совсем одна. Можно ли винить Лидочку за то, что недостойный ее техник Андрюшка Кокарев вскружил ей голову, когда Лидочке едва минуло восемнадцать лет. А теперь он женат на сонливой дочери начальника инструментального цеха Виктории?

Может быть, Лидочка еще и будет счастлива и жизнь улыбнется ей. Жизнь иногда так поворачивает человеческие судьбы, что, кажется, и сама дивится своим проказам.

Когда Сережа несколько возмужал, чему, может быть, способствовала и шляпа, которую он недавно надел, в его сторону устремилось немало девичьих глаз.

Как-то в июльский воскресный день Сергей, зарядив все двадцать четыре патрона, уместающихся в его пояском патронташе, зная, что бить дичь в июле запрещено законом, отправился во имя спасения будущей, еще недостаточно оперившейся молодежи стрелять ястребов.

Ястреба выслеживают поживу обычно, паря над гнездовьями, и падают камнем, заметив беспечные выводки. Вот тут-то Сережа метким выстрелом радовал крылатых матерей, не подозревающих, что и они осенью могут проделать такой же смертельный маршрут с высоты в болото.

Все условно в охотничьем законодательстве, особенно календарное чередование бессердечия и гуманности. Впрочем, и в неписаном кодексе любви полярность чувств также имеет свои календарные оттенки.

Капа перешла в девятый класс. Помните восьмиклассницу, которой Сережа приколол ромашку с двумя оторванными лепестками? Так вот, эта самая Капа, встретив охотника Сергея Векшегонова, сообщила ему, что она давно уже подклеила девятый лепесток к подаренной им ромашке. На что Сережа благосклонно сказал:

— Ты почти взрослая, Капа.

Это обрадовало ее, и она не преминула заметить:

— Я, кажется, расту не по годам. Все стало коротко и узко.

Сереза не вполне был согласен с этим, но, помня прошлые, нанесенные ей обиды, сказал:

— Воображаю, Капа, какой ты будешь на будущий год в это время.

Умная девочка Капа не растерялась:

— Может быть, на будущий год в это время ты, встретив меня, не станешь торопиться на охоту, как сейчас...

Этим Капа, вероятно, не хотела сказать, что иногда сам охотник становится добычей другого охотника. Так она не могла думать хотя бы потому, что афористичность мышления пока еще не была свойственна ее возрасту. Зато именно так подумала другая, увидев Серезу в поле.

— Охотник! Остановись. Дай поглядеть на тебя. Мы так давно не встречались с тобой.

Такими словами остановила Серезу собиравшая землянику Руфина.

Сереза остановился:

— Ты что тут делаешь?

— Собираю ягоды.

— Зачем они тебе?

— А зачем тебе ястреба?

— Тогда пойдем вместе.

И они пошли рядом. Сереза с ружьем и Руфина с корзинкой. Сначала они молчали, а потом Руфина заговорила первой:

— Сереза, у тебя уже, кажется, колючие усы.

Ее глаза смеялись, но не насмехались.

— Кажется, Руфина. Кажется, колючим теперь стал и я.

— Это очень хорошо, Сереза.

— Чем же хорошо?

— Я буду бояться тебя. Такие, как я, обязательно должны бояться и уважать того, кто идет рядом. Пусть даже не очень далеко. На прогулку. Сереза, это ястреб?

— Да?

— Выстрели в него. Только попади. Я загадала.

Сереза прицелился, плотно прижал ложе ружья к плечу и щеке. Раздался выстрел. Руфина взвизгнула. Ястреб комом упал вниз.

— Лекально! — сказала Руфина.

— А что ты загадала?

— Сережа, я не могу быть откровенна с тобой. Ведь ты теперь не тот Сережа И я не та Руфина. Мы же не в десятом классе.

— А ты вернись туда.., Вернись и скажи.

— Сережа, я загадала, поцелуешь ты меня сегодня или нет.

— Это очень глупо, Руфина.

— А разве я говорю, что умно? Но сегодня же воскресенье. А больше всего глупостей приходится на этот день недели. Или я ошибаюсь?

Сережа нашел довод Руфины неоспоримым:

— Против этого ничего не скажешь. Я еще никогда и ни с кем не целовался, Руфина. И по-моему, ни до чего хорошего поцелуи не доводят.

— Если с Лидочкой, то да,— вставила маленькую шпилечку Руфина.— Она женщина, а я девчонка.

Произнеся эти слова вполголоса, Руфина отвернулась. Сережа подошел к ней и тихо сказал:

— Хорошо. Пусть сбудется загаданное. Только ты закрой глаза, Руфа.

Они поцеловались. Сережа снял:

— Спасибо тебе, Руфа...

В небе появился другой ястреб.

— Хочешь, я загадаю еще, Сёрежа, на этого... Стреляй! Я загадываю еще раз!

Сережа вскинул ружье. Прицелился. Выстрелил и... промахнулся.

— Ура! — закричала Руфина и снова оказалась подле Сережи.

— Я же промазал,— показал он глазами на улетающего ястреба.

— А я загадывала на промах...

Так вернулось потерянное Сережей и проснулось казавшееся умершим.

III

В это воскресенье утром, несколькими часами раньше встречи Сережи и Руфины в поле, на городском рынке произошла другая встреча.

Николай Олимпиевич Гладышев в праздничные дни, чтобы не беспокоить Аделаиду Казимировну, ведущую

его домашнее хозяйство, частенько на рынок отправлялся сам.

На рынке у него всегда бывали приятные встречи.

Простота и общительность Гладышева никогда, однако, не допускали той упрощенности отношений, когда можно дернуть за рукав или, положив руки на плечи, сказать: «Коля, милый Коля, послушай, что тебе скажу». Так не осмелился бы сделать даже пьяный. Гладышев был для многих Николашей, и его называли так, но за этим именем всегда слышалось — Николай Олимпиевич... И даже — глубокоуважаемый Николай Олимпиевич.

Лидочка Сперанская торжественно и празднично несла свою белокурую головку по главному ряду рынка. Воскресный рынок выглядел куда наряднее будничного. Словно все съестное сюда пришло, чтобы в первую очередь покрасоваться, а потом уже быть проданным.

Воскресный городской рынок всегда несет на себе щегольство выставки даров земли, и торгующие не забывают одеться понаряднее, как, впрочем, и покупающие.

На Лидочке короткое платье из золотистой ткани. Рыночная сумка с двумя большими кольцами; продев сквозь них руку, она украсила ее, как браслетами. Весь облик Лидочки говорит, что в этом воскресном посещении рынка есть что-то театральное.

— Ау! Николай Олимпиевич! — окликнула Лидочка Гладышева, помахав рукой, и направила к нему свои ножки, обутые в сложную вязь хитрого переплетения белой кожи, ставшей босоножками на тонких каблучках.

— А вы-то зачем здесь? Здравствуйте, Лидочка, — поздоровался с нею Гладышев, а Лидочка, такая изящная, будто она вчера была не только у парикмахера, но и у скульптора, убравшего своим резцом все лишнее в ее и без того безупречном сложении, ответила:

— Такой вопрос скорее следовало бы задать вам, Николай Олимпиевич.

— Вот тебе и нá! — оживился Гладышев. — Как я изменю давней привычке обедать дома? Особенно в воскресенье.

— Вот так же, представьте, и я. Привыкнув с первого дня кратковременного замужества готовить семейный обед, боюсь нарушить заведенный порядок. Мне все время кажется, что кто-то придет и повелительно скажет: «Лидия, я хочу есть». И я всегда готовлю с запа-

сом, а потом... потом съедаю оставшееся на другой день.

— Это очень печально,— посочувствовал совершенно искренне Николай Олимпиевич.— Но мне кажется, у вас, Лидочка, есть все основания не оставлять на завтра то, что может быть съедено сегодня.

— Наверно, вы правы, Николай Олимпиевич.— Лидочка грустно улыбнулась.— Но ведь в таких случаях не заывают на обед.

Ее кроткие зеленоватые глаза жаловались.

Все это говорится без всякого намека на то, что Лидочка не случайно внимательна к Николаю Олимпиевичу. И если сейчас она занимается его покупками на виду у всех, то никто не усматривает в этом нарушений норм общежития. Всякая другая поступила бы точно так же.

Но если уж говорить откровенно, то после первого неудачного брака Лидочка никак не исключила бы второй, удачный, хотя и неравный брак с Николаем Олимпиевичем. И этот брак украсил бы не только его, но и ее.

Пусть в первые месяцы люди всплескивали бы руками и говорили: «Вот только представьте себе...», или: «Такая молоденькая и ...» А потом бы привыкли и, привыкнув, стали относиться к ней с уважением, потому что Николая Олимпиевича в самом деле можно полюбить, и есть за что. Труженик, сутками не покидающий завод, тянущий нелегкий воз, может быть, и достоин, чтобы его квартира в старом заводском доме посветлела и ожила веселым смехом, таким, как у Лидочки. Чтобы два одиноких обеда оказались общим обедом. Чтобы давно молчащие и, может быть, уже ослабнувшие струны старого рояля зазвучали вновь и застоявшаяся в гараже наградная «Волга» открыла счет километрам на своем спидометре.

Николай Олимпиевич, возвращаясь домой, слегка насвистывал мелодию «Веселый ветер». И это вполне закономерно. Ему стало ясно, что он еще может нравиться, и не по занимаемому им положению, а... как таковой.

Как таковой... Как таковой...
Веселый ветер... Веселый ветер...

IV

Тот же «веселый ветер» помог Николаю Олимпиевичу вывести из гаража двухцветную, черно-кремовую, с хромированным пояском «Волгу». Вскоре она, запылив по

грунтовой дороге, идущей через заводские покосы, помчала повеселевшего Гладышева.

Мир, оказывается, полон красот и радостей, а он столько лет отшельничал. Во имя чего? Слышны далекие песни. Кому-то признается в любви гармоника, а в стороне целующаяся пара.

Вот счастливцы. Они ничего не видят, не слышат. Может быть, подать им озорной гудок?

«Волга» окликнула целующихся. Они вздрогнули, потом недовольно посмотрели на машину и, не узнав ее водителя, побрели, взявшись за руки, к перелеску.

А Николай Олимпиевич узнал и Сережу и Руфину. Это почему-то не обрадовало его, но, прибавив газку, вспугнув притаившегося грача, он стал думать о Лидочке Сперанской.

Как странно иногда одна мысль рождает другую. Он вспомнил, что в дирекции давно пустоует место референта по новинкам зарубежной техники. Его следует занять Лидочке. Она окажется на виду и обязательно обратит на себя внимание и найдет свое счастье. И он будет рад этому. Что же касается «веселого ветра», который шевельнул некоторые мысли сегодня, то это все следует считать такой же ерундой, как и любование Руфиной, похожей на ее тетку Евгению.

Сегодня утром Руфина, может быть, и хотела всего лишь проверить силу своих чар на Сергее. Может быть, она три часа назад чем-то и повторила юность своей тетки Евгении, но не теперь, когда Сережа, смеясь, рассказал ей о письме на кальке. И чем больше он потешался над собой, тем серьезнее и старше выглядел в ее глазах. Значит, он вырос настолько, что уже может критически посмотреть на свою первую мальчишескую любовь.

— Но, Сережа,— сказала ему Руфина, когда они ушли в березняке,— все-таки эта первая любовь принадлежала мне. И меня она теперь трогает до глубины души.

— Мне она тоже не кажется такой пустой, как я сейчас рассказываю о ней. Но я и теперь, Руфина, боюсь поверить тебе и себе и этому дню,— признавался Сережа.— Может быть, все это только так. Воскресный день, в который, как ты сказала, случается больше всего глупостей. Но все равно, всегда, всю жизнь я буду благодарен этому дню.

— За что же, Сережа?

Она хотела подробностей, хотела признаний. И Сережа стал признаваться:

— Руфина, ты одна, которой я могу сказать, что для меня не может быть другой. В тебе нет ничего, что бы могло не нравиться мне. Я не умею говорить, как мой брат. Я не вырос на бабушкиных сказках, и меня не приносила птица Феникс из-за семидесяти семи лет. И я верю, что и ты когда-нибудь полюбишь меня как равная равного. Конечно, ты и теперь чувствуешь свое превосходство надо мной. Оно в каждом твоём взгляде. И я понимаю, что стоит тебе только свистнуть... Прости за такое слово... Стоит тебе только мигнуть... Еще раз прости. У меня нет настоящих слов. Стоит тебе только поманить пальчиком, и возле тебя окажется любой из этих Мишей Деминых, Сашей Донатовых и всех этих опытных молодцов, играющих на гитарах и умеющих хорошо носить свои пиджаки. Но можешь ли ты с уверенностью сказать, что не окажешься потом такой же несчастной, как Лидочка Сперанская?

Сережа произнес эти слова с дрожью в голосе, отвернувшись, не желая показывать Руфине своих глаз. А она хотела видеть их, поэтому повернула его голову и, держа ее в своих руках, смотрела ему в глаза.

— Говори все, Сергей. Говори... наверное, я стою этого...

— Не надо так, Руфа. Ты же знаешь, я не могу унижить тебя. Ты никогда не очутилась бы в положении Лидочки Сперанской. Но если бы оказалось, что Миша Демин или кто-то другой покинул потом тебя, так же, как Андрюшка Кокарев Лиду, то все равно я бы пришел к тебе и предложил назваться Векшегоновой.

Этого признания не ждала Руфина. Так ей не признался бы никто и никогда. И если бы даже признался, то можно ли было бы поверить его словам? Вот он, этот заводской человек, о котором говорила мать. Вот оно, повторение ее отца. Вот человек, который, если понадобится, выроет нору и поселится там, выдолбит дупло и назовет его домом. Может схватить ее в охапку и вынести через горящий лес.

Руфина взяла руку Сергея и, прильнув к ней, поцеловала. Рука пахла порошком и ружейным маслом.

— Какая у тебя большая душа, Сергей Романович Векшегонов. И чтобы отплатить тебе за то, что ты сказал, я обещаю исполнить любое твоё желание.

Руфина, легко вспрыгнув, сбросила разлетающую, накиннутую на плечи поверх сарафана, и пустилась в пляс.

— Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! Тра!.. Ля,— напевала она знакомую мелодию из «Кармен», придумывая новые слова.— Ни для кого еще так не плясала зазнайка-девчонка... Любуйся, мой милый Сережа... Сгорая от счастья, сожгу я тебя. А дальше мне слов не придумать для песни... Придумай их сам. Тра-ля-ля...

Пляска, продолжавшаяся без слов, словно повторяла Сереже обещание исполнить любое его желание. И он сказал:

— Руфина, пусть Миша Демин не приходит к вам в гости.

— Только-то и всего? — спросила Руфина, положив голову Сережи на свое плечо.— А я думала, что ты попросишь встречаться только с тобой.

— Это уж как ты захочешь, Руфина. Я ни во что не могу верить...

И они долго сидели обнявшись. Кругом было тихо.

Прыгали кузнечики. В траве розовела полевая земляника.

С тех пор Сережа и Руфина встречались ежедневно. В июле, августе, сентябре... Они встречались всю осень и всю зиму. И чем дольше были их встречи, тем они казались короче.

V

Сближение Руфины и Сережи снова сдружило Векшегоновых и Дулесовых. Они снова начали бывать друг у друга. Чайку попить, пирог добить, масленицу отметить. Мало ли причин. Было бы желание.

— От судьбы, видно, не уйдешь,— начала давно задумываемый разговор Анна Васильевна Дулесова.— Но и судьбе надо помочь, чтобы она не ушла от них.

Разговор сразу же повернулся практической стороной.

— А где они жить будут? — спросила Любовь Степановна.

Такой, казалось бы, второстепенный вопрос вдруг вызвал серьезные обсуждения. В большую квартиру Романа Векшегонова, оказывается, Руфа не могла перейти потому, что «когда-нибудь» мог вернуться Алексей, а

встречаться с ним при всех обстоятельствах ей было бы затруднительно.

Дулесовский дом старомоден, неудобен и тесен. На квартиру в новом доме хотя и можно было рассчитывать, но не на такую, что была когда-то уготована для Алексея и Руфины. Возникнут обидные сравнения, появятся ненужные слова и все такое...

Дулесова предложила построить для молодых домик.

Векшегоновых вначале это испугало, а потом обрадовало.

— Это можно бы,— оживился Роман Иванович Векшегонов.— Только в городе нынче с земельными участками теснее тесного. Хуже некуда.

Вот тут-то и начала Анна Васильевна излагать свой план, который был тотчас же принят. Она начала с того, что двор и огород Дулесовых, перешедшие к ним от дедов, по нормам нашего времени слишком велики.

— Оно, конечно,— заметила Анна Васильевна,— хотя пока на Старозаводскую улицу никто руки не заносит, но и до нее дойдет. А если дойдет, то как скажешь тому же городскому Совету, что мы хотим владеть тридцатью тремя сотками земли, не считая палисадника, и не желаем этой землей ни с кем делиться, как родовой и дедовской.

— Жулановская голова! — похвалил жену Дулесов.— Пропасть бы мне без нее.

— Молчи,— мягко уговонила мужа Анна Васильевна.— А если мы на старом фундаменте, который был кладен еще в кои веки отцом деда Андрея Андреевича, срубим новый дом, то уж никому и в голову не придет урезать нашу землю.

Это всем понравилось. И в тот же вечер пошли смотреть старый дулесовский фундамент. Он прятался в сухих стеблях прошлогоднего репейника и крапивы. Но час дружной работы по прополке обнажил его гранитную «вековечность».

— В те годы гранит-то дешевле кирпича был. Сажень вглубь идет. Никакие морозы не подведут,— принялся нахваливать Андрей Андреевич старый фундамент.— Нашему бы дому на нем стоять, да некуда было переехать тогда из старого дома, пока новый ставился. А ставился он чуть ли не три года.

Обсуждение было продолжено и завершено за чайным столом, в присутствии Руфины и Сергея.

— Три комнаты, кухня, ванная с умывальником, центральное отопление с малым котелком. Впоследствии водопровод от колонки и прочая канализация,— проектировал Роман Иванович Векшегонов.

Деньги общие. Против каждого дулесовского рубля — векшегоновский рубль. Ударили по рукам, запили рюмкой перцовочки и, по второй, белой водочки,— решили не откладывать.

Разрешение на приобретение материалов было получено до того, как Сергей, Руфина и техник-строитель Андриюшка Кокарев нашли на чертежной доске строительное решение применительно к периметру старого фундамента.

Это были увлекательные вечера. Пересмотрев десяток строительных альбомов, заимствуя из них расположение комнат, выбирая фасад, сечение крыши, фасоны дверей и рам, они остановились на доме с башенкой. Крутая крыша, чтобы не надо было сгребать снег, и башенка, начинающаяся выступом эркера с фундамента и вырастающая потом из правого ската крыши вторым этажом, завершалась ветровым штоком.

В проекте дома продумывалось все до мельчайшей детали, даже расстановка мебели, томящейся в ящиках на пустующем сеновале.

Сережа много раз перерисовывал фасад, ища краски наружным стенам, наличникам, орнаментам карнизов и ветровым доскам. И с каждым новым рисунком домик выглядел сказочнее, захватывая все существо Сережи, нашедшего теперь едва не потерянное счастье и гнездо, где начнется его семья, долгожданная семья Векшегоновых-Дулесовых.

Отцы и матери не менее своих детей воспламенились предстоящим строительством. Роман Векшегонов и Андрей Дулесов, сообразовав свои отпуска, решили своими руками заготовить бревна для стен. Они получили разрешение на вырубку лиственниц в заводских дачах. И они из всего леса выбрали самые погонистые деревья.

Полностью ушли отпускные дни Романа Ивановича и Андрея Андреевича, помогавших плотникам, зато — результат налицо. Стены сели на старый фундамент. Башенка поднялась выше конька крутой крыши. Стропила стали на место, укрепленные временными раскосинами в ожидании обрешетника, а за ним оцинкованного железа, которое не надо ни олифить, ни красить.

У справных Векшегоновых и запасливых Дулесовых хотя и были сбережения на... светлый, в данном случае, день, все же строительство в таком темпе потребовало некоторого напряжения. Дулесовы кое-что продали из лежавшего впрок. А Любовь Степановна Векшегонова посчитала возможным воспользоваться брошенной на ее попечение и, наверно, уже забытой Алексеем сберегательной книжкой, на которую все еще поступали начисления по экономии от его изобретений и перерасчеты по премиям за рационализацию, когда-то заниженно подсчитанным осторожными бухгалтерами «предварительно и впредь до выяснения окончательного эффекта».

Алексей, как видно было из редких писем, не нуждался материально, да и к тому же разве он сказал бы хоть одно слово, если бы узнал о тратах на своего родного и любимого им брата... И на одного ли его? И на Руфину, вольно или невольно обиженную им.

В еще с осени застекленном доме и зимой не прекращались работы по внутренней отделке.

И когда строительство близилось к концу и счастливая пара торопила день свадьбы, неожиданно приехал Алексей Векшегонов.

VI

О приезде Алексея было известно и Векшегоновым и Дулесовым. В одном из своих коротких писем он писал матери: «Собираюсь весной побывать в родных местах, полагая, что мой приезд теперь уже никому не помешает». Речь дальше шла об отдыхе, а потом он должен был вернуться в Сибирь, перейти на новый завод и осесть там.

Намерение Алексея приехать никого не удивляло. Должен же сын повидаться с отцом и матерью, с дедом и бабкой. Не может же он из-за несостоявшейся свадьбы не появляться в родных местах. К тому же все сходилось на том, что Алексей тогда поступил разумно. И его даже склонны были благодарить за единственно правильное решение. Теперь уже все понимали, что если бы Векшегоновым и Дулесовым удалось в ту весну помирить Алексея и Руфину, это был бы не мир, а вынужденное короткое перемирие, которое неизбежно закончилось бы куда более страшным — разрывом.

Разрывом не между женихом и невестой, а между мужем и женой.

И Руфина, кажется, была благодарна своему бывшему жениху. Она теперь не могла и представить себя вместе с ним. С этим, каким-то рассудочным и каким-то «очень правильным» человеком, который, как хочется верить Руфине, «выдумал сам себя» еще, может быть, в детские годы, а потом, под гипнозом деда и бабушки, перевоплотился в образ, созданный ими, и поверил, что это и есть он сам.

Так Руфине казалось. Так, может быть, она хотела, чтобы ей казалось. И, догадываясь об этом, обеспокоилась Анна Васильевна Дулесова.

— И принесла же его нелегкая именно тринадцатого числа,— жаловалась она мужу.— Я не жду ничего хорошего от его приезда. На ней лица нет. Будто кто подменил ее. И надо же ей было вчера пойти на станцию! Как рок какой-то... Как злой глаз.

— Да будет тебе, Анна,— успокаивал жену Андрей Андреевич.— Уж кого-кого бояться, только не Алешкиного глаза. Добрее-то его и придумать трудно. Тактично остановился у деда... Какого еще рожна надо... Намекнуть только ему — и как ветром сдует. Не будет же он, в самом деле, становиться поперек дороги родному брату. Ты что?

— Я ничего, Андрей... Я ничего... Только вчера вечером Руфина сказалась больной и не пошла, как всегда, в новый дом, где ждал ее Сережа. Он работал один допоздна. Не было еще такой дочери, которая могла бы обмануть материнское сердце. Хоть и не говорит она ничего, а знаю, что встретила вчера Алексея — и все как будто и не умирало в ней.

А дело было так.

Руфина, получив за вечернюю переработку отгульный день, отправилась на станцию за журналом мод, оставленным для нее в газетном киоске. Когда она подходила к главному входу вокзала, увидела Алексея Векшегонова.

Он предстал перед нею таким же, как три года назад. Тот же синий, пыльный взгляд. Тот же упрямый, будто литой из стали, подбородок. Те же писанные, унаследованные от матери, брови. Тот же передаваемый из поколения в поколение прямой и тонкий, с еле заметной горбинкой у переносицы, векшегоновский нос.

И ямочки... Знакомые ямочки на щеках. Только они теперь стали глубже, как и косая поперечная складка на лбу.

Ему можно было дать и двадцать и сорок лет. Как и три года назад, на лице Алексея отражалось состояние его души. Оно — то как солнечный день, то как пасмурное утро, то как тихий вечер. Это было лицо, которое не могло скрыть ни одной мысли, ни даже самого малого движения души.

Встретив его, Руфина обомлела:

— Ты приехал, Алеша!

Алексей вздрогнул. Остановился. Потом, будто переступая из одного мира в другой, преобразился. Теперь в нем улыбалось, смеялось, радовалось все. И глаза, и брови, и ямочки, и, кажется, даже его маленькие уши.

— Руфина!.. Как я рад, что ты первой из всех наших встретила меня. Здравствуй!..

Они обнялись и поцеловались. Поцеловались так звонко, что обоим стало весело-весело. Они так громко смеялись, будто никогда никакая черная кошка не пробегала между ними.

— Давай, Алеша, я тебе помогу нести второй чемодан...

— Нет, нет,— отказался Векшегонов.— Расскажи лучше, как живешь. Ты уже замужем, Руфина?

— А ты женат, Алеша? — вместо ответа задала вопрос Руфина.

— Я?.. Ну что ты, Руфа. Я человек, мало подходящий для женитьбы... Ну да зачем об этом говорить.

— Ты надолго?

— Даже не знаю. Как проживется. У меня вынужденный перерыв. С одним заводом покончил, а другой еще не готов. Я теперь пока перелетная птица, но скоро осяду.

— Нашел Ийю? — спросила Руфина. Спросила, кажется, неожиданно и для себя.

— А я и не искал. Зачем искать потерянное? Да и Сибирь не Старозаводская улица, где все наперечет.

— Да, конечно, конечно, Алеша...

Дальше разговор не пошел. Вскоре они остановились у ворот векшегоновского дома. Остановились и простились.

— Заглядывай, Руфа...

— И ты, Алеша...

И будто бы не было встречи. Руфина, опутив голову, пошла домой.

Сердце ее теперь билось тише и тише.

Еще вчера все было так ясно и твердо. Оставалось только закончить облицовку стены серебристой тавдинской фанерой и завершить подводку труб к радиаторам отопления да сделать кое-что по мелочам, и можно было перетаскивать с сеновала мебель, а затем и назначить день свадьбы. Она не должна быть такой шумной, как намечалась три года назад в зале Дворца культуры, зато наверняка счастливой.

Разве счастье в грохоте и шуме? Слава, как поняла Руфина, не очень надежная сваха.

Она жила все это время своим нежным чувством к Сереже, и, казалось, оно заполняло всю ее. Скоро у них должна быть своя крыша, свои мыши и своя кошка, которая уже подрастает таким игривым котенком. А самое главное — он!

Он, такой милый-милый... Светлый, как ночь в июне. Тихий, как летний вечер на лесном озере. Добрый-добрый, как улыбка матери. Послушный, как собственная рука.

Как хорошо еще вчера думалось ей о нем. Каких только слов она не наготовила ему. Не из самой ли лучшей песенки он пришел к ней? Не волшебная ли музыка была его матерью? Не во сне ли она встречается с ним?

А теперь? Что произошло теперь? Почему ее глаза роются встретиться с глазами Сережи? Не разлюбила же она его за эти считанные часы? Не изменила же она своим чувствам?

Не изменила ли?

«Нет. Нет. Нет», — твердила она.

А маятник часов спорил с ней: «И нет и да... И нет и да... И нет и да...»

Это взорвало Руфину. Она остановила часы. Но от этого не остановилось время и не затихло волнение в ее душе, стремительно сокрушающее, как полая вода, как ураган, все, что так нежно и заботливо создавалось ею на всю ее и Сережину жизнь.

Вечером она не пошла к Сереже в домик с башенкой, где он работал. Пусть у нее уж не так сильно болела голова, но болела. Руфина не знала, как рассказать ему о встрече с его братом. Она еще и сама не разобралась в этом. Ясно было одно — что-то изменилось.

Февральское солнце, поднявшись над крышами домов Старозаводской улицы, заглянуло в большую горницу векшегоновского дома, где спал Иван Ермолаевич. Напрасно старалось солнце размежить своими яркими лучами стариковские веки. Дед весело похрапывал, улыбаясь во сне. И было чему...

Приехал дорогой его внук, выросший не у отца с матерью, а у деда с бабушкой. Выросший «ненаглядинкой-виноградинкой, трудовой родовой дедовой косточкой, последней бабкиной зоренькой, золотыми рученьками, хрустальным сердечушком и прямой, тугой, как струна, совестью».

Да разве найдется на свете столько слов, чтобы он и Степанида Лукинична сумели рассказать людям, как они любят своего внука.

Дед и внук, набражничавшись накануне, не торопились открывать глаза. Когда же запахло верещавшими на горячей сковороде вчерашними пельменями, пахнуло острым дымком из трубы вскипевшего самовара, Степанида Лукинична крикнула спящим:

— Ребятёнки!.. Самовар на столе. Не гневите солнышко.

Иван Ермолаевич открыл глаза. Его серебряная борода, остатки таких же кудрей засверкали, освещенные солнцем и счастливой улыбкой. Выпростав ноги из-под ватного одеяла, он, как был в исподнем, так и побежал за перегородку, где спал Алексей.

Склонившись над спящим, щекоча его бородой, он принялся напевать глуховатым голосом слова знакомой песенки:

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно...

Внук ответил хохотом. Сегодня он будто вернулся в милые школьные годы. Бабка, как давным-давно, принесла внуку шерстяные носки и сказала:

— Тепленькие. Из печурочки. Надевай, пока ноги не остыли.

Такие нежности, наверно, удивили бы ту же Руфину, будь она здесь. Но во всякой семье свои отношения и свои способы выражения их.

Умытый, наряженный Алеша сел на свой стул перед своей тарелкой с синей каемочкой и следами золо-

того ободка. Милые памятки детства. Деревянная солонка со спинкой как у кровати. Перечница-меленка. Медный поднос. Плетеная сухарница. Тугой холодец. Хрустящие грузди. Белая капуста. Огурцы с укропом. Морковные пирожки. Налёвные шанежки. В жбане— овсяная бражка. Не столь хмельна, сколь в нос шибает.

Когда только успела бабушка?

Какое счастливое возвращение! Алексей еще ничего не знает. Не знают и старики Векшегоновы, что сейчас происходит в душе Руфины, как отозвалась в ней встреча с Алексеем. Зато вчера допоздна проплакала Анна Васильевна, рассказывая отцу и матери Алексея о переменах в ее дочери.

— Не узнаю я ее, Любонька,— причитает Анна Васильевна.— Сама не своя. В глазах скорбь, на лице боль... Вся в себя ушла. Молчит. Сторонится меня. Не помешалась бы...

Любовь Степановна Векшегонова утешает Анну Васильевну, а у самой голос дрожит. Нехорошие предчувствия одолевают ее. Недовольна она приездом старшего сына.

— Надо, чтобы он уехал. Я так и скажу ему,— обещает Любовь Степановна.— Да он и сам догадается, когда узнает... когда я намекну ему.

С утра отец и мать Алексея направились в старый векшегоновский дом. А там Алексей с жаром рассказывал Ивану Ермолаевичу, как полюбились ему новые заводы, какая огромная жизнь начинается в Сибири и как мало он знал об этом.

Было по всему видно, что Алеша доволен своей кочевой жизнью. Ему нравилось быть участником пуска новых заводов.

— Прямо как с одного дня рождения на другой,— делится он с дедом.

Алексей под большим секретом рассказал, как он мечтает о новых фабриках на колесах, которые будут передвигаться будто корабли по зеленому морю тайги...

И в самый разгар рассказа о новых самоходных фабриках дед посмотрел в окно и увидел сына Романа.

— Никак отец твой идет. Никак, Стеша, этой сквороды теперь маловато будет...

Вошел отец Алексея, Роман Иванович. Он хотел обрадоваться встрече с сыном, да почему-то этого не получилось.

Они обнялись, чмокнули друг друга в щеку, и отец стал спрашивать, как доехал Алексей, почему не дал знать о приезде, надолго ли...

Разговор начинался, но не завязывался.

Вскоре пришла и мать. Она всплакнула при встрече с сыном. И, может быть, не столько слезами радости, сколько слезами огорчения. Она прямо сказала Алексею:

— Ах, Алеша, Алеша... Месяца бы хоть через три тебе приехать, когда бы Руфина стала мужней женой, когда бы поросли к тебе все стежки-дорожки...

Дед насторожился. Нахмурился. Расправил бороду и сказал.

— Веселый, однако, разговор.

— Веселого мало, папаша. Сергей-то ему брат. Надо бы дать Сереже в свое гнездо войти... Тогда бы и говорить было не о чем...

— Мама,— перебил Алексей,— я ведь не знал... И если я опять кому-то мешаю, то разве трудно завтра же купить билет — и все... Ну разве я мог подумать, что Руфина все еще... Нет, нет, мама, ты не беспокойся... Мне вовсе не трудно уехать... Мне даже нужно...

Тут раздался стук. Задребезжала посуда на столе. Разбилась вазочка на тонкой ножке: она подпрыгнула и свалилась набок.

Это Иван Ермолаевич ударил кулаком по столу. И в этом ударе еще чувствовалась и сила и власть старика.

— Если Руфку Дулесову,— начал он тихим голосом чеканить слова,— от Сережки может всякий ветер отдуть, как скажите мне, старому дураку, на милость, какая она ему, ясное море, жена?

— Рана же у нее, папенька, рана,— принялась оправдывать Руфину Любовь Степановна.

А дед опять на той же волне:

— Коли рана, так дай ей зажить. Дождись наперед, когда она зарубцуется, а потом и на шею вешайся. Не Сережа ведь начинал это все, а она.

— Откуда нам знать, папаша, кто начинал из них.

— Ты не знаешь, а я знаю. На этом и кончим, чтобы далеко в лес не зайти... Давай, Степанида Лукинична, жарь остальные... Сын ведь с милой снохой пришел...

К разговору о Руфине и Сергее никто больше не возвращался. Но Алексей от этого не чувствовал себя лег-

че. Он решил уехать завтра же. Уехать не сказавшись, оставив деду с бабушкой короткое письмо.

Но Алексей не уехал. Ему, как оказалось, уже незачем было уезжать.

VIII

Вечером в тот же день Руфина пришла в новый дом. Сережа, закончив нарезку последнего сгона отопительных труб, готовился проверить резьбу муфтой, как услышал шаги. Это были ее шаги. Их нельзя было спутать ни с какими другими.

У Руфины заплаканные глаза. На лице ее красные и белые пятна.

Из рук Сережи выпала муфта. Она, покотившись, остановилась возле больших газовых клещей. Он не бросился, как всегда, к Руфине навстречу и даже не сказал ей «здравствуй».

Руфина прошла к окну и стала спиной к Сергею. Сергею не хотелось, чтобы она первой начинала разговор. И вообще разговор ему показался сейчас ненужным.

Вчера вечером и сегодня ночью они, не встречаясь, кажется, переговорили обо всем. Но, чтобы убедиться, он все же спросил:

— Значит, все это было у тебя как бы отраженно... И я как бы не я, а его отражение...

— Не знаю, Сережа, я ничего не знаю,— слышалось сквозь слезы Руфины.— Только что-то произошло, а что, я тоже еще не знаю...

— Тогда узнай... Я подожду. Я научился ждать. Я обучен этому с десятого класса... А может быть — с восьмого.

Сережа неторопливо направился к двери. Он был уверен, что Руфина окликнет его. Остановит. Остановит и скажет: «Куда же ты?», или «Погоди, Сережа, не уходи», или что-нибудь в этом роде. Но Руфина не окликнула его. Она даже не повернулась.

Дверь бесшумно закрылась за ушедшим Сережей.

Руфина осталась у окна. По ее щекам текли крупные слезы. Она не останавливала и не утирала их. За окном стоял мороз. Синий, сорокаградусный мороз. Безжалостный ко всему окружающему. Он леденил до оцепенения даже кроткий свет луны.

Наверно, Руфина простояла бы очень долго у окна, казня себя за жестокость и свои чувства, проснувшиеся с возвращением Алексея, но на кривой тропинке, идущей через сугробы глубокого снега, появился Николай Олимпиевич Гладышев.

Руфа вспомнила, что он обещал в середине этой недели побывать у них в домике, чтобы окинуть его хозяйским взором перед «пуском в эксплуатацию».

Посещение Гладышева оказалось так некстати...

А может быть, наоборот. Ведь он всегда был хорошим другом и добрым покровителем их семьи. С ним она могла быть куда откровеннее, чем с родным отцом и, может быть, в данном случае, откровеннее, чем с матерью. Руфина вытерла слезы и направилась к двери.

Он постучался. Она ответила:

— Да, да...

Его раздумывавшееся на морозе доброе лицо обрамляли заиндеветые воротник и шапка из и без того седых камчатских бобров. Он, ничего, разумеется, не зная, крикнул:

— Здорово, ребята!..

Руфина ответила на это грустно:

— Здравствуйте, Николай Олимпиевич.

Увидев лицо Руфины, он не стал ее расспрашивать. Она сама объяснила ему в коротких словах все происшедшее:

— Вчера вернулся Алексей Векшегонов, Николай Олимпиевич. Вернулся — и вернулось все... Все, что было три года тому назад.

— И что же теперь? — боязливо спросил Гладышев.

Руфина опустила голову. Наступили те необходимые в подобных случаях минуты молчания, когда слова, перед тем как сказаться, хорошо взвешиваются. Этим и был занят Николай Олимпиевич, снимая свою жаркую шубу.

И когда мысли Гладышева облеклись в слова, он сказал:

— Дружочек мой... Слезы, конечно, облегчают сердечные боли, но все же лучший доктор для таких недугов — время. Ему и нужно доверить свое лечение.

— Я думала, Николай Олимпиевич, у вас найдутся слова теплее и убедительнее, — не согласилась Руфа, снова отвернувшись к окну, за которым стоял тот же синий, безжалостный и, кажется, усилившийся мороз. —

У вас всегда было так много успокоительных слов. И тогда он сказал:

— Руфина, тебе не кажется, что твоим доктором может оказаться также и работа? Жаркая работа. Живая. Такая работа, которая потребует всю тебя. Всех твоих сил. Которая поможет забыть обо всем, не давая отвлечься ни на минуту.

— Да,— тихо произнесла она.— Вы, кажется, правы. Но есть ли такая работа?

— Есть!— твердо сказал Гладышев.— Разве ты не знаешь об отстающей семнадцатой линии? Пятый месяц мы бьемся с ней, но пока никаких успехов... Эта линия нуждается не в укреплении новыми силами, а в полном обновлении. В полном. До последнего человека.

В голове Руфины возникла и молниеносно развилась мысль, опередившая задумываемое Николаем Олимпиевичем. И он теперь, разговаривая с нею, как бы уточнял то, что Руфина уже достаточно ясно предсказала.

Он говорил:

— Если бы ты захотела вернуться на производство и решила бы возглавить новый молодежный коллектив семнадцатой линии, коллектив своих сверстников, и взялась бы за дело с тем жаром, каким еще не так давно ты славилась, то я готов поручиться, что результаты сказались бы в первый же месяц работы.

Лицо Руфины зарумянилось. Николай Олимпиевич коснулся самого сокровенного. Оказаться снова замеченной, вернуть потерянное оставалось тайным желанием честолюбивой девушки. Это желание, как будто спавшее все это время, теперь проснулось и заговорило так громко, что, кажется, стало заглушать все остальное.

А Николай Олимпиевич, может быть и не желая, помогал ее воображению:

— Я не могу сказать заранее, во что это все выльется, но думаю, что на заводе может появиться производственная линия, которая будет удостоена права называться коммунистической... А отсюда делай выводы — какое это будет иметь значение в общественной и личной жизни.

Если верить восточной пословице, утверждающей, что оседлавший тигра не может переседеть на клячу, а пересев на нее, не может расстаться с мечтой о тиг-

ре, нам будет понятно, почему в заплаканных глазах Руфины сверкнула искорка надежды.

Заметив это, Николай Олимпиевич сказал:

— Не опускать руки, а бороться должны мы, и особенно когда несчастья нависают над нами. Полагаю, что сказанное мною единственно правильно.

— Я согласна!

Руфина, обняв Николая Олимпиевича, по-дочернему поцеловала его пухлую, все еще румяную от мороза щеку...

На другой день стало известно, что Руфина Дулесова возвращается на производство бригадиром отстающей семнадцатой линии.

Это известие было передано по внутризаводскому радио в «Наших новостях», и конторское платье Руфины сменил синий комбинезон, простроченный на швах, по кромкам карманов и наплечных лямок двойной ярко-желтой ниткой в цвет ее шелковой косынке.

IX

На Старозаводской улице нет тайн. Уход Сережи тоже не мог остаться тайной. Узнал об этом и Алексей. Ему было жаль Сережу, и хотя стать второй раз причиной страдания Руфины ему было больно, такой исход он и считал неизбежным.

Иван Ермолаевич, чтобы отвлечь внука, стал расспрашивать о самоходных фабриках:

— Алешка, стар я и туп уж, наверно, а отставать боюсь. И до того-то мне желательно досконально узнать про твои самоходные фабрики, что даже не сплю от любопытства.

Старик хитрил. Ему хотелось отвлечь внука, посадить его на любимого конька и заставить умчаться в мечты.

Последние два года Векшегонов жил мечтой о фабриках на колесах. Он пока еще не делился этим ни с кем. Боялся, что мечта, не ставшая убеждением, может рухнуть, если в ней усомнятся другие. Идея фабрик на колесах родилась в сибирских просторах. Она родилась, когда завершалось строительство бумажной фабрики. Она выросла в тайге, на берегу большой реки. Фабрика еще не вступила в строй, а окрестные лесные массивы уже заметно поредели. И Алексей подумал тогда: что

же будет через десять-пятнадцать лет, если теперь загостовители бумажного сырья — древесины — так глубоко шагнули в тайгу? Не слишком ли дорого будет стоить доставка леса издалека? Даже рекой. Всегда ли сырье нужно доставлять к фабрике, нельзя ли, чтобы фабрика приходила к сырью? Приходила так же, как приходит комбайн, обрабатывающий своего рода сырье, каким являются колосья. Не есть ли комбайн маленькая фабрика на колесах? А драга? Разве драгу нельзя назвать самоходным заводом по добыче золота?

Иван Ермолаевич, слушая жаркий рассказ внука, загорался и сам. Ему была понятна суть идеи, ее возникновение и развитие. И он сказал:

— Дельно, Алеша. Давай дальше.

Найдя благодарного слушателя, Алексей перешел к описанию сухопутного корабля:

— Он так велик, дедушка, что даже самые высокие деревья по сравнению с ним не более чем колосья пшеницы по сравнению с комбайном. Вот лес... Вот бумажный корабль-фабрика на огромных гусеницах. Гусеницы шириной с нашу Старозаводскую улицу.

Ивану Ермолаевичу была показана страница альбома.

— Это еще набросок, дедушка. Это еще только эскизные поиски самоходной фабрики. Ты видишь, как она высится над тайгой. Видишь, как она сжинает, точнее, выкорчевывает деревья, а потом проглатывает и перерабатывает их в бумагу. Как это будет происходить, мне пока во всех подробностях еще не ясно... Но я знаю, что машины и механизмы фабрики, обрабатывая и сортируя древесное сырье, превратят его в бумагу, а отходы станут энергетической пищей фабрики. То есть топливом. Это корневища, ветви, кора. Тебе это понятно?

— Вот тебе и нá! Полная картина. И нос и корма. А за кормой взрылленная земля, которая с годами порастет лесом. Саженым или самосейным. Так, что ли?

— Так, дедушка. Именно так...— Алексей радуется. Его глаза светятся.— Тайга будет сводиться не полностью, а полосами. Понимаешь, такими широкими просеками, чтобы оставшийся старый лес породил молодую.

— Об этом я и толкую. Значит, мы в одно с тобой думаем. В одно.

Рассказ продолжается:

— Ты представляешь, дедушка, как эта громадина движется все дальше и дальше, в недосыгаемые пока еще лесные массивы, где на корню гибнут состарившиеся деревья, не принося людям никакой пользы, куда дорого и невыгодно прокладывать железную дорогу. А самоходной фабрике не надо дорог. Она сама себе стелет дорогу своими гусеницами. Для нее и река как ручей. Конечно, не Енисей и не Амур, а обычные средние реки.

— А люди? Где будут жить люди?— спросил Иван Ермолаевич, входя действующим лицом в мечту внука.— Где, скажем, буду жить я, когда приеду гостем на твою самоходную фабрику?

И внук отвечает:

— Большие морские корабли вмещают тысячу, две, три тысячи человек. Фабрике же достаточно двести-триста рабочих. Она должна быть автоматизирована до предела возможного. Современные бумажные фабрики требуют не так много рук. Фабрика на колесах — это и жилища для тех, кто уходит в рейс. Как на кораблях. Но там вокруг вода. На земле всегда проще. Вот, посмотри.

Показываются новые листы эскизов и набросков. Голос Алексея не умолкает. Он, кажется, рассказывает не только деду, но и себе:

— Такие фабрики, дедушка, не только возможны, но и неизбежны. И не одни лишь бумажные, но и фанерные, химические, фабрики искусственного волокна, фабрики по прокладке дорог. Шоссейных и железных. Фабрики по добыче полезных ископаемых и переплавке редких руд. Мало ли даров в этом еще неоткрытом краю. Иногда ценнейшие месторождения бывают недостаточными по мощности... Ты это понимаешь?

— Понимаю, Лешка.

— И на их базе, ну, что ли, возле них, не имеет смысла возводить завод. Потому что ему месторождения может хватить на год, на два. А самоходному заводу это неважно. Он может прийти хоть на месяц. Взять, переработать и уйти на новое малое месторождение. Дедушка, веришь ли ты, чувствуешь ли ты, что я не фантазер, а практик?.. Понимаешь ли ты, что передвижные фабрики — это новая страница в нашем народном хозяйстве? Не посмеешься ли ты надо мной?

Я ведь хорошо знаю твою смешинку и как ты иногда скрываешь ее от людей, которых любишь.

Иван Ермолаевич нахмурил брови, поднялся с лавки и строго посмотрел на внука:

— Лешка, хитрить с тобой — значит врать себе. Я мало прошел классов, и мне никогда не понять, скажем, устройства обыкновенного радиоприемника. А уж про космический корабль нечего и говорить. Тут я чурка чуркой. Но это ни в каком разе не значит, что я не вижу, по возможности своих глаз, куда ведут и что дадут нам космические корабли и какими они будут лет через двадцать, а то и через пятьдесят лет. Для этого хватает и моего ума.

Иван Ермолаевич снова сел на скамейку рядом с Алексеем, обнял его и стал говорить, будто боясь, что его подслушают стены, фикус или кот Мурзей.

— Алешка, я верю в твои фабрики, хотя и знаю, что это пока бумага. Мечтания. Я верю в них, потому что они в линии жизни. В линии, которая еще не прочерчена, но не может не прочертиться. И то, что ты сказал про комбайны, про драги и про то, что многие фабрики неминуемо должны приходить к сырью и сойти со своих фундаментов,— для меня это как дважды два. А какой будет фабрика — гусеничной, или шагающей, или разборно-сборной, или вертолетной — это дело десятое. Если суть верна, она найдет свою плоть. Эту ли,— Иван Ермолаевич ткнул пальцем в альбом эскизов,— или какую-то другую, судить не мне. Одно только беспокоит меня, Алексей. Ты!

— Я?

— Да. В тебе есть свой свет. Хороший свет. Но ты пока еще тусклый фонарь.

— Почему же, дедушка?

И дед ответил:

— Ты боишься своего света. Тебе страшно дать волю его лучам. И даже со мной, с твоим первым дружком-товарищем, ты говоришь с какой-то опаской. Лешка! Разведчик должен быть осторожен. Это так. Осторожен, но смел. А смел ли ты? Нет, Леша. Ты башковит и умел, но не смел. Если ты веришь своему кораблю, зачем тебе спрашивать, верю ли я ему? А если не верю, тогда что? Опустить руки? Отказаться? А вдруг я пень? А если на пути твоих фабрик встретятся еще пни?..

Иван Ермолаевич, потеряв нить разговора, вспомнив, с чего начал и чем хотел кончить, стал говорить снова:

— Алешка!.. Помни, Алешка, дедов наказ. Живущий только сегодняшним днем, как, к примеру, твой дядька, Николай, живет во вчерашнем дне. В сегодняшнем дне живет только тот человек, который зашагивает в завтрашний день. Кто думает о нем. Кто желает его. Конечно, не всегда находит ищущий, но не ищущий — никогда ничего не найдет. А ты ищешь. Ищешь... И в этом твое счастье.

— Спасибо тебе, дед. Большое спасибо.

Алеша приник к теплой груди старика. Тот стал гладить его кудри. Так сживали они годков двадцать, пятнадцать тому назад. Время прошло, а отношения между ними все те же.

Хорошо мечтается Алексею Векшегонову.

Как бы ни выглядела фабрика на колесах — «кораблем» в одиночном плавании или «флотилией», состоящей из цехов на колесах, это придет, найдется. Дедушка прав: если не думать, не мечтать уже сегодня, сейчас о завтрашнем дне, не заглядывать в него смело и дерзко, то во имя чего жить сегодня?

Пусть эти корабли еще не завершены и на ватмане. Но все-таки они уже есть. Разве не все, созданное человеком, было когда-то всего лишь мечтой?

Х

После двух дней безделья Алексей Векшегонов решил показаться на люди и побывать на своем заводе.

Здесь началась его трудовая жизнь. Здесь знакомо и мило каждое строение, каждая труба, каждый перекресток заводских улиц. Дорог шум, и мил запах.

Деревья, в посадке которых участвовал Алексей еще мальчишкой, стали большими. Появились новые здания цехов. Из сборного бетона. Теперь строили только так.

Не все узнают Алексея, а он не окликает их. Не хочет задерживаться и рассказывать, что да как. Ему нужно скорей пройти в заводоуправление к дяде Николаше.

И вот он у дверей его кабинета.

— Вы к кому? Как сказать о вас?

Знакомый голос Лидочки Сперанской вдруг умолкает, потом снова поет, но уже на другой ноте, в которой слышится извинение:

— Алеша... Алексей Романович, я вас не узнала. Здравствуйте. С приездом. Вы совсем?

— Не... не знаю,— слегка заикнулся Алексей.— А вы теперь работаете секретарем?

— Нет, нет,— почему-то смутившись, ответила Лидочка.— Я референт по техническим новостям... Секретарь обедает, и я заменяю его... Проходите... Николай Олимпиевич один.

— Ба-а!—Николай Олимпиевич вышел из-за стола и облобызался с племянником.

— Здравствуй, дядя Николаша.

— Н-ну, рассказывай... Правда, я кое-что уже знаю... Садись.

Они уселись в кресла перед письменным столом. Гладышев с любопытством разглядывал Алексея.

Рассказ Алексея был кратким. Точным. Похожим на рапорт.

— Да что ты, право, как послужной список читаешь,— прервал племянника Гладышев.— Кроме заводского монтажа, было же у тебя еще что-то в жизни?

— Кажется, нет, дядя Николаша.

— Так и не влюбился?

— Пробовал,—сознался Алексей и покраснел,— только все это было каким-то самообманом. Таким же, как тогда... Но не будем об этом.

— Почему же не будем-то?—спросил Николай Олимпиевич, придвигая кресло.— Даже я пока еще не теряю надежды. Одиночество такого рода противоестественно и в мои годы.

— Наверно.

— Лешка, ты что-то скрываешь?

— Кажется, нет.

— А мне кажется — да. Леш... ты можешь быть откровенным с твоим дядькой?

— Станный вопрос. В скрытности меня еще никто не обвинял.

— Это верно. Курить еще не научился на новостройках?

— Нет, не научился.

— А я не могу разучиться.

Николай Олимпиевич принялся неторопливо наби-

вать трубку, потом раскуривать ее. Он явно обдумывал вопрос, который хотел задать Алексею.

— Ты только не обижайся... Я, Лешка, не хочу вторгаться ни в чью жизнь. Но иногда приходится. Скажи, ты давно не видел Ийю Красноперову?

— С тех пор, как она уехала. А почему ты спросил вдруг о ней?

— Я потом отвечу тебе. И не переписывался с нею?

— Нет.

Николай Олимпиевич развел руками, пустил клуб дыма.

— Странно, очень странно.

— Что же тут странного? Нужно знать Ийю.

— Знай, братец, не знай, но согласишься: если спустя столько времени прямо вслед за тобой приезжает она, то едва ли это можно объяснить простой случайностью.

Алеша вскочил. Он не поверил услышанному:

— Она приезжает? Когда?

— Лидочка сказала, что Адам Викторович ждет ее завтра.

— Дядя Николаша, у меня, кажется, подкашиваются ноги.— Он снова сел.— Это на самом деле очень странно. Мне часто казалось, когда я приезжал на новый завод, что встречу ее. И теперь вдруг... Так неожиданно... А может быть, мысли каким-нибудь образом... Нет, это, конечно, мистика...

— Несомненно. Ларчик, наверно, открывается гораздо проще. Если ты ничего не знал о ней, то, может быть, она знала о тебе. Ведь переписывалась же она с дедом. С Адамом Викторовичем. И, может быть, тебе следует поговорить с ним.

— Да, да,— ухватился за подсказку Алексей.— Я сейчас же к нему...— Потом он остановился.— Но столько лет я не видел его...

Раздался телефонный звонок. Он как бы напомнил Алексею о рабочем дне Николая Олимпиевича.

— Ты извини меня, дядя Николаша... Я хотел на минуту и по делу, а пробыл чуть ли не час...

— Да полно тебе, Лешка... Порасспроси Лидочку. Она разговаривала с Адамом Викторовичем... Бывай здоров!.. Нет, это я не вам,— сказал в телефонную трубку Гладышев.

Алексей уже был за дверью кабинета и спрашивал Лидочку о приезде Ийи.

— Точно!— подтвердила Лидочка.— Он их ждет завтра.

— Вы сказали «их»? Кого их? Разве она приезжает не одна?

Лидочка еле заметно улыбнулась:

— По-моему, не одна. Если Адам Викторович назвал их «моими милыми, дорогими гостями»... Если он сказал: «Теперь я, наверно, переберусь к ним на жительство», значит, Ийя не одинока. Это вас огорчает?

— Я еще не знаю,— ответил Алексей.— Это так неожиданно... И так приятно... Ее муж, наверно, химик... А я чуть было не уехал вчера... А как вы, Лидочка? Ведь мы не виделись три года. Я все о себе да о себе. Как вы?

— Все так же. В моей жизни ничего не изменилось. Разве что стала старше. Но вам-то, Алеша, зачем знать обо мне? Учтивости ради?

— Нет, почему же... Я часто вспоминал о вас... Я ведь очень хорошо отношусь к вам... Лидочка, не обращайтесь на меня внимания, я как-то не в себе. Столько потрясений... Вы, очевидно, еще не знаете, что происходит у нас в семье.

— Знаю, Алеша. Я все знаю.

— Тем лучше. Извините. Мне, кажется, нужно сейчас собраться с мыслями. В голове такая крошка... Я пойду.

Лидочка проводила Векшегонова до входной двери. Потом вернулась и поняла, что она тоже должна собраться с мыслями. Ей всегда нравился Алексей Векшегонов, но в ее голову никогда не приходила мысль о невозможном. А теперь она, подумав о Руфине, Ийе, спросила себя: «Мог ли быть счастлив со мной Алексей Векшегонов?» И оказалось, что мог бы.

Разве он не такой же одинокий в личной жизни, как и она? Разве она растеряла тепло и чистоту своего сердца?

Векшегонов ничего не знает о ней. Они, в самом деле встречаясь много раз, ни разу не встретились. А если бы встретились, если бы она хоть немного приоткрыла свою душу, то, как знать, может быть, он увидел бы ее другой.

Так хорошо мечтается Лидочке. И так боязно ей мечтать.

Она смотрит в окно. Ярко светит солнце. И кажется,

уже тепло-тепло, а на самом деле стужа. Иногда нужно вдумчиво и критически относиться даже к ярким солнечным лучам.

XI

Сережа не искал встречи с братом. Но город не так велик и тем более не так широка Старозаводская улица, на которой они жили. Встреча состоялась на улице.

— Здравствуй, Алеша,—первым поздоровался Сережа.— Мне не на что сердиться, но я ревную, потому что она любит тебя. И во мне она любила тебя, Алеша. Поэтому пока не будем встречаться.

— Хорошо. Не будем.

Ответив так, Алексей залюбовался Сережей. В нем он увидел прямого, открытого человека, который не разговаривал «полусловами». Он так просто, так сердечно и так коротко объяснил состояние своей души и отношение к нему, к своему родному брату.

Алексей хотелось вознаградить брата тем же. И он сказал:

— Сергунька, если тебе захочется разлюбить ее, приходи ко мне, я сниму с тебя эти чары.

— Нет, мне, Алеша, поверь, не нужно этого. Я хочу любить ее.

Поговорив так, они разошлись. Сережа пошел на завод, во вторую смену. Алексей направился домой. Сегодня придет Ийя. Как-то они встретятся? Придет ли она с мужем или одна? Лучше бы сначала одна. Оказывается, не так-то просто видеть рядом с нею другого человека. Нужно брать себя в руки. Нужно учиться этому у младшего брата.

Ийю ждали дед и бабка. Они, кажется, тоже волновались.

— А голосок у нее тот же. Как будто поет по телефону,— рассказывал Иван Ермолаевич.— Веселый голосок.

— Голос не волос, он не меняется,— заметила Степанида Лукинична.— А вот сама-то она какой стала?

Алексей смотрел на часы. Заглядывал в окно, вставая на стул, так как нижние стекла рам были заморожены. И вдруг кто-то бросил в стекло снежок.

— Ийя! Это Ийя!

Алексей побежал, чтобы встретить ее у ворот. Но поздно, Ийя уже на пороге.

Она в беличьей серой шубке. Такой же серой, как и ее большие глаза, сверкающие в окаймлении белых от мороза ресниц.

— Алеша!— зазвенел знакомый колокольчик.— Милый мой...

Мгновение — она у него на шее. Влага ли оттаявших ресниц или слезы радости сохнут на его лице? До этого ли теперь ему? Они встретились снова. И ни дед, ни бабка не мешают ему засыпать поцелуями ее лицо и знакомые руки, обронившие на пол красные варежки.

Степанида Лукинична, не зная — радоваться, не зная — печалиться, смотрела на них из-за ситцевой занавески, а оробевший от буйства такой встречи Иван Ермолаевич спросил, чуть не подавившись своими словами:

— Ийя, а второй-то человек где?

А Ийя, не размыкая рук на шее Алексея, ответила:

— Я оставила его у тети Кати в Челябинске. Там ему будет веселее. У них тоже мальчик, и они сразу же подружились...

Иван Ермолаевич, осмыслив сказанное, снова спросил Ийю:

— А где, Ийенька, твой муженек?

Ийя уклонилась от прямого ответа:

— Я думала, что вы сначала скажете: «С приездом, Ийя Сергеевна», потом велите снять шубу. Потом посадите за стол и предложите чайку с горячим топленым молочком или что-нибудь еще с морозца, а потом уже начнете расспрашивать обо всем прочем... Здравствуй-те, Иван Ермолаевич.

— Прости меня, старого торопыгу.

Иван Ермолаевич обнял и троекратно поцеловал Ийю. Это же самое повторила и Степанида Лукинична и сказала:

— Щечки-то у тебя после ребенка как налились! Скидывай шубейку, дальше разглядим, какова ты молодая мать.

Алексей помог ей снять шубу. Она оказалась на двойном меху. Голубая сибирская белка снаружи и рыжий лисий мех внутри.

— Холодно, значит, девка, в тех местах,— заметила Степанида Лукинична.

— По-всякому случается... А мех там недорогой. Я же мерзлятина.

Ийя говорила так, вовсе не стремясь подчеркнуть перемены в своей внешности. А перемены были разительными. Она расцвела.

— Батюшки!— всплеснула руками Степанида Лукинична.— Ни кожи, ни рожи у тебя не было, а теперь смотри ты какая сдоба. Воздух, что ли, такой или пища не та, что наша... Куда косточки твои делись!

Алексей тоже не мог скрыть удивления:

— Как ты изменилась, Ийя... Что стало с тобой?

— Я стала старше и весомее.

Тут Ийя снова расхохоталась, подбежала к Алексею и прошла с ним в большую горницу.

— М-да...— вырвалось у Ивана Ермолаевича, и он принялся рассматривать Ийю, а потом, ни к кому не обращаясь, сказал.— Ничего не скажешь, складна. Моя Стеша в твои годы была вылитая ты. И плечи, и шея, и, как бы сказать, все остальное будто из одной опоки. Давай в таком разе со свиданьем по единой под рыжички.

— Давайте, Иван Ермолаевич!

— И я в таком разе маленькую,— присоединилась Степанида Лукинична.

Подняли рюмки. Чокнулись празднично, стоя. Выпили. Переглянулись и смолкли. Сказать и узнать нужно было так много, да как начать? Мужем Ийи интересоваться было неудобно. Может быть, она в разводе с ним или того хуже—и развода не понадобилось. А спросить что-то было нужно.

— Ну а дед-то как? Как Адам Викторович?

— Дедушка в науку пошел. Книгу пишет.

— Ишь ты... О чем?

— О муравьях... Жаль, что у вас как-то нарушилась с ним дружба...

Тут Иван Ермолаевич с упреком посмотрел на Алексея, потом, опустив голову, сказал:

— Не во мне тут вина...

На этом разговор оборвался. Иван Ермолаевич неожиданно вспомнил, что ему нужно непременно сходить к Роману за большим кривым шилом. И Степанида Лукинична, как оказалось, должна была, и тоже «беспременно», отнести сердечные капли горемычной старухе Митрохе Ведерниковой. А уходя, она посовето-

вала запереться на крючок, потому что уже были слу-
чай, когда уносили шубы.

— Хорошо, бабушка, мы запремся крепко-накрепко
и не услышим даже, если ты будешь стучать,— сказал
Алексей, желая как можно скорее остаться вдвоем с
Ийей и сказать ей так много, а что — он не знал и сам...

ХII

Когда хлопнула входная дверь, Алексей растерял
все слова. Он смотрел на Ийю, будто все еще не веря,
что это она.

— Да что ты, право... Мне даже как-то неловко...

— И! Милая! И! Я ничего не хочу пока знать! И!
Я нигде никогда не видал прекраснее женщины... Как
же, проглядел тебя... И! Милая И!.. Как я мог потерять
тебя?

— Ты? Меня? Потерять? Алеша, сейчас же выпо-
лочи рот и посмотри в зеркало, не почернел ли твой
язык.

— Но у тебя же ребенок. Сын,— упавшим голосом
сказал Алексей.

— Ну и что же?..

— Как это так: «Ну и что же?» Ведь я уже давно
перестал верить, что детей находят на капустном листе
или покупают на рынке... Кто твой муж?

— У меня его нет.

— Вы разошлись?

— И да, и нет. Он не считал себя моим мужем.

— Значит, порядочная дрянь.

— Нет, почему же... Он просто так был устроен.

— Странное устройство. Ну а сына-то хоть он при-
знает своим сыном?

— Он ничего не знает о нем. Когда мы расстава-
лись, я не хотела омрачать его счастье моим предсто-
ящим материнством.

— Он полюбил другую?

— Не думаю, но его родные и все окружающие не
допускали, что мы можем быть счастливы.

Алексей негодовал:

— Ну а он-то, скотина, должен был допустить, что
такого рода отношения для женщины кончаются ма-
теринством?

— Видимо, ему не пришло в голову...

Алексей густо покраснел и спрятал свое лицо в коленях Ийи. Потом тихо сказал:

— Я ничем не отличаюсь от этого подлеца. Я ведь тоже тогда не думал...

Ийя закрыла Алексею ладонью рот:

— Не надо вспоминать, Алексей. Что было тогда — того уже нет. Я тоже забыла Руфину. И если ты хочешь, чтобы я относилась к тебе с уважением, — пообещай не спрашивать меня о сыне хотя бы месяц. Нам нужно выяснить, во-первых, наши отношения.

— Мне не нужно их выяснять! — почти крикнул Алексей. — Я никого никогда не любил... Мне лишь казалось... Меня убеждали, что я...

Ийя опять закрыла рукой его рот:

— Не надо, не надо ни в чем меня убеждать. Я знаю все, совершенно все. Если бы я не знала всего, то разве бы я появилась здесь?!

— А кто рассказал тебе обо мне?

— Милый мой, у тебя на свете столько тайных друзей, что ты даже не можешь себе представить...

Ийя снова ушла от прямого ответа, глядя в беспокойную синеву его глаз, бездонных как небо. В них счастье и страдание. Веселье и отчаяние.

Такими раньше никогда не были его глаза.

— И если я увижу, поверю, — снова стала говорить она, — что ты любишь меня... то разве мой сын не станет твоим сыном, Алеша?

— Нужно завтра же отправиться в Челябинск и привезти его... Я полюблю его... Я уже люблю и называю его своим сыном. И он никогда не будет знать, что у него был другой отец... И я... И я позабуду об этом.

Ийя отвернулась и заплакала.

— О чем ты, родная моя...

— От счастья... Я верю, что ты будешь любить его. Но я мать. Я не могу, я не имею права быть торопливой... Нет, нет, не торопи меня. Пусть пройдет хотя бы месяц. Поедем навстречу весне. В Сочи, в Гагру... У меня длинный-предлинный отпуск...

Ийя снова оказалась в объятиях Алеши и снова принялась уговаривать его, теперь уже шепча ему на ухо о том, что сулит ему черноморская весна, которая может начаться для него через два дня.

В шепоте Ийи слышалось столько заманчивых радостей. В нем цвели мимозы по склонам южных гор, море

плескалось у их ног, весенний ветерок напевал голосом Ийи песенку о первой и единственной любви Алексея, любви потерянной и найденной им, такой огромной любви.

— Весна там, где ты, моя И. Где ты!

Он поднял ее на руках. И в доме зацвели мимозы. Ласково дохнуло море. Стены раздвинулись. Поднялся потолок. По нему плыли облака и тянулись стаи возвращающихся птиц...

ХІІІ

Солнце припекало снег, а властная уральская зима тут же замораживала посмевающиеся таять белые равнины.

Зайцы, почуяв весну, забегали по солнечным угорам в торопливой заботе о потомстве. Сережа, снова уйдя в охоту, не пропускал свободного часа. Пригодился теперь дедушкин-бабушкин подарок — широкие лыжи, подбитые оленьим мехом. Шагается как в волшебных сапогах, и не страшны никакие сугробы.

Чудесно раннее, едва заметное пробуждение весны. Зимующие здесь птицы и те оживились, чуя близкую передвижку к северным гнездовьям. Туда, поближе к тундре, в низкорослые леса, где скоро наступит круглый день, где будет вволю всякой живности, жужжащей и гнущейся, болотной и таежной.

Лес тоже как-то повеселел. Ели то и дело сбрасывают со своих зеленых лап потяжелевший снег. Полежал, и хватит. Падай на землю, чтобы потом растаять и стечь говорливыми ручейками в реки.

Хорошо бы Сереже повстречаться с волком. Для свидания с ним готов хороший свинцовый гостинец в левом стволе его ружья.

Конечно, куда лучше, если бы вместо волка встретился медведь-шатун, рано разбуженный в берлоге и шатающийся теперь по голодному лесу с пустым брюхом в поисках еды. Сережа бы сумел выстрелить ему под левую лопатку из одного ствола, а из другого ослепить его дробью, как это сделал в молодые годы его отец, Роман Иванович.

Медвежью шкуру он бы подарил Ийе, чтобы показать всем людям и, конечно, Руфине, с каким уважением относится он к этой маленькой женщине, которую теперь во всеуслышание называет своей милой сест-

ричкой. Он готов исполнить каждую ее просьбу. Он уже преподнес ей огромного зайца. Русака. Бабушка Стеша отлично умеет готовить зайца. Вообще Сережа сделает все, чтобы на этот раз Ийя не разлучилась с его братом.

Не для себя. Не ради того, чтобы вернуться в покинутый домик с башней. Об этом не хочется даже вспоминать. Теперь он уже никогда не поверит Руфине.

Между тем он любил Руфину и радовался ее успехам на семнадцатой линии. Эти успехи начались сразу же, чуть ли не на второй день после появления там молодежной бригады и ее бригадира Дулесовой. Она работала не щадя себя, не считаясь со временем. Непосвященному это могло показаться настоящим трудовым подвигом. Но Сережа знал, что руководило Руфиной. Зачем ей снова понадобилась слава... Напрасные мечты. На свете нет сил, которые могли бы разлучить Ийю с Алексеем.

Однако Руфина рассуждала иначе. Ни время, ни Ийя не разоружили ее. Она пойдет на все, но не расстанется с Алешей. Хоть кошкой, да при нем. Хоть тенью, да его тенью.

Для нее он не живет теперь где-то «вовне». Он в ней. Живой, осязаемый, собственный, он для нее как никто мужчина. Земной. Чувственный. Заповедный. Рядом с ним она ощущала себя женщиной, матерью, еще не ставши ею. И он уже был отцом не рожденных ею детей — кудрявого первенца Алеши и темноглазой девочки Жени. Их нет, но если остаться одной и закрыть глаза, они будут бегать около нее по полу и даже разговаривать.

И этого отца ее детей, сильного и безвольного, забирает в свои руки какая-то блудливая сибирская бродяжка Ийка, прижившая на стороне ребенка, а до этого перебежавшая своим кошачьим бесстыдством дорогу Руфине...

Не-ет! Нужно говорить полным голосом. И пусть, на худой конец, Руфина не сумеет из ее когтей отобрать свое счастье, но она хотя бы откроет Алексею глаза.

Решив так, Руфина искала случая поговорить с Ийей. Случай этот вскоре представился. Руфина шла на завод. Ей встретилась Ийя с ворохом покупок, она явно шла к Векшегоновым.

— Ийя, извини меня,— остановила ее Руфина,— я

должна поговорить с тобой. Я должна сказать тебе, что твое поведение, твоя охота за Алексеем вызывает возмущение.

— Чье?— спросила Ийя.

— Очень многих... И мое,— ответила Руфина.— Я прошу тебя, если ты честный человек, оставить Алексея.

— Для кого?— снова односложно спросила Ийя.

— Для той, которая достойнее тебя и нужнее ему.

— Я такой не вижу, Руфина,— будто сожалея, ответила Ийя.— Такой могла бы стать ты, но для этого тебе нужно заново родиться.

Тут Ийя покосилась на башенку дома, торчащую за высоким дулесовским забором. Руфина теряла самообладание:

— В Сергее я тоже любила Алешу. А не изменяла ему... Ты понимаешь это или не понимаешь?

— Нет, я этого не понимаю, Руфина, и не пойму, если ты не скажешь, что такое измена и с чего она начинается. С мыслей ли, добродетельно обращенных к другому человеку... Например, к Мише Демину. С поцелуев ли, носящих самый безвинный характер. С обещания ли прекрасному юноше стать его женой и совместного строительства дома для своей будущей семьи... Я не знаю, с чего, по-твоему, начинается измена.

У Руфины побелели губы, и она сказала, цедя сквозь зубы:

— Ты уже видала виды, Ийя. Тебе лучше знать, что измена одному человеку— это брак с другим человеком. Каким бы ни был этот брак. Хоть вагонным.

— В таком случае, Руфина, Алексей женат на мне задолго до его предполагаемого брака с тобой. И не ты на меня, а я на тебя должна быть в обиде... Не так ли?

Руфина уже не могла далее сдерживаться. Ее теперь не узнала бы и родная мать. Руки ее дрожали. Она не помня себя крикнула:

— Мне хочется плюнуть в твое бесстыдное лицо!

— Плюнь, если тебе будет легче, а не тяжелей, когда ты придешь в себя.

Руфина отвернулась и заплакала. Ийя подошла к ней и сказала:

— Не надо так ронять свое достоинство. На улице еще очень светло. Идут какие-то люди... Они плохо подумают о тебе... Рассмейся.

Мимо проходили соседи. У Руфины хватило ума, и она сказала:

— Ты рассмешила меня до слез. Прощай!— И, сверкнув глазами, пошла в сторону завода.

Отношения были выяснены.

XIV

Уличный скандал стал известен Степаниде Лукиничне, хотя о нем ничего и никому не сказала Ийя.

Не стала размышлять Степанида Лукинична, как быть и что надо делать. И часа не прошло, как она появилась у Дулесовых.

— Каким это ветром?— выбежала к ней навстречу Анна Васильевна.

— Худым, Анна, ветром,— ответила Степанида Лукинична и без «здравствуй» начала:— Анна, придержи язык своей дочери. Жалеючи говорю. Ийя Сергеевна теперь моя внучка, а я за внуков умею стоять.

— Да о чем ты, Степанида Лукинична? Что такое сделала моя Руфочка?

— У нее спроси, если в самом деле не знаешь. Спроси, а потом скажи, что если она хоть одно худое слово молвит про Ийю Сергеевну, если хоть один раз вздумает заговорить с ней, тогда начну разговаривать я. А я старуха запасливая, памятливая. И если надо будет, у меня найдутся клейкие и несмываемые слова. И коли уж они скажутся, то, пожалуй, Руфине Андреевне трудно будет жить не только на нашей улице, но и в нашем городе.

Постояв у порога, поразмыслив о чем-то, Степанида Лукинична хотела было уйти, но задержалась.

— У сына Ийи Сергеевны будет наша фамилия. А ежели она будет наша, значит, и он наш. Вот это-то самое и внуши Руфине Андреевне. Да хорошо внуши! На этом, стало быть, и желаю здравствовать.

А тем временем наступление продолжалось... Руфина добилась встречи с Алексеем. Он пришел к дяде Николаше. К Николаю Олимпиевичу. А дяди не оказалось дома. Его встретила Руфина.

— Ты-то зачем здесь?— спросил он.

А она:

— Не буду ничего придумывать. Я упросила Николая Олимпиевича позвать тебя. Другого места нет.

К нам ты бы не пришел. И к тебе я не могу прийти.

— Ну почему же...

— Не надо об этом... Зачем говорить о мелочах, когда не сказано главное.

— Главного уже нет, Руфина.

— Нет, есть, Алеша. Сядь. Сядь хоть на минуту. Я ни о чем не буду просить тебя. Я только хочу сказать тебе. Предупредить тебя.

Руфина провела Векшегонова в комнату и усадила. Это произошло так быстро, что тот не успел даже снять шапку.

— Алеша! Я очень много думала. Не о себе, а о тебе... Ты не бойся... Я ни о чем не буду просить тебя. Я только хочу сказать, что ребенок, которого она боится показать тебе, ломает все, что ты напридумал, во что поверил...

— Руфина! Я прошу тебя... Ты не имеешь права... Он не договорил. Руфина перебила его:

— При чем тут право? Кроме права есть правда. И я обязана ее сказать. И ты выслушаешь ее. Я умоляю тебя...

Руфина опустилась на колени и заплакала. Алексей растерялся:

— Что тебе нужно от меня, Руфина?

— Ничего. Я только хочу, чтобы ты выслушал меня. Сядь.

Он сел. Руфина села поодаль.

— Только не перебивай меня. Потерпи пять минут. Потом мы расстанемся.

— Говори...

— Алеша, Ийя удивительная женщина. Я готова молиться на нее. Я поражена ее волей. Ее умением держать себя. Такую, как Ийя, нельзя не полюбить. Но случилось непоправимое.

— Что?

— Между вами стал третий человек.

— Я не знаю его и не хочу знать,— раздраженно сказал Алексей.— И если ты хотя бы товарищ, то не говори об этом неизвестном человеке. Я не хочу о нем знать. Ты слышишь, Руфина, я не хочу...

— Я могу замолчать. Но замолчит ли он, этот неизвестный третий человек? Он всегда, всю жизнь будет стоять между вами. Он будет сидеть с тобой за столом. Жить в одном доме. И днем и ночью. Он никогда

не оставит тебя... Не выдумываю же я небылицы. Это сама правда. Жизнь. И как бы ты ни был счастлив сейчас, ты навсегда останешься несчастным вторым...

— Почему же вторым?

— Потому что он отец ее сына, а ты отчим.

— А ты змея.

— Наверно. Но и змеинный яд бывает лекарством.

— Лечи им Сережу.

Алексей попытался уйти. Но Руфина загородила дорогу. Она стала в дверях.

— Я не могу желать тебе зла. Хотя бы потому, что люблю. И любовь велит мне предостеречь тебя. Алеша, пусть она приведет своего сына, и ты увидишь, кто придет вместе с ним.

Руфина освободила дверь.

Алексей мог уйти, но не уходил. По всему было видно, что слова Руфины сеют в нем сомнения, а может быть, и боязнь. Его лицо никогда ничего не могло скрыть.

— Ты недобрый человек, Руфина.

— Как хочешь, так и думай обо мне, Алеша. И мне тоже позволь думать, как я могу. Тебе будет трудно, а потом невозможно жить с ее прошлым. Ты никогда не примиришься с ним. Сначала ты будешь скрывать свои страдания, убеждать себя примириться, а потом не выдержишь, напишешь письмо и сбежишь.

— Остановись, Руфина. Хватит предсказывать... Этого не случится.

— Не обманывай, Алеша, самого себя. Я ведь вижу, что ты не веришь своим словам.

Алексей не хотел далее слушать Руфину. Он направился в переднюю и сказал на ходу:

— Я никогда не разлюблю ее...

А оказавшись на улице, он продолжал не то убеждать себя, не то оспаривать Руфину:

«И если в самом деле вместе с ее сыном придет третий человек и мне будет и больно и трудно — я буду нести эту тяжесть, потому что не кто-то, а я был виновником всего этого. Я и должен за это расплачиваться».

Дома он не сказал, что видел Руфину. Тогда бы пришлось рассказывать обо всем. А как расскажешь об этом? Как поделишься с Ийей боязнью встретиться с ее сыном, потому что вместе с ним на самом деле при-

дет и этот третий человек, с которым Ийя была так же близка, как и с Алексеем?

Как горько ему сейчас! Он хочет, он всеми силами стремится побороть в себе ненависть к этому неизвестному третьему, но это не в его силах.

Вот тебе и светлый человек Алексей Романович Векшегонов, поклявшийся жить для счастья других!

Векшегонов, вырви из своего сердца низменные чувства, посеянные Руфиной! Разве можно позволить зачеркнутому минувшему отравлять такое хорошее сегодня и завтра? А оно будет еще лучше, хотя бы потому, что время затушает прошлое и заставит забыть его.

Это верно. Но сегодня-то, как жить сегодня? Как заставить себя улыбаться, когда стало трудно смотреть ей в глаза? Ведь это уже не та Ийя, которую он знал три года тому назад.

Пусть уж лучше бы не расцветала она, а оставалась той же Опиской, только бы не было у нее этих двух «третьих». Да, теперь они оба «третьи», ставшие между ним и Ийей. Это им она обязана первыми материнскими радостями и порожденной материнством красотой. Им, а не ему.

Ах, бабушка, милая бабушка, даже тебе не может рассказать твой внук о своих страданиях...

Уж не уехать ли, в самом деле?

Уж не уехать ли, чтобы еще раз не разбивать ее жизнь? Теперь даже две жизни. Вторая из них — ни в чем не повинная жизнь мальчика, который, конечно, полюбит отчима и поверит матери, что он и есть его найденный отец.

Но ведь это же ложь. Пусть благородная, неизбежная, но ложь. На ней нельзя строить семейных отношений.

Ах, бабушка, как тяжело, как неожиданно счастье повернулось другой, совсем другой стороной...

ХV

От бабушки Степаниды Лукиничны едва ли можно что скрыть. Алексей хотя и не признался ей во всем, но достаточно было и намека.

— Вот что, Иваша,— обратилась она к Ивану Ермолаевичу.— Пора кончать нам в пряталки играть. Нужно вводить в дом правнука. И это должен сделать ты.

— А как? Ни адреса, ничего...

— Адрес не вопрос. К Адаму сходишь и расскажешь все как есть. Он человек умный. Поймет, что такие дела тянуть нельзя.

— Это верно, Стеша,— согласился Иван Ермолаевич с женой.— Она, видимо, стесняется, а то и боится. А чего бояться? Мало ли пасынков родными сынами оказывались. А им ни гугу!

— Мы порознь одну думу думаем, Иван,— радовалась Степанида Лукинична.— Надо подмогчи Ийечке. И Алешке надо увидеть его. Полюбит он, я думаю, мальчика. Я все сделаю, чтобы он полюбил.

— Полюбит,— подтвердил Иван Ермолаевич.— И я слова найду, чтобы полюбил.

Иван Ермолаевич оживился и тут же принялся надевать новые валенки, Степанида Лукинична подала ему новую шубу и шапку.

— Удачи тебе, Иван...

И отправился Иван Ермолаевич на Шайтанову дачу. Легко дышится ему. Веселый падает с неба снежок.

— Куда это вы так торопитесь, Иван Ермолаевич?

А он, задумавшись, и не заметил встретившейся ему Ийи.

— И не спрашивай,— ответил он ей.— Дело у меня беспременное есть. Вот и тороплюсь.

Ему не хотелось останавливаться с нею. Боялся, что глаза выдадут. Можно и хорошее дело спугнуть.

— Беги, беги... Там тебя бабка ждет.

Любит Иван Ермолаевич Ийю, как родную внучку. Стыдится только показывать свою любовь. Все-таки не своя кровь. Зато ручки-ножки, шейка-плечики и прочая стать ни дать ни взять как у молоденькой Степаниды Лукиничны. Тоже жарконько цвела...

Оно, конечно, не так радостно, что Ийя приходит к Алеше с чужим сыном. Но что сделаешь? Сам виноват. Сам тогда руки рознял, сам свою птичку-невеличку выпустил. Вот теперь и...

За все своя плата.

А женись бы он тогда на ней — бегал бы сейчас в векшегоновском доме мальчугашечка с золотыми кудерышками, с веселыми василечками под писаными бровками. Ножонки малость были бы тоже косолапенькими, а прыткими-прыткими...

Таким помнил Иван Ермолаевич выпестованного им

внука Лешу. Таким хотелось ему видеть правнука, сына Алексея. Да разве переспоришь жизнь, когда она свое кружево на своей пуге плетет, и мало ей дела до Ивана Ермолаевича, коли она, как коклюшки, перебирает человеческие судьбы.

Разговаривая так с самим собой, Иван Ермолаевич оказался на перекрестке двух просек и увидел Адама Викторовича.

Старик сосредоточенно рассматривал муравьиную кучу. Снег вокруг нее был аккуратно расчищен. Адам Викторович сидел на маленькой, видимо специально принесенной, скамеечке. Он был так увлечен, что и не заметил подошедшего Ивана Ермолаевича. А тот, боясь испугать Красноперова и не зная, как начать разговор, остановился в нерешительности.

Воспользуемся этими минутами молчания и скажем несколько слов о прошлом Адама Викторовича.

Адам Викторович был ровесником Ивана Ермолаевича и учился с ним вместе в церковноприходской школе. Происходя из рабочей семьи доменщика, горнового Виктора Красноперова, маленький Адам рано обнаружил любовь к знаниям. И его, не в пример старшим братьям, решено было учить «большой грамоте». Самым дешевым по оплате за право учения в те годы было духовное училище. Туда и отдали Адама. Духовное начальство не отказало Красноперову, надеясь воспитать попа — выходца из рабочего класса. Но Адам Красноперов не оправдал надежд стратегов от богословия. Кончив духовное училище, а потом семинарию, доучиваясь самоучком, он стал лесничим огромных лесных массивов, казенных заводских дач. Поселясь в одной из них, в Шайтановой даче, где стоял дом лесничества, он прожил в нем всю жизнь. В этом доме он живет и теперь.

Постояв минуту-другую, Иван Ермолаевич кашлянул, а потом поклонился Красноперову:

— Здравствуй, Адам Викторович.

Красноперов оглянулся:

— Здорово, Иван Ермолаевич. А я давно тебя поджидаю.

— Значит, как бы чувствовал... Это хорошо... А что ты, позволь полюбопытствовать, делаешь?— спросил старик Векшегонов, чтобы не сразу объяснить причину прихода.

— Муравьев проверяю.

— Ну и как?

— Все, как я и думал. А дальше о чем спросишь, Иван Ермолаевич?

— Не знаю, как и начать, Адам Викторович... Насчет правнука хотел спросить.

— Какого правнука?

— И твоего и вроде бы как моего тоже... Дело-то ведь теперь ясное.

— Кажется, проясняется,— слегка нахмурившись, сказал Красноперов.— А что ты хотел спросить о нем?

Иван Ермолаевич снова замялся и не сразу объявил цель своего прихода.

— Да так, вообще... На кого хоть похож он? На нее или на этого, который... Ну как бы сказать, не то чтобы свинья, а боров порядочный. На кого он похож все-таки?

Адам Викторович хотел сначала отмолчаться, а потом, опустив голову, ответил:

— На борова.

— Ну да, конечно...

— Черноватый он волосиками?— осторожно задал Иван Ермолаевич новый вопрос.

— Не разглядел, Иван. В шапчонке его видел. Проездом. На станции. А разве суть в цвете его волос?

— Да нет. Я только к тому, Адам, завел речь... Если он на Ийю похож, тогда ни у кого никакого вопроса нет. А то, сам понимаешь, вчерашний-то день только в календаре кончается, а в жизни за тобой тащится.

Адам Викторович снова хотел отмолчаться, но не утерпел:

— Вот что, Иван, ты Алексею дед, и я ей дед. Ты любишь своего, и я свою сироту люблю. Она не только без отца и без матери, но и без бабки на меня осталась. В военные годы Ийя росла. Недокормышем. Недосмотрышем. И никто на нее ласкового взгляда не кинул.

— А мой Алешка?

— Взгляд ли это был? Может быть, только малиновый хмель да нежелание упустить то, что само в руки дается... Я не виню за это внучку. Если солнышко в ее душу не заглядывало, так пусть в ней хоть отблеск от чужого окна сверкнет.

Иван Ермолаевич забеспокоился и стал упрашивать:

— Не надо так, Адам, казнить меня за внука. Хочешь, я тебе в ноги поклонюсь?

— Ты ей поклонись. Она стоит этого. Она большего стоит. И это не дедовское умильное славословие. Это стих, не могущий быть рожденным немощью языка моего. Это сама правда, ослепляющая величием своим.

— Адам, ты попроще. Я ведь мало учен и не так чтобы много книг прочитал,—взмолился опять Иван Ермолаевич.—Прости, что я насчет Ийиноного сыночка полюбопытствовал.

— Да что ты опять, Иван, у меня прощения просишь? В ее судьбе я даже не пятое колесо. Но если бы случись при Алексее сын или дочь от Руфины Дулесовой или от какой-то другой разлучницы... Ийя не стала бы спрашивать, черен он, белобрыс или рыж, кривобок или горбат. Она бы прижала его к своей груди и назвалась матерью.

— Так и Алешка то же самое говорит,—стал оправдываться Иван Ермолаевич.—Он давно его сынком своим называет. И мы его со Степанидой за родного полюбили заглазно. А Ийя даже поминать о нем не велит. Имечка не называет.

— И правильно делает,—твердо сказал Адам.—Малый дитенок не куренок. Им нельзя играть. Нужно Алексею с Ийей о самих себе решить, а потом уж и...

— Самим о себе им решать нечего,—заговорил Иван Ермолаевич круто.—Все решено. И перерешения никакого не может быть. Это я говорю тебе. Ты меня знаешь, каков я в гневе. Если что не так, не пожалею и любимого внука от сердца оторвать. Они для меня четыре года муж и жена. Весной венчаны, любовью обручены, как и мы со Степанидой Лукиничной. Понял ты или нет этот стих?

— Да вроде начинаю понимать,—ответил все еще настороженно Красноперов.

— Как звать правнука, Адам?

— А как бы тебе хотелось, Иван?

— Мало ли как...—Иван Ермолаевич вдруг проследился.—Не обо всем скажешь, чего хочешь, о чем думаешь.

— А ты не бойся своих желаний. Глядишь, они и сбудутся.

— Не морочил бы ты меня, Адам, дал бы ты мне Челябинский адресок...

— А зачем он тебе?— спросил Красноперов, испытующе глядя из-под очков на присмирившего Ивана Ермолаевича.

— Хочу сам поехать туда. Сам его в дом ввести. Сам!

— Ну что ж,— поразмыслил Адам Викторович,— коли такое у тебя желание, я противиться не буду. Только адреса наизусть не помню. Улицу знаю, а номера запомнил. Зайди в дом, там я тебе его и запишу.

Адам Викторович поднялся, не торопясь взял скамеечку и, широко шагая, направился к дому. Векшегонов рысцой побежал за ним.

XVI

Давно не бывал в этом доме старик Векшегонов. Ничего здесь не переменялось. Те же чучела птиц, жуки и бабочки под стеклом на иголках. И тот же запах.

Проведя Ивана Ермолаевича в свою комнату, Красноперов прошел в соседнюю. Это была комната Ийи. Вскоре, вернувшись, Адам Викторович сказал:

— Иваша, посиди здесь малость, а я сбегаю на трамвайную остановку. Что там ни говори, а ведь мы теперь каким-то боком родня. И хоть четвертинку, да надо распить.

— О чем разговор? Я ведь, Адам, сюда тоже к тебе не чужим человеком шел. Не изволь беспокоиться, поллитра при мне.

Это развеселило Адама:

— Спасибо, Иван. От души спасибо. Хорошо, что ты подумал об этом... Только уж ты извини меня, в своем доме гостевой водки не пью. Я сейчас... Да и не только ради этого я уйду. Еще кое-что хочу.

Оставшись один, Иван Ермолаевич стал рассматривать стены, просевший от времени пол, старую кафельную печь. Все было ветхо. Отжил дом старого лесничего.

Думая о доме, Иван Ермолаевич не расслышал, как скрипнула дверь и как из Ийиной комнаты появился малыш.

— Ты кто?— спросил он.

Иван Ермолаевич оглянулся. В дверях стоял мальчик. На его головке вились крупными кольцами золотые кудри. Под писаными бровками цвели два синих василька.

«Не чудится ли?» — испугался Иван Ермолаевич и, проверяя себя, робко спросил:

— Ты тут живешь?

И мальчик ответил голосом Ийи:

— Нет. Я тут не живу, а жду.

У Ивана Ермолаевича задрожали руки. Но это было не наваждение. Все же еще раз нужно проверить:

— А чего же ты ждешь тут, кудряш?

И опять зазвенел голос Ийи:

— Жду, когда мама поведет меня к папе.

— А как звать твоего папу, красавчик?

Мальчик ответил отчетливо и заученно:

— Так же, как и меня, Алексей Векшегонов. Только он Романович, а я Алексеевич.

Этот ответ ничего уже не прибавил к увиденному и понятому минуту назад. Но как нужно было поступать и что делать дальше, Иван Ермолаевич не знал.

Схватить мальчика? Зацеловать его?

Но какое впечатление произведет это на ребенка? Не напугает ли он его своей трясущейся бородой? Нужно было спросить что-то еще, чтобы сдержать душащие Ивана Ермолаевича слезы. И он сказал:

— Хорошее у тебя имя — Алексей Векшегонов.

— А тебя как зовут?

Этот вопрос застал врасплох Ивана Ермолаевича.

— Меня? — замылся он. — А я, понимаешь, тоже, шут побери, Векшегонов.

Мальчик лукаво посмотрел на Ивана Ермолаевича и не поверил ему:

— Такие Векшегоновы не бывают.

— А какие же они бывают, Алешенька?

— Такие, которые никогда не плачут. Никогда-никогда. Хочешь, — сказал он, подбегая к Ивану Ермолаевичу, — щипни мою руку, больно-пребольно, и я не зареву. Щипай!

Иван Ермолаевич наскоро утер рукой глаза и уже совсем по-свойски сказал:

— Зачем же мне испытывать тебя, дорогой товарищ Векшегонов? Я и без того вижу, что ты стойкий мужик.

Маленькому Алеше это очень понравилось:

— А мы, Векшегоновы, все такие... И папа, и дедушка, и пра.

— А пра-то кто?—спросил Иван Ермолаевич, усаживая мальчика на колени.

— Пра—это самый главный мой дедушка, Иван Ермолаевич.

Сердце старика сладко сжалось. Слезы опять были готовы хлынуть из его глаз. Но он боялся уронить свое достоинство перед маленьким Алешей. Ему так хотелось сказать, что он и есть его пра Иван Ермолаевич. Но было страшно: вдруг да Алеша опять не поверит ему? И он спросил:

— А откуда ты так хорошо знаешь про этого самого пра?

— От мамы. У меня еще и дядя есть. Дядя Сережа. У него ружье и собака. А у бабушки-пра вылеченная кошка. Мурзей.

— Это хорошо. Славная, стало быть, у тебя мамочка, Алешенька. Ну а папочку-то ты своего узнаешь, ежели встретишь его?

Алеша вытаращил глазенки, как будто ему задали несуразный вопрос. Не отвечая, он спрыгнул с колен Ивана Ермолаевича и убежал в комнату. Оттуда он вернулся с альбомом.

— Вот смотри!—сказал он.— Это папа... Это тоже папа... И это папа... И это... А тут он маленький. Видишь, какой он похожий на меня.

Для переживаний Ивана Ермолаевича данных оказалось более чем достаточно. А маленький Алеша безумолчно щебетал, рассказывая о своем отце такие подробности, что трудно было поверить, что эти слова принадлежат ребенку.

Послышались шаги. Это вернулся Красноперов. Войдя, он поставил на стол четвертушку и как ни в чем не бывало спросил:

— Ну как ты тут? Жив еще?

Старики молча обнялись. Алеша смотрел на них, широко раскрыв глазенки. Адам Викторович погладил мальчика по головке и весело сказал ему:

— Сегодня кончились твои ожидания, Алексей Алексеевич. Ты пойдешь к отцу. Тебя твой дедушка-пра отведет домой.

— Правда?—с дрожью в голосе спросил Алеша.

— Разве я когда-нибудь обманывал тебя, Алексей Алексеевич?.. Варвара Акимовна!— крикнул Красноперов.

Появилась знакомая Ивану Ермолаевичу старуха Веснина. Она будто ждала вызова, находясь где-то за дверью.

— Здравствуй, Ермолаевич.

— Здравствуй, Акимовна.

— Грибков подать?— спросила она.— Или еще что?

— Да нет, Варвара Акимовна,— ответил Красноперов.— Одень, обуь Алексея Алексеевича. Сегодня он войдет в свой дом.

— Это раз-раз,— заторопилась Варвара Акимовна.— Где ты, птенец?

— А я сам... Я сам,— услышался голос мальчика, сидящегося надеть свою шубку.

У Ивана Ермолаевича вздрагивала в коленном суставе левая нога. Ему самому хотелось одеть Алешу и как можно скорее взять его на руки. Да нельзя. Нужно блюсти чин.

Адам Викторович достал из шкафа банку с маринованными опятами и два стакана. Вышиб пробку. Разлил водку. Смерил, ровно ли налил. Потом сказал, кивнув на мальчика:

— Вот так оно бывает... Будь здоров, Иваша!

— И ты тоже!— чокнулся и поклонился Адаму Иван Ермолаевич.

Маленький Алеша притих. Он все еще не верил, что его поведут к папе и маме.

Но его повели...

XVII

Адам Викторович проводил счастливого Ивана Ермолаевича до трамвая:

— Ты извини, но я не должен вводить его в твой дом. А вечером я наведуясь. Прибереги свою поллитровую.

В вагон старик вошел гордо через переднюю площадку. Он взял два билета, но занял одно место. Закутав и без того тепло одетого Алешу в полы своей шубейки, он шептал ему:

— Счастье-то какое... Счастье-то какое, Алешенька...

В трамвае появились знакомые со станкостроитель-

ного завода. Они с любопытством смотрели на Ивана Ермолаевича, прижимающего к своей груди синеглазого мальчика. Перешептывались. Недоумевали. Наконец одна из женщин, жена токаря Сударушкина, спросила:

— Кого ты и куда везешь, Иван Ермолаевич?

А тот только и ждал этого вопроса. Ему так хотелось, чтобы все слышали его ответ. И он ответил громко. На весь вагон:

— Я везу домой своего правнука, Алексея Алексеича Векшегонова.

И мальчик подтвердил сказанное:

— Да!

На улице еще не начинало смеркаться, а Иван Ермолаевич так боялся, что он не успеет до сумерек. Ему хотелось пронести Алешу на своих руках засветло по Старозаводской улице. И это ему удалось.

Старик медленно шел мимо дулесовского дома, но, чувствуя, что этого недостаточно, остановился, спустил с рук маленького Алешу и сказал:

— Теперь маленечко своими ножками пошагаем.

Алеше давно хотелось пробежаться по незнакомой дороге. И он побежал по ней.

— Товарищ Векшегонов,— нарочно громко предупреждал правнука Иван Ермолаевич,— не споткнись смотри, а то мне знаешь как на орехи от твоего папочки достанется.

Это слышали многие. Сегодня будет о чем поговорить на Старозаводской улице.

А Степанида Лукинична то и дело смотрела в окно.

— Да что ты, бабушка, ждешь кого, что ли?— спросил Алексей.

— Дед где-то запропастился...

— Явится. Никуда не денется,— успокоил он бабуку и продолжал рассказывать Ийе о новом станке.

Иван Ермолаевич вошел в дом так тихо, что никто и не слышал, как он раздел в прихожей Алешу. Приведя мальчика в полный порядок, он торжественно ввел его в большую горницу.

У Степаниды Лукиничны запал язык. Стоявшая спиной Ийя не заметила вошедших. Алексей, сердясь, через силу доедая третью котлету, тоже не обратил внимания на появившихся.

— Кто это, Алешенька?— спросил Иван Ермолаевич и указал пальцем на Алексея.

— Папа!— бойко ответил мальчик.

Алексей замер, из его рук выпала вилка.

— Здравствуй!— крикнул Алеша и подбежал к отцу.

Алексей был белее снега:

— И! Милая И!.. Этого не может, И...

Алексей схватил маленького Алешу, а Ийя, еле удерживаясь на ногах, прошла за перегородку.

— Вот как оно бывает,— повторил Иван Ермолаевич слова Красноперова и пошел вслед за Ийей.

Степанида Лукинична все еще не обрела дара речи. Она сразу узнала живое повторение своего внука. Ей не надо объяснять, что и как. И это так взволновало ее, что у нее не оказалось даже слез. Она целовала такие знакомые ручки маленького Алеши и, может быть, впервые неодобрительно посмотрела на большого Алексея.

А до него только-только начинало доходить все случившееся.

Маленький Алеша, обнимая отца, не переставал шептать ему на ухо, не то утверждая, не то спрашивая:

— Ты папа... Ты папа... Ты папа...

Громко хлопнула дверь. Это вбежал Сережа. Снова хлопнула дверь. Появились отец и мать — Роман Иванович и Любовь Степановна Векшегоновы. Слухи быстрее телеграмм.

— Доченька моя милая!— бросилась к Ийе Любовь Степановна и залилась слезами.

— Он! Он! Как две капли,— твердил Роман Иванович, любуясь маленьким Алешей.

А мальчик, пугливо прижимаясь к отцу, не знал, скольких людей он соединил сегодня и скольких — размежевал.

XVIII

Счастливую пору переживал старый векшегоновский дом. Неожиданное отцовство заполнило всего Алексея. Радость была так велика, что он не мог поверить в нее. Особенно ночью. Просыпаясь, он спрашивал себя: «Правда ли это?» А потом, вскочив, Алексей подбегал к белой кровати. В ней спал его сын. Сколько теперь в нем заключено!

— Милый мой,— шептал Алеша,— как хорошо, что

ты ничего не знаешь о своем отце... Милый мой, как мне стыдно...

Стоя на коленях у белой кроватки, Алексей хотел и не мог найти себе хоть какое-то оправдание. Почему не пришло ему в голову то, что сейчас так ясно? Ийя в первый же день встречи прямо намекнула ему... А он? Как он презирает за это себя...

Он знает, что Ийя никогда ни о чем не напомним ему. В ее доброй душе нет места для злой памяти. Зато Алексей навсегда сохранит в себе свой позор и никогда не даст ему замолчать.

Никто не знает угрызений совести Алексея Векшегонова. Да и до нее ли теперь людям на счастливом повороте его жизни, который не может не радовать даже вчуже всякого хорошего человека...

В людской молве снова вспомнилось забытое и родилась устная повесть, которая с каждым пересказом обрастала новыми подробностями. Имена Ийи, Алексея, Руфины и маленького Алеши называли и те, кто их не знал.

Старуха Митроха Ведерникова стала желанной гостьей многих домов. Уж она-то не от кого, а от самой Степаниды Лукиничны знала чистую правду и своими глазами видела векшегоновского правнука.

Живет в народе неодолимая потребность рассказывания и слушания «роковых историй», особенно тех, где героями оказываются знакомые люди, с которыми можно встретиться и поговорить, а затем прямым или окольным путем узнать, что будет дальше.

На все лады прославляют люди Ийю Красноперову, приписывая ей самые лучшие черты женщины, матери, человека. Особенно приятно людям, что после долгой разлуки, когда любовь Алексея так широко раскрыла свои объятия, Ийя не захотела воспользоваться самым главным. Она не привела своего малютку, не поставила сына самой тяжелой гирей на весах своего счастья. Значит, хотелось ей, чтобы сама любовь, а не кто-то, ни даже самое дорогое в этой любви — их ребенок, соединила ее с Алексеем. И это дает повод, особенно женским устами, называть Ийю «большой силы женщиной, не ищущей для своей любви никаких подпорк».

Восторгаясь Ийей, люди приписывают ей и то, чего не было. Так уж водится. Молва никогда не знает меры.

Сергея Векшегонов, затененный счастливой развязкой любви брата, оставался пока незамеченным даже близкими. Было как-то не до него. А железный петух-флюгер на штоке башенки недостроенного дома, поворачиваясь туда-сюда по ветру, как бы напоминал о Сергее. Петух, широко раскрыв клюв, как бы спрашивал: а с ним-то что будет? Что будет с ним?

Благожелательные и простодушные люди всегда хотят лучшего. Многим теперь казалось, что ничто уже не мешает Сергею и Руфине открыть счастливую дверь и зажить в мире. Многие ждали, что вот-вот задымит труба дома с башенкой и дым оповестит людей, что в оставленные комнаты пришло тепло. И это казалось неизбежным.

Мало ли какие неурядицы ссорят любящие пары, а жизнь мирит их.

Но дым из трубы пока не появлялся. Не появлялась на людях и Руфина Дулесова. На завод она ходила дальней дорогой — берегом пруда, чтобы не выслушивать соболезнований, советов и поучений. До них ли ей?

А маленький Алеша ходил посередине улицы с отцом или с бабушкой-пра. Ходил в белых валеночках, в синей шубке, отороченной серым мехом, и радовал всякого, кто встречался с ним. И каждый раз, когда мальчик проходил мимо дулесовского дома, Руфина оказывалась у окна. Она задерживает оконную занавеску, но от этого ничего не меняется. Все равно мальчуган идет мимо. Идет не по улице, а по ней, по Руфине. Идет и ступает не по рыхлому белому снегу, а по ее, Руфинину, сердцу, брошенному ему под ноги.

Какое могущество в этом ребенке! Могущество, которому нечего противопоставить. Теперь уже не остается никаких надежд.

День ото дня становится все тяжелее. И кажется, нет в ее жизни просвета. Мать и тетка говорят одно и то же: «Надо перетерпеть, перемаяться, а потом полегчает... У жизни на все есть лекарства».

Пустые слова. Это же не головная боль. Не насморк. Принял порошки или вылежался, и все. Не смягчает страдания и сон. Наоборот, ночью все оказывается гуще! Из памяти не выходит скандальная встреча с Ийей на улице. Руфине все еще хочется ненавидеть Ийю, а совесть внушает уважение к сопернице. Руфина

сопротивляется, а уважение растет помимо ее воли. Ийя стоит перед ней, уверенная, спокойная, величавая. Она кажется высокой-высокой. И не во сне, а наяву Руфина видит себя рядом с Ийей шипящей кошкой. А Ийе мало дела. Шипи. Пугай. Угрожай.

Как хочется забыть, не видеть себя такой. Отсечь все. Перемениться. Уйти от своего «я». Самоуверенного «я». самого злого врага, сидевшего в ней и натворившего столько бед. А этот враг, это ненасытное неизбывное «я» живет в ней и теперь. И кажется, на семнадцатой линии она и теперь борется не за благополучие всех и для всех, а за благополучие своего «я». И звание линии — линия коммунистического труда, — которое рано или поздно будет присвоено, тоже должно украсить ее «я», хотя она и пытается изо всех сил убедить себя, что не стремится к славе.

Себя не обманешь. Разум утверждает одно, а чувства — другое. Коммунистический труд исключает при творство. Видимо, в ее душе еще не родилось то, чем живет Алексей и, конечно, Ийя, а теперь, может быть, и Сережа. Их труд — смысл их жизни, а не способ существования. Они не кичатся, а наслаждаются сделанным. У Ийи семь или восемь новых синтетических материалов, созданных ею на химическом комбинате. Это огромный успех для молодого химика. Ийя могла бы назвать множество вещей и продающихся в магазинах, и пришедших на завод, а она всего лишь, как-то между прочим, сказала Николаю Олимпиевичу: «Да, я принимала в этом участие».

Она всего лишь «принимала участие» в том, что принадлежит ее уму и настойчивости. Об этом так определенно напечатано и в наших и в зарубежных журналах. Можно очернить и эту скромность, назвав ее «скрытой гордыней». Но Руфина уже пробовала искать в ней пороки, а нашла их в себе. Чего стоит история с «неизвестным сыном» Ийи. Как тогда она очернила ее... А не ради ли счастья Алексея и Руфины скрыла Ийя в ту весну памятного школьного бала ожидаемое материнство и, уехав, не осталась даже тенью между Руфиной и Алексеем? Она не напоминала о себе все эти годы. Скрыла адрес. Похоронила себя для них. И теперь, спустя столько лет, когда не кто-то, а сама Руфина сломала свою первую свадьбу, Ийя не торжествовала.

Могла бы так поступить Руфина и хотя бы десятой долей походить на Ийю?

Нет, не могла.

Ийю можно ненавидеть, но не уважать ее нельзя.

Томительны дни. Мучительны темные ночи. Но где-то в сознании Руфины брезжат просветы. Пусть отраженные, но брезжат.

Как хочется Руфине уйти от самой себя...

ХІХ

Николай Олимпиевич и на этот раз оказался добрым волшебником. И в это его появление у Дулесовых им, наверно, руководило не одно сострадание к Руфине, но и другие соображения.

Снова начала прихрамывать семнадцатая линия, от которой зависел ритм сборки малых, но очень нужных токарных станков.

Упадок духовных сил Руфины сказался на ее работе. Промахи случались и там, где их невозможно было ожидать. Большинство участников бригады семнадцатой линии составилось из сверстников Руфины. Многие учились с нею в одном классе. Следовательно, в одном классе и с младшим Векшегоновым. Сережа еще до назначения Руфины бригадиром стремился попасть на отстающую линию. Он постеснялся сказать об этом. А потом, когда там оказалась Руфина, ему не захотелось приходить в ее бригаду. И она и другие могли в этом увидеть желание Сережи встречать Руфину, работать с нею бок о бок. Мало ли как могли истолковать люди...

А вскоре получилось так, что работающие в бригаде сначала меж собой, а потом и на собраниях стали поговаривать о новом бригадире — о Сереже Векшегонове, за которым пойдут все ребята.

Сергей всегда был на хорошем счету. Особенно теперь, после разлада с Дулесовой, ребятам хотелось его приободрить, поднять и зажечь большим делом.

Николай Олимпиевич решил убить сразу двух зайцев. Он пришел и сказал Руфине:

— А не взять ли тебе отпуск да не махнуть ли в Москву?

В иных обстоятельствах такое предложение едва ли

нашло бы отклик. В Москву? Одной? Зачем? Как и где устроиться?

А сейчас не возникло никаких вопросов. Николай Олимпиевич, прежде чем предложить что-то, всесторонне продумывает и обосновывает сказанное. Так было и на этот раз.

— Ты остановишься у Радугиных. Они будут рады. Они встретят тебя, Руфина.

Семья Радугиных знакома Руфине. Они гостили у Гладышева. Нина — молоденькая жена почтенного Модеста Михайловича Радугина — произвела очень хорошее впечатление на нее. Руфина и Анна Васильевна, сидя в гостях у Николая Олимпиевича, заметили, как Николай Олимпиевич старается обратить внимание Руфины на жену своего друга, словно роняя этим какую-то подсказку или желая оправдать приглашение в этот вечер Лидочки Сперанской.

Хоть и прост Николай Олимпиевич, да не всегда его легко понять. Вот и сегодня есть что-то такое в его заботе о Руфине, а что — не скажешь. Но об этом пусть размышляет мать, а Руфине не до того. Она рада пожить в большой квартире на Новопесчаной улице, увидеть Москву, побывать с Ниной в театрах, в Кремле, в прославленной Третьяковской галерее и... и не видеть ни Алексея, ни его сына, ни Ийю.

— А как же семнадцатая линия? — спросила Руфина.

— О, не беспокойся, друг мой... Была бы линия, а кому вести ее, найдется, — успокоил Николай Олимпиевич. — Решай.

И вопрос был решен. На другой день Руфина получила очередной отпуск. Сборы были недолгими, а прощания и того короче.

За окном вагона бежали сосны и ели. Горы все ниже и ниже. Выемки реже. И наконец последний тоннель. Урал позади.

Теперь позади, кажется, все. И люди, с которыми она в разладе, и улица, по которой стало трудно ходить, и семнадцатая линия, где она не очень прижилась...

А Сережа был доволен переходом на семнадцатую линию. Она сулила что-то очень хорошее. Сережа пока еще не разобрался, в чем заключается радость его новой работы. Да и надо ли разбираться в этом? Какие

бы чувства ни руководили им, он во всех случаях постарается оправдать доверие и надежды ребят, с которыми он учился.

В скобках нужно сказать, что в его бригаде появилась девушка по имени Капа. Та самая Капа, которая все еще хранит бумажную ромашку с подклеенными лепестками.

Многим, и в том числе Николаю Олимпиевичу, кажется, что возвращение Руфины, работа в одной бригаде сдружит ее и Сережу. Но Капа так не думает. У нее свои суждения. Она в бригаде самая юная, а ее голос звучит. К нему прислушиваются.

Капа предложила проводить ежедневные итоговые летучки после смены. И это было принято бригадой.

На одной из летучек она сказала очень коротко, но внятно:

— Мы станем линией коммунистического труда все не с того дня, когда нас назовут так другие. Мы станем линией коммунистического труда с той минуты, когда каждый из нас почувствует, что мы стали такой линией. Потому что коммунистический труд в нас. В каждом и во всех вместе.

Сережа слушал ее и думал об Ийе. Думал не только потому, что у Капы с Ийей были схожи голоса. У них были схожи мысли. Наверно, не случайно Капа привязана к Ийе. Наверно, также не случайно Ийя оказывает так много внимания Капе, считая ее чуть ли не своей подругой. И это очень подымает авторитет Капы в Сережиных глазах.

XX

Маленькому Алеше первое время было трудно разобратся в новой родне. Очень много появилось родни. Легче всего ему было с бабушкой-пра. У нее столько сказок. И однажды была рассказана сказка о Фениксе.

Оказывается, маленького Алешу, как и его отца, принесла в своем клюве сильная птица Феникс. Пока еще сказка рассказывалась сокращенно и упрощенно. Она с каждым пересказом будет дополняться новыми подробностями, главную из которых он уже слышал.

Бабушка-пра шепотком сообщила Алеше, что свет-

лая птица Феникс, улетаая, наказывала: «Если маленький Алешенька хочет вырасти таким же, как его отец, то он должен быть правдивым, добрым и работающим мальчиком».

Как он мог не хотеть вырасти похожим на папу? Он обязательно будет таким. В этом он был уверен до встречи с ним. Но что значит быть правдивым и добрым, мальчик еще не понимал. Для этого ему нужно было узнать, что такое ложь и зло. Поэтому прабабке пришлось объяснить пока, что значит быть работающим.

А быть работающим — это значит помогать отцу, матери и обоим пра. Как помогать, Алешенька тоже еще не знал. А помогать ему хотелось немедленно. Поэтому Степанида Лукинична стала давать своей новой «виноградинке-ненаглядинке, трудовой родовой дедовой косточке» первые поручения. Нитку вдеть в иголку. Налить кошке молочка. Не дать засохнуть старому фикусу и поить его каждое утро кружкой воды.

Не налюбуется Адам Викторович воспитанием Векшегоники, глядя на мальчугана, выполняющего свои первые трудовые обязанности.

— Как ты только расстанешься с ним, Степанида Лукинична, когда Ийка увезет его в Сибирь?

Степанида Лукинична ответила шуткой:

— Нынче разлука невелика доука. Сел на «Ту» — и ту-ту-у! Поехали с орехами к маленькому Алешеньке в гости... Так, что ли, шелковая головушка?

— Да-да! — серьезно ответил мальчик. — Мы с папой домой тоже на «Ту» полетим.

Домой? Значит, дом у него там, а не здесь?

Адам Викторович задумывается. Сказать легко «сел на «Ту» — и ту-ту-у»...

— А не дорогонько ли будет на «Ту» летать туда и обратно? Да и годы наши в багаж не сдашь.

— За годы на самолете денег не берут. Всех по одной цене возят. Ну а если цена окажется не по карману, то можно годок-другой и в Сибири погостить. Нам что? Мы с Иваном легкие на подъем. Было бы ради чего подыматься.

Адам Викторович больше не задавал вопросов. Закурил. Задумался.

Столько лет он прожил на одном месте. Знает каждую елку вокруг, каждую муравьиную кучу. Приезд Ийки с правнуком скрасил его одиночество. А уедут —

что тогда? Он да кот. А худо ли посмотреть, как велика наша земля, как проснулся и зацвел богатый край, где будут жить Алексей с Ийей и это маленькое кудрявое существо, которое ездит сейчас на красном трехколесном велосипеде и кричит на весь дом: «Ту-ту-ту-у!», воображая себя летящим на самолете.

Прощай, Шайтанова дача, здравствуй, матушка Сибирь!

О Сибири думает и Алексей. У него теперь одна радость рождает другую. Химический комбинат — лишь звено большого индустриального узла. Уже поднялись корпуса громадного завода нового машиностроения. Может быть, этот гигант и станет отцом первых самоходных фабрик. Алексей не пожалеет ни дней, ни ночей. Он приложит все силы, чтобы люди поняли, поверили в его замысел. Пусть для этого нужно отдать полжизни. Пусть!.. Лишь бы только зажечь людей. И если это случится, тогда не один ум, а сотни умов конструкторов, механиков, как один человек, как дружная бригада семнадцатой линии, осуществят то, что не под силу одному.

Коллективный коммунистический труд, где каждый человек как клеточка единого разума, становится в наши дни единственно возможным трудом. Минуло время, когда одиночка мог создать знаменитую прялку «Дженни» или сконструировать огнедействующую машину, построить первый паровоз и даже соорудить простейший самолет. Века потребовались бы одиночке, чтобы запустить в небо космический корабль, для расчетов и конструирования «умных» кибернетических машин. Привычный для нашего глаза современный самолет и тот обязан своим полетом конструктору-коллективу, создающему по частям и частицам единое целое в сложнейшем и творческом взаимодействии.

Сложны детища новой техники, будь то атомный ледокол, электрическая станция, автоматическая производственная линия или маленький карманный приемник, — в каждом из них усилия многих умов. И если какой-то из них оказывается первенствующим, то все же не становится единственным.

Этими мыслями живет Алексей Векшегонов, не чувствуя себя одиноким открывателем. Новое всегда впервые приходит в чью-то голову, но это первенство открытия для Алексея тоже относительно. Мир, состоящий

из миллионов мыслящих людей, насыщен идеями, которыми люди взаимно обогащают друг друга.

И в этом великом взаимном обогащении в чьем-то разуме происходит наиболее счастливое скрещение идей и рождается открытие. Открытие, принадлежащее всем, потому что и самый талантливый открыватель всегда обязан обществу всем — от первой буквы буквы, которую он познал, до гениальных свершений в науке, технике, искусстве... Везде и всюду.

Сибирь — молодость. Это край молодых. Это неоглядный простор для поисков. Сибирь вся в завтрашнем дне, и его место там, на переднем крае технических дерзаний.

Он уже рвется туда, он готов отправиться хоть завтра, но, оказывается, это теперь не так просто. У него семья. Ийя продолжает напоминать ему о Гагре, Адаму Викторовичу необходимо распродаться. Дед тоже хочет поехать и пожить вместе с правнуком месячишко-другой. А бабка, Степанида Лукинична, сделав серьезное лицо, вчера сказала за вечерним чаем:

— Я думаю, Алексей Романович, не худо было бы после четырех-то-летней проверки супружество-замужество оформить, если, конечно, другой у тебя на примете нет.

Это вызвало взрыв смеха. Засмеялся даже маленький Алеша. Засмеялся потому, что смеялись все. И отец, и мать, и дедушка-пра.

Иван Ермолаевич, видимо обсудив с женой заранее, сказал так:

— В это воскресенье готовьтесь к венцу. Свадьба будет малой и пешей. Других предложений нет?

— Нет, — ответил маленький Алеша.

Снова хохот.

— Ну, тогда так и запишем.

Далее выяснилось, что все разработано, предусмотрено и оговорено.

XXI

Пешая свадьба когда-то была очень распространенной в уральских рабочих семьях. Иван Ермолаевич считал ее самой правильной и самой красивой. Такая свадьба была у его отца, у него самого, у сына Романа.

Все на виду. Все на народе. Такая свадьба будет и у Алексея.

Пусть видит Старозаводская улица, как они пойдут в загс.

Ийя будет регистрироваться в фате. При коммунизме тоже неплохо сохранить фату и белое платье невесты. Свечи — это другое дело. А кольца? Как можно без колец! Хмелем, конечно, не обязательно осыпать, но бить посуду не помешает. Не ах какие тарелки у Векшегоновых. Давно от них избавиться пора, да не бьются, шут бы их побрал.

С ними пойдет и Алеша. Он пойдет впереди. Так решила бабушка. Пусть все смотрят. Скрывать нечего, а показывать есть что.

И вот пришло воскресенье. Из ворот вышли жених с невестой.

За женихом с невестой вышли отец и мать, Роман Иванович и Любовь Степановна. Потом появились двое стариков Векшегоновых и Адам Викторович в новой тройке довоенного шитья. В смысле — до первой империалистической войны.

С боков жениха и невесты шли их друзья.

Митроха Ведерникова из любопытства пристроилась было в хвост. Но ее вскоре оттеснили. Пристала бригада семнадцатой линии.

Старозаводская улица хоть и не так длинна, но короткой ее тоже назвать нельзя. Семь кварталов.

Маленький Алеша устал. Бригадники семнадцатой линии его несли по очереди на руках. Он помахивал ручкой и говорил всем: «С Первым маем». А на улице еще не растаял снег. Разве он понимает, что это не демонстрация, а свадьба его отца и матери...

Акт регистрации происходил во Дворце бракосочетаний. Дворца пока никакого не было. Его только строили, а как учреждение он уже существовал и занимал временно маленький лекционный зал и три примыкающие к нему комнаты во Дворце культуры металлургов и станкостроителей. Потребность в свадебном ритуале не могла дожидаться окончания строительства нового здания. И старикам и молодым не хотелось обычной загсовской регистрации. Расписался — и все. Хотелось обрядности. А обрядность еще только-только рождалась. Ее искали. Ездили в Ленинград. Там было что перенять. И переняли.

А вечером собралась в старом дедовском доме вся векшегоновская родня.

Теперь Ийя стала Векшегоновой, законной женой, при всем народе венчанной, дорогой снохой, милой внученькой, белой птицей Фениксом, принесшей второго Алешу из предбудущих времен.

По этому поводу Иван Ермолаевич произнес загодя заготовленную здравицу:

— Да не будет переводу нашему старому рабочему роду, как не будет конца жизни Фениксу, сгорающему в огне и возрождающемуся из своего пепла, согласно старым легендам, а также согласно Большой Советской Энциклопедии, том сорок четвертый, страница пятьсот девяносто восьмая...

Адам Красноперов обливался слезами счастья. Пусть окостенеет тот язык, который скажет, что в нем плакала водка. Она всего лишь дала волю слезам, а слезы были настоящими солеными слезами давнего горя за свою неприметную, сухопаренькую внучку, обернувшуюся теперь такой красавицей-счастливицей.

XXII

Свадьба продолжалась и на второй день, и на третий. Иван Ермолаевич старик хлебосольный и широкий, а дом у него рублен не по масштабам круга знакомых дружков и приятелей. Поэтому пришлось свадьбу разбить на три вечера, на три очереди. В первый вечер коренная родня, потом — дальняя и ближние соседи и, наконец, цеховой «пензион», то есть товарищи по цеху, вышедшие на пенсию.

Жених и невеста терпеливо высидели все три сеанса, исправно целуясь, когда кричали «горько», и терпеливо выслушивали длинные здравицы, напутствия и солоноватые присловицы.

Ничего не поделаешь, все это делается от чистого сердца, да и нельзя обидеть дедушку с бабушкой и старика Красноперова. Потому что свадебные торжества молодой четы Векшегоновых были торжествами стариков.

Степанида Лукинична каждый раз надевала новое платье, а в последний вечер дважды сменила свой туалет. Возраст не помешал ей наряжаться в яркое и светлое, а быстрые ноги позволили пройтись белой утушкой

в «барыне» и уморить своего кавалера Макара Петровича Логинова в «полечке». Он франтовато подстриг свои седые усы, как две зубные щеточки, а бороду клинышком и показывал, «какие кренделя еще могут выводить его циркуля в остроносых чибриках».

Вспомнились и старые игры. Старики садились на пол, как в лодку, и гребли вместо весел ухватами, помелом, хлебной лопатой и пели «Из-за острова на стрежень...». Ийя не отказалась быть княжной. Ее схватил в охапку тот же Макар Логинов, изображая Разина. Он театрально пропел «и за борт ее бросает в набежавшую волну» и бросил Ийю на руки Алексею.

Помниться будет дорогим гостям векшегоновская свадьба. Будет что рассказать старикам о веселом пиршестве. Да и молодые не забудут о трехдневном пире, где метровые пироги тягались румянностью да сладостью с шаньгами всех сортов и видов, а шаньги никили перед горой блинов, а гора блинов пятилась со стола, когда появлялись разукрашенные ранней зеленью тетерева и глухари, гуси и утки, а потом заправские меды, добытые в далекой кержацкой деревне, где все еще хранились тайны приготовления древних питий.

Повытряхнула стариков Векшегоновых эта свадьба. А им горя мало.

— С голоду не помрем, по миру не пойдем... А если нехватка случится, старую баню на дрова продадим, и опять гулять можно, — шутит Иван Ермолаевич.

Помниться будет Алешина свадьба и Лидочке Сперанской.

Нарядный и молодцеватый Николай Олимпиевич Гладышев весь вечер танцевал с Лидочкой. Танцевал «вальжно и марьяжно», как справедливо заметил Роман Иванович Векшегонов. Заметив так, он взял бутылку шампанского и сказал:

— А нет ли в тебе, Николай, какой-то схожести с этим вином?

— В чем же, Роман, какая схожесть? — мягко, но заинтересованно спросил Николай Олимпиевич.

— А ты сам догадайся, — сказал Роман Иванович и улыбнулся Лидочке. — И чего вы только смотрите на эту «бутыль при белом жилете»? Взяли да и свернули бы голову вот так...

Тут Роман Иванович освободил от проволоки бутылку шампанского. Раздался хлопок. Теплое вино хлы-

нуло наружу. А Роман Иванович, довольный этим, снова обратился к Лидочке:

— И кто бы мог подумать, что в этой бутылки столько силы, столько игры? Позвольте вам налить, Лидия Петровна, и предложить выпить вместе со всеми дорогими гостями за то, что всем нам давно в голову приходит, да на язык перейти побаивается.

— Спасибо за тост, Роман Иванович, — сказала Лидочка и повернулась к Николаю Олимпиевичу: — За благополучное выполнение плана нашего завода в этом месяце!

Такой поворот всем очень понравился. Добрый смех прозвучал за столом, а Роман Иванович, далее не сумев удержаться на высоте изящной словесности, сказал Николаю Олимпиевичу:

— Не играл бы в прятки сам с собой. Да не боялся бы осуждения, которого нет. Погляди людям в глаза и увидишь, что все тебе, байбаку-вдовцу, хотят счастья.

И все захлопали, закричали «правильно», а кто-то потребовал даже проголосовать предложение Романа Ивановича.

Николай Олимпиевич хотя и пытался свести это на шутку, но это ему не удалось.

— Теперь тебе и провожать Лидию Петровну, — сказал в конце вечера Роман Иванович.

— Я бы и сам догадался, Роман, — оправдывался Гладышев.

Николай Олимпиевич и Лидочка оказались на улице. Он взял ее под руку. Домá спали. На улицах ни души. Он да она. Он — такой притихший, боязливо вздыхающий. А она — легкая, уверенная, посмелевшая!

— Не обращайтесь внимания, Николай Олимпиевич... Мало ли что болтают на свадьбах...

— Разумеется, это так, Лидочка... Но если болтовня находит отклик в твоей душе и ты хочешь повторить ее всерьез, то что тогда?

Сердце Лидочки затрепетало, а она спокойнехонько сказала:

— Я, право, не знаю, что тогда.

— И я не знаю...

— Тогда спросим у других, — слышался упавший голос Лидочки, а потом она как-то строго и наставительно сказала: — Но во всех случаях не стоит ходить в расстегнутом пальто.

Лидочка остановилась и принялась старательно застегивать на все пуговицы пальто Николая Олимпиевича.

И кажется, все уже было ясно. И кажется, ничто не мешало Николаю Олимпиевичу продолжить начатое сегодня Романом Ивановичем Векшегоновым. Лидочка так была готова к этому. Одно движение, одно слово и...

Этого не произошло. Застенчивость и, может быть, что-то более значительное не позволяли Николаю Олимпиевичу признаться в своих желаниях.

— Благодарю вас, Лидочка, — сказал он после того, как Лида застегнула последнюю пуговицу его пальто. — Мне так приятны ваши заботы. Мне так льстит ваше внимание ко мне, и я так счастлив возможности идти с вами рядом. Иногда я рисую себе таким вероятным наше...

Тут он, не договорив, принялся раскуривать потухшую трубку. А раскурив ее, потерял течение своих мыслей и кратко заключил:

— Люди должны быть благоразумны!

— Несомненно, — согласилась Лидочка и, подняв у своего пальто воротник, ушла в него.

Была Лида, и нет ее.

Может быть, он и прав. Может быть... Но хочется, так хочется думать, что Николай Олимпиевич не верит своей «правоте».

XXIII

Ийя настояла на своем. Алексей согласился отправиться в Гагру. Билеты заказаны. Укладывается багаж. Маленький Алеша сидит, притихший, на скамеечке за старым фикусом.

Ему оба пра и дядя Сережа внушили, как необходимо маме и папе поехать в Гагру, куда не пускают маленьких. Алеша пообещал не плакать и не скучать. Пообещав все это, он старается теперь держать свое обещание. Но он еле сдерживает себя.

Почему он должен остаться с холодным стеклом в рамке, откуда смотрит его папа? Он уже достаточно нагляделся на этот портрет, когда не знал и не видел живого папу. А теперь он встретился с ним и узнал, какие у него теплые и чуть колюченькие щеки и какой

большой и такой гладкий лоб. Зачем же он снова должен жить с неживым отцом в рамке и слюнявить холодное стекло?

Неужели мама не понимает, что ему трудно ждать, когда папа уходит даже на минутку? Она купила медведя, который рычит, и электрический фонарик... Зачем ему этот фонарик и этот медведь без отца?

Невесело было в кудрявой головке Алеши. Он долго крепился, а потом спросил:

— Мама, а ты не можешь поехать одна?

Ийя ответила сыну звонким смехом и поцелуями. Алексея же не рассмешило это. Он подошел к сыну и спросил его:

— Алексей Алексеевич, тебе хочется, чтобы я остался с тобой?

Мальчик не ответил. Он опустил голову.

— Сын, я тебя спрашиваю: хочешь ли ты, чтобы я остался с тобой?

— Нет, — тихо ответил маленький Алеша. — Мне не велели хотеть...

У Алексея опустились руки. Он оставил чемодан. Потом взял на руки сына и сказал:

— Мальчик мой, ты еще очень мало знаешь своего отца. Сейчас ты узнаешь его немножечко больше.

В непонятных словах отца слышалась какая-то надежда.

Алеша обвил ручонками шею Алексея.

Вошла Степанида Лукинична, слышавшая в кухне этот разговор.

— Как это ты, Лешенька, — стала она увещевать мальчика. — Обещал, а теперь на попятную?

— Молчи, сын! — предупредил Алексей. — Ты умеешь держать свое слово. Молодец. А я... Я не давал никому никакого слова. Ийя, или мы остаемся, или едем вместе с Алешей.

Ийя не стала спорить. Ее очень растрогало решение Алексея. И она хотела взять на руки сына и порадоваться вместе с ним. Но тот не пошел к ней.

Это задело мать. Но не обидело. Сын был прав. Нельзя было разлучать с отцом мальчика, так недавно нашедшего его.

Векшегоновы, решив ехать втроем, уехали вчетвером. Степанида Лукинична, пораздумав, прикинув, сказала:

— Хороша троица, да без четырех углов дом не строится. Замаетесь вы там без меня с мальцом.

Это очень обрадовало Ийю. А об Алексее нечего и говорить. С бабушкой он везде дома.

Иван Ермолаевич с гордостью рассказывал потом старикам:

— В мягком, стало быть. Все четыре полки ихние. Только своя семья... И я бы мог, да как-то родной лес дороже. Давно уж мое ружьишко по боровой птице плачет... Самая золотая пора.

Любил Иван Ермолаевич начало весны, с первых сосулек, с первого ручейка. На Урале самобытная, пугливая весна. Покажется, улыбнется, дохнет теплом, а потом как будто и не бывало ее. И проталины заметет, и небо затемнит. Но все равно, коли уж ей приходиться пора, то темни не темни, а никуда не денешься — посветлеешь, потеплеешь и сдашься.

Редкий день не ходит по лесу Иван Ермолаевич. Есть теперь о чем ему с лесом поговорить. Каждому дереву хочется рассказать, как пришли к нему радости в старости.

Все хорошо, с Сережей только бы наладилось. Хоть и не пример Алексею, ближе к отцу с матерью, а все равно внук.

Не хочется Ивану Ермолаевичу, чтобы Сергей вернулся под крутую крышу пряничного домика. Нельзя прощать кривой игле, Руфке Дулесовой, сердечных обид. Наверно, не зря в Москву уехала. Явится после разлуки в хитром наряде, в модном окладе и заведет опять по весне молодого тетерева в темный лес. Красота — самый сильный капкан. А Руфка — ничего не скажешь, картина. У старого человека глаз ломит, на нее гляючи, а уж про Сережу и говорить нечего.

Напрасно горюет о втором внуке Иван Ермолаевич. Сходить бы ему на семнадцатую линию да посмотреть, чем живет теперь Сергей Векшегонов, как горят его глаза, какая весна у него на душе. Коротким кажется рабочий день. Малым кажется двойное перевыполнение норм. И это всего лишь начало, только начало. Что ни день, то новое ускорение. Иногда совсем незначительные усовершенствования тянут за собой пересмотр привычных операций, а затем и узлов сборки. И нет на линии ни одного успокоенного человека. Нет и не может быть для них последней ступени лестницы, послед-

него достижения, за которым стоит черта и слово «стоп».

Семнадцатая линия не из главных на заводе. Она всего лишь приток притока большой реки сборки. Маленький ручей, а громко журчит. Эти кем-то сказанные слова перешли с уст на уста, и линию стали ставить в пример.

Слава коллектива — это не слава одиночки. У нее иной аромат. Счастливые дни переживает бригада. Полным-полны новыми замыслами горячие головы. И не одной своей линией живут они. На них смотрит завод. Они впереди. Они ведут. Поэтому им, как никогда, нужно было работать собранно, не упускать даже малейшей возможности сделать больше, лучше, скорее. И для этого были все основания, но произошло нечто неожиданное.

XXIV

В цехе появилась Руфина. Она еще не вышла на работу. У нее еще не кончился отпуск. Она пришла просто так. Увидеться. Посмотреть. В этом нет ничего ненормального. Ненормальное заключалось в том, *как* она пришла.

— Ну как вы тут без меня? — спросила Руфина. — Говорят, получается?

Капа выронила гаечный ключ. И он громко звякнул. Это заставило Руфину улыбнуться:

— И ты теперь у меня в бригаде?

Капа, ничего не ответив, посмотрела на Сережу. И Сережа ответил Руфине:

— Да, Капа в нашей бригаде. — Он выделил слово «нашей». И это было замечено Руфиной.

— Наше может быть и мое. Страна тоже наша. Но и о стране можно сказать «моя». «Широка страна моя родная», например.

Никто не отозвался. Руфина сделала вид, что не заметила этого, обратилась к Сергею:

— А ты исполняешь обязанности бригадира?

— Нет, — сказал он. — Сегодня не я исполняю обязанности бригадира, а Катя. Мы по очереди исполняем обязанности бригадира, как дежурные в классе.

Такой ответ удивил Руфину:

— Странно! А кто же отвечает за линию?

— Все, — односложно сказал Сережа, продолжая работать.

— Интересно. Очень интересно...

Руфина почувствовала, что ей лучше всего не продолжать расспросов. Но нужно было как-то «закруглить» не очень складный разговор. И она сказала:

— Не буду вам мешать. Желаю успехов, друзья!

Как будто ничего не произошло. Бригада работала дружно, как всегда. Когда же окончилась смена и был подведен, как всегда, итог сделанному, он никого не обрадовал. Бригада сделала очень мало. Видя огорчение товарищей, Катя Шишова, исполнявшая сегодня обязанности бригадира, сказала:

— Секретарю комитета комсомола нужно сказать сегодня же все как есть.

Катю никто не переспросил, что значат слова «все как есть», потому что каждому было совершенно ясно, что стоит за этими словами. Потому что бригада состояла из людей, которые были связаны не только производством.

— Хорошо, я исполню ваше желание, — отозвалась Капа, хотя ее никто не попросил об этом. Но ведь кроме языка есть и глаза. А глаза, много глаз дали ей это поручение.

И когда она, вымыв руки, сняв комбинезон, отправилась выполнять поручение, Катя Шишова остановила ее:

— Подожди! Мы должны пойти вместе. А тебе не надо туда ходить, — сказала она Сереже. — Не надо.

Как жаль, что нет Ийи. У нее всегда находятся для Сергея нужные слова и точные советы. Вспомнив об Ийе, Сережа подумал о Капе. «У Капы тоже найдутся нужные слова».

Бригада разошлась. Ушел и Сережа. Шел он медленно, думая о Руфине. О выражении ее глаз. Она, кажется, оправилась от всех потрясений. Как у нее все просто.

Он завидовал ее характеру, ее умению владеть собой. Если бы он мог так. Нет, не нужно ему хотеть этого. Он ни над кем не хочет главенствовать. Он в бригаде равных. В бригаде чутких и добрых товарищей. Дорогих и близких людей. Такой никогда не станет Руфина. Поэтому она должна уйти из этой бригады. Ей будет трудно в ней. Ей не понять и не принять

тех чувств, которые связывают бригаду. Она будет чужаком и, не желая, разрушит то, что еще только-только рождается.

Сережа плохо ел, был рассеян за столом. Это заметила мать и сказала:

— Теперь тебе нужно взять отпуск!

— Хорошо, я подумаю, мама, — сказал он, зная, что отпуск сейчас невозможен.

XXV

Вечером пришли Капа и Катя.

— В комитете сказали, — начала Катя, — что нужно не избавляться от таких, как Руфина, а перевоспитывать их в коллективе хорошей бригады.

— А ты что сказала на это?

— Сережа, это правильно, — ответила Капа. — Это правильно. Мы признали это... Признали и сказали, что Руфина должна жить по законам бригады. Сменное бригадирство. Подчинение большинству. Правдивость. Забота. Помощь... Ну, ты же знаешь, о чем я говорю.

— Кажется, ты права, Капа.

— Ну вот видишь, Сережа... И больше не будем об этом говорить.

— И не будем, — согласился Сережа. — Спасибо тебе. Ты умеешь вносить ясность...

Капа громко расхохоталась.

— Какие милые и редкие слова — «вносить ясность»... Пойдем, Катя, и внесем ясность для остальных. Они же переживают.

Кате Шишовой нужно было забежать домой, а может быть, она хотела оставить Сережу и Капу наедине. Вернее всего, что это было именно так.

И когда Капа и Сережа оказались с глазу на глаз, она взяла его за руку и начала так:

— Сережа, тебе, наверно, уже мала та косоворотка, которую я вышила тебе давным-давно? В восьмом классе...

— Да нет, Капа... Она, оказывается, была сшита с запасом. Я недавно примерял ее. И она, понимаешь, ничуть не тесна.

Капа не скрыла счастливой улыбки. Она ничего и никогда не скрывала и не будет скрывать от Сережи.

— Я очень рада, Сережа, что косоворотка мною шилась с запасом и ты не вырос из нее.

Как любила Капа прибегать к иносказаниям и находить слова двойного и даже тройного звучания!

— А почему ты, Капа, заговорила о косоворотке? И та ответила:

— Кажется, искала зацепку, чтобы поговорить о Руфине. Тебе, наверно, понятно, Сережа, что ни я, ни Ийя не можем любить Руфину.

— Конечно, понятно.

— Но понятно ли тебе, Сережа, что не любить еще не означает ненавидеть, желать зла, неудач... Ведь мы на семнадцатой линии объединились не только для того, чтобы работать по-коммунистически, но и жить... Или хотя бы стремиться жить как можно правильнее.

— Что значит правильнее, Капа? Руфина тоже посвоему правильно живет.

— Я говорю — правильно по-нашему, а не по-Руфининому. Правильно жить, я понимаю, — быть внимательнее к людям. Ко всем людям. Заботливее. И главное — снисходительнее. А так ли мы отнеслись сегодня к Руфине? По-коммунистически ли поступили мы, ошестинившись и отмолчавшись, когда она пришла в цех? А потом? Каким мы чувствам позволили командовать нами, когда она ушла? Когда мы, нервничая и негодуя, из рук вон плохо работали. Сережа, не кто-то, а ты должен пойти к Руфине.

— Этого еще не хватало. Зачем? Ты что? — возмутился Сергей. — И это говоришь ты? Ведь ты понимаешь, Капитолина, — назвал Сережа Капу впервые этим полным именем. — Для меня же Дулесова не просто соседка.

— Тем более. Тем более ты должен встретиться с нею и поговорить так, как будто она — не она, а твоя родная сестра, а ты ее брат. Или «человек человеку друг, товарищ и брат» ты признаешь только напечатанным в газетах и не носишь в своем сердце как первую заповедь нашей жизни?

Тут Сережа, почувствовав, что власть доводов Капы, сила ее убеждений неоспоримы, неуверенно согласился.

— Конечно, я могу... Конечно, я не считаю, что Руфина какая-то закорстенелая, и вообще... Но где мне взять слова? Я же знаю, какая в ней сила.

Капа на это сказала:

— Сила, Сережа, это мы. И только мы. И нет на земле силы сильнее нас.

Сережа не поверил, что это говорит Капа. Он посмотрел на нее и задумался.

Где та девочка в белом фартучке с букетиком фиалок? Неужели это она? Личико то же. И те же тоненькие пальцы. И тот же тонкий голос. Но перед ним другой человек. Человек, который утверждает себя главной силой на земле. И этому он верит.

— А если у тебя не найдется или не хватит слов,— вдруг совсем по-девчоночьи наивно зашебетала Капа,— то возьми их у меня. Я отдам тебе их все, до последнего слова...

Капа подошла к Сереже и, коснувшись своими губами его губ, прошептала:

— Пусть перейдут к тебе мои слова...

Губы Капы дрожали. Вздрагивали и плечи. Она страшилась встречи Сергея и Руфины. Но эта встреча была нужна. Только Сергей мог повлиять на Руфину. И Капа повторила:

— Ты как можно скорее должен встретиться с нею, Сережа...

XXVI

Исправно работает Руфина Дулесова на семнадцатой линии. Подчиняется ее неписаным правилам, и со стороны кажется, что она многое поняла. И это так. Многое поняла Руфина. Поняла, но не приняла. Сердцем. Нутром.

Ей нравились скромность, самоотверженность, спаянность коллектива, борьба за общий, а не личный успех. Но в эти хорошие черты бригады она не могла поверить, как и в ее идейную сущность, в моральные основы. Руфина видела в них показную условность, некий гипноз самовнушения. Повторялась старая история внутреннего разлада, но на этот раз не с одним человеком, которым был Алексей, а с коллективом «Алексеев». И, уж конечно, из всех этих «Алексеев» выделялся Сергей. Несомненно, Сергей — душа бригады, и все идут за ним. Не называя себя бригадиром, он остается им.

Руфина не допускает, что Сергей сознательно ввел сменное бригадирство, желая этим устранить Руфину и не дать линии называться «семнадцатая дулесовская», как она уже называлась кое-кем. Пусть он не хотел этого, как не хотел и его брат Алексей, вводя автоматическую приставку, зачеркнуть славу Руфины. Это ничего не меняет. Равноправный дележ успехов бригады не устраивает Руфину, но как об этом сказать?..

Кому?

Ведь она по своему желанию приняла приглашение Гладышева и пошла на отстающую линию, чтобы сделать ее передовой. Теперь она стала такой. Более того, все считают ее коммунистической. Так чем же ты недовольна, Руфина Дулесова? Чего ты хочешь? Тянуть линию назад? Отвести ее на прежние рубежи? Засушить, дать увянуть тому, что должно расти и стать цветом времени, смыслом всей жизни тружеников и твоей жизни, если ты дочь, а не падчерица своего народа?

Разговор с Алексеем, оказывается, продолжается. Продолжается в ней самой. В ее сознании, ломая незабываемое, сокровенное, взлелеянное.

Нет страшнее разлада, чем внутренний разлад. Ей нужно, ей хочется теперь поговорить с Сережей. Поговорить и хотя бы очиститься перед ним. Виновата она или нет в своей любви к Алексею, но все же она принесла много страданий Сергею, сломав его счастье в домике с башенкой. Начав с этого, она, может быть, и спросит его, как ей быть дальше. Не враги же они. С этих слов она и начнет.

«Сережа! Мне нужно поговорить с тобой. Ты, по законам нашей бригады, не можешь мне отказать в этом. Я жду тебя дома в шесть часов вечера.

Руфина».

Записку Сережа показал Капе. Капа сказала:

— Очень хорошо. Не растеряй мои слова.

И Сережа пришел. Он пришел в косоворотке, сшитой Капой, и сел возле Руфины на ступени недостроенного крылечка их дома.

— Сережа, мы все-таки не враги. Мы просто жертвы самообмана...

— Руфина!— прервал ее Сережа.— Не «самообманываешься» ли ты, когда говоришь о самообманах, самовнушениях, самогипнозах...

— Не думаю. Мне кажется, мы не любили друг друга. Нам хотелось любви, и мы выдумали ее, а потом поверили в выдуманное.

— Я опять повторяю то же самое. Не выдумываешь ли выдумку о нашей любви? И если выдумываешь, то выдумывай о самой себе, а не обо мне.

— Сережа, неужели ты до сих пор любишь меня?

— Нет, Руфина,— сказал он,— у меня, кажется, уже нет любви к тебе, но я не могу побороть в себе обиду. Ты не захотела тогда хотя бы немножечко смягчить наш разрыв. У тебя не нашлось сострадания ко мне... Помнишь, как ты повернулась ко мне спиной, стала смотреть в окно и не оглянулась, когда я... когда я так неуверенно уходил?

Руфина не оправдывалась:

— Да, это было бестактно с моей стороны.

— Нет, Руфина, «бестактно» — это не совсем подходящее в данном случае слово. Но я не хочу искать подходящие слова. Ты поступила тогда по крайней мере не по-товарищески.

— Да, Сережа. Я тогда думала только о себе. Иначе я и не могла тогда, Сережа...

— Иначе ты не можешь думать и теперь, Руфина. И в этом все твои беды. Все, Руфа. Ты всегда, Руфина, думала о себе. И работая на «АВЕ»... И собираясь выйти замуж за Алешу... Потом — за меня... Потом — переходя на семнадцатую линию. Ты ведь тоже думала не о линии, а о себе.

Руфине было стыдно признаться, но солгать она не могла:

— Да, Сережа. Мне хотелось счастья.

Горестная улыбка пробежала по Сережиному лицу. Много слов осуждения береглось у него для Руфины. Гневных, заслуженных ею слов. Но Сергей не воспользовался ими. Не приговждать ее, а убедить хотелось ему. Так требовали законы бригады. Так хотела Капа.

— Ты искала счастья, Руфина. И я понимаю тебя. Но разве человек может быть счастлив сам по себе, в одиночку? Его делают счастливым только другие. Человек не может быть согрет только своим теплом. Его

согревает тепло других. Но для этого нужно, чтобы и ты тоже излучал тепло. Это великий закон взаимного излучения теплоты...

Сережа остановился. Его щеки залил румянец.

— Ты меня извини. Я сейчас повторяю слова брата. Но чьи же слова, Руфина, повторять мне, как не его. Ведь он отдает все свое тепло людям. Я хочу походить на него. А быть таким, как он,—значит быть правдивым. Очень правдивым! Руфина, у меня нет ничего спрятанного от тебя. Хочешь ли ты мне ответить тем же? Правдивостью? Так лучше для тебя. Легче. Ты же сейчас очень несчастна и одинока.

— Я постараюсь, Сережа. Говори. Мне нужно знать, что ты думаешь обо мне. Говори все.

В ее голосе звучала готовность выслушать слова правды и понять их.

— Конечно, мне тоже нелегко говорить то, что есть,—признался Сережа.—Но я теперь не просто Сергей Векшегонов, а и они. Бригада. И каждый из нас—это мы. А ты—нет. В тебе нет бригады, и тебя нет в бригаде.

— Кто же меня исключил из нее, Сережа?

— Тот же закон взаимного излучения теплоты.

— Как же мне быть?

— Реши сама. Никто не может распоряжаться теплом другого человека. Но ты можешь прийти в бригаду. Можешь, если этого захочет твое сердце.

Несколько минут они сидели молча на крылечке. Нагретая солнцем ступень была теплой. Давно не сидели они вдвоем.

— А Капа?—спросила Руфина.—Как она собирается распорядиться своим теплом?

— Об этом нужно спросить у нее.

Руфина прищурилась, улыбнулась, осветила зелеными лучами своих глаз Сережу, крылечко и, кажется, все окружающее.

— Спасибо, Сергей, за то, что ты пришел и посидел со мной на этом крылечке, которое не стало нашим крыльцом. Но я еще подумаю о крыльце и, может быть, верну его нам.

Сережа побледнел:

— Это теперь не в твоих силах.

— Если в твоих словах испуг, значит, в моих силах. Но ты не бойся, Сережа. Я не сделаю это крыльцо

нашим крыльцом. Поцелуй меня на прощание! Пожалей и уйди.

— Руфина!— чуть ли не взмолился Сережа.— Я боюсь выполнить твою просьбу даже на прощание... Пожалей лучше ты меня, Руфа...

Руфина торжествующе улыбнулась доброй, почти материнской улыбкой. Потом подошла к Сереже, привлекла его голову к своей груди и сказала:

— А я, оказывается, все-таки любила тебя, мой мальчик... Теперь иди.

Она проводила его до ворот и закрыла калитку на засов.

Сережа не спал всю ночь.

XXVII

Новыми друзьями Руфины стали одиночество и размышления. Вот и теперь ей не хочется вставать с дивана и подходить к телефону. Но звонки настойчивы. Она взяла трубку.

— Алло, Руфа? Это я, Лида. Не узнала? Значит, быть богатой или счастливой.

Лидочка Сперанская, заговорив о платьях, туфлях, о новой клетчатой ткани, которую она купила себе и Руфине, кажется, позвонила просто так...

Мы знаем, что нередко желающие поговорить о Фоме, начинают разговор о Ереме. Перейдя с клетчатой ткани на расспросы «как ты?» и «что ты?» и каковы планы на будущее, Лидочка несколько раз назвала имя Николая Олимпиевича. Один раз в связи с переходом на новый рабочий день. Другой раз она, распекая «заплесневевшую в безделье» экономку Гладышева Аделаиду Казимировну, удивлялась терпению Николая Олимпиевича.

Руфина отлично понимала, что главным в телефонном разговоре Лидочки Сперанской была не клетчатая ткань и, конечно, не Аделаида Казимировна, а желание узнать, как Руфина отнесется к тому, что Николай Олимпиевич считал находящимся за пределами благоразумия, а Лидочка — наоборот. Думая так, Лида все же боялась предпринять какие-то более решительные шаги. Зная, что от этих шагов зависит теперь все, она искала поддержки и сочувствия на стороне. И такой «стороной» была для нее Руфина. Пусть ее суждения

не станут решающими, но все же небезынтересно знать, как она думает.

Руфина, узнав от матери в день приезда из Москвы о том, что Роман Иванович Векшегонов не то шутя, не то серьезно убеждал два сердца соединиться в одно, отнеслась к этому безразлично. А теперь, после разговора с Лидой, вдруг задумалась...

Тут нам надо очень тщательно, вдумчиво и осторожно разобраться в клубке чувств и мыслей Руфины, чтобы не обидеть ее там, где она этого не заслуживает.

Руфина вспомнила чету Радугиных. Молодую Нину Радугину и одноклассника Гладышева Модеста Михайловича Радугина. Вспомнив о них, Руфина стала думать о Гладышеве и Лиде. И ей показалось, что их счастье может стать обоюдным.

И это очень хорошо. И Руфина будет рада за Лиду. Но что-то, а что именно — Руфина не знает и сама, мешая ей радоваться.

Зависть?

Нет. Ну что вы? Это чувство оскорбительно в данном случае. Руфина не может даже хотя бы на миг представить себя на месте Лиды. Об этом не следовало бы даже и думать. Но мысли, как и сны, — над ними не властен человек. Не властна над ними и Руфина. И коли мысль пришла, то ее, как говорила тетя Женья, не вытащишь из головы, подобно седому волосу.

Короче говоря, Руфина сделала уступку коварной или, точнее, коварно-озорной мыслишке: «А ведь и я могла бы, как и Лида, если бы захотела...» И началось...

Руфине вдруг захотелось проверить: а могла ли бы она?

В эти годы озорство нередко берет верх над здравым смыслом, и человек, проверяя свою храбрость или силу, испытывая свои нервы, волю, бывает, пускается в предприятия, которые потом его смешат, а то и ужасают.

Озорство и что-то соседствующее с ним, может быть, желание невозможное представить возможным, чтобы выкинуть его из головы, заставили Руфину сегодня, сейчас же представить себя на месте Лиды, которое она еще не заняла и, может быть, не займет.

Скажите, разве это не волнующий спектакль для Руфины, в котором она может стать и зрителем, и

главной героиней? Скажите, кто из нас не был участником или зрителем таких спектаклей?

Не будем чрезмерно строги к нашей героине. Займем у Ийи и Капы как можно больше добрых чувств и дадим Руфине представить себя в невероятной роли. Что там ни говори, а пережитое ею, пусть она была тому виной, достойно сожаления. К тому же не во всем она одна была автором своих несчастий.

— Ты куда это, Руфочка, на ночь глядя?—спросила Анна Васильевна, не узнав свою строго одетую и по-серьезному причесанную дочь, будто ей не двадцать один, а за тридцать...

Руфина не скрыла от матери своих намерений:

— Хочу сходить к Николаю Олимпиевичу, мама.

— Зачем?

— Не бойся, мама, я не наделаю ошибок.

— А что мне бояться?—ответила мать дрожащим голосом.—Я знаю, куда бы ты ни шла, свою голову в сундуке не оставляешь. Только зачем это тебе, Руфочка?

— Чтобы не думалось. Я хочу видеть и понять, как это бывает.

Мать проводила дочь до входной двери. На улице уже смеркалось. Сумеречно было и на душе Анны Васильевны.

Сумеречно...

XXVIII

Медленная, величавая, знающая силу своих чар, идет Руфина по набережной заводского пруда. Чапаевская набережная, когда-то называвшаяся Господский односторонок, все еще сохраняла облик улицы, где жила заводская знать старого железоделательного завода. Казенные строения с пристройками для господской челяди стоят и поныне. Теперь эти дома населены рабочими завода, и давно уже нет даже и памяти господ, начальников цехов, смотрителей, надзирателей и всех тех, кто олицетворял заводскую власть казенных заводов.

Только чопорные фасады домов да старые липы напоминают о прошлом. Господского односторонка.

В одном из этих домов квартира Гладышева. После смерти жены Николая Олимпиевича печать одиночест-

ва и запустения лежит на темных окнах, на закрытых уличных дверях, на ступеньках крыльца, усеянного прошлогодними листьями.

Однако внешнее впечатление, которое производит дом или человек, бывает и ложным. Неожиданность — мать сюрпризов. А настоящие сюрпризы приятны в любом обрамлении. Кто может предположить, что сегодня произойдет за дверью старой квартиры Гладышева? Возможно, в этот день можно будет сказать, что жизнь сжалась над своей строптивой дочерью.

Дверь, как и следовало ожидать, открыла Аделаида Казимировна.

— Николая Олимпиевича нет дома, — проскрипел голос Аделаиды Казимировны, и дверь готова была закрыться перед носом Руфины.

Обиженная таким тоном, Руфина попридержала дверь и сказала:

— Ничего, я его подожду! — И прошла в дом.

Наверно, во всяком другом случае так не поступила бы она, но сегодня ее спутником было озорство. Оно и провело ее в комнаты.

И когда Аделаида Казимировна удалилась на кухню, Руфина попыталась представить себе, как бы могла она теоретически перепланировать квартиру. Как бы (опять же теоретически) мог сюда переселиться истосковавшийся на сеновале старого сарая новый гарнитур. И теоретически все размещалось хорошо. Невероятно, но хорошо.

Руфине скоро наскучила эта перепланировка. В ней хотя и было нечто реальное и допустимое, но не было и тени здравого смысла. Спектакль рушился, не начавшись. В него уже не верила Руфина ни как играющая главную роль, ни как единственный зритель. И она, довольная нелепостью своей затеи примерить себя в этом доме, решила оставить Николаю Олимпиевичу веселую записку и уйти. Но в это время она услышала чей-то тихий голос, а затем еле слышное пение.

Догадавшись, что «заплесневевшая в безделье» Аделаида не выключила телевизор, Руфина решила пойти в комнату Николая Олимпиевича и сказать Аделаиде, что электрическую энергию нужно беречь.

Открыв дверь в рабочую комнату Николая Олимпиевича, она увидела там спящего в кресле офицера. Он сладко спал, запрокинув голову.

Это был инженер-капитан третьего ранга Виктор Николаевич Гладышев.

Слегка качнулись стены, потом потолок. Кажется, хотел было закружиться ковер, но Руфина не позволила этого сделать коврику, потому что она была сильным и волевым человеком...

Инженер-капитан третьего ранга Виктор Николаевич Гладышев, демобилизованный с флота, приехал к отцу, чтобы провести отпуск, а затем начать новую, береговую жизнь.

Он прилетел днем. Бессонная дорога, пересадка на другой самолет, плотный поздний обед, три рюмки коньяку и тихая симфоническая музыка, передаваемая по телевизору, усыпили его.

Это был тот самый Виктор Гладышев, курсант морского училища, у которого еще совсем маленькой Руфина сидела на коленях и спрашивала, трогая то погончики, то нашивки: «А это что? А как называется это?» А потом, когда Руфина училась в седьмом классе, она уже танцевала с настоящим морским лейтенантом.

Она тогда приколотла к его кителю белого голубка и сказала: «Виктор, это почтовый. Он будет приносить в своем клювике письма». И письма приходили. Но потом переписка прервалась. Призрачный образ далекого «тихоокеанского офицера» затмил Алексей Векшегонов. До переписки ли было ей! Руфина, как мы помним, освещенная лучами славы, даже не ответила на признание Виктора Гладышева.

А теперь он появился на перепутье ее дорог. Узнав Виктора, она хотела удалиться, но, споткнувшись о кромку ковра, задела плечом старую этажерку с книгами. Этажерка скрипнула. Виктор проснулся, вскочил как по тревоге и молниеносно надел китель.

— Руфа! Не сплю ли я! Как любезен отец! Он позвонил тебе. Как любезна ты... Спасибо тебе. Мне так хотелось увидеть тебя. Я так много думал о тебе.

Он кинулся к Руфине и, не раздумывая, перецеловал ей руки. Ошеломленная Руфина не сразу пришла в себя!

— Виктор, как хорошо, что мы встретились... Как это хорошо. Бывает же так...

Руфина заплакала.

Слишком давно копились у нее слезы. Слишком много ей пришлось пережить, передумать. Виктор ни

о чем не расспрашивал ее. Аделаида Казимировна в первый же час приезда Виктора пересказала ему повесть Старозаводской улицы. А его отец, как бы резюмируя сказанное Аделаидой, коротко посоветовал сыну: «Не зевай и не тяни».

XXIX

Поздним вечером Николай Олимпиевич, подойдя к дому, увидел двери гаража открытыми. Догадку Гладышева с превеликим удовольствием распространенно подтвердила Аделаида Казимировна:

— Нынче девицы недолго раздумывают. Она уехала с ним кататься. Ночью.

— И в добрый час, Аделаида Казимировна. В добрый час.

Дальнейшее Николай Олимпиевич и не думал выяснять.

Руфина и Виктор ехали по большаку. Сосны как розовые свечи. Темно-зеленая тишина, посеребренная светом луны. Молчит мир. Только о чем-то перебраются в лесу маленькие совки.

После молчания Виктор, отвечая на рассказанное Руфиной и слышанное до этого от Аделаиды Казимировны, сказал коротко:

— Это бывает, Руфина. У меня тоже кое-что было и прошло. Не надо вспоминать. Посмотри, какая чудесная вырубка.

Виктор притормозил машину и остановился на обочине.

— Как здесь хорошо! Мы да звезды!

— Хочешь, Руфа, посидим на пнях?—предложил Виктор.

— Хочу.

И они вышли.

Зябкая прохлада апрельской ночи. Далекий дым проходящего поезда. Сладкие запахи смолы и земли.

Виктор выбрал пень и предложил Руфине другой. Но на нем, еще борющемся за жизнь, проступила смола. Янтарная, сверкающая при свете луны.

— Ты что?—спросил Виктор.— Ищешь пень, который получше?

— Да нет. Ищу, который поближе.

— Тогда садись на мой, рядом.

— Тесно.

— Тогда на колени.

— Удержишь ли? Я ведь не из легких,— сказала она, ничуть не жеманясь.

Удивительно, как легко и просто ей с этим человеком! Она его не видела столько лет, а в их отношениях ничего не изменилось. Он вызывает какое-то огромное чувство доверия. В его глазах ни одной хитрой искорки. В его голосе только то звучание, которое соответствует сказанным им словам.

Руфина села на колени к Виктору. Ища наиболее удобного положения, она обняла его шею правой рукой.

— Теперь уселась?

— Да.

— Ну вот и хорошо. Будем смотреть на небо. А вдруг да пролетит над нами спутник... Сегодня день неожиданностей. Пусть будет такой же и ночь...

— Виктор, мне так стыдно, что я не ответила тебе тогда на твое письмо. Тогда так много приходило таких писем. Если хочешь, я покажу их тебе.

— Обязательно, Руфа. Обязательно найдем и мое глупое письмо и перечитаем.

— Тебе хочется взять его обратно, Виктор?

Тут ее голос немножечко упал, и она оказалась в объятиях Виктора.

— Нет, я ничего никогда не беру обратно и не отдаю своего. Никому. Я в этом смысле собственник.

— И я...

— Ну вот видишь, какая мы мелкобуржуазная стихия. Тебе не кажется, Руфина, что ты меня обняла первой?..

— Мне теперь ничего не кажется, Виктор. Но только странно, что все так неожиданно и быстро.

XXX

Еще не было пяти утра, когда двухцветная «Волга» подкатила к дому Дулесовых.

— Мама,—сообщила, входя, Руфа,—я вышла замуж. Вот мой муж.

Как никогда, Анне Васильевне было трудно скрыть волнение. И она сказала:

— Я так и поняла, когда узнала от Аделаиды, что вы уехали.

Отец Руфины спросонья никак не мог натянуть на себя рубашку. Наконец, кое-как одевшись, он выбежал и крикнул:

— А я как, Анна, женился на тебе? Не при луне ли? Здравствуй, зять!

Старозаводская улица просыпалась рано, и спешащие кто на рынок, кто на пруд, чтобы захватить утренний клев леща, проходя мимо дулесовского дома, удивлялись, глядя на машину: почему в такую рань к ним пожаловал Николай Олимпиевич?

Старик Векшегонов направлялся в лес. Он не обратил бы внимания на «Волгу» и прошел мимо дулесовских окон, но его окликнула Анна Васильевна:

— Иван Ермолаевич! Дорогой... Зашел бы. У нас обручение в доме.

И он зашел к Дулесовым.

— Витька!

— Дедушка Иван!

— Когда успели?..

— Моряки — народ быстрый!

Объятия. Чарка водки.

Отцу Виктор сообщил по телефону кратко:

— Папа! Поздравь меня и извини, что я так долго задержал твою машину. Если есть время поздравить лично, то я в доме моей жены Руфины Андреевны... пока еще Дулесовой.

Прибежала и Любовь Степановна Векшегонова:

— Вот и нашлись жильцы для домика с башенкой.

Не прошло и недели, как Дулесовы и Векшегоновы договорились о взаимных расчетах. Не ах какие деньги. Дружба дороже. На одной улице жить. К тому же родня. Гладышевы как-никак по женской линии Векшегоновы.

Сережа наотрез отказался получать вознаграждение за труд, который он вложил в этот домик. Деньги выглядели обидной платой. Зато подарок, от души купленный счастливым Виктором Николаевичем, очень обрадовал Сережу. Виктор приехал на новеньком мотоцикле и сказал:

— Сергей! Уж мы-то с тобой никаким боком не друзьями не можем быть.

— Конечно, — ответил Сережа.

— А если «конечно», то вот тебе конь-огонь, и давай обнимемся на виду всей Старозаводской улицы.

И они обнялись.

Это видел из окна Алексей, не высидевший в Гагре и трех недель. Ему приятно было видеть брата, достойно развязывающего примирением путаный узел больших и малых обид.

Вскоре Сережа снова пришел в дом с башенкой. Отрезок трубы для сгона и муфта с контргайкой по-прежнему лежали у батареи, рядом с газовыми клещами. Сурик в консервной банке высох, но на дне еще сохранился слой краски, пригодной в дело.

Не прошло и десяти минут, как Сережа сказал Руфине:

— Теперь все, Руфина Андреевна. Присоединена последняя батарея.

Улыбаясь, Сережа подмотал льна между муфтой и контргайкой, подмазал суриком, и затем, как говорят сантехники, он законтрил последний сгон.

— Спасибо, Сережа.— Руфина протянула руку.— Не сердись и прости меня...

— А я и не сержусь. Я даже доволен за тебя. Ты из всего возможного нашла самое лучшее. Только ты не думай, Руфина, что так прост и податлив твой муж. Тебе еще многое придется пересмотреть, чтобы он любил тебя не только сердцем, как я, но и...— Сережа не нашел слова и постучал себя по лбу.

— Я постараюсь, Сережа.

— Руфина! Я и Капа и все мы будем ждать тебя на семнадцатой коммунистической. Мы встретим тебя как сестру. И если ты даже придешь на такую же другую линию, мы все равно встретим тебя и будем с тобой. Потому, что мы теперь всюду. Нас много. А будет еще больше. Ты понимаешь это?— шепотом спросил Сережа, а потом еще тише сказал:— Мы — сила. Мы — главная сила на земле...

Сережа позволил Руфине поцеловать себя. Затем вскинул на плечи клещи и зашагал к воротам.

Нет вражды между ними. Векшегоновы все-таки очень хорошие люди. И если у Руфины года через два, через три родится девочка, которую она назовет Ийей, то, может быть, случится так, что она и маленький Алеша, сын Алексея, понравятся друг другу...

Когда-то же соединятся два старых рода. Не рок же,

в самом деле, мешает породниться столько лет Векшегоновым и Дулесовым!

Подумав так, Руфина услышала знакомый голосок Алеши. Он возвращался с Ийей из булочной. Голос маленького Алеши сейчас не только не резанул слух Руфины, а она даже обрадовалась, услышав его.

Есть ли на свете большая очищающая сила, нежели любовь? Она пришла к Руфине. Пришла и сожгла в ее сердце все мешавшее заглянуть в него солнцу. И кажется, что любовь к Виктору и есть ее первая любовь.

Так что же она медлит? Не выбежать ли ей на улицу и не зацеловать ли маленького Алешу?

Она так и сделала.

Схватив мальчика, Руфина прижала его к сердцу и принялась целовать — к изумлению смотревших из окон соседей.

В ней рождалось еще не изведенное материнство. В ней бушевали прощение и уважение. Уважение к людям, которых нельзя не уважать и не любить...

— Спасибо тебе, Руфа. Я так счастлива, что ты любишь нашего Алешку. Спасибо, Руфина. Я всегда верила и надеялась...

Ийя не закончила начатого. И так ясно. Она пожала руку Руфины и взяла из ее объятий вспотевшего от ласк сына.

XXXI

За окном был май, а заморозки давали еще о себе знать.

Рано за Омском проснулись Ийя и Алексей. Дед и бабка Векшегоновы, провожавшие внука и внучку, проведут это лето в Сибири. Сейчас они еще спят. А старик Адам Красноперов ушел курить в тамбур. Стесняется дымить своим самосадом. Да и кроме Алешки в вагоне немало детей. А самосад ой-ой какой крепкий!

Алеша и Ийя стоят у окна вагона. Солнце уже поднялось, но его лучи не столь теплы, чтобы прогнать белесую изморозь на траве.

— О чем ты задумался, Алеша?

— Да как тебе сказать...— ответил он Ийе.— Символика, понимаешь, одолевает.

— Какая?

— Смотрю на иней и думаю. Когда-то на земле было очень холодно. Снег да льды. А потом стала оттаивать земля. Стало теплеть и теплеть. И земля стала зацветать. Но царство стужи и льда не хочет сдаваться. Оно еще побивает первые цветы. И все еще дают о себе знать заморозки. Я говорю не только о Руфине, но главным образом о других. И о себе,—сказал задумчиво Алексей.—Но все равно это последние заморозки. Последнее. Разве солнцу скажешь: «Стой!»

Он умолк. Пытливо заглянул в глаза Ийе. Потом махнул рукой:

— Ты не слушай меня. Видимо, я моей бабкой пожизненно ушиблен сказками. Кому уж что дано, то и дано.

Содержание

Сочинения Евгения Пермяка. Виктор Полторацкий	5
Сказка о сером волке. Роман	15
Старая ведьма. Роман	199
Последние заморозки. Роман	377

Пермяк Е. А.

П27 Собрание сочинений в четырех томах. Том 1.
Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1977.

544 с. с портр.

В первом томе собрания сочинений представлены три романа: действие которых происходит на Урале. «Сказка о сером волке» повествует о встрече двух братьев: Петра Бахрушина, председателя колхоза, и Трофима Бахрушина, бежавшего в гражданскую войну в Америку и на склоне лет решившего побывать в родном селе. Романы «Старая ведьма» и «Последние заморозки» посвящены проблемам нравственного совершенствования человека в борьбе с пережитками прошлого. Герои книги — уральские умельцы, мастера, рабочие, колхозники.

70302—069

П **М 158(03)—77**

Р2

Евгений Андреевич Пермяк
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор И. А. Круглик
Художник Д. Б. Шимилис
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Л. А. Гупало, А. Н. Винокурова

Сдано в набор 29/III 1976 г. Подписано в печать 26/VII 1976 г. НС 12341.
Бумага тип. № 1. Формат 84×108₃₂. Уч.-изд. л. 29,7. Усл. печ. л. 28,6. Тираж
150 000. Заказ 209. Цена 1 р. 19 коп. Средне-Уральское книжное издательство,
Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий».
Свердловск, пр. Ленина, 49.

10.11.16

